

Александр ПУШКИН

Евгений Онегин • Медный всадник
Пиковая дама • Маленькие трагедии
Повести Белкина • Дубровский
Капитанская дочка



Полные редакции произведений
с комментариями, примечаниями
и дополнительными главами

БИБЛИОТЕКА МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ





А. С. Пушкин. Портрет работы О. А. Кипренского

АЛЕКСАНДР ПУШКИН



ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН
МЕДНЫЙ ВСАДНИК
ПИКОВАЯ ДАМА
МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ
ПОВЕСТИ ПОКОЙНОГО
ИВАНА ПЕТРОВИЧА БЕЛКИНА
ДУБРОВСКИЙ
КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА



Санкт-Петербург
СЗКЭО
Москва
ОНИКС-ЛИТ

ББК84(2Рос)
УДК 811.161.1
Пуш91

Подбор иллюстраций
В. Шабловский
Верстка, обработка иллюстраций
Е. Гезенцевей
Дизайн обложки
А. Яскевич

Пуш91 Пушкин А. С. **Избранные произведения:** — Санкт-Петербург. СЗКЭО, 2018,
— 640 с.: ил.

В настоящий том вошли избранные произведения А. С. Пушкина: «Евгений Онегин», «Медный всадник», «Пиковая дама», «Маленькие трагедии», «Повести покойного Ивана Петровича Белкина», «Дубровский», «Капитанская дочка».

Для самого широкого круга читателей.

ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН

РОМАН В СТИХАХ

С ИЛЛЮСТРАЦИЯМИ
Е. САМОКИШ-СУДКОВСКОЙ





Pétri de vanité il avait encore plus de cette espèce d'orgueil qui fait avouer avec la même indifférence les bonnes comme les mauvaises actions, suite d'un sentiment de supériorité, peut-être imaginaire.
*Tiré d'une lettre particulière.*¹

Не мысля гордый свет забавить,
 Вниманье дружбы возлюбя,
 Хотел бы я тебе представить
 Залог достойнее тебя,
 Достойнее души прекрасной,
 Святой исполненной мечты,
 Поэзии живой и ясной,
 Высоких дум и простоты;
 Но так и быть – рукой пристрастной

Прими собранье пестрых глав,
 Полусмешных, полупечальных,
 Простонародных, идеальных,
 Небрежный плод моих забав,
 Бессониц, легких вдохновений,
 Незрелых и увядших лет,
 Ума холодных наблюдений
 И сердца горестных замет.²

¹ Проникнутый тщеславием, он обладал сверх того еще особенной гордостью, которая побуждает признаваться с одинаковым равнодушием как в своих добрых, так и дурных поступках, – следствие чувства превосходства, быть может мнимого.
 Из частного письма (фр.).

² Это посвящение, обращенное автором к его другу П. А. Плетневу, стояло перед IV и V главами, которые были напечатаны в 1828 г. Когда в 1837 г. вышло второе полное издание «Евгения Онегина», оно было передвинуту в начало всего текста.



Глава первая

И жить торопится, и чувствовать спешит.¹

К. Вяземский.

I.

«Мой дядя самых честных правил,
Когда не в шутку занемог,
Он уважать себя заставил
И лучше выдумать не мог.
Его пример другим наука;
Но, боже мой, какая скука
С больным сидеть и день и ночь,
Не отходя ни шагу прочь!
Какое низкое коварство
Полуживого забавлять,
Ему подушки поправлять,
Печально подносить лекарство,
Вздыхать и думать про себя:
Когда же черт возьмет тебя!»

II.

Так думал молодой повеса²,
Летя в пыли на почтовых,³
Всевышней волею Зевеса⁴
Наследник всех своих родных.
Друзья Людмилы и Руслана!
С героем моего романа
Без предисловий, сей же час
Позвольте познакомить вас:
Онегин, добрый мой приятель,
Родился на берегах Невы,
Где, может быть, родились вы
Или блистали, мой читатель;
Там некогда гулял и я:
Но вреден север для меня.⁵

¹ Строка из стихотворения князя П. А. Вяземского «Первый снег».

² Повеса – проказник, бесшабашный гуляка.

³ Почтовые лошади во времена Пушкина подвозили путешественников.

⁴ Зевеса - Зевса.

⁵ Писано в Бессарабии (прим. П.). Здесь и далее сокращением «прим П.» помечены примечания Пушкина. Первую главу поэт писал в южной ссылке.



III.

Служив отлично благородно,
 Долгами жил его отец,
 Давал три бала ежегодно
 И промотался наконец.
 Судьба Евгения хранила:
 Сперва *Madame* за ним ходила,
 Потом *Monsieur* ее сменил.
 Ребенок был резов, но мил.
Monsieur l'Abbé, француз убогой,
 Чтоб не измучилось дитя,
 Учил его всему шутя,
 Не докучал моралью строгой,
 Слегка за шалости бранил
 И в Летний сад гулять водил.

IV.

Когда же юности мятежной
 Пришла Евгению пора,
 Пора надежд и грусти нежной,
Monsieur прогнали со двора.
 Вот мой Онегин на свободе;
 Острижен по последней моде,

Как *dandy*¹ лондонской одет –
И наконец увидел свет.
Он по-французски совершенно
Мог изъясняться и писал;
Легко мазурку танцевал
И кланялся непринужденно;
Чего ж вам больше? Свет решил,
Что он умен и очень мил.

V.

Мы все учились понемногу
Чему-нибудь и как-нибудь,
Так воспитаньем, слава богу,
У нас немудрено блеснуть.
Онегин был по мненью многих
(Судей решительных и строгих)
Ученый малый, но педант²:
Имел он счастливый талант
Без принужденья в разговоре
Коснуться до всего слегка,
С ученым видом знатока
Хранить молчанье в важном споре
И возбуждать улыбку дам
Огнем нежданных эпиграмм³.

VI.

Латынь из моды вышла ныне:
Так, если правду вам сказать,

Он знал довольно по-латыне,
Чтоб эпиграфы⁴ разбирать,
Потолковать об Ювенале⁵,
В конце письма поставить *vale*⁶,
Да помнил, хоть не без греха,
Из Энеиды⁷ два стиха.
Он рыться не имел охоты
В хронологической пыли
Бытописания земли:
Но дней минувших анекдоты
От Ромула⁸ до наших дней
Хранил он в памяти своей.

VII.

Высокой страсти не имея
Для звуков жизни не щадить,
Не мог он ямба от хорея⁹,
Как мы ни бились, отличить.
Бранил Гомера, Феокрита¹⁰;
Зато читал Адама Смита¹¹
И был глубокой эконом,
То есть умел судить о том,
Как государство богатеет,
И чем живет, и почему
Не нужно золота ему,
Когда *простой продукт* имеет.
Отец понять его не мог¹²
И земли отдавал в залог.

¹ *Dandy*, *франт* (прим. П.).

² В данном случае *педант* – человек, самоуверенно судящий обо всем.

³ *Эпиграмма* здесь – остроумное замечание, *острота*.

⁴ *Эпиграф* здесь – античная надпись на здании или памятнике.

⁵ *Ювенал* – знаменитый древнеримский сатирик.

⁶ *Будь здоров* (лат.).

⁷ *Энеида* – поэма древнеримского поэта Вергилия.

⁸ *Ромул* – один из двух легендарных основателей Рима.

⁹ *Ямб* и *хорей* – названия стихотворных размеров.

¹⁰ *Феокрит* – древнегреческий поэт, воспевавший безмятежную пастушескую жизнь.

¹¹ *Адам Смит* – английский ученый XIX века, один из основателей политической экономики.

¹² Отец дал Онегину модное воспитание, сам, однако, оставаясь чуждым новым идеям, которые уже делались уделом молодого поколения и поверхностно схватывались его сыном.

VIII.

Всего, что знал еще Евгений,
 Пересказать мне недосуг;
 Но в чем он истинный был гений,
 Что знал он тверже всех наук,
 Что было для него измлада
 И труд, и мука, и отрада,
 Что занимало целый день
 Его тоскующую лень, –
 Была наука страсти нежной,
 Которую воспел Назон¹,
 За что страдальцем кончил он
 Свой век блестящий и мятежный
 В Молдавии, в глуши степей,
 Вдали Италии своей.

IX.²

.....

X.

Как рано мог он лицемерить,
 Таить надежду, ревновать,
 Разуверять, заставить верить,
 Казаться мрачным, изнывать,
 Являться гордым и послушным,
 Внимательным иль равнодушным!
 Как томно был он молчалив,
 Как пламенно красноречив,
 В сердечных письмах как небрежен!
 Одним дыша, одно любя,
 Как он умел забыть себя!
 Как взор его был быстр и нежен,

Стыдлив и дерзок, а порой
 Блистал послушною слезой!

XI.

Как он умел казаться новым,
 Шутя невинность изумлять,
 Пугать отчаяньем готовым,
 Приятной лестью забавлять,
 Ловить минуту умиления,
 Невинных лет предубеждения
 Умом и страстью побеждать,
 Невольной ласки ожидать,
 Молить и требовать признанья,
 Подслушать сердца первый звук,
 Преследовать любовь, и вдруг
 Добиться тайного свиданья...
 И после ей наедине
 Давать уроки в тишине!

XII.

Как рано мог уж он тревожить
 Сердца кокеток записных³!
 Когда ж хотелось уничтожить
 Ему соперников своих,
 Как он язвительно злословил!
 Какие сети им готовил!
 Но вы, блаженные мужья,
 С ним оставались вы друзья:
 Его ласкал супруг лукавый,
 Фобласа⁴ давний ученик,
 И недоверчивый старик,
 И рогоносец величавый,
 Всегда довольный сам собой,
 Своим обедом и женой.

¹ Публий Овидий Назон – древнеримский поэт, автор поэмы «*Ars amandi*» (Искусство любви). Был сослан на берега Черного моря, где и умер.

² Замечания Пушкина к пропущенным строфам см. в Приложении.

³ Записных – то есть общепризнанных.

⁴ Фоблас – герой любовного романа второй половины XVIII века, написанного французским писателем Луве де-Кувре. Фоблас – легкомысленный дворянин, жизнь которого наполнена беспрерывными любовными похождениями.

XIII. XIV.¹

.....
.....
.....

XV.

Бывало, он еще в постеле:
К нему записочки несут.
Что? Приглашенья? В самом деле,
Три дома на вечер зовут:
Там будет бал, там детский праздник.
Куда ж поскачет мой проказник?
С кого начнет он? Все равно:
Везде поспеть немудрено.
Покамест в утреннем уборе,
Надев широкий *боливар*²,
Онегин едет на бульвар³
И там гуляет на просторе,
Пока недремлющий брегет⁴
Не прозвонит ему обед.

XVI.

Уж темно: в санки он садится.
«Пади, пади!» – раздался крик;⁵

Морозной пылью серебрится
Его бобровый воротник.
К *Talon*⁶ помчался: он уверен,
Что там уж ждет его Каверин⁷.
Вошел: и пробка в потолок,
Вина кометы⁸ брызнул ток;
Пред ним *roast-beef* окровавленный,
И трюфли, роскошь юных лет,
Французской кухни лучший цвет,
И Страсбурга пирог нетленный⁹
Меж сыром лимбургским живым¹⁰
И ананасом золотым.

XVII.

Еще бокалов жажда просит
Залить горячий жир котлет,
Но звон брегета им доносит,
Что новый начался балет.
Театра злой законодатель,
Непостоянный обожатель
Очаровательных актрис,
Почетный гражданин кулис,
Онегин полетел к театру,
Где каждый, вольностью дыша,

¹ См. Приложение.

² *Шляпа à la Bolivar* (прим. П.). Эти шляпы (расширившиеся кверху цилиндры, с довольно большими полями) назывались так в честь Симона Боливара, героя освободительного движения в Латинской Америке.

³ То есть на Невский проспект; до 1820 года посреди него росли липки.

⁴ Часы, не требующие завода, названные по имени французского механика Бреге. Они заводились от движения, сообщаемого ходьбой, и отзванивали время при нажатии на особую пружинку. Потому у Пушкина: «недремлющий». Известно, что часы Бреге были уникальными – мастер не делал точных копий.

⁵ Таким криком разгоняли прохожих перед несущимся экипажем.

⁶ Известный ресторатор (прим. П.).

⁷ П. П. Каверин – гвардейский офицер, лицейский друг Пушкина; в молодости был частым гостем пирушек с участием Пушкина.

⁸ Марка шампанского – *Vin de la comete* (фр.); виноград в 1811 году уродился превосходным, и в этом же году на небе была видна крупная комета.

⁹ Пирог с изрубленной гусиной печенкой, привозимые из Страсбурга в запаянных жестяных коробках.

¹⁰ Сорт мягкого сыра из бельгийского Лимбурга.

Готов охлопать *entrechat*¹,
Обшикать Федру, Клеопатру,
Моину² вызвать (для того,
Чтоб только слышали его).

XVIII.

Волшебный край! там в стары годы,
Сатиры смелый властелин,
Блистал Фонвизин, друг свободы³,
И переимчивый Княжнин⁴;
Там Озеров невольны дани
Народных слез, рукоплесканий⁵
С младой Семеновой⁶ делил;
Там наш Катенин⁷ воскресил
Корнеля⁸ гений величавый;
Там вывел колкий Шаховской⁹
Своих комедий шумный рой,
Там и Дидло¹⁰ венчался славой,
Там, там под сению кулис
Младые дни мои неслись.

XIX.

Мои богини! что вы? где вы?
Внемлите мой печальный глас:
Все те же ль вы? другие ль девы,
Сменив, не заменили вас?
Услышу ль вновь я ваши хоры?
Узрю ли русской Терпсихоры¹¹
Душой исполненный полет?
Иль взор унылый не найдет
Знакомых лиц на сцене скучной,
И, устремив на чуждый свет
Разочарованный лорнет¹²,
Веселья зритель равнодушный,
Безмолвно буду я зевать
И о былом вспоминать?

XX.

Театр уж полон; ложи блещут;
Партер и кресла – все кипит;
В райке¹³ нетерпеливо плещут,

¹ Антраша – легкий прыжок, во время которого танцор успевает скрестить ноги.

² Федра, Моина – роли из классического балетного репертуара.

³ Пушкин называет знаменитого драматурга Д. И. Фонвизина другом свободы за либеральные взгляды, которые тот высказывал в некоторых своих произведениях.

⁴ Творчество драматурга Я. Б. Княжнина носило подражательный характер, поэтому Пушкин называет его переимчивым.

⁵ Патриотические трагедии драматурга В. А. Озерова встречали у публики восторженный прием.

⁶ Екатерина Семенова – знаменитая драматическая актриса первой половины XIX века.

⁷ П. А. Катенин – известный переводчик французских драматургов пушкинского времени.

⁸ Пьер Корнель – один из основоположников французской классической трагедии; жил и творил в XVII веке.

⁹ Князь А. А. Шаховской – популярный драматург пушкинской эпохи, автор множества пьес, в том числе: «Новый Стерн», где был осмеян Карамзин, и «Липецкие воды», где осмеян Жуковский.

¹⁰ Шарль Луи Дидло – вызванный при императоре Павле из Парижа знаменитый балетмейстер, реформатор старого балета.

¹¹ Терпсихора – в Древней Греции муза танцев и хорового пения.

¹² Лорнет – складные очки с ручкой.

¹³ Райк – старое название театральной галерки; верхние места под потолком, которые во французском театре называются «paradis» – рай.

И, взвившись, занавес шумит.
Блистательна, полувоздушна,
Смычку волшебному послушна,
Толпою нимф окружена,
Стоит Истомина¹; она,
Одной ногой касаясь пола,
Другую медленно кружит,
И вдруг прыжок, и вдруг летит,
Летит, как пух от уст Эола²;
То стан совет, то разовьет
И быстрой ножкой ножку бьет.

XXI.

Все хлопает. Онегин входит,
Идет меж кресел по ногам,
Двойной лорнет³ скосясь наводит
На ложи незнакомых дам;
Все ярусы окинул взором,
Все видел: лицами, убором
Ужасно недоволен он;
С мужчинами со всех сторон
Раскланялся, потом на сцену
В большом рассеянье взглянул,
Отворотился – и зевнул,
И молвил: «Всех пора на смену;
Балеты долго я терпел,
Но и Дидло мне надоед».⁴

XXII.

Еще амуры, черти, змеи
На сцене скачут и шумят;

Еще усталые лакеи
На шубах у подъезда спят;⁵
Еще не перестали топтать,
Сморкаться, кашлять, шикать, хлопать;
Еще снаружи и внутри
Везде блистают фонари;
Еще, прозябнув, бьются кони,
Наскуча упряжью своей,
И кучера, вокруг огней,⁶
Бранят господ и бьют в ладони –
А уж Онегин вышел вон;
Домой одеться едет он.

XXIII.

Изобразю ль в картине верной
Уединенный кабинет,
Где мод воспитанник примерный
Одет, раздет и вновь одет?
Все, чем для прихоти обильной
Торгует Лондон щепетильный⁷
И по Балтийским волнам
За лес и сало возит нам,
Все, что в Париже вкус голодный,
Полезный промысел избрав,
Изобретает для забав,
Для роскоши, для неги модной, –
Все украшало кабинет
Философа в осьмнадцать лет.

¹ Авдотья Истомина – выдающаяся петербургская балерина первой половины XIX века.

² Эол в Древней Греции – бог ветров.

³ Двойной лорнет крепился на пальце с помощью кольца.

⁴ Черта охлажденного чувства, достойная Чальд-Гарольда. Балеты г. Дидло исполнены живости воображения и прелести необыкновенной. Один из наших романтических писателей находил в них гораздо более Поэзии, нежели во всей французской литературе (прим. П.).

⁵ Гардеробов в театрах начала XIX века не было, верхнюю одежду сторожили слуги.

⁶ В морозные ночи перед театрами разводили костры, вокруг которых грелись слуги и кучера.

⁷ В пушкинское время щепетильными товарами называли галантерейные изделия.



XXIV.

Янтарь на трубках Цареграда¹,
 Фарфор и бронза на столе,
 И, чувств изнеженных отрада,
 Духи в граненом хрустале;
 Гребенки, пилочки стальные,

Прямые ножницы, кривые
 И щетки тридцати родов
 И для ногтей и для зубов.
 Руссо² (замечу мимоходом)
 Не мог понять, как важный Грим³
 Смел чистить ногти перед ним,

¹ Цареградом на Руси называли Константинополь. Курительные трубки из этого города в пушкинское время весьма ценились.

² Жан-Жак Руссо – французский философ XVIII века, ратовавший за народовластие; поэтому Пушкин и называет его защитником вольности. Отрицательное же отношение Руссо к образованию Пушкин считал сумасбродным.

³ Барон Фридрих Мельхиор Гримм – друг Руссо, энциклопедист.

Красноречивым сумасбродом¹.
Защитник вольности и прав
В сем случае совсем не прав.

XXV.

Быть можно дельным человеком
И думать о красе ногтей:
К чему бесплодно спорить с веком?
Обычай деспот меж людей.
Второй Чадаев², мой Евгений,
Боясь ревнивых осуждений,
В своей одежде был педант
И то, что мы назвали франт.
Он три часа по крайней мере
Пред зеркалами проводил
И из уборной³ выходил
Подобный ветреной Венере,
Когда, надев мужской наряд,
Богиня едет в маскарад.

XXVI.

В последнем вкусе туалетом
Заняв ваш любопытный взгляд,
Я мог бы пред ученым светом
Здесь описать его наряд;
Конечно б это было смело,
Описывать мое же дело:
Но *панталоны, фрак, жилет*,
Всех этих слов на русском нет;
А вижу я, винюсь пред вами,
Что уж и так мой бедный слог
Пестреть гораздо б меньше мог
Иноплеменными словами,

Хоть и заглядывал я встарь
В Академический словарь⁴.

XXVII.

У нас теперь не то в предмете:
Мы лучше поспешим на бал,
Куда стремглав в ямской карете⁵
Уж мой Онегин поскакал.
Перед померкшими домами
Вдоль сонной улицы рядами
Двойные фонари карет
Веселый изливают свет
И радуги на снег наводят;
Усеян площадками кругом,⁶
Блестит великолепный дом;
По цельным окнам тени ходят,
Мелькают профили голов
И дам и модных чудаков.

XXVIII.

Вот наш герой подъехал к сеням;
Швейцара мимо он стрелой
Взлетел по мраморным ступеням,
Расправил волоса рукой,
Вошел. Полна народу зала;
Музыка уж греметь устала;
Толпа мазуркой занята;
Кругом и шум и теснота;
Бренчат кавалергарда⁷ шпоры;
Летают ножки милых дам;
По их пленительным следам
Летают пламенные взоры,
И ревом скрипок заглушен
Ревнивый шепот модных жен.

¹ См. прим. П. в Приложении.

² П. Я Чадаев – писатель, философ и близкий друг Пушкина.

³ Во времена Пушкина уборная – комната для переодеваний.

⁴ Имеется в виду «Словарь Академии российской, по азбучному порядку расположенный»; он издавался с 1806 по 1822 г. См. Приложение.

⁵ Ямскими назывались наемные кареты.

⁶ Во времена Пушкина для освещения фасадов домов использовались металлические тарелочки с маслом и горящими фитилями; их ставили на карнизы.

⁷ Кавалергард — офицер элитного конногвардейского полка.

XXIX.

Во дни веселий и желаний
 Я был от балов без ума:
 Верней нет места для признаний
 И для вручения письма.
 О вы, почтенные супруги!
 Вам предложу свои услуги;
 Прошу мою заметить речь:
 Я вас хочу предостеречь.
 Вы также, маменьки, построже
 За дочерьми смотрите вслед:
 Держите прямо свой лорнет!
 Не то... не то, избави боже!
 Я это потому пишу,
 Что уж давно я не грешу.

XXX.

Увы, на разные забавы
 Я много жизни погубил!
 Но если б не страдали нравы,
 Я балы б до сих пор любил.
 Люблю я бешеную младость,
 И тесноту, и блеск, и радость,
 И дам обдуманый наряд;
 Люблю их ножки; только вряд
 Найдете вы в России целой
 Три пары стройных женских ног.
 Ах! долго я забыть не мог
 Две ножки... Грустный, охладель,
 Я все их помню, и во сне
 Они тревожат сердце мне.

XXXI.

Когда ж и где, в какой пустыне,
 Безумец, их забудешь ты?
 Ах, ножки, ножки! где вы ныне?
 Где мнете вешние цветы?
 Взлелеяны в восточной неге,

На северном, печальном снеге
 Вы не оставили следов:
 Любили мягких вы ковров
 Роскошное прикосновенье.
 Давно ль для вас я забывал
 И жажду славы и похвал,
 И край отцов, и заточенье?
 Исчезло счастье юных лет,
 Как на лугах ваш легкий след.

XXXII.

Дианы¹ грудь, ланиты Флоры²
 Прелестны, милые друзья!
 Однако ножка Терпсихоры
 Прелестней чем-то для меня.
 Она, пророчествуя взгляду
 Неоцененную награду,
 Влечет условною красой
 Желаний своевольный рой.
 Люблю ее, мой друг Эльвина³, (58)
 Под длинной скатертью столов,
 Весной на мураве лугов,
 Зимой на чугуне камина,
 На зеркальном паркете зал,
 У моря на граните скал.

XXXIII.

Я помню море пред грозою:
 Как я завидовал волнам,
 Бегущим бурной чередою
 С любовью лечь к ее ногам!
 Как я желал тогда с волнами
 Коснуться милых ног устами!
 Нет, никогда средь пылких дней
 Кипящей младости моей
 Я не желал с таким мученьем
 Лобзать уста молодых Армид⁴,
 Иль розы пламенных ланит,

¹ Диана – древнеримская богиня охоты.

² Флора – древнеримская богиня цветов и плодов

³ Условно-поэтическое имя, связанное с любовной лирикой.

⁴ Армида – героиня рыцарской поэмы итальянского поэта Торквато Тассо «Освобожденный Иерусалим», обольстительная красавица.

Иль перси¹, полные томленьем;
Нет, никогда порыв страстей
Так не терзал души моей!

XXXIV.

Мне памятно другое время!
В заветных иногда мечтах
Держу я счастливое стремя...
И ножку чувствую в руках;
Опять кипит воображенье,
Опять ее прикосновенье
Зажгло в увявшем сердце кровь,
Опять тоска, опять любовь!..
Но полно прославлять надменных
Болтливой лирою своей;
Они не стоят ни страстей,
Ни песен, ими вдохновенных:
Слова и взор волшебниц сих
Обманчивы... как ножки их.

XXXV.

Что ж мой Онегин? Полусонный
В постелю с бала едет он:
А Петербург неугомонный
Уж барабаном пробужден.
Встает купец, идет разносчик,
На биржу тянется извозчик,
С кувшином охтенка² спешит,
Под ней снег утренний хрустит.
Проснулся утра шум приятный.
Открыты ставни; трубный дым
Столбом восходит голубым,
И хлебник, немец акуратный,
В бумажном колпаке, не раз
Уж отворял свой *васисдас*³.

XXXVI.

Но, шумом бала утомленный
И утро в полночь обратя,
Спокойно спит в тени блаженной
Забав и роскоши дитя.
Проснется за полдень, и снова
До утра жизнь его готова,
Однообразна и пестра.
И завтра то же, что вчера.
Но был ли счастлив мой Евгений,
Свободный, в цвете лучших лет,
Среди блистательных побед,
Среди вседневных наслаждений?
Вотще ли был он средь пиров
Неосторожен и здоров?

XXXVII.

Нет: рано чувства в нем остыли;
Ему наскучил света шум;
Красавицы не долго были
Предмет его привычных дум;
Измены утомить успели;
Друзья и дружба надоели,
Затем, что не всегда же мог
Beef-steaks и страсбургский пирог
Шампанской обливать бутылкой
И сыпать острые слова,
Когда болела голова;
И хоть он был повеса пылкой,
Но разлюбил он наконец
И брань⁴, и саблю, и свинец.

XXXVIII.

Недуг, которого причину
Давно бы отыскать пора,
Подобный английскому *сплину*,

¹ Перси (церк.-слав.) – грудь.

² Охта – район в Петербурге, откуда во времена Пушкина финки разносили молоко, сливки и масло собственного приготовления.

³ Васисдас (*vasistas*) – во французском языке маленькая часть двери или окна, которая открывается или закрывается по желанию. Через нее булочник мог, не отпирая дверей, продавать хлеб покупателям.

⁴ Имеется в виду война (ср. «поле брани»).

Короче: русская хандра
 Им овладела понемногу;
 Он застрелиться, слава богу,
 Попробовать не захотел,
 Но к жизни вовсе охладел.
 Как *Child-Harold*¹, угрюмый, томный
 В гостиных появлялся он;
 Ни сплетни света, ни бостон²,
 Ни милый взгляд, ни вздох
 нескромный,
 Ничто не трогало его,
 Не замечал он ничего.

XXXIX. XL. XLI.³

.....

XLII.

Причудницы большого света!
 Всех прежде вас оставил он;
 И правда то, что в наши лета
 Довольно скучен высший тон;
 Хоть, может быть, иная дама
 Толкует Сея⁴ и Бентама⁵,
 Но вообще их разговор
 Несносный, хоть невинный вздор;
 К тому ж они так непорочны,
 Так величавы, так умны,

Так благочестия полны,
 Так осмотрительны, так точны,
 Так неприступны для мужчин,
 Что вид их уж рождает *сплин*⁶.

XLIII.

И вы, красотки молодые,
 Которых позднею порой
 Уносят дрожки удалые
 По петербургской мостовой,
 И вас покинул мой Евгений.
 Отступник бурных наслаждений,
 Онегин дома заперся,
 Зевая, за перо взялся,
 Хотел писать – но труд упорный
 Ему был тошен; ничего
 Не вышло из пера его,
 И не попал он в цех зазорный
 Людей, о коих не сужу,
 Затем, что к ним принадлежу.

XLIV.

И снова, преданный безделью,
 Томясь душевной пустотой,
 Уселся он – с похвальной целью
 Себе присвоить ум чужой;
 Отрядом книг уставил полку,
 Читал, читал, а все без толку:
 Там скука, там обман иль бред;

¹ Чайльд-Гарольд – герой романа Байрона; разочарованный молодой аристократ, презыщенный жизнью.

² Бостон – распространенная в XIX веке карточная игра.

³ Пропуски некоторых строф в романе являются композиционным приемом. Текста этих строф нет в черновиках.

⁴ Жан-Батист Сэй – французский экономист, чьи работы в переводах читали в России того времени.

⁵ Иеремия Бентам – английский философ и правовед конца XVIII – начала XIX века.

⁶ Вся сия ироническая строфа не что иное, как тонкая похвала прекрасным нашим соотечественникам. Так Буало, под видом укоризны, хвалит Людовика XIV. Наши дамы соединяют просвещение с любезностью и строгую чистоту нравов с этою восточною прелестью, столь пленившей 2-жу Сталь (См. *Dix ans d'exil*) (Прим. П.).

В том совести, в том смысла нет;
На всех различные вериги¹;
И устарела старина,
И старым бредит новизна.
Как женщин, он оставил книги,
И полку, с пыльной их семьей,
Задержнул траурной тафтой².

XLV.

Условий света свергнув бремя,
Как он, отстав от суеты,
С ним подружился я в то время.
Мне нравились его черты,
Мечтам невольная преданность,
Неподражательная странность
И резкий, охлажденный ум.
Я был озлоблен, он утрюм;
Страстей игру мы знали оба;
Томила жизнь обоих нас;
В обоих сердца жар угас;
Обоих ожидала злоба
Слепой Фортуны и людей
На самом утре наших дней.

XLVI.

Кто жил и мыслил, тот не может
В душе не презирать людей;
Кто чувствовал, того тревожит
Призрак невозвратимых дней:
Тому уж нет очарований,
Того змия воспоминаний,
Того раскаянье грызет.

Все это часто придает
Большую прелесть разговору.
Сперва Онегина язык
Меня смущал; но я привык
К его язвительному спору,
И к шутке, с желчью пополам,
И злости мрачных эпиграм.

XLVII.

Как часто летнею порою,
Когда прозрачно и светло
Ночное небо над Невую³
И вод веселое стекло
Не отражает лик Дианы⁴,
Вспомня прежних лет романы,
Вспомня прежнюю любовь,
Чувствительны, беспечны вновь,
Дыханьем ночи благосклонной
Безмолвно упивались мы!
Как в лес зеленый из тюрьмы
Перенесен колодник сонный,
Так уносились мы мечтой
К началу жизни молодой.

XLVIII.

С душою, полной сожалений,
И опершись на гранит,
Стоял задумчиво Евгений,
Как описал себя пиит.⁵
Все было тихо; лишь ночные
Перекликались часовые,
Да дробек отдаленный стук

¹ Вериги – цепи, которые носили на теле религиозные аскеты; имеются в виду умственные или духовные оковы.

² Тафта – тонкая ткань.

³ Читатели помнят прелестное описание петербургской ночи в идиллии Гнедича... (Прим. П.). См. Приложение.

⁴ Лик Дианы – имеется в виду Луна.

⁵ Въявь богиню благосклонну
Зрит восторженный пиит,
Что проводит ночь бессонну,
Опершись на гранит.

(Муравьев. Богине Невы) (Прим. П.). См. Приложение.

С Миллионной¹ раздавался вдруг;
Лишь лодка, веслами махая,
Плыла по дремлющей реке:
И нас пленяли вдалеке
Рожок и песня удалая...
Но слаще, средь ночных забав,
Напев Торкватовых октав!²

XLIX.

Адриатические волны,
О Брента!³ нет, увижу вас
И, вдохновенья снова полный,
Услышу ваш волшебный глас!
Он свят для внуков Аполлона;
По гордой лире Альбиона⁴
Он мне знаком, он мне родной.
Ночей Италии златой
Я негой наслажусь на воле,
С венецианкою младой,
То говорливой, то немой,
Плывя в таинственной гондоле;
С ней обретут уста мои
Язык Петрарки и любви.

L.

Придет ли час моей свободы?
Пора, пора! – взываю к ней;
Брожу над морем,⁵ жду погоды,
Маню ветрила кораблей.⁶
Под ризой бурь, с волнами споря,
По вольному распутью моря
Когда ж начну я вольный бег?⁷
Пора покинуть скучный берег

Мне неприязненной стихии
И средь полуденных зыбей,
Под небом Африки моей,⁸
Вздыхать о сумрачной России,
Где я страдал, где я любил,
Где сердце я похоронил.

LI.

Онегин был готов со мною
Увидеть чуждые страны;
Но скоро были мы судьбою
На долгий срок разведены.
Отец его тогда скончался.
Перед Онегиным собрался
Займодавцев жадный полк.
У каждого свой ум и толк:
Евгений, тяжбы ненавидя,
Довольный жребием своим,
Наследство предоставил им,
Большой потери в том не видя
Иль предузнав издалика
Кончину дяди старика.

LII.

Вдруг получил он в самом деле
От управителя доклад,
Что дядя при смерти в постеле
И с ним проститься был бы рад.
Прочтя печальное посланье,
Евгений тотчас на свиданье
Стремглав по почте поскакал
И уж заранее зевал,
Приготовляясь, денег ради,

¹ Миллионная улица проходит от Лебяжьей канавки до Дворцовой площади.

² Торквато Тассо – итальянский поэт XVI века, написавший октавами поэму «Освобожденный Иерусалим».

³ Брента – река в Италии, впадающая в Венецианский залив.

⁴ Под лирой Альбиона имеется в виду поэзия Байрона. Англию называли Альбионом благодаря цвету меловых береговых скал (лат. *albus* – «белый»).

⁵ Писано в Одессе (Прим. П.).

⁶ Ветрила кораблей – паруса.

⁷ На юге у Пушкина была мысль бежать за границу.

⁸ См. первое издание Евгения Онегина (прим. П.). См. Приложение.

На вздохи, скуку и обман
(И тем я начал мой роман);
Но, прилетев в деревню дяди,
Его нашел уж на столе,
Как дань готовую земле.

LIII.

Нашел он полон двор услуги;
К покойнику со всех сторон
Съезжались недруги и други,
Охотники до похорон.
Покойника похоронили.
Попы и гости ели, пили
И после важно разошлись,
Как будто делом занялись.
Вот наш Онегин – сельский житель,
Заводов, вод, лесов, земель
Хозяин полный, а досель
Порядка враг и расточитель,
И очень рад, что прежний путь
Переменил на что-нибудь.

LIV.

Два дня ему казались новы
Уединенные поля,
Прохлада сумрачной дубровы,
Журчанье тихого ручья;
На третий роща, холм и поле
Его не занимали боле;
Потом уж наводили сон;
Потом увидел ясно он,
Что и в деревне скука та же,
Хоть нет ни улиц, ни дворцов,
Ни карт, ни балов, ни стихов.
Хандра ждала его на страже,
И бегала за ним она,
Как тень иль верная жена.

LV.

Я был рожден для жизни мирной,
Для деревенской тишины;
В глуши звучнее голос лирный,
Живее творческие сны.
Досугам посвящаться невинным,
Брожу над озером пустынным,
И *far niente*¹ мой закон.
Я каждым утром пробужден
Для сладкой неги и свободы:
Читаю мало, долго сплю,
Летучей славы не ловлю.
Не так ли я в былые годы
Провел в бездействии, в тени
Мои счастливейшие дни?

LVI.

Цветы, любовь, деревня, праздность,
Поля! я предан вам душой.
Всегда я рад заметить разность
Между Онегиным и мной,
Чтобы насмешливый читатель
Или какой-нибудь издатель
Замысловатой клеветы,
Сличая здесь мои черты,
Не повторял потом безбожно,
Что намарал я свой портрет,
Как Байрон, гордости поэт,
Как будто нам уж невозможно
Писать поэмы о другом,
Как только о себе самом.

LVII.

Замечу кстати: все поэты –
Любви мечтательной друзья.
Бывало, милые предметы
Мне снились, и душа моя
Их образ тайный сохранила;

¹ *far niente* (итал.) – безделье, ничегонеделание.

Их после муза оживила:
 Так я, беспечен, воспевал
 И деву гор¹, мой идеал,
 И пленниц берегов Салгира².
 Теперь от вас, мои друзья,
 Вопрос нередко слышу я:
 «О ком твоя вздыхает лира?»
 Кому, в толпе ревнивых дев,
 Ты посвятил ее напев?

LVIII.

Чей взор, волнуя вдохновенье,
 Умильной лаской наградил
 Твое задумчивое пенье?
 Кого твой стих боготворил?»
 И, други, никого, ей-богу!
 Любви безумную тревогу
 Я безотрадно испытал.
 Блажен, кто с нею сочетал
 Горячку рифм: он тем удвоил
 Поэзии священный бред,
 Петрарке шествуя вослед,
 А муки сердца успокоил,
 Поймал и славу между тем;
 Но я, любя, был глуп и нем.

LIX.

Прошла любовь, явилась муза,
 И прояснился темный ум.

Свободен, вновь ищу союза
 Волшебных звуков, чувств и дум;
 Пишу, и сердце не тоскует,
 Перо, забывшись, не рисует,
 Близ неоконченных стихов,
 Ни женских ножек, ни голов;
 Погасший пепел уж не вспыхнет,
 Я все грущу; но слез уж нет,
 И скоро, скоро бури след
 В душе моей совсем утихнет:
 Тогда-то я начну писать
 Поэму песен в двадцать пять.

LX.

Я думал уж о форме плана
 И как героя назову;
 Покамест моего романа
 Я кончил первую главу;
 Пересмотрел все это строго:
 Противоречий очень много,
 Но их исправить не хочу.
 Цензуре долг свой заплачу
 И журналистам на съеденье
 Плоды трудов моих отдам:
 Иди же к невиским берегам,
 Новорожденное творенье,
 И заслужи мне славы дань:
 Кривые толки, шум и брань!



¹ Дева гор – героиня «Кавказского пленника»; спасающая пленника черкешенка.

² Салгир – крымская речка; ее «пленницы» – героини «Бахчисарайского фонтана», обитатели гарема Мария и Зарема.



ГЛАВА ВТОРАЯ

О rus!...
 Ног.¹
 О Русь!

I.

Деревня, где скучал Евгений,
 Была прелестный уголок;
 Там друг невинных наслаждений
 Благословить бы небо мог.
 Господский дом уединенный,
 Горой от ветров огражденный,
 Стоял над речкою. Вдали
 Пред ним пестрели и цвели
 Луга и нивы золотые,
 Мелькали селы; здесь и там
 Стада бродили по лугам,
 И сени расширял густые
 Огромный, запущенный сад,
 Приют задумчивых дриад².

II.

Почтенный замок был построен,
 Как замки строиться должны:
 Отменно прочен и спокоен
 Во вкусе умной старины.
 Везде высокие покои,
 В гостиной штофные обои³,
 Царей портреты на стенах,

И печи в пестрых изразцах.
 Все это ныне обветшало,
 Не знаю, право, почему;
 Да, впрочем, другу моему
 В том нужды было очень мало,
 Затем, что он равно зевал
 Среди модных и старинных зал.

III.

Он в том покое поселился,
 Где деревенский старожил
 Лет сорок с ключницей⁴ бранился,
 В окно смотрел и мух давил.
 Все было просто: пол дубовый,
 Два шкафа, стол, диван пуховый,
 Нигде ни пятнышка чернил.
 Онегин шкафы отворил;
 В одном нашел тетрадь расхода,
 В другом наливки целый строй,
 Кувшины с яблочной водой⁵
 И календарь осьмого года:
 Старик, имея много дел,
 В иные книги не глядел.

¹ О, деревня! Гораций (лат.). В переводе у Пушкина игра на созвучии слов.

² Дриады в древнегреческой мифологии – лесные древесные нимфы.

³ Обои из шелковой ткани; (от нем. Stoff – материал, ткань).

⁴ Ключница – управляющая, хранящая все ключи дома.

⁵ Яблочная вода (фр. eau-de-pomme) – слабоалкогольный напиток, сидр.

IV.

Один среди своих владений,
 Чтоб только время проводить,
 Сперва задумал наш Евгений
 Порядок новый учредить.
 В своей глуши мудрец пустынный,
 Ярем¹ он барщины² старинной
 Оброком³ легким заменил;
 И раб судьбу благословил.
 За то в углу своем надулся,
 Увидя в этом страшный вред,
 Его расчетливый сосед;
 Другой лукаво улыбнулся
 И в голос все решили так,
 Что он опаснейший чужак.

V.

Сначала все к нему езжали;
 Но так как с заднего крыльца
 Обыкновенно подавали
 Ему донского жеребца,
 Лишь только вдоль большой дороги
 Заслышат их домашни дроги⁴, –
 Поступком оскорбясь таким,
 Все дружбу прекратили с ним.
 «Сосед наш неуч; сумасбродит;
 Он фармазон⁵; он пьет одно
 Стаканом красное вино;
 Он дамам к ручке не подходит;
 Все *да да нет*; не скажет *да-с*
 Иль *нет-с*». Таков был общий глас.

VI.

В свою деревню в ту же пору
 Помещик новый прискакал
 И столь же строгому разбору
 В соседстве повод подавал:
 По имени Владимир Ленский,
 С душою прямо геттингенской⁶,
 Красавец, в полном цвете лет,
 Поклонник Канта⁷ и поэт.
 Он из Германии туманной⁸
 Привез учености плоды:
 Вольнолюбивые мечты,
 Дух пылкий и довольно странный,
 Всегда восторженную речь
 И кудри черные до плеч.

VII.

От холодного разврата света
 Еще увянуть не успев,
 Его душа была согрета
 Приветом друга, лаской дев;
 Он сердцем милый был невежда,
 Его лелеяла надежда,
 И мира новый блеск и шум
 Еще пленяли юный ум.
 Он забавлял мечтою сладкой
 Сомненья сердца своего;
 Цель жизни нашей для него
 Была заманчивой загадкой,
 Над ней он голову ломал
 И чудеса подозревал.

¹ Ярем – старинная форма слова «ярмо».

² Барщина – принудительный труд крестьян на полях помещиков.

³ Оброк – плата деньгами или продуктами, за которую крепостные получали право заниматься ремеслами или промыслами.

⁴ Дроги – повозка.

⁵ Искаженное «франк-массон», то есть член масонской ложи; вольнодумец, бунтарь, опасная личность.

⁶ Выпускники немецкого Геттингенского университета слыли либералами; среди них было немало романтически настроенных любителей поэзии.

⁷ Иммануил Кант – выдающийся немецкий философ XVIII века.

⁸ Намек не на климат, а на сложные конструкции идеалистической философии в Германии того времени.



VIII.

Он верил, что душа родная
Соединиться с ним должна,
Что, безотрадно изнывая,
Его вседневно ждет она;
Он верил, что друзья готовы
За честь его приять оковы,
И что не дрогнет их рука
Разбить сосуд клеветника;
Что есть избранные судьбами,
Людей священные друзья;
Что их бессмертная семья
Неотразимыми лучами
Когда-нибудь нас озарит
И мир блаженством одарит.

IX.

Негодование, сожаленье,
Ко благу чистая любовь
И славы сладкое мученье
В нем рано волновали кровь.
Он с лирой странствовал на свете;
Под небом Шиллера и Гете
Их поэтическим огнем
Душа воспламенилась в нем;
И муз возвышенных искусства,
Счастливцев, он не постыдил:
Он в песнях гордо сохранил
Всегда возвышенные чувства,
Порывы девственной мечты
И прелесть важной простоты.

X.

Он пел любовь, любви послушный,
И песнь его была ясна,
Как мысли девы простодушной,
Как сон младенца, как луна
В пустынях неба безмятежных,
Богиня тайн и вздохов нежных.
Он пел разлуку и печаль,
И нечто, и туманну даль,
И романтические розы;
Он пел те дальние страны,
Где долго в лоно тишины
Лились его живые слезы;

Он пел поблеклый жизни цвет
Без малого в осьмнадцать лет.

XI.

В пустыне, где один Евгений
Мог оценить его дары,
Господ соседственных селений
Ему не нравились пиры;
Бежал он их беседы шумной.
Их разговор благоразумный
О сенокосе, о вине,
О псарне, о своей родне,
Конечно, не блистал ни чувством,
Ни поэтическим огнем,
Ни остротою, ни умом,
Ни общежития искусством;
Но разговор их милых жен
Гораздо меньше был умен.

XII.

Богат, хорош собою, Ленский
Везде был принят как жених;
Таков обычай деревенской;
Все дочек прочили своих
За полурусского соседа;
Взойдет ли он, тотчас беседа
Заводит слово стороной
О скуке жизни холостой;
Зовут соседа к самовару,
А Дуня разливает чай;
Ей шепчут: «Дуня, примечай!»
Потом приносят и гитару:
И запищит она (бог мой!):
*Приди в чертог ко мне златой!..*¹

XIII.

Но Ленский, не имев, конечно,
Охоты узы брака несть,
С Онегиным желал сердечно
Знакомство покороче свести.

Они сошлись. Волна и камень,
Стихи и проза, лед и пламень
Не столь различны меж собой.
Сперва взаимной разнотой
Они друг другу были скучны;
Потом понравились; потом
Съезжались каждый день верхом
И скоро стали неразлучны.
Так люди (первый каюсь я)
От *делать нечего* друзья.

XIV.

Но дружбы нет и той меж нами.
Все предрассудки истребя,
Мы почитаем всех нулями,
А единицами – себя.
Мы все глядим в Наполеоны;
Двуногих тварей миллионы
Для нас орудие одно;
Нам чувство дико и смешно.
Сноснее многих был Евгений;
Хоть он людей, конечно, знал,
И вообще их презирал, –
Но (правил нет без исключений)
Иных он очень отличал
И вчуже² чувство уважал.

XV.

Он слушал Ленского с улыбкой.
Поэта пылкий разговор,
И ум еще в сужденьях зыбкой,
И вечно вдохновенный взор, –
Онегину все было ново;
Он охладительное слово
В устах старался удержать
И думал: глупо мне мешать
Его минутному блаженству;
И без меня пора придет;
Пускай покамест он живет
Да верит мира совершенству;

¹ Из первой части Днепровской русалки (Прим. П.). Имеется в виду популярная ария из переложенной на русский язык немецкой оперы «Фея Дуная».

² Вчуже – со стороны, отчужденно.

ЕО ВЛ

Простим горячке юных лет
И юный жар и юный бред.

XVI.

Меж ими все рождало споры
И к размышлению влекло:
Племен минувших договоры,
Плоды наук, добро и зло,
И предрассудки вековые,
И гроба тайны роковые,
Судьба и жизнь в свою чреду,
Все подвергалось их суду.
Поэт в жару своих суждений
Читал, забывшись, между тем
Отрывки северных поэм,
И снисходительный Евгений,
Хоть их не много понимал,
Прилежно юноше внимал.

XVII.

Но чаще занимали страсти
Умы пустынников моих.
Ушед от их мятежной власти,
Онегин говорил об них
С невольным вздохом сожаленья:

Блажен, кто ведал их волненья
И наконец от них отстал;
Блаженней тот, кто их не знал,
Кто охлаждал любовь – разлукой,
Вражду – злословием; порой
Зевал с друзьями и с женой,
Ревнивой не тревожась мукой,
И дедов верный капитал
Коварной двойке не вверял.¹

XVIII.

Когда прибегнем мы под знамя
Благоразумной тишины,
Когда страстей угаснет пламя,
И нам становятся смешны
Их своеволие иль порывы
И запоздалые отзывы, –
Смиранные не без труда,
Мы любим слушать иногда
Страстей чужих язык мятежный,
И нам он сердце шевелит.
Так точно старый инвалид²
Охотно клонит слух прилежный
Рассказам юных усачей,
Забитый в хижине своей.

XIX.

Зато и пламенная младость
Не может ничего скрывать.
Вражду, любовь, печаль и радость
Она готова разболтать.
В любви считаясь инвалидом,
Онегин слушал с важным видом,
Как, сердца исповедь любя,
Поэт высказывал себя;
Свою доверчивую совесть
Он простодушно обнажал.
Евгений без труда узнал
Его любви младую повесть,

Обильный чувствами рассказ,
Давно не новыми для нас.

XX.

Ах, он любил, как в наши лета
Уже не любят; как одна
Безумная душа поэта
Еще любить осуждена:
Всегда, везде одно мечтанье,
Одно привычное желанье,
Одна привычная печаль.
Ни охлаждающая даль,
Ни долгие лета разлуки,
Ни музам данные часы,
Ни чужеземные красы,
Ни шум веселий, ни науки
Души не изменили в нем,
Согретой девственным огнем.

XXI.

Чуть отрок, Ольгою плененный,
Сердечных мук еще не знав,
Он был свидетель умиленный
Ее младенческих забав;
В тени хранительной дубравы
Он разделял ее забавы,
И детям прочили венцы³
Друзья-соседы, их отцы.
В глуши, под сению смиренной,
Невинной прелести полна,
В глазах родителей, она
Цвела, как ландыш потаенный,
Незнаемый в траве глухой
Ни мотыльками, ни пчелой.

XXII.

Она поэту подарила
Младых восторгов первый сон,
И мысль об ней одушевила

¹ То есть не играл в азартные карточные игры.

² В начале XIX века под инвалидами имели в виду и ветеранов.

³ То есть предрекали венчание в церкви.



Его цевницы¹ первый стон.
Простите, игры золотые!
Он рощи полюбил густые,
Уединенье, тишину,
И ночь, и звезды, и луну,
Луну, небесную лампаду,
Которой посвящали мы
Прогулки средь вечерней тьмы,
И слезы, тайных мук отраду...
Но нынче видим только в ней
Замену тусклых фонарей.

XXIII.

Всегда скромна, всегда послушна,
Всегда как утро весела,
Как жизнь поэта простодушна,
Как поцелуй любви мила;
Глаза, как небо, голубые,
Улыбка, локоны льняные,

Движенья, голос, легкий стан,
Все в Ольге... но любой роман
Возьмите и найдете верно
Ее портрет: он очень мил,
Я прежде сам его любил,
Но надоел он мне безмерно.
Позвольте мне, читатель мой,
Заняться старшею сестрой.

XXIV.

Ее сестра звалась Татьяна...²
Впервые именем таким
Страницы нежные романа
Мы своевольно освятим.
И что ж? оно приятно, звучно;
Но с ним, я знаю, неразлучно
Воспоминанье старины
Иль девичьей! Мы все должны
Признаться: вкусу очень мало

¹ Цевница (церк.-слав.) – свирель; в данном случае символ романтической поэзии.

² Сладкозвучнейшие греческие имена, каковы, например: Агафон, Филат, Федора, Фекла и проч., употребляются у нас только между простолюдинами (Прим. П.).

У нас и в наших именах
(Не говорим уж о стихах);
Нам просвещение не пристало,
И нам досталось от него
Жеманство, – больше ничего.

XXV.

Итак, она звалась Татьяной.
Ни красотой сестры своей,
Ни свежестью ее румяной
Не привлекла б она очей.
Дика, печальна, молчалива,
Как лань лесная боязлива,
Она в семье своей родной
Казалась девочкой чужой.
Она ласкаться не умела
К отцу, ни к матери своей;
Дитя сама, в толпе детей
Играть и прыгать не хотела
И часто целый день одна
Сидела молча у окна.

XXVI.

Задумчивость, ее подруга
От самых колыбельных дней,
Течение сельского досуга
Мечтами украшала ей.
Ее изнеженные пальцы
Не знали игл; склоняясь на пальцы¹,
Узором шелковым она
Не оживляла полотна.
Охоты властвовать примета,
С послушной куклою дитя
Приготавливается шутя
К приличию – закону света,
И важно повторяет ей
Уроки маменьки своей.

XXVII.

Но куклы даже в эти годы
Татьяна в руки не брала;
Про вести города, про моды



Беседы с нею не вела.
И были детские проказы
Ей чужды: страшные рассказы
Зимою в темноте ночей
Пленили больше сердце ей.
Когда же няня собирала
Для Ольги на широкий луг
Всех маленьких ее подруг,
Она в горелки не играла,
Ей скучен был и звонкий смех,
И шум их ветреных утех.

XXVIII.

Она любила на балконе
Предупреждать зари восход,

¹ Пальцы – деревянная рамка, на которую натягивается ткань для вышивки.

Когда на бледном небосклоне
Звезд исчезает хоровод,
И тихо край земли светлеет,
И, вестник утра, ветер веет,
И всходит постепенно день.
Зимой, когда ночная тень
Полмиром доле обладает,
И доле в праздной тишине,
При отуманенной луне,
Восток ленивый поживает,
В привычный час пробуждена
Вставала при свечах она.

XXIX.

Ей рано нравились романы;
Они ей заменяли все;
Она влюблялася в обманы
И Ричардсона¹ и Руссо.
Отец ее был добрый малый,
В прошедшем веке запоздалый;
Но в книгах не видал вреда;
Он, не читая никогда,
Их почитал пустой игрушкой
И не заботился о том,
Какой у дочки тайный том
Дремал до утра под подушкой.
Жена ж его была сама
От Ричардсона без ума.

XXX.

Она любила Ричардсона
Не потому, чтобы прочла,
Не потому, чтоб Грандисона
Она Ловласу предпочла²;

Но встарину княжна Алина,
Ее московская кузина,
Твердила часто ей об них.
В то время был еще жених
Ее супруг, но по неволе;
Она вздыхала по другом,
Который сердцем и умом
Ей нравился гораздо боле:
Сей Грандисон был славный франт,
Игрок и гвардии сержант.

XXXI.

Как он, она была одета
Всегда по моде и к лицу;
Но, не спросясь ее совета,
Девуцу повезли к венцу.
И чтоб ее рассеять горе,
Разумный муж уехал вскоре
В свою деревню, где она,
Бог знает кем окружена,
Рвалась и плакала сначала,
С супругом чуть не развелась;
Потом хозяйством занялась,
Привыкла и довольна стала.
Привычка свыше нам дана:
Замена счастью она.³

XXXII.

Привычка усладила горе,
Не отразимое ничем;
Открытие большое вскоре
Ее утешило совсем:
Она меж делом и досугом
Открыла тайну, как супругом

¹ Сэмюэл Ричардсон – английский писатель XVIII века, родоначальник жанра сентиментальных романов.

² Грандисон и Ловлас, герои двух славных романов (Прим. П.). Имя последнего персонажа из романа Ричардсона стало нарицательным; ловелас – волокита, соблазнитель женщин.

³ *Si j'avais la folie de croire encore au bonheur, je le chercherais dans l'habitude.* Chateaubriand (Прим. П.). Перевод – Если бы я имел глупость верить еще в счастье, я бы искал его в привычке. Шатобриан (фр.).

Самодержавно управлять,
И все тогда пошло на статью.¹
Она езжала по работам,
Солила на зиму грибы,
Вела расходы, брила лбы²,
Ходила в баню по субботам,
Служанок била осердясь –
Все это мужа не спросясь.

XXXIII.

Бывало, писывала кровью
Она в альбомы нежных дев,³
Звала Полиною Прасковью
И говорила нараспев,
Корсет носила очень узкий,
И русский Н как N французский
Произносить умела в нос;
Но скоро все перевелось:
Корсет, альбом, княжну Алину,
Стишков чувствительных тетрадь
Она забыла: стала звать
Акулькой прежнюю Селину
И обновила наконец
На вате шлафор⁴ и чепец.

XXXIV.

Но муж любил ее сердечно,
В ее затей не входил,
Во всем ей веровал беспечно,
А сам в халате ел и пил;
Покойно жизнь его катилась;
Под вечер иногда сходилась

Соседей добрая семья,
Нецеремонные друзья,
И потужить, и позлословить,
И посмеяться кой о чем.
Проходит время; между тем
Прикажут Ольге чай готовить,
Там ужин, там и спать пора,
И гости едут со двора.

XXXV.

Они хранили в жизни мирной
Привычки милой старины;
У них на масленице жирной
Водились русские блины;
Два раза в год они говели;⁵
Любили круглые качели,
Подблюдны песни⁶, хоровод;
В день Троицын, когда народ
Зевая, слушает молебен,
Умильно на пучок зари⁷
Они роняли слезки три;⁸
Им квас как воздух был потребен,
И за столом у них гостям
Носили блюда по чинам.⁹

XXXVI.

И так они старели оба.
И отворились наконец
Перед супругом двери гроба,
И новый он приял венец.
Он умер в час перед обедом,
Оплаканный своим соседом,

¹ Пошло на статью – пошло на лад.

² Брила лбы – то есть сдавала своих крепостных в солдаты.

³ Автор иронизирует над восторженными стишками, которые часто появлялись в таких альбомах.

⁴ Шлафор – ночной халат.

⁵ Говеть – поститься и посещать все церковные службы, готовясь к исповеди.

⁶ Старинные песни, которые пели девушки над блюдом при гадании.

⁷ Заря или зоря – растение любисток.

⁸ Старинный обряд «плаканья на цветы» был связан с замаливанием грехов.

⁹ По старинному дворянскому обычаю кушанья за столом слуги подавали в порядке старшинства чинов.

Детьми и верною женой
Чистосердечней, чем иной.
Он был простой и добрый барин,
И там, где прах его лежит,
Надгробный памятник гласит:
*Смиренный грешник, Дмитрий Ларин,
Господний раб и бригадир,
Под камнем сим вкушает мир.*

XXXVII.

Своим пенатам¹ возвращенный,
Владимир Ленский посетил
Соседа памятник смиренный,
И вздох он пеплу посвятил;
И долго сердцу грустно было.
*«Poor Yorick!»*² – молвил он уныло, –
Он на руках меня держал.
Как часто в детстве я играл
Его Очаковской медалью!
Он Ольгу прочил за меня,
Он говорил: дождусь ли дня?...»
И, полный искренней печалью,
Владимир тут же начертал
Ему надгробный мадригал³.

XXXVIII.

И там же надписью печальной
Отца и матери, в слезах,
Почтил он прах патриархальный...
Увы! на жизненных браздах
Мгновенной жатвой поколенья,
По тайной воле провиденья,
Восходят, зреют и падут;
Другие им вослед идут...
Так наше ветреное племя
Растет, волнуется, кипит

И к гробу прадедов теснит.
Придет, придет и наше время,
И наши внуки в добрый час
Из мира вытеснят и нас!

XXXIX.

Покамест упивайтесь ею,
Сей легкой жизнью, друзья!
Ее ничтожность разумею
И мало к ней привязан я;
Для призраков закрыл я вежды⁴;
Но отдаленные надежды
Тревожат сердце иногда:
Без неприметного следа
Мне было б грустно мир оставить.
Живу, пишу не для похвал;
Но я бы, кажется, желал
Печальный жребий свой прославить,
Чтоб обо мне, как верный друг,
Напомнил хоть единый звук.

XL.

И чье-нибудь он сердце тронет;
И, сохраненная судьбой,
Быть может, в Лете⁵ не потонет
Строфа, слогаемая мной;
Быть может (лестная надежда!)
Укажет будущий невежда
На мой прославленный портрет
И молвит: то-то был поэт!
Прими ж мои благодаренья,
Поклонник мирных аонид⁶,
О ты, чья память сохранит
Мои летучие творенья,
Чья благосклонная рука
Потреплет лавры старика!

¹ В Древнем Риме пенаты – божества домашнего очага.

² «Бедный Йорик!» – восклицание Гамлета над черепом юта. (См. Шекспира и Стерна.). (Прим. П.).

³ Мадригал – небольшое стихотворение хвалебного содержания.

⁴ Вежды (устар.) – веки; сомкнуть вежды – закрыть глаза.

⁵ В древнегреческой мифологии Лета – река забвения.

⁶ Аониды в древнегреческой мифологии – музы, покровительствующие искусствам.



ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Elle était fille, elle était amoureuse.¹
*Malfilâtre*²

I.

«Куда? Уж эти мне поэты!»
 – Прощай, Онегин, мне пора.
 «Я не держу тебя; но где ты
 Свои проводишь вечера?»
 – У Лариных. – «Вот это чудно.
 Помилуй! и тебе не трудно
 Там каждый вечер убивать?»
 – Нимало. – «Не могу понять.
 Отселе вижу, что такое:

Во-первых (слушай, прав ли я?),
 Простая, русская семья,
 К гостям усердие большое,
 Варенье, вечный разговор
 Про дождь, про лен,
 про скотный двор...»

II.

– Я тут еще беды не вижу.
 «Да скука, вот беда, мой друг».

¹ Она была девушка, она была влюблена (фр.).

² Шарль Луи Мальфилатр – французский поэт XVIII века.

– Я модный свет ваш ненавижу;
Милее мне домашний круг,
Где я могу... – «Опять эклога!»¹
Да полно, милый, ради бога.
Ну что ж? ты едешь: очень жаль.
Ах, слушай, Ленский; да нельзя ль
Увидеть мне Филлиду² эту,
Предмет и мыслей, и пера,
И слез, и рифм et cetera³?..
Представь меня». – Ты шутишь.
– «Нету».
– Я рад. – «Когда же?» – Хоть сейчас.
Они с охотой примут нас.

III.

Поедем. –
Поскакали други,
Явились; им расточены
Порой тяжелые услуги
Гостеприимной старины.
Обряд известный угощения:
Несут на блюдечках варенья,
На столик ставят вощаной⁴
Кувшин с брусничною водой.

.....
.....
.....
.....
.....
.....

IV.

Они дорогой самой краткой
Домой летят во весь опор.⁵
Теперь послушаем украдкой
Героев наших разговор:
– Ну что ж, Онегин? ты зеваешь. –
– «Привычка, Ленский». – Но скучаешь
Ты как-то больше. – «Нет, равно.
Однако в поле уж темно;
Скорей! пошел, пошел, Андрюшка!
Какие глупые места!
А кстати: Ларина проста,
Но очень милая старушка;
Боюсь: брусничная вода
Мне не наделала б вреда.

V.

Скажи: которая Татьяна?»
– Да та, которая, грустна
И молчалива, как Светлана⁶,
Вошла и села у окна. –
«Неужто ты влюблен в меньшую?»
– А что? – «Я выбрал бы другую,
Когда б я был, как ты, поэт.
В чертах у Ольги жизни нет.
Точь-в-точь в Вандиковой Мадоне⁷:
Кругла, красна лицом она,
Как эта глупая луна
На этом глупом небосклоне».
Владимир сухо отвечал
И после во весь путь молчал.

¹ Эклога в античной поэзии – сцена из пастушеской жизни.

² Филлида – имя, распространенное в античной идиллической поэзии.

³ Et cetera (лат.) – и так далее.

⁴ Подразумевается натертая воском скатерть поверх столика.

⁵ В прежнем издании, вместо домой летят, было ошибкою напечатано зимой летят (что не имело никакого смысла). Критики, того не разобрав, находили анахронизм в следующих строфах. Смеем уверить, что в нашем романе время расчислено по календарю (Прим. II).

⁶ Имеется в виду романтически настроенная героиня одноименной баллады Жуковского.

⁷ Вариант в рукописи – «Как в Рафаелевой Мадоне». Вряд ли Пушкин имел в виду конкретную картину Ван-Дейка.

VI.

Меж тем Онегина явленье
 У Лариных произвело
 На всех большое впечатленье
 И всех соседей развлекало.
 Пошла догадка за догадкой.
 Все стали толковать украдкой,
 Шутить, судить не без греха,
 Татьяне прочить жениха;
 Иные даже утверждали,
 Что свадьба слажена совсем,
 Но остановлена затем,
 Что модных колец не достали.
 О свадьбе Ленского давно
 У них уж было решено.

VII.

Татьяна слушала с досадой
 Такие сплетни; но тайком
 С неизъяснимою отрадой
 Невольно думала о том;
 И в сердце дума заронила;
 Пора пришла, она влюбилась.
 Так в землю падшее зерно
 Весны огнем оживлено.
 Давно ее воображенье,
 Сгорая негой и тоской,
 Алкало¹ пищи роковой;
 Давно сердечное томленье
 Теснило ей младую грудь;
 Душа ждала... кого-нибудь,

VIII.

И дождалась... Открылись очи;
 Она сказала: это он!

Увы! теперь и дни и ночи,
 И жаркий одинокий сон,
 Все полно им; все дева милой
 Без умолку волшебной силой
 Твердит о нем. Докучны ей
 И звуки ласковых речей,
 И взор заботливой прислуги.
 В уныние погружена,
 Гостей не слушает она
 И проклиная их досуги,
 Их неожиданный приезд
 И продолжительный присест.

IX.

Теперь с каким она вниманьем
 Читает сладостный роман,
 С каким живым очарованьем
 Пьет обольстительный обман!
 Счастливой силою мечтанья
 Одушевленные созданья,
 Любовник Юлии Вольмар²,
 Малек-Адель и де Линар,
 И Вертер³, мученик мятежный,
 И бесподобный Грандисон⁴,
 Который нам наводит сон, –
 Все для мечтательницы нежной
 В единый образ облеклись,
 В одном Онегине слились.

X.

Воображаясь героиней
 Своих возлюбленных творцов,
 Кларисой⁵, Юлией, Дельфиной⁶,
 Татьяна в тишине лесов
 Одна с опасной книгой бродит,

¹ Алкать (устр.) – желать, жаждасть.

² Юлия – героиня популярного романа Жан-Жака Руссо «Новая Элоиза».

³ Вертер – герой романа Гете, кончающий жизнь самоубийством из-за несчастной любви.

⁴ Малек-Адель, герой посредственного романа M-me Cottin. Густав де Линар, герой прелестной повести баронессы Крюднер (Прим. П).

⁵ Кларисса – героиня одного из романов Грандисона.

⁶ Дельфина – героиня французской писательницы Жермены де-Сталь.

Она в ней ищет и находит
Свой тайный жар, свои мечты,
Плоды сердечной полноты,
Вдыхает и, себе присвоя
Чужой восторг, чужую грусть,
В забвенье шепчет наизусть
Письмо для милого героя...
Но наш герой, кто б ни был он,
Уж верно был не Грандисон.

XI.

Свой слог на важный лад настроя,
Бывало, пламенный творец
Являл нам своего героя
Как совершенства образец.
Он одарял предмет любимый,
Всегда несправедливо гонимый,
Душой чувствительной, умом
И привлекательным лицом.
Питая жар чистейшей страсти,
Всегда восторженный герой
Готов был жертвовать собой,
И при конце последней части
Всегда наказан был порок,
Добру достойный был венок.

XII.

А нынче все умы в тумане,
Мораль на нас наводит сон,
Порок любезен – и в романе,
И там уж торжествует он.
Британской музы небылицы
Тревожат сон отроковицы,
И стал теперь ее кумир

Или задумчивый Вампир¹,
Или Мельмот², бродяга мрачный,
Иль вечный жид³, или Корсар⁴,
Или таинственный Сбогар⁵.
Лорд Байрон прихотью удачной
Облек в унылый романтизм
И безнадежный эгоизм.

XIII.

Друзья мои, что ж толку в этом?
Быть может, волею небес,
Я перестану быть поэтом,
В меня вселится новый бес,
И, Фебовы⁶ презрев угрозы,
Унижусь до смиренной прозы;
Тогда роман на старый лад
Займет веселый мой закат.
Не муки тайные злодейства
Я грозно в нем изображаю,
Но просто вам перескажу
Преданья русского семейства,
Любви пленительные сны
Да нравы нашей старины.

XIV.

Перескажу простые речи
Отца иль дяди-старика,
Детей условленные встречи
У старых лип, у ручейка;
Несчастной ревности мученья,
Разлуку, слезы примиренья,
Поссорю вновь, и наконец
Я поведаю их под венец...
Я вспомню речи неги страстной,

¹ Рассказ «Вампир» английского писателя Джона Полидори был опубликован в 1819 году; считается, что он стал первым описанием вампира в литературе.

² «Мельмот Скиталец» – популярный роман английского писателя Чарльза Метьюрина.

³ Имеется в виду иудей Агасфер; этот легендарный персонаж был обречен скитаться до второго пришествия Христа.

⁴ Корсар – морской пират, герой поэмы Байрона.

⁵ Jean Sbogar, известный роман Карла Нодье (Прим. П.).

⁶ Феб – иное имя бога света и поэзии, покровителя муз Аполлона.



В. Савицкий - С. Яковлев

Слова тоскующей любви,
Которые в минувши дни
У ног любовницы прекрасной
Мне приходили на язык,
От коих я теперь отвык.

XV.

Татьяна, милая Татьяна!
С тобой теперь я слезы лью;
Ты в руки модного тирана
Уж отдала судьбу свою.
Погибнешь, милая; но прежде
Ты в ослепительной надежде
Блаженство темное зовешь,
Ты негу жизни узнаешь,
Ты пьешь волшебный яд желаний,
Тебя преследуют мечты:
Везде воображаешь ты
Приюты счастливых свиданий;
Везде, везде перед тобой
Твой искуситель роковой.

XVI.

Тоска любви Татьяну гонит,
И в сад идет она грустить,
И вдруг недвижны очи клонит,
И лень ей далее ступить.
Приподнялася грудь, ланиты
Мгновенным пламенем покрыты,
Дыханье замерло в устах,
И в слухе шум, и блеск в очах...
Настанет ночь; луна обходит
Дозором дальный свод небес,
И соловей во мгле древес
Напевы звучные заводит.
Татьяна в темноте не спит
И тихо с няней говорит:

XVII.

«Не спится, няня: здесь так душно!
Открой окно да сядь ко мне».
– Что, Таня, что с тобой?
– «Мне скучно,
Поговорим о старине».

– О чем же, Таня? Я, бывало,
Хранила в памяти не мало
Старинных былей, небылиц
Про злых духов и про девиц;
А нынче все мне темно, Таня:
Что знала, то забыла. Да,
Пришла худая чередая!
Зашибло... – «Расскажи мне, няня,
Про ваши старые года:
Была ты влюблена тогда?»

XVIII.

– И, полно, Таня! В эти лета
Мы не слыхали про любовь;
А то бы согнала со света
Меня покойница свекровь. –
«Да как же ты венчалась, няня?»
– Так, видно, бог велел. Мой Ваня
Моложе был меня, мой свет,
А было мне тринадцать лет.
Недели две ходила сваха
К моей родне, и наконец
Благословил меня отец.
Я горько плакала со страха,
Мне с плачем косу расплели,
Да с пеньем в церковь повели.¹

XIX.

И вот ввели в семью чужую...
Да ты не слушаешь меня... –
«Ах, няня, няня, я тоскую,
Мне тошно, милая моя:
Я плакать, я рыдать готова!..»
– Дитя мое, ты нездорова;
Господь помилуй и спаси!
Чего ты хочешь, попроси...
Дай окроплю святой водою,
Ты вся горишь... – «Я не больна:
Я... знаешь, няня... влюблена».

– Дитя мое, господь с тобою! –
И няня девушку с мольбой
Крестила дряхлою рукой.

XX.

«Я влюблена», – шептала снова
Старушке с горестью она.
– Сердечный друг, ты нездорова.
«Оставь меня: я влюблена».
И между тем луна сияла
И томным светом озаряла
Татьяны бледные красы,
И распущенные волосы,
И капли слез, и на скамейке
Пред героиней молодой,
С платком на голове седой,
Старушку в длинной телогрейке;
И все дремало в тишине
При вдохновительной луне.

XXI.

И сердцем далеко носилась
Татьяна, смотря на луну...
Вдруг мысль в уме ее родилась...
«Поди, оставь меня одну.
Дай, няня, мне перо, бумагу,
Да стол подвинь; я скоро лягу;
Прости». И вот она одна.
Все тихо. Светит ей луна.
Облокотясь, Татьяна пишет,
И все Евгений на уме,
И в необдуманном письме
Любовь невинной девы дышет.
Письмо готово, сложено..
Татьяна! для кого ж оно?

XXII.

Я знал красавиц недоступных,
Холодных, чистых, как зима,

¹ К этой строфе у Пушкина имелось следующее примечание: «Кто-то спрашивал у старухи: по страсти ли, бабушка, вышла ты замуж. – По страсти, родимый, – отвечала она: – приказчик и староста обещались меня до полусмерти прибить. В старину свадьбы, как суды, обыкновенно были пристрастны».

Неумолимых, неподкупных,
 Непостижимых для ума;
 Дивился я их спеси модной,
 Их добродетели природной,
 И, признаюсь, от них бежал,
 И, мнится, с ужасом читал
 Над их бровями надпись ада:
*Оставь надежду навсегда.*¹
 Внушать любовь для них беда,
 Пугать людей для них отрада.
 Быть может на берегах Невы
 Подобных дам видали вы.

XXIII.

Среди поклонников послушных
 Других причудниц я видал,
 Самолюбиво равнодушных
 Для вздохов страстных и похвал.
 И что ж нашел я с изумленьем?
 Они, суровым поведением
 Пугая робкую любовь,
 Ее привлечь умели вновь
 По крайней мере сожаленьем,
 По крайней мере звук речей
 Казался иногда нежней,
 И с легковерным ослепленьем
 Опять любовник молодой
 Бежал за милой суетой.

XXIV.

За что ж виновнее Татьяна?
 За то ль, что в милой простоте
 Она не ведает обмана
 И верит избранной мечте?
 За то ль, что любит без искусства,
 Послушная влеченью чувства,
 Что так доверчива она,
 Что от небес одарена

Воображением мятежным,
 Умом и волею живой,
 И своенравной головой,
 И сердцем пламенным и нежным?
 Ужели не простите ей
 Вы легкомыслия страстей?

XXV.

Кокетка судит хладнокровно,
 Татьяна любит не шутя
 И предается безусловно
 Любви, как милое дитя.
 Не говорит она: отложим –
 Любви мы цену тем умножим,
 Вернее в сети заведем;
 Сперва тщеславие кольнем
 Надеждой, там недоуменьем
 Измучим сердце, а потом
 Ревнивым оживим огнем;
 А то, скучая наслажденьем,
 Невольник хитрый из оков
 Всечасно вырваться готов.

XXVI.

Еще предвижу затрудненья:
 Родной земли спасая честь,
 Я должен буду, без сомненья,
 Письмо Татьяны перевести.
 Она по-русски плохо знала,²
 Журналов наших не читала
 И выражалась с трудом
 На языке своем родном,
 Итак, писала по-французски...
 Что делать! повторяю вновь:
 Доныне дамская любовь
 Не изъяснялася по-русски,
 Доныне гордый наш язык
 К почтовой прозе не привык.

¹ *Lasciate ogni speranza voi ch'entrate.* С скромный автор наш перевел только первую половину славного стиха. (Прим. П.). Имеется в виду строчка из «Божественной комедии» Данте: «Оставьте всякую надежду, сюда входящие».

² Имеются в виду трудности с письменной формой речи.

XXVII.

Я знаю: дам хотят заставить
 Читать по-русски. Право, страх!
 Могу ли их себе представить
 С «Благонамеренным»¹ в руках!
 Я шлюсь на вас, мои поэты;
 Не правда ль: милые предметы,
 Которым, за свои грехи,
 Писали втайне вы стихи,
 Которым сердце посвящали,
 Не все ли, русским языком
 Владея слабо и с трудом,
 Его так мило искажали,
 И в их устах язык чужой
 Не обратился ли в родной?

XXVIII.

Не дай мне бог сойтись на бале
 Иль при разъезде на крыльце
 С семинаристом в желтой шале
 Иль с академиком в чепце!²
 Как уст румяных без улыбки,
 Без грамматической ошибки
 Я русской речи не люблю.
 Быть может, на беду мою,
 Красавиц новых поколение,
 Журналов вняв молящий глас,
 К грамматике приучит нас;
 Стихи введут в употребленье;

Но я... какое дело мне?
 Я верен буду старине.

XXIX.

Неправильный, небрежный лепет,
 Неточный выговор речей
 По-прежнему сердечный трепет
 Произведут в груди моей;
 Раскаться во мне нет силы,
 Мне галлицизмы³ будут милы,
 Как прошлой юности грехи,
 Как Богдановича⁴ стихи.
 Но полно. Мне пора заняться
 Письмом красавицы моей;
 Я слово дал, и что ж? ей-ей
 Теперь готов уж отказаться.
 Я знаю: нежного Парни⁵
 Перо не в моде в наши дни.

XXX.

Певец Пиров и грусти томной,⁶
 Когда б еще ты был со мной,
 Я стал бы просьбою нескромной
 Тебя тревожить, милый мой:
 Чтоб на волшебные напевы
 Переложил ты страстной девы
 Иноплеменные слова.
 Где ты? приди: свои права
 Передаю тебе с поклоном...
 Но посреди печальных скал,

¹ Журнал, некогда издаваемый покойным А. Измайловым довольно неисправно. Издатель однажды печатно извинялся перед публикою тем, что он на праздниках гулял (Прим. П.).

² Семинарист в шали и академик в чепце – имеются в виду женщины.

³ Галлицизмы – слова и обороты речи, заимствованные или происходящие из французского языка.

⁴ Ипполит Богданович – поэт второй половины XVIII века, автор популярной в поэмы «Душенька», вольного изложения романа Лафонтена «Любовь Психеи и Купидона».

⁵ Эварист Парни – французский поэт второй половины XVIII века, автор многочисленных элегий, мастер любовной лирики.

⁶ Е. А. Баратынский (Прим. П.). Пушкин высоко ценил его поэзию и считал близким другом.

Отвыкнув сердцем от похвал,
Один, под финским небосклоном,¹
Он бродит, и душа его
Не слышит горя моего.

XXXI.

Письмо Татьяны предо мною;
Его я свято берегу,
Читаю с тайною тоскою
И начитаться не могу.

Кто ей внушал и эту нежность,
И слов любезную небрежность?
Кто ей внушал умильный вздор,
Безумный сердца разговор,
И увлекательный и вредный?
Я не могу понять. Но вот
Неполный, слабый перевод,
С живой картины список бледный
Или разыгранный Фрейшиц²
Перстами робких учениц:

Письмо Татьяны к Онегину³

Я к вам пишу – чего же боле?
Что я могу еще сказать?
Теперь, я знаю, в вашей воле
Меня презреньем наказать.
Но вы, к моей несчастной доле
Хоть каплю жалости храня,
Вы не оставите меня.
Сначала я молчать хотела;
Поверьте: моего стыда
Вы не узнали б никогда,
Когда б надежду я имела
Хоть редко, хоть в неделю раз
В деревне нашей видеть вас,
Чтоб только слышать ваши речи,
Вам слово молвить, и потом
Все думать, думать об одном
И день и ночь до новой встречи.
Но, говорят, вы нелюдим;
В глуши, в деревне все вам скучно,
А мы... ничем мы не блесним,
Хоть вам и рады простодушно.

Зачем вы посетили нас?
В глуши забытого селенья
Я никогда не знала б вас,
Не знала б горького мученья.
Души неопытной волненья
Смирив со временем (как знать?),
По сердцу я нашла бы друга,
Была бы верная супруга
И добродетельная мать.

Другой!.. Нет, никому на свете
Не отдала бы сердца я!
То в вышнем суждено совете...
То воля неба: я твоя;
Вся жизнь моя была залогом
Свиданья верного с тобой;
Я знаю, ты мне послан богом,
До гроба ты хранитель мой...
Ты в сновиденьях мне являлся,
Незримый, ты мне был уж мил,
Твой чудный взгляд меня томил,
В душе твой голос раздавался

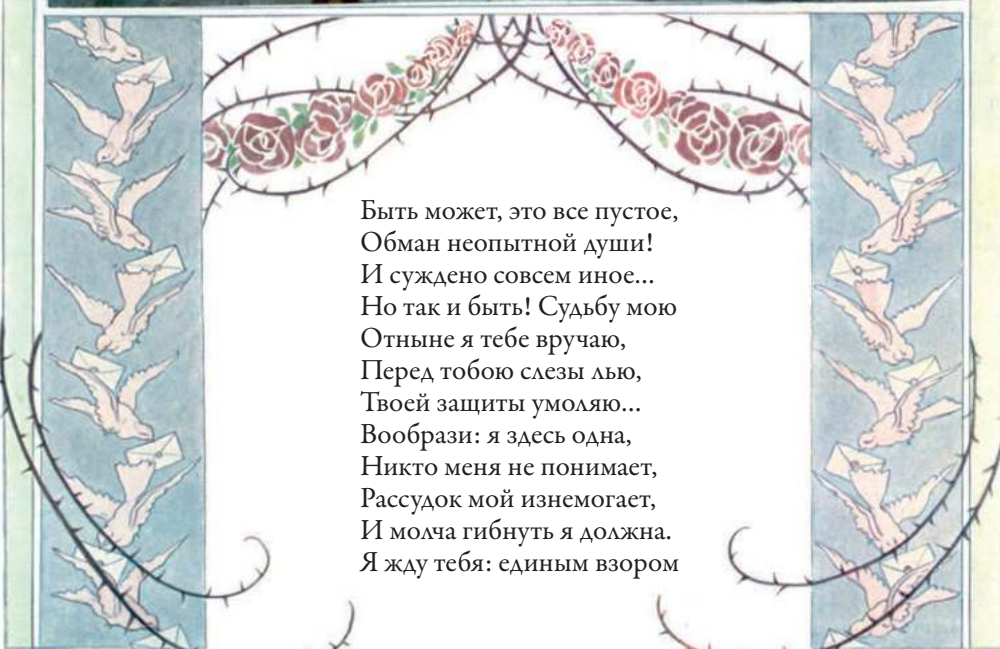
¹ С 1820 по 1826 год Баратынский находился на военной службе в Финляндии.

² Фрейшиц (нем. Freischütz) – опера Карла Вебера «Вольный стрелок», ставшая популярной во время написания «Евгения Онегина».

³ «Автор сказывал, что он долго не мог решиться, как заставить писать Татьяну без нарушения женской личности и правдоподобия в слог: от страха сбиться на академическую оду, думал он написать письмо прозой, думал даже написать его по-французски; но наконец счастливое вдохновение пришло кстатти, и сердце женское запросто и свободно заговорило русским языком» (Кн. П. А. Вяземский).

Давно... нет, это был не сон!
Ты чуть вошел, я вмиг узнала,
Вся обомлела, запылала
И в мыслях молвила: вот он!
Не правда ль? я тебя слыхала:
Ты говорил со мной в тиши,
Когда я бедным помогала
Или молитвой улаждала
Тоску волнуемой души?

И в это самое мгновенье
Не ты ли, милос виденье,
В прозрачной темноте мелькнул,
Приникнул тихо к изголовью?
Не ты ль, с отрадой и любовью,
Слова надежды мне шепнул?
Кто ты, мой ангел ли хранитель,
Или коварный искушитель:
Мои сомненья разреши.



Быть может, это все пустое,
Обман неопытной души!
И суждено совсем иное...
Но так и быть! Судьбу мою
Отныне я тебе вручаю,
Перед тобою слезы лью,
Твоей защиты умоляю...
Вообрази: я здесь одна,
Никто меня не понимает,
Рассудок мой изнемогает,
И молча гибнуть я должна.
Я жду тебя: единым взором

Надежды сердца оживи
Иль сон тяжелый перерви,
Увы, заслуженным укором!

Кончаю! Страшно перечесть...
Стыдом и страхом замираю...
Но мне порукой ваша честь,
И смело ей себя вверяю...

XXXII.

Татьяна то вздохнет, то охнет;
Письмо дрожит в ее руке;
Облатка¹ розовая сохнет
На воспаленном языке.
К плечу головушкой склонилась,
Сорочка легкая спустилась
С ее прелестного плеча...
Но вот уж лунного луча
Сиянье гаснет. Там долина
Сквозь пар яснеет. Там поток
Засеребрился; там рожок
Пастуший будит селянина.
Вот утро: встали все давно,
Моей Татьяне все равно.

XXXIII.

Она зари не замечает,
Сидит с поникшею главой
И на письмо не напирает
Своей печати вырезной.
Но, дверь тихонько отпирая,
Уж ей Филиппевна седая
Приносит на подносе чай.
«Пора, дитя мое, вставай:
Да ты, красавица, готова!
О пташка ранняя моя!
Вечор уж как боялась я!
Да, слава богу, ты здорова!
Тоски ночной и следу нет,
Лицо твое как маков цвет».

XXXIV.

– Ах! няня, сделай одолжение. –
«Изволь, родная, прикажи».
– Не думай... право... подозренье...
Но видишь... ах! не откажи. –
«Мой друг, вот бог тебе порука».
– Итак пошли тихонько внука
С запиской этой к О... к тому...
К соседу... да велеть ему,
Чтоб он не говорил ни слова,
Чтоб он не называл меня... –
«Кому же, милая моя?
Я нынче стала бестолкова.
Кругом соседей много есть;
Куда мне их и перечесть».

XXXV.

– Как недогадлива ты, няня! –
«Сердечный друг, уж я стара,
Стара; тупеет разум, Таня;
А то, бывало, я востра,
Бывало, слово барской воли...»
– Ах, няня, няня! до того ли?
Что нужды мне в твоём уме?
Ты видишь, дело о письме
К Онегину. – «Ну, дело, дело.
Не гневайся, душа моя,
Ты знаешь, непонятна я...
Да что ж ты снова побледнела?»
– Так, няня, право ничего.
Пошли же внука своего.

XXXVI.

Но день протек, и нет ответа.
Другой настал: все нет как нет.
Бледна, как тень, с утра одета,
Татьяна ждет: когда ж ответ?
Приехал Ольгин обожатель.
«Скажите: где же ваш приятель?
Ему вопрос хозяйки был. –

¹ Облатка – специальный кружок для заклеивания письма.



Он что-то нас совсем забыл».
Татьяна, вспыхнув, задрожала.
– Сегодня быть он обещал, –
Старушке Ленский отвечал, –
Да, видно, почта задержала. –
Татьяна потупила взор,
Как будто слыша злой укор.

XXXVII.

Смеркалось; на столе блистая,
Шипел вечерний самовар,
Китайской чайник нагревая;
Под ним клубился легкий пар.
Разлитый Ольгиной рукою,

По чашкам темною струею
Уже душистый чай бежал,
И сливки мальчик подавал;
Татьяна пред окном стояла,
На стекла холодные дыша,
Задумавшись, моя душа,
Прелестным пальчиком писала
На отуманенном стекле
Заветный вензель *О да Е*.

XXXVIII.

И между тем душа в ней ныла,
И слез был полон томный взор.
Вдруг топот!.. кровь ее застыла.

Вот ближе! скажут... и на двор
Евгений! «Ах!» – и легче тени
Татьяна прыг в другие сени,
С крыльца на двор, и прямо в сад,
Летит, летит; взглянуть назад
Не смеет; мигом обежала
Куртины¹, мостики, лужок,
Аллею к озеру, лесок,
Кусты сирен переломала,
По цветникам летя к ручью.
И, задыхаясь, на скамью

XXXIX.

Упала...

«Здесь он! здесь Евгений!

О боже! что подумал он!»
В ней сердце, полное мучений,
Хранит надежды темный сон;
Она дрожит и жаром пышет,
И ждет: нейдет ли? Но не слышит.
В саду служанки, на грядках,
Сбирали ягоду в кустах
И хором по наказу пели
(Наказ, основанный на том,
Чтоб барской ягоды тайком
Уста лукавые не ели
И пеньем были заняты:
Затея сельской остроты!).

Песня девушек²

Девицы, красавицы,
Душеньки, подруженьки,
Разыграйтесь, девицы
Разгуляйтесь, милые!
Затяните песенку,
Песенку заветную,
Заманите молодца
К хороводу нашему,
Как заманим молодца,
Как завидим издали,

Разбежимтесь, милые,
Закидаем вишеньем,
Вишеньем, малиною,
Красною смородиной.
Не ходи подслушивать
Песенки заветные,
Не ходи подсматривать
Игры наши девичьи.

XL.

Они поют, и, с небреженьем
Внимая звонкий голос их,
Ждала Татьяна с нетерпеньем,
Чтоб трепет сердца в ней затих,
Чтобы прошло ланит пыланье.
Но в персях то же трепетанье,
И не проходит жар ланит,
Но ярче, ярче лишь горит...
Так бедный мотылек и блещет
И бьется радужным крылом,
Пленный школьным шалуном;
Так зайчик в озими трепещет,
Увидя вдруг издалека
В кусты припадного стрелка.

XLI.

Но наконец она вздохнула
И встала со скамьи своей;
Пошла, но только повернула
В аллею, прямо перед ней,
Блистая взорами, Евгений
Стоит подобно грозной тени,
И как огнем обожжена,
Остановилась она.
Но следствия нежданной встречи
Сегодня, милые друзья,
Пересказать не в силах я;
Мне должно после долгой речи
И погулять и отдохнуть:
Докончу после как-нибудь.

¹ Куртина (устар.) – цветочная грядка.

² В черновой рукописи текст песни был другой; см. Приложение.



ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

La morale est dans la nature des choses.¹
Necker.²

I. II. III. IV. V. VI.³ VII.
Чем меньше женщину мы любим,
Тем легче нравимся мы ей
И тем ее вернее губим
Средь обольстительных сетей.
Разврат, бывало, хладнокровный

Наукой славился любовной,
Сам о себе везде трубя
И наслаждаясь не любя.
Но эта важная забава
Достойна старых обезьян⁴
Хваленых дедовских времен:

¹ Нравственность в природе вещей (фр.).

² Жак Неккер – французский политик и финансист XVIII века.

³ О пропущенных строфах см. в Приложении.

⁴ То же писал Пушкин в числе наставлений своему брату Льву (письмо из Кишинева на фр. яз. 1822): «Замечу, что чем менее любят женщину, тем вернее обладание ею. Но такое наслаждение прилично старой обезьяне 18-го века».

Довласов обветшала слава
Со славой красных каблуков
И величавых париков.

VIII.

Кому не скучно лицемерить,
Различно повторять одно,
Стараться важно в том уверить,
В чем все уверены давно,
Все те же слышать возраженья,
Уничтожать предассужденья,
Которых не было и нет
У девочки в тринадцать лет!
Кого не утомят угрозы,
Моления, клятвы, мнимый страх,
Записки на шести листах,
Обманы, сплетни, кольцы, слезы,
Надзоры теток, матерей
И дружба тяжкая мужей!

IX.

Так точно думал мой Евгений.
Он в первой юности своей
Был жертвой бурных заблуждений
И необузданных страстей.
Привычкой жизни избалован,
Одним на время очарован,
Разочарованный другим,
Желаньем медленно томим,
Томим и ветреным успехом,
Внимая в шуме и в тиши
Роптанье вечное души,
Зевоту подавляя смехом:
Вот, как убил он восемь лет
Утратя жизни лучший цвет.

X.

В красавиц он уж не влюблялся,
А волочился как-нибудь;
Откажут – мигом утешался;
Изменят – рад был отдохнуть.
Он их искал без упоенья,

А оставлял без сожаленья,
Чуть помня их любовь и злость.
Так точно равнодушный гость
На *вист*¹ вечерний приезжает,
Садится; кончилась игра:
Он уезжает со двора,
Спокойно дома засыпает
И сам не знает поутру,
Куда поедет ввечеру.

XI.

Но, получив посланье Тани,
Онегин живо тронут был:
Язык девических мечтаний
В нем думы роем возмутил;
И вспомнил он Татьяны милой
И бледный цвет и вид унылый;
И в сладостный, безгрешный сон
Душою погрузился он.
Быть может, чувствий пыл старинный
Им на минуту овладел;
Но обманут он не хотел
Доверчивость души невинной.
Теперь мы в сад перелетим,
Где встретилась Татьяна с ним.

XII.

Минуты две они молчали,
Но к ней Онегин подошел
И молвил: «Вы ко мне писали,
Не отпирайтесь. Я прочел
Души доверчивой признанья,
Любви невинной излианья;
Мне ваша искренность мила;
Она в волненье привела
Давно умолкнувшие чувства;
Но вас хвалить я не хочу;
Я за нее вам оплачу
Признаньем также без искусства;
Примите исповедь мою:
Себя на суд вам отдаю.

¹ *Вист* – карточная игра для четырех человек.

XIII.

Когда бы жизнь домашним кругом
Я ограничить захотел;
Когда б мне быть отцом, супругом
Приятный жребий повелел;
Когда б семейственной картиной
Пленился я хоть миг единый, –
То, верно б, кроме вас одной
Невесты не искал иной.
Скажу без блесков мадригальных:
Нашед мой прежний идеал,
Я, верно б, вас одну избрал
В подруги дней моих печальных,
Всего прекрасного в залог,
И был бы счастлив... сколько мог!

XIV.

Но я не создан для блаженства;
Ему чужда душа моя;
Напрасны ваши совершенства:
Их вовсе недостойн я.
Поверьте (совесть в том порукой),
Супружество нам будет мукой.
Я, сколько ни любил бы вас,
Привыкнув, разлюблю тотчас;
Начнете плакать: ваши слезы
Не тронут сердца моего,
А будут лишь бесить его.
Судите ж вы, какие розы
Нам заготовит Гименей¹
И, может быть, на много дней.

XV.

Что может быть на свете хуже
Семьи, где бедная жена
Грустит о недостойном муже,
И днем и вечером одна;
Где скучный муж, ей цену зная
(Судьбу, однако ж, проклиная),
Всегда нахмурен, молчалив,

Сердит и холодно-ревнив!
Таков я. И того ль искали
Вы чистой, пламенной душой,
Когда с такою простотой,
С таким умом ко мне писали?
Ужели жребий вам такой
Назначен строгою судьбой?

XVI.

Мечтам и годам нет возврата;
Не обновлю души моей...
Я вас люблю любовью брата
И, может быть, еще нежней.
Послушайте ж меня без гнева:
Сменит не раз молодая дева
Мечтами легкие мечты;
Так деревцо свои листы
Меняет с каждою весною.
Так видно небом суждено.
Полюбите вы снова: но...
Учитесь властвовать собою;
Не всякий вас, как я, поймет;
К беде неопытность ведет».

XVII.

Так проповедовал Евгений.
Сквозь слез не видя ничего,
Едва дыша, без возражений,
Татьяна слушала его.
Он подал руку ей. Печально
(Как говорится, *машинально*)
Татьяна молча оперлась,
Головкой томною склонясь;
Пошли домой вкруг огорода;
Явились вместе, и никто
Не вздумал им пенять на то.
Имеет сельская свобода
Свои счастливые права,
Как и надменная Москва.²

¹ Гименей – в древнегреческой мифологии божество брака.

² См. Приложение.

XVIII.

Вы согласитесь, мой читатель,
 Что очень мило поступил
 С печальной Таней наш приятель;
 Не в первый раз он тут явил
 Души прямое благородство,
 Хотя людей недоброхотство¹
 В нем не щадило ничего:
 Враги его, друзья его
 (Что, может быть, одно и то же)
 Его честили так и сяк.
 Врагов имеет в мире всяк,
 Но от друзей спаси нас, боже!
 Уж эти мне друзья, друзья!
 Об них недаром вспомнил я.

XIX.

А что? Да так. Я усыпляю
 Пустые, черные мечты;
 Я только *в скобках* замечаю,
 Что нет презренной клеветы,
 На чердаке вралею рожденной
 И светской чернью ободренной,
 Что нет нелепицы такой,
 Ни эпиграммы площадной,
 Которой бы ваш друг с улыбкой,
 В кругу порядочных людей,
 Без всякой злобы и затей,
 Не повторил стократ ошибкой;
 А впрочем, он за вас горой:
 Он вас так любит... как родной!

XX.

Гм! гм! Читатель благородный,
 Здорова ль ваша вся родня?
 Позвольте: может быть, угодно
 Теперь узнать вам от меня,
 Что значит именно *родные*.
 Родные люди вот какие:
 Мы их обязаны ласкать,
 Любить, душевно уважать
 И, по обычаю народа,

О рожестве их навещать,
 Или по почте поздравлять,
 Чтоб остальное время года
 Не думали о нас они...
 Итак, дай бог им долги дни!

XXI.

Зато любовь красавиц нежных
 Надежней дружбы и родства:
 Над нею и средь бурь мятежных
 Вы сохраняете права.
 Конечно так. Но вихорь моды,
 Но своенравие природы,
 Но мненья светского поток...
 А милый пол, как пух, легок.
 К тому ж и мнения супруга
 Для добродетельной жены
 Всегда почтенны быть должны;
 Так ваша верная подруга
 Бывает вмиг увлечена:
 Любовью шутит сатана.

XXII.

Кого ж любить? Кому же верить?
 Кто не изменит нам один?
 Кто все дела, все речи мерит
 Услужливо на наш аршин?
 Кто клеветы про нас не сеет?
 Кто нас заботливо лелеет?
 Кому порок наш не беда?
 Кто не наскучит никогда?
 Призрака суетный искатель,
 Трудов напрасно не губя,
 Любите самого себя,
 Достопочтенный мой читатель!
 Предмет достойный: ничего
 Любезней, верно, нет его.

XXIII.

Что было следствием свиданья?
 Увы, не трудно угадать!
 Любви безумные страданья

¹ *Недоброхотство* – *недоброжелательность*.



Не перестали волновать
Младой души, печали жадной;
Нет, пуще страстью безотрадной
Татьяна бедная горит;
Ее постели сон бежит;
Здоровье, жизни цвет и сладость,
Улыбка, девственный покой,
Пропало все, что звук пустой,
И меркнет милой Тани младость:
Так одевает бури тень
Едва рождающийся день.

XXIV.

Увы, Татьяна увядает,
Бледнеет, гаснет и молчит!
Ничто ее не занимает,
Ее души не шевелит.
Качая важно головою,
Соседи шепчут меж собою:
Пора, пора бы замуж ей!..¹
Но полно. Надо мне скорей
Развеселить воображенье
Картиной счастливой любви.

¹ См. Приложение.

Невольню, милые мои,
 Меня стесняет сожаленье;
 Простите мне: я так люблю
 Татьяну милую мою!

XXV.

Час от часу плененный боле
 Красами Ольги молодой,
 Владимир сладостной неволе
 Предался полною душой.
 Он вечно с ней. В ее покое
 Они сидят в потемках вдвое;
 Они в саду, рука с рукой,
 Гуляют утренней порой;
 И что ж? Любовью упоенный,
 В смятенье нежного стыда,
 Он только смеет иногда,
 Улыбкой Ольги ободренный,
 Развитым локоном играть
 Иль край одежды целовать.

XXVI.

Он иногда читает Оле
 Нравоучительный роман,
 В котором автор знает боле
 Природу, чем Шатобриан,¹
 А между тем две, три страницы
 (Пустые бредни, небылицы,
 Опасные для сердца дев)
 Он пропускает покраснев.
 Уединясь от всех далеко,
 Они над шахматной доской,
 На стол облокотясь, порой
 Сидят, задумавшись глубоко,
 И Ленский пешкою ладью
 Берет в рассеянье свою.

XXVII.

Поедет ли домой, и дома
 Он занят Ольгою своею.
 Летучие листки альбома
 Прилежно украшает ей:
 То в них рисует сельски виды,
 Надгробный камень, храм Киприды²,
 Или на лире голубка
 Пером и красками слегка;
 То на листках воспоминанья
 Пониже подписи других
 Он оставляет нежный стих,
 Безмолвный памятник мечтанья,
 Мгновенной думы долгий след,
 Все тот же после многих лет.

XXVIII.

Конечно, вы не раз видали
 Уездной барышни альбом,
 Что все подружки измарали
 С конца, с начала и кругом.
 Сюда, назло правописанью,
 Стихи без меры, по преданью
 В знак дружбы верной внесены,
 Уменьшены, продолжены.
 На первом листике встречаешь
Qu'écrirez-vous sur ces tablettes,
 И подпись: *t. à v. Annette*;³
 А на последнем прочитаешь:
 «Кто любит более тебя,
 Пусть пишет далее меня».

XXIX.

Тут непременно вы найдете
 Два сердца, факел и цветки;
 Тут верно клятвы вы прочтете

¹ Франсуа Рене де Шатобриан – французский литератор первой половины XIX века; в данном случае природа – натура человека.

² Киприда – одно из имен богини любви Афродиты, дано ей по храму на Кипре.

³ Что вы напишете на этих листках? Вся ваша Аннет (фр.).

В любви до гробовой доски;
Какой-нибудь пиит армейский
Тут подмахнул стишок злодейский.
В такой альбом, мои друзья,
Признаться, рад писать и я,
Уверен будучи душою,
Что всякой мой усердный вздор
Заслужит благосклонный взор
И что потом с улыбкой злою
Не станут важно разбирать,
Остро иль нет я мог соврать.

XXX.

Но вы, разрозненные томы
Из библиотеки чертей,
Великолепные альбомы,
Мученье модных рифмачей,
Вы, украшенные проворно
Толстого¹ кистью чудотворной
Иль Баратынского пером,
Пускай сожжет вас божий гром!
Когда блистательная дама
Мне свой in-quarto² подает,
И дрожь и злость меня берет,
И шевелится эпиграмма
Во глубине моей души,
А мадригалы им пиши!

XXXI.

Не мадригалы Ленский пишет
В альбоме Ольги молодой;
Его перо любовью дышит,
Не хладно блещет остротой;
Что ни заметит, ни услышит

Об Ольге, он про то и пишет:
И, полны истины живой,
Текут элегии³ рекой.
Так ты, Языков⁴ вдохновенный,
В порывах сердца своего,
Поешь бог ведает, кого,
И свод элегий драгоценный
Представит некогда тебе
Всю повесть о твоей судьбе.

XXXII.

Но тише! Слышишь? Критик строгий
Повелевает сбросить нам
Элегии венок убогий,
И нашей братье рифмачам
Кричит: «Да перестаньте плакать,
И все одно и то же квакать,
Жалеть о *прежнем, о былом*:
Довольно, пойте о другом!»
– Ты прав, и верно нам укажешь
Трубу, личину и кинжал,⁵
И мыслей мертвый капитал
Отвсюду воскресить прикажешь:
Не так ли, друг? – Ничуть. Куда!
«Пишите оды, господа,

XXXIII.

Как их писали в мощны годы,
Как было встарь заведено...»
– Одни торжественные оды!
И, полно, друг; не все ль равно?
Припомни, что сказал сатирик!
«*Чужого толка*»⁶ хитрый лирик
Ужели для тебя сносней

¹ Федор Петрович Толстой – талантливый художник, скульптор и иллюстратор XIX века.

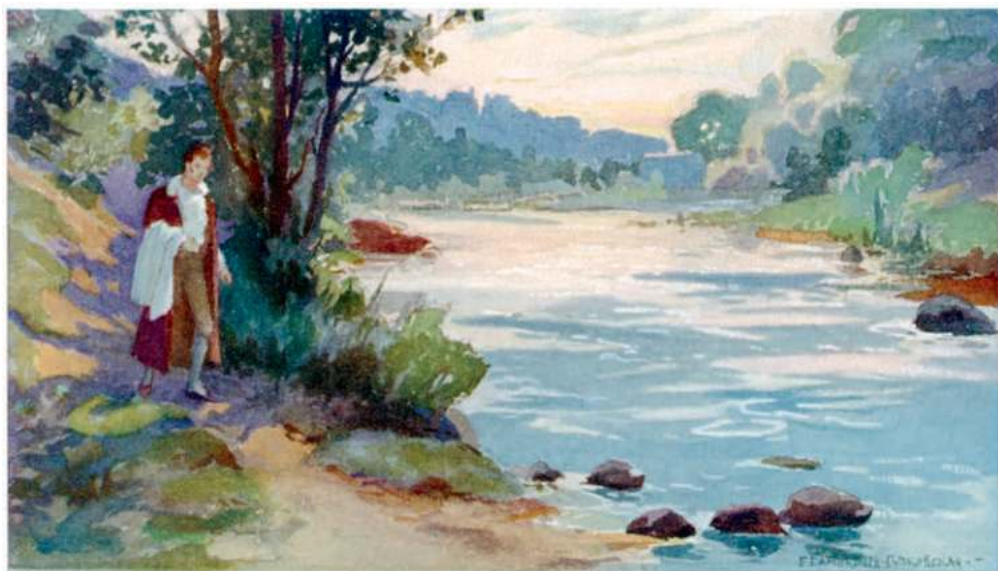
² in-quarto (лат.) – «в четверть»; имеется в виду альбом, равный по формату четвертой части целого печатного листа.

³ Элегия – проникнутое грустью лирическое стихотворение.

⁴ Н. М. Языков – поэт и друг Пушкина.

⁵ Труба, личина (маска) и кинжал – символы музыки трагической поэзии.

⁶ «Чужой толк» – сатирическое сочинение И. И. Дмитриева, написанное в 1795 году, в котором он высмеивает сочинителей од.



Унылых наших рифмачей? –
 «Но все в элегии ничтожно;
 Пустая цель ее жалка;
 Меж тем цель оды высока
 И благородна...¹» Тут бы можно
 Пospорить нам, но я молчу:
 Два века ссорить не хочу.

XXXIV.

Поклонник славы и свободы,
 В волнение бурных дум своих,
 Владимир и писал бы оды,²
 Да Ольга не читала их.
 Случалось ли поэтам слезным
 Читать в глаза своим любезным
 Свои творенья? Говорят,

Что в мире выше нет наград.
 И впрям, блажен любовник скромный,
 Читающий мечты свои
 Предмету песен и любви,
 Красавице приятно-томной!
 Блажен... хоть, может быть, она
 Совсем иным развлечена.

XXXV.

Но я плоды моих мечтаний
 И гармонических затей
 Читаю только старой няне,³
 Подруге юности моей,
 Да после скучного обеда
 Ко мне забредшего соседа,
 Поймав неожиданно за полу,

¹ Строфы XXXII и XXXIII представляют возражение статье Кюхельбекера в «Мнемозине» 1824 г. (№ 4): «О направлении нашей поэзии, особенно лирической, в последнее десятилетие», в которой высказано предпочтение одам перед элегией и посланием, как мелкими родами поэзии.

² По настроению своей музы Ленский подходит к идеалу критика «Мнемозины» – Кюхельбекера.

³ Арине Родионовне – няне поэта.

Душу трагедией в углу,¹
Или (но это кроме шуток),
Тоской и рифмами томим,
Бродя над озером моим,
Пугаю стадо диких уток:
Вняв пенью сладкозвучных строф,
Они слетают с берегов.

XXXVI.² XXXVII.

А что ж Онегин? Кстати, братья!
Терпенья вашего прошу:
Его вседневные занятия
Я вам подробно опишу.
Онегин жил анахоретом³:
В седьмом часу вставал он летом
И отправлялся налегке
К бегущей под горой реке;
Певцу Гюльнary⁴ подражая,
Сей Геллеспонт⁵ переплывал,
Потом свой кофе выпивал,
Плохой журнал перебирая,
И одевался...⁶

XXXVIII.⁷ XXXIX.

Прогулки, чтение, сон глубокой,
Лесная тень, журчанье струй,
Порой белянки черноокой
Младой и свежий поцелуй,
Узде послушный конь ретивый⁸,
Обед довольно прихотливый,
Бутылка светлого вина,

Уединенье, тишина:
Вот жизнь Онегина святая;
И нечувствительно он ей
Предался, красных летних дней
В беспечной неге не считая,
Забыв и город, и друзей,
И скуку праздничных затей.

XL.

Но наше северное лето,
Карриатура южных зим,
Мелькнет и нет: известно это,
Хоть мы признаться не хотим.
Уж небо осенью дышало,
Уж реже солнышко блистало,
Короче становился день,
Лесов таинственная сень
С печальным шумом обнажалась,
Ложился на поля туман,
Гусей крикливых караван
Тянулся к югу: приближалась
Довольно скучная пора;
Стоял ноябрь уж у двора.

XLI.

Встает заря во мгле холодной;
На нивах шум работ умолк;
С своей волчихой голодной
Выходит на дорогу волк;
Его почуя, конь дорожный
Храпит – и путник осторожный

¹ То был близкий друг Пушкина А. Н. Вульф, который вспоминал: «Раз всю ночь как есть напролет присидел я в маленьком доме Пушкина, слушая чтение Бориса Годунова. Не могу передать вам, какое высокое наслаждение испытал я в то время».

² См. Приложение.

³ Анахорет – отшельник, пустынный.

⁴ Гюльнар – героиня поэмы «Корсар» Байрона.

⁵ Геллеспонт – древнегреческое название пролива, соединяющего Мраморное и Эгейское моря; Байрон в 1810 году его переплыл.

⁶ Окончание в черновой рукописи: «...только вряд // Носили вы такой наряд».

⁷ См. Приложение.

⁸ Ретивый – бойкий, резвый.



Несется в гору во весь дух;
 На утренней заре пастух
 Не гонит уж коров из хлева,
 И в час полуденный в кружок
 Их не зовет его рожок;

В избушке распевая, дева¹
 Прядет, и, зимних друг ночей,
 Трещит лучинка перед ней.

XLII.

И вот уже трещат морозы
 И серебрятся средь полей...
 (Читатель ждет уж рифмы розы;
 На, вот возьми ее скорей!)
 Опрятней модного паркета
 Блистает речка, льдом одета.
 Мальчишек радостный народ²
 Коньками звучно режет лед;
 На красных лапках гусь тяжелый,
 Задумав плыть по лону вод,

Ступает бережно на лед,
 Скользит и падает; веселый
 Мелькает, вьется первый снег,
 Звездами падая на брег.

XLIII.

В глуши что делать в эту пору?
 Гулять? Деревня той порой
 Невольно докучает взору
 Однообразной наготой.
 Скакать верхом в степи суровой?
 Но конь, притупленной подковой
 Неверный зацепляя лед,
 Того и жди, что упадет.
 Сиди под кровлею пустынной,

¹ В журналах удивлялись, как можно было назвать девою простую крестьянку, между тем как благородные барышни, немного ниже, названы девочками (Прим. П.).

² «Это значит», замечает один из наших критиков, «что мальчишки катаются на коньках». Справедливо (Прим. П.).

Читай: вот Прадт¹, вот W. Scott².
Не хочешь? – поверяй расход,
Сердись иль пей, и вечер длинный
Кой-как пройдет, а завтра тож,
И славно зиму проведешь.

XLIV.

Прямым Онегин Чильд-Гарольдом
Вдался в задумчивую лень:
Со сна садится в ванну со льдом,
И после, дома целый день,
Один, в расчеты погруженный,
Тупым кием вооруженный,
Он на бильярде в два шара
Играет с самого утра.³
Настанет вечер деревенский:
Бильярд оставлен, кий забыт,
Перед камином стол накрыт,
Евгений ждет: вот едет Ленский
На тройке чалых⁴ лошадей:
Давай обедать поскорей!

XLV.

Вдовы Клико или Моэта⁵
Благословенное вино
В бутылке мерзлой для поэта
На стол тотчас принесено.

Оно сверкает Ипокреной⁶;
Оно своей игрой и пеной
(Подобием того-сего)
Меня пленяло: за него
Последний бедный лепт⁷, бывало,
Давал я. Помните ль, друзья?
Его волшебная струя
Рожила глупостей не мало,
А сколько шуток и стихов,
И споров, и веселых снов!

XLVI.

Но изменяет пеной шумной
Оно желудку моему,
И я Бордо⁸ благоразумный
Уж нынче предпочел ему.
К Ай⁹ я больше не способен;
Аи любовнице подобен
Блестящей, ветреной, живой,
И своенравной, и пустой...
Но ты, Бордо, подобен другу,
Который, в горе и в беде,
Товарищ навсегда, везде,
Готов нам оказать услугу
Иль тихий разделить досуг.
Да здравствует Бордо, наш друг!

¹ Доминик де Прадт – французский публицист, духовник Наполеона, автор многочисленных статей.

² Вальтер Скотт – английский писатель, Пушкин знал его романы по французским переводам.

³ В письме к кн. Вяземскому Пушкин писал: «В IV песне Онегина я изобразил собственную жизнь...». Имеется в виду жизнь в Михайловском.

⁴ Для чалой масти лошади характерна обильная примесь белых волос.

⁵ Вдова Клико и Моэт – марки шампанских вин.

⁶ Ипокрена – в древнегреческой мифологии дарующий поэтический дар источник на горе Геликон.

⁷ Лепта – монета в Древней Греции, в переносном смысле – скромный вклад; вспомните выражение «внести свою лепту».

⁸ Бордо – французское красное вино, названо по городу, где оно производится.

⁹ Ай – сорт шампанского. Пушкин писал в комментариях: «В лета красные мои // Поэтический Ай // Нравился мне пеной шумной, // Сим подобием любви // Или юности безумной, и пр.».

XLVII.

Огонь потух; едва золою
 Подернут уголь золотой;
 Едва заметною струею
 Виется пар, и теплотой
 Камин чуть дышит. Дым из трубок
 В трубу уходит. Светлый кубок
 Еще шипит среди стола.
 Вечерняя находит мгла...
 (Люблю я дружеские враки
 И дружеский бокал вина
 Порою той, что названа
 Пора меж волка и собаки,¹
 А почему, не вижу я.)
 Теперь беседуют друзья:

XLVIII.

«Ну, что соседки? Что Татьяна?
 Что Ольга резвая твоя?»
 – Налей еще мне полстакана...
 Довольно, милый... Вся семья
 Здорова; кланяться велели.
 Ах, милый, как похорошели
 У Ольги плечи, что за грудь!
 Что за душа!.. Когда-нибудь
 Заедем к ним; ты их обяжешь;
 А то, мой друг, суди ты сам:
 Два раза заглянул, а там
 Уж к ним и носу не покажешь.
 Да вот... какой же я болван!
 Ты к ним на той неделе зван.

XLIX.

«Я?» – Да, Татьяны именины
 В субботу. Оленька и мать
 Велели звать, и нет причины
 Тебе на зов не приезжать. –
 «Но куча будет там народу
 И всякого такого сброду...»
 – И, никого, уверен я!

Кто будет там? своя семья.
 Поедем, сделай одолженье!
 Ну, что ж? – «Согласен».

– Как ты мил! –

При сих словах он осушил
 Стакан, соседке приношенье,
 Потом разговорился вновь
 Про Ольгу: такова любовь!

L.

Он весел был. Чрез две недели
 Назначен был счастливый срок.
 И тайна брачных постели,
 И сладостной любви венок
 Его восторгов ожидали.
 Гимена² хлопоты, печали,
 Зевоты хладная череда
 Ему не снились никогда.
 Меж тем как мы, враги Гимена,
 В домашней жизни зрим один
 Ряд утомительных картин,
 Роман во вкусе Лафонтена³...
 Мой бедный Ленский, сердцем он
 Для оной жизни был рожден.

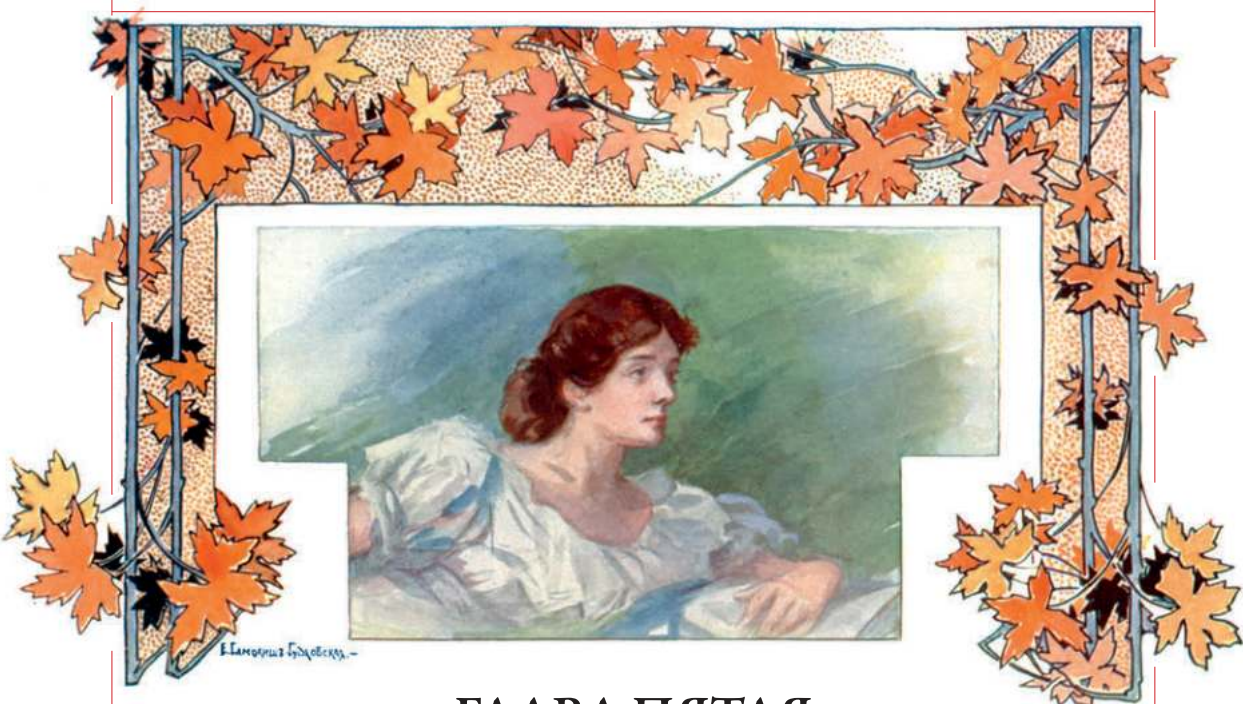
LI.

Он был любим... по крайней мере
 Так думал он, и был счастлив.
 Стократ блажен, кто предан вере,
 Кто, хладный ум угомонив,
 Покоится в сердечной неге,
 Как пьяный путник на ночлеге,
 Или, нежней, как мотылек,
 В весенний впившийся цветок;
 Но жалок тот, кто все предвидит,
 Чья не кружится голова,
 Кто все движенья, все слова
 В их переводе ненавидит,
 Чье сердце опыт остудил
 И забываться запретил!

¹ Буквальный перевод французского выражения *entre chien et loup*, то есть сумерки.

² Гименей – божество брака в Древней Греции.

³ Август Лафонтен, автор множества семейственных романов (Прим. П.).



ГЛАВА ПЯТАЯ

О, не знай сих страшных снов
Ты, моя Светлана!
Жуковский

I.

В тот год осенняя погода
Стояла долго на дворе,
Зимы ждала, ждала природа.
Снег выпал только в январе
На третье в ночь. Проснувшись рано,
В окно увидела Татьяна
Поутру побелевший двор,
Куртины, кровли и забор,
На стеклах легкие узоры,
Деревья в зимнем серебре,
Сорок веселых на дворе
И мягко устланные горы
Зимы блистательным ковром.
Все ярко, все бело кругом.

II.

Зима!.. Крестьянин, торжествуя,
На дровнях¹ обновляет путь;
Его лошадка, снег почуя,
Плетется рысью как-нибудь;
Бразды пушистые взрывая,
Летит кибитка удалая;
Ямщик сидит на облучке²
В тулупе, в красном кушаке.
Вот бежит дворовый мальчик,
В салазки жучку посадив,
Себя в коня преобразив;
Шалун уж заморозил пальчик:
Ему и больно и смешно,
А мать грозит ему в окно...

¹ Дровни – крестьянские открытые сани для перевозки крупных грузов.

² Облучок – деревянная скрепа верхней части саней.

III.

Но, может быть, такого рода
 Картины вас не привлекут:
 Все это низкая природа;
 Изящного не много тут.
 Согретый вдохновенья богом,
 Другой поэт роскошным слогом
 Живописал нам первый снег
 И все оттенки зимних нег;¹
 Он вас пленит, я в том уверен,
 Рисуя в пламенных стихах
 Прогулки тайные в санях;
 Но я бороться не намерен
 Ни с ним покамест, ни с тобой,
 Певец финляндки молодой!²

IV.

Татьяна (русская душою,
 Сама не зная почему)
 С ее холодною красотою
 Любила русскую зиму,
 На солнце иней в день морозный,
 И сани, и зарю поздней
 Сиянье розовых снегов,
 И мглу крещенских вечеров.
 По старине торжествовали
 В их доме эти вечера:
 Служанки со всего двора
 Про барышень своих гадали
 И им сулили каждый год
 Мужьев военных и поход.

V.

Татьяна верила преданьям
 Простонародной старины,
 И снам, и карточным гаданьям,
 И предсказаниям луны.

Ее тревожили приметы;
 Таинственно ей все предметы
 Провозглашали что-нибудь,
 Предчувствия теснили грудь.
 Жеманный кот, на печке сидя,
 Мурлыча, лапкой рыльцо мыл:
 То несомненный знак ей был,
 Что едут гости. Вдруг увидя
 Младой двурогий лик луны
 На небе с левой стороны,

VI.

Она дрожала и бледнела.
 Когда ж падучая звезда
 По небу темному летела
 И рассыпалась, – тогда
 В смятенье Таня торопилась,
 Пока звезда еще катилась,
 Желанье сердца ей шепнуть.
 Когда случилось где-нибудь
 Ей встретить черного монаха
 Иль быстрый заяц меж полей
 Перебегал дорогу ей,
 Не зная, что начать со страха,
 Предчувствий горестных полна,
 Ждала несчастья уж она.

VII.

Что ж? Тайну прелесть находила
 И в самом ужасе она:
 Так нас природа сотворила,
 К противуречию склонна.
 Настали святки³. То-то радость!
 Гадает ветренная младость,
 Которой ничего не жаль,
 Перед которой жизни даль
 Лежит светла, необозрима;

¹ Смотри: *Первый снег*, стихотворение князя Вяземского (Прим. П.).
 См. Приложение.

² См. *описания финляндской зимы в «Эде» Баратынского*. (Прим. П.).
 См. Приложение.

³ *Святки* (святое время) – период с Рождества (24 декабря) до Крещения Господня (6 января), в это время в старину девушки гадали на суженого.



*«Там мужички-то все богатые,
Гребут лопатой серебро;
Кому поем, тому добро
И слава!»* Но сулит утраты
Сей песни жалостный напев;
Милей кошулка сердцу дев.¹

IX.

Морозна ночь, все небо ясно;
Светил небесных дивный хор
Течет так тихо, так согласно...
Татьяна на широкой двор
В открытом платьице выходит,
На месяц зеркало наводит;
Но в темном зеркале одна



Гадает старость сквозь очки
У гробовой своей доски,
Все потеряв невозвратно;
И все равно: надежда им
Лжет детским лепетом своим.

VIII.

Татьяна любопытным взором
На воск потопленный глядит:
Он чудно вылитым узором
Ей что-то чудное гласит;
Из блюда, полного водою,
Выходят кольца чередою;
И вынулось колечко ей
Под песенку старинных дней:

¹ *Зовет кот кошулку
В печурку спать.*

Предвещание свадьбы; первая песня предрекает смерть (Прим. П.).

Дрожит печальная луна...
 Чу... снег хрустит... прохожий; дева
 К нему на цыпочках летит,
 И голосок ее звучит
 Нежней свирельного напева:
*Как ваше имя?*¹ Смотрит он
 И отвечает: Агафон.

X.

Татьяна, по совету няни
 Сбираясь ночью ворожить,
 Тихонько приказала в бане
 На два прибора стол накрыть;
 Но стало страшно вдруг Татьяне...
 И я – при мысли о Светлане
 Мне стало страшно – так и быть...
 С Татьяной нам не ворожить.
 Татьяна поясок шелковый
 Сняла, разделась и в постель
 Легла. Над нею вьется Лель²,
 А под подушкою пуховой
 Девичье зеркало лежит.
 Утихло все. Татьяна спит.

XI.

И снится чудный сон Татьяне.
 Ей снится, будто бы она
 Идет по снеговой поляне,
 Печальной мглой окружена;
 В сугробах снежных перед нею
 Шумит, клубит волной своею
 Кипучий, темный и седой
 Поток, не скованный зимой;
 Две жердочки, склеены льдиной,
 Дрожащий, гибельный мосток,
 Положены через поток;
 И пред шумящею пучиной,
 Недоумения полна,
 Остановилась она.

XII.

Как на досадную разлуку,
 Татьяна ропщет на ручей;
 Не видит никого, кто руку
 С той стороны подал бы ей;
 Но вдруг сугроб зашевелился.
 И кто ж из-под него явился?
 Большой, взъерошенный медведь;³
 Татьяна *ах!* а он реветь,
 И лапу с острыми когтями
 Ей протянул; она скрепясь
 Дрожащей ручкой оперлась
 И боязливymi шагами
 Перебралась через ручей;
 Пошла – и что ж? медведь за ней!

XIII.

Она, взглянуть назад не смея,
 Поспешный ускоряет шаг;
 Но от косматого лакея
 Не может убежать никак;
 Кряхтя, валит медведь несносный;
 Пред ними лес; недвижны сосны
 В своей нахмуренной красе;
 Отягчены их ветви все
 Клоками снега; сквозь вершины
 Осин, берез и лип нагих
 Сияет луч светил ночных;
 Дороги нет; кусты, стремнины
 Мятелью все занесены,
 Глубоко в снег погружены.

XIV.

Татьяна в лес; медведь за нею;
 Снег рыхлый по колено ей;
 То длинный сук ее за шею
 Зацепит вдруг, то из ушей
 Златые серьги вырвет силой;
 То в хрупком снеге с ножки милой

¹ Таким образом узнают имя будущего жениха (Прим. П.).

² Лель – славянский бог любви, придуманный писателями XVIII века.

³ Согласно старинным поверьям привидевшийся во сне медведь предвещает замужество или женитьбу.

Увязнет мокрый башмачок;
То выронит она платок;
Поднять ей некогда; боится,
Медведя слышит за собой,
И даже трепетной рукой
Одежды край поднять стыдится;
Она бежит, он все вослед,
И сил уже бежать ей нет.

XV.

Упала в снег; медведь проворно
Ее хватает и несет;
Она бесчувственно-покорна,
Не шевельнется, не дохнет;
Он мчит ее лесной дорогой;
Вдруг меж дерев шалаш убогой;
Кругом все глушь; отсюда он
Пустынным снегом занесен,
И ярко светится окошко,
И в шалаше и крик и шум;
Медведь промолвил: «Здесь мой кум:
Погрейся у него немножко!»
И в сени прямо он идет
И на порог ее кладет.

XVI.

Опомнилась, глядит Татьяна:
Медведя нет; она в сенях;
За дверью крик и звон стакана,
Как на больших похоронах;
Не видя тут ни капли толку,
Глядит она тихонько в щелку,
И что же видит?.. за столом
Сидят чудовища кругом:
Один в рогах с собачьей мордой,

Другой с петушьей головой,
Здесь ведьма с козьей бородой,
Тут остов¹ чопорный и гордый,
Там карла² с хвостиком, а вот
Полужуравль и полукот.

XVII.

Еще страшней, еще чуднее:
Вот рак верхом на пауке,
Вот череп на гусиной шее
Вертится в красном колпаке,
Вот мельница вприсядку пляшет
И крыльями трещит и машет;
Лай, хохот, пенье, свист и хлоп,
Людская молвь и конский топ!³
Но что подумала Татьяна,
Когда узнала меж гостей
Того, кто мил и страшен ей,
Героя нашего романа!
Онегин за столом сидит
И в дверь украдкою глядит.

XVIII.

Он знак подаст – и все хлопчут;
Он пьет – все пьют и все кричат;
Он засмеется – все хохочут;
Нахмурит брови – все молчат;
Он там хозяин, это ясно:
И Тане уж не так ужасно,
И, любопытная, теперь
Немного растворила дверь...
Вдруг ветер дунул, загашая
Огонь свечильников ночных;
Смутилась шайка домовых;
Онегин, взорами сверкая,

¹ Остов – скелет.

² Карла – карлик.

³ В журналах осуждали слова: *хлоп*, *молвь* и *топ* как неудачное нововведение. Слова сии коренные русские. «Вышел Бова из шатра прохладиться и услышал в чистом поле людскую молвь и конский топ» (Сказка о Бове Королевиче). *Хлоп* употребляется в просторечии вместо *хлопанье*, как *шип* вместо *шипения*: Он шип пустил по змеиному. (Древние русские стихотворения.) Не должно мешать свободе нашего богатого и прекрасного языка (Прим. П.).

Из-за стола, гремя, встает;
Все встали: он к дверям идет.

XIX.

И страшно ей; и торопливо
Татьяна силится бежать:
Нельзя никак; нетерпеливо
Метаясь, хочет закричать:
Не может; дверь толкнул Евгений:
И взорам адских привидений
Явилась дева; ярый смех
Раздался дико; очи всех,
Копыты, хоботы кривые,
Хвосты хохлатые, клыки,
Усы, кровавы языки,
Рога и пальцы костяные,
Все указывает на нее,
И все кричат: мое! мое!

XX.

Мое! – сказал Евгений грозно,
И шайка вся сокрылась вдруг;
Осталась во тьме морозной
Младая дева с ним сам-друг;
Онегин тихо увлекает¹
Татьяну в угол и слагает
Ее на шаткую скамью
И клонит голову свою
К ней на плечо; вдруг Ольга входит,
За нею Ленский; свет блеснул;
Онегин руку замахнул,

И дико он очами бродит,
И незваных гостей бранит;
Татьяна чуть жива лежит.

XXI.

Спор громче, громче; вдруг Евгений
Хватает длинный нож, и вмиг
Повержен Ленский;² страшно тени
Сгустились; нестерпимый крик
Раздался... хижина шатнулась...
И Таня в ужасе проснулась...
Глядит, уж в комнате светло;
В окне сквозь мерзлое стекло
Зари багряный луч играет;
Дверь отворилась. Ольга к ней,
Авроры³ северной алей
И легче ласточки влетает;
«Ну, говорит, скажи ж ты мне,
Кого ты видела во сне?»

XXII.

Но та, сестры не замечая,
В постеле с книгою лежит,
За листом лист перебирая,
И ничего не говорит.
Хоть не являла книга эта
Ни сладких вымыслов поэта,
Ни мудрых истин, ни картин,
Но ни Виргилий, ни Расин⁴,
Ни Скотт, ни Байрон, ни Сенека⁵,
Ни даже Дамских Мод Журнал

¹ Один из наших критиков, кажется, находит в этих стихах непонятную для нас неблагопристойность (Прим. П.).

² Пушкин подметил свойство чутких натур видеть сновидения, воспроизводящие явления, по характеру своему согласные с ожиданиями, внушаемыми действительностью. Таков здесь вещей сон Татьяны, угадывающий возможность будущей расправы Онегина с Ленским. Ср. сон Григория в келье Чудова монастыря и сон Гринева в «Капитанской дочке» после первого свидания с Пугачевым. Из новейших писателей тоже подмечено Достоевским (сон Раскольникова в «Преступлении и Наказании»).

³ Аврора – в римской мифологии богиня утренней зари.

⁴ Жан Расин – знаменитый французский драматург XVII века.

⁵ Сенека – римский философ и автор трагедий, жил в I в. н.э.

Так никого не занимал:
То был, друзья, Мартын Задека¹,
Глава халдейских мудрецов,²
Гадатель, толкователь снов.

XXIII.

Сие глубокое творенье
Завез кочующий купец
Однажды к ним в уединенье
И для Татьяны наконец
Его с разрозненной «Мальвиной»³
Он уступил за три с полтиной,
В придачу взяв еще за них
Собрание басен площадных,
Граматику, две Петриады⁴
Да Мармонтеля⁵ третий том.
Мартын Задека стал потом
Любимец Тани... Он отрады
Во всех печалях ей дарит
И безотлучно с нею спит.

XXIV.

Ее тревожит сновиденье.
Не зная, как его понять,
Мечтанья страшного значенье
Татьяна хочет отыскать.
Татьяна в оглавленье кратком
Находит азбучным порядком
Слова: бор, буря, ведьма, ель,
Еж, мрак, мосток, медведь, метель
И прочая. Ее сомнений

Мартын Задека не решит;
Но сон зловещий ей сулит
Печальных много приключений.
Дней несколько она потом
Все беспокоилась о том.

XXV.

Но вот багряною рукою⁶
Заря от утренних долин
Выводит с солнцем за собою
Веселый праздник именин.
С утра дом Лариных гостями
Весь полон; целыми семьями
Соседи съехались в возках,
В кибитках, в бричках и в санях.
В передней толкотня, тревога;
В гостиной встреча новых лиц,
Лай мосек, чмокание девиц,
Шум, хохот, давка у порога,
Поклоны, шарканье гостей,
Кормилиц крик и плач детей.

XXVI.

С своей супругою дородной
Приехал толстый Пустяков;
Гвоздин, хозяин превосходный,
Владелец нищих мужиков;
Скотинины, чета седая,
С детьми всех возрастов, считая
От тридцати до двух годов;
Уездный франтик Петушков,

¹ Гадательные книги издаются у нас под фирмою Мартына Задеки, почтенного человека, не писавшего никогда гадательных книг, как замечает Б. М. Федоров (Прим. П.).

² Халдеями в древнем мире называли колдунов, магов, волхвов, гадателей и астрологов.

³ Мальвина – роман французской писательницы начала XIX века Мари Коттен.

⁴ Петриада – одна из поэм, восхваляющих деяния Петра I.

⁵ Жан-Франсуа Мармонтель – французский литератор, чьи повести перевел на русский язык Карамзин.

⁶ Пародия известных стихов Ломоносова:

Заря багряною рукою

От утренних спокойных вод

Выводит с солнцем за собою, – и проч. (Прим. П.).

Мой брат двоюродный, Буянов,
В пуху, в картузе с козырьком¹
(Как вам, конечно, он знаком),
И отставной советник Флянов,
Тяжелый сплетник, старый плут,
Обжора, взяточник и шут.

XXVII.

С семьей Панфила Харликова
Приехал и мосье Трике,
Остряк, недавно из Тамбова,
В очках и в рыжем парике.
Как истинный француз, в кармане
Трике привез куплет Татьяне
На голос, знаемый детьми:
Réveillez-vous, belle endormie.²
Меж ветхих песен альманаха
Был напечатан сей куплет;
Трике, догадливый поэт,
Его на свет явил из праха,
И смело вместо belle Nina³
Поставил belle Tatiana⁴.

XXVIII.

И вот из ближнего посада⁵
Созревших барышень кумир,
Уездных матушек отрада,
Приехал ротный командир;
Вошел... Ах, новость, да какая!
Музыка будет полковая!
Полковник сам ее послал.
Какая радость: будет бал!

Девчонки прыгают заране;⁶
Но кушать подали. Четой
Идут за стол рука с рукой.
Теснятся барышни к Татьяне;
Мужчины против: и, крестьян,
Толпа жужжит, за стол садясь.

XXIX.

На миг умолкли разговоры;
Уста жуют. Со всех сторон
Гремят тарелки и приборы,
Да рюмок раздастся звон.
Но вскоре гости понемногу
Подъемяют общую тревогу.
Никто не слушает, кричат,
Смеются, спорят и пищат.
Вдруг двери настежь. Ленский входит,
И с ним Онегин. «Ах, творец! –
Кричит хозяйка: – наконец!»
Теснятся гости, всяк отводит
Приборы, стулья поскорей;
Зовут, сажают двух друзей.

XXX.

Сажает прямо против Тани,
И, утренней луны бледней
И трепетней гонимой лани,
Она темнеющих очей
Не подымает: пышет бурно
В ней страстный жар; ей душно, дурно;
Она приветствий двух друзей
Не слышит, слезы из очей

¹ Буянов, мой сосед,.....

Пришел ко мне вчера с небритыми усами,
Гастрепанный, в пуху, в картузе с козырьком...

(Опасный сосед.) (Прим. П.). Сатира «Опасный сосед» была написана дядей Пушкина.

² Проснитесь, спящая красotka (фр.).

³ Прекрасная Нина (фр.).

⁴ Прекрасная Татьяна (фр.).

⁵ Посад – пригород.

⁶ Наши критики, верные почитатели прекрасного пола, сильно осуждали неприличие сего стиха (Прим. П.).

Хотят уж капать; уж готова
Бедняжка в обморок упасть;
Но воля и рассудка власть
Превозмогли. Она два слова
Сквозь зубы молвила тишком
И усидела за столом.

XXXI.

Траги-нервических явлений,
Девичьих обмороков, слез
Давно терпеть не мог Евгений:
Довольно их он перенес.
Чудак, попав на пир огромный,
Уж был сердит. Но девы томной
Заметя трепетный порыв,
С досады взоры опустив,
Надулся он и, негодуя,
Поклялся Ленского взбесить
И уж порядком отомстить.
Теперь, заране торжествуя,
Он стал чертить в душе своей
Карикатуры всех гостей.

XXXII.

Конечно, не один Евгений
Смятенье Тани видеть мог;
Но целью взоров и суждений
В то время жирный был пирог
(К несчастью, пересоленный);
Да вот в бутылке засмоленной,
Между жарким и блан-манже¹,
Цимлянское² несут уже;
За ним строй рюмок узких, длинных,
Подобно талии твоей,
Зизи³, кристалл души моей,

Предмет стихов моих невинных,
Любви приманчивый фиал⁴,
Ты, от кого я пьян бывал!

XXXIII.

Освободясь от пробки влажной,
Бутылка хлопнула; вино
Шипит; и вот с осанкой важной,
Куплетом мучимый давно,
Трике встает; пред ним собрание
Хранит глубокое молчанье.
Татьяна чуть жива; Трике,
К ней обратясь с листком в руке,
Запел, фальшивя. Плески, клики
Его приветствуют. Она
Певцу присесть принуждена;
Поэт же скромный, хоть великий,
Ее здоровье первый пьет
И ей куплет передает.

XXXIV.

Пошли приветы, поздравленья;
Татьяна всех благодарит.
Когда же дело до Евгения
Дошло, то девы томный вид,
Ее смущение, усталость
В его душе родили жалость:
Он молча поклонился ей,
Но как-то взор его очей
Был чудно нежен. Оттого ли,
Что он и вправду тронут был,
Иль он, кокетствуя, шалил,
Невольню ль, иль из доброй воли,
Но взор сей нежность изъявил:
Он сердце Тани оживил.

¹ Блан-манже – десерт из миндального или коровьего молока, сахара, желатина и пряностей.

² Цимлянское – виноградное вино, названное по месту изготовления – донской станции Цимлянской.

³ Зизи – детское и семейное прозвище Евпраксии Николаевны Вульф, псковской дворянки, приятельницы и соседки Пушкина по имению.

⁴ Фиал – чаша, кубок.

XXXV.

Гремят отдвинутые стулья;
 Толпа в гостиную валит:
 Так пчел из лакомого улья
 На ниву шумный рой летит.
 Довольный праздничным обедом,
 Сосед сопит перед соседом;
 Подсели дамы к камельку¹;
 Девыцы шепчут в уголку;
 Столы зеленые² раскрыты:
 Зовут задорных игроков
 Бостон и ломбер стариков,
 И вист³, доныне знаменитый,
 Однообразная семья,
 Все жадной скуки сыновья.

XXXVI.

Уж восемь робертов⁴ сыграли
 Герои виста; восемь раз
 Они места переменили;
 И чай несут. Люблю я час
 Определять обедом, чаем
 И ужином. Мы время знаем
 В деревне без больших сует:
 Желудок – верный наш брегет;
 И к стати я замечу в скобках,
 Что речь веду в моих строфах
 Я столь же часто о пирах,
 О разных кушаньях и пробках,
 Как ты, божественный Омир⁵,
 Ты, тридцати веков кумир!

XXXVII. XXXVIII.⁶

XXXIX.

Но чай несут; девицы чинно
 Едва за блюдишки взялись,
 Вдруг из-за двери в зале длинной
 Фагот и флейта раздались.
 Обрадован музыки громом,
 Оставя чашку чаю с ромом,
 Парис⁷ окружных городков,
 Подходит к Ольге Петушков,
 К Татьяне Ленский; Харликову,
 Невесту переспелых лет,
 Берет тамбовский мой поэт,
 Умчал Буянов Пустякову,
 И в залу высыпали все.
 И бал блестит во всей красе.

XL.

В начале моего романа
 (Смотрите первую тетрадь)
 Хотелось вроде мне Альбана⁸
 Бал петербургский описать;
 Но, развлечен пустым мечтаньем,
 Я занялся воспоминаньем
 О ножках мне знакомых дам.
 По вашим узеньким следам,
 О ножки, полно заблуждаться!
 С изменой юности моей
 Пора мне сделаться умней,
 В делах и в слоге поправляться,
 И эту пятую тетрадь
 От отступлений очищать.

¹ Камелек – разновидность камина.

² Столики для карточных игр обтягивали зеленым сукном, на котором делали записи мелом.

³ Бостон, ломбер, вист – старинные карточные игры.

⁴ Роббер в висте – название трех партий, составляющих один круг игры.

⁵ Омир – легендарный древнегреческий поэт-сказитель Гомер.

⁶ Эти строфы были помещены в издании 1828 года; см. Приложение.

⁷ Парис в древнегреческом эпосе – виновник Троянской войны; красавец, похитивший жену троянского царя Менелая.

⁸ Франческо Альбани – итальянский живописец XVII века, известный своими картинами на мифологические сюжеты.



XLI.

Однообразный и безумный,
 Как вихорь жизни молодой,
 Кружится вальса вихорь шумный;
 Чета мелькает за четой.
 К минуте мщенья приближаясь,
 Онегин, втайне усмехаясь,
 Подходит к Ольге. Быстро с ней
 Вертится около гостей,
 Потом на стул ее сажает,
 Заводит речь о том, о сем;
 Спустя минуты две потом
 Вновь с нею вальс он продолжает;
 Все в изумленье. Ленский сам
 Не верит собственным глазам.

XLII.

Мазурка раздалась. Бывало,
 Когда гремел мазурки гром,
 В огромной зале все дрожало,
 Паркет трещал под каблуком,
 Тряслися, дребезжали рамы;
 Теперь не то: и мы, как дамы,
 Скользим по лаковым доскам.
 Но в городах, по деревням
 Еще мазурка сохранила
 Первоначальные красы:
 Припрыжки, каблучки, усы
 Все те же: их не изменила
 Лихая мода, наш тиран,
 Недуг новейших россиян.

XLIII.¹ XLIV.

Буянов, братец мой задорный,
 К герою нашему подвел
 Татьяну с Ольгою: проворно
 Онегин с Ольгою пошел;
 Ведет ее, скользя небрежно,
 И, наклонясь, ей шепчет нежно
 Какой-то пошлый мадригал,
 И руку жмет – и запыхал
 В ее лице самолюбивом
 Румянец ярче. Ленский мой
 Все видел: вспыхнул, сам не свой;
 В негодовании ревнивом
 Поэт конца мазурки ждет
 И в котильон² ее зовет.

XLV.

Но ей нельзя. Нельзя? Но что же?
 Да Ольга слово уж дала
 Онегину. О боже, боже!
 Что слышит он? Она могла...
 Возможно ль? Чуть лишь из пеленок,
 Кокетка, ветреный ребенок!
 Уж хитрость ведает она,
 Уж изменять научена!
 Не в силах Ленский снести удара;
 Проказы женские кляня,
 Выходит, требует коня
 И скачет. Пистолетов пара,
 Две пули – больше ничего –
 Вдруг разрешат судьбу его.



¹ Неполная строфа XLIII была опубликована в издании 1828 года. См. Приложение.

² Котильон – бальный танец французского происхождения; «приглашение на котильон» считалось неформальным знаком окончательного выбора кавалером своей дамы.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

La sotto i giorni nubilosi e brevi
Nasce una gente a cui l'morir non dole.
*Petr.*¹

I.

Заметив, что Владимир скрылся,
Онегин, скукой вновь гоним,
Близ Ольги в думу погрузился,
Довольный мщением своим.
За ним и Оленька зевала,
Глазами Ленского искала,
И бесконечный котильон
Ее томил, как тяжкий сон.
Но кончен он. Идут за ужин.
Постели стелют; для гостей
Ночлег отводят от сеней
До самой девичьи. Всем нужен
Покойный сон. Онегин мой
Один уехал спать домой.

II.

Все успокоилось: в гостиной
Храпит тяжелый Пустяков
С своей тяжелой половиной.
Гвоздин, Буянов, Петушков
И Флянов, не совсем здоровый,²
На стульях улеглись в столовой,
А на полу мосье Трике,
В фуфайке, в старом колпаке.
Девочки в комнатах Татьяны
И Ольги все объаты сном.
Одна, печальна под окном
Озарена лучом Дианы,³

Татьяна бедная не спит
И в поле темное глядит.

III.

Его неожиданным появлением,
Мгновенной нежностью очей
И странным с Ольгой поведением
До глубины души своей
Она проникнута; не может
Никак понять его; тревожит
Ее ревнивая тоска,
Как будто холодная рука
Ей сердце жмет, как будто бездна
Под ней чернеет и шумит...
«Погибну, – Таня говорит, –
Но гибель от него любезна.
Я не ропщу: зачем роптать?
Не может он мне счастья дать». –

IV.

Вперед, вперед, моя история!
Лицо нас новое зовет.
В пяти верстах от Красногорья,
Деревни Ленского, живет
И здравствует еще донине
В философической пустыне
Зарецкий⁴, некогда буян,
Картежной шайки атаман,
Глава повес, трибун⁵ трактирный,

¹ Там, где дни облачны и кратки, родится племя, которому умирать не больно.
Петрарка (ит.).

² Слишком много выпивший.

³ Имеется в виду Луна.

⁴ Есть мнение, что прототипом Зарецкого был гвардейский офицер, кутила и дуэлянт Федор Иванович Толстой.

⁵ Трибун – в Древнем Риме должностное лицо, в данном контексте – предводитель гуляк.

Теперь же добрый и простой
 Отец семейства холостой,¹
 Надежный друг, помещик мирный
 И даже честный человек:
 Так исправляется наш век!

V.

Бывало, льстивый голос света
 В нем злую храбрость выхвалял:
 Он, правда, в туз из пистолета
 В пяти саженях попадал,²
 И то сказать, что и в сраженье
 Раз в настоящем упоенье
 Он отличился, смело в грязь
 С коня калмыцкого свалясь,
 Как зюзя пьяный, и французам
 Достался в плен: драгой залог!
 Новейший Регул³, чести бог,
 Готовый вновь предаться узам,
 Чтоб каждым утром у Веры⁴
 В долг осушать бутылки три.

VI.

Бывало, он трунил забавно,
 Умел морочить дурака
 И умного дурачить славно,
 Иль явно, иль исподтишка,
 Хоть и ему иные шутики
 Не проходили без науки,
 Хоть иногда и сам в просак
 Он попадался, как простак.
 Умел он весело поспорить,
 Остро и тупо отвечать,
 Порой расчетливо смолчать,
 Порой расчетливо повздорить,

Друзей поссорить молодых
 И на барьер поставить их,

VII.

Иль помириться их заставить.
 Дабы позавтракать втроем,
 И после тайно обесславить
 Веселой шуткою, враньем.
 Sed alia tempora!⁵ Удалость
 (Как сон любви, другая шалость)
 Проходит с юностью живой.
 Как я сказал, Зарецкий мой,
 Под сень черемух и акаций
 От бурь укрывшись наконец,
 Живет, как истинный мудрец,
 Капусту сажит, как Гораций⁶,
 Разводит уток и гусей
 И учит азбуке детей.

VIII.

Он был не глуп; и мой Евгений,
 Не уважая сердца в нем,
 Любил и дух его суждений,
 И здравый толк о том о сем.
 Он с удовольствием, бывало,
 Видался с ним, и так нimalo
 Поутру не был удивлен,
 Когда его увидел он.
 Тот после первого привета,
 Прервав начатый разговор,
 Онегину, ослабя взор,
 Вручил записку от поэта.
 К окну Онегин подошел
 И про себя ее прочел.

¹ То есть отец внебрачных детей, владелец крепостного гарема.

² То есть приблизительно с десяти метров; сажень равна 2,16 м.

³ Регул – древнеримский полководец, взятый в плен карфагенянами, был отпущен ими под честное слово в Рим для переговоров и после вернулся к врагам, где его ожидала верная гибель.

⁴ Парижский ресторатор (Прим. П.).

⁵ Но времена иные (лат.).

⁶ Гораций – знаменитый поэт Древнего Рима I в. до н.э. Получив от покровителя искусств Гая Мецената в подарок имение, воспевал простоту сельской жизни.

IX.

То был приятный, благородный,
Короткий вызов, иль *картель*¹:
Учтиво, с ясностью холодной
Звал друга Ленский на дуэль.
Онегин с первого движенья,
К послу такого порученья
Оборотясь, без лишних слов
Сказал, что он *всегда готов*.
Зарецкий встал без объяснений;
Остаться доле не хотел,
Имея дома много дел,
И тотчас вышел; но Евгений
Наедине с своей душой
Был недоволен сам с собой.

X.

И поделом: в разборе строгом,
На тайный суд себя призвав,
Он обвинял себя во многом:
Во-первых, он уж был неправ,
Что над любовью робкой, нежной
Так подшутил вчор небрежно.
А во-вторых: пускай поэт
Дурачится; в осьмнадцать лет
Оно простительно. Евгений,
Всем сердцем юношу любя,
Был должен оказать себя
Не мячиком предрассуждений²,
Не пылким мальчиком, бойцом,
Но мужем с честью и с умом.

XI.

Он мог бы чувства обнаружить,
А не щетиниться, как зверь;
Он должен был обезоружить
Младое сердце. «Но теперь

Уж поздно; время улетело...
К тому ж – он мыслит – в это дело
Вмешался старый дуэлист;
Он зол, он сплетник, он речист...
Конечно, быть должно презренье
Ценой его забавных слов,
Но шепот, хохотня глупцов...»
И вот общественное мнение!³
Пружина чести, наш кумир!
И вот на чем вертится мир!

XII.

Кипя враждой нетерпеливой,
Ответа дома ждет поэт;
И вот сосед велеречивый⁴
Привез торжественно ответ.
Теперь ревниву то-то праздник!
Он все боялся, чтоб проказник
Не отшутился как-нибудь,
Уловку выдумав и грудь
Отворотив от пистолета.
Теперь сомненья решены:
Они на мельницу должны
Приехать завтра до рассвета,
Взвести друг на друга курок
И метить в ляжку иль в висок.

XIII.

Решась кокетку ненавидеть,
Кипящий Ленский не хотел
Пред поединком Ольгу видеть,
На солнце, на часы смотрел,
Махнул рукою напоследок –
И очутился у соседок.
Он думал Оленьку смутить,
Своим приездом поразить;
Не тут-то было: как и прежде,

¹ *Картель* (от фр. *carte* – исписанная бумага) – письменный вызов на дуэль.

² *Предрассуждений* – предрассудков.

³ Стих Грибоедова (Прим. П.). Поэт имеет в виду сатирические слова Чацкого в «Горе от ума»: «Поверили глупцы, другим передают, // Старухи вмиг тревогу бьют // – И вот общественное мнение!».

⁴ *Велеречивый* – говорящий торжественно, выпенно, высокопарно.



На встречу бедного певца
Прыгнула Оленька с крыльца,
Подобна ветреной надежде,
Резва, беспечна, весела,
Ну точно та же, как была.

XIV.

«Зачем вечер так рано скрылись?»
Был первый Оленькин вопрос.
Все чувства в Ленском помutilись,
И молча он повесил нос.
Исчезла ревность и досада
Пред этой ясностью взгляда,
Пред этой нежной простотой,
Пред этой резвою душой!..
Он смотрит в сладком умиленье;
Он видит: он еще любим;
Уж он, раскаяньем томим,
Готов просить у ней прощенье,
Трепещет, не находит слов,
Он счастлив, он почти здоров...

XV. XVI.¹ XVII.

И вновь задумчивый, унылый
Пред милой Ольгой своей,
Владимир не имеет силы
Вчерашний день напомнить ей;
Он мыслит: «Буду ей спаситель.
Не потерплю, чтоб развратитель
Огнем и вздохов и похвал
Младое сердце искушал;
Чтоб червь презренный, ядовитый
Точил лилеи стебелек;
Чтобы двухутренний цветок²
Увял еще полураскрытый».
Все это значило, друзья:
С приятелем стреляюсь я.

¹ Содержание пропущенных строф XV и XVI см. в Приложении.

² Двухутренний – цветущий всего два утра.

XVIII.

Когда б он знал, какая рана
Моей Татьяны сердце жгла!
Когда бы ведала Татьяна,
Когда бы знать она могла,
Что завтра Ленский и Евгений
Заспорят о могильной сени;
Ах, может быть, ее любовь
Друзей соединила б вновь!
Но этой страсти и случайно
Еще никто не открывал.
Онегин обо всем молчал;
Татьяна изнывала тайно;
Одна бы няня знать могла,
Да недогадлива была.

XIX.

Весь вечер Ленский был рассеян,
То молчалив, то весел вновь;
Но тот, кто музою взлелеян,
Всегда таков: нахмуря бровь,
Садился он за клавикорды¹
И брал на них одни аккорды,
То, к Ольге взоры устремив,
Шептал: не правда ль? я счастлив.
Но поздно; время ехать. Сжалось
В нем сердце, полное тоской;
Прощаясь с девой молодой,
Оно как будто разрывалось.
Она глядит ему в лицо.
«Что с вами?» – Так. – И на крыльцо.

XX.

Домой приехав, пистолеты
Он осмотрел, потом вложил
Опять их в ящик и, раздетый,
При свечке, Шиллера открыл;
Но мысль одна его объедает;
В нем сердце грустное не дремлет:
С неизъяснимою красой

Он видит Ольгу пред собой.
Владимир книгу закрывает,
Берет перо; его стихи,
Полны любовной чепухи,
Звучат и льются. Их читает
Он вслух, в лирическом жару,
Как Дельви² пьяный на пиру.

XXI.

Стихи на случай сохранились;
Я их имею; вот они:
«Куда, куда вы удалились,
Весны моей златые дни?
Что день грядущий мне готовит?
Его мой взор напрасно ловит,
В глубокой мгле таится он.
Нет нужды; прав судьбы закон.
Паду ли я, стрелой пронзенный,
Иль мимо пролетит она,
Все благо: бдения и сна
Приходит час определенный;
Благословен и день забот,
Благословен и тьмы приход!

XXII.

«Блеснет завтра луч денницы³
И заиграет яркий день;
А я, быть может, я гробницы
Сойду в таинственную сень,
И память юного поэта
Поглотит медленная Лета,
Забудет мир меня; но ты
Придешь ли, дева красоты,
Слезу пролить над ранней урной
И думать: он меня любил,
Он мне единой посвятил
Рассвет печальный жизни бурной!..
Сердечный друг, желанный друг,
Приди, приди: я твой супруг!...»

¹ *Клавикорды – старинный клавишный инструмент, прототип пианино.*

² *Антон Дельви – поэт, лицейский друг Пушкина.*

³ *Денница (устар.) – утренняя заря.*

XXIII.

Так он писал *темно и вяло*
 (Что романтизмом мы зовем,
 Хоть романтизма тут нimalo
 Не вижу я; да что нам в том?)
 И наконец перед зарею,
 Склонясь усталой головою,
 На модном слове *идеал*
 Тихонько Ленский задремал;
 Но только сонным обаяньем
 Он позабылся, уж сосед
 В безмолвный входит кабинет
 И будит Ленского воззваньем:
 «Пора вставать: седьмой уж час.
 Онегин верно ждет уж нас».

XXIV.

Но ошибался он: Евгений
 Спал в это время мертвым сном.
 Уже редют ночи тени
 И встречен Веспер¹ петухом;
 Онегин спит себе глубоко.
 Уж солнце катится высоко,
 И перелетная метель
 Блестит и вьется; но постель
 Еще Евгений не покинул,
 Еще над ним летает сон.
 Вот наконец проснулся он
 И полы завеса раздвинул;
 Глядит – и видит, что пора
 Давно уж ехать со двора.

XXV.

Он поскорей звонит. Вбегает
 К нему слуга француз Гильо,
 Халат и туфли предлагает
 И подает ему белье.
 Спешит Онегин одеваться,
 Слуге велит приготовляться
 С ним вместе ехать и с собой

Взять также ящик боевой.
 Готовы санки беговые.
 Он сел, на мельницу летит.
 Примчались. Он слуге велит
*Лепажа*² стволы роковые
 Нести за ним, а лошадям
 Отъехать в поле к двум дубкам.

XXVI.

Опершись на плотину, Ленский
 Давно нетерпеливо ждал;
 Меж тем, механик деревенский,
 Зарецкий жернов осуждал.
 Идет Онегин с извиненьем.
 «Но где же, – молвил с изумленьем
 Зарецкий, – где ваш секундант?»
 В дуэлях классик и педант,
 Любил методу он из чувства,
 И человека растянутъ
 Он позволял не как-нибудь,
 Но в строгих правилах искусства,
 По всем преданьям старины
 (Что похвалить мы в нем должны).

XXVII.

«Мой секундант? – сказал Евгений, –
 Вот он: мой друг, monsieur Guillot.
 Я не предвижу возражений
 На представление мое:
 Хоть человек он неизвестный,
 Но уж конечно малый честный».
 Зарецкий губу закусил.
 Онегин Ленского спросил:
 «Что ж, начинать?» – Начнем,
 пожалуй, –
 Сказал Владимир. И пошли
 За мельницу. Пока вдали
 Зарецкий наш и *честный мальый*
 Вступили в важный договор,
 Враги стоят, потупя взор.

¹ Веспер – иное название утренней звезды Венеры.

² Славный ружейный мастер (Прим. П.). Во времена Пушкина пистолеты этой марки считались лучшими дуэльным оружием.

XXVIII.

Враги! Давно ли друг от друга
Их жажда крови отвела?
Давно ль они часы досуга,
Трапезу, мысли и дела
Делили дружно? Ныне злобно,
Врагам наследственным подобно,
Как в страшном, непонятном сне,
Они друг другу в тишине
Готовят гибель холоднокровно...
Не засмеяться ль им, пока
Не обагрилась их рука,
Не разойтись ль полюбовно?..
Но дико светская вражда
Бои́тся ложного стыда.

XXIX.

Вот пистолеты уж блеснули,
Гремит о шомпол молоток.¹
В граненый ствол уходят пули,
И щелкнул в первый раз курок.
Вот порох струйкой сероватой
На полку сыплется. Зубчатый,
Надежно ввинченный кремнь
Взведен еще. За ближний пенъ
Становится Гильо смущенный.
Плащи бросают два врага.
Зарецкий тридцать два шага
Отмерял с точностью отменной,
Друзей развел по крайний след,
И каждый взял свой пистолет.

XXX.

«Теперь сходитесь».
Хладнокровно,
Еще не целя, два врага
Походкой твердой, тихо, ровно
Четыре перешли шага,
Четыре смертные ступени.
Свой пистолет тогда Евгений,

Не преста́вая наступать,
Стал первый тихо подымать.
Вот пять шагов еще ступили,
И Ленский, жмуря левый глаз,
Стал также целить – но как раз
Онегин выстрелил... Проби́ли
Часы урочные: поэт
Роняет молча пистолет,

XXXI.

На грудь кладет тихонько руку
И падает. Туманный взор
Изображает смерть, не муку.
Так медленно по скату гор,
На солнце искрами блистая,
Спадает глыба снеговая.
Мгновенным холодом облит,
Онегин к юноше спешит,
Глядит, зовет его... напрасно:
Его уж нет. Младой певец
Нашел безвременный конец!
Дохнула буря, цвет прекрасный
Увял на утренней заре,
Потух огонь на алтаре!..

XXXII.

Недвижим он лежал, и странен
Был томный мир его чела.
Под грудь он был навyleт ранен;
Дымясь из раны кровь текла.
Тому назад одно мгновенье
В сем сердце билось вдохновенье,
Вражда, надежда и любовь,
Играла жизнь, кипела кровь, –
Теперь, как в доме опустелом,
Все в нем и тихо и темно;
Замолкло навсегда оно.
Закрыты ставни, окны мелом
Забелены. Хозяйки нет.
А где, бог весть. Пропал и след.

¹ *Лепажевские пистолеты заряжались с дула. Пули в их стволы вбивались с помощью шомпола и молотка.*

XXXIII.

Приятно дерзкой эпиграммой
Взбесить оплошного врага;
Приятно зреть, как он, упрямо
Склонив бодливые рога,
Невольно в зеркало глядится
И узнавать себя стыдится;
Приятней, если он, друзья,
Завоеет сдуру: это я!
Еще приятнее в молчанье
Ему готовить честный гроб
И тихо целить в бледный лоб
На благородном расстоянии;
Но отослать его к отцам
Едва ль приятно будет вам.

XXXIV.

Что ж, если вашим пистолетом
Сражен приятель молодой,
Нескромным взглядом, иль ответом,
Или безделицей иной
Вас оскорбивший за бутылкой,
Иль даже сам в досаде пылкой
Вас гордо вызвавший на бой,
Скажите: вашею душой
Какое чувство овладеет,
Когда недвижим, на земле
Пред вами с смертью на челе,
Он постепенно костенеет,
Когда он глух и молчалив
На ваш отчаянный призыв?

XXXV.

В тоске сердечных угрызений,
Рукою стиснув пистолет,
Глядит на Ленского Евгений.



«Ну, что ж? убит», – решил сосед.
Убит!.. Сим страшным восклицаньем
Сражен, Онегин с содроганьем
Отходит и людей зовет.
Зарецкий бережно кладет
На сани труп оледенелый;
Домой везет он страшный клад.
Почуя мертвого, храпят
И бьются кони, пеной белой
Стальные мочат удила,
И полетели как стрела.

XXXVI.

Друзья мои, вам жаль поэта:
Во цвете радостных надежд,
Их не свершив еще для света,
Чуть из младенческих одежд,
Увял! Где жаркое волненье,
Где благородное стремленье
И чувств и мыслей молодых,
Высоких, нежных, удалых?
Где бурные любви желанья,
И жажда знаний и труда,
И страх порока и стыда,
И вы, заветные мечтанья,
Вы, призрак жизни неземной,
Вы, сны поэзии святой!

XXXVII.

Быть может, он для блага мира
Иль хоть для славы был рожден;
Его умолкнувшая лира
Гремучий, непрерывный звон
В веках поднять могла. Поэта,
Быть может, на ступенях света
Ждала высокая ступень.
Его страдальческая тень,
Быть может, унесла с собою
Святую тайну, и для нас
Погиб животворящий глас,
И за могильною чертою
К ней не домчится гимн времен,
Благословение племен.

XXXVIII. XXXIX.

А может быть и то: поэта
Обыкновенный ждал удел.
Прошли бы юношества лета:
В нем пыл души бы охладел.
Во многом он бы изменился,
Расстался б с музами, женился,
В деревне, счастлив и рогат,
Носил бы стеганный халат;
Узнал бы жизнь на самом деле,
Подагру б в сорок лет имел,
Пил, ел, скучал, толстел, хирел.
И наконец в своей постеле
Скончался б посреди детей,
Плаксивых баб и лекарей.

XL.

Но что бы ни было, читатель,
Увы, любовник молодой,
Поэт, задумчивый мечтатель,
Убит приятельской рукой!
Есть место: влево от селенья,
Где жил питомец вдохновенья,
Две сосны корнями срослись;
Под ними струйки извились
Ручья соседственной долины.
Там пахарь любит отдыхать,
И жницы в волны погружать
Приходят звонкие кувшины;
Там у ручья в тени густой
Поставлен памятник простой.

XLI.

Под ним (как начинает капать
Весенний дождь на злак полей)
Пастух, плетя свой пестрый лапоть,
Поет про волжских рыбаков;
И горожанка молодая,
В деревне лето проводя,
Когда стремглав верхом она
Несется по полям одна,
Коня пред ним останавливает,
Ремянный повод натянув,



И, флер¹ от шляпы отвернув,
Глазами беглыми читает
Простую надпись – и слеза
Туманит нежные глаза.

XLII.

И шагом едет в чистом поле,
В мечтанья погружаясь, она;
Душа в ней долго поневоле
Судьбою Ленского полна;
И мыслит: «Что-то с Ольгой стало?
В ней сердце долго ли страдало,
Иль скоро слез прошла пора?
И где теперь ее сестра?
И где ж беглец людей и света,
Красавиц модных модный враг,
Где этот пасмурный чудаки,
Убийца юного поэта?»
Со временем отчет я вам
Подробно обо всем отдам,

XLIII.

Но не теперь. Хотя я сердечно
Люблю героя моего,
Хоть возвращусь к нему, конечно,
Но мне теперь не до него.
Лета к суровой прозе клонят,
Лета шалунию рифму гонят,
И я – со вздохом признаюсь –
За ней ленивей волочусь.
Перу старинной нет охоты
Марать летучие листы;
Другие, холодные мечты,
Другие, строгие заботы
И в шуме света и в тиши
Тревожат сон моей души.

XLIV.

Познал я глас иных желаний,
Познал я новую печаль;
Для первых нет мне упований,
А старой мне печали жаль.

Мечты, мечты! где ваша сладость?
Где, вечная к ней рифма, *младость*?
Ужель и вправду наконец
Увял, увял ее венец?
Ужель и впрям и в самом деле
Без элегических затей
Весна моих промчалась дней
(Что я шутя твердил доселе)?
И ей ужель возврата нет?
Ужель мне скоро тридцать лет?

XLV.

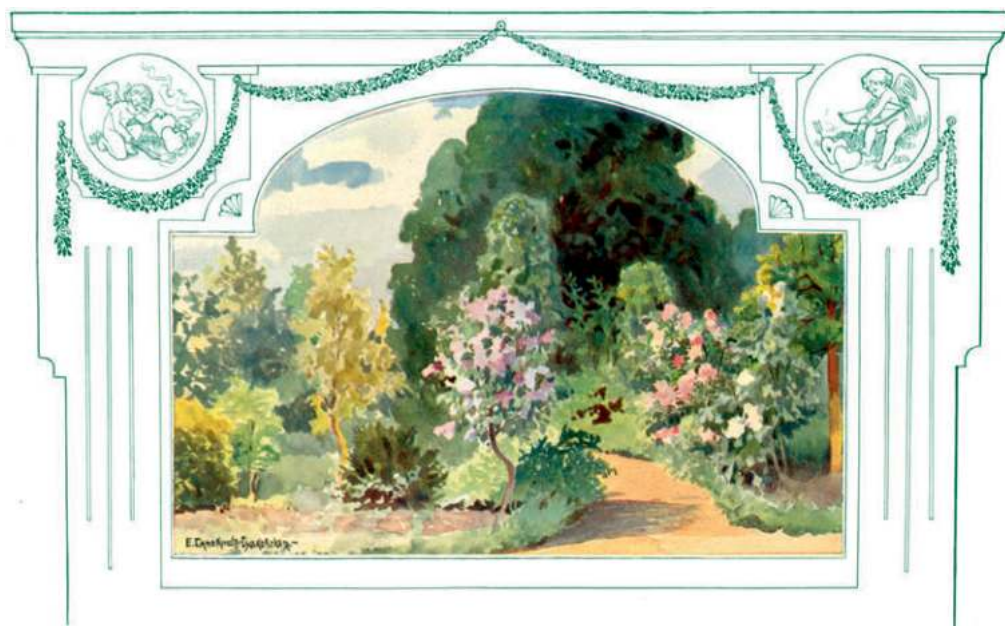
Так, полдень мой настал, и нужно
Мне в том сознаться, вижу я.
Но так и быть: простимся дружно,
О юность легкая моя!
Благодарю за наслажденья,
За грусть, за милые мученья,
За шум, за бури, за пиры,
За все, за все твои дары;
Благодарю тебя. Тобою,
Среди тревог и в тишине,
Я наслаждался... и вполне;
Довольно! С ясною душою
Пускаюсь ныне в новый путь
От жизни прошлой отдохнуть.

XLVI.

Дай оглянусь. Простите ж, сени,
Где дни мои текли в глуши,
Исполнены страстей и лени
И снов задумчивой души.
А ты, младое вдохновенье,
Волнуй мое воображенье,
Дремоту сердца оживляй,
В мой угол чаще прилетай,
Не дай остыть душе поэта,
Ожесточиться, очерстветь,
И наконец окаменеть
В мертвящем упоеньи света,
В сем омуте, где с вами я
Купаюсь, милые друзья!²

¹ Флер – тонкая ткань, кисея.

² Об иной концовке главы см. Приложение.



ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Москва, России дочь любима,
Где равную тебе сыскать?
Дмитриев

Как не любить родной Москвы?
Баратынский

Гоненье на Москву! что значит видеть свет!
Где ж лучше?
Где нас нет.
Грибоедов

I.
Гонимы вешними лучами,
С окрестных гор уже снега
Сбежали мутными ручьями
На потопленные луга.
Улыбкой ясною природа
Сквозь сон встречает утро года;
Синея блещут небеса.

Еще прозрачные, леса
Как будто пухом зеленеют.
Пчела за данью полевой
Летит из кельи восковой.¹
Долины сохнут и пестреют;
Стада шумят, и соловей
Уж пел в безмолвии ночей.

¹ Келья – комната монаха в монастыре; восковая келья – ячейка сот.

II.¹

Как грустно мне твое явленье,
Весна, весна! пора любви!
Какое томное волненье
В моей душе, в моей крови!
С каким тяжелым умилением
Я наслаждаюсь дуновеньем
В лицо мне веющей весны
На лоне сельской тишины!
Или мне чуждо наслажденье,
И все, что радует, живет,
Все, что ликует и блестит
Наводит скуку и томленье
На душу мертвую давно
И все ей кажется темно?

III.

Или, не радуясь возврату
Погибших осенью листов,
Мы помним горькую утрату,
Внимая новый шум лесов;
Или с природой оживленной
Сближаем думою смущенной
Мы увяданье наших лет,
Которым возрожденья нет?
Быть может, в мысли к нам приходит
Средь поэтического сна
Иная, старая весна
И в трепет сердце нам приводит
Мечтой о дальней стороне,
О чудной ночи, о луне...

IV.

Вот время: добрые ленивцы,
Эпикурейцы-мудрецы,²

Вы, равнодушные счастливыцы,
Вы, школы Левшина³ птенцы,
Вы, деревенские Приамы⁴,
И вы, чувствительные дамы,
Весна в деревню вас зовет,
Пора тепла, цветов, работ,
Пора гуляний вдохновенных
И соблазнительных ночей.
В поля, друзья! скорей, скорей,
В каретах тяжко нагруженных,
На долгих⁵ иль на почтовых
Тянитесь из застав градских.

V.

И вы, читатель благосклонный,
В своей коляске выписной⁶
Оставьте град неугомонный,
Где веселились вы зимой;
С моею музой своенравной
Пойдемте слушать шум дубравный
Над безыменною рекой
В деревне, где Евгений мой,
Отшельник праздный и унылый,
Еще недавно жил зимой
В соседстве Тани молодой,
Моей мечтательницы милой,
Но где его теперь уж нет...
Где грустный он оставил след.

VI.

Меж гор, лежащих полукругом,
Пойдем туда, где ручеек,
Виясь, бежит зеленым лугом
К реке сквозь липовый лесок.
Там соловей, весны любовник,

¹ В черновых рукописях сохранился набросок о весне, см Приложение.

² Эпикур – древнегреческий философ III в до н.э., считавший высшим благом наслаждение жизнью.

³ Левшин, автор многих сочинений по части хозяйственной (Прим. П.).

⁴ Приам – легендарный царь Трои.

⁵ Долгими называли собственных лошадей; им было необходимо давать отдых на станциях, и это увеличивало время пути.

⁶ Выписной – выписанной из-за границы, импортной.

Всю ночь поет; цветет шиповник,
И слышен говор ключевой, –
Там виден камень гробовой
В тени двух сосен устарелых.
Пришельцу надпись говорит:
«Владимир Ленский здесь лежит,
Погибший рано смертью смелых,
В такой-то год, таких-то лет.
Покойся, юноша-поэт!»

VII.

На ветви сосны преклоненной,
Бывало, ранний ветерок
Над этой урною смиренной
Качал таинственный венок.
Бывало, в поздние досуги
Сюда ходили две подруги,
И на могиле при луне,
Обнявшись, плакали оне.
Но ныне... памятник унылый
Забыв. К нему привычный след
Заглох. Венка на ветви нет;
Один, под ним, седой и хилый
Пастух по-прежнему поет
И обувь бедную плетет.

VIII. IX.¹ X.

Мой бедный Ленский! изнывая,
Не долго плакала она.
Увы! невеста молодая
Своей печали неверна.
Другой увлек ее вниманье,
Другой успел ее страданье
Любовной лестью усыпить,
Улан² умел ее пленить,
Улан любим ее душою...
И вот уж с ним пред алтарем
Она стыдливо под венцом
Стоит с поникшей головою,

С огнем в потупленных очах,
С улыбкой легкой на устах.

XI.

Мой бедный Ленский! за могилой
В пределах вечности глухой
Смутился ли, певец унылый,
Измены вестью роковой,
Или над Летой усыпленный
Поэт, бесчувствием блаженный,
Уж не смущается ничем,
И мир ему закрыт и нем?..
Так! равнодушное забвенье
За гробом ожидает нас.
Врагов, друзей, любовниц глас
Вдруг молкнет. Про одно именье
Наследников сердитый хор
Заводит непристойный спор.

XII.

И скоро звонкий голос Оли
В семействе Лариных умолк.
Улан, своей невольник доли,
Был должен ехать с нею в полк.
Слезами горько обливаясь,
Старушка, с дочерью прощаясь,
Казалось, чуть жива была,
Но Таня плакать не могла;
Лишь смертной бледностью покрылось
Ее печальное лицо.
Когда все вышли на крыльцо,
И все, прощаясь, суеилось
Вокруг кареты молодых,
Татьяна проводила их.

XIII.

И долго, будто сквозь тумана,
Она глядела им вослед...
И вот одна, одна Татьяна!

¹ В черновых рукописях сохранился набросок из опущенных строк об измене Ольги паше Ленского; см. Приложение.

² Улан – кавалерист уланского полка.



Увы! подруга стольких лет,
 Ее голубка молодая,
 Ее наперсница родная,
 Судьбою вдаль занесена,
 С ней навсегда разлучена.
 Как тень она без цели бродит,
 То смотрит в опустелый сад...
 Нигде, ни в чем ей нет отрад,
 И облегченья не находит
 Она подавленным слезам —
 И сердце рвется пополам.

XIV.

И в одиночестве жестоком
 Сильнее страсть ее горит,
 И об Онегине далеком
 Ей сердце громче говорит.

Она его не будет видеть;
 Она должна в нем ненавидеть
 Убийцу брата своего;
 Поэт погиб... но уж его
 Никто не помнит, уж другому
 Его невеста отдалась.
 Поэта память пронеслась
 Как дым по небу голубому,
 О нем два сердца, может быть,
 Еще грустят... На что грустить?..

XV.

Был вечер. Небо меркло. Воды
 Струились тихо. Жук жужжал.
 Уж расходились хороводы;
 Уж за рекой, дымясь, пылал
 Огонь рыбацкий. В поле чистом,

Луны при свете серебристом,
В свои мечты погружена,
Татьяна долго шла одна.
Шла, шла. И вдруг перед собою
С холма господский видит дом,
Селенье, рошу под холмом
И сад над светлою рекою.
Она глядит – и сердце в ней
Забилось чаще и сильнее.

XVI.

Ее сомнения смущают:
«Пойду ль вперед, пойду ль назад?..
Его здесь нет. Меня не знают..
Взгляну на дом, на этот сад».
И вот с холма Татьяна сходит,
Едва дыша; кругом обводит
Недоуменья полный взор..
И входит на пустынный двор.
К ней, лая, кинулись собаки.
На крик испуганный ее
Ребят дворовая семья
Сбежалась шумно. Не без драки
Мальчишки разогнали псов,
Взяв барышню под свой покров.

XVII.

«Увидеть барской дом нельзя ли?» –
Спросила Таня. Поскорей
К Анисье дети побежали
У ней ключи взять от сеней;
Анисья тотчас к ней явилась,
И дверь пред ними отворилась,
И Таня входит в дом пустой,
Где жил недавно наш герой.
Она глядит: забытый в зале
Кий на бильярде отдыхал,
На смятом канапе¹ лежал
Манежный² хлыстик. Таня дале;

Старушка ей: «а вот камин;
Здесь барин сживал один.

XVIII.

Здесь с ним обеживал зимою
Покойный Ленский, наш сосед.
Сюда пожалуйте, за мною.
Вот это барский кабинет;
Здесь почивал он, кофей кушал,
Приказчика доклады слушал
И книжку по утру читал..
И старый барин здесь живал;
Со мной, бывало, в воскресенье,
Здесь под окном, надев очки,
Играть изволил в дурачки.
Дай бог душе его спасенье,
А косточкам его покой
В могиле, в мать-земле сырой!»

XIX.

Татьяна взором умиленным
Вокруг себя на все глядит,
И все ей кажется бесценным,
Все душу томную живит
Полумучительной отрадой:
И стол с померкшею лампадой,
И груда книг, и под окном
Кровать, покрытая ковром,
И вид в окно сквозь сумрак лунный,
И этот бледный полусвет,
И лорда Байрона портрет,
И столбик с куклою чугунной
Под шляпой с пасмурным челом,
С руками, сжатыми крестом.³

XX.

Татьяна долго в келье модной
Как очарована стоит.
Но поздно. Ветер встал холодный.

¹ Канапе – небольшой диван.

² Манеж – здание для выездки лошадей.

³ Речь идет о статуэтке Наполеона.

Темно в долине. Роща спит
 Над отуманенной рекою;
 Луна сокрылась за горою,
 И пилигримке¹ молодой
 Пора, давно пора домой.
 И Таня, скрыв свое волненье,
 Не без того, чтоб не вздохнуть,
 Пускается в обратный путь.
 Но прежде просит позволенья
 Пустынный замок навещать,
 Чтоб книжки здесь одной читать.

XXI.

Татьяна с ключницей простилась
 За воротами. Через день
 Уж утром рано вновь явилась
 Она в оставленную сень.
 И в молчаливом кабинете,
 Забыв на время все на свете,
 Осталась наконец одна,
 И долго плакала она.
 Потом за книги принялась.
 Сперва ей было не до них,
 Но показался выбор их
 Ей странен. Чтенью предалась
 Татьяна жадною душой;
 И ей открылся мир иной.

XXII.

Хотя мы знаем, что Евгений
 Издавна чтение разлюбил,
 Однако ж несколько творений
 Он из опалы исключил:
 Певца Гяура и Жуана²
 Да с ним еще два-три романа,
 В которых отразился век
 И современный человек
 Изображен довольно верно

С его безнравственной душой,
 Себялюбивой и сухой,
 Мечтанью преданной безмерно,
 С его озлобленным умом,
 Кипящим в действии пустом.

XXIII.

Хранили многие страницы
 Отметку резкую ногтей;
 Глаза внимательной девицы
 Устремлены на них живеи.
 Татьяна видит с трепетаньем,
 Какою мыслью, замечаньем
 Бывал Онегин поражен,
 В чем молча соглашался он.
 На их полях она встречает
 Черты его карандаша.
 Везде Онегина душа
 Себя невольно выражает
 То кратким словом, то крестом,
 То вопросительным крючком.

XXIV.

И начинает понемногу
 Моя Татьяна понимать
 Теперь яснее – слава богу –
 Того, по ком она вздыхать
 Осуждена судьбою властной:
 Чудак печальный и опасный,
 Созданье ада иль небес,
 Сей ангел, сей надменный бес,
 Что ж он? Ужели подражанье,
 Ничтожный призрак, иль еще
 Москвич в Гарольдовом плаще,³
 Чужих причуд истолкованье,
 Слов модных полный лексикон?..
 Уж не пародия ли он?

¹ Пилигрим – странник, паломник.

² «Гяур» и «Дон-Жуан» – произведения Байрона.

³ Многие московские дворяне в пушкинское время были увлечены образом Чайльд-Гарольда.



XXV.

Ужель загадку разрешила?
 Ужели *слово* найдено?
 Часы бегут; она забыла,
 Что дома ждут ее давно,
 Где собрались два соседа
 И где об ней идет беседа.
 – Как быть? Татьяна не дитя, –
 Старушка молвила кряхтя. –
 Ведь Оленька ее моложе.
 Пристроить девушку, ей-ей,
 Пора; а что мне делать с ней?
 Всем наотрез одно и то же:
 Нейду. И все грустит она,
 Да бродит по лесам одна.

XXVI.

«Не влюблена ль она?» – В кого же?
 Буянов сватался: отказ.
 Ивану Петушкову – тоже.
 Гусар Пыхтин гостил у нас;
 Уж как он Танею прельщался,
 Как мелким бесом рассыпался!
 Я думала: пойдет авось;
 Куда! и снова дело врозь. –
 «Что ж, матушка? за чем же стало?
 В Москву, на ярманку невест!¹
 Там, слышно, много праздных мест».²
 – Ох, мой отец! доходу мало. –
 «Довольно для одной зимы,
 Не то уж дам хоть я в займы».

XXVII.

Старушка очень полюбила
 Совет разумный и благой;
 Сочлась – и тут же положила
 В Москву отправиться зимой.
 И Таня слышит новость эту.

На суд взыскательному свету
 Представить ясные черты
 Провинциальной простоты,
 И запоздалые наряды,
 И запоздалый склад речей;
 Московских франтов и цирцей³
 Привлечь насмешливые взгляды!..
 О страх! нет, лучше и верней
 В глуши лесов остаться ей.

XXVIII.

Вставая с первыми лучами,
 Теперь она в поля спешит
 И, умиленными очами
 Их озирая, говорит:
 «Простите, мирные долины,
 И вы, знакомых гор вершины,
 И вы, знакомые леса;
 Прости, небесная краса,
 Прости, веселая природа;
 Меняю милый, тихий свет
 На шум блистательных сует...
 Прости ж и ты, моя свобода!
 Куда, зачем стремлюся я?
 Что мне сулит судьба моя?»

XXIX.

Ее прогулки длятся доле.
 Теперь то холмик, то ручей
 Остановляют поневоле
 Татьяну прелестью своей.
 Она, как с давними друзьями,
 С своими рощами, лугами
 Еще беседовать спешит.
 Но лето быстрое летит.
 Настала осень золотая.
 Природа трепетна, бледна,
 Как жертва, пышно убрана...

¹ В «Путешествии из Москвы в Петербург» Пушкин заметил: «Москва славилась невестами, как Вязьма пряниками».

² Праздных в данном случае – вакантных, свободных.

³ Цирцея – волшебница в «Одиссее» Гомера.

Вот север, тучи нагоняя,
Дохнул, завыл – и вот сама
Идет волшебница зима.

XXX.

Пришла, рассыпалась; клоками
Повисла на суках дубов;
Легла волнистыми коврами
Среди полей, вокруг холмов;
Брега с недвижною рекою
Сравняла пухлой пеленою;
Блеснул мороз. И рады мы
Проказам матушки зимы.
Не радо ей лишь сердце Тани.
Нейдет она зиму встречать,
Морозной пылью подышать
И первым снегом с кровли бани
Умыть лицо, плеча и грудь:
Татьяне страшен зимний путь.

XXXI.

Отъезда день давно просрочен,
Проходит и последний срок.
Осмотрен, вновь обит, упрочен
Забвенью брошенный возок.
Обоз обычный, три кибитки
Везут домашние пожитки,
Кастрюльки, стулья, сундуки,
Варенье в банках, тюфяки,
Перины, клетки с петухами,
Горшки, тазы ет сетега,
Ну, много всякого добра.
И вот в избе между слугами
Поднялся шум, прощальный плач:
Ведут на двор осьмнадцать кляч,

XXXII.

В возок боярский¹ их впрягают,
Готовят завтрак повара,
Горой кибитки нагружают,
Бранятся бабы, кучера.
На кляче тощей и косматой
Сидит фореитор² бородатый,
Сбежалась челядь³ у ворот
Прощаться с барами. И вот
Уселись, и возок почтенный,
Скользя, ползет за ворота.
«Простите, мирные места!
Прости, приют уединенный!
Увижу ль вас?...» И слез ручей
У Тани льется из очей.

XXXIII.

Когда благому просвещенью
Отдвинем более границ,
Современем (по расчисленью
Философических таблиц,⁴
Лет чрез пятьсот) дороги, верно,
У нас изменятся безмерно:
Шоссе Россию здесь и тут,
Соединив, пересекут.
Мосты чугунные чрез воды
Шагнут широкою дугой,
Раздвинем горы, под водой
Пророем дерзостные своды,
И заведет крещеный мир
На каждой станции трактир.

XXXIV.

Теперь у нас дороги плохи,⁵
Мосты забытые гниют,

¹ Боярский возок – каретный кузов на санях.

² Фореитор – слуга, сидящий на передней лошади запряжки.

³ Челядь – дворовые слуги.

⁴ Имеются в виду французские сравнительные статистические таблицы начала XIX века, демонстрирующие динамику развития европейских стран.

⁵ См. Приложение.

На станциях клопы да блохи
Заснуть минуты не дают;
Трактиров нет. В избе холодной
Высокопарный, но голодный
Для виду прейскурант висит
И тщетный дразнит аппетит,
Меж тем как сельские циклопы¹
Перед медлительным огнем
Российским лечат молотком
Изделье легкое Европы,²
Благословляя колеси
И рвы отеческой земли.

XXXV.

Зато зимы порой холодной
Езда приятна и легка.
Как стих без мысли в песне модной,
Дорога зимняя гладка.
Автомедоны³ наши бойки,
Неутомимы наши тройки,
И версты, теща праздный взор,
В глазах мелькают, как забор.⁴
К несчастью, Ларина тащилась,
Боясь прогонов дорогих,
Не на почтовых, на своих,
И наша дева насладились
Дорожной скукою вполне:
Семь суток ехали оне.

XXXVI.

Но вот уж близко. Перед ними
Уж белокаменной Москвы

Как жар, крестами золотыми
Горят старинные главы.
Ах, братцы! как я был доволен,
Когда церквей и колоколен,
Садов, чертогов полукруг
Открылся предо мною вдруг!
Как часто в горестной разлуке,
В моей блуждающей судьбе,
Москва, я думал о тебе!
Москва... как много в этом звуке
Для сердца русского слилось!
Как много в нем отозвалось!

XXXVII.

Вот, окружен своей дубравой,
Петровский замок.⁵ Мрачно он
Недавнею гордится славой.
Напрасно ждал Наполеон,
Последним счастьем упоенный,
Москвы коленопреклоненной
С ключами старого Кремля:
Нет, не пошла Москва моя
К нему с повинной головою.
Не праздник, не приемный дар,
Она готовила пожар
Нетерпеливому герою.
Отселе, в думу погружен,
Глядел на грозный пламень он.

XXXVIII.

Прощай, свидетель падшей славы,⁶
Петровский замок. Ну! не стой,

¹ Циклопы – в древнегреческой мифологии одноглазые великаны кузнецы, помощники бога Гефеста.

² То есть ремонтируют заграничные повозки.

³ Автомедон – ловкий возница Ахилла, героя Троянской войны.

⁴ Сравнение, заимствованное у К**, столь известного изгивостию воображения. К... рассказывал, что будучи однажды послан курьером от князя Потемкина к императрице, он ехал так скоро, что шпага его, высунувшись концом из тележки, стучала по верстам, как по частоколу (Прим. П.).

⁵ Выстроенный в неоготическом стиле и расположенный на Петербургском тракте Петровский путевой дворец.

⁶ После пожара Москвы Наполеон перенес свою резиденцию в Петровский дворец.



Пошел! Уже столпы заставы
Белеют; вот уж по Тверской
Возок несется чрез ухабы.
Мелькают мимо будки, бабы,
Мальчишки, лавки, фонари,
Дворцы, сады, монастыри,

Бухарцы¹, сани, огороды,
Купцы, лачужки, мужики,
Бульвары, башни, казаки,
Аптеки, магазины моды,
Балконы, львы на воротах
И стаи галок на крестах.

XXXIX. XL.

В сей утомительной прогулке
Проходит час-другой, и вот
У Харитонья² в переулке
Возок пред домом у ворот
Остановился. К старой тетке,
Четвертый год больной в чахотке,
Они приехали теперь.
Им настежь отворяет дверь,
В очках, в изорванном кафтане,
С чулком в руке, седой калмык.
Встречает их в гостиной крик
Княжны, простертой на диване.
Старушки с плачем обнялись,
И восклицанья полились.

XLI.

– Княжна, mon ange!³ – «Pachette!»⁴»
– Алина! –
«Кто б мог подумать? Как давно!
Надолго ль? Милая! Кузина!
Садись – как это мудроно!
Ей богу сцена из романа...»
– А это дочь моя, Татьяна. –
«Ах, Таня! подойди ко мне –
Как будто брежу я во сне...
Кузина, помнишь Грандисона?»
– Как, Грандисон?... а, Грандисон!
Да, помню, помню. Где же он? –
«В Москве, живет у Симеона;⁵

¹ Бухарцами называли в Москве всех восточных купцов.

² Харитоньевский переулок на Мясницкой улице.

³ Мой ангел (фр.).

⁴ Пашенька (фр.).

⁵ Возле церкви Симеона Столпника; вероятно, на Поварской улице.

Меня в сочельник¹ навестил;
Недавно сына он женил.

XLII.

А тот... но после все расскажем,
Не правда ль? Всей ее родне
Мы Таню завтра же покажем.
Жаль, разъезжать нет мочи мне;
Едва, едва таскаю ноги.
Но вы замучены с дороги;
Пойдемте вместе отдохнуть...
Ох, силы нет... устала грудь...
Мне тяжела теперь и радость,
Не только грусть... душа моя,
Уж никуда не годна я...
Под старость жизнь такая гадость...»
И тут, совсем утомлена,
В слезах раскашлялась она.

XLIII.

Больной и ласки и веселье
Татьяну трогают; но ей
Не хорошо на новоселье,
Привыкшей к горнице своей.
Под занавескою шелковой
Не спится ей в постеле новой,
И ранний звон колоколов,
Предтеча² утренних трудов,
Ее с постели подымает.
Садится Таня у окна.
Редет сумрак; но она
Своих полей не различает:
Пред нею незнакомый двор,
Конюшня, кухня и забор.

XLIV.

И вот: по родственным обедам
Развозят Таню каждый день
Представить бабушкам и дедам
Ее рассеянную лень.
Родне, прибывшей издалеча,



Повсюду ласковая встреча,
И восклицанья, и хлеб-соль.
«Как Таня выросла! Давно ль
Я, кажется, тебя крестила?
А я так на руки брала!
А я так за уши драла!
А я так пряником кормила!»
И хором бабушки твердят:
«Как наши годы-то летят!»

¹ Сочельник – день накануне Рождества или Крещения.

² Предтеча – предвестник.

XLV.

Но в них не видно перемены;
Все в них на старый образец:
У тетушки княжны Елены
Все тот же тюлевый чепец;
Все белится Лукерья Львовна,
Все то же лжет Любовь Петровна,
Иван Петрович так же глуп,
Семен Петрович так же скуп,
У Пелагеи Николавны
Все тот же друг мосье Финмуш,
И тот же шпиц, и тот же муж;
А он, все клуба член исправный,¹
Все так же смирен, так же глух,
И так же ест и пьет за двух.

XLVI.

Их дочери Таню обнимают.
Младые грации Москвы
Сначала молча озирают
Татьяну с ног до головы;
Ее находят что-то странной,
Провинциальной и жеманной,
И что-то бледной и худой,
А впрочем очень недурной;
Потом, покорствуя природе,
Дружатся с ней, к себе ведут,
Целуют, нежно руки жмут,
Взбивают кудри ей по моде,
И поверяют нараспев
Сердечны тайны, тайны дев,

XLVII.

Чужие и свои победы,
Надежды, шалости, мечты.
Текут невинные беседы
С прикрасой легкой клеветы.
Потом, в отплату лепетанья,

Ее сердечного признанья
Умильно требуют оне.
Но Таня, точно как во сне,
Их речи слышит без участия,
Не понимает ничего,
И тайну сердца своего,
Заветный клад и слез и счастья,
Хранит безмолвно между тем
И им не делится ни с кем.

XLVIII.

Татьяна вслушаться желает
В беседы, в общий разговор;
Но всех в гостиной занимает
Такой бессвязный, пошлый вздор;
Все в них так бледно, равнодушно;
Они клеветают даже скучно;
В бесплодной сухости речей,
Расспросов, сплетен и вестей
Не вспыхнет мысли в целы сутки,
Хоть невзначай, хоть наобум;
Не улыбнется томный ум,
Не дрогнет сердце, хоть для шутки.
И даже глупости смешной
В тебе не встретишь, свет пустой.

XLIX.

Архивны юноши² толпою
На Таню чопорно глядят
И про нее между собою
Неблагодарно говорят.
Один какой-то шут печальный
Ее находит идеальной
И, прислонившись у дверей,
Элегию готовит ей.
У скучной тетки Таню встрета,
К ней как-то Вяземский подсел
И душу ей занять успел.

¹ Имеется в виду Английский клуб в Москве.

² Архивные юноши – служащие Московского архива коллегии иностранных дел. Писатель и журналист Ф. Булгарин отмечал, что это «Чиновники, неслужащие в службе ... матушкины сынки... женихи всех невест, влюбленные во всех женицин, у которых только нос не на затылке...».



И, близ него ее заметя,
Об ней, поправя свой парик,
Осведомляется старик.

L.

Но там, где Мельпомены¹ бурной
Протяжный раздается вой,
Где машет мантией мишурной
Она пред хладною толпой,
Где Талия² тихонько дремлет
И плескам дружеским не внимлет,
Где Терпсихоре³ лишь одной
Дивится зритель молодой

(Что было также в прежни леты,
Во время ваше и мое),
Не обратились на нее
Ни дам ревнивые лорнеты,
Ни трубки⁴ модных знатоков
Из лож и кресельных рядов.

LI.

Ее привозят и в Собранье.⁵
Там теснота, волненье, жар,
Музыки грохот, свеч блистанье,
Мельканье, вихорь быстрых пар,
Красавиц легкие уборы,

¹ Мельпомена – древнегреческая богиня трагедии.

² Пушкин называет древнегреческую музу комедии дремлющей, подчеркивая застой в этой области театрального искусства.

³ Терпсихора – древнегреческая муза танцев.

⁴ Подзорные трубки, которыми пользовались в театрах до распространения биноклей.

⁵ Дворянское или Благородное собрание – орган дворянского самоуправления.

Людьми пестреющие хоры,
 Невест обширный полукруг,
 Все чувства поражает вдруг.
 Здесь кажут франты записные
 Свое нахальство, свой жилет
 И невнимательный лорнет.
 Сюда гусары отпускные
 Спешат явиться, прогреметь,
 Блеснуть, пленить и улететь.

LII.

У ночи много звезд прелестных,
 Красавиц много на Москве.
 Но ярче всех подруг небесных
 Луна в воздушной синеве.
 Но та, которую не смею
 Тревожить лирою моею,
 Как величавая луна,
 Средь жен и дев блесит одна.
 С какою гордостью небесной
 Земли касается она!
 Как негой грудь ее полна!
 Как томен взор ее чудесный!..
 Но полно, полно; перестань:
 Ты заплатил безумству дань.

LIII.

Шум, хохот, беготня, поклоны,
 Галоп, мазурка, вальс... Меж тем,
 Между двух теток у колоны,
 Не замечаема никем,
 Татьяна смотрит и не видит,
 Волненье света ненавидит;
 Ей душно здесь... она мечтой
 Стремится к жизни полевой,
 В деревню, к бедным поселянам,
 В уединенный уголок,

Где льется светлый ручеек,
 К своим цветам, к своим романам
 И в сумрак липовых аллей,
 Туда, где *он* являлся ей.

LIV.

Так мысль ее далеке бродит:
 Забыт и свет и шумный бал,
 А глаз меж тем с нее не сводит
 Какой-то важный генерал.
 Друг другу тетушки мигнули
 И локтем Таню враз толкнули,
 И каждая шепнула ей:
 – Взгляни налево поскорей. –
 «Налево? где? что там такое?»
 – Ну, что бы ни было, гляди...
 В той кучке, видишь? впереди,
 Там, где еще в мундирах двое...
 Вот отошел... вот боком стал... –
 «Кто? толстый этот генерал?»

LV.

Но здесь с победою поздравим
 Татьяну милую мою
 И в сторону свой путь направим,
 Чтоб не забыть, о ком пою...
 Да кстати, здесь о том два слова:
Пою приятеля молодого
И множество его причуд.
Благослови мой долгий труд,
О ты, эпическая муза!
И верный посох мне вручив,
Не дай блуждать мне вкось и вкрив.
 Довольно. С плеч долой обуза!
 Я классицизму отдал честь:
 Хотя поздно, а вступление есть.



ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Fare thee well, and if for ever
Still for ever fare thee well.

Byron.¹

I.

В те дни, когда в садах Лицея
Я безмятежно расцветал,
Читал охотно Апулея²,
А Цицерона³ не читал,
В те дни в таинственных долинах,
Весной, при кликах лебединых,
Близ вод, сиявших в тишине,
Являться муза стала мне.
Моя студенческая келья
Вдруг озарилась: муза в ней
Открыла пир молодых затей,
Воспела детские веселья,
И славу нашей старины,
И сердца трепетные сны.⁴

II.

И свет ее с улыбкой встретил;
Успех нас первый окрылил;
Старик Державин нас заметил
И в гроб сходя, благословил.⁵

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

III.

И я, в закон себе вменяя
Страстей единый произвол,
С толпою чувства разделяя,
Я музу резвую привел
На шум пиров и буйных споров,
Грозы полуночных дозоров;
И к ним в безумные пиры
Она несла свои дары
И как вакханочка⁶ резвилась,
За чашей пела для гостей,
И молодежь минувших дней
За нею буйно волочилась,
А я гордился меж друзей
Подругой ветреной моей.

IV.

Но я отстал от их союза
И вдаль бежал... Она за мной.
Как часто ласковая муза
Мне услаждала путь немой
Волшебством тайного рассказа!
Как часто по скалам Кавказа
Она Ленорой⁷, при луне,

¹ Прощай, и если навсегда, то навсегда прощай. Байрон (англ.).

² Апулей – римский писатель II в. до н.э., автор романа «Золотой осел», знаменитого своими фривольными сценами.

³ Цицерон – известный древнеримский оратор и политик I в. до н.э.

⁴ В рукописях сохранились иные варианты начала восьмой главы; см. Приложение.

⁵ Г.Р. Державин, снискавший к началу XIX века славу главы русской поэзии, слушал на лицейском экзамене в 1815 году стихи молодого Пушкин и был ими весьма впечатлен.

⁶ Вакханка – спутница бога вина и веселья Вакха.

⁷ Ленора – героиня одноименной баллады немецкого поэта XIX века Готфрида Бюргера, известной в вольном переводе В.А. Жуковского как «Светлана».

Со мной скакала на коне!
Как часто по берегам Тавриды¹
Она меня во мгле ночной
Водила слушать шум морской,
Немолчный шепот Нереиды,²
Глубокий, вечный хор валов,
Хвалебный гимн отцу миров.

V.

И, позабыв столицы дальней
И блеск и шумные пиры,
В глуши Молдавии печальной
Она смиренные шатры
Племен бродящих посещала,
И между ими одичала,
И позабыла речь богов
Для скудных, странных языков,
Для песен степи, ей любезной...
Вдруг изменилось все кругом,
И вот она в саду моем
Явилась барышней уездной,
С печальной думою в очах,
С французской книжкою в руках.

VI.

И ныне музу я впервые
На светский раут³ привожу;
На прелести ее степные
С ревнивой робостью гляжу.
Сквозь тесный ряд аристократов,
Военных франтов, дипломатов
И гордых дам она скользит;
Вот села тихо и глядит,
Любуясь шумной теснотою,
Мельканьем платьев и речей,
Явленьем медленным гостей

Перед хозяйкой молодою
И темной рамою мужчин
Вкруг дам как около картин.

VII.

Ей нравится порядок стройный
Олигархических бесед,
И холод гордости спокойной,
И эта смесь чинов и лет.
Но это кто в толпе избранной
Стоит безмолвный и туманный?
Для всех он кажется чужим.
Мелькают лица перед ним
Как ряд докучных привидений.
Что, сплин иль страждущая спесь
В его лице? Зачем он здесь?
Кто он таков? Ужель Евгений?
Ужели он?.. Так, точно он.
– Давно ли к нам он занесен?

VIII.

Все тот же ль он иль усмирился?
Иль корчит также чудака?
Скажите: чем он возвратился?
Что нам представит он пока?
Чем ныне явится? Мельмотом⁴,
Космополитом⁵, патриотом,
Гарольдом, квакером⁶, ханжой,
Иль маской щегольнет иной,
Иль просто будет добрый малый,
Как вы да я, как целый свет?
По крайней мере мой совет:
Отстать от моды обветшалою.
Довольно он морочил свет...
– Знаком он вам? – И да и нет.

¹ Таврида – одно из исторических названий Крыма.

² Нереиды в древнегреческой мифологии – дочери морского царя Нереея; в данном случае Нереида олицетворяет море.

³ Raut, вечернее собрание без танцев, собственно значит толпа (Прим. П.).

⁴ См. примечание 2 на стр. 35

⁵ Космополит – в буквальном переводе с греческого «человек мира», то есть считающий своей родиной весь мир.

⁶ Квакер – член английской христианской организации, возникшей в середине XVII века.

IX.

– Зачем же так неблагоприятно
Вы отзываетесь о нем?
За то ль, что мы неугомонно
Хлопочем, судим обо всем,
Что пылих душ неосторожность
Самолюбивую ничтожность
Иль оскорбляет, иль смешит,
Что ум, любя простор, теснит,
Что слишком часто разговоры
Принять мы рады за дела,
Что глупость ветрена и зла,
Что важным людям важны вздоры
И что посредственность одна
Нам по плечу и не странна?

X.

Блажен, кто смолоду был молод,
Блажен, кто вовремя созрел,
Кто постепенно жизни холод
С летами вытерпеть умел;
Кто странным снам не предавался,
Кто черни светской не чуждался,
Кто в двадцать лет был франт иль хват,
А в тридцать выгодно женат;
Кто в пятьдесят освободился
От частных и других долгов,
Кто славы, денег и чинов
Спокойно в очередь добился,
О ком твердили целый век:
N. N. прекрасный человек.

XI.

Но грустно думать, что напрасно
Была нам молодость дана,
Что изменяли ей всечасно,
Что обманула нас она;
Что наши лучшие желанья,
Что наши свежие мечтанья
Истлели быстрой чередой,

Как листья осенью гнилой.
Несносно видеть пред собою
Одних обедов длинный ряд,
Глядеть на жизнь, как на обряд,
И вслед за чинною толпою
Идти, не разделяя с ней
Ни общих мнений, ни страстей.

XII.

Предметом став суждений шумных,
Несносно (согласитесь в том)
Между людей благоразумных
Прослыть притворным чудаком,
Или печальным сумасбродом,
Иль сатаническим уродом,
Иль даже демоном¹ моим.
Онегин (вновь займуся им),
Убив на поединке друга,
Дожив без цели, без трудов
До двадцати шести годов,
Томясь в бездействии досуга
Без службы, без жены, без дел,
Ничем заняться не умел.

XIII.

Им овладело беспокойство,
Охота к перемене мест
(Весьма мучительное свойство,
Немногих добровольный крест).
Оставил он свое селенье,
Лесов и нив уединенье,
Где окровавленная тень
Ему являлась каждый день,
И начал странствия без цели,
Доступный чувству одному;
И путешествия ему,
Как все на свете, надоели;
Он возвратился и попал,
Как Чацкий², с корабля на бал.

¹ Стихотворение «Демон» Пушкин написал в 1823 году.

² Чацкий – главный герой комедии Грибоедова «Горе от ума».

XIV.

Но вот толпа заколебалась,
По зале шепот пробежал...
К хозяйке дама приближалась,
За нею важный генерал.
Она была нетороплива,
Не холодна, не говорлива,
Без взора наглого для всех,
Без притязаний на успех,
Без этих маленьких ужимок,
Без подражательных затей...
Все тихо, просто было в ней,
Она казалась верный снимок
*Du comme il faut*¹ (Шишков², прости:
Не знаю, как перевести.)

XV.

К ней дамы подвигались ближе;
Старушки улыбались ей;
Мужчины кланялись ниже,
Ловили взор ее очей;
Девы проходили тише
Пред ней по зале, и всех выше
И нос и плечи подымал
Вошедший с нею генерал.
Никто б не мог ее прекрасной
Назвать: но с головы до ног
Никто бы в ней найти не мог
Того, что модой самовластной
В высоком лондонском кругу
Зовется *vulgar*³. (Не могу...

XVI.

Люблю я очень это слово,
Но не могу перевести;
Оно у нас покамест ново,
И вряд ли быть ему в чести.
Оно б годилось в эпиграмме...)

Но обращаюсь к нашей даме.
Беспечной прелестью мила,
Она сидела у стола
С блестящей Ниной Воронскою⁴,
Сей Клеопатрою Невы;
И верно б согласились вы,
Что Нина мраморной красою
Затмить соседку не могла,
Хоть ослепительна была.

XVII.

«Ужели, – думает Евгений: –
Ужель она? Но точно... Нет...
Как! из глуши степных селений...»
И неотвязчивый лорнет
Он обращает поминутно
На ту, чей вид напомнил смутно
Ему забытые черты.
«Скажи мне, князь, не знаешь ты,
Кто там в малиновом берете
С послом испанским говорит?»
Князь на Онегина глядит.
– Ага! давно ж ты не был в свете.
Постой, тебя представляю я. –
«Да кто ж она?» – Жена моя. –

XVIII.

«Так ты женат! не знал я ране!
Давно ли?» – Около двух лет. –
«На ком?» – На Лариной. –
«Татьяне!»
– Ты ей знаком? – «Я им сосед».
– О, так пойдем же. – Князь подходит
К своей жене и ей подводит
Родню и друга своего.
Княгиня смотрит на него...
И что ей душу ни смутило,
Как сильно ни была она

¹ Как должно (фр.).

² А. С. Шишков – президент Российской академии, был противником введения иностранных слов в русский лексикон.

³ Вульгарность, безвкусица (англ.).

⁴ Вопрос о прототипе Нины Воронской вызывает споры, по распространенной версии это экстравагантная красавица А. Ф. Закревская. См. Приложение.



Удивлена, поражена,
Но ей ничто не изменило:
В ней сохранился тот же тон,
Был так же тих ее поклон.

XIX.

Ей-ей! не то, чтоб содрогнулась,
Иль стала вдруг бледна, красна...
У ней и бровь не шевельнулась;
Не жала даже губ она.
Хоть он глядел нельзя прилежней,
Но и следов Татьяны прежней
Не мог Онегин обрести.
С ней речь хотел он завести
И – и не мог. Она спросила,
Давно ль он здесь, откуда он
И не из их ли уж сторон?
Потом к супругу обратила
Усталый взгляд; скользнула вон...
И недвижим остался он.

XX.

Ужель та самая Татьяна,
Которой он наедине,
В начале нашего романа,
В глухой, далекой стороне,
В благом пылу нравоученья,
Читал когда-то наставленья,
Та, от которой он хранит
Письмо, где сердце говорит,
Где все наруже, все на воле,
Та девочка... иль это сон?..
Та девочка, которой он
Пренебрегал в смиренной доле,
Ужели с ним сейчас была
Так равнодушна, так смела?

XXI.

Он оставляет раут тесный,
Домой задумчив едет он;
Мечтой то грустной, то прелестной

Его встревожен поздний сон.
 Проснулся он; ему приносят
 Письмо: князь N покорно просит
 Его на вечер. «Боже! к ней!..
 О, буду, буду!» и скорей
 Марает он ответ учтивый.
 Что с ним? в каком он странном сне!
 Что шевельнулось в глубине
 Души холодной и ленивой?
 Досада? суетность? иль вновь
 Забота юности – любовь?

XXII.

Онегин вновь часы считает,
 Вновь не дождется дня конца.
 Но десять бьет; он выезжает,
 Он полетел, он у крыльца,
 Он с трепетом к княгине входит;
 Татьяну он одну находит,
 И вместе несколько минут
 Они сидят. Слова нейдут
 Из уст Онегина. Угрюмый,
 Неловкий, он едва-едва
 Ей отвечает. Голова
 Его полна упрямой думой.
 Упрямо смотрит он: она
 Сидит покойна и вольна.

XXIII.

Приходит муж. Он прерывает
 Сей неприятный tête-à-tête¹;
 С Онегиным он вспоминает
 Проказы, шутки прежних лет.
 Они смеются. Входят гости.
 Вот крупной солью светской злости
 Стал оживляться разговор;
 Перед хозяйкой легкий вздор
 Сверкал без глупого жеманства,
 И прерывал его меж тем

Разумный толк без пошлых тем,
 Без вечных истин, без педанства,
 И не пугал ничьих ушей
 Свободной живостью своей.

XXIV.

Тут был, однако, цвет столицы,
 И знать, и моды образцы,
 Везде встречаемые лица,
 Необходимые глупцы;
 Тут были дамы пожилые
 В чепцах и в розах, с виду злые;
 Тут было несколько девиц,
 Не улыбающихся лиц;
 Тут был посланник, говоривший
 О государственных делах;
 Тут был в душистых седирах
 Старик, по-старому шутивший:
 Отменно тонко и умно,
 Что нынче несколько смешно.

XXV.

Тут был на эпиграммы падкий,
 На все сердитый господин:
 На чай хозяйский слишком сладкий,
 На плоскость дам, на тон мужчин,
 На толки про роман туманный,
 На вензель², двум сестрицам данный,
 На ложь журналов, на войну,
 На снег и на свою жену.

.....

XXVI.³

Тут был Проласов, заслуживший
 Известность низостью души,

¹ tête-à-tête (фр.) – тет-а-тет, разговор вдвоем, с глазу на глаз.

² Золотой, украшенный драгоценными камнями вензель (он же шифр) давали фрейлинам в качестве знака отличия.

³ Варианты строф XXIV–XXVI см. в Приложении.

Во всех альбомах притупивший,
 St.-Priest¹, твои карандаши;
 В дверях другой диктатор бальный
 Стоял картинкою журнальной,
 Румян, как вербный херувим,²
 Затянут, нем и недвижим,
 И путешественник залетный,
 Перекрахмаленный нахал,
 В гостях улыбку возбуждал
 Своей осанкою заботной,
 И молча обмененный взор
 Ему был общий приговор.

XXVII.

Но мой Онегин вечер целый
 Татьяной занят был одной,
 Не этой девочкой несмелой,
 Влюбленной, бедной и простой,
 Но равнодушною княгиней,
 Но неприступною богиней
 Роскошной, царственной Невы.
 О люди! все похожи вы
 На прародительницу Эву:
 Что вам дано, то не влечет,
 Вас непрестанно змий зовет
 К себе, к таинственному древу;
 Запретный плод вам подавай:
 А без того вам рай не рай.

XXVIII.

Как изменилася Татьяна!
 Как твердо в роль свою вошла!
 Как утешительного сана
 Приемы скоро приняла!
 Кто б смел искать девчонки нежной
 В сей величавой, в сей небрежной
 Законодательнице зал?
 И он ей сердце волновал!

Об нем она во мраке ночи,
 Пока Морфей³ не прилетит,
 Бывало, девственно грустит,
 К луне подымлет томны очи,
 Мечтая с ним когда-нибудь
 Свершить смиренный жизни путь!

XXIX.

Любви все возрасты покорны;
 Но юным, девственным сердцам
 Ее порывы благотворны,
 Как бури внешние полям:
 В дожде страстей они свежеют,
 И обновляются, и зреют –
 И жизнь могущая дает
 И пышный цвет и сладкий плод.
 Но в возраст поздний и бесплодный,
 На повороте наших лет,
 Печален страсти мертвой след:
 Так бури осени холодной
 В болото обращают луг
 И обнажают лес вокруг.

XXX.

Сомненья нет: увы! Евгений
 В Татьяну как дитя влюблен;
 В тоске любовных помышлений
 И день и ночь проводит он.
 Ума не внемля строгим пеням⁴,
 К ее крыльцу, стеклянным сеням
 Он подъезжает каждый день;
 За ней он гонится как тень;
 Он счастлив, если ей накинёт
 Боа⁵ пушистый на плечо,
 Или коснется горячо
 Ее руки, или раздвинет
 Пред нею пестрый полк ливрей,
 Или платок подымет ей.

¹ Граф Сен При – известный в то время карикатурист.

² Вербные херувимы – восковые крашенные фигурки ангелов, которые продавались в вербную неделю перед Пасхой.

³ Морфей – бог сна в древнегреческой мифологии.

⁴ Пени – упрёки.

⁵ Боа – длинный узкий шарф из меха или перьев.

XXXI.

Она его не замечает,
Как он ни бейся, хоть умри.
Свободно дома принимает,
В гостях с ним молвит слова три,
Порой одним поклоном встретит,
Порою вовсе не заметит:
Кокетства в ней ни капли нет –
Его не терпит высший свет.
Бледнеть Онегин начинает:
Ей иль не видно, иль не жаль;
Онегин сохнет – и едва ль
Уж не чахоткою страдает.
Все шлют Онегина к врачам,
Те хором шлют его к *водам*.¹

XXXII.

А он не едет; он заране
Писать ко прадедам готов
О скорой встрече; а Татьяне
И дела нет (их пол таков);
А он упрям, отстать не хочет,
Еще надеется, хлопочет;
Смелей здорового, больной,
Княгине слабою рукой
Он пишет страстное посланье.
Хоть толку мало вообще
Он в письмах видел не вотще;
Но, знать, сердечное страданье
Уже пришло ему невмочь.
Вот вам письмо его точь-в-точь.

Письмо Онегина к Татьяне²

Предвижу все: вас оскорбит
Печальной тайны объясненье.
Какое горькое презренье
Ваш гордый взгляд изобразит!
Чего хочу? с какою целью
Открою душу вам свою?
Какому злобному веселью,
Быть может, повод подаю!

Случайно вас когда-то встрети,
В вас искру нежности заметя,
Я ей поверить не посмел:
Привычке милой не дал ходу;
Свою постылую свободу
Я потерять не захотел.
Еще одно нас разлучило...
Несчастной жертвой Ленский пал...
Ото всего, что сердцу мило,
Тогда я сердце оторвал;
Чужой для всех, ничем не связан,
Я думал: вольность и покой
Замена счастью. Боже мой!
Как я ошибся, как наказан.

Нет, поминутно видеть вас,
Повсюду следовать за вами,
Улыбку уст, движенье глаз
Ловить влюбленными глазами,
Внимать вам долго, понимать
Душой все ваше совершенство,
Пред вами в муках замирать,
Бледнеть и гаснуть... вот блаженство!

И я лишен того: для вас
Ташусь повсюду наудачу;
Мне дорог день, мне дорог час:
А я в напрасной скуке трачу
Судьбой отсчитанные дни.
И так уж тягостны они.
Я знаю: век уж мой измерен;
Но чтоб продлилась жизнь моя,
Я утром должен быть уверен,
Что с вами днем увижусь я...

Боюсь: в мольбе моей смиренной
Увидит ваш суровый взор
Затеи хитрости презренной –

¹ То есть на курорт с минеральными водами.

² Пропущенные строчки см. в Приложении.

И слышу гневный ваш укор.
 Когда б вы знали, как ужасно
 Томиться жаждою любви,
 Пылать – и разумом всечасно
 Смирять волнение в крови;
 Желать обнять у вас колени
 И, зарыдав, у ваших ног
 Излить мольбы, признанья, пени,
 Все, все, что выразить бы мог,
 А между тем притворным холодом
 Вооружать и речь и взор,
 Вести спокойный разговор,
 Глядеть на вас веселым взглядом!..

Но так и быть: я сам себе
 Противиться не в силах боле;
 Все решено: я в вашей воле
 И предаюсь моей судьбе.

XXXIII.

Ответа нет. Он вновь посланье:
 Второму, третьему письму
 Ответа нет. В одно собранье
 Он едет; лишь вошел... ему
 Она навстречу. Как сурова!
 Его не видят, с ним ни слова;
 У! как теперь окружена
 Крещенским холодом она!
 Как удержать негодование
 Уста упрямые хотят!
 Вперил Онегин зоркий взгляд:
 Где, где смятенье, состраданье?

Где пятна слез?... Их нет, их нет!
 На сем лице лишь гнева след...

XXXIV.

Да, может быть, боязни тайной,
 Чтоб муж иль свет не угадал
 Проказы, слабости случайной...
 Всего, что мой Онегин знал...
 Надежды нет! Он уезжает,
 Свое безумство проклиная –
 И, в нем глубоко погружен,
 От света вновь отрекся он.
 И в молчаливом кабинете
 Ему припомнилась пора,
 Когда жестокая хандра
 За ним гналась в шумном свете,
 Поймала, за ворот взяла
 И в темный угол заперла.

XXXV.

Стал вновь читать он без разбора.
 Прочел он Гиббона¹, Руссо,
 Манзони², Гердера³, Шамфора⁴,
 Madame de Staël⁵, Биша, Тиссо⁶,
 Прочел скептического Беля⁷,
 Прочел творенья Фонтенеля⁸,
 Прочел из наших кой-кого,
 Не отвергая ничего:
 И альманахи, и журналы,
 Где поученья нам твердят,
 Где нынче так меня бранят,
 А где такие мадригалы

¹ Эдуард Гиббон – английский историк XVIII века, писавший об упадке Римской империи.

² Алессандро Мандзони – итальянский поэт и романист XIX века.

³ Иоганн Гердер – немецкий историк и писатель XVIII века.

⁴ Никола де Шамфор – французский публицист XVIII века.

⁵ Анна де Сталь – известная французская писательница.

⁶ Франсуа Биша и Симон-Андре Тиссо – французские врачи XVIII века, известные своими сочинениями по медицине.

⁷ Пьер Бейль – французский писатель XVII века, борец с церковными суевериями.

⁸ Бернар де Фонтенель – французский писатель и философ XVIII века.

Себе встречал я иногда:
*E sempre bene*¹, господа.

XXXVI.

И что ж? Глаза его читали,
Но мысли были далеко;
Мечты, желания, печали
Теснились в душу глубоко.
Он меж печатными строками
Читал духовными глазами
Другие строки. В них-то он
Был совершенно углублен.
То были тайные преданья
Сердечной, темной старины,
Ни с чем не связанные сны,
Угрозы, толки, предсказания,
Иль длинной сказки вздор живой,
Иль письма девы молодой.

XXXVII.

И постепенно в усыпление
И чувств и дум впадает он,
А перед ним воображенье
Свой пестрый мечет фараон².
То видит он: на талом снеге,
Как будто спящий на ночлеге,
Недвижим юноша лежит,
И слышит голос: что ж? убит.
То видит он врагов забвенных,
Клеветников, и трусов злых,
И рой изменниц молодых,
И круг товарищей презренных,
То сельский дом – и у окна
Сидит она... и все она!..

XXXVIII.

Он так привык теряться в этом,
Что чуть с ума не своротил

Или не сделался поэтом.
Признаться: то-то б одолжил!
А точно: силой магнетизма³
Стихов российских механизма
Едва в то время не постиг
Мой бестолковый ученик.
Как походил он на поэта,
Когда в углу сидел один,
И перед ним пылал камин,
И он мурлыкал: *Benedetta*⁴
Иль *Idol mio*⁵ и ронял
В огонь то туфлю, то журнал.

XXXIX.

Дни мчались; в воздухе нагретом
Уж разрешалась зима;
И он не сделался поэтом,
Не умер, не сошел с ума.
Весна живет его: впервые
Свои покои запертые,
Где зимовал он, как сурок,
Двойные окна, камелек
Он ясным утром оставляет,
Несется вдоль Невы в санях.
На синих, иссеченных льдах
Играет солнце; грязно тает
На улицах разрытый снег.
Куда по нем свой быстрый бег

XL.

Стремит Онегин? Вы заране
Уж угадали; точно так:
Примчался к ней, к своей Татьяне
Мой неисправленный чудак.
Идет, на мертвеца похожий.
Нет ни одной души в прихожей.
Он в залу; дальше: никого.
Дверь отворил он. Что ж его

¹ *E sempre bene* (итал.) – устойчивое итальянское выражение «и на том спасибо».

² Фараон – азартная карточная игра.

³ В первой трети XIX века «магнетизм» – слово для обозначения нематериальных воздействий.

⁴ *Benedetta* (итал.) – Дивная; начало популярной в то время итальянской песни.

⁵ *Idol mio* (итал.) – мой кумир.

С такою силой поражает?
Княгиня перед ним, одна,
Сидит, не убрана, бледна,
Письмо какое-то читает
И тихо слезы льет рекой,
Опершись на руку щекой.

XLI.

О, кто б немых ее страданий
В сей быстрый миг не прочитал!
Кто прежней Тани, бедной Тани
Теперь в княгине б не узнал!
В тоске безумных сожалений
К ее ногам упал Евгений;
Она вздрогнула и молчит;
И на Онегина глядит
Без удивления, без гнева...
Его больной, угасший взор,
Молящий вид, немой укор,
Ей внятно все. Простая дева,
С мечтами, сердцем прежних дней,
Теперь опять воскресла в ней.

XLII.

Она его не подымает
И, не сводя с него очей,
От жадных уст не отымает
Бесчувственной руки своей...
О чем теперь ее мечтанье?
Проходит долгое молчанье,
И тихо наконец она:
«Довольно; встаньте. Я должна
Вам объясниться откровенно.
Онегин, помните ль тот час,
Когда в саду, в аллее нас
Судьба свела, и так смиренно
Урок ваш выслушала я?
Сегодня очередь моя.

XLIII.

Онегин, я тогда моложе,
Я лучше, кажется, была,
И я любила вас; и что же?
Что в сердце вашем я нашла?
Какой ответ? одну суровость.

Не правда ль? Вам была не новость
Смиренной девочки любовь?
И нынче – боже! – стынет кровь,
Как только вспомню взгляд холодный
И эту проповедь... Но вас
Я не виню: в тот страшный час
Вы поступили благородно,
Вы были правы предо мной:
Я благодарна всей душой...

XLIV.

Тогда – не правда ли? – в пустыне,
Вдали от суетной молвы,
Я вам не нравилась... Что ж ныне
Меня преследуете вы?
Зачем у вас я на примете?
Не потому ль, что в высшем свете
Теперь являться я должна;
Что я богата и знатна,
Что муж в сраженьях изувечен,
Что нас за то ласкает двор?
Не потому ль, что мой позор
Теперь бы всеми был замечен,
И мог бы в обществе принесть
Вам соблазнительную честь?

XLV.

Я плачу... если вашей Тани
Вы не забыли до сих пор,
То знайте: колкость вашей брани,
Холодный, строгий разговор,
Когда б в моей лишь было власти,
Я предпочла б обидной страсти
И этим письмам и слезам.
К моим младенческим мечтам
Тогда имели вы хоть жалость,
Хоть уважение к летам...
А нынче! – что к моим ногам
Вас привело? какая малость!
Как с вашим сердцем и умом
Быть чувства мелкого рабом?

XLVI.

А мне, Онегин, пышность эта,
Постылой жизни мишура,



Мои успехи в вихре света,
Мой модный дом и вечера,
Что в них? Сейчас отдать я рада
Всю эту ветошь маскарада,
Весь этот блеск, и шум, и чад
За полку книг, за дикий сад,

За наше бедное жилище,
За те места, где в первый раз,
Онегин, видела я вас,
Да за смиренное кладбище,
Где нынче крест и тень ветвей
Над бедной нянею моей...

XLVII.

А счастье было так возможно,
 Так близко!.. Но судьба моя
 Уж решена. Неосторожно,
 Быть может, поступила я:
 Меня с слезами заклиний
 Молила мать; для бедной Тани
 Все были жребии равны...
 Я вышла замуж. Вы должны,
 Я вас прошу, меня оставить;
 Я знаю: в вашем сердце есть
 И гордость и прямая честь.
 Я вас люблю (к чему лукавить?),
 Но я другому отдана;
 Я буду век ему верна».

XLVIII.

Она ушла. Стоит Евгений,
 Как будто громом поражен.
 В какую бурю ощущений
 Теперь он сердцем погружен!
 Но шпор незапный звон раздался,
 И муж Татьянин показался,
 И здесь героя моего,
 В минуту, злую для него,
 Читатель, мы теперь оставим,
 Надолго... навсегда. За ним
 Довольно мы путем одним
 Бродили по свету. Поздравим
 Друг друга с берегом. Ура!
 Давно б (не правда ли?) пора!

XLIX.

Кто б ни был ты, о мой читатель,
 Друг, недруг, я хочу с тобой
 Расстаться нынче как приятель.
 Прости. Чего бы ты за мной
 Здесь ни искал в строфах небрежных,
 Воспоминаний ли мятежных,
 Отдохновенья ль от трудов,

Живых картин, иль острых слов,
 Иль грамматических ошибок,
 Дай бог, чтоб в этой книжке ты
 Для развлечения, для мечты,
 Для сердца, для журнальных сшибок,
 Хотя крупину мог найти.
 За сим расстанемся, прости!

L.

Прости ж и ты, мой спутник странный,
 И ты, мой верный идеал,
 И ты, живой и постоянный,
 Хоть малый труд. Я с вами знал
 Все, что завидно для поэта:
 Забвенье жизни в бурях света,
 Беседу сладкую друзей.
 Промчалось много, много дней
 С тех пор, как юная Татьяна
 И с ней Онегин в смутном сне
 Явились впервые мне –
 И даль свободного романа
 Я сквозь магический кристалл¹
 Еще не ясно различал.

LI.

Но те, которым в дружной встрече
 Я строфы первые читал...
 Иных уж нет, а те далече,
 Как Сади² некогда сказал.
 Без них Онегин дорисован.
 А та, с которой образован
 Татьяны милый идеал...
 О много, много рок отъял!
 Блажен, кто праздник жизни рано
 Оставил, не допив до дна
 Бокала полного вина,
 Кто не дочел ее романа
 И вдруг умел расстаться с ним,
 Как я с Онегиным моим.

¹ Магический кристалл – стеклянный шар для гаданий.

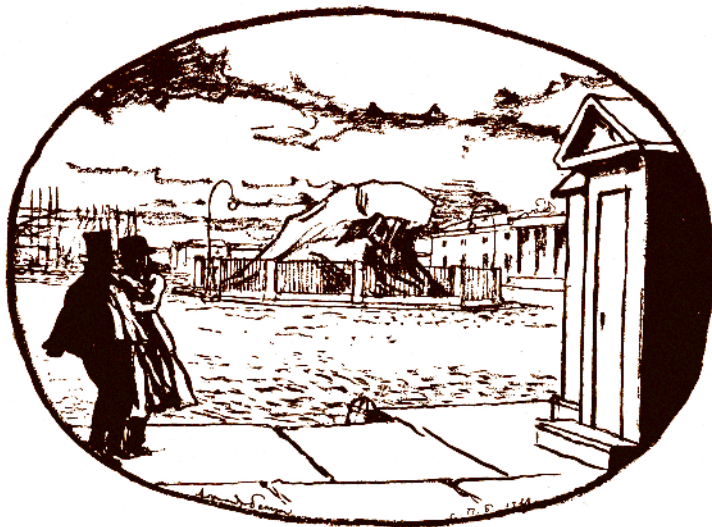
² Саади – знаменитый иранский поэт XIII века.

МЕДНЫЙ ВСАДНИК

ПЕТЕРБУРГСКАЯ ПОВЕСТЬ

РИСУНКИ
АЛЕКСАНДРА БЕНУА





ПРЕДИСЛОВИЕ

Происшествие, описанное в сей повести, основано на истине. Подробности наводнения заимствованы из тогдашних журналов. Любопытные могут справиться с известием, составленным В. Н. Берхом¹.

¹ См. Приложение.

Василий Николаевич Берх – полковник, с 1828 года официальный историограф русского военно-морского флота.



ВСТУПЛЕНИЕ

На берегу пустынных волн
Стоял он, дум великих полн,
И вдаль глядел. Пред ним широко
Река неслася; бедный чёлн
По ней стремился одиноко.
По мшистым, топким берегам
Чернели избы здесь и там,
Приют убогого чухонца¹;
И лес, неведомый лучам
В тумане спрятанного солнца,
Кругом шумел.

И думал он:
Отсель грозить мы будем шведу,
Здесь будет город заложен
На зло надменному соседу.
Природой здесь нам суждено
В Европу прорубить окно,²
Ногою твердой стать при море.

¹ Чухонцами в Санкт-Петербурге называли финнов.

² Альгаротти где-то сказал: «Petersbourg est la fenêtre par laquelle la Russie regarde en Europe» (Прим. П.), то есть «Петербург – окно, через которое Россия смотрит в Европу». Альгаротти – итальянский ученый XVIII века.



Сюда по новым им волнам
 Все флаги в гости будут к нам,
 И запируем на просторе.

Прошло сто лет, и юный град,
 Полночных стран¹ краса и диво,
 Из тьмы лесов, из топи блат
 Вознесся пышно, горделиво;
 Где прежде финский рыболов,
 Печальный пасынок природы,
 Один у низких берегов
 Бросал в неведомые воды
 Свой ветхой невод, ныне там
 По оживленным берегам
 Громады стройные теснятся
 Дворцов и башен; корабли
 Толпой со всех концов земли
 К богатым пристаням стремятся;

¹ По положению Солнца на небесной сфере южные страны поэтически называют полуденными, а северные – полуночными.



В гранит оделася Нева;
Мосты повисли над водами;
Темно-зелеными садами
Ее покрылись острова,
И перед младшею столицей
Померкла старая Москва,
Как перед новою царицей
Порфиноносная¹ вдова.

Люблю тебя, Петра творенье,
Люблю твой строгой, стройный вид,
Невы державное течение,
Береговой ее гранит,
Твоих оград узор чугунный,
Твоих задумчивых ночей
Прозрачный сумрак, блеск безлунный,
Когда я в комнате моей
Пишу, читаю без лампады,
И ясны спящие громады
Пустынных улиц, и светла
Адмиралтейская игла,

¹ Порфира – длинная мантия пурпурного цвета, символ монаршей власти.



И, не пуская тьму ночную
 На золотые небеса,
 Одна заря сменить другую
 Спешит, дав ночи полчаса.¹
 Люблю зимы твоей жестокой
 Недвижный воздух и мороз,
 Бег санок вдоль Невы широкой,
 Девичьи лица ярче роз,
 И блеск, и шум, и говор балов,
 А в час пирушки холостой
 Шипенье пенистых бокалов
 И пунша пламень голубой.

¹ Смотри стихи кн. Вяземского к графине З*** (Прим. П.). Имеется в виду стихотворение «Разговор 7 апр. 1832 г.», посвященное графине Е. М. Завадовской, а именно строфа 3-я: «Я Петербург люблю, е его красю стройной, // С блестящим поясом роскошных островов, // С прозрачной ночью – дня соперницей безнойной, // И с свежей зеленью молодых его садов».



Люблю воинственную живость
 Потешных¹ Марсовых полей,
 Пехотных ратей и коней
 Однообразную красоту,
 В их стройно зыблемом строю
 Лоскутья сих знамен победных,
 Сиянье шапок этих медных,
 На сквозь простреленных в бою.²
 Люблю, военная столица,
 Твоей твердыни дым и гром,³
 Когда полнощная царица
 Дарует сына в царской дом,
 Или победу над врагом
 Россия снова торжествует,
 Или, взломав свой синий лед,
 Нева к морям его несет
 И, чуя вешни дни, ликует.

¹ В начале XVIII века на нынешнем Марсовом поле зажигали «потешные огни» – фейерверки, отсюда старинное его название – Потешный луг.

² В рукописи продолжение: Цветные дротики уланов, // Звук труб и грохот барабанов; // Люблю на улицах твоих // Встречать поутру взводы их.

³ Имеются в виду пушечные выстрелы из Петропавловской крепости.

Медный Всадник

Красуйся, град Петров, и стой
Неколебимо как Россия,
Да умирится же с тобой
И побежденная стихия;
Вражду и плен старинный свой
Пусть волны финские забудут
И тщетной злобою не будут
Тревожить вечный сон Петра!

Была ужасная пора,
Об ней свежо воспоминаье...
Об ней, друзья мои, для вас
Начну свое повествованье.
Печален будет мой рассказ.





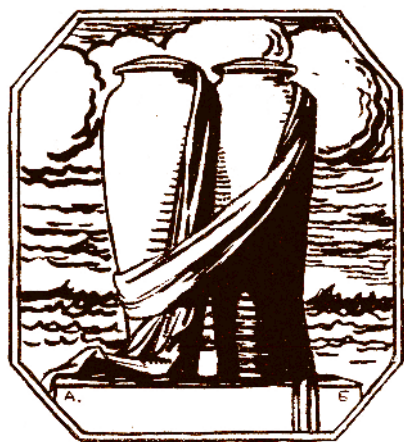
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Над омраченным Петроградом¹
 Дышал ноябрь осенним холодом.
 Плеская шумною волной
 В края своей ограды стройной,
 Нева металась, как больной
 В своей постеле беспокойной.
 Уж было поздно и темно;
 Серdito бился дождь в окно,
 И ветер дул, печально воя.
 В то время из гостей домой
 Пришел Евгений молодой...
 Мы будем нашего героя
 Звать этим именем. Оно
 Звучит приятно; с ним давно

¹ Официально Петроградом Петербург стал называться лишь в 1914 году.

Медный Всадник

Мое перо к тому же дружно.
Прозванья¹ нам его не нужно,
Хотя в минувши времена
Оно, быть может, и блистало
И под пером Карамзина²
В родных преданьях прозвучало;
Но ныне светом и молвой
Оно забыто. Наш герой
Живет в Коломне³; где-то служит,
Дичится знатных и не тужит
Ни о почившей⁴ родне,
Ни о забытой старине.



¹ То есть фамилии.

² Николай Михайлович Карамзин – создатель многотомной «Истории государства Российского».

³ Коломна – часть Санкт-Петербурга, ограниченная Крюковым каналом, Мойкой и Фонтанкой; в пушкинское время там селились небогатые люди.

⁴ Почившей (почившей) – умершей.



Итак, домой пришел, Евгений
 Стряхнул шинель, разделся, лег.
 Но долго он заснуть не мог
 В волненье разных размышлений.
 О чем же думал он? о том,
 Что был он беден, что трудом
 Он должен был себе доставить
 И независимость и честь;
 Что мог бы бог ему прибавить
 Ума и денег. Что ведь есть
 Такие праздные счастливыцы,
 Ума недальнего, ленивыцы,
 Которым жизнь куда легка!
 Что служит он всего два года;
 Он также думал, что погода
 Не унималась; что река
 Всё прибывала; что едва ли
 С Невы мостов уже не сняли¹

¹ В те времена все мосты через Неву были плавучие, наводные, их снимали во время наводнений; невеста же Евгения жила на Васильевском острове.



И что с Парашей¹ будет он
 Дни на два, на три разлучен.
 Евгений тут вздохнул сердечно
 И размечтался, как поэт:

Жениться? Мне? за чем же нет?
 Оно и тяжело, конечно;
 Но что ж, я молод и здоров,
 Трудиться день и ночь готов;
 Уж кое-как себе устрою
 Приют смиренный и простой
 И в нем Парашу успокою.
 Пройдет, быть может, год-другой –
 Местечко получу, Параше
 Препоручу семейство наше
 И воспитание ребят...
 И станем жить, и так до гроба
 Рука с рукой дойдем мы оба,
 И внуки нас похоронят...»

Так он мечтал. И грустно было
 Ему в ту ночь, и он желал,

¹ Параша – уменьшительное имя Прасковьи (греч. Параскевы).



Чтоб ветер выл не так уныло
И чтобы дождь в окно стучал
Не так сердито...

Сонны очи
Он наконец закрыл. И вот
Редеет мгла ненастной ночи
И бледный день уж настает...¹

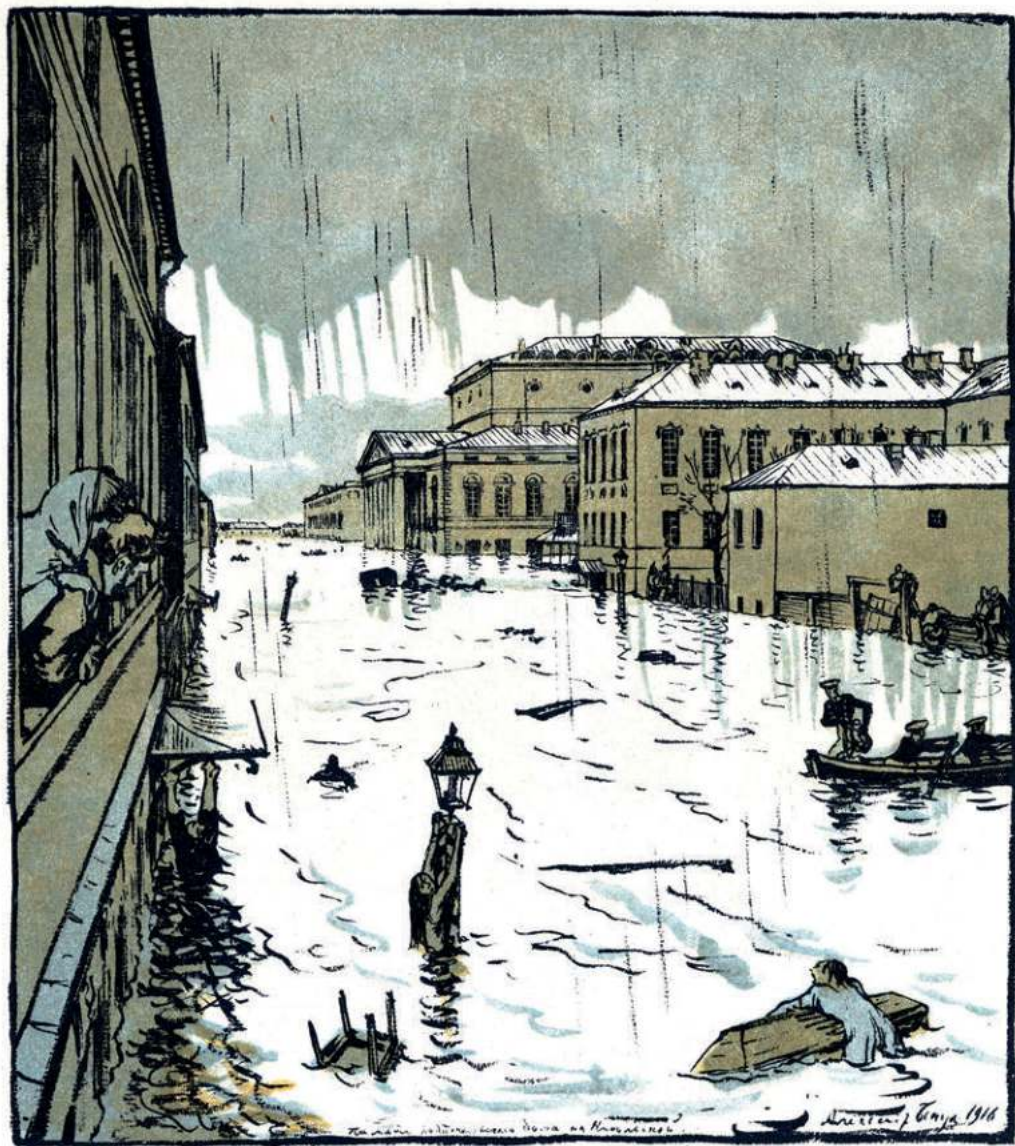
¹ Мицкевич прекрасными стихами описал день, предшествовавший Петербургскому наводнению, в одном из лучших своих стихотворений – *Oleszkiewicz*. Жаль только, что описание его не точно. Снегу не было – Нева не была покрыта льдом. Наше описание вернее, хотя в нем и нет ярких красок польского поэта (Прим. П.).



Ужасный день!

Нева всю ночь
Рвалась к морю против бури,
Не одолев их буйной дури...
И спорить стало ей невмочь...
Поутру над ее берегами
Теснился кучами народ,
Любуясь брызгами, горами
И пеной разъяренных вод.
Но силой ветров от залива
Перегражденная Нева
Обратно шла, гневна, бурлива,
И затопляла острова,
Погода пуще свирепела,
Нева вздувалась и ревела,
Котлом клокоча и клубясь,
И вдруг, как зверь остервенясь,
На город кинулась. Пред нею
Всё побежало, всё вокруг





Вдруг опустело – воды вдруг
Втекли в подземные подвалы,
К решеткам хлынули каналы,
И всплыл Петрополь¹ как тритон²,
По пояс в воду погружен.

¹ Петрополь – поэтическое, стилизованное под древнегреческое название Петербурга.

² Тритон – древнегреческий бог, вестник глубин, сын Посейдона и Амфитриты.



Осада! приступ! злые волны,
 Как воры, лезут в окна. Челны
 С разбега стекла бьют кормой.
 Лотки под мокрой пеленой,
 Обломки хижин, бревны, кровли,
 Товар запасливой торговли,
 Пожитки бледной нищеты,
 Грозой снесенные мосты,
 Гроба с размытого кладбища
 Плынут по улицам!¹

Народ
 Зрит божий гнев и казни ждет.
 Увы! всё гибнет: кров и пища!
 Где будет взять?

В тот грозный год
 Покойный царь еще Россией
 Со славой правил. На балкон,
 Печален, смутен, вышел он
 И молвил: «С божией стихией
 Царям не совладеть». Он сел
 И в думе скорбными очами
 На злое бедствие глядел.

¹ См. Приложение.



Стояли стогны¹ озерами,
И в них широкими реками
Вливались улицы. Дворец
Казался островом печальным.
Царь молвил – из конца в конец,
По ближним улицам и дальным
В опасный путь средь бурных вод
Его пустились генералы²
Спасать и страхом обуялый
И дома тонущий народ.

Тогда, на площади Петровой,
Где дом в углу вознесся новый,³

¹ Стогна (устар.) – площадь.

² Граф Милорадович и генерал-адъютант Бенкендорф (Прим. П.).

³ Дом, возведенный к 1820 году для князя Лобанова-Ростовского.



Где над возвышенным крыльцом
 С поднятой лапой, как живые,
 Стоят два льва сторожевые,¹
 На звере мраморном верхом,
 Без шляпы, руки сжав крестом,
 Сидел недвижный, страшно бледный
 Евгений. Он страшился, бедный,
 Не за себя. Он не слышал,
 Как подымался жадный вал,
 Ему подошвы подмывая,
 Как дождь ему в лицо хлестал,
 Как ветер, буйно завывая,
 С него и шляпу вдруг сорвал.
 Его отчаянные взоры
 На край один наведены
 Невдвижно были. Словно горы,
 Из возмущенной глубины
 Вставали волны там и злились,
 Там буря выла, там носились
 Обломки... Боже, боже! там –
 Увы! близехонько к волнам,

¹ Пара львов у парадного фасада этого дома – работа итальянского скульптора Паоло Трискорни.



Почти у самого залива —
 Забор некрашенный, да ива
 И ветхий домик: там оне,
 Вдова и дочь, его Параша,
 Его мечта.... Или во сне
 Он это видит? иль вся наша
 И жизнь ничто, как сон пустой,
 Насмешка неба над землей?

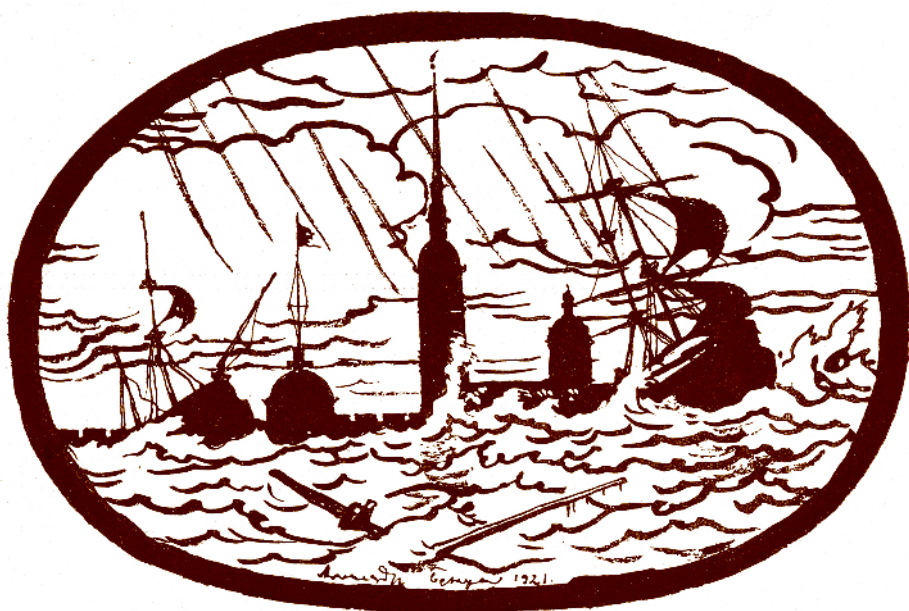
Медный Всадник

И он, как будто околдован,
Как будто к мрамору прикован,
Сойти не может! Вкруг него
Вода и больше ничего!
И, обращен к нему спиною,
В неколебимой вышине,
Над возмущенною Невою
Стоит с простертою рукою¹
Кумир на бронзовом коне.²



¹ Благодаря высоко поднявшейся воде Петр кажется Евгению стоящим.

² В старой поэтической традиции медь – символ доблести и славы, поэтому, хотя Пушкин и говорит о бронзовом коне, всадник у него медный.



ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Но вот, насытись разрушением
 И наглым буйством утомясь,
 Нева обратно повлеклась,
 Своим любуясь возмущеньем
 И покидая с небреженьем
 Свою добычу. Так злодей,
 С свирепой шайкою своей
 В село ворвавшись, ломит, режет,
 Крушит и грабит; вопли, скрежет,
 Насилье, брань, тревога, вой!..
 И, грабежом отягощенны,
 Боясь погони, утомленны,
 Спешат разбойники домой,
 Добычу на пути роняя.





Вода сбыла, и мостовая
Открылась, и Евгений мой
Спешит, душою замирая,
В надежде, страхе и тоске
К едва смилившейся реке.
Но, торжеством победы полны,
Еще кипели злобно волны,
Как бы под ними тлел огонь,
Еще их пена покрывала,
И тяжело Нева дышала,
Как с битвы прибежавший конь.
Евгений смотрит: видит лодку;
Он к ней бежит как на находку;
Он перевозчика зовет –
И перевозчик беззаботный
Его за гривенник охотно
Чрез волны страшные везет.





И долго с бурными волнами
Боролся опытный гребец,
И скрыться вглубь меж их рядами
Всечасно с дерзкими пловцами
Готов был челн – и наконец
Достиг он берега.





Несчастный
Знакомой улицей бежит
В места знакомые. Глядит,
Узнать не может. Вид ужасный!
Всё перед ним завалено;
Что сброшено, что снесено;
Скривились домики, другие
Совсем обрушились, иные
Волнами сдвинуты; кругом,
Как будто в поле боевом,
Тела валяются. Евгений
Стремглав, не помня ничего,
Изнемогая от мучений,
Бежит туда, где ждет его
Судьба с неведомым известьем,
Как с запечатанным письмом.
И вот бежит уж он предместьем,
И вот залив, и близок дом...
Что ж это?..

Он остановился.





Пошел назад и воротился.
 Глядит... идет... еще глядит.
 Вот место, где их дом стоит;
 Вот ива. Были здесь ворота –
 Снесло их, видно. Где же дом?
 И полон сумрачной заботы
 Всё ходит, ходит он кругом,
 Толкует громко сам с собою –
 И вдруг, ударя в лоб рукою,
 Захохотал.

Ночная мгла
 На город трепетный сошла;
 Но долго жители не спали
 И меж собою толковали
 О дне минувшем.



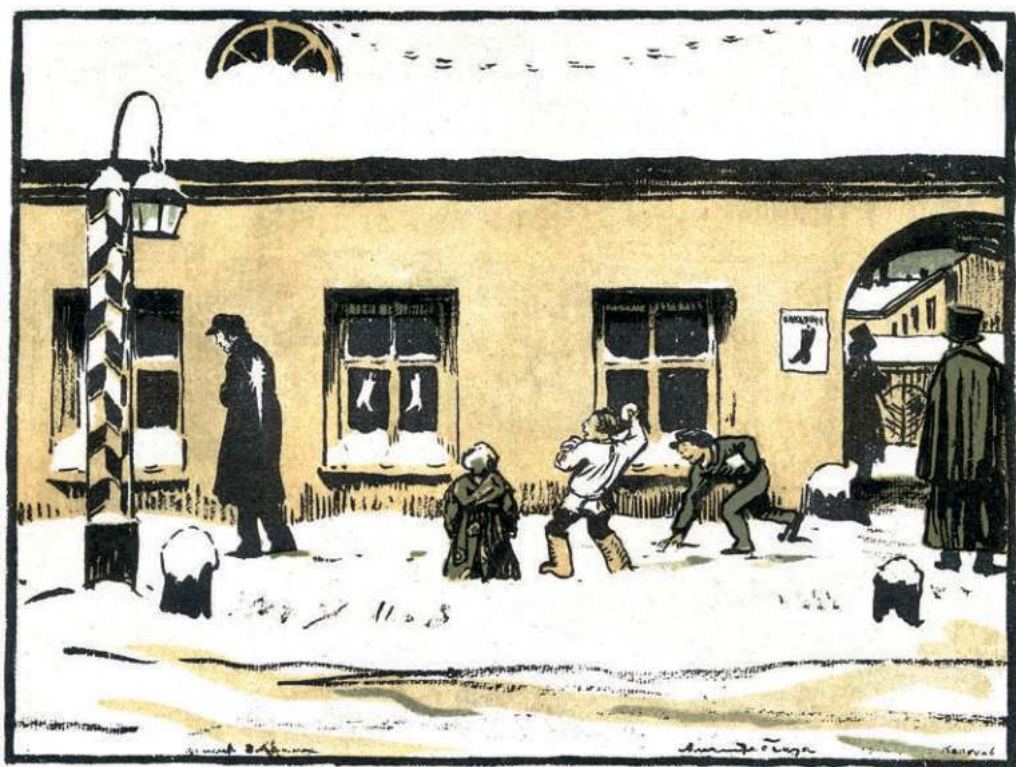
Медный Всадник

Утра луч
Из-за усталых, бледных туч
Блеснул над тихой столицей
И не нашел уже следов
Беды вчерашней; багряницей
Уже прикрыто было зло.
В порядок прежний всё вошло.
Уже по улицам свободным
С своим бесчувствием холодным
Ходил народ. Чиновный люд,
Покинув свой ночной приют,
На службу шел. Торгаш отважный,
Не унывая, открывал
Невой ограбленный подвал,
Сбираясь свой убыток важный
На ближнем выместить. С дворов
Свозили лодки.

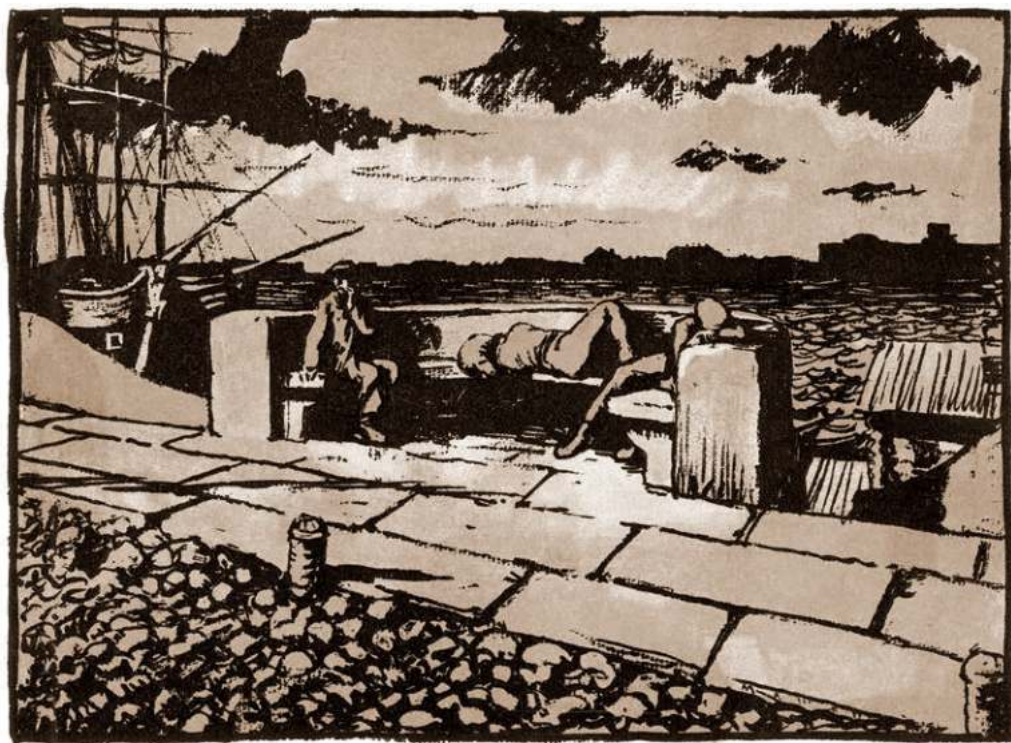
Граф Хвостов,
Поэт, любимый небесами,
Уж пел бессмертными стихами
Несчастье невских берегов.¹



¹ Дмитрий Иванович Хвостов – представитель поэтического классицизма, архаизм его языка и энергия, с которой он распространял свои многочисленные сочинения, вызывали насмешки у молодых литераторов начала XIX века.



Но бедный, бедный мой Евгений...
 Увы! его смятенный ум
 Против ужасных потрясений
 Не устоял. Мятёжный шум
 Невы и ветров раздавался
 В его ушах. Ужасных дум
 Безмолвно полон, он скитался.
 Его терзал какой-то сон.
 Прошла неделя, месяц — он
 К себе домой не возвращался.
 Его пустынный уголок
 Отдал в наймы, как вышел срок,
 Хозяин бедному поэту.
 Евгений за своим добром
 Не приходил. Он скоро свету
 Стал чужд. Весь день бродил пешком,
 А спал на пристани; питался
 В окошко поданным куском.
 Одежда ветхая на нем
 Рвалась и тлела. Злые дети
 Бросали камни вслед ему.



Нередко кучерские плети
Его стегали, потому
Что он не разбирал дороги
Уж никогда; казалось – он
Не примечал. Он оглушен
Был шумом внутренней тревоги.
И так он свой несчастный век
Влачил, ни зверь ни человек,
Ни то ни сё, ни житель света,
Ни призрак мертвый...

Раз он спал
У невской пристани. Дни лета
Клонились к осени. Дышал
Ненастный ветер. Мрачный вал
Плескал на пристань, ропща пени
И бясь об гладкие ступени,
Как челобитчик¹ у дверей
Ему не внемлющих судей.
Бедняк проснулся. Мрачно было:

¹ Челобитчик – проситель.



Дождь капал, ветер выл уныло,
 И с ним вдали, во тьме ночной
 Перекликался часовой...
 Вскочил Евгений; вспомнил живо
 Он прошлый ужас; торопливо
 Он встал; пошел бродить, и вдруг
 Остановился – и вокруг
 Тихонько стал водить очами
 С боязнью дикой на лице.
 Он очутился под столбами¹
 Большого дома. На крыльце
 С подъятой лапой, как живые,
 Стояли львы сторожевые,
 И прямо в темной вышине
 Над огражденною скалою
 Кумир с простертою рукою
 Сидел на бронзовом коне.

¹ Под столбами – под колоннами.

Медный Всадник

Евгений вздрогнул. Прояснились
В нем страшно мысли. Он узнал
И место, где потоп играл,
Где волны хищные толпились,
Бунтуя злобно вокруг него,
И львов, и площадь, и того,
Кто неподвижно возвышался
Во мраке медною главой,
Того, чьей волей роковой
Под морем город основался...
Ужасен он в окрестной мгле!
Какая дума на челе!
Какая сила в нем сокрыта!
А в сем коне какой огонь!
Куда ты скачешь, гордый конь,
И где опустишь ты копыта?
О мощный властелин судьбы!





Не так ли ты над самой бездной
На высоте, уздой железной
Россию поднял на дыбы?¹

Кругом подножия кумира
Безумец бедный обошел
И взоры дикие навел
На лик державца полумира.
Стеснилась грудь его. Чело
К решетке хладной прилегло,
Глаза подернулись туманом,
По сердцу пламень пробежал,
Вскипела кровь. Он мрачен стал
Пред горделивым истуканом
И, зубы стиснув, пальцы сжав,
Как обуянный силой черной,
«Добро, строитель чудотворный! –
Шепнул он, злобно задрожав, –

¹ Смотри описание памятника в Мицкевиче. Оно заимствовано из Рубана – как замечает сам Мицкевич (Прим. II.).



Ужо тебе!..» И вдруг стремглав
Бежать пустился. Показалось
Ему, что грозного царя,
Мгновенно гневом возгоря,
Лицо тихонько обращалось...
И он по площади пустой
Бежит и слышит за собой –
Как будто грома грохотанье –
Тяжело-звонкое скаканье
По потрясенной мостовой.



И, озарен луною бледной,
Простерши руку в вышине,
За ним несется Всадник Медный
На звонко-скачущем коне;



И во всю ночь безумец бедный,
Куда стопы ни обращал,
За ним повсюду Всадник Медный
С тяжелым топотом скакал.





И с той поры, когда случалось
 Идти той площадью ему,
 В его лице изображалось
 Смятение. К сердцу своему
 Он прижимал поспешно руку,
 Как бы его смирняя муку,
 Картуз изношенный сымал,
 Смущенных глаз не подымал
 И шел сторонкой.



Остров малый¹

На взморье виден. Иногда
Причалит с неводом туда
Рыбак на ловле запоздалый
И бедный ужин свой варит,
Или чиновник посетит,
Гуляя в лодке в воскресенье,
Пустынный остров. Не взросло
Там ни былинки. Наводнение
Туда, играя, занесло
Домишко ветхой. Над водою
Остался он как черный куст.
Его прошедшею весною
Свели на барке. Был он пуст
И весь разрушен. У порога
Нашли безумца моего,
И тут же холодный труп его
Похоронили ради бога.

¹ По мнению Ахматовой это остров Голодай.

ПИКОВАЯ ДАМА

РИСУНКИ
АЛЕКСАНДРА БЕНУА

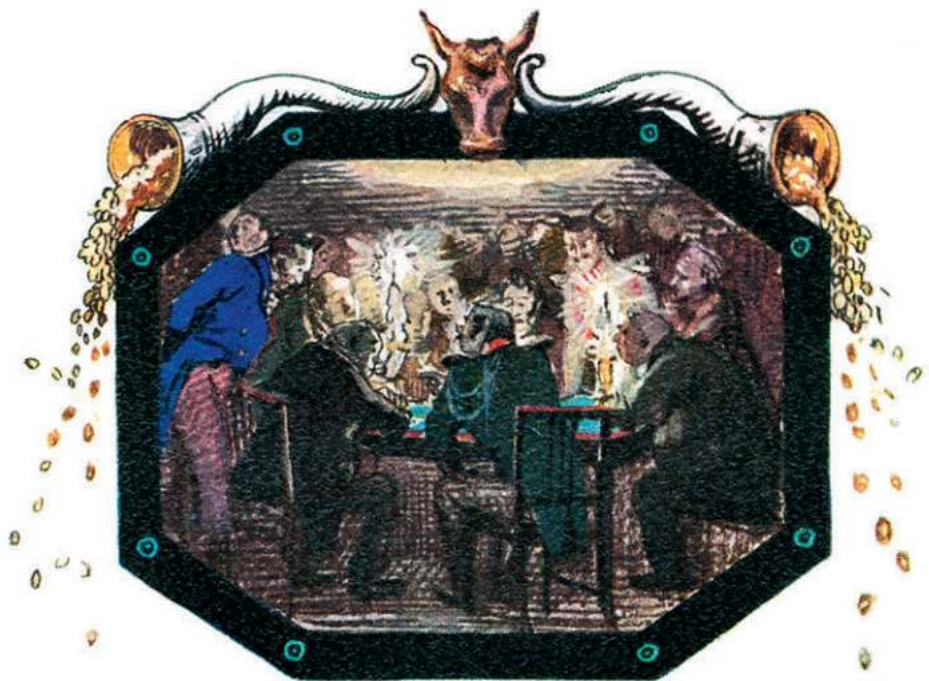


Пиковая дама



Пиковая дама означает тайную недоброжелательность.
Новейшая гадательная книга.

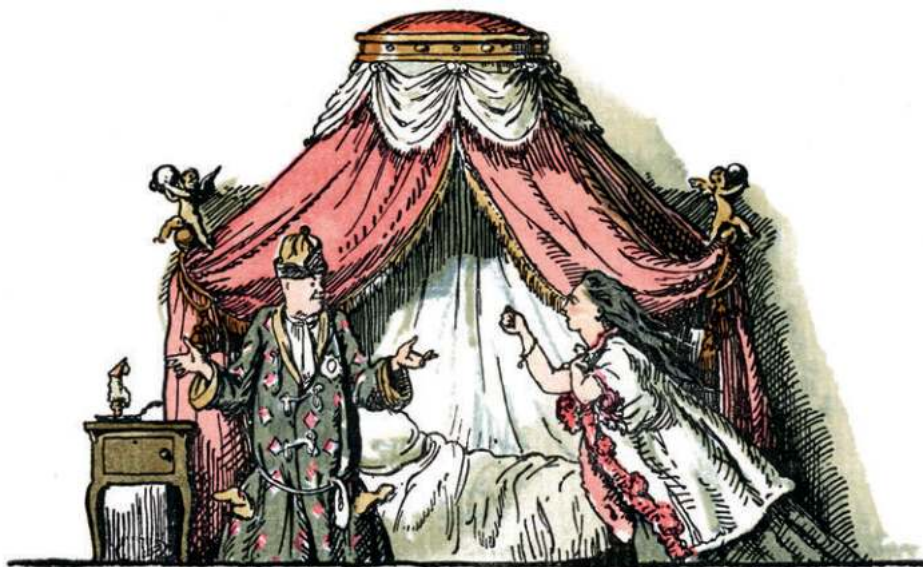




I.

А в ненастные дни
 Собирались они
 Часто;
 Гнули – бог их прости! –
 От пятидесяти
 На сто,
 И выигрывали,
 И отписывали
 Мелом.
 Так, в ненастные дни,
 Занимались они
 Делом.





Однажды играли в карты у конногвардейца Нарумова. Долгая зимняя ночь прошла незаметно; сели ужинать в пятом часу утра. Те, которые остались в выигрыше, ели с большим аппетитом, прочие, в рассеянности, сидели перед пустыми своими приборами. Но шампанское явилось, разговор оживился, и все приняли в нем участие.

– Что ты сделал, Сурин? – спросил хозяин.

– Проиграл, по обыкновению. Надобно признаться, что я несчастлив: играю мирандолом¹, никогда не горячусь, ничем меня с толку не собьешь, а всё проигрываюсь!

– И ты ни разу не соблазнился? ни разу не поставил на руте²?.. Твердость твоя для меня удивительна.

– А каков Германн! – сказал один из гостей, указывая на молодого инженера, – отроду не брал он карты в руки, отроду не загнул ни одного пароли³, а до пяти часов сидит с нами и смотрит на нашу игру!

– Игра занимает меня сильно, – сказал Германн, – но я не в состоянии *жертвовать необходимым в надежде приобрести излишнее*.

– Германн немец: он расчетлив, вот и всё! – заметил Томский. – А если кто для меня не понятен, так это моя бабушка графиня Анна Федотовна⁴.

– Как? что? – закричали гости.

¹ *Играть мирандолом* – играть, не увеличивая первоначальной ставки.

² *Ставить на руте* – ставить с повышением ставки на одну и ту же карту.

³ *Гнуть пароли* – увеличить ставки; понтер загибал при этом углы поставленной карты.

⁴ *Прообразом старой графини является мать московского генерал-губернатора Наталья Петровна Голицына. Ее внук рассказал Пушкину как однажды, проигравшись, пришел просить к ней денег, а она в ответ сказала ему три карты. Он поставил на них и отыгрался.*



– Не могу постигнуть, – продолжал Томский, – каким образом бабушка моя не понтирует¹!

– Да что ж тут удивительного, – сказал Нарумов, – что осьмидесятилетняя старуха не понтирует?

– Так вы ничего про нее не знаете?

– Нет! право, ничего!

– О, так послушайте:

Надобно знать, что бабушка моя, лет шестьдесят тому назад, ездила в Париж и была там в большой моде. Народ бегал за нею, чтоб увидеть *la Vénus moscovite*²; Ришелье за нею волочился, и бабушка уверяет, что он чуть было не застрелился от ее жестокости.

¹ Понтировать – играть против баномета, который ставит банк.

² московскую Венеру (фр).

В то время дамы играли в фараон¹. Однажды при дворе она проиграла на слово герцогу Орлеанскому что-то очень много. Приехав домой, бабушка, отлепившая мушки с лица и отвязывая фижмы², объявила дедушке о своем проигрыше и приказала заплатить.

Покойный дедушка, сколько я помню, был род бабушкина дворецкого. Он ее боялся, как огня; однако, услышав о таком ужасном проигрыше, он вышел из себя, принес счета, доказал ей, что в полгода они издержали полмиллиона, что под Парижем нет у них ни подмосковной, ни саратовской деревни, и начисто отказался от платежа. Бабушка дала ему пощечину и легла спать одна, в знак своей немилости.

На другой день она велела позвать мужа, надеясь, что домашнее наказание над ним подействовало, но нашла его непоколебимым. В первый раз в жизни она дошла с ним до рассуждений и объяснений; думала усовестить его, снисходительно доказывая, что долг долгу розь и что есть разница между принцем и каретником. – Куда! дедушка бунтовал. Нет, да и только! Бабушка не знала, что делать.

С нею был коротко знаком человек очень замечательный. Вы слышали о графе Сен-Жермене³, о котором рассказывают так много чудесного. Вы знаете, что он выдавал себя за вечного жида, за изобретателя жизненного эликсира и философского камня, и прочая. Над ним смеялись, как над шарлатаном, а Казанова в своих Записках говорит, что он был шпион; впрочем, Сен-Жермен, несмотря на свою таинственность, имел очень почтенную наружность и был в обществе человек очень любезный. Бабушка до сих пор любит его без памяти и сердится, если говорят об нем с неуважением. Бабушка знала, что Сен-Жермен мог располагать большими деньгами. Она решилась к нему прибегнуть. Написала ему записку и просила немедленно к ней приехать.

Старый чудак явился тотчас и застал в ужасном горе. Она описала ему самыми черными красками варварство мужа и сказала наконец, что всю свою надежду полагает на его дружбу и любезность.

Сен-Жермен задумался.

«Я могу вам услужить этой суммою, – сказал он, – но знаю, что вы не будете спокойны, пока со мною не расплатитесь, а я бы не желал вводить вас в новые хлопоты. Есть другое средство: вы можете отыграть» – «Но, любезный граф, – отвечала бабушка, – я говорю вам, что у нас денег вовсе нет». – «Деньги тут не нужны, – возразил Сен-Жермен: – извольте меня выслушать». Тут он открыл ей тайну, за которую всякой из нас дорого бы дал...

Молодые игроки удвоили внимание. Томский закурил трубку, затянулся и продолжал.

В тот же самый вечер бабушка явилась в Версали, au jeu de la Reine⁴. Герцог Орлеанский метал; бабушка слегка извинилась, что не привезла своего долга, в оправдание

¹ Фараон – азартная карточная игра.

² Фижмы – каркас в виде обруча, вставлявшийся под юбку.

³ Граф Сен-Жермен – французский авантюрист-шарлатан, объявившийся в 1770 году в Париже; приобрел большое значение во многих странах благодаря своим фокусам, которым придавал таинственное значение.

⁴ на карточную игру у королевы (фр.)

сплела маленькую историю и стала против него понтировать. Она выбрала три карты, поставила их одну за другою: все три выиграли ей соника¹, и бабушка отыгралась совершенно.

– Случай! – сказал один из гостей.

– Сказка! – заметил Германн.

– Может статься, порошковые карты²? – подхватил третий.

– Не думаю, – отвечал важно Томский.

– Как! – сказал Нарумов, – у тебя есть бабушка, которая угадывает три карты сряду, а ты до сих пор не перенял у ней ее кабалистики?

– Да, черта с два! – отвечал Томский, – у ней было четверо сыновей, в том числе и мой отец: все четыре отчаянные игроки, и ни одному не открыла она своей тайны; хоть это было бы не худо для них и даже для меня. Но вот что мне рассказывал дядя, граф Иван Ильич, и в чем он меня уверял честию. Покойный Чаплицкий, тот самый, который умер в нищете, промотав миллионы, однажды в молодости своей проиграл – помнится Зоричу³ – около трехсот тысяч. Он был в отчаянии. Бабушка, которая всегда была строга к шалостям молодых людей, как-то сжалилась над Чаплицким. Она дала ему три карты, с тем, чтобы он поставил их одну за другою, и взяла с него честное слово впредь уже никогда не играть. Чаплицкий явился к своему победителю: они сели играть. Чаплицкий поставил на первую карту пятьдесят тысяч и выиграл соника; загнул пароли, пароли-пе⁴, – отыгрался, и остался еще в выигрыше...

Однако, пора спать: уже без четверти шесть.

В самом деле, уже рассветало: молодые люди допили свои рюмки и разъехались.

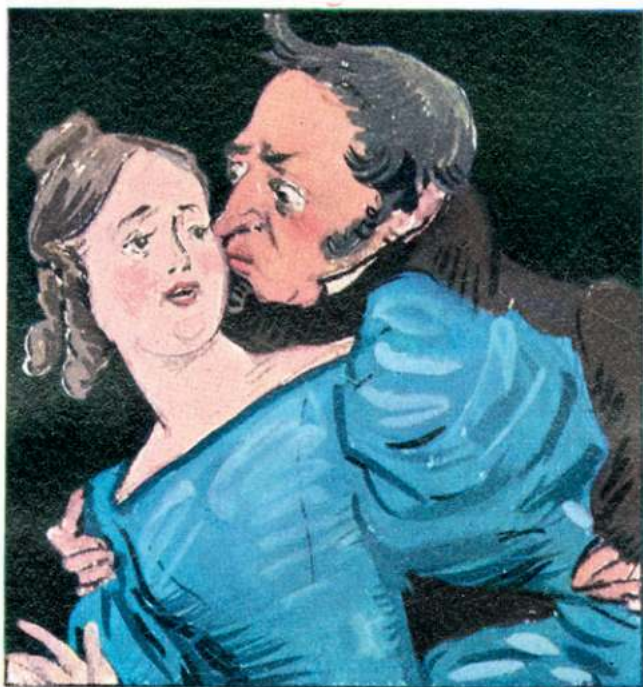


¹ Выиграть соника – выиграть сразу, с первой поставленной карты.

² Порошковые карты – шулерские карты во времена, когда на картах не ставились цифры их достоинства. С помощью липкого состава и специального порошка можно было добавить лишний знак масти. Ловко стерев его, восьмерку, к примеру, превращали в семерку. Отсюда выражение «втирать очки».

³ Семен Гаврилович Зорич – страстный игрок, один из фаворитов Екатерины II.

⁴ Пароли-пе – ушестеренная ставка.



II.

- Il paraît que monsieur est décidément pour les suivantes.
 - Que voulez-vous, madame? Elles sont plus fraîches.¹
- Светский разговор.*

¹ Вы, кажется, решительно предпочитаете камеристок.
Что делать, мадам? Они свежее (фр.).



Старая графиня *** сидела в своей уборной¹ перед зеркалом. Три девушки окружали ее. Одна держала банку румян, другая коробку со шпильками, третья высокий чепец с лентами огненного цвета. Графиня не имела ни малейшего притязания на красоту давно увядающую, но сохраняла все привычки своей молодости, строго следовала модам семидесятых годов и одевалась так же долго, так же старательно, как и шестьдесят лет тому назад. У окошка сидела за пальцами барышня, ее воспитанница.

– Здравствуйте, grand'maman², – сказал, вошедши, молодой офицер. – Bon jour, mademoiselle Lise.³ Grand'maman, я к вам с просьбою.

– Что такое, Paul⁴?

– Позвольте вам представить одного из моих приятелей и привезти его к вам в пятницу на бал.

– Привези мне его прямо на бал, и тут мне его и представишь. Был ты вчера у ***?

– Как же! очень было весело; танцевали до пяти часов. Как хороша была Елецкая!

– И, мой милый! Что в ней хорошего? Такова ли была ее бабушка, княгиня Дарья Петровна?.. Кстати: я чай, она уж очень постарела, княгиня Дарья Петровна?

– Как постарела? – отвечал рассеянно Томский, – она лет семь как умерла.

¹ В комнате для переодеваний.

² бабушка (фр.).

³ Здравствуйте, Лиза (фр.).

⁴ Поль (фр.).



Барышня подняла голову и сделала знак молодому человеку. Он вспомнил, что от старой графини таили смерть ее ровесниц, и закусил себе губу. Но графиня услышала весть, для нее новую, с большим равнодушием.

– Умерла! – сказала она, – а я и не знала! Мы вместе были пожалованы во фрейлины, и когда мы представились, то государыня...

И графиня в сотый раз рассказала внуку свой анекдот.

– Ну, Paul, – сказала она потом, – теперь помоги мне встать. Лизанька, где моя табакерка?

И графиня со своими девушками пошла за ширмами оканчивать свой туалет. Томский остался с барышнею.

– Кого это вы хотите представить? – тихо спросила Лизавета Ивановна.

– Нарумова. Вы его знаете?

– Нет! Он военный или статский?

– Военный.

– Инженер?

– Нет! кавалерист. А почему вы думали, что он инженер?

Барышня засмеялась, и не отвечала ни слова.

– Paul! – закричала графиня из-за ширмов, – пришли мне какой-нибудь новый роман, только, пожалуйста, не из нынешних.

– Как это, grand'maman?

– То есть такой роман, где бы герой не давил ни отца, ни матери и где бы не было утопленных тел. Я ужасно боюсь утопленников!

– Таких романов нынче нет. Не хотите ли разве русских?

– А разве есть русские романы?.. Пришли, батюшка, пожалуйста пришли!

– Простите, grand'maman: я спешу... Простите, Лизавета Ивановна! Почему же вы думали, что Нарумов инженер?

И Томский вышел из уборной.

Лизавета Ивановна осталась одна: она оставила работу и стала глядеть в окно. Вскоре на одной стороне улицы из-за угольного дома¹ показался молодой офицер. Румянец покрыл ее щеки: она принялась опять за работу и наклонила голову над самой канвою². В это время вошла графиня, совсем одетая.

– Прикажи, Лизанька, – сказала она, – карету закладывать, и поедем прогуляться. Лизанька встала из-за пяльцев и стала убирать свою работу.

– Что ты, мать моя! глуха, что ли! – закричала графиня. – Вели скорей закладывать карету.

– Сейчас! – отвечала тихо барышня и побежала в переднюю.

Слуга вошел и подал графине книги от князя Павла Александровича.

– Хорошо! Благодарить, – сказала графиня. – Лизанька, Лизанька! да куда ж ты бежишь?

– Одеваться.

– Успеешь, матушка. Сиди здесь. Раскрой-ка первый том; читай вслух...

Барышня взяла книгу и прочла несколько строк.

– Громче! – сказала графиня. – Что с тобою, мать моя? с голосу спала, что ли?..

Погоди: подвинь мне скамеечку, ближе... ну!

Лизавета Ивановна прочла еще две страницы. Графиня зевнула.

– Брось эту книгу, – сказала она, – что за вздор! Отошли это князю Павлу и вели благодарить... Да что ж карета?

– Карета готова, – сказала Лизавета Ивановна, взглянув на улицу.

– Что ж ты не одета? – сказала графиня, – всегда надобно тебя ждать! Это, матушка, несносно.

Лиза побежала в свою комнату. Не прошло двух минут, графиня начала звонить изо всей мочи. Три девушки вбежали в одну дверь, а камердинер в другую.

– Что это вас не докличешься? – сказала им графиня. – Сказать Лизавете Ивановне, что я ее жду.

¹ Угольный дом – угловой.

² Канва – сетчатая ткань, трафарет для вышивания.

Лизавета Ивановна вошла в капоте¹ и в шляпке.

– Наконец, мать моя! – сказала графиня. – Что за наряды! Зачем это?.. кого прельщать?.. А какова погода? – кажется, ветер.

– Никак нет-с, ваше сиятельство! очень тихо-с! – отвечал камердинер.

– Вы всегда говорите наобум! Отворите форточку. Так и есть: ветер! и прехолодный! Отложить карету! Лизанька, мы не поедем: нечего было наряжаться.

«И вот моя жизнь!» – подумала Лизавета Ивановна.

В самом деле, Лизавета Ивановна была пренесчастное создание. Горек чужой хлеб, говорит Данте, и тяжелы ступени чужого крыльца, а кому и знать горечь зависимости, как не бедной воспитаннице знатной старухи? Графиня ***, конечно, не имела злой души; но была своенравна, как женщина, избалованная светом, скупа и погружена в холодный эгоизм, как и все старые люди, отлюбившие в свой век и чуждые настоящему. Она участвовала во всех суетностях большого света, таскалась на балы, где сидела в углу, разбурманенная и одетая по старинной моде, как уродливое и необходимое украшение бальной залы; к ней с низкими поклонами подходили приезжающие гости, как по установленному обряду, и потом уже никто ею не занимался. У себя принимала она весь город, наблюдая² строгий этикет и не узнавая никого в лицо. Многочисленная челядь ее, разжирев и посев в ее передней и девичьей, делала, что хотела, наперерыв обкрадывая умирающую старуху. Лизавета Ивановна была домашней мученицей. Она разливала чай и получала выговоры за лишний расход сахара; она вслух читала романы и виновата была во всех ошибках автора; она сопровождала графиню в ее прогулках и отвечала за погоду и за мостовую. Ей было назначено жалование, которое никогда не доплачивали; а между тем требовали от нее, чтоб она одета была, как и все, то есть как очень немногие. В свете играла она самую жалкую роль. Все ее знали и никто не замечал; на балах она танцевала только тогда, как недоставало *vis-à-vis*³, и дамы брали ее под руку всякой раз, как им нужно было идти в уборную поправить что-нибудь в своем наряде. Она была самолюбива, живо чувствовала свое положение и глядела кругом себя, – с нетерпением ожидая избавителя; но молодые люди, расчетливые в ветреном своем тщеславии, не удостоивали ее внимания, хотя Лизавета Ивановна была сто раз милее наглых и холодных невест, около которых они увивались. Сколько раз, оставя тихонько скучную и пышную гостиную, она уходила плакать в бедной своей комнате, где стояли ширмы, оклеенные обоями⁴, комод, зеркальце и крашенная кровать и где сальная свеча темно горела в медном шандале⁵!

Однажды – это случилось два дня после вечера, описанного в начале этой повести, и за неделю перед той сценой, на которой мы остановились, – однажды Лизавета Ивановна, сидя под окошком за пальцами, нечаянно взглянула на улицу и увидела молодого инженера, стоящего неподвижно и устремившего глаза к ее окошку. Она

¹ *Капот* – уличное женское платье с рукавами, застегивающееся сверху донизу.

² *Наблюдая* – в данном случае «соблюдая».

³ *vis-à-vis* (фр.) – визави, («лицом к лицу») тот, кто находится против; в данном случае партнер.

⁴ Речь идет об обоях из шелковой ткани.

⁵ *Шандал* (устар.) – массивный подсвечник.

опустила голову и снова занялась работой; через пять минут взглянула опять, – молодой офицер стоял на том же месте. Не имея привычки кокетничать с прохожими офицерами, она перестала глядеть на улицу и шила около двух часов, не приподнимая головы. Подали обедать. Она встала, начала убирать свои пальцы и, взглянув нечаянно на улицу, опять увидела офицера. Это показалось ей довольно странным. После обеда она подошла к окошку с чувством некоторого беспокойства, но уже офицера не было, – и она про него забыла...

Дня через два, выходя с графиней садиться в карету, она опять его увидела. Он стоял у самого подъезда, закрыв лицо бобровым воротником: черные глаза его сверкали из-под шляпы. Лизавета Ивановна испугалась, сама не зная чего, и села в карету с трепетом неизъяснимым.

Возвратясь домой, она подбежала к окошку, – офицер стоял на прежнем месте, устремив на нее глаза: она отошла, мучась любопытством и волнуемая чувством, для нее совершенно новым.

С того времени не проходило дня, чтоб молодой человек, в известный час, не являлся под окнами их дома. Между им и ею учредились неусловленные сношения. Сидя на своем месте за работой, она чувствовала его приближение, – подымала голову, смотрела на него с каждым днем долее и долее. Молодой человек, казалось, был за то ей благодарен: она видела острым взором молодости, как быстрый румянец покрывал его бледные щеки всякий раз, когда взоры их встречались. Через неделю она ему улыбнулась...

Когда Томский спросил позволения представить графине своего приятеля, сердце бедной девушки забилося. Но узнав, что Нарумов не инженер, а конногвардеец, она сожалела, что нескромным вопросом высказала свою тайну ветреному Томскому.

Германн был сын обрусевшего немца, оставившего ему маленький капитал. Будучи твердо убежден в необходимости упрочить свою независимость, Германн не касался и процентов, жил одним жалованьем, не позволял себе малейшей прихоти. Впрочем, он был скрытен и честолюбив, и товарищи его редко имели случай посмеяться над его излишней бережливостью. Он имел сильные страсти и огненное воображение, но твердость спасла его от обыкновенных заблуждений молодости. Так, например, будучи в душе игрок, никогда не брал он карты в руки, ибо рассчитал, что его состояние не позволяло ему (как сказывал он) жертвовать необходимым в надежде приобрести излишнее, – а между тем целые ночи просиживал за карточными столами и следовал с лихорадочным трепетом за различными оборотами игры.

Анекдот о трех картах сильно подействовал на его воображение и целую ночь не выходил из его головы. «Что, если, – думал он на другой день вечером, бродя по Петербургу, – что, если старая графиня откроет мне свою тайну! – или назначит мне эти три верные карты! Почему ж не попробовать своего счастья?.. Представиться ей, подбиться в ее милость, – пожалуй, сделаться ее любовником, – но на это всё требуется время – а ей восемьдесят семь лет, – она может умереть через неделю, – через два дня!.. Да и самый анекдот?.. Можно ли ему верить?.. Нет! расчет, умеренность и трудолюбие: вот мои три верные карты, вот что утроит, усмерит мой капитал и доставит мне покой и независимость!»

Рассуждая таким образом, очутился он в одной из главных улиц Петербурга, перед домом старинной архитектуры. Улица была заставлена экипажами, кареты одна

за другою катились к освещенному подъезду. Из карет поминутно вытягивались то стройная нога молодой красавицы, то гремучая ботфорта, то полосатый чулок и дипломатический башмак. Шубы и плащи мелькали мимо величавого швейцара. Германн остановился.

– Чей это дом? – спросил он у углового будочника.

– Графини ***, – отвечал будочник.

Германн затрепетал. Удивительный анекдот снова представился его воображению. Он стал ходить около дома, думая об его хозяйке и о чудной ее способности. Поздно воротился он в смиренный свой уголок; долго не мог заснуть, и, когда сон им овладел, ему пригрезились карты, зеленый стол, кипы ассигнаций¹ и груды червонцев. Он ставил карту за картой, гнул углы решительно, выигрывал беспрестанно, и загребал к себе золото, и клал ассигнации в карман. Проснувшись уже поздно, он вздохнул о потере своего фантастического богатства, пошел опять бродить по городу и опять очутился перед домом графини ***. Неведомая сила, казалось, привлекала его к нему. Он остановился и стал смотреть на окна. В одном увидел он черноволосую головку, наклоненную, вероятно, над книгой или над работой. Головка приподнялась. Германн увидел свежее личико и черные глаза. Эта минута решила его участь.



¹ Ассигнации – банкноты, бумажные деньги, появившиеся в России в 1769 году.



III.

Vous m'écrivez, mon ange, des lettres de quatre
pages plus vite que je ne puis les lire.¹
Переписка.

¹ Вы пишете мне, мой ангел, письма по четыре страницы, быстрее, чем я успеваю их прочитать (фр.).



Только Лизавета Ивановна успела снять капот и шляпу, как уже графиня послала за нею и велела опять подавать карету. Они пошли садиться. В то самое время, как два лакея приподняли старуху и просунули в дверцы, Лизавета Ивановна у самого колеса увидела своего инженера; он схватил ее руку; она не могла опомниться от испугу, молодой человек исчез: письмо осталось в ее руке. Она спрятала его за перчатку и во всю дорогу ничего не слыхала и не видала. Графиня имела обыкновение поминутно делать в карете вопросы: кто это с нами встретился? – как зовут этот мост? – что там написано на вывеске? Лизавета Ивановна на сей раз отвечала наобум и невпопад и рассердила графиню.

– Что с тобою сделалось, мать моя! Столбняк ли на тебя нашел, что ли? Ты меня или не слышишь, или не понимаешь?.. Слава богу, я не картавлю и из ума еще не выжила!

Лизавета Ивановна ее не слушала. Возвратясь домой, она побежала в свою комнату, вынула из-за перчатки письмо: оно было не запечатано. Лизавета Ивановна его прочитала. Письмо содержало в себе признание в любви: оно было нежно, почтительно и слово в слово взято из немецкого романа. Но Лизавета Ивановна по-немецки не умела и была очень им довольна.

Однако принятое ею письмо беспокоило ее чрезвычайно. Впервые входила она в тайные, тесные сношения с молодым мужчиною. Его дерзость ужасала ее. Она упрекала себя в неосторожном поведении и не знала, что делать: перестать ли сидеть у окошка и невниманием охладить в молодом офицере охоту к дальнейшим преследованиям? – отослать ли ему письмо? – отвечать ли холодно и решительно? Ей не с кем было посоветоваться, у ней не было ни подруги, ни наставницы. Лизавета Ивановна решилась отвечать.

Она села за письменный столик, взяла перо, бумагу – и задумалась. Несколько раз начинала она свое письмо, – и рвала его: то выражения казались ей слишком снисходительными, то слишком жестокими. Наконец ей удалось написать

несколько строк, которыми она осталась довольна. «Я уверена, – писала она, – что вы имеете честные намерения и что вы не хотели оскорбить меня необдуманным поступком; но знакомство наше не должно бы начаться таким образом. Возвращаю вам письмо вашей надеюсь, что не буду впредь иметь причины жаловаться на незаслуженное неуважение».

На другой день, увидя идущего Германна, Лизавета Ивановна встала из-за пьестов, вышла в залу, отворила форточку и бросила письмо на улицу, надеясь на проворство молодого офицера. Германн подбежал, поднял его и вошел в кондитерскую лавку. Сорвав печать, он нашел свое письмо и ответ Лизаветы Ивановны. Он того и ожидал и возвратился домой, очень занятый своей интригой.

Три дня после того Лизавете Ивановне молоденькая, быстроглазая мамзель принесла записочку из модной лавки. Лизавета Ивановна открыла ее с беспокойством, предвидя денежные требования, и вдруг узнала руку Германна.

– Вы, душенька, ошиблись, – сказала она, – эта записка не ко мне.

– Нет, точно к вам! – отвечала смелая девушка, не скрывая лукавой улыбки. – Извольте прочитать!

Лизавета Ивановна пробежала записку. Германн требовал свидания.

– Не может быть! – сказала Лизавета Ивановна, испугавшись и поспешности требований и способу, им употребленному. – Это писано, верно, не ко мне! – И разорвала письмо в мелкие кусочки.

– Коли письмо не к вам, зачем же вы его разорвали? – сказала мамзель, – я бы возвратила его тому, кто его послал.

– Пожалуйста, душенька! – сказала Лизавета Ивановна, вспыхнув от ее замечания, – вперед ко мне записок не носите. А тому, кто вас послал, скажите, что ему должно быть стыдно...

Но Германн не унялся. Лизавета Ивановна каждый день получала от него письма, то тем, то другим образом. Они уже не были переведены с немецкого. Германн их писал, вдохновенный страстию, и говорил языком, ему свойственным: в них выражались и непреклонность его желаний, и беспорядок необузданного воображения. Лизавета Ивановна уже не думала их отсылать: она упивалась ими; стала на них отвечать, – и ее записки час от часу становились длиннее и нежнее. Наконец она бросила ему в окошко следующее письмо:

«Сегодня бал у ***ского посланника. Графиня там будет. Мы останемся часов до двух. Вот вам случай увидеть меня наедине. Как скоро графиня уедет, ее люди, вероятно, разойдутся, в сенях останется швейцар, но и он обыкновенно уходит в свою каморку. Приходите в половине двенадцатого. Ступайте прямо на лестницу. Коли вы найдете кого в передней, то вы спросите, дома ли графиня. Вам скажут нет, – и делать нечего. Вы должны будете воротиться. Но, вероятно, вы не встретите никого. Девушки сидят у себя, все в одной комнате. Из передней ступайте налево, идите всё прямо до графининой спальни. В спальне за ширмами увидите две маленькие двери: справа в кабинет, куда графиня никогда не входит; слева в коридор, и тут же узенькая витая лестница: она ведет в мою комнату».

Германн трепетал, как тигр, ожидая назначенного времени. В десять часов вечера он уж стоял перед домом графини. Погода была ужасная: ветер выл, мокрый снег падал хлопьями; фонари светились тускло; улицы были пусты. Изредка

тянулся Ванька¹ на тощей кляче своей, высматривая запоздалого седока. Германн стоял в одном сертуке, не чувствуя ни ветра, ни снега. Наконец графинину карету подали. Германн видел, как лакеи вынесли под руки сгорбленную старуху, укутанную в соболью шубу, и как вослед за нею, в холодном плаще, с головой, убранною свежими цветами, мелькнула ее воспитанница. Дверцы захлопнулись. Карета тяжело покатилась по рыхлому снегу. Швейцар запер двери. Окна померкли. Германн стал ходить около опустевшего дома: он подошел к фонарю, взглянул на часы, – было двадцать минут двенадцатого. Он остался под фонарем, устремив глаза на часовую стрелку и выжидая остальные минуты. Ровно в половине двенадцатого Германн ступил на графинино крыльцо и взошел в ярко освещенные сени. Швейцара не было. Германн взбежал по лестнице, отворил двери в переднюю и увидел слугу, спящего под лампою, в старинных, запачканных креслах. Легким и твердым шагом Германн прошел мимо его. Зала и гостиная были темны. Лампа слабо освещала их из передней. Германн вошел в спальню. Перед кивотом², наполненным старинными образами, теплилась золотая лампада. Полинялые штофные кресла³ и диваны с пуховыми подушками, с сошедшей позолотою, стояли в печальной симметрии около стен, обитых китайскими обоями. На стене висели два портрета, писанные в Париже m-me Lebrun⁴. Один из них изображал мужчину лет сорока, румяного и полного, в светло-зеленом мундире и со звездою; другой – молодую красавицу с орлиным носом, с зачесанными висками и с розою в пудренных волосах. По всем углам торчали фарфоровые пастушки, столовые часы работы славного Leroу⁵, корбочки, рулетки, весы и разные дамские игрушки, изобретенные в конце минувшего столетия вместе с Монгольфьеровым шаром и Месмеровым магнетизмом⁶. Германн пошел за ширмы. За ними стояла маленькая железная кровать; справа находилась дверь, ведущая в кабинет; слева, другая – в коридор. Германн ее отворил, увидел узкую, витую лестницу, которая вела в комнату бедной воспитанницы... Но он воротился и вошел в темный кабинет.

Время шло медленно. Все было тихо. В гостиной пробило двенадцать; по всем комнатам часы одни за другими прозвонили двенадцать, – все умолкло опять. Германн стоял, прислонясь к холодной печке. Он был спокоен; сердце его билось ровно, как у человека, решившегося на что-нибудь опасное, но необходимое. Часы пробили первый и второй час утра, – и он услышал дальний стук кареты. Невольное волнение овладело им. Карета подъехала и остановилась. Он услышал стук опускаемой подножки. В доме засуетились. Люди побежали, раздались голоса и дом осветился.

¹ Ваньками называли самых дешевых извозчиков.

² Кивот (киот) – украшенный шкафчик или полка для икон.

³ Штофные кресла – обтянутые шелковой тканью; (от нем. Stoff – материал, ткань).

⁴ госпожой Лебрэн (фр.). Вижэ Лебрэн – французская портретистка, работавшая в конце XVIII и в первой половине XIX века.

⁵ Леруа (фр.).

⁶ Франц Месмер – немецкий врач, утверждавший, что люди обладают особой магнетической энергией.



В спальню вбежали три старые горничные, и графиня, чуть живая, вошла и опустилась в вольтеровы кресла¹. Германн глядел в щёлку: Лизавета Ивановна прошла мимо его. Германн услышал ее торопливые шаги по ступеням ее лестницы. В сердце его отозвалось нечто похожее на угрызение совести и снова умолкло. Он окаменел.

Графиня стала раздеваться перед зеркалом. Откололи с нее чепец, украшенный розами; сняли напудренный парик с ее седой и плотно остриженной головы. Булавки дождем сыпались около нее. Желтое платье, шитое серебром, упало к ее распухлым ногам. Германн был свидетелем отвратительных таинств ее туалета; наконец графиня осталась в спальной кофте и ночном чепце: в этом наряде, более свойственном ее старости, она казалась менее ужасна и безобразна.

Как и все старые люди вообще, графиня страдала бессонницей. Раздевшись, она села у окна в вольтеровы кресла и отослала горничных. Свечи вынесли, комната опять осветилась одною лампадою. Графиня сидела вся желтая, шевеля отвислыми губами,

¹ *Вольтеровыми (вольтеровскими) называли мягкие кресла с высокой спинкой.*

качаясь направо и налево. В мутных глазах ее изображалось совершенное отсутствие мысли; смотря на нее, можно было бы подумать, что качание страшной старухи происходило не от ее воли, но по действию скрытого гальванизма¹.

Вдруг это мертвое лицо изменилось неизъяснимо. Губы перестали шевелиться, глаза оживились: перед графинею стоял незнакомый мужчина.

– Не пугайтесь, ради бога, не пугайтесь! – сказал он внятным и тихим голосом. – Я не имею намерения вредить вам; я пришел умолять вас об одной милости.

Старуха молча смотрела на него и, казалось, его не слышала. Германн вообразил, что она глуха, и, наклонясь над самым ее ухом, повторил ей то же самое. Старуха молчала по-прежнему.

– Вы можете, – продолжал Германн, – составить счастье моей жизни, и оно ничего не будет вам стоить: я знаю, что вы можете угадать три карты сряду...

Германн остановился. Графиня, казалось, поняла, чего от нее требовали; казалось, она искала слов для своего ответа.

– Это была шутка, – сказала она наконец, – клянусь вам! это была шутка!

– Этим нечего шутить, – возразил сердито Германн. – Вспомните Чаплицкого, которому помогли вы отыгаться.

Графиня видимо смутилась. Черты ее изображали сильное движение души, но она скоро впала в прежнюю бесчувственность.

– Можете ли вы, – продолжал Германн, – назначить мне эти три верные карты?

Графиня молчала; Германн продолжал:

– Для кого вам беречь вашу тайну? Для внуков? Они богаты и без того; они же не знают и цены деньгам. Моту не помогут ваши три карты. Кто не умеет беречь отцовское наследство, тот всё-таки умрет в нищете, несмотря ни на какие демонские усилия. Я не мот; я знаю цену деньгам. Ваши три карты для меня не пропадут. Ну!..

Он остановился и с трепетом ожидал ее ответа. Графиня молчала; Германн стал на колени.

– Если когда-нибудь, – сказал он, – сердце ваше знало чувство любви, если вы помните ее восторги, если вы хоть раз улыбнулись при плаче новорожденного сына, если что-нибудь человеческое билось когда-нибудь в груди вашей, то умоляю вас чувствами супруги, любовницы, матери, – всем, что ни есть святого в жизни, – не откажите мне в моей просьбе! – откройте мне вашу тайну! – что вам в ней?.. Может быть, она сопряжена с ужасным грехом, с пагубою вечного блаженства, с дьявольским договором... Подумайте: вы стары; жить вам уж недолго, – я готов взять грех ваш на свою душу. Откройте мне только вашу тайну. Подумайте, что счастье человека находится в ваших руках; что не только я, но дети мои, внуки и правнуки благословят вашу память и будут ее чтить, как святыню...

Старуха не отвечала ни слова.

Германн встал.

– Старая ведьма! – сказал он, стиснув зубы, – так я ж заставляю тебя отвечать...

¹ В конце XVIII века Луиджи Гальвани обнаружил, что электрический ток приводит в движение мышцы мертвой лягушки.

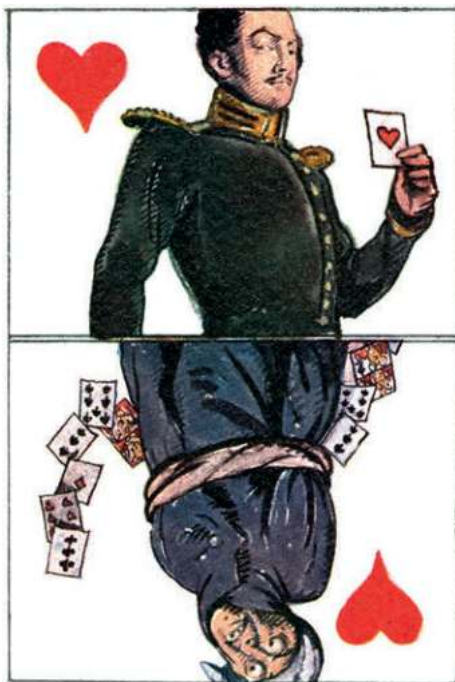
С этим словом он вынул из кармана пистолет. При виде пистолета графиня во второй раз оказала сильное чувство. Она закивала головою и подняла руку, как бы заслоняясь от выстрела... Потом покатилась навзничь... и осталась недвижима.

– Перестаньте ребячиться, – сказал Германн, взяв ее руку. – Спрашиваю в последний раз: хотите ли назначить мне ваши три карты? – да или нет?

Графиня не отвечала. Германн увидел, что она умерла.



Пиковая дама



IV.

7 Mai 18**.
 Homme sans mœurs et sans religion!¹
Переписка.

¹ 7 мая 18**

Человек, у которого нет никаких нравственных правил и ничего святого! (фр.).



Лизавета Ивановна сидела в своей комнате, еще в бальном своем наряде, погруженная в глубокие размышления. Приехав домой, она спешила отослать заспанную девку, нехотя предлагавшую ей свою услугу, – сказала, что разденется сама, и с трепетом вошла к себе, надеясь найти там Германа и желая не найти его. С первого взгляда она удостоверилась в его отсутствии и благодарила судьбу за препятствие, помешавшее их свиданию. Она села, не раздеваясь, и стала припоминать все обстоятельства, в такое короткое время и так далеко ее завлекшие. Не прошло трех недель с той поры, как она в первый раз увидела в окошко молодого человека, – и уже она была с ним в переписке, – и он успел вытребовать от нее ночное свидание! Она знала имя его потому только, что некоторые из его писем были им подписаны; никогда с ним не говорила, не слыхала его голоса, никогда о нем не слыхала... до самого сего вечера. Странное дело! В самый тот вечер, на бале, Томский, дуясь на молодую княжну Полину ***, которая, против обыкновения, кокетничала не с ним, желал отомстить, оказывая равнодушие: он позвал Лизвету Ивановну и танцевал с нею бесконечную мазурку. Во все время шутил он над ее пристрастием к инженерным офицерам, уверял, что он знает гораздо более, нежели можно было ей предполагать, и некоторые из его шуток были так удачно направлены, что Лизавета Ивановна думала несколько раз, что ее тайна была ему известна.

– От кого вы всё это знаете? – спросила она смеясь.

– От приятеля известной вам особы, – отвечал Томский, – человека очень замечательного!

– Кто ж этот замечательный человек?

– Его зовут Германом.

Лизавета Ивановна не отвечала ничего, но ее руки и ноги поledenели...

– Этот Герман, – продолжал Томский, – лицо истинно романическое: у него профиль Наполеона, а душа Мефистофеля. Я думаю, что на его совести по крайней мере три злодеяния. Как вы побледнели!..

– У меня голова болит... Что же говорил вам Германн, – или как бишь его?..

– Германн очень недоволен своим приятелем: он говорит, что на его месте он поступил бы совсем иначе... Я даже полагаю, что Германн сам имеет на вас виды, по крайней мере он очень равнодушно слушает влюбленные восклицания своего приятеля.

– Да где ж он меня видел?

– В церкви, может быть, – на гулянье!.. Бог его знает! может быть, в вашей комнате, во время вашего сна: от него станет...

Подошедшие к ним три дамы с вопросами – *oubli ou regret*¹? – прервали разговор, который становился мучительно любопытен для Лизаветы Ивановны.

Дама, выбранная Томским, была сама княжна ***. Она успела с ним изъясниться, обещав лишний круг и лишний раз повертевшись перед своим стулом.² Томский, возвратясь на свое место, уже не думал ни о Германне, ни о Лизавете Ивановне. Она непременно хотела возобновить прерванный разговор; но мазурка кончилась, и вскоре после старая графиня уехала.

Слова Томского были не что иное, как мазурочная болтовня, но они глубоко заронились в душу молодой мечтательницы. Портрет, набросанный Томским, сходствовал с изображением, составленным ею самою, и, благодаря новейшим романам, это уже пошлое лицо пугало и пленяло ее воображение. Она сидела, сложив крестом голые руки, наклонив на открытую грудь голову, еще украшенную цветами... Вдруг дверь отворилась, и Германн вошел. Она затрепетала...

– Где же вы были? – спросила она испуганным шепотом.

– В спальне у старой графини, – отвечал Германн: – я сейчас от нее. Графиня умерла.

– Боже мой!.. что вы говорите?..

– И кажется, – продолжал Германн, – я причиною ее смерти.

Лизавета Ивановна взглянула на него, и слова Томского раздалились в ее душе: *у этого человека по крайней мере три злодеяния на душе!* Германн сел на окошко подле нее и всё рассказал.

Лизавета Ивановна выслушала его с ужасом. Итак, эти страстные письма, эти пламенные требования, это дерзкое, упорное преследование, всё это было не любовь! Деньги, – вот чего алкала его душа! Не она могла утолить его желания и осчастливить его! Бедная воспитанница была не что иное, как слепая помощница разбойника, убийцы старой ее благодетельницы!.. Горько заплакала она в позднем, мучительном своем раскаянии. Германн смотрел на нее молча: сердце его также терзалось, но ни слезы бедной девушки, ни удивительная прелесть ее горести не тревожили суровой души его. Он не чувствовал угрызения совести при мысли о мертвой старухе. Одно его ужасало: невозвратная потеря тайны, от которой ожидал обогащения.

¹ забвение или сожаление (фр.). Дамы уславливаются, кому принадлежит одно из задуманных слов, кавалер выбирает одно из них и танцует с дамой, кому оно принадлежало.

² В одной из танцевальных фигур мазурки партнеры обходят кругом два стула или двух кавалеров.



– Вы чудовище! – сказала наконец Лизавета Ивановна.

– Я не хотел ее смерти, – отвечал Германн, – пистолет мой не заряжен.

Они замолчали.

Утро наступало. Лизавета Ивановна погасила догорающую свечу: бледный свет озарил ее комнату. Она отерла заплаканные глаза и подняла их на Германна: он сидел на окошке, сложа руки и грозно нахмурясь. В этом положении удивительно напоминал он портрет Наполеона. Это сходство поразило даже Лизавету Ивановну.

– Как вам выйти из дому? – сказала наконец Лизавета Ивановна. – Я думала провести вас по потаенной лестнице, но надобно идти мимо спальни, а я боюсь.

– Расскажите мне, как найти эту потаенную лестницу; я выйду.

Лизавета Ивановна встала, вынула из комода ключ, вручила его Германну и дала ему подробное наставление. Германн пожал ее холодную, безответную руку, поцеловал ее наклоненную голову и вышел.

Он спустился вниз по витой лестнице и вошел опять в спальню графини. Мертвая старуха сидела окаменев; лицо ее выражало глубокое спокойствие. Германн остановился перед нею, долго смотрел на нее, как бы желая удостовериться в ужасной истине; наконец вошел в кабинет, ощупал за обоями дверь и стал сходить по темной лестнице, волнуемый странными чувствованиями. По этой самой лестнице, думал он, может быть, лет шестьдесят назад, в эту самую спальню, в такой же час, в шитом кафтане, причесанный à l'oiseau royal¹, прижимая к сердцу треугольную свою шляпу, прокрадывался молодой счастливцев, давно уже истлевший в могиле, а сердце престарелой его любовницы сегодня перестало биться...

Под лестницею Германн нашел дверь, которую отпер тем же ключом, и очутился в сквозном коридоре, выведшем его на улицу.



¹ как венценосный журавль (фр.).



V.

В эту ночь явилась ко мне покойница баронесса фон В***. Она была
вся в белом и сказала мне: «Здравствуйте, господин советник!»
Шведенборг.¹

¹ Шведенборг – Эммануил Сведенборг, шведский философ-мистик XVIII века, утверждавший истинность своих видений.

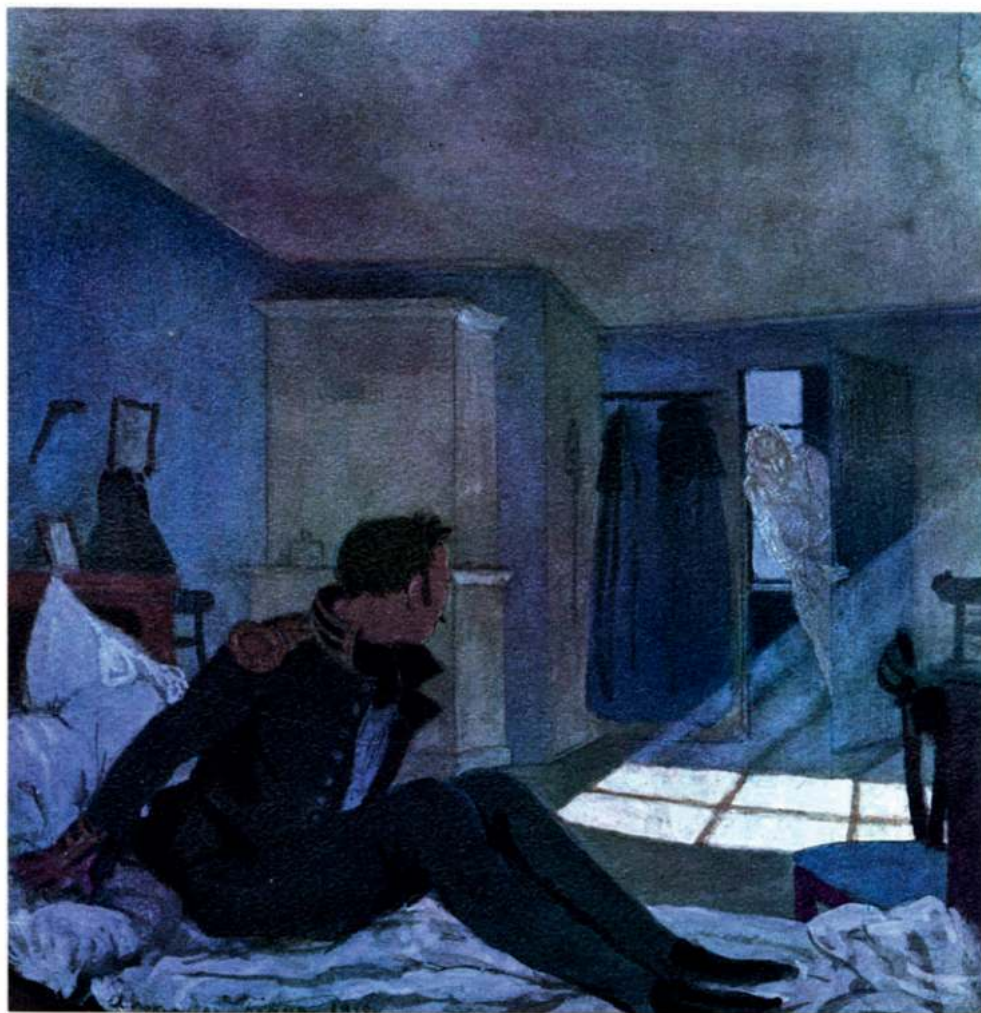


Три дня после роковой ночи, в девять часов утра, Германн отправился в *** монастырь, где должны были отпевать тело усопшей графини. Не чувствуя раскаяния, он не мог, однако, совершенно заглушить голос совести, твердивший ему: ты убийца старухи! Имея мало истинной веры, он имел множество предрассудков. Он верил, что мертвая графиня могла иметь вредное влияние на его жизнь, – и решился явиться на ее похороны, чтобы испросить у ней прощения.

Церковь была полна. Германн насилу мог пробраться сквозь толпу народа. Гроб стоял на богатом катафалке под бархатным балдахином. Усопшая лежала в нем с руками, сложенными на груди, в кружевном чепце и в белом атласном платье. Кругом стояли ее домашние: слуги в черных кафтанах с гербовыми лентами на плече и со свечами в руках; родственники в глубоком трауре, – дети, внуки и правнуки. Никто не плакал; слезы были бы – *une affectation*¹. Графиня так была стара, что смерть ее никого не могла поразить и что ее родственники давно смотрели на нее, как на отжившую. Молодой архиерей произнес надгробное слово. В простых и трогательных выражениях представил он мирное усупие праведницы, которой долгие годы были тихим, умирительным приготовлением к христианской кончине. «Ангел смерти обрел ее, – сказал оратор, – бодрствующую в помышлениях благих и в ожидании жениха полунощного»². Служба совершилась с печальным приличием. Родственники первые пошли прощаться с телом. Потом двинулись и многочисленные гости, приехавшие поклониться той, которая так давно была участницею в их суетных увеселениях. После них и все домашние. Наконец приблизилась старая барская барыня,

¹ притворством (фр.).

² Жениха полунощного – то есть Христа. «Се Жених грядет в полунощи» – строчка известного церковного песнопения.



ровесница покойницы. Две молодые девушки вели ее под руки. Она не в силах была поклониться до земли, – и одна пролила несколько слез, поцеловав холодную руку госпожи своей. После нее Германи решил подождать к гробу. Он поклонился в землю и несколько минут лежал на холодном полу, усыпанном ельником. Наконец приподнялся, бледен как сама покойница, взобрал на ступени катафалка и наклонился... В эту минуту показалось ему, что мертвая насмешливо взглянула на него, прищуривая одним глазом. Германи, поспешно подавшись назад, оступился и навзничь грянулся об землю. Его подняли. В то же самое время Лизавету Ивановну вынесли в обмороке на паперть¹. Этот эпизод возмутил на несколько минут торжественность мрачного обряда. Между посетителями поднялся глухой ропот, а худощавый камергер, близкий

¹ Паперть – непокрытое кровлей крыльцо перед входом в церковь.

родственник покойницы, шепнул на ухо стоящему подле него англичанину, что молодой офицер ее побочный сын, на что англичанин отвечал холодно: Oh?

Целый день Германн был чрезвычайно расстроен. Обедая в уединенном трактире, он, против обыкновения своего, пил очень много, в надежде заглушить внутреннее волнение. Но вино еще более горячило его воображение. Возвратясь домой, он бросился, не раздеваясь, на кровать и крепко заснул.

Он проснулся уже ночью: луна озаряла его комнату. Он взглянул на часы: было без четверти три. Сон у него прошел; он сел на кровать и думал о похоронах старой графини.

В это время кто-то с улицы взглянул к нему в окошко, – и тотчас отошел. Германн не обратил на то никакого внимания. Чрез минуту услышал он, что отпирали дверь в передней комнате. Германн думал, что денщик его, пьяный по своему обыкновению, возвращался с ночной прогулки. Но он услышал незнакомую походку: кто-то ходил, тихо шаркая туфлями. Дверь отворилась, вошла женщина в белом платье. Германн принял ее за свою старую кормилицу и удивился, что могло привести ее в такую пору. Но белая женщина, скользнув, очутилась вдруг перед ним, – и Германн узнал графиню!

– Я пришла к тебе против своей воли, – сказала она твердым голосом, – но мне велено исполнить твою просьбу. Тройка, семерка и туз выиграют тебе сряду, но с тем, чтобы ты в сутки более одной карты не ставил и чтоб во всю жизнь уже после не играл. Прощаю тебе мою смерть, с тем, чтоб ты женился на моей воспитаннице Лизавете Ивановне...

С этим словом она тихо повернулась, пошла к дверям и скрылась, шаркая туфлями. Германн слышал, как хлопнула дверь в сенях, и увидел, что кто-то опять поглядел к нему в окошко.

Германн долго не мог опомниться. Он вышел в другую комнату. Денщик его спал на полу; Германн насилу его добудился. Денщик был пьян по обыкновению: от него нельзя было добиться никакого толку. Дверь в сени была заперта. Германн возвратился в свою комнату, зажег свечку и записал свое видение.





VI.

– Атанде!¹

– Как вы смели мне сказать атанде?

– Ваше превосходительство, я сказал атанде-с!

¹ Атанде – карточный термин, предложение не делать ставки (от фр. attendez – подождите).



Две неподвижные идеи не могут вместе существовать в нравственной природе, так же, как два тела не могут в физическом мире занимать одно и то же место. Тройка, семерка, туз – скоро заслонили в воображении Германна образ мертвой старухи. Тройка, семерка, туз – не выходили из его головы и шевелились на его губах. Увидев молодую девушку, он говорил: «Как она стройна!.. Настоящая тройка червонная». У него спрашивали: «который час», он отвечал: «без пяти минут семерка». Всякий пузастый мужчина напоминал ему туза. Тройка, семерка, туз – преследовали его во сне, принимая все возможные виды: тройка цвела перед ним в образе пышного грандифлора¹, семерка представлялась готическими воротами, туз огромным пауком. Все мысли его слились в одну, – воспользоваться тайной, которая дорого ему стоила. Он стал думать об отставке и о путешествии. Он хотел в открытых игрецких² домах Парижа вынудить клад у очарованной фортуны. Случай избавил его от хлопот.

В Москве составилось общество богатых игроков, под председательством славного Чекалинского, проведшего весь век за картами и нажившего некогда миллионы, выигрывая векселя и проигрывая чистые деньги. Долговременная опытность послужила ему доверенностью товарищей, а открытый дом, славный повар, ласковость и веселость приобрели уважение публики. Он приехал в Петербург. Молодежь к нему нахлынула, забывая балы для карт и предпочитая соблазны фараона обольщениям волокитства. Нарумов привез к нему Германна.

Они прошли ряд великолепных комнат, наполненных учтивыми официантами. Несколько генералов и тайных советников играли в вист; молодые люди сидели, развываясь на штофных диванах, ели мороженое и курили трубки. В гостиной за

¹ Грандифлор – любое растение с крупными цветками.

² Игрецких – игорных.



длинным столом, около которого теснилось человек двадцать игроков, сидел хозяин и метал банк¹. Он был человек лет шестидесяти, самой почтенной наружности; голова покрыта была серебряной сединою; полное и свежее лицо изображало добродушие; глаза блистали, оживленные всегдашнею улыбкою. Нарумов представил ему Германна. Чекалинский дружески пожал ему руку, просил не церемониться и продолжал метать.

Талья² длилась долго. На столе стояло более тридцати карт.³

¹ Метать банк – раскладывать карты из своей колоды на две кучки – направо и налево. Если загаданная игроком карта оказывалась справа, выигрывал банкомет, если слева – игрок, понтер.

² Талья – круг игры до окончания колоды у банкомета или срыва банка.

³ Двадцать игроков поставили более чем на тридцать карт; это значит, что некоторые игроки поставили сразу на две карты.

Чекалинский останавливался после каждой прокидки, чтобы дать играющим время распорядиться, записывал проигрыш, учтиво вслушивался в их требования, еще учтивее отгибал лишний угол, загибаемый рассеянною рукою.¹ Наконец талья кончилась. Чекалинский стасовал карты и приготовился метать другую.

– Позвольте поставить карту, – сказал Германн, протягивая руку из-за толстого господина, тут же понтировавшего. Чекалинский улыбнулся и поклонился, молча, в знак покорного согласия. Нарумов, смеясь, поздравил Германна с разрешением долговременного поста и пожелал ему счастливого начала.

– Идет! – сказал Германн, надписав мелом куш над своею картою.

– Сколько-с? – спросил, прищуриваясь, банкомет, – извините-с, я не разгляжу.

– Сорок семь тысяч, – отвечал Германн.

При этих словах все головы обратились мгновенно, и все глаза устремились на Германна. «Он с ума сошел!» – подумал Нарумов.

– Позвольте заметить вам, – сказал Чекалинский с неизменной своею улыбкою, – что игра ваша сильна: никто более двухсот семидесяти пяти семпелем² здесь еще не ставил.

– Что ж? – возразил Германн, – бьете вы мою карту или нет?

Чекалинский поклонился с видом того же смиренного согласия.

– Я хотел только вам доложить, – сказал он, – что, будучи удостоен доверенности товарищей, я не могу метать иначе, как на чистые деньги. С моей стороны я, конечно, уверен, что довольно вашего слова, но для порядка игры и счетов прошу вас поставить деньги на карту.

Германн вынул из кармана банковый билет и подал его Чекалинскому, который, бегло посмотрев его, положил на Германнову карту.

Он стал метать. Направо легла девятка, налево тройка.

– Выиграла! – сказал Германн, показывая свою карту.

Между игроками поднялся шепот. Чекалинский нахмурился, но улыбка тотчас возвратилась на его лицо.

– Изволите получить? – спросил он Германна.

– Сделайте одолжение.

Чекалинский вынул из кармана несколько банковых билетов и тотчас расчелся. Германн принял свои деньги и отошел от стола. Нарумов не мог опомниться. Германн выпил стакан лимонаду и отправился домой.

На другой день вечером он опять явился у Чекалинского.

Хозяин метал. Германн подошел к столу; понтеры тотчас дали ему место, Чекалинский ласково ему поклонился.

Германн дождался новой тальи, поставил карту, положив на нее свои сорок семь тысяч и вчерашний выигрыш.

Чекалинский стал метать. Валет выпал направо, семерка налево.

Германн открыл семерку.

¹ Некоторые игроки, увидав, что их карта выиграла, могли пытаться незаметно загнуть на ней лишний угол, то есть, жульничая, повысить свою ставку.

² Семпель – простая, неудвоенная ставка.

Все ахнули. Чекалинский видимо смутился. Он отсчитал девяносто четыре тысячи и передал Германну. Германн принял их с хладнокровием и в ту же минуту удалился.

В следующий вечер Германн явился опять у стола. Все его ожидали. Генералы и тайные советники оставили свой вист¹, чтоб видеть игру, столь необыкновенную. Молодые офицеры соскочили с диванов; все официанты собрались в гостиной. Все обступили Германна. Прочие игроки не поставили своих карт, с нетерпением ожидая, чем он кончит. Германн стоял у стола, готовясь один понтировать противу бледного, но всё улыбающегося Чекалинского. Каждый распечатал колоду карт. Чекалинский стасовал. Германн снял и поставил свою карту, покрыв ее кипой банковых билетов. Это похоже было на поединок. Глубокое молчание царствовало кругом.

Чекалинский стал метать, руки его тряслись. Направо легла дама, налево туз.

– Туз выиграл! – сказал Германн и открыл свою карту.

– Дама ваша убита, – сказал ласково Чекалинский.

Германн вздрогнул: в самом деле, вместо туза у него стояла пиковая дама. Он не верил своим глазам, не понимая, как мог он обдернуться².

В эту минуту ему показалось, что пиковая дама прищурилась и усмехнулась. Необыкновенное сходство поразило его...

– Старуха! – закричал он в ужасе.

Чекалинский потянул к себе проигранные билеты. Германн стоял неподвижно. Когда отошел он от стола, поднялся шумный говор. – Славно спонтировал! – говорили игроки. – Чекалинский снова стасовал карты: игра пошла своим чередом.



¹ Вист – командная карточная игра, предшественница бриджа и преферанса.

² Обдернуться – ошибиться.



Заключение.

Германн сошел с ума. Он сидит в Обуховской больнице в 17-м номере, не отвечает ни на какие вопросы и бормочет необыкновенно скоро: «Тройка, семерка, туз! Тройка, семерка, дама!...»

Лизавета Ивановна вышла замуж за очень любезного молодого человека; он где-то служит и имеет порядочное состояние: он сын бывшего управителя у старой графини. У Лизаветы Ивановны воспитывается бедная родственница.

Томский произведен в ротмистры и женится на княжне Полине.



МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ

ГРАВЮРЫ
А. КРАВЧЕНКО



Сцена из Фауста¹Берег моря. Фауст² и Мефистофель³.

Фауст.

Мне скучно, бес.

Мефистофель.

Что делать, Фауст?

Таков вам положен предел,
Его ж никто не преступает.
Вся тварь разумная скучает:
Иной от лени, тот от дел;
Кто верит, кто утратил веру;
Тот насладиться не успел,
Тот наслаждался через меру,
И всяк зевает да живет –
И всех вас гроб, зевая, ждет.
Зевай и ты.

Фауст.

Сухая шутка!

Найди мне способ как-нибудь
Рассеяться.

Мефистофель.

Доволен будь

Ты доказательством рассудка.
В своем альбоме запиши:
Fastidium est quies⁴ – скука
Отдохновение души.
Я психолог... о вот наука!..
Скажи, когда ты не скучал?
Подумай, поищи. Тогда ли,
Как над Виргилием дремал,

¹ Экранизированная сцена из Фауста использована как пролог в телевизионном фильме Михаила Швейцера «Маленькие трагедии» 1979 года, хотя к последним не относится.

² Фауст – легендарный немецкий странствующий доктор, герой одноименной драмы Гёте.

³ Мефистофель – дьявол, злой дух в мифологии эпохи Возрождения, герой драмы Гёте.

⁴ Fastidium est quies (лат.) – Пресыщение есть покой.

А розги ум твой возбуждали?¹
 Тогда ль, как розами венчал
 Ты благосклонных дев веселья
 И в буйстве шумном посвящал
 Им пыл вечернего похмелья?
 Тогда ль, как погрузился ты
 В великодушные мечты,
 В пучину темную науки?
 Но – помнится – тогда со скуки,
 Как арлекина, из огня
 Ты вызвал наконец меня.
 Я мелким бесом извивался,
 Развеселить тебя старался,
 Возил и к ведьмам и к духам,
 И что же? всё по пустякам.
 Желал ты славы – и добился, –
 Хотел влюбиться – и влюбился.
 Ты с жизни взял возможну дань,
 А был ли счастлив?

Фауст.

Перестань,
 Не растравляй мне язвы тайной.
 В глубоком знанье жизни нет –
 Я проклял знаний ложный свет,
 А слава... луч ее случайный
 Неуловим. Мирская честь
 Бессмысленна, как сон... Но есть
 Прямое благо: сочетание
 Двух душ...

Мефистофель.

И первое свиданье,
 Не правда ль? Но нельзя ль узнать
 Кого изволишь поминать,
 Не Гретхен² ли?

Фауст.

О сон чудесный!
 О пламя чистое любви!

¹ В Лицее, где учился Пушкин, штудировали Вергилия; в гимназиях же того времени молодых дворян могли наказывать розгами.

² В драме Гёте Мефистофель помогает Фаусту сблизиться с девушкой Маргаритой; ее уменьшительное имя – Гретхен.

Сцена из Фауста

Там, там – где тень, где шум древесный,
Где сладко-звонкие струи –
Там, на груди ее прелестной
Покою томную главу,
Я счастлив был...

М е ф и с т о ф е л ь .

Творец небесный!
Ты бредишь, Фауст, наяву!
Услужливым воспоминаньем
Себя обманываешь ты.
Не я ль тебе своим стараньем
Доставил чудо красоты?
И в час полуночи глубокой
С тобою свел ее? Тогда
Плодами своего труда
Я забавлялся одинокой,
Как вы вдвоем – всё помню я.
Когда красавица твоя
Была в восторге, в упоенье,
Ты беспокойною душой
Уж погружался в размышленье
(А доказали мы с тобой,
Что размышленье – скуки семя).
И знаешь ли, философ мой,
Что думал ты в такое время,
Когда не думает никто?
Сказать ли?

Ф а у с т .

Говори. Ну, что?

М е ф и с т о ф е л ь .

Ты думал: агнец¹ мой послушный!
Как жадно я тебя желал!
Как хитро в деве простодушной
Я грезы сердца возмущал! –
Любви невольной, бескорыстной
Невинно предалась она...
Что ж грудь моя теперь полна
Тоской и скукой ненавистой?..
На жертву прихоти моей

¹ Агнец (ягненок) в христианской традиции – символ невинности и чистоты.

Гляжу, упившись наслажденьем,
С неодолимым отвращеньем:
Так безрасчетный дуралей,
Вотще решаешь на злое дело,
Зарезав нищего в лесу,
Бранит ободранное тело; –
Так на продажную красу,
Насытятся ею торопливо,
Разврат косится боязливо...
Потом из этого всего
Одно ты вывел заключение...

Фауст.

Сокройся, адское творенье!
Беги от взора моего!

Мефистофель.

Изволь. Задай лишь мне задачу:
Без дела, знаешь, от тебя
Не смею отлучаться я –
Я даром времени не трачу.

Фауст.

Что там белеет? говори.

Мефистофель.

Корабль испанский трехмачтовый,
Пристать в Голландию готовый:
На нем мерзавцев сотни три,
Две обезьяны, бочки злата,
Да груз богатый шоколата,
Да модная болезнь¹: она
Недавно вам подарена.

Фауст.

Всё утопить.

Мефистофель.

Сейчас.
(Исчезает)

¹ Модная болезнь – сифилис; венерическая болезнь, завезенная в Европу согласно распространённому мнению испанскими мореплавателями из Нового Света.



Скупой рыцарь

(Сцены из Ченстоновой¹ траги-комедии: *The Covetous Knight*²)

СЦЕНА I.

(В башне.)

АЛЬБЕР И ИВАН.

А л ь б е р .

Во что бы то ни стало на турнире
Явлюсь я. Покажи мне шлем, Иван.

(Иван подает ему шлем.)

Пробит насквозь, испорчен. Невозможно
Его надеть. Достать мне надо новый.
Какой удар! проклятый граф Делорж!

И в а н .

И вы ему порядком отплатили:
Как из стремян вы вышибли его,
Он сутки замертво лежал – и вряд ли
Оправился.

¹ Ченстон – вымышленный Пушкиным английский поэт.

² *Скупой рыцарь* (англ.).

А л ь б е р .

А всё ж он не в убытке;
Его нагрудник цел венецианский,
А грудь своя: гроша ему не стоит;
Другой себе не станет покупать.
Зачем с него не снял я шлема тут же!
А снял бы я, когда б не было стыдно
Мне дам и герцога. Проклятый граф!
Он лучше бы мне голову пробил.
И платье нужно мне. В последний раз
Все рыцари сидели тут в атласе
Да бархате; я в латах был один
За герцогским столом. Отговорился
Я тем, что на турнир попал случайно.
А нынче что скажу? О бедность, бедность!
Как унижает сердце нам она!
Когда Делорж копьем своим тяжелым
Пробил мне шлем и мимо проскакал,
А я с открытой головой пришпорил
Эмира моего, помчался вихрем
И бросил графа на двадцать шагов,
Как маленького пажа; как все дамы
Привстали с мест, когда сама Клотильда,
Закрыв лицо, невольно закричала,
И славили герольды¹ мой удар, –
Тогда никто не думал о причине
И храбрости моей и силы дивной!
Взбесился я за поврежденный шлем,
Геройству что виною было? – скупость.
Да! заразиться здесь не трудно ею
Под кровлею одной с моим отцом.
Что бедный мой Эмир?

И в а н .

Он всё хромает.
Вам выехать на нем еще нельзя.

А л ь б е р .

Ну делать нечего: куплю Гнедого.
Недорого и просят за него.



¹ Герольд – глашатай, вестник, распорядитель на торжествах и турнирах.



И в а н .

Недорого, да денег нет у нас.

А л ь б е р .

Что ж говорит бездельник Соломон?

И в а н .

Он говорит, что более не может
В займы давать вам денег без заклада.

А л ь б е р .

Заклад! а где мне взять заклада, дьявол!

И в а н .

Я сказывал.

А л ь б е р .

Что ж он?

И в а н .

Кряхтит да жметса.

А л ь б е р .

Да ты б ему сказал, что мой отец
Богат и сам, как жид, что рано ль, поздно ль
Всему наследую.

И в а н .

Я говорил.

А л ь б е р .

Что ж?

И в а н .

Жметса да кряхтит.

А л ь б е р .

Какое горе!

И в а н .

Он сам хотел прийти.

А л ь б е р .

Ну, слава богу.
Без выкупа не выпущу его. *(Стучат в дверь.)*
Кто там? *(Входит жид.)*

Скупой рыцарь

Ж и д .

Слуга ваш низкий.

А л ь б е р .

А, приятель!

Проклятый жид, почтенный Соломон,
Пожалуй-ка сюда: так ты, я слышу,
Не веришь в долг.

Ж и д .

Ах, милостивый рыцарь,

Клянусь вам: рад бы... право не могу.
Где денег взять? весь разорился я,
Всё рыцарям усердно помогая.
Никто не платит. Вас хотел просить,
Не можете ль хоть часть отдать...

А л ь б е р .

Разбойник!

Да если б у меня водились деньги,
С тобою стал ли б я возиться? Полно,
Не будь упрям, мой милый Соломон;
Давай червонцы. Высыпи мне сотню,
Пока тебя не обыскали.

Ж и д .

Сотню!

Когда б имел я сто червонцев!

А л ь б е р .

Слушай:

Не стыдно ли тебе своих друзей
Не выручать?

Ж и д .

Клянусь вам...

А л ь б е р .

Полно, полно.

Ты требуешь заклада? что за вздор!
Что дам тебе в заклад? свиную кожу?
Когда б я мог что заложить, давно
Уж продал бы. Иль рыцарского слова
Тебе, собака, мало?

Ж и д .

Ваше слово,
Пока вы живы, много, много значит.
Все сундуки фламандских богачей
Как талисман оно вам отопрет.
Но если вы его передадите
Мне, бедному еврею, а меж тем
Умрете (боже сохрани), тогда
В моих руках оно подобно будет
Ключу от брошенной шкатулки в море.

А л ь б е р .

Ужель отец меня переживет?

Ж и д .

Как знать? дни наши сочтены не нами;
Цвел юноша вечор, а нынче умер,
И вот его четыре старика
Несут на сгорбленных плечах в могилу.
Барон здоров. Бог даст – лет десять, двадцать
И двадцать пять и тридцать проживет он.

А л ь б е р .

Ты врешь, еврей: да через тридцать лет
Мне стукнет пятьдесят, тогда и деньги
На что мне пригодятся?

Ж и д .

Деньги? – деньги
Всегда, во всякий возраст нам пригодны;
Но юноша в них ищет слуг проворных
И не жалея шлет туда, сюда.
Старик же видит в них друзей надежных
И бережет их как зеницу ока.

А л ь б е р .

О! мой отец не слуг и не друзей
В них видит, а господ; и сам им служит.
И как же служит? как алжирский раб,
Как пес цепной. В нетопленной конуре
Живет, пьет воду, ест сухие корки,
Всю ночь не спит, всё бегает да лает.
А золото спокойно в сундуках
Лежит себе. Молчи! когда-нибудь
Оно послужит мне, лежать забудет.

Скупой рыцарь

Ж и д .

Да, на бароновых похоронах
Прольется больше денег, нежель слез.
Пошли вам бог скорей наследство.

А л ь б е р .

Amen!¹

Ж и д .

А можно б...

А л ь б е р .

Что?

Ж и д .

Так, думал я, что средство
Такое есть...

А л ь б е р .

Какое средство?

Ж и д .

Так –
Есть у меня знакомый старичок,
Еврей, аптекарь бедный...

А л ь б е р .

Ростовщик
Такой же, как и ты, иль почестнее?

Ж и д .

Нет, рыцарь, Товий торг ведет иной –
Он составляет капли... право, чудно,
Как действуют они.

А л ь б е р .

А что мне в них?

Ж и д .

В стакан воды подлить... трех капель будет,
Ни вкуса в них, ни цвета не заметно;
А человек без рези в животе,
Без тошноты, без боли умирает.



¹ *Amen!* (лат.) – Аминь; завершающее слово в молитвах.

А л ь б е р .

Твой старичок торгует ядом.

Ж и д .

Да –

И ядом.

А л ь б е р .

Что ж? взаймы на место денег
Ты мне предложишь склянок двести яду,
За склянку по червонцу. Так ли, что ли?

Ж и д .

Смеяться вам угодно надо мною –
Нет; я хотел... быть может, вы... я думал,
Что уж барону время умереть.

А л ь б е р .

Как! отравить отца! и смел ты сыну...
Иван! держи его. И смел ты мне!..
Да знаешь ли, жидовская душа,
Собака, змей! что я тебя сейчас же
На воротах повешу.

Ж и д .

Виноват!

Простите: я шутил.

А л ь б е р .

Иван, веревку.

Ж и д .

Я... я шутил. Я деньги вам принес.

А л ь б е р .

Вон, пес! (*Жид уходит.*)

Вот до чего меня доводит
Отца родного скупость! Жид мне смел
Что предложить! Дай мне стакан вина,
Я весь дрожу... Иван, однако ж деньги
Мне нужны. Сбегай за жидом проклятым,
Возьми его червонцы. Да сюда
Мне принеси чернильницу. Я плуту
Расписку дам. Да не вводи сюда
Иуду этого... Иль нет, стой,
Его червонцы будут пахнуть ядом,

Скупой рыцарь

Как сребреники прашура его...¹
Я спрашивал вина.

И в а н .

У нас вина –
Ни капли нет.

А л ь б е р .

А то, что мне прислал
В подарок из Испании Ремон?

И в а н .

Вечор я снес последнюю бутылку
Больному кузнецу.

А л ь б е р .

Да, помню, знаю...
Так дай воды. Проклятое житье!
Нет, решено – пойду искать управы
У герцога: пускай отца заставят
Меня держать как сына, не как мышь,
Рожденную в подполье.

СЦЕНА II.

(Подвал.)

Б а р о н .

Как молодой повеса ждет свиданья
С какой-нибудь развратницей лукавой
Иль дурой, им обманутой, так я
Весь день минуты ждал, когда сойду
В подвал мой тайный, к верным сундукам.
Счастливый день! могу сегодня я
В шестой сундук (в сундук еще неполный)
Горсть золота накопленного всыпать.
Не много, кажется, но понемногу
Сокровища растут. Читал я где-то,
Что царь однажды воинам своим
Велел снести земли по горсти в кучу,
И гордый холм возвысился – и царь
Мог с вышины с весельем озирать

¹ В Библии рассказано, что Иуда Искарот выдал Христа за тридцать серебряных монет первосвященникам.

И дол, покрытый белыми шатрами,
И море, где бежали корабли.
Так я, по горсти бедной принося
Привычну дань мою сюда в подвал,
Вознес мой холм – и с высоты его
Могу взирать на всё, что мне подвластно.
Что не подвластно мне? как некий демон
Отсеle править миром я могу;
Лишь захочу – воздвигнутся чертоги;
В великолепные мои сады
Сбегутся нимфы резвою толпою;
И музы дань свою мне принесут,
И вольный гений¹ мне поработится,
И добродетель и бессонный труд
Смирненно будут ждать моей награды.
Я свистну, и ко мне послушно, робко
Вползет окровавленное злодейство,
И руку будет мне лизать, и в очи
Смотреть, в них знак моей читая воли.
Мне всё послушно, я же – ничему;
Я выше всех желаний; я спокоен;
Я знаю мощь мою: с меня довольно
Сего сознания... (*смотрит на свое золото.*)

Кажется, не много,
А скольких человеческих забот,
Обманов, слез, молений и проклятий
Оно тяжеловесный представитель!
Тут есть дублон старинный... вот он. Нынче
Вдова мне отдала его, но прежде
С тремя детьми полдня перед окном
Она стояла на коленях воя.
Шел дождь, и перестал, и вновь пошел,
Притворщица не трогалась; я мог бы
Ее прогнать, но что-то мне шептало,
Что мужнин долг она мне принесла
И не захочет завтра быть в тюрьме.
А этот? этот мне принес Тибо –
Где было взять ему, ленивцу, плуту?
Украл, конечно; или, может быть,
Там на большой дороге, ночью, в роще...
Да! если бы все слезы, кровь и пот,
Пролитые за всё, что здесь хранится,
Из недр земных все выступили вдруг,

¹ Гении в римской мифологии – духи-хранители людей или мест.

Скупой рыцарь

То был бы вновь потоп – я захлебнулся б
В моих подвалах верных. Но пора.

(Хочет отпереть сундук.)

Я каждый раз, когда хочу сундук
Мой отпереть, впадаю в жар и трепет.
Не страх (о нет! кого бояться мне?
При мне мой меч: за золото отвечает
Честной булат), но сердце мне теснит
Какое-то неведомое чувство...
Нас уверяют медики: есть люди,
В убийстве находящие приятность.
Когда я ключ в замок влагаю, то же
Я чувствую, что чувствовать должны
Они, вонзая в жертву нож: приятно
И страшно вместе.

(Отпирает сундук.)

Вот мое блаженство!

(Всыпает деньги.)

Ступайте, полно вам по свету рыскать,
Служа страстям и нуждам человека.
Усните здесь сном силы и покоя,
Как боги спят в глубоких небесах...
Хочу себе сегодня пир устроить:
Зажгу свечу пред каждым сундуком,
И все их отопру, и стану сам
Средь них глядеть на блещущие груды.

(Зажигает свечи и отпирает сундуки один за другим.)

Я царствую! ... Какой волшебный блеск!
Послушна мне, сильна моя держава;
В ней счастье, в ней честь моя и слава!
Я царствую ... но кто вослед за мной
Приимет власть над нею? Мой наследник!
Безумец, расточитель молодой,
Развратников разгульных собеседник!
Едва умру, он, он! сойдет сюда
Под эти мирные, немые своды
С толпой ласкателей, придворных жадных.
Украд ключи у трупа моего,
Он сундуки со смехом отопрет.
И потекут сокровища мои
В атласные диравые карманы.
Он разобьет священные сосуды,



Скупой рыцарь

Он грязь елеем¹ царским напоит –
Он расточит... А по какому праву?
Мне разве даром это всё досталось,
Или шутя, как игроку, который
Гремит костями да груды загребает?
Кто знает, сколько горьких воздержаний,
Обузданных страстей, тяжелых дум,
Дневных забот, ночей бессонных мне
Всё это стоило? Иль скажет сын,
Что сердце у меня обросло мохом,
Что я не знал желаний, что меня
И совесть никогда не грызла, совесть,
Когтистый зверь, скребущий сердце, совесть,
Незванный гость, докучный собеседник,
Заимодавец грубый, эта ведьма,
От коей меркнет месяц и могилы
Смущаются и мертвых высылают?..
Нет, выстрадай сперва себе богатство,
А там посмотрим, станет ли несчастный
То расточать, что кровью приобрел.
О, если б мог от взоров недостойных
Я скрыть подвал! о, если б из могилы
Прийти я мог, сторожевою тенью
Сидеть на сундуке и от живых
Сокровища мои хранить как ныне!..

СЦЕНА III.

(Во дворце.)

АЛЬБЕР, ГЕРЦОГ.

А л ь б е р .

Поверьте, государь, терпел я долго
Стыд горькой бедности. Когда б не крайность,
Вы б жалобы моей не услышали.

Г е р ц о г .

Я верю, верю: благородный рыцарь,
Таков, как вы, отца не обвинит
Без крайности. Таких развратных мало...
Спокойны будьте: вашего отца

¹ Елей в церковных обрядах – масло (обычно оливковое), употребляется при крещении, в старину – при коронации царей и цариц.

Усовещу наедине, без шуму.
 Я жду его. Давно мы не видались.
 Он был друг деду моему. Я помню,
 Когда я был еще ребенком, он
 Меня сажал на своего коня
 И покрывал своим тяжелым шлемом,
 Как будто колоколом. *(Смотрит в окно.)*
 Это кто?

Не он ли?

А л ь б е р .

Так, он, государь.

Г е р ц о г .

Подите ж
 В ту комнату. Я кликну вас.
(Альбер уходит; входит барон.)

Барон,
 Я рад вас видеть бодрым и здоровым.

Б а р о н .

Я счастлив, государь, что в силах был
 По приказанью вашему явиться.

Г е р ц о г .

Давно, барон, давно расстались мы.
 Вы помните меня?

Б а р о н .

Я, государь?
 Я как теперь вас вижу. О, вы были
 Ребенок резвый. Мне покойный герцог
 Говаривал: Филипп (он звал меня
 Всегда Филиппом), что ты скажешь? а?
 Лет через двадцать, право, ты да я,
 Мы будем глупы перед этим малым...
 Пред вами, то есть...

Г е р ц о г .

Мы теперь знакомство
 Возобновим. Вы двор забыли мой.

Б а р о н .

Стар, государь, я нынче: при дворе
 Что делать мне? Вы молоды; вам любы



Турниры, праздники. А я на них
Уж не гожусь. Бог даст войну, так я
Готов, кряхтя, взлезть снова на коня;
Еще достанет силы старый меч
За вас рукой дрожащей обнажить.

Г е р ц о г .

Барон, усердье ваше нам известно;
Вы деду были другом; мой отец
Вас уважал. И я всегда считал
Вас верным, храбрым рыцарем – но сядем.
У вас, барон, есть дети?

Б а р о н .

Сын один.

Г е р ц о г .

Зачем его я при себе не вижу?
Вам двор наскучил, но ему прилично
В его летах и званье быть при нас.

Б а р о н .

Мой сын не любит шумной, светской жизни;
Он дикого и сумрачного нрава –
Вкруг замка по лесам он вечно бродит,
Как молодой олень.

Г е р ц о г .

Нехорошо
Ему дичиться. Мы тотчас приучим
Его к весельям, к балам и турнирам.
Пришлите мне его; назначьте сыну
Приличное по званью содержание...
Вы хмуритесь, устали вы с дороги,
Быть может?

Б а р о н .

Государь, я не устал;
Но вы меня смутили. Перед вами
Я б не хотел сознаться, но меня
Вы принуждаете сказать о сыне
То, что желал от вас бы утаить.
Он, государь, к несчастью, недостоин
Ни милостей, ни вашего вниманья.
Он молодость свою проводит в буйстве,
В пороках низких...

Скупой рыцарь

Г е р ц о г .

Это потому,
Барон, что он один. Уединенье
И праздность губят молодых людей.
Пришлите к нам его: он позабудет
Привычки, зарожденные в глуши.

Б а р о н .

Простите мне, но, право, государь,
Я согласиться не могу на это...

Г е р ц о г .

Но почему ж?

Б а р о н .

Увольте старика...

Г е р ц о г .

Я требую: откройте мне причину
Отказа вашего.

Б а р о н .

На сына я
Сердит.

Г е р ц о г .

За что?

Б а р о н .

За злое преступление.

Г е р ц о г .

А в чем оно, скажите, состоит?

Б а р о н .

Увольте, герцог...

Г е р ц о г .

Это очень странно,
Или вам стыдно за него?

Б а р о н .

Да... стыдно...

Г е р ц о г .

Но что же сделал он?

Б а р о н .

Он... он меня

Хотел убить.

Г е р ц о г .

Убить! так я суду

Его предам, как черного злодея.

Б а р о н .

Доказывать не стану я, хоть знаю,
Что точно смерти жаждет он мой,
Хоть знаю то, что покушался он
Меня...

Г е р ц о г .

Что?

Б а р о н .

Обокрасть.

(Альбер бросается в комнату.)

А л ь б е р .

Барон, вы лжете.

Г е р ц о г *(сыну).*

Как смели вы?..

Б а р о н .

Ты здесь! ты, ты мне смел!..

Ты мог отцу такое слово молвить!..

Я лгу! и перед нашим государем!..

Мне, мне... иль уж не рыцарь я?

А л ь б е р .

Вы лжец.

Б а р о н .

И гром еще не грянул, боже правый!

Так подыми ж, и меч нас рассуди!

(Бросает перчатку, сын поспешно ее подымает.)

А л ь б е р .

Благодарю. Вот первый дар отца.

Скупой рыцарь

Г е р ц о г .

Что видел я? что было предо мною?
Сын принял вызов старого отца!
В какие дни надел я на себя
Цепь герцогов! Молчите: ты, безумец,
И ты, тигренок! полно.
(Сыну.) Бросьте это;
Отдайте мне перчатку эту (*отымает ее*).

А л ь б е р (*a parte*).

Жаль.

Г е р ц о г .

Так и впился в нее когтями! – изверг!
Подите: на глаза мои не смейте
Являться до тех пор, пока я сам
Не призову вас. (*Альбер выходит.*)
Вы, старик несчастный,
Не стыдно ль вам...

Б а р о н .

Простите, государь...
Стоять я не могу... мои колени
Слабеют... душно!.. душно!.. Где ключи?
Ключи, ключи мои!..

Г е р ц о г .

Он умер. Боже!
Ужасный век, ужасные сердца!





Моцарт и Сальери

СЦЕНА I.

(Комната.)

С а л ь е р и .

Все говорят: нет правды на земле.
Но правды нет – и выше. Для меня
Так это ясно, как простая гамма.
Родился я с любовью к искусству;
Ребенком будучи, когда высоко
Звучал орган в старинной церкви нашей,
Я слушал и заслушивался – слезы
Невольные и сладкие текли.
Отверг я рано праздные забавы;
Науки, чуждые музыке, были
Постылы мне; упрямо и надменно
От них отрекся я и предался
Одной музыке. Труден первый шаг
И скучен первый путь. Преодолею
Я ранние невзгоды. Ремесло
Поставил я подножием искусству;
Я сделался ремесленник: перстам
Придал послушную, сухую беглость
И верность уху. Звуки умертвив,
Музыку я разъял, как труп. Поверил

Я алгеброй гармонию.¹ Тогда
 Уже дерзнул, в науке искушенный,
 Предаться неге творческой мечты.
 Я стал творить; но в тишине, но в тайне,
 Не смея помышлять еще о славе.
 Нередко, просидев в безмолвной келье
 Два, три дня, позабыв и сон и пищу,
 Вкусив восторг и слезы вдохновения,
 Я жег мой труд и холодно смотрел,
 Как мысль моя и звуки, мной рожденные,
 Пылая, с легким дымом исчезали.
 Что говорю? Когда великий Глюк²
 Явился и открыл нам новы тайны
 (Глубокие, пленительные тайны),
 Не бросил ли я всё, что прежде знал,
 Что так любил, чему так жарко верил,
 И не пошел ли бодро вслед за ним
 Безропотно, как тот, кто заблуждался
 И встречным послан в сторону иную?
 Усильным, напряженным постоянством
 Я наконец в искусстве безграничном
 Достигнул степени высокой. Слава
 Мне улыбнулась; я в сердцах людей
 Нашел созвучия своим созданьям.
 Я счастлив был: я наслаждался мирно
 Своим трудом, успехом, славой; также
 Трудами и успехами друзей,
 Товарищей моих в искусстве дивном.
 Нет! никогда я зависти не знал,
 О, никогда! – ниже³, когда Пиччини⁴
 Пленить умел слух диких парижан,
 Ниже, когда слышал в первый раз
 Я Ифигении⁵ начальны звуки.
 Кто скажет, чтоб Сальери гордый был
 Когда-нибудь завистником презренным,

¹ Проверить алгеброй гармонию – проверить точным расчетом выраженное чувством, строить создание прекрасной музыки на основе точных знаний (о композиции, об интервалах звучания, типах аккордов).

² Кристоф фон Глюк – немецкий композитор XVIII века, много сделавший для реформирования итальянской оперы.

³ ниже (устар.) – даже.

⁴ Никколо Пиччини – итальянский композитор XVIII века, прославившийся своими операми сначала в Риме, а потом и в Париже.

⁵ «Ифигения в Авлиде» и «Ифигения в Тавриде» – оперы Глюка.

Змеей, людьми растоптанною, вживе
Песок и пыль грызущею бессильно?
Никто!.. А ныне – сам скажу – я ныне
Завистник. Я завидую; глубоко,
Мучительно завидую. – О небо!
Где ж правота, когда священный дар,
Когда бессмертный гений – не в награду
Любви горящей, самоотверженья,
Трудов, усердия, молений послан –
А озаряет голову безумца,
Гуляки праздного?.. О Моцарт, Моцарт!

(Входит Моцарт.)

Моцарт.

Ага! увидел ты! а мне хотелось
Тебя неожиданной шуткой угостить.

Сальери.

Ты здесь! – Давно ль?

Моцарт.

Сейчас. Я шел к тебе,

Нес кое-что тебе я показать;
Но, проходя перед трактиром, вдруг
Услышал скрипку... Нет, мой друг, Сальери!
Смешнее отроду ты ничего
Не слыхивал... Слепой скрипач в трактире
Разыгрывал *voi che sapete*¹. Чудо!
Не вытерпел, привел я скрипача,
Чтоб угостить тебя его искусством.
Войди!

(Входит слепой старик со скрипкой.)

Из Моцарта нам что-нибудь!

(Старик играет арию из Дон-Жуана; Моцарт хохочет.)

Сальери.

И ты смеяться можешь?

Моцарт.

Ах, Сальери!

Ужель и сам ты не смеешься?

¹ *voi che sapete* (итал.) – «Вы, которые знаете...», ария Керубино из «Свадьбы Фигаро».

Моцарт и Сальери

С а л ь е р и .

Нет.

Мне не смешно, когда маляр негодный
Мне пачкает Мадонну Рафаэля,
Мне не смешно, когда фигляр¹ презренный
Пародией бесчестит Алигьери².
Пошел, старик.

М о ц а р т .

Постой же: вот тебе,

Пей за мое здоровье.

(Старик уходит.)

Ты, Сальери,

Не в духе нынче. Я приду к тебе
В другое время.

С а л ь е р и .

Что ты мне принес?

М о ц а р т .

Нет – так; безделицу. Намедни ночью
Бессонница моя меня томила,
И в голову пришли мне две, три мысли.
Сегодня их я набросал. Хотелось
Твое мне слышать мненье; но теперь
Тебе не до меня.

С а л ь е р и .

Ах, Моцарт, Моцарт!

Когда же мне не до тебя? Садись;
Я слушаю.

М о ц а р т *(за фортепиано).*

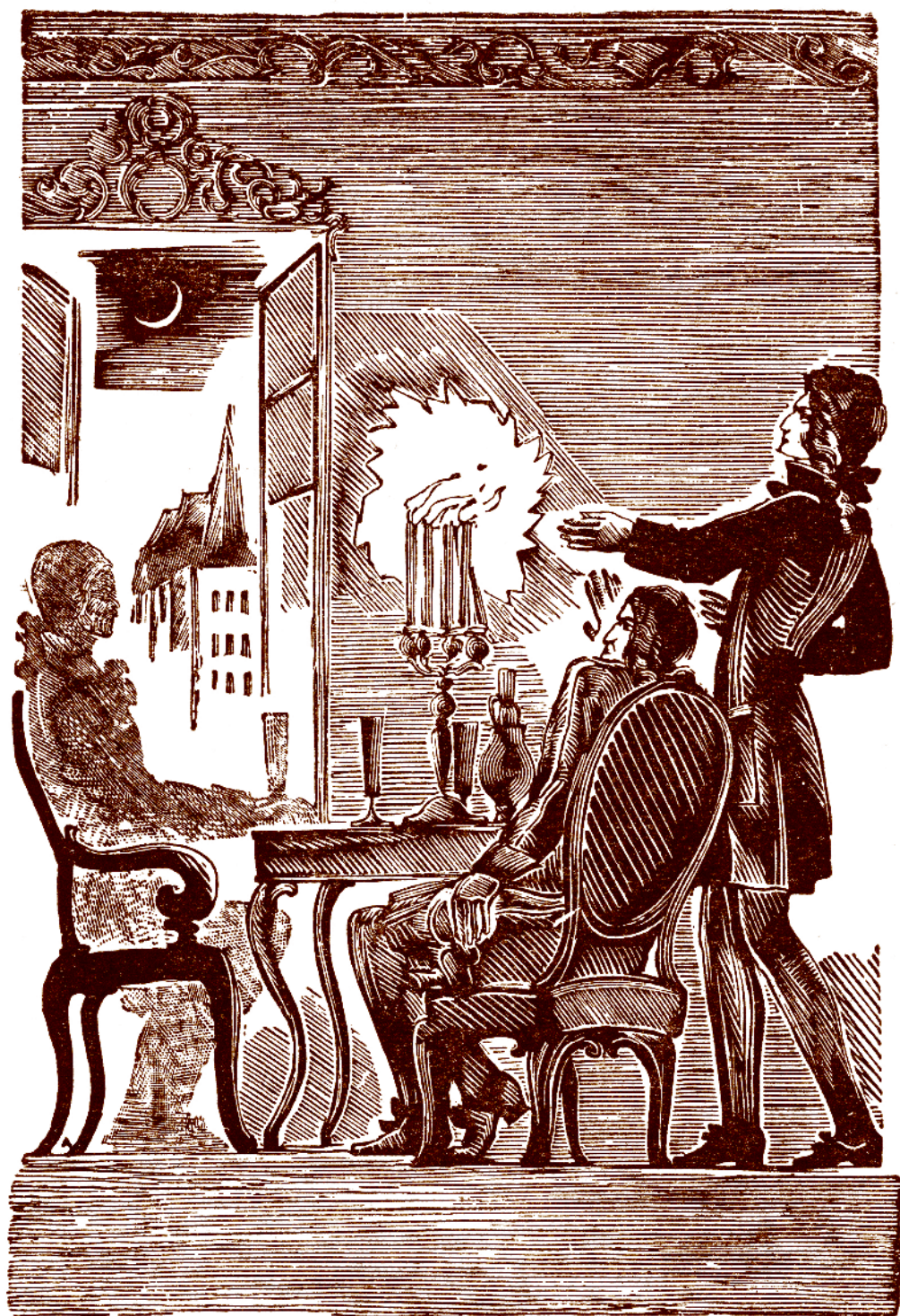
Представь себе... кого бы?

Ну, хоть меня – немного помоложе;
Влюбленного – не слишком, а слегка –
С красоткой, или с другом – хоть с тобой,
Я весел... Вдруг: виденье гробовое,
Незапный мрак иль что-нибудь такое...
Ну, слушай же.

(Играет.)

¹ Фигляр – кривляка, скоморох.

² Данте Алигьери – один из основоположников литературного итальянского языка, автор «Божественной комедии».



Моцарт и Сальери

С а л ь е р и .

Ты с этим шел ко мне
И мог остановиться у трактира
И слушать скрипача слепого! – Боже!
Ты, Моцарт, недостойн сам себя.

М о ц а р т .

Что ж, хорошо?

С а л ь е р и .

Какая глубина!
Какая смелость и какая стройность!
Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь;
Я знаю, я.

М о ц а р т .

Ба! право? может быть...
Но божество мое проголодалось.

С а л ь е р и .

Послушай: отобедаем мы вместе
В трактире Золотого Льва.

М о ц а р т .

Пожалуй;
Я рад. Но дай схожу домой сказать
Жене, чтобы меня она к обеду
Не дожидалась.

(Уходит.)

С а л ь е р и .

Жду тебя; смотри ж.
Нет! не могу противиться я доле
Судьбе моей: я избран, чтоб его
Остановить – не то мы все погибли,
Мы все, жрецы, служители музыки,
Не я один с моей глухою славой...
Что пользы, если Моцарт будет жив
И новой высоты еще достигнет?
Подымет ли он тем искусство? Нет;
Оно падет опять, как он исчезнет:
Наследника нам не оставит он.



Что пользы в нем? Как некий херувим¹,
Он несколько занес нам песен райских,
Чтоб, возмутив бескрылое желанье
В нас, чадах праха, после улететь!
Так улетай же! чем скорей, тем лучше.
Вот яд, последний дар моей Изоры.
Осмынадцать лет ношу его с собою –
И часто жизнь казалась мне с тех пор
Несносной раной, и сидел я часто
С врагом беспечным за одной трапезой,
И никогда на шепот искушенья
Не преклонился я, хоть я не трус,
Хоть обиду чувствую глубоко,
Хоть мало жизнь люблю. Всё медлил я.
Как жажда смерти мучила меня,
Что умирать? я мнил: быть может, жизнь
Мне принесет незапные дары;
Быть может, посетит меня восторг
И творческая ночь и вдохновенье;
Быть может, новый Гайден² сотворит
Великое – и наслажуся им...
Как пировал я с гостем ненавистным,
Быть может, мнил я, злейшего врага
Найду; быть может, злейшая обида
В меня с надменной грянет высоты –
Тогда не пропадешь ты, дар Изоры.
И я был прав! и наконец нашел
Я моего врага, и новый Гайден
Меня восторгом дивно упоил!
Теперь – пора! заветный дар любви,
Переходи сегодня в чашу дружбы.

¹ Херувим – упоминаемое в Библии крылатое небесное существо.

² Йозеф Гайдн – австрийский композитор XVIII века.



СЦЕНА II.

(Особая комната в трактире; фортепиано.)

МОЦАРТ И САЛЬЕРИ ЗА СТОЛОМ.

С а л ь е р и .

Что ты сегодня пасмурен?

М о ц а р т .

Я? Нет!

С а л ь е р и .

Ты верно, Моцарт, чем-нибудь расстроен?
Обед хороший, славное вино,
А ты молчишь и хмуришься.

М о ц а р т .

Признаться,
Мой Requiem¹ меня тревожит.

С а л ь е р и .

А!
Ты сочиняешь Requiem? Давно ли?

М о ц а р т .

Давно, недели три. Но странный случай...
Не сказывал тебе я?

¹ Requiem (от лат. requies – «покой», «упокоение») – реквием, заупокойная месса.



Моцарт и Сальери

С а л ь е р и .

Нет.

М о ц а р т .

Так слушай.

Недели три тому, пришел я поздно
Домой. Сказали мне, что заходил
За мною кто-то. Отчего – не знаю,
Всю ночь я думал: кто бы это был?
И что ему во мне? Назавтра тот же
Зашел и не застал опять меня.
На третий день играл я на полу
С моим мальчишкой. Кликнули меня;
Я вышел. Человек, одетый в черном,
Учтиво поклонившись, заказал
Мне Requiem и скрылся. Сел я тотчас
И стал писать – и с той поры за мною
Не приходил мой черный человек;
А я и рад: мне было б жаль расстаться
С моей работой, хоть совсем готов
Уж Requiem. Но между тем я...

С а л ь е р и .

Что?

М о ц а р т .

Мне совестно признаться в этом...

С а л ь е р и .

В чем же?

М о ц а р т .

Мне день и ночь покоя не дает
Мой черный человек. За мною всюду
Как тень он гонится. Вот и теперь
Мне кажется, он с нами сам-третей
Сидит.

С а л ь е р и .

И, полно! что за страх ребячий?
Рассей пустую думу. Бомарше¹
Говаривал мне: «Слушай, брат Сальери,

¹ Пьер Огюстен де Бомарше – французский драматург XVIII века, автор комедий «Севильский Цирюльник» и «Женитьба Фигаро».

Как мысли черные к тебе придут,
Откупори шампанского бутылку
Иль перечти "Женитьбу Фигаро"».

Моцарт.

Да! Бомарше ведь был тебе приятель;
Ты для него «Тарара»¹ сочинил,
Вещь славную. Там есть один мотив...
Я все твержу его, когда я счастлив...
Ла ла ла ла... Ах, правда ли, Сальери,
Что Бомарше кого-то отравил?

Сальери.

Не думаю: он слишком был смешон
Для ремесла такого.

Моцарт.

Он же гений,
Как ты да я. А гений и злодейство –
Две вещи несовместные. Не правда ль?

Сальери.

Ты думаешь?
(Бросает яд в стакан Моцарта.)
Ну, пей же.

Моцарт.

За твое
Здоровье, друг, за искренний союз,
Связующий Моцарта и Сальери,
Двух сыновей гармонии.
(Пьет.)

Сальери.

Постой,
Постой, постой!.. Ты выпил... без меня?

Моцарт (бросает салфетку на стол).
Довольно, сыт я.

(Идет к фортепиано.)



¹ Тарар – опера, написанная Сальери в 1787 году на либретто Бомарше.

Моцарт и Сальери

Слушай же, Сальери,
Мой Requiem. *(Израет.)*
Ты плачешь?

С а л ь е р и .

Эти слезы

Впервые лью: и больно и приятно,
Как будто тяжкий совершил я долг,
Как будто нож целебный мне отсек
Страдавший член! Друг Моцарт, эти слезы...
Не замечай их. Продолжай, спеши
Еще наполнить звуками мне душу...

М о ц а р т .

Когда бы все так чувствовали силу
Гармонии! Но нет; тогда б не мог
И мир существовать; никто б не стал
Заботиться о нуждах низкой жизни;
Все предались бы вольному искусству.
Нас мало избранных, счастливых праздных,
Пренебрегающих презренной пользой,
Единого прекрасного жрецов.
Не правда ль? Но я нынче нездоров,
Мне что-то тяжело; пойду засну.
Прощай же!

С а л ь е р и .

До свиданья.

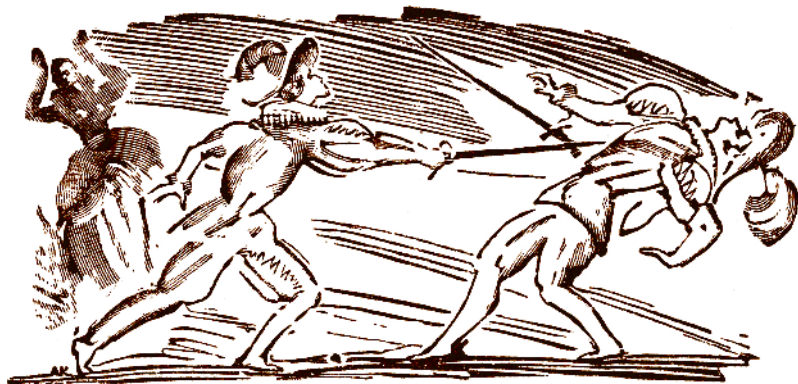
(Один.)

Ты заснешь

Надолго, Моцарт! но ужель он прав,
И я не гений? Гений и злодейство
Две вещи несовместные. Неправда:
А Бонаротти? Или это сказка
Тупой, бессмысленной толпы – и не был
Убийцею создатель Ватикана?¹

¹ Согласно легенде великий итальянский живописец и скульптор Микеланджело Буонаротти, принимавший участие в проектировании и строительстве собора Святого Петра в Ватикане, отравил натурщика, которого он использовал, работая над фигурой умирающего Христа, чтобы вернее передать муки смерти.





Каменный гость

Leporello. O statua gentilissima
Del gran' Commendatore!..

...Ah, Padrone!

*Don Giovanni*¹

СЦЕНА I

ДОН ГУАН² И ЛЕПОРЕЛЛО.

Д о н Г у а н .

Дождемся ночи здесь. Ах, наконец
Достигли мы ворот Мадрита!³ скоро
Я полечу по улицам знакомым,
Усы плащом закрыв, а брови шляпой.
Как думаешь? узнать меня нельзя?

Л е п о р е л л о .

Да! Дон Гуана мудрено признать!
Таких, как он, такая бездна!

¹ Лепорелло. О преславная статуя великого командора!.. Ах, хозяин! («Дон Жуан», из 10 сцены II акта либретто Лоренцо да Понте).

² Дон Гуан (устар.) – Дон Жуан, по правилам транскрипции правильное Дон Хуан. Прототипом Дон Жуана считается аристократ Дон Хуан Тенорио.

³ Дон Жуан – уроженец Севильи, где этому литературному герою установлен памятник, однако Пушкин переносит действие в Мадрид; тайное возвращение в столицу было мечтой опального Пушкина, когда он находился в Михайловском.

Д о н Г у а н .

Шутишь?
Да кто ж меня узнает?

Л е п о р е л л о .

Первый сторож,
Гитана¹ или пьяный музыкант²,
Иль свой же брат нахальный кавалер,
Со шпагою подмышкой и в плаще.

Д о н Г у а н .

Что за беда, хоть и узнают. Только б
Не встретился мне сам король. А впрочем,
Я никого в Мадрите не боюсь.

Л е п о р е л л о .

А завтра же до короля дойдет,
Что Дон Гуан из ссылки самовольно
В Мадрит явился, – что тогда, скажите,
Он с вами сделает?

Д о н Г у а н .

Пошлет назад.
Уж верно головы мне не отрубят.
Ведь я не государственный преступник.
Меня он удалил, меня ж любя;
Чтобы меня оставила в покое
Семья убитого...

Л е п о р е л л о .

Ну то-то же!
Сидели б вы себе спокойно там.

Д о н Г у а н .

Слуга покорный! я едва-едва
Не умер там со скуки. Что за люди,
Что за земля! А небо?.. точный дым.
А женщины? Да я не променяю,
Вот видишь ли, мой глупый Лепорелло,
Последней в Андалузии³ крестьянки

¹ Гитана – испанская цыганка.

² Музыкантов, которых нанимали заказчики серенад, было принято затем поить вином.

³ Андалузия – область на юге Испании.

Каменный гость

На первых тамошних красавиц – право.
Они сначала нравились мне
Глазами синими, да белизною,
Да скромностью – а пуще новизною;
Да, слава богу, скоро догадался –
Увидел я, что с ними грех и знаться –
В них жизни нет, всё куклы восковые;
А наши!.. Но послушай, это место
Знакомо нам; узнал ли ты его?

Л е п о р е л л о .

Как не узнать: Антоньев монастырь¹
Мне памятен. Езжали вы сюда,
А лошадей держал я в этой роще.
Проклятая, признаться, должность. Вы
Приятнее здесь время проводили,
Чем я, поверьте.

Д о н Г у а н (*задумчиво*).

Бедная Инеза!
Ее уж нет! как я любил ее!

Л е п о р е л л о .

Инеза! – черноглазая... о, помню.
Три месяца ухаживали вы,
За ней; насилу-то помог лукавый.

Д о н Г у а н .

В июле... ночью. Странную приятность
Я находил в ее печальном взоре
И помертвевших губах. Это странно.
Ты, кажется, ее не находил
Красавицей. И точно, мало было
В ней истинно прекрасного. Глаза,
Одни глаза. Да взгляды... такого взгляда
Уж никогда я не встречал. А голос
У ней был тих и слаб – как у больной –
Муж у нее был негодяй суровый,
Узнал я поздно... Бедная Инеза!..



¹ Антоньев монастырь – вероятно, пустынь Святого Антония Флоридского в Мадриде.

Л е п о р е л л о .

Что ж, вслед за ней другие были.

Д о н Г у а н .

Правда.

Л е п о р е л л о .

А живы будем, будут и другие.

Д о н Г у а н .

И то.

Л е п о р е л л о .

Теперь которую в Мадрите
Отыскивать мы будем?

Д о н Г у а н .

О, Лауру!

Я прямо к ней бегу являться.

Л е п о р е л л о .

Дело.

Д о н Г у а н .

К ней прямо в дверь – а если кто-нибудь
Уж у нее – прошу в окно прыгнуть.

Л е п о р е л л о .

Конечно. Ну, развеселились мы.
Недолго нас покойницы тревожат.
Кто к нам идет? (*Входит монах.*)

М о н а х .

Сейчас она придет
Сюда. Кто здесь? не люди ль Доны Анны?

Л е п о р е л л о .

Нет, сами по себе мы господа,
Мы здесь гуляем.

Д о н Г у а н .

А кого вы ждете?



М о н а х .

Сейчас должна приехать Дона Анна
На мужнину гробницу.

Д о н Г у а н .

Дона Анна
Де Сольва! как! супруга командора
Убитого... не помню кем?

М о н а х .

Развратным,
Бессовестным, безбожным Дон Гуаном.

Л е п о р е л л о .

Ого! вот как! Молва о Дон Гуане
И в мирный монастырь проникла даже,
Отшельники хвалы ему поют.

М о н а х .

Он вам знаком, быть может?

Л е п о р е л л о .

Нам? нимало.
А где-то он теперь?

М о н а х .

Его здесь нет,
Он в ссылке далеко.

Л е п о р е л л о .

И слава богу.
Чем далее, тем лучше. Всех бы их,
Развратников, в один мешок да в море.

Д о н Г у а н .

Что, что ты врешь?

Л е п о р е л л о .

Молчите: я нарочно...

Д о н Г у а н .

Так здесь похоронили командора?



М о н а х .

Здесь; памятник жена ему воздвигла
И приезжает каждый день сюда
За упокой души его молиться
И плакать.

Д о н Г у а н .

Что за странная вдова?
И не дурна?

М о н а х .

Мы красотою женской,
Отшельники, прельщаться не должны,
Но лгать грешно; не может и угодник
В ее красе чудесной не сознаться.

Д о н Г у а н .

Недаром же покойник был ревнив.
Он Дону Анну взаперти держал,
Никто из нас не видывал ее.
Я с нею бы хотел поговорить.

М о н а х .

О, Дона Анна никогда с мужчиной
Не говорит.

Д о н Г у а н .

А с вами, мой отец?

М о н а х .

Со мной иное дело; я монах.
Да вот она. *(Входит Дона Анна.)*

Д о н а А н н а .

Отец мой, отоприте.

М о н а х .

Сейчас, сеньора; я вас ожидал.
(Дона Анна идет за монахом.)

Л е п о р е л л о .

Что, какова?



Каменный гость

Д о н Г у а н .

Ее совсем не видно
Под этим вдовьим черным покрывалом,
Чуть узенькую пятку я заметил.

Л е п о р е л л о .

Довольно с вас. У вас воображенье
В минуту дорисует остальное;
Оно у нас проворней живописца,
Вам все равно, с чего бы ни начать,
С бровей ли, с ног ли.

Д о н Г у а н .

Слушай, Лепорелло,
Я с нею познакомлюсь.

Л е п о р е л л о .

Вот еще!
Куда как нужно! Мужа повалил
Да хочет поглядеть на вдовьи слезы.
Бессовестный!

Д о н Г у а н .

Однако уж и смерклось.
Пока луна над нами не взошла
И в светлый сумрак тьмы не обратила,
Взойдем в Мадрит. *(Уходит.)*

Л е п о р е л л о .

Испанский гранд¹ как вор
Ждет ночи и луны боится – боже!
Проклятое житье. Да долго ль будет
Мне с ним возиться? Право, сил уж нет.

СЦЕНА II.

(Комната. Ужин у Лауры.)

П е р в ы й г о с т ь .

Клянусь тебе, Лаура, никогда
С таким ты совершенством не играла.
Как роль свою ты верно поняла!



¹ Гранды – высшая знать в средневековой Испании.

В т о р о й .

Как развила ее! с какою силой!

Т р е т и й .

С каким искусством!

Л а у р а .

Да, мне удавалось
Сегодня каждое движенье, слово.
Я вольно предавалась вдохновенью.
Слова лились, как будто их рождала
Не память рабская, но сердце...

П е р в ы й .

Правда.
Да и теперь глаза твои блестят
И щеки разгорелись, не проходит
В тебе восторг. Лаура, не давай
Остыть ему бесплодно; спой, Лаура,
Спой что-нибудь.

Л а у р а .

Подайте мне гитару.
(Поет.)

В с е .

O brava! brava! чудно! бесподобно!

П е р в ы й .

Благодарим, волшебница. Ты сердце
Чаруешь нам. Из наслаждений жизни
Одной любви музыка уступает;
Но и любовь мелодия... взгляни:
Сам Карлос тронут, твой угрюмый гость.

В т о р о й .

Какие звуки! сколько в них души!
А чьи слова, Лаура?

Л а у р а .

Дон Гуана.

Д о н К а р л о с .

Что? Дон Гуан!



Лаура .

Их сочинил когда-то
Мой верный друг, мой ветреный любовник.

Дон Карлос .

Твой Дон Гуан безбожник и мерзавец,
А ты, ты дура.

Лаура .

Ты с ума сошел?
Да я сейчас велю тебя зарезать
Моим слугам, хоть ты испанский гранд.

Дон Карлос (*встает*).

Зови же их.

Первый .

Лаура, перестань;
Дон Карлос, не сердись. Она забыла...

Лаура .

Что? что Гуан на поединке честно
Убил его родного брата? Правда: жаль,
Что не его.

Дон Карлос .

Я глуп, что осердился.

Лаура .

Ага! сам признаешься, что ты глуп.
Так помиримся.

Дон Карлос .

Виноват, Лаура,
Прости меня. Но знаешь: не могу
Я слышать это имя равнодушно...

Лаура .

А виновата ль я, что поминутно
Мне на язык приходит это имя?

Гость .

Ну, в знак, что ты совсем уж не сердита,
Лаура, спой еще.



Каменный гость

Лаура .

Да, на прощанье,
Пора, уж ночь. Но что же я спою?
А, слушайте. *(Поет)*.

Все .

Прелестно, бесподобно!

Лаура .

Прощайте ж, господа.

Гости .

Прощай, Лаура.

(Выходят. Лаура останавливает Дон Карлоса.)

Лаура .

Ты, бешеный! останься у меня,
Ты мне понравился; ты Дон Гуана
Напомнил мне, как выбрал меня
И стиснул зубы с скрежетом.

Дон Карлос .

Счастливец!

Так ты его любила.

(Лаура делает утвердительно знак.)

Очень?

Лаура .

Очень.

Дон Карлос .

И любишь и теперь?

Лаура .

В сию минуту?

Нет, не люблю. Мне двух любить нельзя.
Теперь люблю тебя.

Дон Карлос .

Скажи, Лаура,

Который год тебе?

Лаура .

Оснадцать лет!

Д о н К а р л о с .

Ты молода... и будешь молода
Еще лет пять иль шесть. Вокруг тебя
Еще лет шесть они толпиться будут,
Тебя ласкать, лелеять, и дарить,
И серенадами ночными тешить,
И за тебя друг друга убивать
На перекрестках ночью. Но когда
Пора пройдет, когда твои глаза
Впадут и веки, сморщась, почернеют
И седина в косе твоей мелькнет,
И будут называть тебя старухой,
Тогда – что скажешь ты?

Л а у р а .

Тогда? Зачем

Об этом думать? что за разговор?
Иль у тебя всегда такие мысли?
Приди – открой балкон. Как небо тихо;
Недвижим теплый воздух, ночь лимоном
И лавром пахнет, яркая луна
Блестит на синеве густой и темной,
И сторожа кричат протяжно: «Ясно!..»¹
А далеко, на севере – в Париже –
Быть может, небо тучами покрыто,
Холодный дождь идет и ветер дует.
А нам какое дело? слушай, Карлос,
Я требую, чтоб улыбнулся ты...
– Ну то-то ж! –

Д о н К а р л о с .

Милый демон! (*Стучат.*)

Д о н Г у а н .

Гей! Лаура!

Л а у р а .

Кто там? чей это голос?

Д о н Г у а н .

Отопри...

¹ В старину в некоторых городах Испании сторожа возвещали о состоянии погоды, крича «ясно» или «облачно».

Лаура.

Ужели!.. Боже!.. *(Оттирает двери, входит Дон Гуан.)*

Дон Гуан.

Здравствуй...

Лаура.

Дон Гуан!..

(Лаура кидается ему на шею.)

Дон Карлос.

Как! Дон Гуан!..

Дон Гуан.

Лаура, милый друг!..

(Целует ее.)

Кто у тебя, моя Лаура?

Дон Карлос.

Я,

Дон Карлос.

Дон Гуан.

Вот нечаянная встреча!

Я завтра весь к твоим услугам.

Дон Карлос.

Нет!

Теперь – сейчас.

Лаура.

Дон Карлос, перестаньте!

Вы не на улице – вы у меня –

Извольте выйти вон.

Дон Карлос *(ее не слушая).*

Я жду. Ну что ж,

Ведь ты при шпаге.

Дон Гуан.

Ежели тебе

Не терпится, изволь *(бьются).*



Лаура.

Ай! Ай! Гуан!..

(Кидается на постелю. Дон Карлос падает.)

Дон Гуан.

Вставай, Лаура, кончено.

Лаура.

Что там?

Убит? прекрасно! в комнате моей!

Что делать мне теперь, повеса, дьявол?

Куда я выброшу его?

Дон Гуан.

Быть может,

Он жив еще.

Лаура *(осматривает тело)*.

Да! жив! гляди, проклятый,

Ты прямо в сердце ткнул – небось не мимо,

И кровь нейдет из треугольной ранки,

А уж не дышит – каково?

Дон Гуан.

Что делать?

Он сам того хотел.

Лаура.

Эх, Дон Гуан,

Досадно, право. Вечные проказы –

А всё не виноват... Откуда ты!

Давно ли здесь?

Дон Гуан.

Я только что приехал

И то тихонько – я ведь не прощен.

Лаура.

И вспомнил тотчас о своей Лауре?

Что хорошо, то хорошо. Да полно,

Не верю я. Ты мимо шел случайно

И дом увидел.



Д о н Г у а н .

Нет, моя Лаура,
Спроси у Лепорелло. Я стою
За городом, в проклятой венте. Я Лауры
Пришел искать в Мадриде.

(Целует ее.)

Л а у р а .

Друг ты мой!..
Постой... при мертвом!.. что нам делать с ним?

Д о н Г у а н .

Оставь его: перед рассветом, рано,
Я вынесу его под епанчою¹
И положу на перекрестке.

Л а у р а .

Только
Смотри, чтоб не увидели тебя.
Как хорошо ты сделал, что явился
Одной минутой позже! у меня
Твои друзья здесь ужинали. Только
Что вышли вон. Когда б ты их застал!

Д о н Г у а н .

Лаура, и давно его ты любишь?

Л а у р а .

Кого? ты, видно, бредишь.

Д о н Г у а н .

А признайся,
А сколько раз ты изменяла мне
В моем отсутствии?

Л а у р а .

А ты, повеса?

Д о н Г у а н .

Скажи... Нет, после переговоров.

¹ Епанча – длинный и широкий плащ.

СЦЕНА III.

(Памятник командора.)

Д о н Г у а н .

Всё к лучшему: нечаянно убив
Дон Карлоса, отшельником смиренным
Я скрылся здесь – и вижу каждый день
Мою прелестную вдову, и ею,
Мне кажется, замечен. До сих пор
Чинились мы друг с другом; но сегодня
Впускаю в разговоры с ней; пора.
С чего начну? «Осмелюсь»... или нет:
«Сеньора»... ба! что в голову придет,
То и скажу, без предуготовленья,
Импровизатором любовной песни...
Пора б уж ей приехать. Без нее –
Я думаю – скучает командор.
Каким он здесь представлен исполином!
Какие плечи! что за Геркулес!..
А сам покойник мал был и щедушен,
Здесь, став на цыпочки, не мог бы руку
До своего он носу дотянуть.
Когда за Эскурьялом¹ мы сошлись,
Наткнулся мне на шпагу он и замер,
Как на булавке стрекоза – а был
Он горд и смел – и дух имел суровый...
А! вот она.

(Входит Дона Анна.)

Д о н а А н н а .

Опять он здесь. Отец мой,
Я развлекла вас в ваших помышленьях –
Простите.

Д о н Г у а н .

Я просить прощенья должен
У вас, сеньора. Может, я мешаю
Печали вашей вольно изливаться.

Д о н а А н н а .

Нет, мой отец, печаль моя во мне,
При вас мои моленья могут к небу

¹ Эскориал – королевский дворец у подножия гор Серра-де-Гвадаррама.

Каменный гость

Смиренно возноситься – я прошу
И вас свой голос с ними съединить.

Д о н Г у а н .

Мне, мне молиться с вами, Дона Анна!
Я не достоин участи такой.
Я не дерзну порочными устами
Мольбу святую вашу повторять –
Я только издали с благоговеньем
Смотрю на вас, когда, склонившись тихо,
Вы черные волосы на мрамор бледный
Рассыплете – и мнится мне, что тайно
Гробницу эту ангел посетил,
В смущенном сердце я не обретаю
Тогда молений. Я дивлюсь безмолвно
И думаю – счастлив, чей холодный мрамор
Согрет ее дыханием небесным
И окроплен любви ее слезами...

Д о н а А н н а .

Какие речи – странные!

Д о н Г у а н .

Сеньора?

Д о н а А н н а .

Мне... вы забыли.

Д о н Г у а н .

Что? что недостойный
Отшельник я? что грешный голос мой
Не должен здесь так громко раздаваться?

Д о н а А н н а .

Мне показалось... я не поняла...

Д о н Г у а н .

Ах вижу я: вы всё, вы всё узнали!

Д о н а А н н а .

Что я узнала?

Д о н Г у а н .

Так, я не монах –
У ваших ног прощенья умоляю.

Д о н а А н н а .

О боже! встаньте, встаньте... Кто же вы?

Д о н Г у а н .

Несчастный, жертва страсти безнадёжной.

Д о н а А н н а .

О боже мой! и здесь, при этом гробе!

Подите прочь.

Д о н Г у а н .

Минуту, Дона Анна,

Одну минуту!

Д о н а А н н а .

Если кто взойдет!..

Д о н Г у а н .

Решетка заперта. Одну минуту!

Д о н а А н н а .

Ну? что? чего вы требуете?

Д о н Г у а н .

Смерти.

О пусть умру сейчас у ваших ног,
Пусть бедный прах мой здесь же похоронят
Не подле праха, милого для вас,
Не тут – не близко – дале где-нибудь,
Там – у дверей – у самого порога,
Чтоб камня моего могли коснуться
Вы легкою ногой или одеждой,
Когда сюда, на этот гордый гроб
Пойдете кудри наклонять и плакать.

Д о н а А н н а .

Вы не в своем уме.

Д о н Г у а н .

Или желать

Кончины, Дона Анна, знак безумства?
Когда б я был безумец, я б хотел
В живых остаться, я б имел надежду
Любовью нежной тронуть ваше сердце;
Когда б я был безумец, я бы ночи
Стал провождать у вашего балкона,

Каменный гость

Тревожа серенадами ваш сон,
Не стал бы я скрываться, я напротив
Старался быть везде б замечен вами;
Когда б я был безумец, я б не стал
Страдать в безмолвии...

Д о н а А н н а .

И так-то вы

Молчите?

Д о н Г у а н .

Случай, Дона Анна, случай
Увлек меня, – не то вы б никогда
Моей печальной тайны не узнали.

Д о н а А н н а .

И любите давно уж вы меня?

Д о н Г у а н .

Давно или недавно, сам не знаю,
Но с той поры лишь только знаю цену
Мгновенной жизни, только с той поры
И понял я, что значит слово счастье.

Д о н а А н н а .

Подите прочь – вы человек опасный.

Д о н Г у а н .

Опасный! чем?

Д о н а А н н а .

Я слушать вас боюсь.

Д о н Г у а н .

Я замолчу; лишь не гоните прочь
Того, кому ваш вид одна отрада.
Я не питаю дерзостных надежд,
Я ничего не требую, но видеть
Вас должен я, когда уже на жизнь
Я осужден.

Д о н а А н н а .

Подите – здесь не место
Таким речам, таким безумствам. Завтра
Ко мне придите. Если вы клянетесь
Хранить ко мне такое ж уваженье,



Каменный гость

Я вас приму; но вечером, позднее, –
Я никого не вижу с той поры,
Как овдовела...

Д о н Г у а н .

Ангел Дона Анна!
Утешь вас бог, как сами вы сегодня
Утешили несчастного страдальца.

Д о н а А н н а .

Подите ж прочь.

Д о н Г у а н .

Еще одну минуту.

Д о н а А н н а .

Нет, видно, мне уйти... к тому ж моленье
Мне в ум нейдет. Вы развлекли меня
Речами светскими; от них уж ухо
Мое давно, давно отвыкло, – Завтра
Я вас приму.

Д о н Г у а н .

Еще не смею верить,
Не смею счастью моему предаться...
Я завтра вас увижу! – и не здесь
И не украдкою!

Д о н а А н н а .

Да, завтра, завтра.
Как вас зовут?

Д о н Г у а н .

Диего де Кальвадо.

Д о н а А н н а .

Прощайте, Дон Диего (*уходит*).

Д о н Г у а н .

Лепорелло!
(*Лепорелло входит.*)

Л е п о р е л л о .

Что вам угодно?

Д о н Г у а н .

Милый Лепорелло!
Я счастлив!.. «Завтра – вечером, позднее...»
Мой Лепорелло, завтра – приготовь...
Я счастлив, как ребенок!

Л е п о р е л л о .

С Доной Анной
Вы говорили? может быть, она
Сказала вам два ласкового слова
Или ее благословили вы.

Д о н Г у а н .

Нет, Лепорелло, нет! она свиданье,
Свиданье мне назначила!

Л е п о р е л л о .

Неужто!
О вдовы, все вы таковы.

Д о н Г у а н .

Я счастлив!
Я петь готов, я рад весь мир обнять.

Л е п о р е л л о .

А командор? что скажет он об этом?

Д о н Г у а н .

Ты думаешь, он станет ревновать?
Уж верно нет; он человек разумный
И, верно, присмирел с тех пор, как умер.

Л е п о р е л л о .

Нет; посмотрите на его статую.

Д о н Г у а н .

Что ж?

Л е п о р е л л о .

Кажется, на вас она глядит
И сердится.¹

¹ В своем либретто Лоренцо да Понте пишет о надписи на памятнике Командору:
«Здесь ожидаю отмщения нечестивцу, который убил меня». Пушкин о ней не упо-
минает.

Каменный гость

Д о н Г у а н .

Ступай же, Лепорелло,
 Проси ее пожаловать ко мне –
 Нет, не ко мне – а к Доне Анне, завтра.

Л е п о р е л л о .

Статую в гости звать! зачем?

Д о н Г у а н .

Уж верно
 Не для того, чтоб с нею говорить –
 Проси статую завтра к Доне Анне
 Прийти попозже вечером и стать
 У двери на часах.

Л е п о р е л л о .

Охота вам
 Шутить, и с кем!

Д о н Г у а н .

Ступай же.

Л е п о р е л л о .

Но...

Д о н Г у а н .

Ступай.

Л е п о р е л л о .

Преславная, прекрасная статуя!
 Мой барин Дон Гуан покорно просит
 Пожаловать... Ей-богу, не могу,
 Мне страшно.

Д о н Г у а н .

Трус! вот я тебя!..

Л е п о р е л л о .

Позвольте.
 Мой барин Дон Гуан вас просит завтра
 Прийти попозже в дом супруги вашей
 И стать у двери...

(Статуя кивает головой в знак согласия.)

Ай!



Д о н Г у а н .

Что там?

Л е п о р е л л о .

Ай, ай!...

Ай, ай... Умру!

Д о н Г у а н .

Что сделалось с тобой?

Л е п о р е л л о (*кивая головой*).

Статуя... ай!..

Д о н Г у а н .

Ты кланяешься!

Л е п о р е л л о .

Нет,

Не я, она!

Д о н Г у а н .

Какой ты вздор несешь!

Л е п о р е л л о .

Подите сами.

Д о н Г у а н .

Ну смотри ж, бездельник.

(*Статue.*) Я, командор, прошу тебя прийти

К твоей вдове¹, где завтра буду я,

И стать на стороже в дверях. Что? будешь?

(*Статуя кивает опять.*)

О боже!

Л е п о р е л л о .

Что? я говорил...

Д о н Г у а н .

Уйдем.



¹ В рукописи у Пушкина «К твоей жене...».

СЦЕНА IV.

(Комната Доны Анны.)

ДОН ГУАН И ДОНА АННА.

Д о н а А н н а .

Я приняла вас, Дон Диго; только
Боюсь, моя печальная беседа
Скучна вам будет: бедная вдова,
Всё помню я свою потерю. Слезы
С улыбкою мешаю, как апрель.
Что ж вы молчите?

Д о н Г у а н .

Наслаждаюсь молча,
Глубоко мыслью быть наедине
С прелестной Доной Анной. Здесь – не там,
Не при гробнице мертвого счастливца –
И вижу вас уже не на коленях
Пред мраморным супругом.

Д о н а А н н а .

Дон Диго,
Так вы ревнивы, – Муж мой и во гробе
Вас мучит?

Д о н Г у а н .

Я не должен ревновать.
Он вами выбран был.

Д о н а А н н а .

Нет, мать моя
Велела мне дать руку Дон Альвару,
Мы были бедны, Дон Альвар богат.

Д о н Г у а н .

Счастливец! он сокровища пустые
Принес к ногам богини, вот за что
Вкусил он райское блаженство! Если б
Я прежде вас узнал, с каким восторгом
Мой сан, мои богатства, всё бы отдал,
Все за единый благосклонный взгляд;
Я был бы раб священной вашей воли,
Все ваши прихоти я б изучал,

Чтоб их предупреждать; чтоб ваша жизнь
 Была одним волшебством беспрерывным.
 Увы! – Судьба судила мне иное.

Д о н а А н н а .

Диего, перестаньте: я грешу,
 Вас слушая, – мне вас любить нельзя,
 Вдова должна и гробу быть верна.
 Когда бы знали вы, как Дон Альвар
 Меня любил! о, Дон Альвар уж верно
 Не принял бы к себе влюбленной дамы,
 Когда б он овдовел, – он был бы верен
 Супружеской любви.

Д о н Г у а н .

Не мучьте сердца
 Мне, Дона Анна, вечным поминаньем
 Супруга. Полно вам меня казнить,
 Хоть казнь я заслужил, быть может.

Д о н а А н н а .

Чем же?

Вы узами не связаны святыми
 Ни с кем, – Не правда ль? Полюбив меня,
 Вы предо мной и перед небом правы.

Д о н Г у а н .

Пред вами! Боже!

Д о н а А н н а .

Разве вы виновны
 Передо мной? Скажите, в чем же.

Д о н Г у а н .

Нет!

Нет, никогда.

Д о н а А н н а .

Диего, что такое?
 Вы предо мной не правы? в чем, скажите?

Д о н Г у а н .

Нет! ни за что!



Каменный гость

Д о н а А н н а .

Диего, это странно:
Я вас прошу, я требую.

Д о н Г у а н .

Нет, нет.

Д о н а А н н а .

А! Так-то вы моей послушны воле!
А что сейчас вы говорили мне?
Что вы б рабом моим желали быть.
Я рассержусь, Диего: отвечайте,
В чем предо мной виновны вы?

Д о н Г у а н .

Не смею.
Вы ненавидеть станете меня.

Д о н а А н н а .

Нет, нет. Я вас заранее прощаю,
Но знать желаю...

Д о н Г у а н .

Не желайте знать
Ужасную, убийственную тайну.

Д о н а А н н а .

Ужасную! вы мучите меня.
Я страх как любопытна – что такое?
И как меня могли вы оскорбить?
Я вас не знала – у меня врагов
И нет и не было. Убийца мужа
Один и есть.

Дон Гуан (про себя).

Идет к развязке дело!
Скажите мне, несчастный Дон Гуан
Вам незнаком?

Д о н а А н н а .

Нет, отроду его
Я не видала.

Д о н Г у а н .

Вы в душе к нему
Питаєте вражду?

Д о н а А н н а .

По долгу чести.
Но вы отвлечь стараетесь меня
От моего вопроса. Дон Диго –
Я требую...

Д о н Г у а н .

Что, если б Дон Гуана
Вы встретили?

Д о н а А н н а .

Тогда бы я злодею
Кинжал вонзила в сердце.

Д о н Г у а н .

Дона Анна,
Где твой кинжал? вот грудь моя.

Д о н а А н н а .

Диго!
Что вы?

Д о н Г у а н .

Я не Диго, я Гуан.

Д о н а А н н а .

О боже! нет, не может быть, не верю.

Д о н Г у а н .

Я Дон Гуан.

Д о н а А н н а .

Неправда.

Д о н Г у а н .

Я убил
Супруга твоего; и не жалею
О том – и нет раскаянья во мне.

Д о н а А н н а .

Что слышу я? Нет, нет, не может быть.

Д о н Г у а н .

Я Дон Гуан, и я тебя люблю.



Д о н а А н н а (*падая*).

Где я?... где я? мне дурно, дурно.

Д о н Г у а н .

Небо!

Что с нею? что с тобою, Дона Анна?

Встань, встань, проснись, опомнись: твой Диего,

Твой раб у ног твоих.

Д о н а А н н а .

Оставь меня!

(*Слабо.*) О, ты мне враг – ты отнял у меня

Все, что я в жизни...

Д о н Г у а н .

Милое создание!

Я всем готов удар мой искупить,

У ног твоих жду только приказанья,

Вели – умру; вели – дышать я буду

Лишь для тебя...

Д о н а А н н а .

Так это Дон Гуан...

Д о н Г у а н .

Не правда ли, он был описан вам

Злодеем, извергом, – О Дона Анна, –

Молва, быть может, не совсем неправа,

На совести усталой много зла,

Быть может, тяготее. Так, разврата

Я долго был покорный ученик,

Но с той поры, как вас увидел я,

Мне кажется, я весь переродился.

Вас полюбя, люблю я добродетель

И в первый раз смиренно перед ней

Дрожащие колена преклоняю.

Д о н а А н н а .

О, Дон Гуан красноречив – я знаю,

Слыхала я; он хитрый искуситель.

Вы, говорят, безбожный развратитель,

Вы сущий демон. Сколько бедных женщин

Вы погубили?



Д о н Г у а н .

 Ни одной доньне
Из них я не любил.

Д о н а А н н а .

 И я поверю,
Чтоб Дон Гуан влюбился в первый раз,
Чтоб не искал во мне он жертвы новой!

Д о н Г у а н .

Когда б я вас обманывать хотел,
Признался ль я, сказал ли я то имя,
Которого не можете вы слышать?
Где ж видно тут обдуманность, коварство?

Д о н а А н н а .

Кто знает вас? – Но как могли прийти
Сюда вы; здесь узнать могли бы вас,
И ваша смерть была бы неизбежна.

Д о н Г у а н .

Что значит смерть? за сладкий миг свиданья
Безропотно отдам я жизнь.

Д о н а А н н а .

 Но как же
Отсюда выйти вам, неосторожный!

Д о н Г у а н *(целуя ей руки).*

И вы о жизни бедного Гуана
Заботитесь! Так ненависти нет
В душе твоей небесной, Дона Анна?

Д о н а А н н а .

Ах если б вас могла я ненавидеть!
Однако ж надобно расстаться нам.

Д о н Г у а н .

Когда ж опять увидимся?

Д о н а А н н а .

 Не знаю,
Когда-нибудь.



Каменный гость

Д о н Г у а н .

А завтра?

Д о н а А н н а .

Где же?

Д о н Г у а н .

Здесь.

Д о н а А н н а .

О Дон Гуан, как сердцем я слаба.

Д о н Г у а н .

В залог прощенья мирный поцелуй...

Д о н а А н н а .

Пора, поди.

Д о н Г у а н .

Один, холодный, мирный...

Д о н а А н н а .

Какой ты неотвязчивый! на, вот он.

Что там за стук?.. о скройся, Дон Гуан.

Д о н Г у а н .

Прощай же, до свиданья, друг мой милый.

(Уходит и вбегает опять.)

А!..

Д о н а А н н а .

Что с тобой? А!..

(Входит статуя командора. Дона Анна падает.)

С т а т у я .

Я на зов явился.

Д о н Г у а н .

О боже! Дона Анна!

С т а т у я .

Брось ее,

Всё кончено. Дрожишь ты, Дон Гуан.





Каменный гость

Д о н Г у а н .

Я? нет. Я звал тебя и рад, что вижу.

С т а т у я .

Дай руку.

Д о н Г у а н .

Вот она... о, тяжело

Пожатье каменной его десницы!

Оставь меня, пусти – пусти мне руку...

Я гибну – кончено – о Дона Анна!

(Проваливаются.)





Пир во время чумы

(из вильсоновой трагедии: *The city of the plague*¹)

Улица. Накрытый стол.

Несколько пирующих мужчин и женщин.

Молодой человек.

Почтенный председатель! я напомним
О человеке, очень нам знакомом,
О том, чьи шутки, повести смешные,
Ответы острые и замечанья,
Столь едкие в их важности забавной,
Застольную беседу оживляли
И разгоняли мрак, который ныне
Зараза, гостья наша, насылает
На самые блестящие умы.
Тому два дня наш общий хохот славил
Его рассказы; невозможно быть,
Чтоб мы в своем веселом пиrowанье
Забыли Джаксона! Его здесь кресла
Стоят пустые, будто ожидая
Весельчака – но он ушел уже

¹ Перевод 4-й сцены I акта драматической поэмы шотландского писателя Джона Вильсона «Город чумы»; поэма эта, посвященная лондонской чуме 1665 года, была опубликована в 1816 году.

Пир во время чумы

В холодные подземные жилища...
Хотя красноречивейший язык
Не умолкал еще во прахе гроба;
Но много нас еще живых, и нам
Причины нет печалиться. Итак,
Я предлагаю выпить в его память
С веселым звоном рюмок, с восклицаньем,
Как будто б был он жив.

П р е д с е д а т е л ь .

Он выбыл первый
Из круга нашего. Пускай в молчанье
Мы выпьем в честь его.

М о л о д о й ч е л о в е к .

Да будет так!

(Все пьют молча.)

П р е д с е д а т е л ь .

Твой голос, милая, выводит звуки
Родимых песен с диким совершенством;
Спой, Мери, нам уныло и протяжно,
Чтоб мы потом к веселью обратились
Безумнее, как тот, кто от земли
Был отлучен каким-нибудь виденьем.

М е р и *(поет)*.¹

Было время, процветала
В мире наша сторона:
В воскресение бывала
Церковь божия полна;
Наших деток в шумной школе
Раздавались голоса,
И сверкали в светлом поле
Серп и быстрая коса.
Ныне церковь опустела;
Школа глухо заперта;
Нива праздну перезрела;
Роща темная пуста;
И селенье, как жилище
Погорелое, стоит, —

¹ Пушкин существенно сократил песню Мери, убрав многословные описания в оригинале; подлиннику соответствуют лишь первые три строфы песни, две последние — авторский текст Пушкина.



Пир во время чумы

Тихо все. Одно кладбище
Не пустеет, не молчит.
Поминутно мертвых носят,
И стенания живых
Боязливо бога просят
Упокоить души их!
Поминутно места надо,
И могилы меж собой,
Как испуганное стадо,
Жмутся тесной чередой!
Если ранняя могила
Суждена моей весне –
Ты, кого я так любила,
Чья любовь отрада мне, –
Я молю: не приближайся
К телу Дженни ты своей,
Уст умерших не касайся,
Следуй издали за ней.
И потом оставь селенье!
Уходи куда-нибудь,
Где б ты мог души мученье
Усладить и отдохнуть.
И когда зараза минет,
Посети мой бедный прах;
А Эдмонда не покинет
Дженни даже в небесах!

П р е д с е д а т е л ь .

Благодарим, задумчивая Мери,
Благодарим за жалобную песню!
В дни прежние чума такая ж, видно,
Холмы и доли ваши посетила,
И раздавались жалкие стенанья
По берегам потоков и ручьев,
Бегущих ныне весело и мирно
Сквозь дикий рай твоей земли родной;
И мрачный год, в который пало столько
Отважных, добрых и прекрасных жертв,
Едва оставил память о себе
В какой-нибудь простой пастушьей песне,
Унылой и приятной... Нет, ничто
Так не печалит нас среди веселий,
Как томный, сердцем повторенный звук!



М е р и .

О, если б никогда я не певала
Вне хижины родителей моих!
Они свою любили слушать Мери;
Самой себе я, кажется, внимаю,
Поющей у родимого порога.
Мой голос слаще был в то время: он
Был голосом невинности...

Л у и з а .

Не в моде
Теперь такие песни! но всё ж есть
Еще простые души: рады таять
От женских слез и слепо верят им.
Она уверена, что взор слезливый
Ее неотразим – а если б то же
О смехе думала своим, то, верно,
Всё б улыбалась. Вальсингам хвалил
Крикливых северных красавиц: вот
Она и расстоналась. Ненавижу
Волос шотландских этих желтизну.

П р е д с е д а т е л ь .

Послушайте: я слышу стук колес!
*(Едет телега, наполненная мертвыми телами.
Негр управляет ею.)*


Ага! Луизе дурно; в ней, я думал,
По языку судя, мужское сердце.
Но так-то – нежного слабей жестокий,
И страх живет в душе, страстями томимой!
Брось, Мери, ей воды в лицо. Ей лучше.

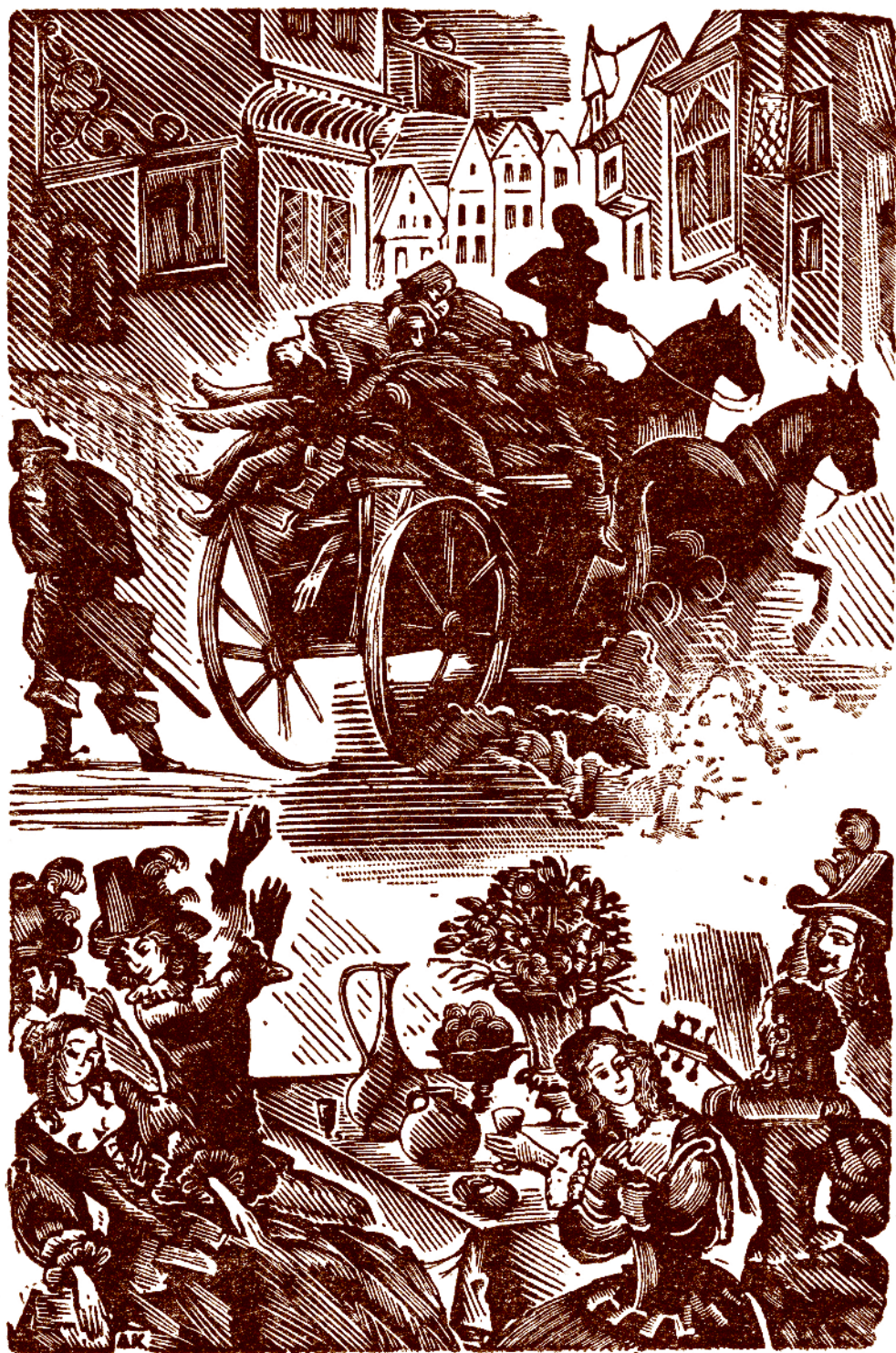
М е р и .

Сестра моей печали и позора,
Приляг на грудь мою.

Л у и з а *(приходя в чувство)*.

Ужасный демон
Приснился мне: весь черный, белоглазый...
Он звал меня в свою тележку. В ней
Лежали мертвые – и лепетали
Ужасную, неведомую речь...
Скажите мне: во сне ли это было?
Проехала ль телега?





М о л о д о й ч е л о в е к .

Ну, Луиза,
Развеселись – хоть улица вся наша
Безмолвное убежище от смерти,
Приют пиров, ничем невозмутимых,
Но знаешь, эта черная телега
Имеет право всюду разъезжать.
Мы пропускать ее должны! Послушай,
Ты, Вальсингам: для пресечения споров
И следствий женских обмороков спой
Нам песню, вольную, живую песню,
Не грустию шотландской вдохновенну,
А буйную, вакхическую песнь,
Рожденную за чашею кипящей.

П р е д с е д а т е л ь .

Такой не знаю, но спою вам гимн
Я в честь чумы, – я написал его
Прошедшей ночью, как расстались мы.
Мне странная нашла охота к рифмам
Впервые в жизни! Слушайте ж меня:
Охрипый голос мой приличен песне.

М н о г и е .

Гимн в честь чумы! послушаем его!
Гимн в честь чумы! прекрасно! bravo! bravo!

П р е д с е д а т е л ь *(поет)*.

Когда могущая Зима,
Как бодрый вождь, ведет сама
На нас косматые дружины
Своих морозов и снегов, –
Навстречу ей трещат каминь,
И весел зимний жар пиров.

♦

Царица грозная, Чума
Теперь идет на нас сама
И льстится жатвою богатой;
И к нам в окошко день и ночь
Стучит могильною лопатой...
Что делать нам? и чем помочь?

♦

Как от проказницы Зимы,
Запремся также от Чумы!
Зажжем огни, нальем бокалы,

Пир во время чумы

Утопим весело умы
И, заварив пиры да балы,
Восславим царствие Чумы.

♦

Есть упоение в бою,
И бездны мрачной на краю,
И в разъяренном океане,
Средь грозных волн и бурной тьмы,
И в аравийском урагане,
И в дуновении Чумы.

♦

Всё, всё, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья –
Бессмертья, может быть, залог!
И счастлив тот, кто средь волненья
Их обрести и ведать мог.

♦

Итак, – хвала тебе, Чума,
Нам не страшна могила тьма,
Нас не смутит твоё призванье!
Бокалы пеним дружно мы
И девы-розы пьем дыханье, –
Быть может... полное Чумы!

(Входит старый священник.)

С в я щ е н н и к .

Безбожный пир, безбожные безумцы!
Вы пиршеством и песнями разврата
Ругаетесь над мрачной тишиной,
Повсюду смертью распространенной!
Средь ужаса плачевных похорон,
Средь бледных лиц молюсь я на кладбище,
А ваши ненавистные восторги
Смущают тишину гробов – и землю
Над мертвыми телами потрясают!
Когда бы стариков и жен моления
Не освятили общей, смертной ямы, –
Подумать мог бы я, что нынче бесы
Погибший дух безбожника терзают
И в тьму крошечную тащат со смехом.

Н е с к о л ь к о г о л о с о в .

Он мастерски об аде говорит!
Ступай, старик! ступай своей дорогой!



Пир во время чумы

С в я щ е н н и к .

Я заклинаю вас святою кровью
Спасителя, распятого за нас:
Прервите пир чудовищный, когда
Желаете вы встретить в небесах
Утраченных возлюбленные души.
Ступайте по своим домам!

П р е д с е д а т е л ь .

Дома́

У нас печальны – юность любит радость.

С в я щ е н н и к .

Ты ль это, Вальсингам? ты ль самый тот,
Кто три тому недели, на коленях,
Труп матери, рыдая, обнимал
И с воплем бился над ее могилой?
Иль думаешь, она теперь не плачет,
Не плачет горько в самых небесах,
Взирая на пирующего сына,
В пиру разврата, слыша голос твой,
Поющий бешеные песни, между
Мольбы святой и тяжких вздыханий?
Ступай за мной!

П р е д с е д а т е л ь .

Зачем приходишь ты

Меня тревожить? Не могу, не должен
Я за тобой идти: я здесь удержан
Отчаяньем, воспоминаньем страшным,
Сознаньем беззаконья моего,
И ужасом той мертвой пустоты,
Которую в моем доме встречаю –
И новостью сих бешеных веселий,
И благодатным ядом этой чаши,
И ласками (прости меня, господь)
Погибшего, но милого создания...
Тень матери не вызовет меня
Отселе, – поздно, слышу голос твой,
Меня зовущий, – признаю усилья
Меня спасти... старик, иди же с миром;
Но проклят будь, кто за тобой пойдет!

М н о г и е .

Bravo, bravo! достойный председатель!
Вот проповедь тебе! пошел! пошел!

С в я щ е н н и к .

Матильды чистый дух тебя зовет!

П р е д с е д а т е л ь (встает).

Клянись же мне, с поднятой к небесам
Увядавшей, бледною рукой – оставить
В гробу навек умолкнувшее имя!
О, если б от очей ее бессмертных
Скрыть это зрелище! Меня когда-то
Она считала чистым, гордым, вольным –
И знала рай в объятиях моих...
Где я? Святое чадо света! вижу
Тебя я там, куда мой падший дух
Не достигнет уже...

Ж е н с к и й г о л о с .

Он сумасшедший, –
Он бредит о жене похороненной!

С в я щ е н н и к .

Пойдем, пойдем...

П р е д с е д а т е л ь .

Отец мой, ради бога,
Оставь меня!

С в я щ е н н и к .

Спаси тебя господь!
Прости, мой сын. (Уходит. Пир продолжается.)

Председатель остается, погруженный в глубокую задумчивость.)





Египетские ночи¹

ГЛАВА I.

– *Quel est cet homme?*

– *Ha, c'est un bien grand talent, il fait de sa voix tout ce qu'il veut.*

– *Il devrait bien, madame, s'en faire une culotte.²*



арский был один из коренных жителей Петербурга. Ему не было еще тридцати лет; он не был женат; служба не обременяла его. Покойный дядя его, бывший вице-губернатором³ в хорошее время, оставил ему порядочное имение. Жизнь его могла быть очень приятна; но он имел несчастье писать и печатать стихи. В журналах звали его поэтом, а в лакейских⁴ сочинителем.

Несмотря на великие преимущества, коими пользуются стихотворцы (признать-ся: кроме права ставить винительный падеж вместо родительного и еще кой-каких, так называемых поэтических вольностей, мы никаких особенных преимуществ за русскими стихотворцами не ведаем) – как бы то ни было, несмотря на всевозможные их преимущества, эти люди подвержены большим невыгодам и неприятностям. Зло самое горькое, самое нестерпимое для стихотворца есть его звание и прозвище, которым он заклеймен и которое никогда от него не отпадает. Публика смотрит на него как на свою собственность; по ее мнению, он рожден для ее пользы и удовольствия.

¹ Экранизация этой незавершенной повести Пушкина стала частью снятого в 1979 году телевизионного фильма «Маленькие трагедии», хотя сама повесть к Маленьким трагедиям не относится.

² Что это за человек? – О, это большой талант; из своего голоса он делает всё, что захочет. – Ему бы следовало, сударыня, сделать из него себе штаны (фр.).

³ Вице-губернатор – помощник губернатора; эта должность появилась при Петре I во время учреждения губерний.

⁴ Лакейская – комната для лакеев, для прислуги.

Возвратится ли он из деревни, первый встречный спрашивает его: не привезли ли вы нам чего-нибудь новенького? Задумается ли он о расстроенных своих делах, о болезни милого ему человека: тотчас пошлая улыбка сопровождает пошлое восклицание: верно, что-нибудь сочиняете! Влюбится ли он? – красавица его покупает себе альбом в Английском магазине и ждет уж элегии¹. Придет ли он к человеку, почти с ним незнакомому, поговорить о важном деле, тот уж кличет своего сынка и заставляет читать стихи такого-то; и мальчишка угощает стихотворца его же изуродованными стихами. А это еще цветы ремесла! Каковы же должны быть невзгоды? Чарский признавался, что приветствия, запросы, альбомы и мальчишки так ему надоели, что поминутно принужден он был удерживаться от какой-нибудь грубости.

Чарский употреблял всевозможные старания, чтобы сгладить с себя несносное прозвище. Он избегал общества своей братьи литераторов и предпочитал им светских людей, даже самых пустых. Разговор его был самый пошлый и никогда не касался литературы. В своей одежде он всегда наблюдал самую последнюю моду с робостию и суеверием молодого москвича, в первый раз отроду приехавшего в Петербург. В кабинете его, убранном как дамская спальня, ничто не напоминало писателя; книги не валялись по столам и под столами; диван не был обрызган чернилами; не было такого беспорядка, который обличает присутствие музы и отсутствие метлы и щетки. Чарский был в отчаянии, если кто-нибудь из светских его друзей заставлял его с пером в руках. Трудно поверить, до каких мелочей мог доходить человек, одаренный, впрочем, талантом и душою. Он прикидывался то страстным охотником до лошадей, то отчаянным игроком, то самым тонким гастрономом; хотя никак не мог различить горской породы от арабской, никогда не помнил козырей и втайне предпочитал печеный картофель всевозможным изобретениям французской кухни. Он вел жизнь самую рассеянную; торчал на всех балах, объедался на всех дипломатических обедах, и на всяком званом вечере был так же неизбежим, как резановское мороженое².

Однако ж он был поэт, и страсть его была неодолима: когда находила на него такая *дрянь* (так называл он вдохновение), Чарский запирался в своем кабинете и писал с утра до поздней ночи. Он признавался искренним своим друзьям, что только тогда и знал истинное счастье. Остальное время он гулял, чинясь³ и притворяясь и слыша поминутно славный вопрос: не написали ли вы чего-нибудь новенького?

Однажды утром Чарский чувствовал то благодатное расположение духа, когда мечтания явственно рисуются перед вами и вы обретаете живые, неожиданные слова для воплощения видений ваших, когда стихи легко ложатся под перо ваше и звучные рифмы бегут навстречу стройной мысли. Чарский погружен был душою в сладостное забвение... и свет, и мнение света, и его собственные причуды для него не существовали. Он писал стихи.

Вдруг дверь его кабинета скрипнула, и незнакомая голова показалась. Чарский вздрогнул и нахмурился.

¹ Элегия – проникнутое эмоциями лирическое стихотворение.

² Мороженое от известного в пушкинское время кондитера Резанова было весьма популярно в Петербурге.

³ Чиниться – проявлять церемонность.



– Кто там? – спросил он с досадою, проклиная в душе своих слуг, никогда не сидевших в передней.

Незнакомец вошел.

Он был высокого роста – худощав и казался лет тридцати. Черты смуглого его лица были выразительны: бледный высокий лоб, осененный черными клоками волос, черные сверкающие глаза, орлиный нос и густая борода, окружающая впалые желто-смуглые щеки, обличали в нем иностранца. На нем был черный фрак, побелевший уже по швам; панталоны летние (хотя на дворе стояла уже глубокая осень); под истертым черным галстуком на желтоватой манишке блестел фальшивый алмаз; шершавая шляпа, казалось, видала и ведро¹ и ненастье. Встретясь с этим человеком в лесу, вы приняли бы его за разбойника; в обществе – за политического заговорщика; в передней – за шарлатана, торгующего эликсирами и мышьяком.

– Что вам надобно? – спросил его Чарский на французском языке.

– Signor, – отвечал иностранец с низкими поклонами, – *Lei voglia perdonarmi se² ...*

Чарский не предложил ему стула и встал сам, разговор продолжался на итальянском языке.

– Я неаполитанский художник, – говорил незнакомый, – обстоятельства принудили меня оставить отечество; я приехал в Россию в надежде на свой талант.

Чарский подумал, что неаполитанец собирается дать несколько концертов на виолончели и развозит по домам свои билеты. Он уже хотел вручить ему свои двадцать пять рублей и скорее от него избавиться, но незнакомец прибавил:

– Надеюсь, Signor, что вы сделаете дружеское вспоможение своему собрату и введете меня в дома, в которые сами имеете доступ.

Невозможно было нанести тщеславию Чарского оскорбления более чувствительного. Он спесиво взглянул на того, кто назывался его собратом.

– Позвольте спросить, кто вы такой и за кого вы меня принимаете? – спросил он, с трудом удерживая свое негодование.

Неаполитанец заметил его досаду.

– Signor, – отвечал он запинаясь... – *ho creduto... ho sentito... la vostra Eccellenza mi perdonera...³*

– Что вам угодно? – повторил сухо Чарский.

– Я много слышал о вашем удивительном таланте; я уверен, что здешние господа ставят за честь оказывать всевозможное покровительство такому превосходному поэту, – отвечал итальянец, – и потому осмелился к вам явиться...

– Вы ошибаетесь, Signor, – прервал его Чарский. – Звание поэтов у нас не существует. Наши поэты не пользуются покровительством господ; наши поэты сами господа, и если наши меценаты (черт их побери!) этого не знают, то тем хуже для них. У нас нет оборванных аббатов, которых музыкант брал бы с улицы для сочинения libretto⁴. У нас поэты не ходят пешком из дому в дом, выпрашивая себе вспоможения.

¹ Ведро - теплая ясная сухая погода.

² Синьор, простите меня пожалуйста, если... (итал.).

³ Синьор я думал... я считал... ваше сиятельство, простите меня... (итал.).

⁴ Либретто (итал.).

Впрочем, вероятно вам сказали в шутку, будто я великий стихотворец. Правда, я когда-то написал несколько плохих эпиграмм, но, слава богу, с господами стихотворцами ничего общего не имею и иметь не хочу.

Бедный итальянец смутился. Он поглядел вокруг себя. Картины, мраморные статуи, бронзы, дорогие игрушки, расставленные на готических этажерках, – поразили его. Он понял, что между надменным dandy¹, стоящим перед ним в хохлатой парчовой скуфейке², в золотистом китайском халате, опоясанном турецкой шалью, и им, бедным кочующим артистом, в истертом галстуке и поношенном фраке, ничего не было общего. Он проговорил несколько несвязных извинений, поклонился и хотел выйти. Жалкий вид его тронул Чарского, который, вопреки мелочам своего характера, имел сердце доброе и благородное. Он устыдился раздражительности своего самолюбия.

– Куда ж вы? – сказал он итальянцу. – Пойдите... Я должен был отклонить от себя незаслуженное титул³ и признаться вам, что я не поэт. Теперь поговорим о ваших делах. Я готов вам услужить, в чем только будет возможно. Вы музыкант?

– Нет, Eccellenza⁴! – отвечал итальянец, – я бедный импровизатор.

– Импровизатор! – вскрикнул Чарский, почувствовав всю жестокость своего обхождения. – Зачем же вы прежде не сказали, что вы импровизатор? – и Чарский сжал ему руку с чувством искреннего раскаяния.

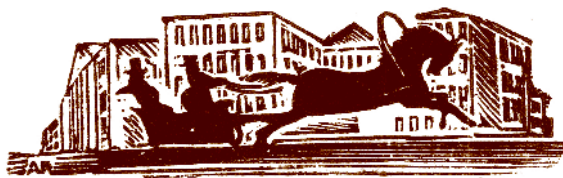
Дружеский вид его ободрил итальянца. Он простодушно разговорился о своих предположениях. Наружность его не была обманчива; ему деньги были нужны; он надеялся в России кое-как поправить свои домашние обстоятельства. Чарский выслушал его со вниманием.

– Я надеюсь, – сказал он бедному художнику, – что вы будете иметь успех: здешнее общество никогда еще не слыхало импровизатора. Любопытство будет возбуждено; правда, итальянский язык у нас не в употреблении, вас не поймут; но это не беда; главное – чтоб вы были в моде.

– Но если у вас никто не понимает итальянского языка, – сказал, призадумавшись, импровизатор, – кто ж поедет меня слушать?

– Поедут – не опасайтесь: иные из любопытства, другие, чтоб провести вечер как-нибудь, третьи, чтоб показать, что понимают итальянский язык; повторяю, надобно только, чтоб вы были в моде; а вы уж будете в моде, вот вам моя рука.

Чарский ласково расстался с импровизатором, взяв себе его адрес, и в тот же вечер он поехал за него хлопотать.

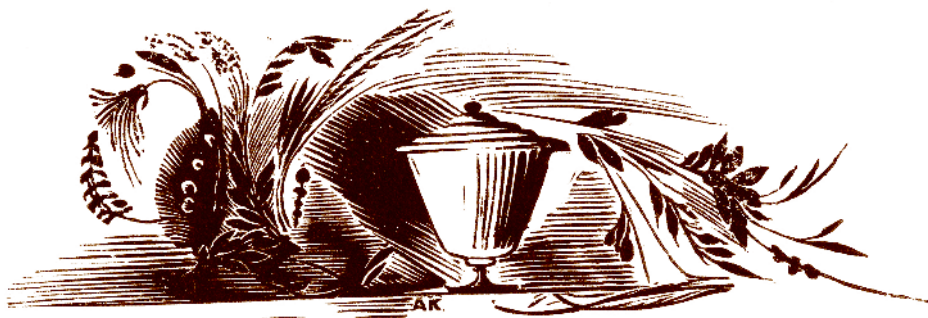


¹ Денди, щеголь, франт (англ.).

² Скуфейка – мягкая шапочка.

³ Титул – в данном случае титул, прозвание.

⁴ ваше сиятельство (итал.).



ГЛАВА II.

Я царь, я раб, я червь, я бог.
Державин.



а другой день Чарский в темном и нечистом коридоре трактира отыскивал 35-ый номер. Он остановился у двери и постучался. Вчерашний итальянец отворил ее.

– Победа! – сказал ему Чарский, – ваше дело в шляпе. Княгиня ** дает вам свою залу; вчера на рауте¹ я успел завербовать половину Петербурга; печатайте билеты и объявления. Ручаюсь вам, если не за триумф, то по крайней мере за барыш...

– А это главное! – вскричал итальянец, изъявляя свою радость живыми движениями, свойственными южной его породе. – Я знал, что вы мне поможете. *Согро ди Вассо!*² Вы поэт, так же, как и я; а что ни говори, поэты славные ребята! Как изъявлю вам мою благодарность? постойте... хотите ли выслушать импровизацию?

– Импровизацию!.. разве вы можете обойтись и без публики, и без музыки, и без грома рукоплесканий?

– Пустое, пустое! где найти мне лучшую публику? Вы поэт, вы поймете меня лучше их, и ваше тихое ободрение дороже мне целой бури рукоплесканий... Садитесь где-нибудь и задайте мне тему.

Чарский сел на чемодане (из двух стульев, находившихся в тесной конурке, один был сломан, другой завален бумагами и бельем). Импровизатор взял со стола гитару – и стал перед Чарским, перебирая струны костливыми пальцами и ожидая его заказа.

– Вот вам тема, – сказал ему Чарский: – *поэт сам избирает предметы для своих песен; толпа не имеет права управлять его вдохновением.*

Глаза итальянца засверкали, он взял несколько аккордов, гордо поднял голову, и пылкие строфы, выражение мгновенного чувства, стройно излетели из уст его... Вот они, вольно переданные одним из наших приятелей со слов, сохранившихся в памяти Чарского.

¹ Раут – званый вечер.

² Черт возьми! (итал.).

Поэт идет: открыты вежды¹,
Но он не видит никого;
А между тем за край одежды
Прохожий дергает его...
«Скажи: зачем без цели бродишь?
Едва достиг ты высоты,
И вот уж долу взор низводишь
И низойти стремишься ты.
На стройный мир ты смотришь смутно;
Бесплодный жар тебя томит;
Предмет ничтожный поминутно
Тебя тревожит и манит.
Стремиться к небу должен гений,
Обязан истинный поэт
Для вдохновенных песнопений
Избрать возвышенный предмет».
– Зачем крутится ветер в овраге,
Подъемлет лист и пыль несет,
Когда корабль в недвижной влаге
Его дыханья жадно ждет?
Зачем от гор и мимо башен
Летит орел, тяжел и страшен,
На чахлый пень? Спроси его.
Зачем арапа своего
Младая любит Дездемона,
Как месяц любит ночи мглу?
Затем, что ветру и орлу
И сердцу девы нет закона.
Таков поэт: как Аквилон²
Что хочет, то и носит он –
Орлу подобно, он летает
И, не спросясь ни у кого,
Как Дездемона избирает
Кумир для сердца своего.

Италиянец умолк... Чарский молчал, изумленный и растроганный.

- Ну что? – спросил импровизатор. Чарский схватил его руку и сжал ее крепко.
- Что? – спросил импровизатор, – каково?
- Удивительно, – отвечал поэт. – Как! Чужая мысль чуть коснулась вашего слуха и уже стала вашею собственностью, как будто вы с нею носились, лелеяли, развивали ее

¹ Вежды (устар.). – веки.

² Аквилон в древнеримской мифологии – северо-восточный ветер; божество, олицетворяющее силы природы.



беспреданно. Итак, для вас не существует ни труда, ни охлаждения, ни этого беспокойства, которое предшествует вдохновению?... Удивительно, удивительно!..

Импровизатор отвечал:

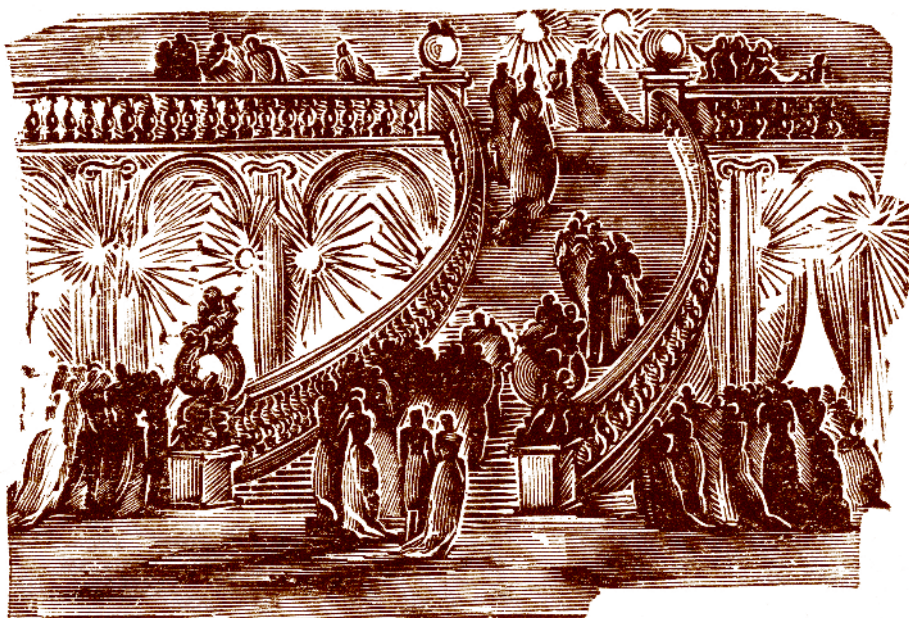
– Всякой талант неизъясним. Каким образом ваятель в куске каррарского мрамора видит сокрытого Юпитера¹ и выводит его на свет, резцом и молотом раздробляя его оболочку? Почему мысль из головы поэта выходит уже вооруженная четырьмя рифмами, размеренная стройными однообразными стопами? – Так никто, кроме самого импровизатора, не может понять эту быстроту впечатлений, эту тесную связь между собственным вдохновением и чуждой внешнею волею – тщетно я сам захотел бы это объяснить. Однако...надобно подумать о моем первом вечере. Как вы полагаете? Какую цену можно будет назначить за билет, чтобы публике не слишком было тяжело и чтобы я между тем не остался в накладе? Говорят, la signora Catalani² брала по 25 рублей? Цена хорошая...

Неприятно было Чарскому с высоты поэзии вдруг упасть под лавку конторщика; но он очень хорошо понимал житейскую необходимость и пустился с итальянцем в меркантильные расчеты. Итальянец при сем случае обнаружил такую дикую жадность, такую простодушную любовь к прибыли, что он опротивел Чарскому, который поспешил его оставить, чтобы не совсем утратить чувство восхищения, произведенное в нем блестящим импровизатором. Озабоченный итальянец не заметил этой перемены и проводил его по коридору и по лестнице с глубокими поклонами и уверениями в вечной благодарности.



¹ Юпитер – верховное божество в Древнем Риме.

² Синьора Каталани (итал.); Анджелика Каталани – известная итальянская певица первой половины XIX века.



ГЛАВА III.

Цена за билет 10 рублей; начало в 7 часов.

Афишка.



Вала княгини ** отдана была в распоряжение импровизатору. Подмостки были сооружены; стулья расставлены в двенадцать рядов; в назначенный день, с семи часов вечера, зала была освещена, у дверей перед столиком для продажи и приема билетов сидела старая долгоносая женщина в серой шляпе с надломленными перьями и с перстнями на всех пальцах. У подъезда стояли жандармы. Публика начала собираться. Чарский пришел из первых. Он принимал большое участие в успехе представления и хотел видеть импровизатора, чтоб узнать, всем ли он доволен. Он нашел итальянца в боковой комнате, с нетерпением посматривающего на часы. Итальянец одет был театрально; он был в черном с ног до головы; кружевной воротник его рубашки был откинут, голая шея своею странной белизною ярко отделялась от густой и черной бороды, волосы опущенными клоками осеняли ему лоб и брови. Всё это очень не понравилось Чарскому, которому неприятно было видеть поэта в одежде заезжего фигляра¹. Он после короткого разговора возвратился в залу, которая более и более наполнялась.

Вскоре все ряды кресел были заняты блестящими дамами; мужчины стесненной рамою стали у подмостков, вдоль стен и за последними стульями. Музыканты с своими пюпитрами занимали обе стороны подмостков. Посредине стояла на столе фарфоровая ваза. Публика была многочисленна. Все с нетерпением ожидали начала;

¹ Фигляр (устар.) – скоморох, фокусник.

наконец в половине осьмого музыканты засуетились, приготовили смычки и заиграли увертюру из «Танкреда»¹. Всё уселось и примолкло, последние звуки увертюры прогремели... И импровизатор, встреченный оглушительным плеском, поднявшимся со всех сторон, с низкими поклонами приблизился к самому краю подмостков.

Чарский с беспокойством ожидал, какое впечатление произведет первая минута, но он заметил, что наряд, который показался ему так неприличен, не произвел того же действия на публику. Сам Чарский не нашел ничего в нем смешного, когда увидел его на подмостках, с бледным лицом, ярко освещенным множеством ламп и свечей. Плеск утих; говор умолк... Итальянец, изъясняясь на плохом французском языке, просил господ посетителей назначить несколько тем, написав их на особых бумажках. При этом неожиданном приглашении все молча поглядели друг на друга и никто ничего не отвечал. Итальянец, подождав немного, повторил свою просьбу робким и смиренным голосом. Чарский стоял под самыми подмостками; им овладело беспокойство; он почувствовал, что дело без него не обойдется и что принужден он будет написать свою тему. В самом деле, несколько дамских головок обратились к нему и стали вызывать его сперва вполголоса, потом громче и громче. Услыша имя его, импровизатор отыскал его глазами у своих ног и подал ему карандаш и клочок бумаги с дружескою улыбкою. Играть роль в этой комедии казалось Чарскому очень неприятно, но делать было нечего; он взял карандаш и бумагу из рук итальянца, написал несколько слов; итальянец, взяв со стола вазу, сошел с подмостков, поднес ее Чарскому, который бросил в нее свою тему. Его пример подействовал; два журналиста, в качестве литераторов, почли обязанностью написать каждый по теме; секретарь неаполитанского посольства и молодой человек, недавно возвратившийся из путешествия, бредя о Флоренции, положили в урну свои свернутые бумажки; наконец, одна некрасивая девица, по приказанию своей матери, со слезами на глазах написала несколько строк по-итальянски и, покраснев по уши, отдала их импровизатору, между тем как дамы смотрели на нее молча, с едва заметной усмешкою. Возвратясь на свои подмостки, импровизатор поставил урну на стол и стал вынимать бумажки одну за другой, читая каждую в слух:

Семейство Ченчи.
(La famiglia dei Cenci.)
(L'ultimo giorno di Pompeia.)
Cleopatra e i suoi amanti.
La primavera veduta da una prigioniera.
Il trionfo di Tasso.²

– Что прикажет почтенная публика? – спросил смиренный итальянец, – значит ли мне сама один из предложенных предметов или предоставит решить это жребию?..

– Жребий!.. – сказал один голос из толпы.

– Жребий, жребий! – повторила публика.

¹ *Танкред* – опера Россини на либретто Газтано Росси по одноимённой драме Вольтера.

² *Семейство Ченчи*. – *Последний день Помпеи*. – *Клеопатра и ее любовники*. – *Весна, видимая из темницы*. – *Триумф Тассо* (итал.).



Импровизатор сошел опять с подмостков, держа в руках урну, и спросил: – Кому угодно будет вынуть тему? – Импровизатор обвел умоляющим взором первые ряды стульев. Ни одна из блестящих дам, тут сидевших, не тронулась. Импровизатор, не привыкший к северному равнодушию, казалось, страдал... вдруг заметил он в стороне поднимающуюся ручку в белой маленькой перчатке; он с живостью оборотился и пошел к молодой величавой красавице, сидевшей на краю второго ряда. Она встала безо всякого смущения и со всевозможною простотою опустила в урну аристократическую ручку и вынула сверток.

– Извольте развернуть и прочитать, – сказал ей импровизатор.

Красавица развернула бумажку и прочла вслух:

– Cleopatra e i suoi amanti.

Эти слова произнесены были тихим голосом, но в зале царствовала такая тишина, что все их слышали. Импровизатор низко поклонился прекрасной даме с видом глубокой благодарности и возвратился на свои подмостки.

– Господа, – сказал он, обратясь к публике, – жребий назначил мне предметом импровизации Клеопатру и ее любовников. Покорно прошу особу, избравшую эту тему, пояснить мне свою мысль: о каких любовниках здесь идет речь, perché la grande regina aveva molto...¹

При сих словах многие мужчины громко засмеялись. Импровизатор немного смутился.

– Я желал бы знать, – продолжал он, – на какую историческую черту намекала особа, избравшая эту тему... Я буду весьма благодарен, если угодно ей будет изъясниться.

Никто не торопился отвечать. Несколько дам оборотили взоры на некрасивую девушку, написавшую тему по приказанию своей матери. Бедная девушка заметила это неблагоклонное внимание и так смутилась, что слезы повисли на ее ресницах... Чарский не мог этого вынести и, обратясь к импровизатору, сказал ему на итальянском языке:

– Тема предложена мною. Я имел в виду показание Аврелия Виктора², который пишет, будто бы Клеопатра назначила смерть ценою своей любви и что нашлись обожатели, которых таковое условие не испугало и не отвратило... Мне кажется, однако, что предмет немного затруднителен... не выберете ли вы другого?..

Но уже импровизатор чувствовал приближение бога... Он дал знак музыкантам играть... Лицо его страшно побледнело, он затрепетал как в лихорадке; глаза его за сверкали чудным огнем; он приподнял рукою черные свои волосы, отер платком высокое чело, покрытое каплями пота... и вдруг шагнул вперед, сложил крестом руки на грудь... музыка умолкла... Импровизация началась.

Чертог сиял. Гремели хором
Певцы при звуке флейт и лир.
Царица голосом и взором
Свой пышный оживляла пир;

¹ потому что у великой царицы было много (итал.).

² Секст Аврелий Виктор – римский историк и политический деятель IV века н.э.



Сердца неслись к ее престолу,
Но вдруг над чашей золотой
Она задумалась и долу
Поникла дивною главой...
И пышный пир как будто дремлет,
Безмолвны гости. Хор молчит.
Но вновь она чело подымлет
И с видом ясным говорит:
В моей любви для вас блаженство?
Блаженство можно вам купить...
Внемлите ж мне: могу равенство
Меж нами я восстановить.
Кто к торгу страстному приступит?
Свою любовь я продаю;
Скажите: кто меж вами купит
Ценою жизни ночь мою? –
Рекла – и ужас всех объемлет,
И страстью дрогнули сердца...
Она смущенный ропот внемлет
С холодной дерзостью лица,
И взор презрительный обводит
Кругом поклонников своих...
Вдруг из толпы один выходит,
Вослед за ним и два других.
Смела их поступь; ясны очи;
Навстречу им она встает;
Свершилось: куплены три ночи,
И ложе смерти их зовет.
Благословенные жрецами,
Теперь из урны роковой
Пред неподвижными гостями
Выходят жребии чредой.
И первый – Флавий, воин смелый,
В дружинах римских поседлый;
Снести не мог он от жены
Высокомерного презренья;
Он принял вызов наслажденья,
Как принимал во дни войны
Он вызов ярого сраженья.
За ним Критон, молодой мудрец,
Рожденный в рощах Эпикура¹,

¹ Эпикур – древнегреческий философ III в. до н.э., преподававший своим ученикам в Афинах в купленном им саду.



Критон, поклонник и певец
Харит, Киприды и Амура...¹
Любезный сердцу и очам,
Как вешний цвет едва развитый,
Последний имени векам
Не передал. Его ланиты²
Пух первый нежно отенял;
Восторг в очах его сиял;
Страстей неопытная сила
Кипела в сердце молодом...
И грустный взор остановила
Царица гордая на нем.
– Клянусь... – о мать наслаждений,
Тебе неслыханно служу,
На ложе страстных искушений
Простой наемницей всхожу.
Внемли же, мощная Киприда,
И вы, подземные цари,
О боги грозного Аида,
Клянусь – до утренней зари
Моих властителей желанья
Я сладострастно утомлю
И всеми тайнами лобзанья
И дивной негой утолю.
Но только утренней порфирой³
Аврора вечная блеснет,
Клянусь – под смертною секирой
Глава счастливцев отпадет.⁴



¹ Хариты – в древнегреческой мифологии богини радости и веселья; Киприда – иное название богини Афродиты, родившейся из морской пены на Кипре; Амур – бог любви в Древнем Риме.

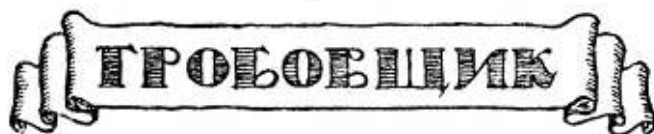
² Ланиты (устар.) – щеки.

³ Порфира – длинная мантия пурпурного цвета.

⁴ См. Приложение.

ПОВЕСТИ ПОКОЙНОГО ИВАНА ПЕТРОВИЧА БЕЛКИНА

ИЛЛЮСТРАЦИИ
И. СИМАКОВА



СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ



Повести покойного Ивана Петровича Белкина

Г - ж а П р о с т а к о в а .

То, мой батюшка, он еще сызмала
к историям охотник.

С к о т и н и н .

Митрофан по мне.

Недоросль.

ОТ ИЗДАТЕЛЯ

Взявшись хлопотать об издании Повестей И. П. Белкина, предлагаемых ныне публике, мы желали к оным присовокупить хотя краткое жизнеописание покойного автора и тем отчасти удовлетворить справедливому любопытству любителей отечественной словесности. Для сего обратились было мы к Марье Алексеевне Трафилиной, ближайшей родственнице и наследнице Ивана Петровича Белкина; но, к сожалению, ей невозможно было нам доставить никакого о нем известия, ибо покойник вовсе не был ей знаком. Она советовала нам отнестись по сему предмету к одному почтенному мужу, бывшему другом Ивану Петровичу. Мы последовали сему совету, и на письмо наше получили нижеследующий желаемый ответ. Помещаем его безо всяких перемен и примечаний, как драгоценный памятник благородного образа мнений и трогательного дружества, а вместе с тем, как и весьма достаточное биографическое известие.

Милостивый Государь мой ****!

Почтеннейшее письмо ваше от 15-го сего месяца получить имел я честь 23 сего же месяца, в коем вы изъявляете мне свое желание иметь подробное известие о времени рождения и смерти, о службе, о домашних обстоятельствах, также и о занятиях и нраве покойного Ивана Петровича Белкина, бывшего моего искреннего друга и соседа по поместьям. С великим моим удовольствием исполняю сие ваше желание и препровождаю к вам, милостивый государь мой, всё, что из его разговоров, а также из собственных моих наблюдений запомнить могу.

Иван Петрович Белкин родился от честных и благородных родителей в 1798 году в селе Горюхине. Покойный отец его, секунд-майор¹ Петр Иванович Белкин, был женат на девице Пелагее Гавриловне из дому Трафилиных. Он был человек не богатый, но умеренный, и по части хозяйства весьма смысленный. Сын их получил первоначальное образование от деревенского дьячка. Сему-то почтенному мужу был он,

¹ Секунд-майор – младший штаб-офицерский чин в Русской императорской армии в конце XVIII века.

кажется, обязан охотою к чтению и занятиям по части русской словесности. В 1815 году вступил он в службу в пехотный егерский полк (числом не упомяну), в коем и находился до самого 1823 года. Смерть его родителей, почти в одно время приключившаяся, понудила его подать в отставку и приехать в село Горюхино, свою отчину.¹

Вступив в управление имения, Иван Петрович, по причине своей неопытности и мягкосердия, в скором времени запустил хозяйство и ослабил строгий порядок, заведенный покойным его родителем. Сменив исправного и расторопного старосту, коим крестьяне его (по их привычке) были недовольны, поручил он управление села старой своей ключнице, приобретшей его доверенность искусством рассказывать истории. Сия глупая старуха не умела никогда различить двадцатипятирублевой ассигнации от пятидесятирублевой; крестьяне, коим она всем была кума, ее вовсе не боялись; ими выбранный староста до того им потворствовал, плутуя заодно, что Иван Петрович принужден был отменить барщину² и учредить весьма умеренный оброк³; но и тут крестьяне, пользуясь его слабостию, на первый год выпросили себе нарочитую льготу, а в следующие более двух третей оброка платили орехами, брусникою и тому подобным; и тут были недоимки.

Быв приятель покойному родителю Ивана Петровича, я почитал долгом предлагать и сыну свои советы и неоднократно вызывался восстановить прежний, им упущенный, порядок. Для сего, приехав однажды к нему, потребовал я хозяйственные книги, призвал плута старосту, и в присутствии Ивана Петровича занялся рассмотрением оных. Молодой хозяин сначала стал следовать за мною со всевозможным вниманием и прилежностью; но как по счетам оказалось, что в последние два года число крестьян умножилось, число же дворовых птиц и домашнего скота нарочито⁴ уменьшилось, то Иван Петрович довольствовался сим первым сведением и далее меня не слушал, и в ту самую минуту, как я своими разысканиями и строгими допросами плута старосту в крайнее замешательство привел и к совершенному безмолвию принудил, с великою моею досадою услышал я Ивана Петровича крепко храпящего на своем стуле. С тех пор перестал я вмешиваться в его хозяйственные распоряжения и передал его дела (как и он сам) распоряжению всевышнего.

Сие дружеских наших сношений нисколько, впрочем, не расстроило; ибо я, соболезнуя его слабости и пагубному нерадению, общему молодым нашим дворянам, искренно любил Ивана Петровича; да нельзя было и не любить молодого человека столь кроткого и честного. С своей стороны, Иван Петрович оказывал уважение к моим летам и сердечно был ко мне привержен. До самой кончины своей он почти каждый день со мною виделся, дорожа простою моею беседою, хотя ни привычками, ни образом мыслей, ни нравом мы большею частию друг с другом не сходились.

Иван Петрович вел жизнь самую умеренную, избегал всякого рода излишеств; никогда не случалось мне видеть его навеселе (что в краю нашем за неслыханное чудо

¹ *Отчина* – вид наследственного земельного владения; имение, доставшееся от отца.

² *Барщина* – даровой принудительный труд крестьян на полях помещиков.

³ *Оброк* – ежегодная плата деньгами или продуктами, которую крепостные крестьяне выплачивали помещику.

⁴ *Нарочито* – искусственно, умышленно, преднамеренно.

почесться может); к женскому же полу имел он великую склонность, но стыдливость была в нем истинно девическая.*

Кроме повестей, о которых в письме вашем упоминать изволите, Иван Петрович оставил множество рукописей, которые частью у меня находятся, частью употреблены его ключницею на разные домашние потребности. Таким образом прошлою зимою все окна ее флигеля заклеены были первою частию романа, которого он не кончил. Вышеупомянутые повести были, кажется, первым его опытом. Они, как сказывал Иван Петрович, большею частию справедливы и слышаны им от разных особ.** Однако ж имена в них почти все вымышлены им самим, а названия сел и деревень заимствованы из нашего околотка¹, отчего и моя деревня где-то упомянута. Сие произошло не от злого какого-либо намерения, но единственно от недостатка воображения.

Иван Петрович осенью 1828 года занемог простудною лихорадкою, обратившеюся в горячку, и умер, несмотря на неусыпные старания уездного нашего лекаря, человека весьма искусного, особенно в лечении закоренелых болезней, как-то мозолей и тому подобного. Он скончался на моих руках на 30-м году от рождения и похоронен в церкви села Горюхина близ покойных его родителей.

Иван Петрович был росту среднего, глаза имел серые, волосы русые, нос прямой; лицом был бел и худощав.

Вот, милостивый государь мой, всё, что мог я припомнить касательно образа жизни, занятий, нрава и наружности покойного соседа и приятеля моего. Но в случае, если заблагорассудите сделать из сего моего письма какое-либо употребление, всепокорнейше прошу никак имени моего не упоминать; ибо, хотя я весьма уважаю и люблю сочинителей, но в сие звание вступить полагаю излишним и в мои лета неприличным. С истинным моим почтением и проч.

1830 году Ноября 16.

Село Ненарово

Почитая долгом уважить волю почтенного друга автора нашего, приносим ему глубочайшую благодарность за доставленные нам известия и надеемся, что публика оценит их искренность и добродушие.

А. П.

* Следует анекдот, коего мы не помещаем, полагая его излишним; впрочем уверяем читателя, что он ничего предосудительного памяти Ивана Петровича Белкина в себе не заключает.

** В самом деле, в рукописи г. Белкина над каждой повестью рукою автора написано; слышно мною от *такой-то особы* (чин или звание и заглавные буквы имени и фамилии). Выписываем для любопытных изыскателей: *Смотритель* рассказан был ему титулярным советником А. Г. Н., *Выстрел* подполковником И. А. П., *Гробовщик* приказчиком Б. В., *Метель* и *Барышня* девицею К. И. Т.

¹ Околоток — окружающая местность, окрестность.



Выстрел

Стрелялись мы.
Баратынский.

Я поклялся застрелить его по праву дуэли
(за ним остался еще мой выстрел).
Вечер на бивуаке.

I.

Мы стояли в местечке ***. Жизнь армейского офицера известна. Утром ученье, манеж¹; обед у полкового командира или в жидовском трактире; вечером пунш² и карты. В *** не было ни одного открытого дома³, ни одной невесты; мы собирались друг у друга, где, кроме своих мундиров, не видали ничего.

Один только человек принадлежал нашему обществу, не будучи военным. Ему было около тридцати пяти лет, и мы за то почитали его стариком. Опытность давала ему перед нами многие преимущества; к тому же его обыкновенная угрюмость, крутой нрав и злой язык имели сильное влияние на молодые наши умы. Какая-то таинственность окружала его судьбу; он казался русским, а носил иностранное имя. Некогда он служил в гусарах, и даже счастливо; никто не знал причины, побудившей его выйти в отставку и поселиться в бедном местечке, где жил он вместе и бедно и расточительно: ходил вечно пешком, в изношенном черном сертуке, а держал открытый стол для всех офицеров нашего полка. Правда, обед его состоял из двух или трех блюд,

¹ Манеж – здание для выездки лошадей.

² Пунш – напиток из рома или водки с добавлением сахара, чая и фруктовых приправ.

³ Открытый дом – дом, в который можно прийти без приглашения.

изготовленных отставным солдатом, но шампанское лилось притом рекою. Никто не знал ни его состояния, ни его доходов, и никто не осмеливался о том его спрашивать. У него водились книги, большею частию военные, да романы. Он охотно давал их читать, никогда не требуя их назад; зато никогда не возвращал хозяину книги, им занятой. Главное упражнение его состояло в стрельбе из пистолета. Стены его комнаты были все источены пулями,¹ все в скважинах, как соты пчелиные. Богатое собрание пистолетов было единственной роскошью бедной мазанки², где он жил. Искусство, до коего достиг он, было неимоверно, и если б он вызвался пулей сбить грушу с фуражки кого б то ни было, никто б в нашем полку не усумнился подставить ему своей головы. Разговор между нами касался часто поединков; Сильвио (так назову его) никогда в него не вмешивался. На вопрос, случалось ли ему драться, отвечал он сухо, что случалось, но в подробности не входил, и видно было, что таковые вопросы были ему неприятны. Мы полагали, что на совести его лежала какая-нибудь несчастная жертва его ужасного искусства. Впрочем, нам и в голову не приходило подозревать в нем что-нибудь похожее на робость. Есть люди, коих одна наружность удаляет таковые подозрения. Нечаянный случай всех нас изумил.

Однажды человек десяти наших офицеров обедали у Сильвио. Пили по-обыкновенному, то есть очень много; после обеда стали мы уговаривать хозяина прометать нам банк³. Долго он отказывался, ибо никогда почти не играл; наконец велел подать карты, высыпал на стол полсотни червонцев и сел метать. Мы окружили его, и игра завязалась. Сильвио имел обыкновение за игрою хранить совершенное молчание, никогда не спорил и не объяснялся. Если понтёру⁴ случалось обсчитаться, то он тотчас или доплачивал достальное, или записывал лишнее. Мы уж это знали и не мешали ему хозяйничать по-своему; но между нами находился офицер, недавно к нам переведенный. Он, играя тут же, в рассеянности загнул лишний угол.⁵ Сильвио взял мел и уравнил счет по своему обыкновению. Офицер, думая, что он ошибся, пустился в объяснения. Сильвио молча продолжал метать. Офицер, потеряв терпение, взял щетку и стер то, что казалось ему напрасно записанным. Сильвио взял мел и записал снова. Офицер, разгоряченный вином, игрою и смехом товарищей, почел себя жестоко обиженным и, в бешенстве схватив со стола медный шандал⁶, пустил его в Сильвио, который едва успел отклониться от удара. Мы смутились. Сильвио встал, побледнев от злости, и с сверкающими глазами сказал: «Милостивый государь, извольте выйти, и благодарите бога, что это случилось у меня в доме».

¹ По воспоминаниям А. Ф. Фельтмана Пушкин в Бессарабии, пробуждаясь по утрам, развлекался, стреляя из пистолетов в стену.

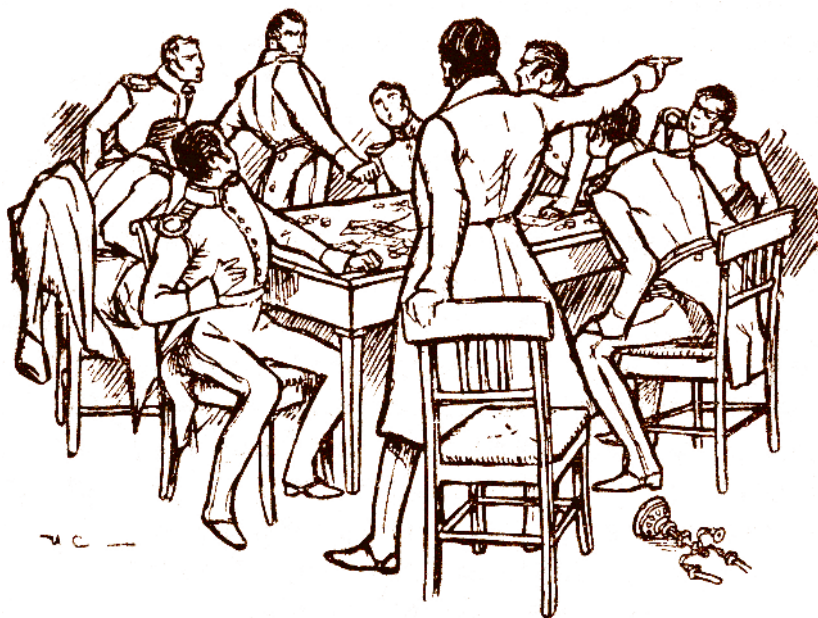
² Мазанка – домик или хата, стены которого обмазываются глиной и белятся.

³ Метать банк – раскладывать карты из своей колоды; речь о карточной игре Фараон.

⁴ Понтёр – человек, играющий против метателя банка, банкомёта.

⁵ Понтёр, положив свою карту на стол, мог загибать на ней углы, заявляя тем самым о кратном повышении своей ставки. Некоторые игроки, увидав, что их карта выиграла, могли незаметно загнуть на ней лишний угол, то есть, сжульничав, повысить свою ставку.

⁶ Шандал – массивный подсвечник.



Мы не сомневались в последствиях и полагали нового товарища уже убитым. Офицер вышел вон, сказав, что за обиду готов отвечать, как будет угодно господину банкомету. Игра продолжалась еще несколько минут; но, чувствуя, что хозяину было не до игры, мы отстали один за другим и разбрелись по квартирам, толкуя о скорой вакансии¹.

На другой день в манеже мы спрашивали уже, жив ли еще бедный поручик, как сам он явился между нами; мы сделали ему тот же вопрос. Он отвечал, что об Сильвио не имел он еще никакого известия. Это нас удивило. Мы пошли к Сильвио и нашли его на дворе, сажающего пулю на пулю в туза, приклеенного к воротам. Он принял нас по-обыкновенному, ни слова не говоря о вчерашнем происшествии. Прошло три дня, поручик был еще жив. Мы с удивлением спрашивали: неужели Сильвио не будет драться? Сильвио не дрался. Он довольствовался очень легким объяснением и помирился.

Это было чрезвычайно повредило ему во мнении молодежи. Недостаток смелости менее всего извиняется молодыми людьми, которые в храбрости обыкновенно видят верх человеческих достоинств и извинение всевозможных пороков. Однако ж мало-помалу всё было забыто, и Сильвио снова приобрел прежнее свое влияние.

Один я не мог уже к нему приблизиться. Имея от природы романическое воображение, я всех сильнее прежде сего был привязан к человеку, коего жизнь была загадкою и который казался мне героем таинственной какой-то повести. Он любил меня; по крайней мере со мной одним оставлял обыкновенное свое резкое злоречие и говорил о разных предметах с простодушием и необыкновенною приятностью. Но после несчастного вечера мысль, что честь его была замарана и не омыта по его собственной

¹ *Ваканция (вакансия) – незанятая должность.*

вине, эта мысль меня не покидала и мешала мне обходиться с ним по-прежнему; мне было совестно на него глядеть. Сильвио был слишком умен и опытен, чтобы этого не заметить и не угадывать тому причины. Казалось, это огорчало его; по крайней мере я заметил раза два в нем желание со мною объясниться; но я избегал таких случаев, и Сильвио от меня отступился. С тех пор видался я с ним только при товарищах, и прежние откровенные разговоры наши прекратились.

Рассеянные жители столицы не имеют понятия о многих впечатлениях, столь известных жителям деревень или городков, например об ожидании почтового дня: во вторник и пятницу полковая наша канцелярия бывала полна офицерами: кто ждал денег, кто письма, кто газет. Пакеты обыкновенно тут же распечатывались, новости сообщались, и канцелярия представляла картину самую оживленную. Сильвио получал письма, адресованные в наш полк, и обыкновенно тут же находился. Однажды подали ему пакет, с которого он сорвал печать с видом величайшего нетерпения. Пробегая письмо, глаза его сверкали. Офицеры, каждый занятый своими письмами, ничего не заметили. «Господа, – сказал им Сильвио, – обстоятельства требуют немедленного моего отсутствия; еду сегодня в ночь; надеюсь, что вы не откажетесь отобедать у меня в последний раз. Я жду и вас, – продолжал он, обратившись ко мне, – жду непременно». С сим словом он поспешно вышел; а мы, согласясь соединиться у Сильвио, разошлись каждый в свою сторону.

Я пришел к Сильвио в назначенное время и нашел у него почти весь полк. Всё его добро было уже уложено; оставались одни голые, простреленные стены. Мы сели за стол; хозяин был чрезвычайно в духе, и скоро веселость его соделалась общою; пробки хлопали поминутно, стаканы пенились и шипели беспрестанно, и мы со всевозможным усердием желали отъезжающему доброго пути и всякого блага. Встали из-за стола уже поздно вечером. При разборе фуражек Сильвио, со всеми прощаясь, взял меня за руку и остановил в ту самую минуту, как собирался я выйти. «Мне нужно с вами поговорить», – сказал он тихо. Я остался.

Гости ушли; мы остались вдвоем, сели друг противу друга и молча закурили трубки. Сильвио был озабочен; не было уже и следов его судорожной веселости. Мрачная бледность, сверкающие глаза и густой дым, выходящий изо рта, придавали ему вид настоящего дьявола. Прошло несколько минут, и Сильвио прервал молчание.

– Может быть, мы никогда больше не увидимся, – сказал он мне; – перед разлукой я хотел с вами объясниться. Вы могли заметить, что я мало уважаю постороннее мнение; но я вас люблю, и чувствую: мне было бы тягостно оставить в вашем уме несправедливое впечатление.

Он остановился и стал набивать выгоревшую свою трубку; я молчал, потупя глаза.

– Вам было странно, – продолжал он, – что я не требовал удовлетворения от этого пьяного сумасброда Р***. Вы согласитесь, что, имея право выбрать оружие, жизнь его была в моих руках, а моя почти безопасна: я мог бы приписать умеренность мою одному великодушию, но не хочу лгать. Если б я мог наказать Р***, не подвергая вовсе моей жизни, то я б ни за что не простил его.

Я смотрел на Сильвио с изумлением. Таковое признание совершенно смутило меня. Сильвио продолжал.

– Так точно: я не имею права подвергать себя смерти. Шесть лет тому назад я получил пощечину, и враг мой еще жив.

Любопытство мое сильно было возбуждено. – Вы с ним не дрались? – спросил я. – Обстоятельства, верно, вас разлучили?

– Я с ним дрался, – отвечал Сильвио, – и вот памятник нашего поединка.

Сильвио встал и вынул из картона¹ красную шапку с золотою кистью², с галуном (то, что французы называют *bonnet de police*³); он ее надел; она была прострелена на вершок⁴ ото лба.

– Вы знаете, – продолжал Сильвио, – что я служил в *** гусарском полку. Характер мой вам известен: я привык первенствовать, но смолоду это было во мне страстию. В наше время буйство было в моде: я был первым буйном по армии. Мы хвастались пьянством: я перепил славного Бурцова⁵, воспетого Денисом Давыдовым. Дуэли в нашем полку случались поминутно: я на всех бывал или свидетелем, или действующим лицом. Товарищи меня обожали, а полковые командиры, поминутно сменяемые, смотрели на меня, как на необходимое зло.

Я спокойно (или беспокойно) наслаждался моею славою, как определился к нам молодой человек богатой и знатной фамилии (не хочу назвать его). Отроду не встречал счастливца столь блистательного! Вообразите себе молодость, ум, красоту, веселость самую бешеную, храбрость самую беспечную, громкое имя, деньги, которым не знал он счета и которые никогда у него не переводились, и представьте себе, какое действие должен был он произвести между нами. Первенство мое поколебалось. Обольщенный моею славою, он стал было искать моего дружества; но я принял его холодно, и он безо всякого сожаления от меня удалился. Я его возненавидел. Успехи его в полку и в обществе женщин приводили меня в совершенное отчаяние. Я стал искать с ним ссоры; на эпиграммы мои отвечал он эпиграммами, которые всегда казались мне неожиданнее и острее моих и которые, конечно, не в пример были веселее: он шутил, а я злобствовал. Наконец однажды на бале у польского помещика, видя его предметом внимания всех дам, и особенно самой хозяйки, бывшей со мною в связи, я сказал ему на ухо какую-то плоскую грубость. Он вспыхнул и дал мне пощечину. Мы бросились к саблям; дамы попадали в обморок; нас растащили, и в ту же ночь поехали мы драться.

Это было на рассвете. Я стоял на назначенном месте с моими тремя секундантами. С неизъяснимым нетерпением ожидал я моего противника. Весеннее солнце взошло, и жар уже напевал. Я увидел его издали. Он шел пешком, с мундиром на сабле, сопровождаемый одним секундантом. Мы пошли к нему навстречу. Он приблизился, держа фуражку, наполненную черешнями. Секунданты отмерили нам двенадцать шагов. Мне должно было стрелять первому: но волнение злобы во мне было столь сильно, что я не понадеялся на верность руки и, чтобы дать себе время остыть, уступал ему первый выстрел; противник мой не соглашался. Положили бросить жребий: первый

¹ То есть из картонной коробки.

² В начале XIX красные шапки носили гусары Белорусского полка.

³ полицейская шапка (фр.).

⁴ Вершок – старая русская мера длины, равная длине верхней фаланги указательного пальца, примерно 4,4 см.

⁵ Алексей Петрович Бурцов – гусар, которому посвящены несколько стихотворений Дениса Давыдова; был знаменит небывалыми дебошами и гульбой.



номер достался ему, вечному любимцу счастья. Он прицелился и прострелил мне фуражку. Очередь была за мною. Жизнь его наконец была в моих руках; я глядел на него жадно, стараясь уловить хотя одну тень беспокойства... Он стоял под пистолетом, выбирая из фуражки спелые черешни и выплевывая косточки, которые долетали до меня¹. Его равнодушие взбесило меня. Что пользы мне, подумал я, лишить его жизни, когда он ею вовсе не дорожит? Злобная мысль мелькнула в уме моем. Я опустил пистолет. «Вам, кажется, теперь не до смерти, – сказал я ему, – вы изволите завтракать; мне не хочется вам помешать». – «Вы ничуть не мешаете мне, – возразил он, – извольте себе стрелять, а впрочем как вам угодно: выстрел ваш остается за вами; я всегда готов к вашим услугам». Я обратился к секундантам, объявив, что нынче стрелять не намерен, и поединок тем и кончился.

Я вышел в отставку и удалился в это местечко. С тех пор не прошло ни одного дня, чтоб я не думал о мщении. Ныне час мой настал...

Сильвио вынул из кармана утром полученное письмо и дал мне его читать. Кто-то (казалось, его поверенный по делам) писал ему из Москвы, что *известная особа* скоро должна вступить в законный брак с молодой и прекрасной девушкой.

– Вы догадываетесь, – сказал Сильвио, – кто эта *известная особа*. Еду в Москву. Посмотрим, так ли равнодушно примет он смерть перед своей свадьбой, как некогда ждал ее за черешнями!

При сих словах Сильвио встал, бросил об пол свою фуражку и стал ходить взад и вперед по комнате, как тигр по своей клетке. Я слушал его неподвижно; странные, противоположные чувства волновали меня.

¹ Биограф Пушкина П.И. Бартенев рассказывает, что в Кишиневе Пушкин, во время дуэли с прапорщиком Zubовым, завтракал черешнями, пока тот стрелял.

Слуга вошел и объявил, что лошади готовы. Сильвио крепко сжал мне руку; мы поцеловались. Он сел в тележку, где лежали два чемодана, один с пистолетами, другой с его пожитками. Мы простились еще раз, и лошади поскакали.

II.

Прошло несколько лет, и домашние обстоятельства принудили меня поселиться в бедной деревеньке Н** уезда. Занимаясь хозяйством, я не переставал тихонько вздыхать о прежней моей шумной и беззаботной жизни. Всего труднее было мне привыкнуть проводить осенние и зимние вечера в совершенном уединении. До обеда кое-как еще дотягивал я время, толкуя со старостой, разъезжая по работам¹ или обходя новые заведения; но коль скоро начинало смеркаться, я совершенно не знал куда деваться. Малое число книг, найденных мною под шкафами и в кладовой, были вытвержены мною наизусть. Все сказки, которые только могла запомнить ключница Кириловна, были мне пересказаны; песни баб наводили на меня тоску. Принялся я было за неподслащенную наливку, но от нее болела у меня голова; да признаюсь, побоялся я сделаться *пьяницею с горя*, т. е. самым *горьким* пьяницею, чему примеров множество видел я в нашем уезде. Близких соседей около меня не было, кроме двух или трех *горьких*, коих беседа состояла большею частию в икоте и воздыханиях. Уединение было сноснее.

В четырех верстах от меня находилось богатое поместье, принадлежащее графине Б***; но в нем жил только управитель, а графиня посетила свое поместье только однажды, в первый год своего замужства, и то прожила там не более месяца. Однако ж во вторую весну моего затворничества разнесся слух, что графиня с мужем приедет на лето в свою деревню. В самом деле, они прибыли в начале июня месяца.

Приезд богатого соседа есть важная эпоха для деревенских жителей. Помещики и их дворовые люди толкуют о том месяца два прежде и года три спустя. Что касается до меня, то, признаюсь, известие о прибытии молодой и прекрасной соседки сильно на меня подействовало; я горел нетерпением ее увидеть, и потому в первое воскресенье по ее приезде отправился после обеда в село *** рекомендоваться их сиятельствам, как ближайший сосед и всепокорнейший слуга.

Лакей ввел меня в графский кабинет, а сам пошел обо мне доложить. Обширный кабинет был убран со всевозможною роскошью; около стен стояли шкафы с книгами, и над каждым бронзовый бюст; над мраморным камином было широкое зеркало; пол обит был зеленым сукном и устлан коврами. Отвыкнув от роскоши в бедном углу моем и уже давно не видав чужого богатства, я оробел и ждал графа с каким-то трепетом, как проситель из провинции ждет выхода министра. Двери отворились, и вошел мужчина лет тридцати двух, прекрасный собою. Граф приблизился ко мне с видом открытым и дружелюбным; я старался ободриться и начал было себя рекомендовать, но он предупредил меня. Мы сели. Разговор его, свободный и любезный, вскоре рассеял мою одичалую застенчивость; я уже начинал входить в обыкновенное мое положение, как вдруг вошла графиня, и смущение овладело мною пуще прежнего. В самом деле, она была красавица. Граф представил меня; я хотел казаться развязным, но чем больше старался взять на себя вид непринужденности, тем более чувствовал себя

¹ то есть инспектируя работы крепостных.

неловким. Они, чтоб дать мне время оправиться и привыкнуть к новому знакомству, стали говорить между собою, обходясь со мною как с добрым соседом и без церемонии. Между тем я стал ходить взад и вперед, осматривая книги и картины. В картинах я не знаток, но одна привлекла мое внимание. Она изображала какой-то вид из Швейцарии; но поразила меня в ней не живопись, а то, что картина была прострелена двумя пулями, всаженными одна на другую.

– Вот хороший выстрел, – сказал я, обращаясь к графу.

– Да, – отвечал он, – выстрел очень замечательный. А хорошо вы стреляете? продолжал он.

– Изрядно, – отвечал я, обрадовавшись, что разговор коснулся наконец предмета, мне близкого. – В тридцати шагах промаху в карту не дам, разумеется из знакомых пистолетов.

– Право? – сказала графиня, с видом большой внимательности; – а ты, мой друг, попадешь ли в карту на тридцати шагах?

– Когда-нибудь, – отвечал граф, – мы попробуем. В свое время я стрелял не худо; но вот уже четыре года, как я не брал в руки пистолета.

– О, – заметил я, – в таком случае бьюсь об заклад, что ваше сиятельство не попадете в карту и в двадцати шагах: пистолет требует ежедневного упражнения. Это я знаю на опыте. У нас в полку я считался одним из лучших стрелков. Однажды случилось мне целый месяц не брать пистолета: мои были в починке; что же бы вы думали, ваше сиятельство? В первый раз, как стал потом стрелять, я дал сряду четыре промаха по бутылке в двадцати пяти шагах. У нас был ротмистр, остряк, забавник; он тут случился и сказал мне: знать у тебя, брат, рука не подымается на бутылку. Нет, ваше сиятельство, не должно пренебрегать этим упражнением, не то отвыкнешь как раз. Лучший стрелок, которого удалось мне встречать, стрелял каждый день, по крайней мере три раза перед обедом. Это у него было заведено, как рюмка водки.

Граф и графиня рады были, что я разговорился.

– А какво стрелял он? – спросил меня граф.

– Да вот как, ваше сиятельство: бывало, увидит он, села на стену муха: вы смеетесь, графиня? Ей-богу, правда. Бывало, увидит муху и кричит: «Кузька, пистолет!» Кузька и несет ему заряженный пистолет. Он хлоп, и вдавливает муху в стену!

– Это удивительно! – сказал граф, – а как его звали?

– Сильвио, ваше сиятельство.

– Сильвио! – вскричал граф, вскочив со своего места; – вы знали Сильвио?

– Как не знать, ваше сиятельство; мы были с ним приятели; он в нашем полку принят был, как свой брат товарищ; да вот уж лет пять, как об нем не имею никакого известия. Так и ваше сиятельство, стало быть, знали его?

– Знал, очень знал. Не рассказывал ли он вам... но нет; не думаю; не рассказывал ли он вам одного очень странного происшествия?

– Не пощечина ли, ваше сиятельство, полученная им на бале от какого-то повесы?

– А сказывал он вам имя этого повесы?

– Нет, ваше сиятельство, не сказывал... Ах! ваше сиятельство, – продолжал я, догадываясь об истине, – извините... я не знал... уж не вы ли?..

– Я сам, – отвечал граф с видом чрезвычайно расстроенным, – а простреленная картина есть памятник последней нашей встречи...

– Ах, милый мой, сказала графиня, – ради бога не рассказывай; мне страшно будет слушать.

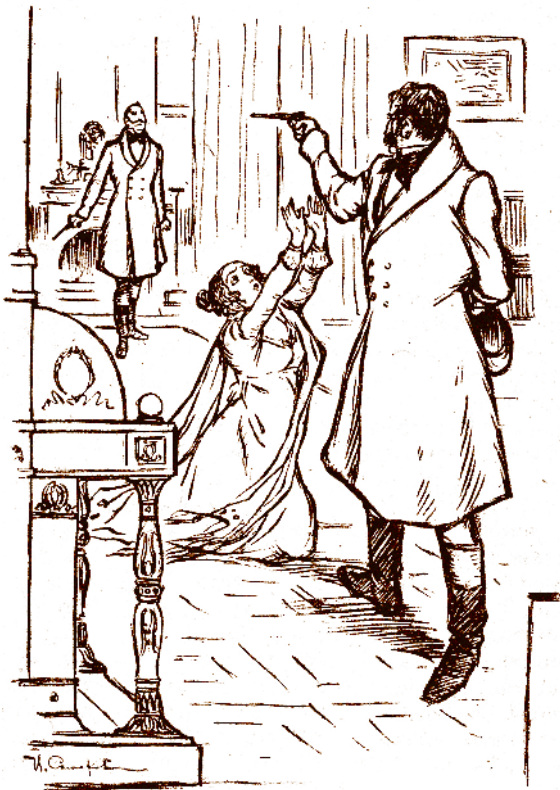
– Нет, – возразил граф, – я всё расскажу; он знает, как я обидел его друга: пусть же узнает, как Сильвио мне отомстил.

Граф подвинул мне кресла, и я с живейшим любопытством услышал следующий рассказ.

«Пять лет тому назад я женился. – Первый месяц, the honeymoon¹, провел я здесь, в этой деревне. Этому дому обязан я лучшими минутами жизни и одним из самых тяжелых воспоминаний.

Однажды вечером ездили мы вместе верхом; лошадь у жены что-то заупрямилась; она испугалась, отдала мне поводья и пошла пешком домой; я поехал вперед. На дворе увидел я дорожную телегу; мне сказали, что у меня в кабинете сидит человек, не хотевший объявить своего имени, но

сказавший просто, что ему до меня есть дело. Я вошел в эту комнату и увидел в темноте человека, запыленного и обросшего бородой; он стоял здесь у камина. Я подошел к нему, стараясь припомнить его черты. «Ты не узнал меня, граф?» – сказал он дрожащим голосом. «Сильвио!» – закричал я, и, признаюсь, я почувствовал, как волосы стали вдруг на мне дыбом. «Так точн, – продолжал он, – выстрел за мною; я приехал разрядить мой пистолет; готов ли ты? Пистолет у него торчал из бокового кармана. Я отмерил двенадцать шагов и стал там в углу, прося его выстрелить скорее, пока жена не воротилась. Он медлил – он спросил огня. Подали свечи. Я запер двери, не велел никому входить и снова просил его выстрелить. Он вынул пистолет и прицелился... Я считал секунды... я думал о ней... Ужасная прошла минута! Сильвио опустил руку. «Жалею, – сказал он, – что пистолет заряжен не черешневыми косточками... пуля тяжела. Мне всё кажется, что у нас не дуэль, а убийство: я не привык целить в безоружного. Начнем сызнова; кинем жребий, кому стрелять первым». Голова моя шла кругом... Кажется, я не соглашался... Наконец мы зарядили еще пистолет; свернули два билета; он положил их в фуражку, некогда мною простреленную; я вынул опять первый номер. «Ты, граф, дьявольски счастлив», – сказал он с усмешкою, которой никогда не забуду. Не понимаю, что со мною было и каким образом мог он меня к

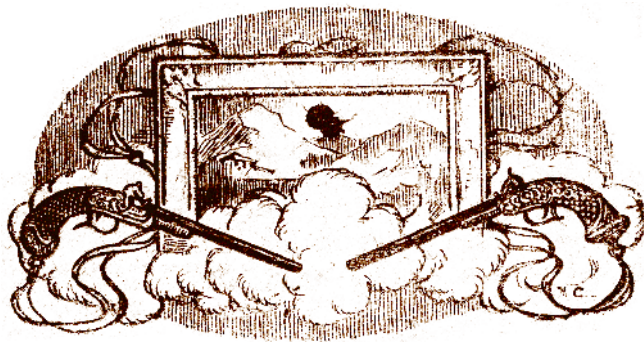


¹ медовый месяц (англ.).

тому принудить... но – я выстрелил, и попал вот в эту картину. (Граф указывал пальцем на простреленную картину; лицо его горело как огонь; графиня была бледнее своего платка: я не мог воздержаться от восклицания.)

– Я выстрелил, – продолжал граф, – и, слава богу, дал промах; тогда Сильвио... (в эту минуту он был, право, ужасен) Сильвио стал в меня прицеливаться. Вдруг двери открылись, Маша вбегает и с визгом кидается мне на шею. Ее присутствие возвратило мне всю бодрость. «Милая, – сказал я ей, – разве ты не видишь, что мы шутим? Как же ты перепугалась! поди, выпей стакан воды и приди к нам; я представляю тебе старинного друга и товарища». Маше всё еще не верилось. «Скажите, правду ли муж говорит? – сказала она, обращаясь к грозному Сильвио, – правда ли, что вы оба шутите?» – «Он всегда шутит, графиня, – отвечал ей Сильвио; однажды дал он мне шутя пощечину, шутя прострелил мне вот эту фуражку, шутя дал сейчас по мне промах; теперь и мне пришла охота пошутить...» С этим словом он хотел в меня прицелиться... при ней! Маша бросилась к его ногам. «Встань, Маша, стыдно! – закричал я в бешенстве; – а вы, сударь, перестанете ли издеваться над бедной женщиной? Будете ли вы стрелять или нет?» – «Не буду, – отвечал Сильвио, – я доволен: я видел твоё смятение, твою робость; я заставил тебя выстрелить по мне, с меня довольно. Будешь меня помнить. Предаю тебя твоей совести». Тут он было вышел, но остановился в дверях, оглянувшись на простреленную мною картину, выстрелил в нее, почти не целясь, и скрылся. Жена лежала в обмороке; люди не смели его остановить и с ужасом на него глядели; он вышел на крыльцо, кликнул ямщика и уехал, прежде чем успел я опомниться».

Граф замолчал. Таким образом узнал я конец повести, коей начало некогда так поразило меня. С героем оной уже я не встречался. Сказывают, что Сильвио, во время возмущения Александра Ипсиланти¹, предводительствовал отрядом этеристов² и был убит в сражении под Скулянами³.



¹ Александр Ипсиланти – национальный герой Греции, возглавивший в 1821 году борьбу страны с турецким игом.

² Этеристы – члены тайного общества греков, ставившего своей целью независимость греческого государства.

³ Под Скулянами (современный молдавский город Скулень) в июне 1821 года произошло знаменитое сражение между османскими турками и борцами за независимость Греции.



Метель

Кони мчатся по буграм,
Топчут снег глубокой...
Вот в сторонке божий храм
Виден одинокой.

.....

Вдруг метелица кругом;
Снег валит клоками;
Черный вран, свистя крылом,
Вьется над санями;
Вещий стон гласит печаль!
Кони торопливы
Чутко смотрят в темну даль,
Воздымая гривы...

Жуковский.

В конце 1811 года, в эпоху нам достопамятную, жил в своем поместье Ненададове добрый Гаврила Гаврилович Р**. Он славился во всей округе гостеприимством и радушием; соседи поминутно ездили к нему поесть, попить, поиграть по пяти копеек в бостон¹ с его женою, а некоторые для того, чтоб поглядеть на дочку их, Марью Гавриловну, стройную, бледную и семнадцатилетнюю девицу. Она считалась богатой невестою, и многие прочили ее за себя или за сыновей.

Марья Гавриловна была воспитана на французских романах, и, следственно, была влюблена. Предмет, избранный ею, был бедный армейский прапорщик, находившийся в отпуску в своей деревне. Само по себе разумеется, что молодой человек пылал равною страстию и что родители его любезной, заметя их взаимную склонность, запретили дочери о нем и думать, а его принимали хуже, нежели отставного заседателя.

Наши любовники были в переписке, и всякий день видались наедине в сосновой роще или у старой часовни. Там они клялись друг другу в вечной любви, сетовали

¹ Бостон – карточная игра, возникшая в XVIII веке; похожа на вист.

на судьбу и делали различные предположения. Переписываясь и разговаривая таким образом, они (что весьма естественно) дошли до следующего рассуждения: если мы друг без друга дышать не можем, а воля жестоких родителей препятствует нашему благополучию, то нельзя ли нам будет обойтись без нее? Разумеется, что эта счастливая мысль пришла сперва в голову молодому человеку и что она весьма понравилась романическому воображению Марьи Гавриловны.

Наступила зима и прекратила их свидания; но переписка сделалась тем живее. Владимир Николаевич в каждом письме умолял ее предаться ему, венчаться тайно, скрываться несколько времени, броситься потом к ногам родителей, которые, конечно, будут тронуты наконец героическим постоянством и несчастьем любовников и скажут им непременно: «Дети! придите в наши объятия».

Марья Гавриловна долго колебалась; множество планов побега было отвергнуто. Наконец она согласилась: в назначенный день она должна была не ужинать и удалиться в свою комнату под предлогом головной боли. Девушка ее была в заговоре; обе они должны были выйти в сад через заднее крыльцо, за садом найти готовые сани, садиться в них и ехать за пять верст от Ненарадова в село Жадрино, прямо в церковь, где уж Владимир должен был их ожидать.

Накануне решительного дня Марья Гавриловна не спала всю ночь; она укладывалась, увязывала белье и платье, написала длинное письмо к одной чувствительной барышне, ее подруге, другое к своим родителям. Она прощалась с ними в самых трогательных выражениях, извиняла свой проступок неодолимою силою страсти и оканчивала тем, что блаженнейшею минутою жизни почтет она ту, когда позволено будет ей броситься к ногам дражайших ее родителей. Запечатав оба письма тульской печаткою, на которой изображены были два пылающие сердца с приличной¹ надписью, она бросилась на постель перед самым рассветом и задремала; но и тут ужасные мечтания поминутно ее пробуждали. То казалось ей, что в самую минуту, как она садилась в сани, чтоб ехать венчаться, отец ее останавливал ее, с мучительной быстротою тащил ее по снегу и бросал в темное, бездонное подземелие... и она летела стремглав с неизъяснимым замиранием сердца; то видела она Владимира, лежащего на траве, бледного, окровавленного. Он, умирая, молил ее пронзительным голосом поспешить с ним обвенчаться... другие безобразные, бессмысленные видения неслись перед нею одно за другим. Наконец она встала, бледнее обыкновенного и с непритворной головною болью. Отец и мать заметили ее беспокойство; их нежная заботливость и беспрестанные вопросы: что с тобою, Маша? не больна ли ты, Маша? – раздирали ее сердце. Она старалась их успокоить, казаться веселою, и не могла. Наступил вечер. Мысль, что уже в последний раз провожает она день посреди своего семейства, стесняла ее сердце. Она была чуть жива; она втайне прощалась со всеми особами, со всеми предметами, ее окружавшими.

Подали ужинать; сердце ее сильно забилося. Дрожащим голосом объявила она, что ей ужинать не хочется, и стала прощаться с отцом и матерью. Они ее поцеловали и, по обыкновению, благословили: она чуть не заплакала. Пришед в свою комнату, она кинулась в кресла и залилась слезами. Девушка уговаривала ее успокоиться и ободриться. Всё было готово. Через полчаса Маша должна была навсегда оставить

¹ приличной здесь – подобающей.



родительский дом, свою комнату, тихую девическую жизнь... На дворе была метель; ветер выл, ставни тряслись и стучали; всё казалось ей угрозой и печальным предзнаменованием. Скоро в доме всё утихло и заснуло. Маша укуталась шалью, надела теплый капот¹, взяла в руки шкатулку свою и вышла на заднее крыльцо. Служанка несла за нею два узла. Они сошли в сад. Метель не утихала; ветер дул навстречу, как будто силясь остановить молодую преступницу. Они насилу дошли до конца сада. На дороге сани дожидались их. Лошади, прозябнув, не стояли на месте; кучер Владимира расхаживал перед оглоблями, удерживая ретивых. Он помог барышне и ее девушке усесться и уложить узлы и шкатулку, взял вожжи, и лошади полетели. Поручив барышню попечению судьбы и искусству Терешки кучера, обратится к молодому нашему любовнику.

Целый день Владимир был в разъезде. Утром был он у жадринского священника; насилу с ним уговорился; потом поехал искать свидетелей между соседними помещиками. Первый, к кому явился он, отставной сорокалетний корнет Дравин, согласился с охотою. Это приключение, уверял он, напоминало ему прежнее время и гусарские проказы. Он уговорил Владимира остаться у него отобедать и уверил его, что за другими двумя свидетелями дело не станет. В самом деле, тотчас после обеда явились землемер Шмит в усах и шпорах, и сын капитан-исправника², мальчик лет шестнадцати, недавно поступивший в уланы. Они не только приняли предложение Владимира, но даже клялись ему в готовности жертвовать для него жизнью. Владимир обнял их с восторгом и поехал домой приготовляться.

Уже давно смеркалось. Он отправил своего надежного Терешку в Ненарадово с своею тройкою и с подробным, обстоятельным наказом, а для себя велел заложить маленькие сани в одну лошадь, и один без кучера отправился в Жадрино, куда часа через два должна была приехать и Марья Гавриловна. Дорога была ему знакома, а езды всего двадцать минут.

Но едва Владимир выехал за околицу в поле, как поднялся ветер и сделалась такая метель, что он ничего не взвидел. В одну минуту дорогу занесло; окрестность исчезла

¹ *Капот* – женская верхняя одежда, не приталенное пальто.

² *Капитан-исправник* – полуофициальное название судебных и полицейских должностей в Российской империи.

во мгле мутной и желтоватой, сквозь которую летели белые хлопья снегу; небо слилось с землею. Владимир очутился в поле и напрасно хотел снова попасть на дорогу; лошадь ступала наудачу и поминутно то взъезжала на сугроб, то проваливалась в яму; сани поминутно опрокидывались. Владимир старался только не потерять настоящего направления. Но ему казалось, что уже прошло более получаса, а он не доезжал еще до Жадринской рощи. Прошло еще около десяти минут; рощи всё было не видать. Владимир ехал полем, пересеченным глубокими оврагами. Метель не утихала, небо не прояснялось. Лошадь начинала уставать, а с него пот катился градом, несмотря на то, что он поминутно был по пояс в снегу.

Наконец он увидел, что едет не в ту сторону. Владимир остановился: начал думать, припоминать, соображать – и уверился, что должно было взять ему вправо. Он поехал вправо. Лошадь его чуть ступала. Уже более часа был он в дороге. Жадрино должно было быть недалеко. Но он ехал, ехал, а поля не было конца. Всё сугробы да овраги; поминутно сани опрокидывались, поминутно он их подымал. Время шло; Владимир начинал сильно беспокоиться.

Наконец в стороне что-то стало чернеть. Владимир поворотил туда. Приближаясь, увидел он рощу. Слава богу, подумал он, теперь близко. Он поехал около рощи, надеясь тотчас попасть на знакомую дорогу или объехать рощу кругом: Жадрино находилось тотчас за нею. Скоро нашел он дорогу и въехал во мрак деревьев, обнаженных зимою. Ветер не мог тут свирепствовать; дорога была гладкая; лошадь ободрилась, и Владимир успокоился.

Но он ехал, ехал, а Жадрина было не видать; роще не было конца. Владимир с ужасом увидел, что он заехал в незнакомый лес. Отчаяние овладело им. Он ударил по лошади; бедное животное пошло было рысью, но скоро стало приставать и через четверть часа пошло шагом, несмотря на все усилия несчастного Владимира.

Мало-помалу деревья начали редеть, и Владимир выехал из лесу; Жадрина было не видать. Должно было быть около полуночи. Слезы брызнули из глаз его; он поехал наудачу. Погода утихла, тучи расходились, перед ним лежала равнина, устланная белым волнистым ковром. Ночь была довольно ясна. Он увидел недалеко деревушку, состоящую из четырех или пяти дворов. Владимир поехал к ней. У первой избытки он выпрыгнул из саней, подбежал к окну и стал стучаться. Через несколько минут деревянный ставень поднялся, и старик высунул свою седую бороду. «Что те надо?» – «Далеко ли Жадрино?» – «Жадрино-то далеко ли?» – «Да, да! Далеко ли?» – «Недалече; верст десяток будет». При сем ответе Владимир схватил себя за волосы и остался недвижим, как человек, приговоренный к смерти.

«А отколе ты?» – продолжал старик. Владимир не имел духа отвечать на вопросы. «Можешь ли ты, старик, – сказал он, – достать мне лошадей до Жадрина?» – «Каки у нас лошади, – отвечал мужик. «Да не могу ли взять хоть проводника? Я заплачу, сколько ему будет угодно». – «Постой, – сказал старик, опуская ставень, – я те сына вышлю; он те проводит». Владимир стал дожидаться. Не прошло минуты, он опять начал стучаться. Ставень поднялся, борода показалась. «Что те надо?» – «Что ж твой сын?» – «Сейчас выдет, обувается. Али ты прозяб? взойди погреться». – «Благодарю, высылай скорее сына».

Ворота заскрыпели; парень вышел с дубиною и пошел вперед, то указывая, то отыскивая дорогу, занесенную снеговыми сугробами. «Который час?» – спросил

его Владимир. «Да уж скоро рассветнет», – отвечал молодой мужик. Владимир не говорил уже ни слова.

Пели петухи и было уже светло, как достигли они Жадрина. Церковь была запечатая. Владимир заплатил проводнику и поехал на двор к священнику. На дворе тройки его не было. Какое известие ожидало его!

Но возвратимся к добрым ненададовским помещикам и посмотрим, что-то у них делается.

А ничего.

Старики проснулись и вышли в гостиную. Гаврила Гаврилович в колпаке и байковой куртке, Прасковья Петровна в шляфровке¹ на вате. Подали самовар, и Гаврила Гаврилович послал девчонку узнать от Марьи Гавриловны, каково ее здоровье и как она почивала. Девчонка воротилась, объявляя, что барышня почивала-де дурно, но что ей-де теперь легче и что она-де сейчас придет в гостиную. В самом деле, дверь отворилась, и Марья Гавриловна подошла здороваться с папенькой и с маменькой.

«Что твоя голова, Маша?» – спросил Гаврила Гаврилович. «Лучше, папенька», – отвечала Маша. «Ты, верно, Маша, вчера угорела», – сказала Прасковья Петровна. «Может быть, маменька», – отвечала Маша.

День прошел благополучно, но в ночь Маша занемогла. Послали в город за лекарем. Он приехал к вечеру и нашел больную в бреду. Открылась сильная горячка, и бедная больная две недели находилась у края гроба.

Никто в доме не знал о предположенном побеге. Письма, накануне ею написанные, были сожжены; ее горничная никому ни о чем не говорила, опасаясь гнева господ. Священник, отставной корнет, усатый землемер и маленький улан были скромны, и недаром. Терешка кучер никогда ничего лишнего не высказывал, даже и во хмелю. Таким образом тайна была сохранена более, чем полудюжиною заговорщиков. Но Марья Гавриловна сама в беспрестанном бреду высказывала свою тайну. Однако ж ее слова были столь несообразны ни с чем, что мать, не отходявшая от ее постели, могла понять из них только то, что дочь ее была смертельно влюблена во Владимира Николаевича и что, вероятно, любовь была причиной ее болезни. Она советовалась со своим мужем, с некоторыми соседями, и наконец единогласно все решили, что видно такова была судьба Марьи Гавриловны, что суженого конем не объедешь, что бедность не порок, что жить не с богатством, а с человеком, и тому подобное. Нравственные поговорки бывают удивительно полезны в тех случаях, когда мы от себя мало что можем выдумать себе в оправдание.

Между тем барышня стала выздоравливать. Владимира давно не видно было в доме Гаврилы Гавриловича. Он был напуган обыкновенным приемом. Положили послать за ним и объявить ему неожиданное счастье: согласие на брак. Но каково было изумление ненададовских помещиков, когда в ответ на их приглашение получили они от него полусумасшедшее письмо! Он объявлял им, что нога его не будет никогда в их доме, и просил забыть о несчастном, для которого смерть остается единою надеждою. Через несколько дней узнали они, что Владимир уехал в армию. Это было в 1812 году.

¹ Шляфрок – халат; от нем. *schlafen* – спать, и *Rock* – сюртук.

Долго не смели объявить об этом выздоравливающей Маше. Она никогда не упоминала о Владимире. Несколько месяцев уже спустя, нашед имя его в числе отличившихся и тяжело раненных под Бородиным, она упала в обморок, и боялись, чтоб горячка ее не возвратилась. Однако, слава богу, обморок не имел последствия.

Другая печаль ее посетила: Гаврила Гаврилович скончался, оставя ее наследницей всего имения. Но наследство не утешало ее; она разделяла искренно горесть бедной Прасковьи Петровны, клялась никогда с нею не расставаться; обе они оставили Ненарадово, место печальных воспоминаний, и поехали жить в ***ское поместье.

Женихи кружились и тут около милой и богатой невесты; но она никому не подавала и малейшей надежды. Мать иногда уговаривала ее выбрать себе друга; Марья Гавриловна качала головой и задумывалась. Владимир уже не существовал: он умер в Москве, накануне вступления французов. Память его казалась священной для Маши; по крайней мере она берегла всё, что могло его напомнить: книги, им некогда прочитанные, его рисунки, ноты и стихи, им переписанные для нее. Соседи, узнав обо всем, дивились ее постоянству и с любопытством ожидали героя, долженствовавшего наконец восторжествовать над печальной верностью этой девственной Артемизы¹.

Между тем война со славою была кончена. Полки наши возвращались из-за границы. Народ бежал им навстречу. Музыка играла завоеванные песни: *Vive Henri-Quatre*², тирольские вальсы и арии из Жоконда³. Офицеры, ушедшие в поход почти отроками, возвращались, возмужав на бранном воздухе, обвешанные крестами. Солдаты весело разговаривали между собою, вмешивая поминутно в речь немецкие и французские слова. Время незабвенное! Время славы и восторга! Как сильно билось русское сердце при слове *отечество*! Как сладки были слёзы свидания! С каким единодушием мы соединяли чувства народной гордости и любви к государю! А для него какая была минута!

Женщины, русские женщины были тогда бесподобны. Обыкновенная холодность их исчезла. Восторг их был истинно упоителен, когда, встречая победителей, кричали они: *ура*!

И в воздух чепчики бросали.⁴

Кто из тогдашних офицеров не сознается, что русской женщине обязан он был лучшей, драгоценнейшей наградою?..

В это блистательное время Марья Гавриловна жила с матерью в *** губернии и не видала, как обе столицы праздновали возвращение войск. Но в уездах и деревнях общий восторг, может быть, был еще сильнее. Появление в сих местах офицера было для него настоящим торжеством, и любовнику во фраке плохо было в его соседстве.

¹ Артемизия – супруга карийского правителя Мавзола, жившего в IV в. до н.э.; прославилась из-за своей невероятной скорби по умершему мужу.

² Да здравствует Генрих четвертый! (фр.) – популярная французская песня.

³ Имеются в виду арии из комической оперы Николо Изуара «Жоконд, или Искатель приключений»; эта опера с успехом шла в Париже, когда там стояли русские войска.

⁴ Крылатая строчка из комедии «Горе от ума».

Мы уже сказывали, что, несмотря на ее холодность, Марья Гавриловна всё по-прежнему окружена была искателями. Но все должны были отступить, когда явился в ее замке раненый гусарский полковник Бурмин, с Георгием в петлице¹ и с *интересной бледностью*, как говорили тамошние барышни. Ему было около двадцати шести лет. Он приехал в отпуск в свои поместья, находившиеся по соседству деревни Марьи Гавриловны. Марья Гавриловна очень его отличала. При нем обыкновенная задумчивость ее оживлялась. Нельзя было сказать, чтоб она с ним кокетничала; но поэт, заметя ее поведение, сказал бы:

Se amor non è che dunque?...²

Бурмин был в самом деле очень милый молодой человек. Он имел именно тот ум, который нравится женщинам: ум приличия и наблюдения, безо всяких притязаний и беспечно насмешливый. Поведение его с Марьей Гавриловной было просто и свободно; но что бы она ни сказала или ни сделала, душа и взоры его так за нею и следовали. Он казался нрава тихого и скромного, но молва уверяла, что некогда был он ужасным повесою, и это не вредило ему во мнении Марьи Гавриловны, которая (как и все молодые дамы вообще) с удовольствием извиняла шалости, обнаруживающие смелость и пылкость характера.

Но более всего... (более его нежности, более приятного разговора, более интересной бледности, более перевязанной руки) молчание молодого гусара более всего подстрекало ее любопытство и воображение. Она не могла не сознаваться в том, что она очень ему нравилась; вероятно, и он, с своим умом и опытностью, мог уже заметить, что она отличала его: каким же образом до сих пор не видала она его у своих ног и еще не слыхала его признания? Что удерживало его? робость, неразлучная с истинною любовью, гордость или кокетство хитрого волокиты? Это было для нее загадкою. Подумав хорошенько, она решила, что робость была единственной тому причиною, и положила ободрить его большею внимательностью и, смотря по обстоятельствам, даже нежностью. Она приготавливала развязку самую неожиданную и с нетерпением ожидала минуты романического объяснения. Тайна, какого рода ни была бы, всегда тягостна женскому сердцу. Ее военные действия имели желаемый успех: по крайней мере Бурмин впал в такую задумчивость и черные глаза его с таким огнем останавливались на Марье Гавриловне, что решительная минута, казалось, уже близка. Соседи говорили о свадьбе, как о деле уже конченном, а добрая Прасковья Петровна радовалась, что дочь ее наконец нашла себе достойного жениха.

Старушка сидела однажды одна в гостиной, раскладывая гранпасьянс, как Бурмин вошел в комнату и тотчас осведомился о Марье Гавриловне. «Она в саду, — отвечала старушка, — подите к ней, а я вас буду здесь ожидать». Бурмин пошел, а старушка перекрестилась и подумала: авось дело сегодня же кончится!

Бурмин нашел Марью Гавриловну у пруда, под ивою, с книгою в руках и в белом платье, настоящей героинею романа. После первых вопросов Марья Гавриловна нарочно перестала поддерживать разговор, усиливая таким образом взаимное замешательство, от которого можно было избавиться разве только незапным и решительным

¹ С военным орденом Святого Великомученика и Победоносца Георгия IV степени.

² Если это не любовь, так что же? (итал.); строчка одного из сонетов Петрарки.



объяснением. Так и случилось: Бурмин, чувствуя затруднительность своего положения, объявил, что искал давно случая открыть ей свое сердце, и потребовал минуты внимания. Марья Гавриловна закрыла книгу и потупила глаза в знак согласия.

«Я вас люблю, – сказал Бурмин, – я вас люблю страстно...» (Марья Гавриловна покраснела и наклонила голову еще ниже). «Я поступил неосторожно, предаваясь милой привычке, привычке видеть и слышать вас ежедневно...»

(Марья Гавриловна вспомнила первое письмо St.-Preux¹). «Теперь уже поздно противиться судьбе моей; воспоминание об вас, ваш милый, несравненный образ отныне будет мучением и отрадою жизни моей; но мне еще остается исполнить тяжелую обязанность, открыть вам ужасную тайну и положить между нами непреодолимую преграду...» – «Она всегда существовала, – прервала с живостию Марья Гавриловна, – я никогда не могла быть вашею женою...» – «Знаю, – отвечал он ей тихо, – знаю, что некогда вы любили, но смерть и три года сетований... Добрая, милая Марья Гавриловна! не старайтесь лишить меня последнего утешения: мысль, что вы бы согласились сделать мое счастье, если бы... молчите, ради бога, молчите. Вы терзаете меня. Да, я знаю, я чувствую, что вы были бы моею, но – я несчастнейшее создание... я женат!»

Марья Гавриловна взглянула на него с удивлением.

– Я женат, – продолжал Бурмин, – я женат уже четвертый год и не знаю, кто моя жена, и где она, и должен ли свидеться с нею когда-нибудь!

– Что вы говорите? – воскликнула Марья Гавриловна, – как это странно! Продолжайте; я расскажу после... но продолжайте, сделайте милость.

– В начале 1812 года, – сказал Бурмин, – я спешил в Вильну, где находился наш полк. Приехав однажды на станцию поздно вечером, я велел было поскорее закладывать лошадей, как вдруг поднялась ужасная метель, и смотритель и ямщики советовали мне переждать. Я их послушался, но непонятное беспокойство овладело мною; казалось, кто-то меня так и толкал. Между тем метель не унималась; я не вытерпел, приказал опять закладывать и поехал в самую бурю. Ямщику вздумалось ехать рекою, что должно было сократить нам путь тремя верстами. Берега были занесены; ямщик проехал мимо того места, где выезжали на дорогу, и таким образом очутились мы

¹ Сен-Прё (фр.); из романа в письмах «Юлия, или Новая Элоиза» Жан-Жака Руссо.

в незнакомой стороне. Буря не утихала; я увидел огонек и велел ехать туда. Мы приехали в деревню; в деревянной церкви был огонь. Церковь была отворена, за оградой стояло несколько саней; по паперти ходили люди. «Сюда! сюда!» – закричало несколько голосов. Я велел ямщику подъехать. «Помилуй, где ты замешкался? – сказал мне кто-то, – невеста в обмороке; поп не знает, что делать; мы готовы были ехать назад. Выходи же скорее». Я молча выпрыгнул из саней и вошел в церковь, слабо освещенную двумя или тремя свечами. Девушка сидела на лавочке в темном углу церкви; другая терла ей виски. «Слава богу, – сказала эта, – насилу вы приехали. Чуть было вы барышню не уморили». Старый священник подошел ко мне с вопросом: «Прикажете начинать?» – «Начинайте, начинайте, батюшка, – отвечал я рассеянно. Девушку подняли. Она показалась мне недурна... Непонятная, непростительная ветренность... я стал подле нее перед налоем¹; священник торопился; трое мужчин и горничная поддерживали невесту и заняты были только ею. Нас обвенчали. «Поцелуйтесь, – сказали нам. Жена моя обратила ко мне бледное свое лицо. Я хотел было ее поцеловать... Она вскрикнула: «Ай, не он! не он!» – и упала без памяти. Свидетели устремили на меня испуганные глаза. Я повернулся, вышел из церкви безо всякого препятствия, бросился в кибитку и закричал: «Пошел!»

– Боже мой! – закричала Марья Гавриловна, – и вы не знаете, что сделалось с бедной вашей женою?

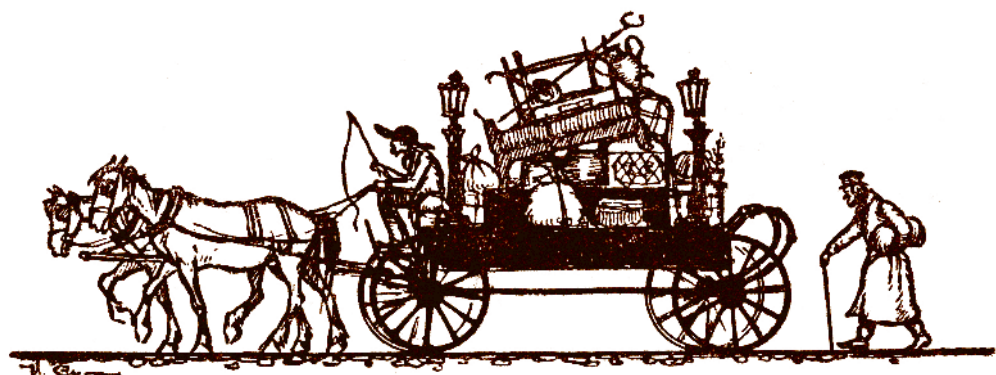
– Не знаю, – отвечал Бурмин, – не знаю, как зовут деревню, где я венчался; не помню, с которой станции поехал. В то время я так мало полагал важности в преступной моей проказе, что, отъехав от церкви, заснул и проснулся на другой день поутру, на третьей уже станции. Слуга, бывший тогда со мною, умер в походе, так что я не имею и надежды отыскать ту, над которой подшутил я так жестоко и которая теперь так жестоко отомщена.

– Боже мой, боже мой! – сказала Марья Гавриловна, схватив его руку, – так это были вы! И вы не узнаете меня?

Бурмин побледнел... и бросился к ее ногам...



¹ Аналой – столик в церкви, на который в кладут иконы и книги.



Гробовщик

Не зрим ли каждый день гробов,
Седин дряхлеющей вселенной? ¹

Державин.

Последние пожитки гробовщика Адрияна Прохорова были взвалены на похоронные дроги, и тощая пара в четвертый раз потащилась с Басманной на Никитскую, куда гробовщик переселялся всем своим домом. Заперев лавку, прибил он к воротам объявление о том, что дом продается и отдается внаймы, и пешком отправился на новоселье. Приближаясь к желтому домику, так давно соблазнявшему его воображение и наконец купленному им за порядочную сумму, старый гробовщик чувствовал с удивлением, что сердце его не радовалось. Переступив за незнакомый порог и нашед в новом своем жилище суматоху, он вздохнул о ветхой лачужке, где в течение осьмнадцати лет всё было заведено самым строгим порядком; стал бранить обеих своих дочерей и работницу за их медленность и сам принялся им помогать. Вскоре порядок установился; кивот² с образами, шкаф с посудой, стол, диван и кровать заняли им определенные углы в задней комнате; в кухне и гостиной поместились изделия хозяйина: гробы всех цветов и всякого размера, также шкапы с траурными шляпами, мантиями и факелами. Над воротами возвысилась вывеска, изображающая дородного Амура с опрокинутым факелом в руке³, с подписью: «Здесь продаются и обиваются гробы простые и крашенные, также отдаются напрокат и починяются старые». Девушки ушли в свою светлицу. Адриан обошел свое жилище, сел у окошка и приказал готовить самовар.

Просвещенный читатель ведает, что Шекспир и Вальтер Скотт оба представили своих гробокопателей⁴ людьми веселыми и шутивыми, дабы сей противоположностью

¹ Строчки из стихотворения Державина «Водопад».

² Кивот (киот) – украшенный шкафчик или полка для икон.

³ Амур (Купидон) с перевернутым факелом – символ смерти.

⁴ Пушкин имеет в виду гробовщиков из «Гамлета» Шекспира и романа Вальтера Скотта «Ламмемурская невеста».

сильнее поразить наше воображение. Из уважения к истине мы не можем следовать их примеру и принуждены признаться, что нрав нашего гробовщика совершенно соответствовал мрачному его ремеслу. Адриан Прохоров обыкновенно был угрюм и задумчив. Он разрешал молчание разве только для того, чтобы журить своих дочерей, когда заставлял их без дела глазающих в окно на прохожих, или чтоб запрашивать за свои произведения преувеличенную цену у тех, которые имели несчастье (а иногда и удовольствие) в них нуждаться. Итак, Адриан, сидя под окном и выпивая седьмую чашку чаю, по своему обыкновению был погружен в печальные размышления. Он думал о проливном дожде, который, за неделю тому назад, встретил у самой заставы похороны отставного бригадира. Многие мантии от того сузились, многие шляпы покоробились. Он предвидел неминуемые расходы, ибо давний запас гробовых нарядов приходил у него в жалкое состояние. Он надеялся выместить убыток на старой купчихе Трюхиной, которая уже около года находилась при смерти. Но Трюхина умирала на Разгуляе¹, и Прохоров боялся, чтоб ее наследники, несмотря на свое обещание, не поленились послать за ним в такую даль и не сторговались бы с ближайшим подрядчиком.

Сии размышления были прерваны нечаянно тремя франмасонскими² ударами в дверь. «Кто там?» – спросил гробовщик. Дверь отворилась, и человек, в котором с первого взгляду можно было узнать немца-ремесленника, вошел в комнату и с веселым видом приблизился к гробовщику. «Извините, любезный сосед, – сказал он тем русским наречием, которое мы без смеха доньше слышать не можем, – извините, что я вам помешал... я желал поскорее с вами познакомиться. Я сапожник, имя мое Готлиб Шульц, и живу от вас через улицу, в этом домике, что против ваших окошек. Завтра праздную мою серебряную свадьбу, и я прошу вас и ваших дочек отобедать у меня по-приятельски». Приглашение было благосклонно принято. Гробовщик просил сапожника садиться и выкушать чашку чаю, и благодаря открытому нраву Готлиба Шульца вскоре они разговорились дружелюбно. «Каково торгует ваша милость? – спросил Адриан. «Э-хе-хе, – отвечал Шульц, – и так и сяк. Пожаловаться не могу. Хоть, конечно, мой товар не то, что ваш: живой без сапог обойдется, а мертвый без гроба не живет». – «Сущая правда, – заметил Адриан; – однако ж, если живому не на что купить сапог, то, не прогневайся, ходит он и босой; а нищий мертвец и даром берет себе гроб». Таким образом беседа продолжалась у них еще несколько времени; наконец сапожник встал и простился с гробовщиком, возобновляя свое приглашение.

На другой день, ровно в двенадцать часов, гробовщик и его дочери вышли из каютки новоприобретенного дома и отправились к соседу. Не стану описывать ни русского кафтана Адриана Прохорова, ни европейского наряда Акулины и Дарьи, отступая в сем случае от обычая, принятого нынешними романистами. Полагаю, однако ж, не излишним заметить, что обе девицы надели желтые шляпки и красные башмаки, что бывало у них только в торжественные случаи.

¹ Разгуляй – площадь в Москве, которой заканчивается Басманная улица; получила свое название по находившемуся на ней кабаку.

² Франк-массон – член масонской ложи; три удара – один из символов этой организации.

Тесная квартирка сапожника была наполнена гостями, большею частию немцами-ремесленниками, с их женами и подмастерьями. Из русских чиновников был один будочник¹, чухонец² Юрко, умевший приобрести, несмотря на свое смиренное звание, особенную благосклонность хозяина. Лет двадцать пять служил он в сем звании верой и правдою, как почтальон Погорельского³. Пожар двенадцатого года, уничтожив первопрестольную столицу, истребил и его желтую будку. Но тотчас, по изгнании врага, на ее месте явилась новая, серенькая с белыми колонками дорического ордена⁴, и Юрко стал опять расхаживать около нее *с секирой и в броне сермяжной*⁵. Он был знаком бóльшей части немцев, живущих около Никитских ворот: иным из них случалось даже ночевать у Юрки с воскресенья на понедельник. Адриан тотчас познакомился с ним, как с человеком, в котором рано или поздно может случиться иметь нужду, и как гости пошли за стол, то они сели вместе. Господин и госпожа Шульц и дочка их, семнадцатилетняя Лотхен, обеда с гостями, всё вместе угощали и помогали кухарке служить. Пиво лилось. Юрко ел за четверых; Адриан ему не уступал; дочери его чинились; разговор на немецком языке час от часу делался шумнее. Вдруг хозяин потребовал внимания и, откупоривая засмоленную бутылку⁶, громко произнес по-русски: «За здоровье моей доброй Луизы!» Полушампанское⁷ запенилось. Хозяин нежно поцеловал свежее лицо сорокалетней своей подруги, и гости шумно выпили здоровье доброй Луизы. «За здоровье любезных гостей моих!» – провозгласил хозяин, откупоривая вторую бутылку – и гости благодарили его, осушая вновь свои рюмки. Тут начали здоровья следовать одно за другим: пили здоровье каждого гостя особливо, пили здоровье Москвы и целой дюжины германских городков, пили здоровье всех цехов⁸ вообще и каждого в особенности, пили здоровье мастеров и подмастерьев. Адриан пил с усердием и до того развеселился, что сам предложил какой-то шуточный тост. Вдруг один из гостей, толстый булочник, поднял рюмку и воскликнул: «За здоровье тех, на которых мы работаем, unserer Kundleute!»⁹ Предложение, как и все, было принято радостно и единодушно. Гости начали друг другу кланяться, портной сапожнику, сапожник портному, булочник им обоим, все булочнику и так далее. Юрко, посреди сих взаимных поклонов, закричал, обратясь к своему соседу: «Что же? пей, батюшка, за здоровье своих мертвецов». Все

¹ Будочник – постовой полицейский, низшее должностное лицо городской полиции в Российской империи.

² Чухонцами называли проживающих в Санкт-Петербурге финнов.

³ Почтальон Погорельского – персонаж повести Антония Погорельского «Лафертовская маковница», тянувший служебную лямку четыре десятка лет.

⁴ Колонны дорического ордера в древнегреческой архитектуре наиболее просто украшены.

⁵ «с секирой и в броне сермяжной» – строка из басни Александра Измайлова «Дура Пахомовна»; сермяга – грубое некрашеное сукно.

⁶ В старину горлышки бутылок с шипучими напитками заливали смолой.

⁷ Полушампанское – слабоалкогольный шипучий напиток наподобие сидра.

⁸ В Средние века цех – объединение мастеровых определенной специальности.

⁹ unserer Kundleute (нем.) – наших клиентов.



захохотали, но гробовщик почел себя обиженным и нахмурился. Никто того не заметил, гости продолжали пить, и уже благовестили к вечерне¹, когда встали из-за стола.

Гости разошлись поздно, и по большей части навеселе. Толстый булочник и переплетчик, коего лицо

Казалось в красненьком сафьянном переплете,² под руки отвели Юрку в его будку, наблюдая в сем случае русскую пословицу: долг платежом красен. Гробовщик пришел домой пьян и сердит. «Что ж это, в самом деле, – рассуждал он вслух, – чем ремесло мое нечестнее прочих? разве гробовщик брат палачу? чему смеются басурмане³? разве гробовщик гаер святочный⁴? Хотелось было мне позвать их на новоселье, задать им пир горой: ин не бывать же тому! А созову я тех, на которых работаю: мертвецов православных». – «Что ты, батюшка? – сказала работница, которая в это время разувала его, – что ты это городишь? Перекрестись! Созывать мертвых на новоселье! Экая страсть!» – «Ей-богу, созову, – продолжал Адриян, – и на завтрашний же день. Милости просим, мои благодетели, завтра вечером у меня попить; угощу, чем бог послал». С этим словом гробовщик отправился на кровать и вскоре захрапел.

На дворе еще было темно, как Адрияна разбудили. Купчиха Трюхина скончалась в эту самую ночь, и нарочный⁵ от ее приказчика прискакал к Адрияну верхом с этим известием. Гробовщик дал ему за то гривенник на водку, оделся наскоро, взял

¹ Вечерня – вечерняя церковная служба; блавест – вид колокольного звона, когда мерно ударяют в один колокол.

² Несколько видоизмененная строчка из комедии Я.Б. Княжнина «Хвастун».

³ Бусурман (басурман) – иноземец, иноверец, нехристианин.

⁴ Гаер – балаганный или площадной шут, кривляка, скоморох; на святки было принято рядиться в шутовские костюмы.

⁵ Нарочный – посыльный.

извозчика и поехал на Разгуляй. У ворот покойницы уже стояла полиция и расхаживали купцы, как вороны, почуя мертвое тело. Покойница лежала на столе, желтая как воск, но еще не обезображенная тлением. Около ее теснились родственники, соседи и домашние. Все окна были открыты; свечи горели; священники читали молитвы. Адриан подошел к племяннику Трюхиной, молодому купчику в модном сертуке, объявляя ему, что гроб, свечи, покров и другие похоронные принадлежности тотчас будут ему доставлены во всей исправности. Наследник благодарил его рассеянно, сказав, что о цене он не торгуется, а во всем полагается на его совесть. Гробовщик, по обыкновению своему, побоялся, что лишнего не возьмет; значительным взглядом обменялся с приказчиком и поехал хлопотать. Целый день разъезжал с Разгуляя к Никитским воротам и обратно; к вечеру всё сладил и пошел домой пешком, отпустив своего извозчика. Ночь была лунная. Гробовщик благополучно дошел до Никитских ворот. У Вознесения окликал его знакомец наш Юрко и, узнав гробовщика, пожелал ему доброй ночи. Было поздно. Гробовщик подходил уже к своему дому, как вдруг показалось ему, что кто-то подошел к его воротам, отворил калитку и в нее скрылся. «Что бы это значило? – подумал Адриан. – Кому опять до меня нужда? Уж не вор ли ко мне забрался? Не ходят ли любовники к моим дурам? Чего доброго!» И гробовщик думал уже кликнуть на помощь приятеля своего Юрку. В эту минуту кто-то еще приблизился к калитке и собирался войти, но, увидя бегущего хозяина, остановился и снял треугольную шляпу. Адриану лицо его показалось знакомо, но второпях не успел он порядочно его разглядеть. «Вы пожаловали ко мне, – сказал, запыхавшись, Адриан, – войдите же, сделайте милость». – «Не церемонься, батюшка, – отвечал тот глухо, – ступай себе вперед; указывай гостям дорогу!» Адриану и некогда было церемониться. Калитка была отперта, он пошел на лестницу, и тот за ним. Адриану показалось, что по комнатам его ходят люди. «Что за дьявольщина! – подумал он и спешил войти... тут ноги его подкосились. Комната полна была мертвецами. Луна сквозь окна освещала их желтые и синие лица, ввалившиеся рты,





мутные, полузакрытые глаза и высунувшиеся носы... Адриан с ужасом узнал в них людей, погребенных его стараниями, и в госте, с ним вместе вошедшем, бригадира, похороненного во время проливного дождя. Все они, дамы и мужчины, окружили гробовщика с поклонами и приветствиями, кроме одного бедняка, недавно даром похороненного, который, совестясь и стыдясь своего рубища, не приближался и стоял смиренно в углу. Прочие все одеты были благопристойно: покойницы в чепцах и лентах, мертвецы чиновные в мундирах, но с бородами небритыми, купцы в праздничных кафтанах. «Видишь ли, Прохоров, – сказал бригадир от имени всей честной компании, – все мы поднялись на твое приглашение; остались дома только те, которым уже не в мочь, которые совсем развалились, да у кого остались одни кости без кожи, но и тут один не утерпел – так хотелось ему побывать у тебя...» В эту минуту маленький скелет продрался сквозь толпу и приблизился к Адриану. Череп его ласково улыбался гробовщику. Клочки светло-зеленого и красного сукна и ветхой холстины кой-где висели на нем, как на шесте, а кости ног бились в больших ботфортах, как пестики в ступах. «Ты не узнал меня, Прохоров, – сказал скелет. – Помнишь ли отставного сержанта гвардии Петра Петровича Курилкина, того самого, которому, в 1799 году, ты продал первый свой гроб – и еще сосновый за дубовый?» С сим словом мертвец простер ему костяные объятия – но Адриан, собравшись с силами, закричал и оттолкнул его. Петр Петрович пошатнулся, упал и весь рассыпался. Между мертвецами поднялся ропот негодования; все вступились за честь своего товарища, пристали к Адриану с бранью и угрозами, и бедный хозяин, оглушенный их криком и почти задавленный, потерял присутствие духа, сам упал на кости отставного сержанта гвардии и лишился чувств.

Солнце давно уже освещало постелю, на которой лежал гробовщик. Наконец открыл он глаза и увидел перед собою работницу, раздувающую самовар. С ужасом вспомнил Адриан все вчерашние происшествия. Трюхина, бригадир и сержант Курилкин смутно представились его воображению. Он молча ожидал, чтоб работница начала с ним разговор и объявила о последствиях ночных приключений.

– Как ты заспался, батюшка, Адриян Прохорович, – сказала Акси́нья, подавая ему халат. – К тебе заходил сосед портной, и здешний буточник забежал с объявлением, что сегодня частный именинник, да ты изволил почивать, и мы не хотели тебя разбудить.

– А приходили ко мне от покойницы Трюхиной?

– Покойницы? Да разве она умерла?

– Эка дура! Да не ты ли пособляла мне вчера улаживать ее похороны?

– Что ты, батюшка? не с ума ли спятил, али хмель вчерашний еще у тя не прошел? Какие были вчера похороны? Ты целый день пировал у немца, воротился пьян, завалился в постелю, да и спал до сего часа, как уж к обедне отблагостили.

– Ой ли! – сказал обрадованный гробовщик.

– Вестимо так, – отвечала работница.

– Ну, коли так, давай скорее чаю да позови дочерей.





Станционный смотритель

Коллежский регистратор,
Почтовой станции диктатор
Князь Вяземский.

Кто не проклинал станционных смотрителей, кто с ними не бранивался? Кто, в минуту гнева, не требовал от них роковой книги, дабы вписать в оную свою бесполезную жалобу на притеснение, грубость и неисправность? Кто не почитает их извергами человеческого рода, равными покойным подьячим¹ или по крайней мере муромским разбойникам? Будем, однако, справедливы, постараемся войти в их положение и, может быть, станем судить о них гораздо снисходительнее. Что такое станционный смотритель? Сущий мученик четырнадцатого класса², огражденный своим чином токмо от побоев,³ и то не всегда (ссылаюсь на совесть моих читателей). Какова должность сего диктатора, как называет его шутиливо князь Вяземский?⁴ Не настоящая ли каторга? Покою ни днем, ни ночью. Всю досаду, накопленную во время скучной езды, путешественник вымещает на смотрителе. Погода несносная, дорога скверная, ямщик упрямый, лошади не везут – а виноват смотритель. Входя в бедное его жилище, проезжающий смотрит на него как на врага; хорошо, если удастся ему скоро избавиться от непрошеного гостя; но если не случится лошадей?... боже! какие

¹ Подьячий – в Московской Руси писец и делопроизводитель в приказной канцелярии, помощник дьяка.

² В Табели о рангах 14 класс – самый низший.

³ По правилам 1808 года путешественникам запрещалось учинять станционным смотрителям притеснения или побой.

⁴ Князь Петр Андреевич Вяземский – поэт, историк и литературный критик, близкий друг и постоянный корреспондент Пушкина.

ругательства, какие угрозы посыплются на его голову! В дождь и слякоть принужден он бегать по дворам; в бурю, в крещенский мороз уходит он в сени, чтоб только на минутку отдохнуть от крика и толчков раздраженного постояльца. Приезжает генерал; дрожащий смотритель отдает ему две последние тройки, в том числе курьерскую. Генерал едет, не сказав ему спасибо. Чрез пять минут – колокольчик!.. и фельдегерь¹ бросает ему на стол свою подорожную²!.. Вникнем во все это хорошенько, и вместо негодования сердце наше исполнится искренним состраданием. Еще несколько слов: в течение двадцати лет сряду изъездил я Россию по всем направлениям; почти все почтовые тракты мне известны; несколько поколений ямщиков мне знакомы; редкого смотрителя не знаю я в лицо, с редким не имел я дела; любопытный запас путевых моих наблюдений надеюсь издать в непродолжительном времени; покамест скажу только, что сословие станционных смотрителей представлено общему мнению в самом ложном виде. Сии столь оклеветанные смотрители вообще суть люди мирные, от природы услужливые, склонные к общежитию, скромные в притязаниях на почести и не слишком сребролюбивые. Из их разговоров (коиими некстати пренебрегают господа проезжающие) можно почерпнуть много любопытного и поучительного. Что касается до меня, то, признаюсь, я предпочитаю их беседу речам какого-нибудь чиновника 6-го класса, следующего по казенной надобности.

Легко можно догадаться, что есть у меня приятели из почтенного сословия смотрителей. В самом деле, память одного из них мне драгоценна. Обстоятельства некогда сблизили нас, и об нем-то намерен я теперь побеседовать с любезными читателями.

В 1816 году, в мае месяце, случилось мне проезжать через ***скую губернию, по тракту, ныне уничтоженному. Находился я в мелком чине, ехал на перекладных³ и платил прогоны⁴ за две лошади. Вследствие сего смотрители со мною не церемонились, и часто бирая я с бою то, что, во мнении моем, следовало мне по праву. Будучи молод и вспыльчив, я негодовал на низость и малодушие смотрителя, когда сей последний отдавал приготовленную мне тройку под коляску чиновного барина. Столь же долго не мог я привыкнуть и к тому, чтоб разборчивый холоп обносил меня блюдом на губернаторском обеде⁵. Ныне то и другое кажется мне в порядке вещей. В самом деле, что было бы с нами, если бы вместо общеудобного правила: *чин чина почитай*, ввелось в употребление другое, например: *ум ума почитай*? Какие возникли бы споры! и слуги с кого бы начинали кушанье подавать? Но обращаюсь к моей повести.

День был жаркий. В трех верстах от станции *** стало накрапывать, и через минуту проливной дождь вымочил меня до последней нитки. По приезде на станцию, первая забота была поскорее переодеться, вторая спросить себе чаю. «Эй Дуня! – закричал смотритель, – поставь самовар да сходи за сливками». При сих словах вышла

¹ Фельдгегерь в России – военный или правительственный курьер; он имел право получить свежих лошадей вне очереди.

² Подорожная в Российской империи – документ для получения казенных лошадей во время проезда.

³ Перекладные – почтовые лошади, перевозящие пассажиров от одной станции до другой, где они меняются.

⁴ Прогонны – поверстная плата ямщикам за проезд на почтовых лошадях.

⁵ По старинному обычаю блюда на званых обедах подавали по старшинству чинов.

из-за перегородки девочка лет четырнадцати и побежала в сени. Красота ее меня поразила. «Это твоя дочка?» – спросил я смотрителя. «Дочка-с, – отвечал он с видом довольного самолюбия, – да такая разумная, такая проворная, вся в покойницу мать». Тут он принялся переписывать мою подорожную, а я занялся рассмотрением картинок, украшавших его смиренную, но опрятную обитель. Они изображали историю блудного сына¹: в первой почтенный старик в колпаке и шляфоре отпускает беспокойного юношу, который поспешно принимает его благословение и мешок с деньгами. В другой яркими чертами изображено развратное поведение молодого человека: он сидит за столом, окруженный ложными друзьями и бесстыдными женщинами. Далее, промотавшийся юноша, в рубище и в треугольной шляпе, пасет свиней и разделяет с ними трапезу; в его лице изображены глубокая печаль и раскаяние. Наконец представлено возвращение его к отцу; добрый старик в том же колпаке и шляфоре выбегает к нему навстречу: блудный сын стоит на коленях; в перспективе повар убивает упитанного тельца, и старший брат вопрошает слуг о причине таковой радости. Под каждой картинкой прочел я приличные² немецкие стихи. Всё это доньше сохранилось в моей памяти, также как и горшки с бальзамином, и кровать с пестрой занавескою, и прочие предметы, меня в то время окружавшие. Вижу, как теперь, самого хозяина, человека лет пятидесяти, свежего и бодрого, и его длинный зеленый сертук с тремя медалями на полинялых лентах.

Не успел я расплатиться со старым моим ящиком, как Дуня возвратилась с самоваром. Маленькая кокетка со второго взгляда заметила впечатление, произведенное ею на меня; она потупила большие голубые глаза; я стал с нею разговаривать, она отвечала мне безо всякой робости, как девушка, видевшая свет. Я предложил отцу ее стакан пуншу; Дуне подал я чашку чаю, и мы втроем начали беседовать, как будто век были знакомы.

Лошади были давно готовы, а мне всё не хотелось расстаться с смотрителем и его дочкой. Наконец я с ними простился; отец пожелал мне доброго пути, а дочь проводила до телеги. В сенях я остановился и просил у ней позволения ее поцеловать; Дуня согласилась... Много могу я насчитать поцелуев,

С тех пор, как этим занимаюсь,³

но ни один не оставил во мне столь долгого, столь приятного воспоминания.

Прошло несколько лет, и обстоятельства привели меня на тот самый тракт, в те самые места. Я вспомнил дочь старого смотрителя и обрадовался при мысли, что увижу ее снова. Но, подумал я, старый смотритель, может быть, уже сменен; вероятно, Дуня уже замужем. Мысль о смерти того или другого также мелькнула в моем уме, и я приближался к станции *** с печальным предчувствием.

Лошади стали у почтового домика. Вошел в комнату, я тотчас узнал картинки, изображающие историю блудного сына; стол и кровать стояли на прежних местах; но на окнах уже не было цветов, и всё кругом показывало ветхость и небрежение. Смотритель спал под тулупом; мой приезд разбудил его; он привстал... Это был точно

¹ Притча о сыне, растратившем отцовское наследство и вернувшемся в отчий дом, рассказана в Евангелии от Луки.

² Приличные – подобающие данному случаю.

³ Источник процитированной строки не установлен.

Самсон Вырин; но как он постарел! Покамест собирался он переписать мою подорожную, я смотрел на его седину, на глубокие морщины давно небритого лица, на сгорбленную спину – и не мог надивиться, как три или четыре года могли превратить бодрого мужчину в хилого старика. «Узнал ли ты меня? – спросил я его, – мы с тобою старые знакомые». – «Может статься, – отвечал он угрюмо, – здесь дорога большая; много проезжих у меня перебивало». – «Здорова ли твоя Дуня?» – продолжал я. Старик нахмурился. «А бог ее знает», – отвечал он. «Так, видно, она замужем?» – сказал я. Старик притворился, будто бы не слышал моего вопроса, и продолжал шепотом¹ читать мою подорожную. Я прекратил свои вопросы и велел поставить чайник. Любопытство начинало меня беспокоить, и я надеялся, что пунш разрешит язык² моего старого знакомого.

Я не ошибся: старик не отказался от предлагаемого стакана. Я заметил, что ром прояснил его угрюмость. На втором стакане сделался он разговорчив; вспомнил или показал вид, будто бы вспомнил меня, и я узнал от него повесть, которая в то время сильно меня заняла и тронула.

«Так вы знали мою Дуню? – начал он. – Кто же и не знал ее? Ах, Дуня, Дуня! Что за девка-то была! Бывало, кто ни проедет, всякий похвалит, никто не осудит. Барыни дарили ее, та платочком, та сережками. Господа проезжие нарочно останавливались, будто бы пообедать, аль отужинать, а в самом деле только чтоб на нее подолее поглядеть. Бывало, барин, какой бы сердитый ни был, при ней утихает и милостиво со мною разговаривает. Поверите ль, сударь: курьеры, фельдегеры с нею по получасу заговаривались. Ею дом держался: что прибрать, что приготовить, за всем успевала. А я-то, старый дурак, не наглажусь, бывало, не нарадуюсь; уж я ли не любил моей Дуни, я ль не лелеял моего дитяти; уж ей ли не было житье? Да нет, от беды не отбожишься; что суждено, тому не миновать». Тут он стал подробно рассказывать мне свое горе. Три года тому назад, однажды, в зимний вечер, когда смотритель разлиновывал новую книгу, а дочь его за перегородкой шила себе платье, тройка подъехала, и проезжий в черкесской шапке, в военной шинели, окутанный шалью, вошел в комнату, требуя лошадей. Лошади все были в разгоне. При сем известии путешественник возвысил было голос и нагайку; но Дуня, привыкшая к таковым сценам, выбежала из-за перегородки и ласково обратилась к проезжему с вопросом: не угодно ли будет ему чего-нибудь покушать? Появление Дуни произвело обыкновенное свое действие. Гнев проезжего прошел; он согласился ждать лошадей и заказал себе ужин. Сняв мокрую, косматую шапку, отпустив шаль и сдернув шинель, проезжий явился молодым, стройным гусаром с черными усами. Он расположился у смотрителя, начал весело разговаривать с ним и с его дочерью. Подали ужинать. Между тем лошади пришли, и смотритель приказал, чтоб тотчас, не кормя, запрягали их в кибитку проезжего; но, возвратясь, нашел он молодого человека почти без памяти лежащего на лавке: ему сделалось дурно, голова разболелась, невозможно было ехать... Как быть! смотритель уступил ему свою кровать, и положено было, если больному не будет легче, на другой день утром послать в С*** за лекарем.

¹ *шепотом – полушепотом.*

² *разрешишь язык – развяжет язык.*



На другой день гусару стало хуже. Человек его поехал верхом в город за лекарем. Дуня обвязала ему голову платком, намоченным уксусом, и села с своим шитьем у его кровати. Больной при смотрителе охал и не говорил почти ни слова, однако ж выпил две чашки кофе и, охая, заказал себе обед. Дуня от него не отходила. Он по-минутно просил пить, и Дуня подносила ему кружку ею заготовленного лимонада. Больной обмакивал губы и всякий раз, возвращая кружку, в знак благодарности слабою своею рукою пожимал Дунюшкину руку. К обеду приехал лекарь. Он пощупал пульс больного, поговорил с ним по-немецки и по-русски объявил, что ему нужно одно спокойствие и что дни через два ему можно будет отправиться в дорогу. Гусар вручил ему двадцать пять рублей за визит, пригласил его отобедать; лекарь согласился; оба ели с большим аппетитом, выпили бутылку вина и расстались очень довольны друг другом.

Прошел еще день, и гусар совсем оправился. Он был чрезвычайно весел, без умолку шутил то с Дунею, то с смотрителем; насвистывал песни, разговаривал с проезжими, вписывал их подорожные в почтовую книгу, и так полюбился доброму смотрителю, что на третье утро жаль было ему расстаться с любезным своим постояльцем. День был воскресный; Дуня собиралась к обедне. Гусару подали кибитку. Он простился с смотрителем, щедро наградив его за постой и угощение; простился и с Дунею и вызвался довести ее до церкви, которая находилась на краю деревни. Дуня стояла в недоумении... «Чего же ты боишься? — сказал ей отец, — ведь его высокоблагородие не волк и тебя не съест: прокатись-ка до церкви». Дуня села в кибитку подле гусара, слуга вскочил на облучок, ямщик свистнул, и лошади поскакали.

Бедный смотритель не понимал, каким образом мог он сам позволить своей Дуне ехать вместе с гусаром, как нашло на него ослепление, и что тогда было с его разумом. Не прошло и получаса, как сердце его начало ныть, ныть, и беспокойство овладело им до такой степени, что он не утерпел и пошел сам к обедне. Подходя к церкви, увидел



он, что народ уже расходился, но Дуни не было ни в ограде, ни на паперти¹. Он поспешно вошел в церковь: священник выходил из алтаря²; дьячок гасил свечи, две старушки молились еще в углу; но Дуни в церкви не было. Бедный отец насилу решился спросить у дьячка, была ли она у обедни. Дьячок отвечал, что не бывала. Смотритель пошел домой ни жив ни мертв. Одна оставалась ему надежда: Дуня по ветрености молодых лет вздумала, может быть, прокатиться до следующей станции, где жила ее крестная мать. В мучительном волнении ожидал он возвращения тройки, на которой он отпустил ее. Ямщик не возвращался. Наконец к вечеру приехал он один и хмелен, с убийственным известием: «Дуня с той станции отправилась далее с гусаром».

Старик не снес своего несчастья; он тут же слег в ту самую постель, где накануне лежал молодой обманщик. Теперь смотритель, соображая все обстоятельства, догадывался, что болезнь была притворная. Бедняк занемог сильной горячкой; его свезли в С*** и на его место определили на время другого. Тот же лекарь, который приезжал к гусару, лечил и его. Он уверил смотрителя, что молодой человек был совсем здоров и что тогда еще догадывался он о его злобном намерении, но молчал, опасаясь его нагайки. Правду ли говорил немец, или только желал похвастаться дальновидностью, но он нимало тем не утешил бедного больного. Едва оправаясь от болезни, смотритель выпросил у С*** почтмейстера отпуск на два месяца и, не сказав никому ни слова о своем намерении, пешком отправился за своею дочерью. Из подорожной знал он, что ротмистр Минский ехал из Смоленска в Петербург. Ямщик, который вез его, сказывал, что всю дорогу Дуня плакала, хотя, казалось, ехала по своей охоте. «Авось, – думал смотритель, – приведу я домой заблудшую овечку мою». С этой мыслию прибыл он в Петербург, остановился в Измайловском полку, в доме отставного унтер-офицера, своего старого сослуживца, и начал свои поиски. Вскоре узнал

¹ Паперть – непокрытое кровлей крыльцо перед входом в церковь.

² Алтарь – восточная часть храма, отгороженная от остальной его части иконостасом.

он, что ротмистр Минский в Петербурге и живет в Лемутовом трактире¹. Смотритель решился к нему явиться.

Рано утром пришел он в его переднюю и просил доложить его высокоблагородию, что старый солдат просит с ним увидаться. Военный лакей, чистя сапог на колодке объявил, что барин почивает и что прежде одиннадцати часов не принимает никого. Смотритель ушел и возвратился в назначенное время. Минский вышел сам к нему в халате, в красной скуфье². «Что, брат, тебе надобно?» – спросил он его. Сердце старика закипело, слезы навернулись на глазах, и он дрожащим голосом произнес только: «Ваше высокоблагородие!.. сделайте такую божескую милость!..» Минский взглянул на него быстро, вспыхнул, взял его за руку, повел в кабинет и запер за собою дверь. «Ваше высокоблагородие! – продолжал старик, – что с возу упало, то пропало; отдайте мне по крайней мере бедную мою Дуню. Ведь вы натешились ею; не погубите же ее понапрасну». – «Что сделано, того не воротишь, – сказал молодой человек в крайнем замешательстве, – виноват перед тобою и рад просить у тебя прощения; но не думай, чтоб я Дуню мог покинуть: она будет счастлива, даю тебе честное слово. Зачем тебе ее? Она меня любит; она отвыкла от прежнего своего состояния. Ни ты, ни она – вы не забудете того, что случилось». Потом, сунув ему что-то за рукав, он отворил дверь, и смотритель, сам не помня как, очутился на улице.

Долго стоял он неподвижно, наконец увидел за обшлагом³ своего рукава сверток бумаг; он вынул их и развернул несколько пяти- и десятирублевых смятых ассигнаций. Слезы опять навернулись на глазах его, слезы негодования! Он сжал бумажки в комок, бросил их наземь, притоптал каблуком и пошел... Отошед несколько шагов, он остановился, подумал... и воротился... но ассигнаций уже не было. Хорошо одетый молодой человек, увидя его, подбежал к извозчику, сел поспешно и закричал: «Пошел!..» Смотритель за ним не погнался. Он решился отправиться домой на свою станцию, но прежде хотел хоть раз еще увидеть бедную свою Дуню. Для сего дни через два воротился он к Минскому; но военный лакей сказал ему сурово, что барин никого не принимает, грудью вытеснил его из передней и хлопнул двери ему под нос. Смотритель постоял, постоял – да и пошел.

В этот самый день, вечером, шел он по Литейной, отслужив молебен у Всех Скорбящих⁴. Вдруг промчались перед ним щегольские дрожки, и смотритель узнал Минского. Дрожки остановились перед трехэтажным домом, у самого подъезда, и гусар вбежал на крыльцо. Счастливая мысль мелькнула в голове смотрителя. Он воротился и, поравнявшись с кучером: «Чья, брат, лошадь? – спросил он, – не Минского ли?» – «Точно так, – отвечал кучер, – а что тебе?» – «Да вот что: барин твой приказал мне отнести к его Дуне записочку, а я и позабудь, где Дуня-то его живет». – «Да вот здесь, во втором этаже. Опоздал ты, брат, с твоей запиской; теперь уж он сам у

¹ Демутов трактир – одна из лучших гостиниц Санкт-Петербурга, была основана в 1770 году купцом из Страсбурга Филиппом Якобом Демутом.

² Скуфья – круглая шапочка.

³ Обшлаг – отворот на конце рукава.

⁴ Всех Скорбящих – храм, построенный в Петербурге в 1818 году, назван в честь чудотворной иконы «Всех Скорбящих Радость».

нее». – «Нужды нет, – возразил смотритель с неизъяснимым движением сердца, – спасибо, что надоумил, а я свое дело сделаю». И с этим словом пошел он по лестнице.

Двери были заперты; он позвонил, прошло несколько секунд в тягостном для него ожидании. Ключ загремел, ему отворили. «Здесь стоит Авдотья Самсоновна?» – спросил он. «Здесь, – отвечала молодая служанка, – зачем тебе ее надобно?» Смотритель, не отвечая, вошел в залу. «Нельзя, нельзя! – закричала вслед ему служанка, – у Авдотьи Самсоновны гости». Но смотритель, не слушая, шел далее. Две первые комнаты были темны, в третьей был огонь. Он подошел к растворенной двери и остановился. В комнате, прекрасно убранной, Минский сидел в задумчивости. Дуня, одетая со всею роскошью моды, сидела на ручке его кресел, как наездница на своем английском седле. Она с нежностью смотрела на Минского, наматывая черные его кудри на свои сверкающие пальцы. Бедный смотритель! Никогда дочь его не казалась ему столь прекрасною; он поневоле ею любовался. «Кто там?» – спросила она, не подымая головы. Он всё молчал. Не получая ответа, Дуня подняла голову... и с криком упала на ковер. Испуганный Минский кинулся ее подымать и, вдруг увидя в дверях старого смотрителя, оставил Дуню и подошел к нему, дрожа от гнева. «Чего тебе надобно? – сказал он ему, стиснув зубы, – что ты за мною всюду крадешься, как разбойник? или хочешь меня зарезать? Пошел вон!» – и, сильной рукою схватив старика за ворот, вытолкнул его на лестницу.



Старик пришел к себе на квартиру. Приятель его советовал ему жаловаться; но смотритель подумал, махнул рукой и решился отступить. Через два дня отправился он из Петербурга обратно на свою станцию и опять принялся за свою должность. «Вот уже третий год, – заключил он, – как живу я без Дуни и как об ней нет ни слуху, ни духу. Жива ли, нет ли, бог ее ведает. Всяко случается. Не ее первую, не ее последнюю сманил проезжий повеса, а там подержал, да и бросил. Много их в Петербурге, молоденьких дур, сегодня в атласе да бархате, а завтра, поглядишь, метут улицу вместе с голью кабацкою. Как подумаешь порою, что и Дуня, может быть, тут же пропадает, так поневоле согрешишь да пожелаешь ей могилы...»

Таков был рассказ приятеля моего, старого смотрителя, рассказ, неоднократно прерываемый слезами, которые живописно отирал он своею полою, как усердный Терентич в прекрасной балладе Дмитриева¹. Слезы сии отчасти возбуждаемы были пуншем, коего вытянул он пять стаканов в продолжении своего повествования; но как бы то ни было они сильно тронули мое сердце. С ним расставшись, долго не мог я забыть старого смотрителя, долго думал я о бедной Дуне...

Недавно еще, проезжая через местечко ***, вспомнил я о моем приятеле; я узнал, что станция, над которой он начальствовал, уже уничтожена. На вопрос мой: «Жив ли старый смотритель?» – никто не мог дать мне удовлетворительного ответа. Я решился посетить знакомую сторону, взял вольных лошадей и пустился в село Н.

Это случилось осенью. Серенькие тучи покрывали небо; холодный ветер дул с пожатых полей, унося красные и желтые листья со встречаемых деревьев. Я приехал в село при закате солнца и остановился у почтового домика. В сени (где некогда поцеловала



¹ Имеется в виду комическая баллада И.И. Дмитриева «Карикатура»; в ней строки про Терентича: «Охти, охти, боярин! – // Ответствовал старик, – // Охти!», – и, скорчась, слезы // Утер своей полою.

меня бедная Дуня) вышла толстая баба и на вопросы мои отвечала, что старый смотритель с год как помер, что в доме его поселился пивовар, а что она жена пивоварова. Мне стало жаль моей напрасной поездки и семи рублей, издержанных даром. «От чего ж он умер?» – спросил я пивоварову жену. «Спился, батюшка», – отвечала она. «А где его похоронили?» – «За околицей, подле покойной хозяйки его». – «Нельзя ли довести меня до его могилы?» – «Почему же нельзя. Эй, Ванька! полно тебе с кошкою возиться. Проводи-ка барина на кладбище да укажи ему смотрителеву могилу».

При сих словах оборванный мальчик, рыжий и кривой, выбежал ко мне и тотчас повел меня за околицу.

– Знал ты покойника? – спросил я его дорогой.

– Как не знать! Он выучил меня дудочки вырезывать. Бывало (царство ему небесное!), идет из кабака, а мы-то за ним: «Дедушка, дедушка! орешков!» – а он нас орешками и наделяет. Всё, бывало, с нами возится.

– А проезжие вспоминают ли его?

– Да ноне мало проезжих; разве заседатель завернет, да тому не до мертвых. Вот летом проезжала барыня, так та спрашивала о старом смотрителе и ходила к нему на могилу.

– Какая барыня – спросил я с любопытством.

– Прекрасная барыня, – отвечал мальчишка; – ехала она в карете в шесть лошадей, с тремя маленькими барчатами и с кормилицей, и с черной москвою; и как ей сказали, что старый смотритель умер, так она заплакала и сказала детям: «Сидите смирно, а я схожу на кладбище». А я было вызвался довести ее. А барыня сказала: «Я сама дорогу знаю». И дала мне пятак серебром – такая добрая барыня!..

Мы пришли на кладбище, голое место, ничем не огражденное, усеянное деревянными крестами, не осененными ни единым деревцом. Отроду не видал я такого печального кладбища.

– Вот могила старого смотрителя, – сказал мне мальчик, вспрыгнув на груду песка, в которую врыт был черный крест с медным образом.

– И барыня приходила сюда? – спросил я.

– Приходила, – отвечал Ванька, – я смотрел на нее издали. Она легла здесь и лежала долго. А там барыня пошла в село и призвала попа, дала ему денег и поехала, а мне дала пятак серебром – славная барыня!

И я дал мальчишке пятак и не жалел уже ни о поездке, ни о семи рублях, мною истраченных.





Барышня-крестьянка

Во всех ты, Душенька, нарядах хороша.
Богданович.

В одной из отдаленных наших губерний находилось имение Ивана Петровича Берестова. В молодости своей служил он в гвардии, вышел в отставку в начале 1797 года, уехал в свою деревню и с тех пор он оттуда не выезжал. Он был женат на бедной дворянке, которая умерла в родах, в то время как он находился в отъезде в поле¹. Хозяйственные упражнения скоро его утешили. Он выстроил дом по собственному плану, завел у себя суконную фабрику, устроил доходы и стал почитать себя умнейшим человеком во всем околотке², в чем и не прекословили ему соседи, приезжавшие к нему гостить с своими семействами и собаками. В будни ходил он в плисовой³ куртке, по праздникам надевал сертук из сукна домашней работы; сам записывал расход и ничего не читал, кроме «Сенатских Ведомостей»⁴. Вообще его любили, хотя и почитали гордым. Не дал с ним один Григорий Иванович Муромский, ближайший его сосед. Этот был настоящий русский барин. Промотав в Москве большую часть имения своего и на ту пору овдовев, уехал он в последнюю свою деревню, где продолжал

¹ *Отъезжим полем* называли землю вдали от жилья, отведенную для охоты.

² *Околоток* — окружающая местность, окрестность.

³ *Плис* — хлопчатобумажная ткань, похожая по фактуре на бархат.

⁴ В газете «Сенатские Ведомости» печатали правительственные указы и распоряжения.



проказничать, но уже в новом роде. Развел он английский сад¹, на который тратил почти все остальные доходы. Конюхи его были одеты английскими жокеями. У дочери его была мадам англичанка. Поля свои обрабатывал он по английской методе²:

Но на чужой манер хлеб
русский не родится,³

и несмотря на значительное уменьшение расходов, доходы Григорья Ивановича не прибавлялись; он и в деревне находил способ входить в новые долги; со всем тем почитался человеком не глупым, ибо первый из помещиков своей губернии догадался заложить имение в Опекунский совет⁴: оборот, казавшийся в то время чрезвычайно сложным и смелым. Из людей, осуждавших его, Берестов отзывался строже всех. Ненависть к нововведениям была отличительная черта его характера. Он не мог равнодушно говорить об англomании своего соседа и по-

минутно находил случай его критиковать. Показывал ли гостю свои владения, в ответ на похвалы его хозяйственным распоряжениям: «Да-с! – говорил он с лукавой усмешкою, – у меня не то, что у соседа Григорья Ивановича. Куда нам по-английски разоряться! Были бы мы по-русски хоть сыты». Сии и подобные шутки, по усердию соседей, доводимы были до сведения Григорья Ивановича с дополнением и объяснениями. Англoman выносил критику столь же нетерпеливо, как и наши журналисты. Он бесился и прозвал своего зоила⁵ медведем провинциалом.

¹ В отличие от французского регулярного парка с его строгой геометрией, английский парк или сад своей свободной планировкой имитировал природу.

² То есть занимался постоянным чередованием культур, не оставляя часть полей «отдыхать», не засевая их ничем.

³ Строчка из сатиры драматурга князя А.А. Шаховского.

⁴ Опекунский совет – учреждение, которое заведовало воспитательными домами и могло выдавать дворянам ссуды под залог их земель или крепостных крестьян.

⁵ Зоил – древнегреческий оратор и философ IV в. до н.э.; был известен своей язвительной критикой Гомера, в переносном смысле – злой критик.

Таковы были сношения между сими двумя владельцами, как сын Берестова приехал к нему в деревню. Он был воспитан в *** университете и намеревался вступить в военную службу, но отец на то не соглашался. К статской службе молодой человек чувствовал себя совершенно неспособным. Они друг другу не уступали, и молодой Алексей стал жить покамест барином, отпустив усы на всякий случай.¹

Алексей был в самом деле молодец. Право было бы жаль, если бы его стройного стана никогда не стягивал военный мундир, и если бы он, вместо того чтобы рисоваться на коне, провел свою молодость, согнувшись над канцелярскими бумагами. Смотри, как он на охоте скакал всегда первый, не разбирая дороги, соседи говорили согласно, что из него никогда не выйдет путного столоначальника². Барышни поглядывали на него, а иные и заглядывались; но Алексей мало ими занимался, а они причиной его нечувствительности полагали любовную связь. В самом деле, ходил по рукам список с адреса одного из его писем: *Акулине Петровне Курочкиной, в Москве, напротив Алексеевского монастыря*³, *в доме медника Савельева, а вас покорнейше прошу доставить письмо сие А. Н. Р.*

Те из моих читателей, которые не жили в деревнях, не могут себе вообразить, что за прелесть эти уездные барышни! Воспитанные на чистом воздухе, в тени своих садовых яблонь, они знание света и жизни почерпают из книжек. Уединение, свобода и чтение рано в них развивают чувства и страсти, неизвестные рассеянным нашим красавицам. Для барышни звон колокольчика есть уже приключение, поездка в ближний город полагается эпохой в жизни, и посещение гостя оставляет долгое, иногда и вечное воспоминание. Конечно, всякому вольно смеяться над некоторыми их странностями, но шутки поверхностного наблюдателя не могут уничтожить их существенных достоинств, из коих главное: *особенность характера, самобытность* (individualité), без чего, по мнению Жан-Поля, не существует и человеческого величия.⁴ В столицах женщины получают, может быть, лучшее образование; но навык света скоро сглаживает характер и делает души столь же однообразными, как и головные уборы. Сие да будет сказано не в суд, и не во осуждение, однако ж nota nostra manet⁵, как пишет один старинный комментатор.

Легко вообразить, какое впечатление Алексей должен был произвести в кругу наших барышень. Он первый перед ними явился мрачным и разочарованным, первый говорил им об утраченных радостях, и об увядшей своей юности; сверх того носил он черное кольцо с изображением мертвой головы. Всё это было чрезвычайно ново в той губернии. Барышни сходили по нем с ума.

Но всех более занята была им дочь англомана моего, Лиза (или Бетси, как звал ее обыкновенно Григорий Иванович). Отцы друг ко другу не ездили, она Алексея еще

¹ То есть не оставив надежду стать военным; с 1820 года им позволялось носить усы.

² Столоначальник – государственный чиновник.

³ Алексеевский женский монастырь до 1837 существовал в Москве на месте Храма Христа Спасителя.

⁴ Накануне отъезда в Болдино Ю.Н. Бартенев подарил Пушкину книгу Жан-Поля (псевдоним немецкого писателя Иоганна Пауля Рихтера), в которой тот утверждал, что индивидуальность в человеке является корнем всего положительного.

⁵ Наше замечание остается в силе. (лат.)



не видала, между тем как все молодые соседки только об нем и говорили. Ей было семнадцать лет. Черные глаза оживляли ее смуглое и очень приятное лицо. Она была единственное и следственно балованное дитя. Ее резвость и поминутные проказы восхищали отца и приводили в отчаянье ее мадам мисс Жаксон, сорокалетнюю чопорную девицу, которая белилась и сурьмила¹ себе брови, два раза в год перечитывала «Памелу»², получала за то две тысячи рублей и умирала со скуки в этой варварской России.

За Лизою ходила Настя; она была постарше, но столь же ветрена, как и ее барышня. Лиза очень любила ее, открывала ей все свои тайны, вместе с нею обдумывала свои затеи; словом, Настя была в селе Прилучине лицом гораздо более значительным, нежели любая наперсница³ во французской трагедии.

– Позвольте мне сегодня пойти в гости, – сказала однажды Настя, одевая барышню.

– Изволь; а куда?

– В Тугилово, к Берестовым. Поварова жена у них именинница и вчера приходила звать нас отобедать.

– Вот! – сказала Лиза, – господа в ссоре, а слуги друг друга угощают.

– А нам какое дело до господ! –

возразила Настя, – к тому же я ваша, а не папенькина. Вы ведь не бранились еще с молодым Берестовым; а старики пускай себе дерутся, коли им это весело.

– Постарайся, Настя, увидеть Алексея Берестова, да Расскажи мне хорошенько, каков он собою и что он за человек.

Настя обещалась, а Лиза с нетерпением ожидала целый день ее возвращения. Вечером Настя явилась.

– Ну, Лизавета Григорьевна, – сказала она, входя в комнату, – видела молодого Берестова: нагладелась довольноно; целый день были вместе.

¹ Сурмить (устар.) – чернить; сурьюмою называли черную краску для бровей и усов.

² Памела – роман Самюэля Ричардсона.

³ Наперсница – подруга, доверенное лицо, которому рассказывают сокровенные тайны.

- Как это? Расскажи, Расскажи по порядку.
- Извольте-с; пошли мы, я, Анисья Егоровна, Ненила, Дунька...
- Хорошо, знаю. Ну потом?
- Позвольте-с, расскажу всё по порядку. Вот пришли мы к самому обеду. Комната полна была народу. Были колбинские, захарьевские, приказчица с дочерьми, хлупинские...
- Ну! а Берестов?
- Погодите-с. Вот мы сели за стол, приказчица на первом месте, я подле нее... а дочери и надулись, да мне наплевать на них...
- Ах, Настя, как ты скучна с вечными своими подробностями!
- Да как же вы нетерпеливы! Ну вот вышли мы из-за стола... а сидели мы часа три, и обед был славный; пирожное бланманже¹ синее, красное и полосатое... Вот вышли мы из-за стола и пошли в сад играть в горелки², а молодой барин тут и явился.
- Ну что ж? правда ли, что он так хорош собой?
- Удивительно хорош, красавец, можно сказать. Стройный, высокий, румянец во всю щеку...
- Право? А я так думала, что у него лицо бледное. Что же? Каков он тебе показался? Печален, задумчив?
- Что вы? Да такого бешеного я и сроду не видывала. Вздумал он с нами в горелки бегать.
- С вами в горелки бегать! Невозможно!
- Очень возможно! Да что еще выдумал! Поймает, и ну целовать!
- Воля твоя, Настя, ты врешь.
- Воля ваша, не вру. Я насилу от него отделалась. Целый день с нами так и провозился.
- Да как же, говорят, он влюблен и ни на кого не смотрит?
- Не знаю-с, а на меня так уж слишком смотрел, да и на Таню, приказчикову дочь, тоже; да и на Пашу колбинскую, да, грех сказать, никого не обидел, такой баловник!
- Это удивительно! А что в доме про него слышно?
- Барин, рассказывают, прекрасный: такой добрый, такой веселый. Одно нехорошо: за девушками слишком любит гоняться. Да, по мне, это еще не беда: со временем остепенится.
- Как бы мне хотелось его видеть! – сказала Лиза со вздохом.
- Да что же тут мудреного? Тугилово от нас недалеко, всего три версты: подите гулять в ту сторону или поезжайте верхом; вы, верно, встретите его. Он же всякой день, рано поутру, ходит с ружьем на охоту.
- Да нет, нехорошо. Он может подумать, что я за ним гоняюсь. К тому же отцы наши в ссоре, так и мне всё же нельзя будет с ним познакомиться... Ах, Настя! Знаешь ли что? Наряжусь я крестьянкою!

¹ Блан-манже – угощение из миндального или коровьего молока, сахара, желатина и пряностей.

² Горелки – старинная подвижная игра, в которой надо ловить убегающих попарно участников.



– И в самом деле; наденьте толстую рубашку, сарафан, да и ступайте смело в Тугилово; ручаюсь вам, что Берестов уж вас не прозевает.

– А по-здешнему я говорить умею прекрасно. Ах, Настя, милая Настя! Какая славная выдумка! – И Лиза легла спать с намерением непременно исполнить веселое свое предположение.

На другой же день приступила она к исполнению своего плана, послала купить на базаре толстого полотна, синей китайки¹ и медных пуговиц, с помощью Насти скроила себе рубашку и сарафан, засадила за шитье всю девичью, и к вечеру всё было готово. Лиза примерила обнову и призналась пред зеркалом, что никогда еще так мила самой себе не казалась. Она повторила свою роль, на ходу низко кланялась и несколько раз потом качала головою, наподобие глиняных котов, говорила на крестьянском наречии, смеялась, закрываясь рукавом, и заслужила полное одобрение Насти. Одно затрудняло ее: она попробовала было пройти по двору босая, но дерн колол ее нежные ноги, а песок и камушки показались ей не-

стерпимы. Настя и тут ей помогла: она сняла мерку с Лизиной ноги, сбегала в поле к Трофиму пастуху и заказала ему пару лаптей по той мерке. На другой день, ни свет ни заря, Лиза уже проснулась. Весь дом еще спал. Настя за воротами ожидала пастуха. Заиграл рожок и деревенское стадо потянулось мимо барского двора. Трофим, проходя перед Настей, отдал ей маленькие пестрые лапти и получил от нее полтину в награждение. Лиза тихонько нарядилась крестьянкою, шепотом дала Насте свои наставления касательно мисс Жаксон, вышла на заднее крыльцо и через огород побежала в поле.

¹ Китайка – вид хлопчатобумажной ткани.

Заря сияла на востоке, и золотые ряды облаков, казалось, ожидали солнца, как царедворцы ожидают государя; ясное небо, утренняя свежесть, роса, ветерок и пение птичек наполняли сердце Лизы младенческой веселостью; боясь какой-нибудь знакомой встречи, она, казалось, не шла, а летела. Приближаясь к роще, стоящей на рубеже отцовского владения, Лиза пошла тише. Здесь она должна была ожидать Алексея. Сердце ее сильно билось, само не зная почему; но боязнь, сопровождающая молодые наши проказы, составляет и главную их прелесть. Лиза вошла в сумрак рощи. Глухой, перекаточный шум ее приветствовал девушку. Веселость ее притихла. Мало-помалу предалась она сладкой мечтательности. Она думала... но можно ли с точностью определить, о чем думает семнадцатилетняя барышня, одна, в роще, в шестом часу весеннего утра? Итак, она шла, задумавшись, по дороге, осененной с обеих сторон высокими деревьями, как вдруг прекрасная легавая собака залаяла на нее. Лиза испугалась и закричала. В то же время раздался голос: «*Tout beau, Sbogar, ici...*»¹ – и молодой охотник показался из-за кустарника. «Небось, милая, – сказал он Лизе, собака моя не кусается». Лиза успела уже оправиться от испугу и умела тотчас воспользоваться обстоятельствами. «Да нет, барин, – сказала она, притворяясь полуиспуганной, полужастенчивой, – боюсь: она, вишь, такая злая; опять кинется». Алексей (читатель уже узнал его) между тем пристально глядел на молодую крестьянку. «Я провожу тебя, если ты боишься, – сказал он ей, – ты мне позволишь идти подле себя?» – «А кто те мешает? – отвечала Лиза, – вольному воля, а дорога мирская». – «Откуда ты?» – «Из Прилучина; я дочь Василия кузнеца, иду по грибы» (Лиза несла кузовок на веревочке). – «А ты, барин? Тугиловский, что ли?» – «Так точно, – отвечал Алексей, – я камердинер молодого барина». Алексею хотелось уравнять их отношения. Но Лиза поглядела на него и засмеялась. «А лжешь, – сказала она, – не на дуру попал. Вижу, что ты сам барин». – «Почему же ты так думаешь?» – «Да по всему». – «Однако ж?» – «Да как же барина с слугой не распознать? И одет-то не так, и баишь² иначе, и собаку-то кличешь не по-нашему». Лиза час от часу более нравилась Алексею. Привыкнув не церемониться с хорошенькими поселянками, он было хотел обнять ее; но Лиза отпрыгнула от него и приняла вдруг на себя такой строгий и холодный вид, что хотя это и рассмешило Алексея, но удержало его от дальнейших покушений. «Если вы хотите, чтобы мы были вперед приятелями, – сказала она с важностью, – то не извольте забываться». – «Кто тебя научил этой премудрости? – спросил Алексей, расхохотавшись, – Уж не Настенька ли, моя знакомая, не девушка ли барышни вашей? Вот какими путями распространяется просвещение!» Лиза почувствовала, что вышла было из своей роли, и тотчас поправилась. «А что думаешь? – сказала она, – разве я и на барском дворе никогда не бываю? небось: всего наслышалась и нагладелась. Однако, – продолжала она, – болтая с тобою, грибов не наберешь. Иди-ка ты, барин, в сторону, а я в другую. Прощения просим...» Лиза хотела удалиться, Алексей удержал ее за руку. «Как тебя зовут, душа моя?» – «Акулиной³, – отвечала Лиза, стараясь

¹ *Тубо, Сбогар, сюда (фр.); кличка собаки – имя героя романа Шарля Нодье «Жан Сбогар».*

² *Баить – говорить.*

³ *Русское имя Акулина от латинского Aquilina – «как орлица».*

освободить свои пальцы от руки Алексеевой, – да пусти ж, барин; мне и домой пора». – «Ну, мой друг Акулина, непременно буду в гости к твоему батюшке, к Василию кузнецу». – «Что ты? – возразила с живостию Лиза, – ради Христа, не приходи. Коли дома узнают, что я с барином в роще болтала наедине, то мне беда будет: отец мой, Василий кузнец, прибьет меня до смерти». – «Да я непременно хочу с тобою опять видиться». – «Ну я когда-нибудь опять сюда приду за грибами». – «Когда же?» – «Да хоть завтра». – «Милая Акулина, расцеловал бы тебя, да не смею. Так завтра, в это время, не правда ли?» – «Да, да». – «И ты не обманешь меня?» – «Не обману». – «Побожись». – «Ну вот те святая пятница¹, приду».

Молодые люди расстались. Лиза вышла из лесу, перебралась через поле, прокрадась в сад и опрометью побежала в ферму, где Настя ожидала ее. Там она переоделась, рассеянно отвечая на вопросы нетерпеливой наперсницы, и явилась в гостиную. Стол был накрыт, завтрак готов, и мисс Жаксон, уже набеленная и затянутая в рюмочку², нарезывала тоненькие тартинки³. Отец похвалил ее за раннюю прогулку. «Нет ничего здоровее, – сказал он, – как просыпаться на заре». Тут он привел несколько примеров человеческого долголетия, почерпнутых из английских журналов, замечая, что все люди, жившие более ста лет, не употребляли водки и вставали на заре зимой и летом. Лиза его не слушала. Она в мыслях повторяла все обстоятельства утреннего свидания, весь разговор Акулины с молодым охотником, и совесть начала ее мучить. Напрасно возражала она самой себе, что беседа их не выходила из границ благопристойности, что эта шалость не могла иметь никакого последствия, совесть ее роптала громче ее разума. Обещание, данное ею на завтрашний день, всего более беспокоило ее: она совсем было решила не сдержать своей торжественной клятвы. Но Алексей, прождав ее напрасно, мог идти отыскивать в селе дочь Василия кузнеца, настоящую Акулину, толстую, рябую девку, и таким образом догадаться об ее легкомысленной проказе. Мысль эта ужаснула Лизу, и она решила на другое утро опять явиться в рощу Акулиной.

С своей стороны, Алексей был в восхищении, целый день думал он о новой своей знакомке; ночью образ смуглой красавицы и во сне преследовал его воображение. Заря едва занималась, как он уже был одет. Не дав себе времени зарядить ружье, вышел он в поле с верным своим Сбогаром и побежал к месту обещанного свидания. Около получаса прошло в несносном для него ожидании; наконец он увидел меж кустарника мелькнувший синий сарафан и бросился навстречу милой Акулины. Она улыбнулась восторгу его благодарности; но Алексей тотчас же заметил на ее лице следы уныния и беспокойства. Он хотел узнать тому причину. Лиза призналась, что поступок ее казался ей легкомысленным, что она в нем раскаивалась, что на сей раз не хотела она не сдержать данного слова, но что это свидание будет уже последним и что она просит его прекратить знакомство, которое ни к чему доброму не может их довести. Всё это, разумеется, было сказано на крестьянском наречии; но мысли и чувства, необыкновенные в простой девушке, поразили Алексея. Он употребил всё свое красноречие, дабы отвратить Акулину от ее намерения; уверял ее в невинности своих

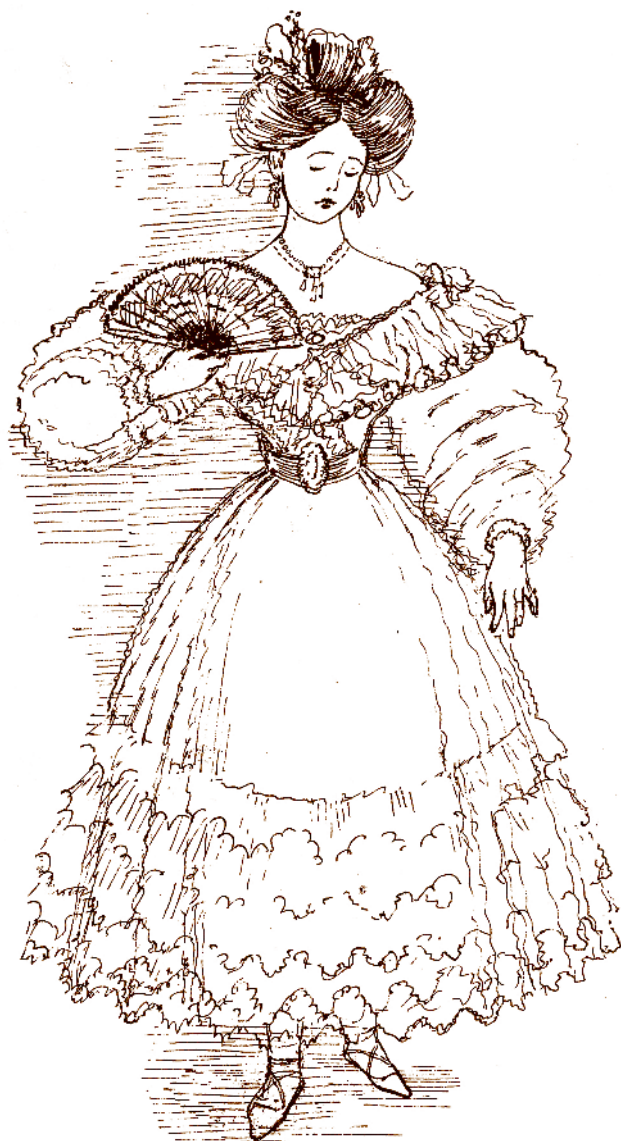
¹ Святая (Великая) пятница – пятница Страстной недели (седмицы).

² затянутая в рюмочку – с тонкой благодаря корсету талией.

³ Тартинки – маленькие, «на один укус» бутерброды.

желаний, обещал никогда не подать ей повода к раскаянию, повиноваться ей во всем, заклинал ее не лишать его одной отрады: видаться с нею наедине, хотя бы через день, хотя бы дважды в неделю. Он говорил языком истинной страсти и в эту минуту был точно влюблен. Лиза слушала его молча. «Дай мне слово, – сказала она наконец, – что ты никогда не будешь искать меня в деревне или расспрашивать обо мне. Дай мне слово не искать других со мной свиданий, кроме тех, которые я сама назначу». Алексей поклялся было ей святою пятницею, но она с улыбкой остановила его. «Мне не нужно клятвы, – сказала Лиза, – довольно одного твоего обещания». После того они дружески разговаривали, гуляя вместе по лесу, до тех пор, пока Лиза сказала ему: пора. Они расстались, и Алексей, оставшись наедине, не мог понять, каким образом простая деревенская девочка в два свидания успела взять над ним истинную власть. Его сношения с Акулиной имели для него прелесть новизны, и хотя предписания странной крестьянки казались ему тягостными, но мысль не сдержать своего слова не пришла даже ему в голову. Дело в том, что Алексей, несмотря на роковое кольцо, на таинственную переписку и на мрачную разочарованность, был добрый и пылкий малый и имел сердце чистое, способное чувствовать наслаждения невинности.

Если бы слушался я одной своей охоты, то непременно и во всей подробности стал бы описывать свидания молодых людей, возрастающую взаимную склонность и доверчивость, занятия, разговоры; но знаю, что большая часть моих читателей не разделила бы со мною моего удовольствия. Эти подробности вообще должны казаться





приторными, итак я пропущу их, сказав вкратце, что не прошло еще и двух месяцев, а мой Алексей был уже влюблен без памяти, и Лиза была не равнодушнее, хотя и молчаливее его. Оба они были счастливы настоящим и мало думали о будущем.

Мысль о неразрывных узах довольно часто мелькала в их уме, но никогда они о том друг с другом не говорили. Причина ясная: Алексей, как ни привязан был к милой своей Акулине, всё помнил расстояние, существующее между им и бедной крестьянкою; а Лиза ведала, какая ненависть существовала между их отцами, и не смела надеяться на взаимное примирение. К тому же самолюбие ее было втайне подстрекаемо темной, романическою надеждою увидеть наконец тугиловского помещика у ног дочери прилучинского кузнеца. Вдруг важное происшествие чуть было не переменяло их взаимных отношений.

В одно ясное, холодное утро (из тех, какими богата наша русская осень) Иван Петрович Берестов выехал прогуляться верхом, на всякий случай взяв с собою пары три борзых, стрелянного и несколько дворовых мальчишек с трещотками. В то же самое время Григорий Иванович Муромский, соблазняя хорошою погодою, велел оседлать кузю свою кобылку и рысью поехал около своих англазированных владений. Подъезжая к лесу, увидел он соседа своего, гордо сидящего верхом, в чекмене¹,

¹ Чекмень — верхняя мужская одежда наподобие кафтана со сборками сзади у талии.

подбитом лисьим мехом, и поджидающего зайца, которого мальчишки криком и трещотками выгоняли из кустарника. Если б Григорий Иванович мог предвидеть эту встречу, то конечно б он поворотил в сторону; но он наехал на Берестова вовсе неожиданно и вдруг очутился от него в расстоянии пистолетного выстрела. Делать было нечего. Муромский, как образованный европеец, подъехал к своему противнику и учтиво его приветствовал. Берестов отвечал с таким же усердием, с каковым цепной медведь кланяется *господам* по приказанию своего вожатого. В сие время заяц выскочил из лесу и побежал полем. Берестов и стремянный закричали во всё горло, пустили собак и следом поскакали во весь опор. Лошадь Муромского, не бывавшая никогда на охоте, испугалась и понесла. Муромский, провозгласивший себя отличным наездником, дал ей волю и внутренне доволен был случаем, избавляющим его от неприятного собеседника. Но лошадь, доскакав до оврага, прежде ею не замеченного, вдруг кинулась в сторону, и Муромский не удержался. Упав довольно тяжело на мерзлую землю, лежал он, проклиная свою куцую кобылу, которая, как будто опомнясь, тотчас остановилась, как только почувствовала себя без седока. Иван Петрович подскочил к нему, осведомляясь, не ушибся ли он. Между тем стремянный привел виновную лошадь, держа ее под уздцы. Он помог Муромскому взобраться на седло, а Берестов пригласил его к себе. Муромский не мог отказаться, ибо чувствовал себя обязанным, и таким образом Берестов возвратился домой со славою, затравив зайца и ведя своего противника раненым и почти военнопленным.

Соседи, завтракая, разговорились довольно дружелюбно. Муромский попросил у Берестова дрожек, ибо признался, что от ушибу не был он в состоянии доехать до дома верхом. Берестов проводил его до самого крыльца, а Муромский уехал не прежде, как взяв с него честное слово на другой же день (и с Алексеем Ивановичем) приехать отобедать по-приятельски в Прилучино. Таким образом вражда старинная и глубоко укоренившаяся, казалось, готова была прекратиться от пугливости куцой кобылки.

Лиза выбежала навстречу Григорью Ивановичу. «Что это значит, папа? – сказала она с удивлением, – отчего вы хромаете? Где ваша лошадь? Чьи это дрожки?» – «Вот уж не угадаешь, my dear¹», – отвечал ей Григорий Иванович и рассказал всё, что случилось. Лиза не верила своим ушам. Григорий Иванович, не дав ей опомниться, объявил, что завтра будут у него обедать оба Берестовы. «Что вы говорите! – сказала она, побледнев. – Берестовы, отец и сын! Завтра у нас обедать! Нет, папа, как вам угодно: я ни за что не покажусь». – «Что ты, с ума сошла? – возразил отец, – давно ли ты стала так застенчива, или ты к ним питаешь наследственную ненависть, как романическая героиня? Полно, не дурачься...» – «Нет, папа, ни за что на свете, ни за какие сокровища не явлюсь я перед Берестовыми». Григорий Иванович пожал плечами и более с нею не спорил, ибо знал, что противоречием с нею ничего не возьмешь, и пошел отдыхать от своей достопримечательной прогулки.

Лизавета Григорьевна ушла в свою комнату и призвала Настю. Обе долго рассуждали о завтрашнем посещении. Что подумает Алексей, если узнает в благосопитанной барышне свою Акулину? Какое мнение будет он иметь о ее поведении и правилах, о ее благоразумии? С другой стороны, Лизе очень хотелось видеть, какое впечатление произвело бы на него свидание столь неожиданное... Вдруг мелькнула ей

¹ моя дорогая (англ.).

мысль. Она тотчас передала ее Насте; обе обрадовались ей как находке и положили исполнить ее непременно.

На другой день за завтраком Григорий Иванович спросил у дочери, всё ли намерена она спрятаться от Берестовых. «Папа, – отвечала Лиза, – я приму их, если это вам угодно, только с уговором: как бы я перед ними ни явилась, что б я ни сделала, вы брать меня не будете и не дадите никакого знака удивления или неудовольствия». – «Опять какие-нибудь проказы! – сказал смеясь, Григорий Иванович. – Ну, хорошо, хорошо; согласен, делай, что хочешь, черноглазая моя шалунья». С этим словом он поцеловал ее в лоб, и Лиза побежала приготовляться.

В два часа ровно коляска домашней работы, запряженная шестью лошадьми, въехала на двор и покатила около густо-зеленого дернового круга. Старый Берестов взшел на крыльцо с помощью двух ливрейных лакеев Муромского. Вслед за ним сын его приехал верхом и вместе с ним вошел в столовую, где стол был уже накрыт. Муромский принял своих соседей как нельзя ласковее, предложил им осмотреть перед обедом сад и зверинец и повел по дорожкам, тщательно выметенным и усыпанным песком. Старый Берестов внутренне жалел о потерянном труде и времени на столь бесполезные прихоти, но молчал из вежливости. Сын его не разделял ни неудовольствия расчетливого помещика, ни восхищения самолюбивого англомана; он с нетерпением ожидал появления хозяйской дочери, о которой много наслышался, и хотя сердце его, как нам известно, было уже занято, но молодая красавица всегда имела право на его воображение.

Возвратясь в гостиную, они уселись втроем: старики вспомнили прежнее время и анекдоты своей службы, а Алексей размышлял о том, какую роль играть ему в присутствии Лизы. Он решил, что холодная рассеянность во всяком случае всего приличнее и вследствие сего приготовился. Дверь отворилась, он повернул голову с таким равнодушием, с такою гордою небрежностью, что сердце самой закоренелой кокетки непременно должно было бы содрогнуться. К несчастью, вместо Лизы вошла старая мисс Жаксон, набеленная, затаенная, с потупленными глазами и с маленьким книксом¹, и прекрасное военное движение Алексея пропало втуне. Не успел он снова собраться с силами, как дверь опять отворилась, и на сей раз вошла Лиза. Все встали; отец начал было представление гостей, но вдруг остановился и поспешно закусил себе губы... Лиза, его смуглая Лиза, набелена была по уши, насурьмлена пуще самой мисс Жаксон; фальшивые локоны, гораздо светлее собственных ее волос, взбиты были, как парик Людовика XIV; рукава à l'imbécile² торчали, как фижмы³ у Madame de Pompadour⁴; талия была перетянута, как буква икс, и все бриллианты ее матери, еще не заложенные в ломбарде, сияли на ее пальцах, шее и ушах. Алексей не мог узнать свою Акулину в этой смешной и блестящей барышне. Отец его подошел к ее ручке, и он с досадою ему последовал; когда прикоснулся он к ее беленьким пальчикам, ему показалось, что они дрожали. Между тем он успел заметить ножку, с намерением выставленную и обутую со всевозможным кокетством. Это помирило его несколько с

¹ Книксен – поклон с приседанием.

² «по-дурацки» (фр.) – фасон узких рукавов с пуфами у плечей.

³ Фижмы – каркас под юбкой для придания ей объема.

⁴ у гостини де Помпадур (фр.); маркиза де Помпадур – фаворитка Людовика XV.



остальным ее нарядом. Что касается до белил и до сурьмы, то в простоте своего сердца, признаться, он их с первого взгляда не заметил, да и после не подозревал. Григорий Иванович вспомнил свое обещание и старался не показать и виду удивления; но шалость его дочери казалась ему так забавна, что он едва мог удержаться. Не до смеху было чопорной англичанке. Она догадывалась, что сурьма и белила были похищены

из ее комода, и багровый румянец досады пробивался сквозь искусственную белизну ее лица. Она бросала пламенные взгляды на молодую проказницу, которая, отлагая до другого времени всякие объяснения, притворялась, будто их не замечает.

Сели за стол. Алексей продолжал играть роль рассеянного и задумчивого. Лиза жеманилась, говорила сквозь зубы, нараспев, и только по-французски. Отец поминутно засматривался на нее, не понимая ее цели, но находя всё это весьма забавным. Англичанка бесилась и молчала. Один Иван Петрович был как дома: ел за двоих, пил в свою меру, смеялся своему смеху и час от часу дружелюбнее разговаривал и хохотал.

Наконец встали из-за стола; гости уехали, и Григорий Иванович дал волю смеху и вопросам. «Что тебе вздумалось дурачить их? – спросил он Лизу. – А знаешь ли что? Белилы, право, тебе пристали; не вхожу в тайны дамского туалета, но на твоём месте я бы стал белиться; разумеется, не слишком, а слегка». Лиза была в восхищении от успеха своей выдумки. Она обняла отца, обещалась ему подумать о его совете и побежала умиловать раздраженную мисс Жаксон, которая насилу согласилась отпереть ей свою дверь и выслушать ее оправдания. Лизе было совестно показаться перед незнакомцами такой чернавкой; она не смела просить... она была уверена, что добрая, милая мисс Жаксон простит ей... и проч., и проч. Мисс Жаксон, удостоверясь, что Лиза не думала поднять ее насмех, успокоилась, поцеловала Лизу и в залог примирения подарила ей баночку английских белил, которую Лиза и приняла с изъяснением искренней благодарности.

Читатель догадается, что на другой день утром Лиза не замедлила явиться в роще свиданий. «Ты был, барин, вечер у наших господ? – сказала она тотчас Алексею, – какова показалась тебе барышня?» Алексей отвечал, что он ее не заметил. «Жаль», – возразила Лиза. «А почему же?» – спросил Алексей. «А потому, что я хотела бы спросить у тебя, правда ли, говорят...» – «Что же говорят?» – «Правда ли, говорят, будто бы я на барышню похожа?» – «Какой вздор! она перед тобой урод уродом». – «Ах, барин, грех тебе это говорить; барышня наша такая беленькая, такая щеголиха! Куда мне с нею равняться!» Алексей божился ей, что она лучше всевозможных беленьких барышень и, чтоб успокоить ее совсем, начал описывать ее госпожу такими смешными чертами, что Лиза хохотала от души. «Однако ж, – сказала она со вздохом, – хоть барышня, может, и смешна, всё же я перед нею дура безграмотная». – «И! – сказал Алексей, – есть о чем сокрушаться! Да коли хочешь, я тотчас выучу тебя грамоте». – «А взаправду, – сказала Лиза, – не попытаться ли и в самом деле?» – «Изволь, милая; начнем хоть сейчас». Они сели. Алексей вынул из кармана карандаш и записную книжку, и Акулина выучилась азбуке удивительно скоро. Алексей не мог надивиться ее понятливости. На следующее утро она захотела попробовать и писать; сначала карандаш не слушался ее, но через несколько минут она и вырисовывать буквы стала довольно порядочно. «Что за чудо! – говорил Алексей. – Да у нас учение идет скорее, чем по ланкастерской системе»¹. В самом деле, на третьем уроке Акулина разбирала уже по складам «Наталью, боярскую дочь»², прерывая чтение

¹ Речь идет о системе взаимного обучения по методу английского педагога Джозефа Ланкстера, который предлагал продвинутым ученикам обучать более слабых.

² «Наталья боярская дочь» - повесть Н.М. Карамзина.

замечаниями, от которых Алексей истинно был в изумлении, и круглый лист¹ измарала афоризмами, выбранными из той же повести.

Прошла неделя, и между ними завелась переписка. Почтовая контора учреждения была в дупле старого дуба. Настя втайне исправляла должность почтальона. Туда приносил Алексей крупным почерком написанные письма и там же находил на синей простой бумаге каракульки своей любезной. Акулина, видимо, привыкала к лучшему складу речей, и ум ее приметно развивался и образовывался.

Между тем недавнее знакомство между Иваном Петровичем Берестовым и Григорьем Ивановичем Муромским более и более укреплялось и вскоре превратилось в дружбу, вот по каким обстоятельствам: Муромский нередко думал о том, что по смерти Ивана Петровича всё его имение перейдет в руки Алексею Ивановичу; что в таком случае Алексей Иванович будет один из самых богатых помещиков той губернии, и что нет ему никакой причины не жениться на Лизе. Старый же Берестов, с своей стороны, хотя и признавал в своем соседе некоторое сумасбродство (или, по его выражению, английскую дурь), однако ж не отрицал в нем и многих отличных достоинств, например: редкой оборотливости; Григорий Иванович был близкий родственник графу Пронскому, человеку знатному и сильному; граф мог быть очень полезен Алексею, а Муромский (так думал Иван Петрович), вероятно, обрадуется случаю выдать свою дочь выгодным образом. Старики до тех пор обдумывали всё это каждый про себя, что наконец друг с другом и переговорились, обнялись, обещались дело порядком обработать и принялись о нем хлопотать каждый со своей стороны. Муромскому предстояло затруднение: уговорить свою Бетси познакомиться короче с Алексеем, которого не видала она с самого достопамятного обеда. Казалось, они друг другу не очень нравились; по крайней мере Алексей уже не возвращался в Прилучино, а Лиза уходила в свою комнату всякий раз, как Иван Петрович удостоивал их своим посещением. Но, думал Григорий Иванович, если Алексей будет у меня всякий день, то Бетси должна же будет в него влюбиться. Это в порядке вещей. Время всё сладит.

Иван Петрович менее беспокоился об успехе своих намерений. В тот же вечер призвал он сына в свой кабинет, закурил трубку и, немного помолчав, сказал: «Что же ты, Алеша, давно про военную службу не поговариваешь? Иль гусарский мундир уже тебя не прельщает!...» – «Нет, батюшка, – отвечал почтительно Алексей, – я вижу, что вам не угодно, чтоб я шел в гусары; мой долг вам повиноваться». – «Хорошо, – отвечал Иван Петрович, – вижу, что ты послушный сын; это мне утешительно; не хочу ж и я тебя неволить; не понуждаю тебя вступить... тотчас... в статскую службу; а покамест намерен я тебя женить».

– На ком это, батюшка? – спросил изумленный Алексей.

– На Лизавете Григорьевне Муромской, – отвечал Иван Петрович; – невеста хоть куда; не правда ли?

– Батюшка, я о женитьбе еще не думаю.

– Ты не думаешь, так я за тебя думал и передумал.

– Воля ваша, Лиза Муромская мне вовсе не нравится.

– После понравится. Стерпится, слюбится.

¹ круглый в данном случае – целый.

– Я не чувствую себя способным сделать ее счастье.
 – Не твое горе – ее счастье. Что? так-то ты считаешь волю родительскую? Добро!
 – Как вам угодно, я не хочу жениться и не женюсь.
 – Ты женишься, или я тебя прокляну, а имение, как бог свят! продам и промотаю, и тебе полушки не оставлю! Даю тебе три дня на размышление, а покамест не смей на глаза мне показаться.

Алексей знал, что если отец заберет что себе в голову, то уж того, по выражению Тараса Скотинина¹, у него и гвоздем не вышибешь; но Алексей был в батюшку, и его столь же трудно было переспорить. Он ушел в свою комнату и стал размышлять о пределах власти родительской, о Лизавете Григорьевне, о торжественном обещании отца сделать его нищим и наконец об Акулине. В первый раз видел он ясно, что он в нее страстно влюблен; романическая мысль жениться на крестьянке и жить своими трудами пришла ему в голову, и чем более думал он о сем решительном поступке, тем более находил в нем благоразумия. С некоторого времени свидания в роще были прекращены по причине дождливой погоды. Он написал Акулине письмо самым четким почерком и самым бешеным слогом, объявлял ей о грозящей им гибели, и тут же предлагал ей свою руку. Тотчас отнес он письмо на почту, в дупло, и лег спать весьма довольный собою.

На другой день Алексей, твердый в своем намерении, рано утром поехал к Муромскому, дабы откровенно с ним объясниться. Он надеялся подстрекнуть его великодушие и склонить его на свою сторону. «Дома ли Григорий Иванович?» – спросил он, останавливая свою лошадь перед крыльцом прилучинского замка. «Никак нет, – отвечал слуга, – Григорий Иванович с утра изволил выехать». – «Как досадно!» – подумал Алексей. «Дома ли по крайней мере Лизавета Григорьевна?» – «Дома-с». И Алексей спрыгнул с лошади, отдал поводья в руки лакею и пошел без доклада.

«Всё будет решено, – думал он, подходя к гостиной, – объяснюсь с нею самою». – Он вошел... и остолебенел! Лиза... нет Акулина, милая смуглая Акулина, не в сарафане, а в белом утреннем платье, сидела перед окном и читала его письмо; она так была занята, что не слыхала, как он и вошел. Алексей не мог удержаться от радостного восклицания. Лиза вздрогнула, подняла голову, закричала и хотела убежать. Он бросился ее удерживать. «Акулина, Акулина!..» Лиза старалась от него освободиться... «*Mais laissez-moi donc, monsieur; mais êtes-vous fou?*»² – повторяла она, отворачиваясь. «Акулина! друг мой, Акулина!» – повторял он, целуя ее руки. Мисс Жаксон, свидетельница этой сцены, не знала, что подумать. В эту минуту дверь отворилась, и Григорий Иванович вошел.

– Ага! – сказал Муромский, – да у вас, кажется, дело совсем уже слажено...

Читатели избавят меня от излишней обязанности описывать развязку.

КОНЕЦ ПОВЕСТЯМ И. П. БЕЛКИНА

¹ Тарас Скотинин – персонаж комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль».

² Оставьте же меня, сударь; с ума вы сошли? (фр.).

История села Горюхина

Если бог пошлет мне читателей, то, может быть, для них будет любопытно узнать, каким образом решился я написать Историю села Горюхина. Для того должен я войти в некоторые предварительные подробности.

Я родился от честных и благородных родителей в селе Горюхине 1801 года апреля 1 числа и первоначальное образование получил от нашего дьячка.¹ Сему-то почтенному мужу обязан я впоследствии развившейся во мне охотой к чтению и вообще к занятиям литературным. Успехи мои хотя были медленны, но благонадежны, ибо на десятом году от роду я знал уже почти всё то, что поныне осталось у меня в памяти, от природы слабой и которую по причине столь же слабого здоровья не позволяли мне излишне отягощать.

Звание литератора всегда казалось для меня самым завидным. Родители мои, люди почтенные, но простые и воспитанные по-старинному, никогда ничего не читывали, и во всем доме, кроме Азбуки, купленной для меня, календарей и Новейшего письмовника², никаких книг не находилось. Чтение письмовника долго было любимым моим упражнением. Я знал его наизусть и, несмотря на то, каждый день находил в нем новые незамеченные красоты. После генерала Племянникова, у которого батюшка был некогда адъютантом, Курганов казался мне величайшим человеком. Я расспрашивал о нем у всех, и, к сожалению, никто не мог удовлетворить моему любопытству, никто не знал его лично, на все мои вопросы отвечали только, что Курганов сочинил Новейший письмовник, что твердо знал я и прежде. Мрак неизвестности окружал его как некоего древнего полубога; иногда я даже сомневался в истине его существования. Имя его казалось мне вымышленным и предание о нем пустою мифою, ожидавшею изыскания нового Нибура³. Однако же он всё преследовал мое воображение, я старался придать какой-нибудь образ сему таинственному лицу, и наконец решил, что должен он был походить на земского заседателя⁴ Корючкина, маленького старичка с красным носом и сверкающими глазами.

В 1812 году повезли меня в Москву и отдали в пансион Карла Ивановича Мейера⁵ – где пробыл я не более трех месяцев, ибо нас распустили перед вступлением

¹ Дьяк – церковнослужитель, не имеющий священного сана.

² Имеется в виду так называемый Письмовник, составленный просветителем XVIII века Николаем Гавриловичем Кургановым. Эта книга была популярным изложением русской грамматики, справочником по классической мифологии, словарем иностранных слов, сборником народных пословиц и поговорок, а также наиболее значимых стихотворений различных авторов.

³ Бартольд Георг Нибур – немецкий филолог, исследователь, написавший в начале XIX века капитальную «Историю Античности», в которой он критически разобрал многие легенды Древнего Рима.

⁴ Земский заседатель – выборная должность в земском суде.

⁵ В рукописи указан другой пансион: «Десяти лет привезен я был в Москву и отдан в партикулярный пансион Франца Егоровича Ф.,...».

неприятеля – я возвратился в деревню. По изгнании двухнадесяти языков¹ хотели меня снова везти в Москву посмотреть, не возвратился ли Карл Иванович на прежнее пепелище или, в противном случае, отдать меня в другое училище, но я упрямил матушку оставить меня в деревне, ибо здоровье мое не позволяло мне вставать с постели в семь часов, как обыкновенно заведено во всех пансионах. Таким образом достиг я шестнадцатилетнего возраста, оставаясь при первоначальном моем образовании и играя в лапту² с моими потешными³, единственная наука, в коей приобрел я достаточное познание во время пребывания моего в пансионе.

В сие время определился я юнкером в ** пехотный полк, в коем и находился до прошлого 18** года. Пребывание мое в полку оставило мне мало приятных впечатлений, кроме производства в офицеры и выигрыша 245 рублей в то время, как у меня в кармане всего оставалось рубль 6 гривен. Смерть дражайших моих родителей принудила меня подать в отставку и приехать в мою вотчину⁴.

Сия эпоха жизни моей столь для меня важна, что я намерен о ней распространиться, заранее прося извинения у благосклонного читателя, если во зло употреблю снисходительное его внимание.

День был осенний и пасмурный. Прибыв на станцию, с которой должно было мне своротить на Горюхино, нанял я вольных⁵ и поехал проселочною дорогой. Хотя я нрава от природы тихого, но нетерпение вновь увидеть места, где провел я лучшие свои годы, так сильно овладело мной, что я поминутно погонял моего ямщика, то обещая ему на водку, то угрожая побоями, и как удобнее было мне толкать его в спину, нежели вынимать и развязывать кошелёк, то, признаюсь, раза три и ударил его, что отроду со мною не случалось, ибо сословие ямщиков, сам не знаю почему, для меня в особенности любезно. Ямщик погонял свою тройку, но мне казалось, что он, по обыкновению ямскому, уговаривая лошадей и размахивая кнутом, всё-таки затягивал гужи⁶. Наконец завидел Горюхинскую рошу; и через десять минут въехал на барский двор. Сердце мое сильно билось – я смотрел вокруг себя с волнением неопианным. восемь лет не видал я Горюхина. Березки, которые при мне посажены были около забора, выросли и стали теперь высокими, ветвистыми деревьями. Двор, бывший некогда украшен тремя правильными цветниками, меж которых шла широкая дорога, усыпанная песком, теперь обращен был в некошенный луг, на котором паслась бурая корова. Бричка моя остановилась у переднего крыльца. Человек мой пошел было отворить двери, но они были заколочены, хотя ставни были открыты и дом казался обитаемым. Баба вышла из людской избы и спросила, кого мне надобно. Узнав, что барин приехал, она снова побежала в избу, и вскоре дворня меня окружила.

¹ Двенадцать языков – армия Наполеона, состоявшая из воинских подразделений различных национальностей.

² Лапта – старинная русская командная игра с мячом и битой.

³ Потешные в Петровское время – молодые люди, набранные для царских игр и забав; здесь речь о дворовых детях.

⁴ Вотчина – вид наследственного земельного владения; имение, доставшееся от отца.

⁵ Вольные – не почтовые лошади.

⁶ Гужи – ремни, соединяющие хомут с оглоблями повозки.

Я был тронут до глубины сердца, увидя знакомые и незнакомые лица – и дружелюбно со всеми ими целуясь: мои потешные мальчишки были уже мужиками, а сидевшие некогда на полу для посылок девчонки замужними бабами. Мужчины плакали. Женщинам говорил я без церемонии: «Как ты постарела», – и мне отвечали с чувством: «Как вы-то, батюшка, подурнели». Повели меня на заднее крыльцо, навстречу мне вышла моя кормилица и обняла меня с плачем и рыданием, как многострадального Одиссея¹. Побежали топить баню. Повар, ныне в бездействии отравивший себе бороду, вызвался приготовить мне обед или ужин – ибо уже смеркалось. Тотчас очистили мне комнаты, в коих жила кормилица с девушками покойной матушки, и я очутился в смиренной отеческой обители и заснул в той самой комнате, в которой за 23 года тому родился.

Около трех недель прошло для меня в хлопотах всякого рода – я возился с заседателями, предводителями и всевозможными губернскими чиновниками. Наконец принял я наследство и был введен во владение отчиной; я успокоился, но скоро скука бездействия стала меня мучить. Я не был еще знаком с добрым и почтенным соседом моим **. Занятия хозяйственные были вовсе для меня чужды. Разговоры кормилицы моей, произведенной мною в ключницы и управительницы, состояли счетом из пятнадцать домашних анекдотов, весьма для меня любопытных, но рассказываемых ею всегда одинаково, так что она сделалась для меня другим *новейшим письмовником*, в котором я знал, на какой странице какую найду строчку. Настоящий же заслуженный письмовник был мною найден в кладовой, между всякой рухлядью, в жалком состоянии. Я вынес его на свет и принялся было за него, но Курганов потерял для меня прежнюю свою прелесть, я прочел его еще раз и больше уже не открывал.

В сей крайности пришло мне на мысль, не попробовать ли самому что-нибудь сочинить? Благоклонный читатель знает уже, что воспитан я был на медные деньги и что не имел я случая приобрести сам собою то, что было раз упущено, до шестнадцати лет играя с дворовыми мальчишками, а потом переходя из губернии в губернию, из квартиры на квартиру, проводя время с жидами да с маркитантами², играя на ободранных билиярдах и маршируя в грязи.

К тому же быть сочинителем казалось мне так мудрено, так недостижимо нам непосвященным, что мысль взяться за перо сначала испугала меня. Смел ли я надеяться попасть когда-нибудь в число писателей, когда уже пламенное желание мое встретиться с одним из них никогда не было исполнено? Но это напоминает мне случай, который намерен я рассказать в доказательство всегдашней страсти моей к отечественной словесности.

В 1820 году еще юнкером случилось мне быть по казенной надобности в Петербурге. Я прожил в нем неделю и, несмотря на то, что не было там у меня ни одного знакомого человека, провел время чрезвычайно весело: каждый день тихонько ходил я в театр, в галерею четвертого яруса. Всех актеров узнал по имени и страстно влюбился в **, игравшую с большим искусством в одно воскресенье роль Амалии

¹ Один из главных персонажей «Иллиады», легендарный Одиссей, вернулся на родину после многих лет скитаний.

² Маркитанты – мелкие торговцы, сопровождавшие войска в походах.

в драме «*Ненависть к людям и раскаяние*»¹. Утром, возвращаясь из Главного штаба, заходил я обыкновенно в низенькую конфетную лавку и за чашкой шоколаду читал литературные журналы. Однажды сидел я углубленный в критическую статью «*Благонамеренного*»²; некто в гороховой шинели ко мне подошел и из-под моей книжки тихонько потянул листок «*Гамбургской газеты*». Я так был занят, что не поднял и глаз. Незнакомый спросил себе бифштексу и сел передо мною; я всё читал, не обращая на него внимания; он между тем позавтракал, сердито побранил мальчику за неисправность, выпил полбутылки вина и вышел. Двое молодых людей тут же завтракали. «Знаешь ли, кто это был? – сказал один другому: – Это Б., сочинитель»³. – «Сочинитель!» – воскликнул я невольно – и, оставя журнал недочитанным и чашку недопитую, побежал расплачиваться и, не дождавшись сдачи, выбежал на улицу. Смотря во все стороны, увидел я издали гороховую⁴ шинель и пустился за нею по Невскому проспекту – только что не бегом. Сделав несколько шагов, чувствую вдруг, что меня останавливают – оглядываюсь, гвардейский офицер заметил мне, что-де мне следовало б не толкнуть его с тротуара, но скорее остановиться и вытянуться. После сего выговора я стал осторожнее; на беду мою поминутно встречались мне офицеры, я поминутно останавливался, а сочинитель всё уходил от меня вперед. Отроду моя солдатская шинель не была мне столь тягостною, – отроду эпюлеты не казались мне столь завидными; наконец у самого Аничкина моста догнал я гороховую шинель. «Позвольте спросить, – сказал я, приставя ко лбу руку, – вы г. Б., коего прекрасные статьи имел я счастье читать в «Соревнователе просвещения?»⁵ – «Никак нет-с, – отвечал он мне, – я не сочинитель, а стряпчий⁶, но ** мне очень знаком; четверть часа тому я встретил его у Полицейского мосту⁷». Таким образом уважение мое к русской литературе стоило мне тридцати копеек потерянной сдачи, выговора по службе и чуть-чуть не ареста – а всё даром.

Несмотря на все возражения моего рассудка, дерзкая мысль сделаться писателем поминутно приходила мне в голову. Наконец, не будучи более в состоянии противиться влечению природы, я сшил себе толстую тетрадь с твердым намерением наполнить ее чем бы то ни было. Все роды поэзии (ибо о смиренной прозе я еще и не помышлял) были мною разобраны, оценены, и я непременно решился на эпическую поэму, почерпнутую из отечественной истории. Недолго искал я себе героя. Я выбрал Рюрика – и принялся за работу.

К стихам приобрел я некоторый навык, переписывая тетрадки, ходившие по рукам между нашими офицерами, именно: «*Опасного соседа*»⁸, «*Критику на Московский*

¹ «*Ненависть к людям и раскаяние*» – комедия немецкого драматурга Августа фон Коцебу, впервые сыгранная в России в 1791 году.

² «*Благонамеренный*» – журнал, издававшийся А. Измайловым с 1818 по 1826 год.

³ Б., сочинитель – по-видимому, Ф. Булгарин.

⁴ Гороховая шинель – зеленовато-серая с желтым оттенком, цвета зрелого гороха.

⁵ «*Соревнователь просвещения и благотворения*» – ежемесячный журнал, издававшийся в Петербурге в 1818-1825 годах.

⁶ Стряпчий – судебный чиновник.

⁷ Полицейский (Зеленый) мост на Невском проспекте через Мойку.

⁸ «*Опасный сосед*» – комическая поэма Василия Львовича Пушкина (дяди поэта).

Бульвар», «на Пресненские пруды»¹ и т. п. Несмотря на то поэма моя подвигалась медленно и я бросил ее на третьем стихе. Я думал, что эпический род не мой род, и начал трагедию Рюрик. Трагедия не пошла. Я попробовал обратить ее в балладу – но и баллада как-то мне не давалась. Наконец вдохновение озарило меня, я начал и благополучно окончил надпись к портрету Рюрика.

Несмотря на то, что надпись моя была не вовсе недостойна внимания, особенно как первое произведение молодого стихотворца, однако ж я почувствовал, что я не рожден поэтом, и довольствовался сим первым опытом. Но творческие мои попытки так привязали меня к литературным занятиям, что уже не мог я расстаться с тетрадью и чернильницей. Я хотел низойти к прозе. На первый случай, не желая заняться предварительным изучением, расположением плана, скреплением частей и т. п., я вознамерился писать отдельные мысли, без связи, без всякого порядка, в том виде, как они мне станут представляться. К несчастью, мысли не приходили мне в голову – и в целые два дня надумал я только следующее замечание: Человек, не повинующийся законам рассудка и привыкший следовать внушениям страстей, часто заблуждается и подвергает себя позднему раскаянию. Мысль конечно справедливая, но уже не новая. Оставя мысли, принялся я за повести, но, не умея с непривычки расположить вымышленное происшествие, я избрал замечательные анекдоты, некогда мною слышанные от разных особ, и старался украсить истину живостию рассказа, а иногда и цветами собственного воображения. Составляя сии повести, мало-помалу образовал я свой слог и приучился выражаться правильно, приятно и свободно. Но скоро запас мой истощился, и я стал опять искать предмета для литературной моей деятельности.

Мысль оставить мелочные и сомнительные анекдоты для повествования истинных и великих происшествий давно тревожила мое воображение. Быть судиею, наблюдателем и пророком веков и народов казалось мне высшею степенью, доступной для писателя. Но какую историю мог я написать с моей жалкой образованностию, где бы не предупредили меня многоученые, добросовестные мужи? Какой род истории не истощен уже ими? Стану ль писать историю всемирную – но разве не существует уже бессмертный труд аббата Милота²? Обращусь ли к истории отечественной? что скажу я после Татищева, Болтина и Голикова³ и мне ли рыться в летописях и добираться до сокровенного смысла обветшавшего языка, когда не мог я выучиться славянским цифрам? Я думал об истории меньшего объема, например об истории губернского нашего города; но и тут сколько препятствий, для меня неодолимых! Поездка в город, визиты к губернатору и к архиерею⁴, просьба о допущении в архивы и монастырские кладовые и проч. История уездного нашего города была бы для меня удобнее, но она не была занимательна ни для философа, ни для прагматика, и

¹ *«Критика на Московский Бульвар», «на Пресненские пруды» – анонимные сатирические стихотворения.*

² *Имеется в виду «Курс истории Франции», изданный в 1769 году и переведенный на русский язык в начале XIX века.*

³ *Василий Никитич Татищев, Иван Никитич Болтин, Иван Иванович Голиков – знаменитые отечественные историки XVIII-XIX веков.*

⁴ *Архиерей – общее название для священнослужителей высшей степени церковной иерархии.*

представляла мало пищи красноречию.^{***} был переименован в города в 17** году, и единственное замечательное происшествие, сохранившееся в его летописях, есть ужасный пожар, случившийся десять лет тому назад и истребивший базар и присутственные места.

Нечаянный случай разрешил мои недоумения. Баба, развешивая белье на чердаке, нашла старую корзину, наполненную щепками, сором и книгами. Весь дом знал охоту мою к чтению. Ключница моя, в то самое время как я, сидя за моей тетрадью, грыз перо и думал об опыте сельских проповедей, с торжеством втащила корзинку в мою комнату, радостно восклицая: «книги! книги!» – «Книги!» – повторил я с восторгом и бросился к корзинке. В самом деле, я увидел целую груду книг в зеленом и синем бумажном переплете – это было собрание старых календарей. Сие открытие охладило мой восторг, но всё я был рад нечаянной находке, всё же это были книги, и я щедро наградил усердие прачки полтиною серебром. Оставшись наедине, я стал рассматривать свои календари, и скоро мое внимание было сильно ими привлечено. Они составляли непрерывную цепь годов от 1744 до 1799, то есть ровно 55 лет. Синие листы бумаги, обыкновенно вплетаемые в календари, были все исписаны старинным почерком. Брося взор на сии строки, с изумлением увидел я, что они заключали не только замечания о погоде и хозяйственные счета, но также и известия краткие исторические касательно села Горюхина. Немедленно занялся я разбором драгоценных сих записок и вскоре нашел, что они представляли полную историю моей отчины в течение почти целого столетия в самом строгом хронологическом порядке. Сверх сего заключали они неистощимый запас экономических, статистических, метеорологических и других ученых наблюдений. С тех пор изучение сих записок заняло меня исключительно, ибо увидел я возможность извлекать из них повествование стройное, любопытное и поучительное. Ознакомясь довольно с драгоценными сими памятниками, я стал искать новых источников истории села Горюхина. И вскоре обилие оных изумило меня. Посвятив целые шесть месяцев на предварительное изучение, наконец приступил я к давно желанному труду и с помощью божиею совершил оный сего ноября 3 дня 1827-го года.

Ныне, как некоторый мне подобный историк, коего имени я не запомню, окончив свой трудный подвиг, кладу перо и с грустью иду в мой сад размышлять о том, что мною совершено. Кажется и мне, что, написав Историю Горюхина, я уже не нужен миру, что долг мой исполнен и что пора мне опочить!

Здесь прилагаю список источников, послуживших мне к составлению Истории Горюхина:

1) Собрание старинных календарей. 54 части. Первые 20 частей исписано старинным почерком с титлами¹. Летопись сия сочинена прадедом моим Андреем Степановичем Белкиным. Она отличается ясностью и краткостью слога, например: 4 мая. Снег. Тришка за грубость бит. 6 – корова бурая пала. Сенька за пьянство бит. 8 – погода ясная. 9 – дождь и снег. Тришка бит по погоде. 11 – погода ясная. Пороша. Затравил 3 зайцев, и тому подобное, безо всяких размышлений... Остальные 35

¹ Титла – надстрочный знак в славянском письме над сокращенно написанным словом или над буквой, употребленной в качестве цифры.

частей писаны разными почерками, большею частию так называемым *лавочничьим* с титлами и без титлов, вообще плодовито, несвязно и без соблюдения правописания. Кой-где заметна женская рука. В сие отделение входят записки деда моего Ивана Андреевича Белкина и бабки моей, а его супруги, Евпраксии Алексеевны, также и записки приказчика Гарбовицкого.

2. Летопись горюхинского дьячка. Сия любопытная рукопись отыскана мною у моего попа, женатого на дочери летописца. Первые листы были выдраны и употреблены детьми священника на так называемые змеи. Один из таковых упал посреди моего двора. Я поднял его и хотел было возвратить детям, как заметил, что он был исписан. С первых строк увидел я, что змей составлен был из летописи, и к счастью успел спасти остальное. Летопись сия, приобретенная мною за четверть овса, отличается глубокомыслием и велеречием необыкновенным.

3. Изустные предания. Я не пренебрегал никакими известиями. Но в особенности обязан Аграфене Трифионовой, матери Авдея старосты, бывшей (говорят) любовницею приказчика Гарбовицкого.

4. Ревизские сказки¹, с замечаниями прежних старост (счетные и расходные книги) касательно нравственности и состояния крестьян.

Страна, по имени столицы своей Горюхиным называемая, занимает на земном шаре более 240 десятин. Число жителей простирается до 63 душ. К северу граничит она с деревнями Дериуховым и Перкуховом, коего обитатели бедны, тощи и малорослы, а гордые владельцы преданы воинственному упражнению заячьей охоты. К югу река Сивка отделяет ее от владений карачевских вольных хлебопашцев², соседей беспокойных, известных буйной жестокостию нравов. К западу облегают ее цветущие поля захарьинские, благоденствующие под властью мудрых и просвещенных помещиков. К востоку примыкает она к диким, необитаемым местам, к непроходимому болоту, где произрастает одна клюква, где раздается лишь однообразное кваканье лягушек и где суеверное предание предполагает быть обиталищу некоего беса.

NB. Сие болото и называется *Бесовским*. Рассказывают, будто одна полуумная пастишка стерегла стадо свиней недалеко от сего уединенного места. Она сделалась беременною и никак не могла удовлетворительно объяснить сего случая. Глас народный обвинил болотного беса; но сия сказка недостойна внимания историка, и после Нибура непростительно было бы тому верить.

Издrevле Горюхино славилось своим плодородием и благорастворенным климатом. Рожь, овес, ячмень и гречиха рождаются на тучных его нивах. Березовая роща и словый лес снабжают обитателей деревьями и валежником на построение и отопку жилищ. Нет недостатка в орехах, клюкве, бруснике и чернике. Грибы произрастают в необыкновенном количестве; сжаренные в сметане, представляют приятную, хотя и нездоровую пищу. Пруд наполнен карасями, а в реке Сивке водятся щуки и налимы.

¹ Ревизские сказки – списки крепостных, составляемые для уплаты налогов.

² Вольные хлебопашцы – крестьяне, освобожденные от крепостной зависимости по указу 1803 года.

Обитатели Горюхина большей частью росту среднего, сложения крепкого и мужественного, глаза их серы, волосы русые или рыжие. Женщины отличаются ногами, поднятыми несколько вверх, выпуклыми скулами и дородностью. NB. *Баба здоровенная*, сие выражение встречается часто в примечаниях старосты к Ревижским сказкам. Мужчины добронравны, трудолюбивы (особенно на своей пашне), храбры, воинственны: многие из них ходят одни на медведя и славятся в околотке кулачными бойцами; все вообще склонны к чувственному наслаждению пьянства. Женщины сверх домашних работ разделяют с мужчинами большую часть их трудов; и не уступят им в отважности, редкая из них боится старосты. Они составляют мощную общественную стражу, неусыпно бодрствующую на барском дворе, и называются *копейщицами* (от словенского слова *копье*). Главная обязанность копейщиц как можно чаще бить камнем в чугунную доску и тем устрашать злоумышление. Они столь целомудренны, как и прекрасны; на покушения дерзновенного отвечают сурово и выразительно.

Жители Горюхина издавна производят обильный торг лыками, лукошками и лаптями. Сему способствует река Сивка, через которую весною переправляются они на челноках, подобно древним скандинавам, а прочие времена года переходят вброд, предварительно засучив портки до колен.

Язык горюхинский есть решительно отрасль славянского, но столь же разнится от него, как и русский. Он исполнен сокращениями и усечениями – некоторые буквы вовсе в нем уничтожены или заменены другими. Однако ж великороссиянину легко понять горюхинца, и обратно.

Мужчины женивались обыкновенно на тринадцатом году на девицах двадцатилетних. Жены били своих мужей в течение четырех или пяти лет. После чего мужья уже начинали бить жен; и таким образом оба пола имели свое время власти, и равновесие было соблюдено.

Обряд похорон происходил следующим образом. В самый день смерти покойника относили на кладбище – дабы мертвый в избе не занимал напрасно лишнего места. От сего случалось, что к неописанной радости родственников мертвец чихал или зевал в ту самую минуту, как его выносили в гробе за околицу. Жены оплакивали мужьев, воя и приговаривая: «Свет-моя удалая головушка! на кого ты меня покинул? чем-то мне тебя поминати?» При возвращении с кладбища начиналась тризна¹ в честь покойника, и родственники и друзья бывали пьяны два-три дня или даже целую неделю, смотря по усердию и привязанности к его памяти. Сии древние обряды сохранились и поныне.

Одежда горюхинцев состояла из рубахи, надеваемой сверх порток, что есть отличительный признак их славянского происхождения. Зимой носили они овчинный тулуп, но более для красоты, нежели из настоящей нужды, ибо тулуп обыкновенно накидывали они на одно плечо и сбрасывали при малейшем труде, требующем движения.

Науки, искусства и поэзия издревле находились в Горюхине в довольно цветущем состоянии. Сверх священника и церковных причетников, всегда водились в нем грамотеи. Летописи упоминают о земском Терентии, жившем около 1767 году, умевшем писать не только правой, но и левою рукою. Сей необыкновенный человек

¹ Тризна у древних славян – пиршество в честь умершего.

прославился в околотке сочинением всякого роду писем, челобитьев, партикулярных пашпортов и т. п. Неоднократно пострадав за свое искусство, услужливость и участие в разных замечательных происшествиях, он умер уже в глубокой старости, в то самое время, как приучался писать правой ногою, ибо почерка обеих рук его были уже слишком известны. Он играет, как читатель увидит ниже, важную роль и в истории Горюхина.

Музыка была всегда любимое искусство образованных горюхинцев, балалайка и волынка, услаждая чувствительные сердца, поныне раздаются в их жилищах, особенно в древнем общественном здании, украшенном елкою и изображением двуглавого орла.¹

Поэзия некогда процветала в древнем Горюхине. Доныне стихотворения Архипа Лысого сохранились в памяти потомства.

В нежности не уступят они эклогам² известного Виргилия, в красоте воображения далеко превосходят они идиллии г-на Сумарокова³. И хотя в щеголеватости слога и уступают новейшим произведениям наших муз, но равняются с ними затейливостию и остроумием.

Приведем в пример сие сатирическое стихотворение:

Ко боярскому двору
Антон староста идет,
Бирки в пазухе несет,⁴
Боярину подает,
А боярин смотрит,
Ничего не смыслит.
Ах ты, староста Антон,
Обокрал бояр кругом,
Село по миру пустил,
Старостиху надарил.

Познакомя таким образом моего читателя с этнографическим и статистическим состоянием Горюхина и со нравами и обычаями его обитателей, приступим теперь к самому повествованию.

БАСНОСЛОВНЫЕ ВРЕМЕНА СТАРОСТА ТРИФОН.

Образ правления в Горюхине несколько раз изменялся. Оно попеременно находилось под властью старшин, выбранных миром, приказчиков, назначенных помещиком, и наконец непосредственно под рукою самих помещиков. Выгоды и

¹ Имеется в виду питейное заведение; по указу Петра 1699 года крыши трактиров под Новый год должны были украшаться еловыми лапам; позже по елке, установленной на крыше или воткнутой в землю, опознавали кабаки.

² Эклога в античной поэзии – сцена из пастушеской жизни.

³ Александр Петрович Сумароков – один из крупнейших литераторов XVIII века.

⁴ Бирки с зарубками позволяли в старину неграмотным старостам вести своеобразный бухгалтер целого имения.

невыгоды сих различных образов правления будут развиты мною в течение моего повествования.

Основание Горюхина и первоначальное население оною покрыто мраком неизвестности. Темные предания гласят, что некогда Горюхино было село богатое и обширное, что все жители оною были зажиточны, что оброк собирали единожды в год и отсылали неведомо кому на нескольких возах. В то время всё покупали дешево, а дорого продавали. Приказчиков не существовало, старосты никого не обижали, обитатели работали мало, а жили припеваючи, и пастухи стерегли стадо в сапогах. Мы не должны обольщаться сею очаровательною картиною. Мысль о золотом веке сродна всем народам и доказывает только, что люди никогда не довольны настоящим и, по опыту имея мало надежды на будущее, украшают невозвратимое минувшее всеми цветами своего воображения. Вот что достоверно:

Село Горюхино издревле принадлежало знаменитому роду Белкиных. Но предки мои, владея многими другими отчинами, не обращали внимания на сию отдаленную страну. Горюхино платило малую дань и управлялось старшинами, избираемыми народом на вече, мирскою сходкою называемом.

Но в течение времени родовые владения Белкиных раздробились и пришли в упадок. Обедневшие внуки богатого деда не могли отвыкнуть от роскошных своих привычек и требовали прежнего полного дохода от имения, в десять раз уже уменьшившегося. Грозные предписания следовали одно за другим. Староста читал их на вече; старшины витийствовали¹, мир² волновался, — а господа, вместо двойного оброку, получали лукавые отговорки и смиренные жалобы, писанные на засаленной бумаге и запечатанные грошом³.

Мрачная туча висела над Горюхиным, а никто об ней и не помышлял. В последний год владения Трифона, последнего старосты, народом избранного, в самый день храмового праздника, когда весь народ шумно окружал увеселительное здание (кабаком в просторечии именуемое) или бродил по улицам, обнявшись между собою и громко воспевая песни Архипа Лысого, въехала в село плетеная крытая бричка, заложная парюю кляч едва живых; на козлах сидел оборванный жид, а из брички высунулась голова в картузе и, казалось, с любопытством смотрела на веселящийся народ. Жители встретили повозку смехом и грубыми насмешками. (NB. Свернув трубкою воскраия одежд, безумцы глумились над еврейским возницею и восклицали смехотворно: «Жид, жид, ешь свиное ухо!..» — *Летопись горюхинского дьячка.*) Но сколь изумились они, когда бричка остановилась посреди села и когда приезжий, выпрыгнув из нее, повелительным голосом потребовал старосты Трифона. Сей сановник находился в увеселительном здании, откуда двое старшин почтительно вывели его под руки. Незнакомец, посмотрев на него грозно, подал ему письмо и велел читать оное немедленно. Старосты горюхинские имели обыкновение никогда ничего

¹ Витийствовать (устар.) — говорить красноречиво, рассуждать (обычно высокопарно) на какую-либо тему.

² мир здесь — все люди, общее собрание.

³ Пробные монеты с указанием номинала «гроши» были выпущены при Петре I; в XIX веке так стали называть полукопеечную монету.

сами не читать. Староста был неграмотен. Послали за земским Авдеем. Его нашли неподалеку, спящего в переулке под забором, и привели незнакомцу. Но по приводе или от внезапного испуга, или от горестного предчувствия, буквы письма, четко написанного, показались ему отуманенными, и он не был в состоянии их разобрать. Незнакомец, с ужасными проклятиями отослал спать старосту Трифона и земского Авдея, отложил чтение письма до завтрашнего дня и пошел в приказную избу, куда жид понес за ним и его маленький чемодан.

Горюхинцы с безмолвным изумлением смотрели на сие необыкновенное происшествие, но вскоре бричка, жид и незнакомец были забыты. День кончился шумно и весело – и Горюхино заснуло, не предвидя, что ожидало его.

С восходом утреннего солнца жители были пробуждены стуком в окошки и призыванием на мирскую сходку. Граждане один за другим явились на двор приказной избы, служивший вечевою площадью. Глаза их были мутны и красны, лица опухлы; они, зевая и почесываясь, смотрели на человека в картузе, в старом голубом кафтане, важно стоявшего на крыльце приказной избы, – и старались припомнить себе черты его, когда-то ими виденные. Староста Трифон и земской Авдей стояли подле него без шапки с видом подобострастия и глубокой горести. «Все ли здесь?» – спросил незнакомец. «Все ли-ста здесь?» – повторил староста. «Все-ста», – отвечали граждане. Тогда староста объявил, что от барина получена грамота, и приказал земскому прочесть ее во услышание мира. Авдей выступил и громогласно прочел следующее. (NB «Грамоту грозновещую сию списах я у Трифона старосты, у него же хранилася она в кивоте¹ вместе с другими памятниками владычества его над Горюхиным». Я не мог сам отыскать сего любопытного письма).

Трифон Иванов!

Вручитель письма сего, поверенный мой **, едет в отчину мою село Горюхино для поступления в управление оного. Немедленно по его прибытию собрать мужиков и объявить им мою барскую волю, а именно: Приказаний поверенного моего ** им, мужикам, слушаться, как моих собственных. А всё, чего он ни потребует, исполнять беспрекословно, в противном случае имеет он ** поступать с ними со всевозможною строгостию. К сему понудило меня их бессовестное непослушание, и твое, Трифон Иванов, плутовское потворство.

Подписано NN.

Тогда **, растопыря ноги на подобие буквы хера и подбочась наподобие ферта², произнес следующую краткую и выразительную речь: «Смотрите ж вы у меня, не очень умничайте; вы, я знаю, народ избалованный, да я выбью дурь из ваших голов небось скорее вчерашнего хмеля». Хмеля ни в одной голове уже не было. Горюхинцы, как громом пораженные, повесили носы – и с ужасом разошлись по домам.

¹ Кивот (киот) – украшенный шкафчик для икон.

² Хер и ферт – названия букв Х и Ф церковнославянского алфавита.

ПРАВЛЕНИЕ ПРИКАЗЧИКА **

** принял бразды правления и приступил к исполнению своей политической системы; она заслуживает особенного рассмотрения.

Главным основанием оной была следующая аксиома. Чем мужик богаче, тем он избалованнее, чем беднее, тем смирнее. Вследствие сего ** старался о смирности вотчины, как о главной крестьянской добродетели. Он потребовал описать крестьянам, разделил их на богачей и бедняков. 1) Недоимки были разложены меж зажиточных мужиков и взыскаемы с них со всевозможною строгостию. 2) Недостаточные и празднотлюбивые гуляки были немедленно посажены на пашню, если же по его расчету труд их оказывался недостаточным, то он отдавал их в батраки другим крестьянам, за что сии платили ему добровольную дань, а отдаваемые в холопство имели полное право откупаться, заплатя сверх недоимок двойной годовой оброк. Всякая общественная повинность падала на зажиточных мужиков. Рекрутство же было торжеством корыстолюбивому правителю; ибо от одного по очереди откупались все богатые мужики, пока, наконец, выбор не падал на негодя или разоренного.* Мирские сходки были уничтожены. Оброк собирал он понемногу и круглый год сряду. Сверх того завел он нечаянные сборы. Мужики, кажется, платили и не слишком более противу прежнего, но никак не могли ни наработать, ни накопить достаточно денег. В три года Горюхино совершенно обнищало.

Горюхино приуныло, базар запустел, песни Архипа Лысого умолкли. Ребятишки пошли по миру. Половина мужиков была на пашне, а другая служила в батраках; и день храмового праздника сделался, по выражению летописца, не днем радости и ликования, но годовщиною печали и поминания горестного.

* Посадил окаянный приказчик Антона Тимофеева в железы, а старик Тимофей сына откупил за 100 р.; а приказчик заковал Петрушку Еремеева, и того откупил отец за 68 р., и хотел окаянный сковать Леху Тарасова, но тот бежал в лес, и приказчик о том вельми крушился и свирепствовал во словесах, а отвезли в город и отдали в рекруты Ваньку пьяницу (Донесение горюхинских мужиков).



ДУБРОВСКИЙ

ИЛЛЮСТРАЦИИ

И. ЕЦ

Б. И. СИДЕЛЬКОВСКИЙ





ТОМ ПЕРВЫЙ.

ГЛАВА I.

Несколько лет тому назад в одном из своих поместий жил старинный русской барин, Кирила Петрович Троекуров. Его богатство, знатный род и связи давали ему большой вес в губерниях, где находилось его имение. Соседи рады были угождать малейшим его прихотям; губернские чиновники трепетали при его имени; Кирила Петрович принимал знаки подобострастия как надлежащую дань; дом его всегда был полон гостями, готовыми тешить его барскую праздность, разделяя шумные, а иногда и буйные его увеселения. Никто не дерзал отказываться от его приглашения или известные дни не являться с должным почтением в село Покровское. В домашнем быту Кирила Петрович выказывал все пороки человека необразованного. Избалованный всем, что только окружало его, он привык давать полную волю всем порывам пылкого своего нрава и всем затеям довольно ограниченного ума. Несмотря на необыкновенную силу физических способностей, он раза два в неделю страдал от обжорства и каждый вечер бывал навеселе. В одном из флигелей его дома жили шестнадцать горничных, занимаясь рукоделиями, свойственными их полу. Окны во флигеле были загорожены деревянною решеткою; двери запирались замками, от коих ключи хранились у Кирила Петровича. Молодые затворницы в положенные часы сходили в сад и прогуливались под надзором двух старух. От времени до времени Кирила Петрович выдавал некоторых из них замуж и новые поступали на их место. С крестьянами и дворовыми обходился он строго и своенравно; несмотря на то, они были ему преданы: они тщеславились богатством и славой своего господина и в свою очередь позволяли себе многое в отношении к их соседям, надеясь на его сильное покровительство.

Всегдашние занятия Троекурова состояли в разъездах около пространных его владений, в продолжительных пирах и в проказах, ежедневно притом изобретаемых

и жертвою коих бывал обыкновенно какой-нибудь новый знакомец; хотя и старинные приятели не всегда их избегали за исключением одного Андрея Гавриловича Дубровского. Сей Дубровский, отставной поручик гвардии, был ему ближайшим соседом и владел семидесятью душами. Троекуров, надменный в сношениях с людьми самого высшего звания, уважал Дубровского несмотря на его смиренное состояние. Некогда были они товарищами по службе, и Троекуров знал по опыту нетерпеливость и решительность его характера. Обстоятельства разлучили их надолго.¹ Дубровский с расстроенным состоянием принужден был выйти в отставку и поселиться в остальной своей деревне. Кирила Петрович, узнав о том, предлагал ему свое покровительство, но Дубровский благодарил его и остался беден и независим. Спустя несколько лет Троекуров, отставной генерал-аншеф², приехал в свое поместье, они свиделись и обрадовались друг другу. С тех пор они каждый день бывали вместе, и Кирила Петрович, отроду не удостоивавший никого своим посещением, заезжал запросто в домишко своего старого товарища. Будучи ровесниками, рожденные в одном сословии, воспитанные одинаково, они сходились отчасти и в характерах и в наклонностях. В некоторых отношениях и судьба их была одинакова: оба женились по любви, оба скоро овдовели, у обоих оставалось по ребенку. Сын Дубровского воспитывался в Петербурге, дочь Кирила Петровича росла в глазах родителя, и Троекуров часто говаривал Дубровскому: «Слушай, брат, Андрей Гаврилович: коли в твоём Володьке будет путь, так отдам за него Машу; даром что он гол как сокол». Андрей Гаврилович качал головой и отвечал обыкновенно: «Нет, Кирила Петрович: мой Володька не жених Марии Кириловне. Бедному дворянину, каков он, лучше жениться на бедной дворяночке, да быть главою в доме, чем сделаться приказчиком избалованной бабенки».

Все завидовали согласию, царствующему между надменным Троекуровым и бедным его соседом, и удивлялись смелости сего последнего, когда он за столом у Кирила Петровича прямо высказывал свое мнение, не заботясь о том, противуречило ли оно мнению хозяина. Некоторые пытались было ему подражать и выйти из пределов должного повиновения, но Кирила Петрович так их пугнул, что навсегда отбил у них охоту к таковым покушениям, и Дубровский один остался вне общего закона. Нечаянный случай все расстроил и переменил.

Раз в начале осени Кирила Петрович собирался в отъездное поле³. Накануне был отдан приказ псарям и стрелянным быть готовыми к пяти часам утра. Палатка и кухня отправлены были вперед на место, где Кирила Петрович должен был обедать. Хозяин и гости пошли на псарный двор, где более пятисот гончих и борзых жили в довольстве и тепле, прославляя щедрость Кирила Петровича на своем собачьем языке. Тут же находился и лазарет для больных собак, под присмотром штаб-лекаря

¹ В рукописи первоначально: «Славный 1762 год разлучил их надолго. Троекуров, родственник княгини Дашковой, пошел в гору». В 1762 в результате дворцового переворота вступила на престол Екатерина II.

² В конце XVIII века чин генерал-аншефа (фр. *general en chef*) означал ранг ниже фельдмаршала.

³ Отъездное поле — земля вдали от жилья, отведенная для охоты.

Тимошки, и отделение, где благородные суки ощенялись и кормили своих щенят. Кирила Петрович гордился сим прекрасным заведением и никогда не упускал случая похвастаться оным перед своими гостями, из коих каждый осматривал его по крайней мере уже в двадцатый раз. Он расхаживал по псарне, окруженный своими гостями и сопровождаемый Тимошкой и главными псарями; останавливался перед некоторыми конурами, то расспрашивая о здоровье больных, то делая замечания более или менее строгие и справедливые, то подзывая к себе знакомых собак и ласково с ними разговаривая. Гости почитали обязанностью восхищаться псарнею Кирила Петровича. Один Дубровский молчал и хмурился. Он был горячий охотник. Его состояние позволяло ему держать только двух гончих и одну свору борзых; он не мог удержаться от некоторой зависти при виде сего великолепного заведения. «Что же ты хмуришься, брат, – спросил его Кирила Петрович, – или псарня моя тебе не нравится?» – «Нет, – отвечал он сурово, – псарня чудная, вряд людям вашим житье такое ж, как вашим собакам». Один из псарей обиделся. «Мы на свое житье, – сказал он, – благодаря бога и барина не жалуемся, а что правда, то правда, иному и дворянину не худо бы променять усадьбу на любую здешнюю конурку. Ему было б и сытнее и теплее». Кирила Петрович громко засмеялся при дерзком замечании своего холопа, а гости вослед за ним захохотали, хотя и чувствовали, что шутка псаря могла отнестися и к ним. Дубровский побледнел и не сказал ни слова. В сие время поднесли в лукошке Кирилу Петровичу новорожденных щенят; он занялся ими, выбрал себе двух, прочих велел утопить. Между тем Андрей Гаврилович скрылся, и никто того не заметил.

Возвратясь с гостями со псарного двора, Кирила Петрович сел ужинать и тогда только, не видя Дубровского, хватился о нем. Люди отвечали, что Андрей Гаврилович уехал домой. Троекуров велел тотчас его догнать и воротить непременно. Отроду не выезжал он на охоту без Дубровского, опытного и тонкого ценителя псовых достоинств и безошибочного решителя всевозможных охотничьих споров. Слуга, поскакавший за ним, воротился, как еще сидели за столом, и доложил своему господину, что, дескать, Андрей Гаврилович не послушался и не хотел воротиться. Кирила Петрович, по обыкновению своему разгоряченный наливками, осердился и вторично послал того же слугу сказать Андрею Гавриловичу, что если он тотчас же не приедет ночевать в Покровское, то он, Троекуров, с ним навеки рассорится. Слуга снова поскакал, Кирила Петрович встал из-за стола, отпустил гостей и отправился спать.

На другой день первый вопрос его был: здесь ли Андрей Гаврилович? Вместо ответа ему подали письмо, сложенное треугольником; Кирила Петрович приказал своему писарю читать его вслух и услышал следующее:

Государь мой премилостивый,

Я до тех пор не намерен ехать в Покровское, пока не вышлете Вы мне псаря Парамошку с повинною; а будет моя воля наказать его или помиловать, а я терпеть шутки от Ваших холопов не намерен, да и от Вас их не стерплю, потому что я не шут, а старинный дворянин. За сим остаюсь покорным ко услугам

Андрей Дубровский.

По нынешним понятиям об этикете письмо сие было бы весьма неприличным, но оно рассердило Кирила Петровича не странным слогом и расположением, но только

своею сущностью: «Как, – загремел Троекуров, вскочив с постели босой, – высылать к ему моих людей с повинной, он волен их миловать, наказывать! да что он в самом деле задумал; да знает ли он, с кем связывается? Вот я ж его... Наплачется он у меня, узнает, каково идти на Троекурова!»

Кирила Петрович оделся и выехал на охоту с обыкновенной своею пышностью, но охота не удалась. Во весь день видели одного только зайца и того протравили. Обед в поле под палаткою также не удался, или по крайней мере был не по вкусу Кирила Петровича, который прибил повара, разбил гостей и на возвратном пути со всею своей охотою нарочно поехал полями Дубровского.

Прошло несколько дней, и вражда между двумя соседями не унималась. Андрей Гаврилович не возвращался в Покровское – Кирила Петрович без него скучал, и досада его громко изливалась в самых оскорбительных выражениях, которые, благодаря усердию тамошних дворян, доходили до Дубровского исправленные и дополненные. Новое обстоятельство уничтожило и последнюю надежду на примирение.

Дубровский объезжал однажды малое свое владение; приближаясь к березовой роще, услышал он удары топора и через минуту треск повалившегося дерева. Он поспешил в рощу и наехал на покровских мужиков, спокойно ворующих у него лес. Увидя его, они бросились было бежать. Дубровский со своим кучером поймал из них двоих и привел их связанных к себе на двор. Три неприятельские лошади достались тут же в добычу победителю. Дубровский был отменно сердит, прежде сего никогда люди Троекурова, известные разбойники, не осмеливались шалить в пределах его владений, зная приятельскую связь его с их господином. Дубровский видел, что теперь пользовались они происшедшим разрывом, – и решился, вопреки всем понятиям о праве войны, проучить своих пленников прутьями, коими запаслись они в его же роще, а лошадей отдать в работу, приписав к барскому скоту.

Слух о сем происшествии в тот же день дошел до Кирила Петровича. Он вышел из себя и в первую минуту гнева хотел было со всеми своими дворовыми учинить нападение на Кистеневку (так называлась деревня его соседа), разорить ее дотла и осадить самого помещика в его усадьбе. Таковые подвиги были ему не в диковину. Но мысли его вскоре приняли другое направление.

Расхаживая тяжелыми шагами взад и вперед по зале, он взглянул нечаянно в окно и увидел у ворот остановившуюся тройку; маленький человек в кожаном картузе и фризовой шинели вышел из телеги и пошел во флигель к приказчику; Троекуров узнал заседателя¹ Шабашкина и велел его позвать. Через минуту Шабашкин уже стоял перед Кирилом Петровичем, отвешивая поклон за поклоном и с благоговением ожидая его приказаний.

- Здорово, как, бишь, тебя зовут, – сказал ему Троекуров, – зачем пожаловал?
- Я ехал в город, ваше превосходительство, – отвечал Шабашкин, – и зашел к Ивану Демьянову узнать, не будет ли какого приказания от вашего превосходительства.
- Очень кстати заехал, как, бишь, тебя зовут; мне до тебя нужда. Выпей водки да выслушай.

¹ *Дворянский заседатель – выборная должность, депутат, представитель дворянства.*

Таковой ласковый прием приятно изумил заседателя. Он отказался от водки и стал слушать Кирила Петровича со всевозможным вниманием.

– У меня сосед есть, – сказал Троекуров, – мелкопоместный грубиян; я хочу взять у него имение, – как ты про то думаешь?

– Ваше превосходительство, коли есть какие-нибудь документы или...

– Врешь, братец, какие тебе документы. На то указы. В том-то и сила, чтобы безо всякого права отнять имение. Постой однако ж. Это имение принадлежало некогда нам, было куплено у какого-то Спицына и продано потом отцу Дубровского. Нельзя ли к этому придраться?

– Мудрено, ваше высокопревосходительство; вероятно, сия продажа совершенно законным порядком.

– Подумай, братец, поищи хорошенько.

– Если бы, например, ваше превосходительство могли каким ни есть образом достать от вашего соседа запись или купчую, в силу которой владеет он своим имением, то конечно...

– Понимаю, да вот беда – у него все бумаги сгорели во время пожара.

– Как, ваше превосходительство, бумаги его сгорели! чего ж вам лучше? – в таком случае извольте действовать по законам, и без всякого сомнения получите ваше совершенное удовольствие.

– Ты думаешь? Ну, смотри же. Я полагаюсь на твое усердие, а в благодарности моей можешь быть уверен.

Шабашкин поклонился почти до земли, вышел вон, с того же дни стал хлопотать по замышленному делу, и, благодаря его проворству, ровно через две недели Дубровский получил из города приглашение доставить немедленно надлежащие объяснения насчет его владения сельцом Кистеневкою.

Андрей Гаврилович, изумленный неожиданным запросом, в тот же день написал в ответ довольно грубое отношение, в коем объявлял он, что сельцо Кистеневка досталось ему по смерти покойного его родителя, что он владеет им по праву наследства, что Троекурову до него дела никакого нет и что всякое постороннее притязание на сию его собственность есть ябеда и мошенничество.

Письмо сие произвело весьма приятное впечатление в душе заседателя Шабашкина. Он увидел, во-первых, что Дубровский мало знает толку в делах, во-вторых, что человека столь горячего и неосмотрительного нетрудно будет поставить в самое невыгодное положение.

Андрей Гаврилович, рассмотрев хладнокровно запросы заседателя, увидел необходимость отвечать обстоятельнее. Он написал довольно дельную бумагу, но впоследствии времени оказавшуюся недостаточной.

Дело стало тануться. Уверенный в своей правоте Андрей Гаврилович мало о нем беспокоился, не имел ни охоты, ни возможности сыпать около себя деньги, и хоть он, бывало, всегда первый трунил над продажной совестью чернильного племени, но мысль соделаться жертвой ябеды не приходила ему в голову. С своей стороны, Троекуров столь же мало заботился о выигрыше им затеянного дела, – Шабашкин за него хлопотал, действуя от его имени, страшая и подкупая судей и толкуя вкривь и впрямь всевозможные указы. Как бы то ни было, 18... года, февраля 9 дня, Дубровский получил через городскую полицию приглашение явиться к ** земскому

судье¹ для выслушания решения одного по делу спорного имения между им, поручиком Дубровским, и генерал-аншефом Троекуровым, и для подписки своего удовольствия или неудовольствия. В тот же день Дубровский отправился в город; на дороге обогнал его Троекуров. Они гордо взглянули друг на друга, и Дубровский заметил злобную улыбку на лице своего противника.

ГЛАВА II.

Приехав в город, Андрей Гаврилович остановился у знакомого купца, ночевал у него, и на другой день утром явился в присутствие уездного суда. Никто не обратил на него внимания. Вслед за ним приехал и Кирила Петрович. Писаря встали и заложили перья за ухо. Члены встретили его с изъявлениями глубокого подобострастия, придвинули ему кресла из уважения к его чину, летам и дородности; он сел при открытых дверях – Андрей Гаврилович стоя прислонился к стенке – настала глубокая тишина, и секретарь звонким голосом стал читать определение суда.

Мы помещаем его вполне, полагая, что всякому приятно будет увидеть один из способов, коими на Руси можем мы лишиться имения, на владение коим имеем неоспоримое право.

18... года октября 27 дня ** уездный суд рассматривал дело о неправильном владении гвардии поручиком Андреем Гавриловым сыном Дубровским имением, принадлежащим генерал-аншефу Кирилу Петрову сыну Троекурову, состоящим **губернии в сельце Кистеневке, мужеска пола** душами, да земли с лугами и угодьями ** десятин. Из коего дела видно: означенный генерал-аншеф Троекуров прошлого 18... года июня 9 дня взшел в сей суд с прошением в том, что покойный его отец, коллежский асессор² и кавалер Петр Ефимов сын Троекуров в 17... году августа 14 дня, служивший в то время в ** наместническом правлении провинциальным секретарем, купил из дворян у канцеляриста Фадея Егорова сына Спицына имение, состоящее ** округи в помянутом сельце Кистеневке (которое селение тогда по ** ревизии³ называлось Кистеневскими выселками), всего значащихся по 4-й ревизии мужеска пола ** душ со всем их крестьянским имуществом, усадьбою, с пашенною и непашенною землею, лесами, санными покосы, рыбными ловли по речке, называемой Кистеневке, и со всеми принадлежащими к оному имению угодьями и господским деревянным домом, и словом всё без остатка, что ему после отца его, из дворян урядника Егора Терентьева сына Спицына по наследству досталось и во владении его было, не оставляя из людей ни единых души, а из земли ни единого четверика, ценою за 2500 р. на что и купчая в тот же день в ** палате суда и расправы совершена, и отец его тогда же августа в 26-й день ** земским судом введен был во владение

¹ Земства – выборные органы местного самоуправления; уездные земские суды были учреждены в России Екатериной II.

² Коллежский асессор – гражданский чин, соответствовавший 8-му классу Табели о рангах.

³ Ревизия – перепись населения, регулярно проводившаяся для налогового обложения населения. С начала XVIII до середины XIX века было произведено десять таких ревизий.

и учинен за него отказ. – А наконец 17... года сентября 6-го дня отец его волею божиею помер, а между тем он, проситель генерал-аншеф Троекуров, с 17... года почти с малолетства находился в военной службе и по большей части был в походах за границами, почему он и не мог иметь сведения как о смерти отца его, равно и об оставшемся после его имении. Ныне же по выходе совсем из той службы в отставку и по возвращении в имения отца его, состоящие ** и ** губерниях **, ** и ** уездах, в разных селениях, всего до 3000 душ, находит, что из числа таковых имений вышеписанными ** душами (коих по нынешней ** ревизии значится в том сельце всего ** душ) с землею и со всеми угодьями владеет без всяких укреплений вышеписанный гвардии поручик Андрей Дубровский, почему, представляя при оном прошении ту подлинную купчую, данную отцу его продавцом Спицыным, просит, отобрав помянутое имение из неправильного владения Дубровского, отдать по принадлежности в полное его, Троекурова, распоряжение. А за несправедливое оного присвоение, с коего он пользовался получаемыми доходами, по учинении об оных надлежащего дознания, положить с него, Дубровского, следующее по законам взыскание и оным его, Троекурова, удовлетворить.

По учинении ж ** земским судом по сему прошению исследований открылось: что помянутый нынешний владелец спорного имения гвардии поручик Дубровский дал на месте дворянскому заседателю объяснение, что владеемое им ныне имение, состоящее в означенном сельце Кистеневке, ** душ с землею и угодьями, досталось ему по наследству после смерти отца его, артиллерии подпоручика Гаврила Евграфова сына Дубровского, а ему дошедшее по покупке от отца сего просителя, прежде бывшего провинциального секретаря, а потом коллежского асессора Троекурова, по доверенности, данной от него в 17... году августа 30 дня, засвидетельствованной в ** уездном суде, титулярному советнику Григорью Васильеву сыну Соболеву, по которой должна быть от него на имение сие отцу его купчая, потому что во оной именно сказано, что он, Троекуров, всё доставшееся ему по купчей от канцеляриста Спицына имение, ** душ с землею, продал отцу его, Дубровского, и следующие по договору деньги, 3200 рублей, все сполна с отца его без возврата получил и просил оного доверенного Соболева выдать отцу его указную крепость. А между тем отцу его в той же доверенности по случаю заплаты всей суммы владеть тем покупным у него имением и распоряжаться впредь до совершения оной крепости, как настоящему владельцу, и ему, продавцу Троекурову, впредь и никому в то имение уже не вступаться. Но когда именно и в каком присутственном месте таковая купчая от поверенного Соболева дана его отцу, – ему, Андрею Дубровскому, неизвестно, ибо он в то время был в совершенном малолетстве, и после смерти его отца таковой крепости отыскать не мог, а полагает, что не сгорела ли с прочими бумагами и имением во время бывшего в 17... году в доме их пожара, о чем известно было и жителям того селения. А что оным имением со дня продажи Троекуровым или выдачи Соболеву доверенности, то есть с 17... года, а по смерти отца его с 17... года и поныне, они, Дубровские, бесспорно владели, в том свидетельствуется на окольных жителей, которые, всего 52 человека, на опрос под присягою показали, что действительно, как они могут запомнить, означенным спорным имением начали владеть помянутые гг. Дубровские назад сему лет с 70 без всякого от кого-либо спора, но по какому именно акту или крепости, им неизвестно. – Упомянутый же по сему делу прежний

покупчик сего имения, бывший провинциальный секретарь Петр Троекуров, владеет ли сим имением, они не запомнят. Дом же гг. Дубровских назад сему лет 30 от случившегося в их селении в ночное время пожара сгорел, причем сторонние люди допускали, что доходу означенное спорное имение может приносить, полагая с того времени в сложности, ежегодно не менее как до 2000 р.

Напротив же сего генерал-аншеф Кирила Петров сын Троекуров 3-го генваря сего года взошел в сей суд с прошением, что хотя помянутый гвардии поручик Андрей Дубровский и представил при учиненном следствии к делу сему выданную покойным его отцом Гаврилом Дубровским титулярному советнику Соболеву доверенность на запроданное ему имение, но по оной не только подлинной купчей, но даже и на совершение когда-либо оной никаких ясных доказательств по силе генерального регламента 19 главы и указа 1752 года ноября 29 дня не представил. Следовательно, самая доверенность ныне, за смертью самого дателя оной, отца его, по указу 1818 года мая... дня, совершенно уничтожается. – А сверх сего – ведено спорные имения отдавать во владения – крепостные по крепостям, а некрепостные по розыску.

На каковое имение, принадлежащее отцу его, представлен уже от него в доказательство крепостной акт, по которому и следует, на основании означенных узаконений, из неправильного владения помянутого Дубровского отобрать, отдать ему по праву наследства. А как означенные помещики, имея во владении не принадлежащего им имения и без всякого укрепления, и пользовались с оного неправильно и им не принадлежащими доходами, то по исчислении, сколько таковых будет причитаться по силе... взыскать с помещика Дубровского и его, Троекурова, оными удовлетворить. – По рассмотрении какового дела и учиненной из оного и из законов выписки в ** уездном суде определено:

Как из дела сего видно, что генерал-аншеф Кирила Петров сын Троекуров на означенное спорное имение, находящееся ныне во владении у гвардии поручика Андрея Гаврилова сына Дубровского, состоящее в сельце Кистеневке, по нынешней... ревизии всего мужеска пола ** душ, с землею и угодьями, представил подлинную купчую на продажу оного покойному отцу его, провинциальному секретарю, который потом был коллежским асессором, в 17... году из дворян канцеляристом Фадеем Спицыным, и что сверх сего сей покупатель, Троекуров, как из учиненной на той купчей надписи видно, был в том же году ** земским судом введен во владение, которое имение уже и за него отказано, и хотя напротив сего со стороны гвардии поручика Андрея Дубровского и представлена доверенность, данная тем умершим покупщиком Троекуровым титулярному советнику Соболеву для совершения купчей на имя отца его, Дубровского, но по таковым сделкам не только утверждать крепостные недвижимые имения, но даже и временно владеть по указу... воспрещено, к тому ж и самая доверенность смертью дателя оной совершенно уничтожается. – Но чтоб сверх сего действительно была по оной доверенности совершена где и когда на означенное спорное имение купчая, со стороны Дубровского никаких ясных доказательств к делу с начала производства, то есть с 18... года и по сие время не представлено. А потому сей суд и полагает: означенное имение, ** душ, с землею и угодьями, в каком ныне положении тое окажется, утвердить по представленной на оное купчей за генерал-аншефа Троекурова; о удалении от распоряжения оным

гвардии поручика Дубровского и о надлежащем вводе во владение за него, г. Троекурова, и об отказе за него, как дошедшего ему по наследству, предписать** земскому суду. А хотя сверх сего генерал-аншеф Троекуров и просит о взыскании с гвардии поручика Дубровского за неправо владение наследственным его имением воспользовавшихся с оного доходов. – Но как оное имение, по показанию старожилых людей, было у гг. Дубровских несколько лет в бесспорном владении, и из дела сего не видно, чтоб со стороны г. Троекурова были какие-либо до сего времени прошения о таком неправильном владении Дубровскими оного имения, к тому по уложению велено, ежели кто чужую землю засеет или усадьбу загородит, и на того о неправильном завладении станут бити челом, и про то сыщется допрямо, тогда правому отдавать ту землю, и с посеянным хлебом, и городьбою, и строением, а посему генерал-аншефу Троекурову в изъявленном на гвардии поручика Дубровского иске отказать, ибо принадлежащее ему имение возвращается в его владение, не изымая из оного ничего. А что при вводе за него оказаться может всё без остатка, предоставляя между тем генерал-аншефу Троекурову, буде он имеет о таковой своей претензии какие-либо ясные и законные доказательства, может просить где следует особо. Какое решение напред объявить как истцу, равно и ответчику, на законном основании, апелляционным порядком, коих и вызвать в сей суд для выслушания сего решения и подписки удовольствия или неудовольствия чрез полицию.

Какое решение подписали все присутствующие того суда.

Секретарь умолкнул, заседатель встал и с низким поклоном обратился к Троекурову, приглашая его подписать предлагаемую бумагу, и торжествующий Троекуров, взяв от него перо, подписал под *решением* суда совершенное свое удовольствие.

Очередь была за Дубровским. Секретарь поднес ему бумагу. Но Дубровский стал неподвижен, потупя голову.

Секретарь повторил ему свое приглашение подписать свое полное и совершенное удовольствие или явное неудовольствие, если паче чаяния¹ чувствует по совести, что дело его есть правое, и намерен в положенное законами время просить по апелляции куда следует. Дубровский молчал... Вдруг он поднял голову, глаза его засверкали, он топнул ногою, оттолкнул секретаря с такою силою, что тот упал, и, схватив чернильницу, пустил ею в заседателя. Все пришли в ужас. «Как! не почитать церковь божью! прочь, хамово племя²!» Потом, обратясь к Кирилу Петровичу: «Слыхано дело, ваше превосходительство, – продолжал он, – псаря вводят собак в божью церковь! собаки бегают по церкви. Я вас уже проучу...» Сторожа сбежались на шум и насилию им овладели. Его вывели и усадили в сани. Троекуров вышел вслед за ним, сопровождаемый всем судом. Внезапное сумасшествие Дубровского сильно подействовало на его воображение и отравило его торжество.

Судии, надеявшиеся на его благодарность, не удостоились получить от него ни единого приветливого слова. Он в тот же день отправился в Покровское. Дубровский между тем лежал в постеле; уездный лекарь, по счастью не совершенный

¹ *паче чаяния* (устар.) – вопреки ожидания.

² В Библии Хам – один из трех сыновей Ноя. За неподобающее поведение он и его потомки были прокляты отцом и осуждены на рабство. В переносном смысле хамово племя – чернь, низкие люди.

невежда, успел пустить ему кровь¹, приставить пиявки и шпанские мухи². К вечеру ему стало легче, больной пришел в память. На другой день повезли его в Кистеневку, почти уже ему не принадлежащую.

ГЛАВА III.

Прошло несколько времени, а здоровье бедного Дубровского всё еще было плохо; правда, припадки сумасшествия уже не возобновлялись, но силы его приметно ослабевали. Он забывал свои прежние занятия, редко выходил из своей комнаты и задумывался по целым суткам. Егоровна, добрая старуха, некогда ходившая за его сыном, теперь сделалась и его нянькою. Она смотрела за ним, как за ребенком, напоминала ему о времени пищи и сна, кормила его, укладывала спать. Андрей Гаврилович тихо повиновался ей и, кроме ее, не имел ни с кем сношения. Он был не в состоянии думать о своих делах, хозяйственных распоряжениях, и Егоровна увидела необходимость уведомить обо всем молодого Дубровского, служившего в одном из гвардейских пехотных полков и находящегося в то время в Петербурге. Итак, отодрав лист от расходной книги, она продиктовала повару Харитону, единственному кистеневскому грамотею, письмо, которое в тот же день и отослала в город на почту.

Но пора читателя познакомить с настоящим героем нашей повести.

Владимир Дубровский воспитывался в Кадетском корпусе и выпущен был корнетом в гвардию; отец не щадил ничего для приличного его содержания, и молодой человек получал из дому более, нежели должен был ожидать. Будучи расточителен и честолюбив, он позволял себе роскошные прихоти; играл в карты и входил в долги, не заботясь о будущем и предвидя себе рано или поздно богатую невесту, мечту бедной молодости.

Однажды вечером, когда несколько офицеров сидели у него, развалившись по диванам и куря из его янтарей³, Гриша, его камердинер, подал ему письмо, коего надпись и печать тотчас поразили молодого человека. Он поспешно его распечатал и прочел следующее:

«Государь ты наш, Владимир Андреевич, – я, твоя старая нянька, решилась тебе доложить о здоровье папенькином! Он очень плох, иногда заговаривается, и весь день сидит как дитя глупое – а в животе⁴ и смерти бог волен. Приезжай ты к нам, соколиком мой ясный, мы тебе и лошадей вышлем на Песочное. Слышно, земский суд к нам едет отдать нас под начал Кирилу Петровичу Троекурову – потому что мы, дескать, ихние, а мы искони Ваши, – и отроду того не слыхивали. Ты бы мог, живя в Петербурге, доложить о том царю-батюшке, а он бы не дал нас в обиду. Остаюсь твоя верная раба, нянька

Орина Егоровна Бузырева.

¹ До конца XIX века кровопускание считалось эффективным методом, помогающим при самых разных заболеваниях.

² Шпанские (испанские) мушки – вид жуков-нарывников, которые издавна использовались и как раздражающее средство, и как афродизиак.

³ из его янтарей – из его украшенных янтарем трубок.

⁴ в животе – в жизни.

Посылаю мое материнское благословение Грише, хорошо ли он тебе служит? У нас дожди идут вот уже друга неделя и пастух Родя помер около Миколина дня¹.»

Владимир Дубровский несколько раз сряду перечитал сии довольно бестолковые строки с необыкновенным волнением. Он лишился матери с малолетства и, почти не зная отца своего, был привезен в Петербург на восьмом году своего возраста – со всем тем он романически был к нему привязан и тем более любил семейственную жизнь, чем менее успел насладиться ее тихими радостями.

Мысль потерять отца своего тягостно терзала его сердце, а положение бедного больного, которое угадывал он из письма своей няни, ужасало его. Он воображал отца, оставленного в глухой деревне, на руках глупой старухи и дворни, угрожаемого каким-то бедствием и утешающего без помощи в мучениях телесных и душевных. Владимир упрекал себя в преступном небрежении. Долго не получал он от отца писем и не подумал о нем осведомиться, полагая его в разъездах или хозяйственных заботах.

Он решился к нему ехать и даже выйти в отставку, если болезненное состояние отца потребует его присутствия. Товарищи, заметя его беспокойство, ушли. Владимир, оставшись один, написал просьбу об отпуске – закурил трубку и погрузился в глубокие размышления.

Тот же день стал он хлопотать об отпуске и через три дня был уже на большой дороге.

Владимир Андреевич приближался к той станции, с которой должен он был своротить на Кистеневку. Сердце его исполнено было печальных предчувствий, он боялся уже не застать отца в живых, он воображал грустный образ жизни, ожидающий его в деревне, глушь, безлюдие, бедность и хлопоты по делам, в коих он не знал никакого толку. Приехав на станцию, он вошел к смотрителю и спросил вольных лошадей². Смотритель осведомился, куда надобно было ему ехать, и объявил, что лошади, присланные из Кистеневки, ожидали его уже четвертые сутки. Вскоре явился к Владимиру Андреевичу старый кучер Антон, некогда водивший его по конюшне и смотревший за его маленькой лошадкой. Антон прослезился, увидя его, поклонился ему до земли, сказал ему, что старый его барин еще жив, и побежал запрягать лошадей. Владимир Андреевич отказался от предлагаемого завтрака и спешил отправиться. Антон повез его проселочными дорогами – и между ими завязался разговор.

– Скажи, пожалуйста, Антон, какое дело у отца моего с Троекуровым?

– А бог их ведает, батюшка Владимир Андреевич... Барин, слышь, не поладил с Кирилом Петровичем, а тот и подал в суд – хотя почасту³ он сам себе судия. Не наше холопье дело разбирать барские воли, а ей-богу, напрасно батюшка ваш пошел на Кирила Петровича, плетью обуха⁴ не перешибешь.

– Так, видно, этот Кирила Петрович у вас делает что хочет?

¹ Миколин (Николин) день – день святого Николая Чудотворца, 19 декабря (Никола летний) или 22 мая (Никола зимний).

² Вольные лошади – не почтовые, оплачиваемые независимо от установленной платы.

³ по часту – зачастую, нередко.

⁴ Обух – часть топора или другого острого орудия, противоположная лезвию.

– И вестимо, барин: заседателя, слышь, он и в грош не ставит, исправник у него на посылках. Господа съезжаются к нему на поклон, и то сказать, было бы корыто, а свиньи-то будут.

– Правда ли, что отымают он у нас имение?

– Ох, барин, слышали так и мы. На днях покровский пономарь¹ сказал на крестинах у нашего старосты: полно вам гулять; вот ужо приберет вас к рукам Кирила Петрович. Микита кузнец и сказал ему: и, полно, Савельич, не печаль кума, не мутит гостей – Кирила Петрович сам по себе, а Андрей Гаврилович сам по себе, а все мы божиим да государевым; да ведь на чужой рот пуговицы не нашьешь.

– Стало быть, вы не желаете перейти во владение Троекурову?

– Во владение Кирилу Петровичу! Господь упаси и избави: у него часом и своим плохо приходится, а достанутся чужие, так он с них не только шкурку, да и мясо-то отдерет. Нет, дай бог долго здравствовать Андрею Гавриловичу, а коли уж бог его приберет, так не надо нам никого, кроме тебя, наш кормилец. Не выдавай ты нас, а мы уж за тебя станем. – При сих словах Антон размахнул кнутом, потряхнул вожжами, и лошади его побежали крупной рысью.

Тронутый преданностью старого кучера, Дубровский замолчал и предался снов размышлениям. Прошло более часа, вдруг Гришка пробудил его восклицанием: «*Вот Покровское!*» Дубровский поднял голову. Он ехал берегом широкого озера, из которого вытекала речка и вдали извивалась между холмами; на одном из них над густою зеленью рощи возвышалась зеленая кровля и бельведер² огромного каменного дома, на другом пятиглавая церковь и старинная колокольня; около разбросаны были деревенские избы с их огородами и колодезьями. Дубровский знал сии места; он вспомнил, что на сем самом холму играл он с маленькой Машей Троекуровой, которая была двумя годами его моложе и тогда уже обещала быть красавицей. Он хотел об ней осведомиться у Антона, но какая-то застенчивость удержала его.

Подъехав к господскому дому, он увидел белое платье, мелькающее между деревьями сада. В это время Антон ударил по лошадям и, повинуясь честолюбию, общему и деревенским кучерам, как и извозчикам, пустился во весь дух через мост и мимо села. Выехав из деревни, поднялись они на гору, и Владимир увидел березовую рощу и влево на открытом месте серенький домик с красной кровлею; сердце в нем забилося; перед собою видел он Кистеневку и бедный дом своего отца.

Через десять минут въехал он на барский двор. Он смотрел вокруг себя с волнением неописанным. Двенадцать лет не видал он своей родины. Березки, которые при нем только что были посажены около забора, выросли и стали теперь высокими ветвистыми деревьями. Двор, некогда украшенный тремя правильными цветниками, меж коими шла широкая дорога, тщательно выметаемая, обращен был в некошенный луг, на котором паслась опутанная³ лошадь. Собаки было залаяли, но, узнав Антона, умолкли и замахали косматыми хвостами. Дворня высыпала из людских изб и окружила молодого барина с шумными изъявлениями радости. Насилу мог он продаться сквозь их усердную толпу и взбежал на ветхое крыльцо; в сенях встретила его

¹ Пономарь (дьячок) – церковный служитель.

² Бельведер здесь – надстройка над зданием.

³ опутанная – стреноженная.

Егоровна и с плачем обняла своего воспитанника. «Здорово, здорово, няня, – повторял он, прижимая к сердцу добрую старуху, – что батюшка, где он? каков он?»

В эту минуту в залу вошел, насилу передвигая ноги, старик высокого роста, бледный и худой, в халате и колпаке.

– Здравствуй, Володька! – сказал он слабым голосом, и Владимир с жаром обнял отца своего. Радость произвела в больном слишком сильное потрясение, он ослабел, ноги под ним подкосились, и он бы упал, если бы сын не поддержал его.

– Зачем ты встал с постели, – говорила ему Егоровна, – на ногах не стоишь, а туда же норовишь, куда и люди.

Старика отнесли в спальню. Он силился с ним разговаривать, но мысли мешались в его голове, и слова не имели никакой связи. Он замолчал и впал в усыпление. Владимир поражен был его состоянием. Он расположился в его спальне и просил оставить его наедине с отцом. Домашние повиновались, и тогда все обратились к Грише и повели в людскую, где и угостили его по-деревенскому, со всевозможным радушием, измучив его вопросами и приветствиями.

ГЛАВА IV.

Где стол был яств, там гроб стоит.¹

Несколько дней спустя после своего приезда молодой Дубровский хотел заняться делами, но отец его был не в состоянии дать ему нужные объяснения – у Андрея Гавриловича не было поверенного. Разбирая его бумаги, нашел он только первое письмо заседателя и черновой ответ на оное; из того не мог он получить ясное понятие о тяжести и решился ожидать последствий, надеясь на правоту самого дела.

Между тем здоровье Андрея Гавриловича час от часу становилось хуже. Владимир предвидел его скорое разрушение и не отходил от старика, впавшего в совершенное детство.

Между тем положенный срок прошел, и апелляция² не была подана. Кистеневка принадлежала Троекурову. Шабашкин явился к нему с поклонами и поздравлениями и просьбою назначить, когда угодно будет его высокопревосходительству вступить во владение новоприобретенным имением – самому или кому изволит он дать на то доверенность. Кирила Петрович смутился. От природы не был он корыстолюбив, желание мести завлекло его слишком далеко, совесть его роптала. Он знал, в каком состоянии находился его противник, старый товарищ его молодости, – и победа не радовала его сердце. Он грозно взглянул на Шабашкина, ища к чему привязаться, чтоб его выгнать, но не нашед достаточного к тому предлога, сказал ему сердито: «Пошел вон, не до тебя».

Шабашкин, видя, что он не в духе, поклонился и спешил удалиться. А Кирила Петрович, оставшись наедине, стал расхаживать взад и вперед, насвистывая: «Гром победы раздавайся»,³ что всегда означало в нем необыкновенное волнение мыслей.

¹ Эпиграф – строчка из оды Державина «На смерть князя Мещерского».

² Апелляция (от лат. *appellatio* – обращение) – обжалование решения суда.

³ Гром победы, раздавайся! – первая строчка неофициального русского гимна, написанного Г. Державиным и О. Козловским после взятия турецкой крепости Измаил.

Наконец он велел запрячь себе беговые дрожки, оделся потеплее (это было уже в конце сентября) и, сам правя, выехал со двора.

Вскоре завидел он домик Андрея Гавриловича, и противоположные чувства наполнили душу его. Удовлетворенное мщение и властолюбие заглушали до некоторой степени чувства более благородные, но последние наконец восторжествовали. Он решился помириться с старым своим соседом, уничтожить и следы ссоры, возвратив ему его достояние. Облегчив душу сим благим намерением, Кирила Петрович пустился рысью к усадьбе своего соседа – и въехал прямо на двор.

В это время больной сидел в спальней у окна. Он узнал Кирила Петровича, и ужасное смятение изобразилось на лице его: багровый румянец заступил место обыкновенной бледности, глаза засверкали, он произносил невнятные звуки. Сын его, сидевший тут же за хозяйственными книгами, поднял голову и поражен был его состоянием. Больной указывал пальцем на двор с видом ужаса и гнева. Он торопливо подбирал полы своего халата, собираясь встать с кресел, приподнялся... и вдруг упал. Сын бросился к нему, старик лежал без чувств и без дыхания – паралич его ударил. «Скорей, скорей в город за лекарем!» – кричал Владимир. «Кирила Петрович спрашивает вас», – сказал вошедший слуга. Владимир бросил на него ужасный взгляд.

– Скажи Кирилу Петровичу, чтоб он скорее убирался, пока я не велел его выгнать со двора... пошел! – Слуга радостно побежал исполнить приказание своего барина; Егоровна всплеснула руками. «Батюшка ты наш, – сказала она пискливым голосом, – погубишь ты свою головушку! Кирила Петрович съест нас». – «Молчи, няня, – сказал с сердцем Владимир, – сейчас пошли Антона в город за лекарем». Егоровна вышла.

В передней никого не было, все люди сбегались на двор смотреть на Кирила Петровича. Она вышла на крыльцо – и услышала ответ слуги, доносящего от имени молодого барина. Кирила Петрович выслушал его сидя на дрожках. Лицо его стало мрачнее ночи, он с презрением улыбнулся, грозно взглянул на дворню и поехал шагом около двора. Он взглянул и в окошко, где за минуту перед сим сидел Андрей Гаврилович, но где уж его не было. Няня стояла крыльце, забыв о приказании барина. Дворня с шумом толковала о сем происшествии. Вдруг Владимир явился между людьми и отрывисто сказал: «Не надобно лекаря, батюшка скончался».

Сделалось смятение. Люди бросились в комнату старого барина. Он лежал в креслах, на которые перенес его Владимир; правая рука его висела до полу, голова опущенная была на грудь – не было уж и признака жизни в сем теле, еще не охладевшем, но уже обезображенном кончиною. Егоровна взвыла, слуги окружили труп, оставленный на их попечение, – вымыли его, одели в мундир, сшитый еще в 1797 году, и положили на тот самый стол, за которым столько лет они служили своему господину.

ГЛАВА V.

Похороны совершились на третий день. Тело бедного старика лежало на столе, покрытое саваном и окруженное свечами. Столовая полна была дворовых. Готовились к выносу. Владимир и трое слуг подняли гроб. Священник пошел вперед, дьячок сопровождал его, воспевая погребальные молитвы. Хозяин Кистеневки в последний раз перешел за порог своего дома. Гроб понесли рощею. Церковь находилась за нею. День был ясный и холодный. Осенние листья падали с деревьев.

При выходе из рощи увидели кистеневскую деревянную церковь и кладбище, осененное старыми липами. Там покоилось тело Владимировой матери; там подле могилы ее накануне вырыта была свежая яма.

Церковь полна была кистеневскими крестьянами, пришедшими отдать последнее поклонение господину своему. Молодой Дубровский стал у клироса¹; он не плакал и не молился – но лицо его было страшно. Печальный обряд кончился. Владимир первый пошел прощаться с телом, за ним и все дворовые – принесли крышку и заколотили гроб. Бабы громко выли; мужики изредка утирали слезы кулаком. Владимир и тех же трое слуг понесли его на кладбище в сопровождении всей деревни. Гроб опустили в могилу, все присутствующие бросили в нее по горсти песка, яму засыпали, поклонились ей и разошлись. Владимир поспешно удалился, всех опередил и скрылся в Кистеневскую рощу.

Егоровна от имени его пригласила попа и весь причет церковный на похоронный обед, объявив, что молодой барин не намерен на оном присутствовать, и таким образом отец Антон, попадья Федотовна и дьячок пешком отправились на барский двор, рассуждая с Егоровной о добродетелях покойника и о том, что, по-видимому, ожидало его наследника. (Приезд Троекурова и прием, ему оказанный, были уже известны всему околотку, и тамошние политики предвещали важные оному последствия.)

– Что будет – то будет, – сказала попадья, – а жаль, если не Владимир Андреевич будет нашим господином. Молодец, нечего сказать.

– А кому же как не ему и быть у нас господином, – прервала Егоровна. – Напрасно Кирила Петрович и горячится. Не на робкого напал: мой соколик и сам за себя постоит, да и, бог даст, благодетели его не оставят. Больно спесив Кирила Петрович! а небось поджал хвост, когда Гришка мой закричал ему: «Вон, старый пес! долой со двора!»

– Ахти, Егоровна, – сказал дьячок, – да как у Григорья-то язык повернулся; я скорее соглашусь, кажется, лаять на владыку, чем косо взглянуть на Кирила Петровича. Как увидишь его, страх и трепет и краплет пот, а спина-то сама так и гнется, так и гнется...

– Суета сует, – сказал священник, – и Кирилу Петровичу отпоют вечную память, всё как ныне и Андрею Гавриловичу, разве похороны будут побогаче да гостей созовут побольше, а богу не всё ли равно!

– Ах, батенька! и мы хотели зазвать весь околоток, да Владимир Андреевич не захотел. Небось у нас всего довольно, есть чем угостить, да что прикажешь делать. По крайней мере, коли нет людей, так уж хоть вас употчую, дорогие гости наши.

Сие ласковое обещание и надежда найти лакомый пирог ускорили шаги собеседников, и они благополучно прибыли в барский дом, где стол был уже накрыт и водка подана.

Между тем Владимир углублялся в чащу дерев, движением и усталостью стараясь заглушать душевную скорбь. Он шел не разбирая дороги; сучья поминутно задевали и царапали его, нога его поминутно вязла в болоте, – он ничего не замечал. Наконец достигнул он маленькой лощины, со всех сторон окруженной лесом; ручеек извивался молча около деревьев, полуобнаженных осенью. Владимир остановился,

¹ Клизос – место для певчих в церкви на возвышении по обеим сторонам от алтаря.

сел на холодный дерн, и мысли одна другой мрачнее стеснились в душе его... Сильно чувствовал он свое одиночество. Будущее для него являлось покрытым грозными тучами. Вражда с Троекуровым предвещала ему новые несчастья. Бедное его достояние могло отойти от него в чужие руки – в таком случае нищета ожидала его. Долго сидел он неподвижно на том же месте, взирая на тихое течение ручья, уносящего несколько поблеклых листьев и живо представляющего ему верное подобие жизни – подобие столь обыкновенное. Наконец заметил он, что начало смеркаться; он встал и пошел искать дороги домой, но еще долго блуждал по незнакомому лесу, пока не попал на тропинку, которая и привела его прямо к воротам его дома.

Навстречу Дубровскому попался поп со всем причетом¹. Мысль о несчастливом предзнаменовании пришла ему в голову. Он невольно пошел стороною и скрылся за деревом. Они его не заметили и с жаром говорили между собою, проходя мимо его.

– Удались от зла и сотвори благо, – говорил поп попадье, – нечего нам здесь оставаться. Не твоя беда, чем бы дело ни кончилось. – Попадаья что-то отвечала, но Владимир не мог ее расслышать.

Приближаясь, увидел он множество народа – крестьяне и дворовые люди толпились на барском дворе. Издали услышал Владимир необыкновенный шум и говор. У сарая стояли две тройки. На крыльце несколько незнакомых людей в мундирных сертуках, казалось, о чем-то толковали.

– Что это значит? – спросил он сердито у Антона, который бежал ему навстречу. – Это кто такие, и что им надобно?

– Ах, батюшка Владимир Андреевич, – отвечал старик задыхаясь. – Суд приехал. Отдают нас Троекурову, отымают нас от твоей милости!..

Владимир потупил голову, люди его окружили несчастного своего господина. «Отец ты наш, – кричали они, целуя ему руки, – не хотим другого барина, кроме тебя, прикажи, осударь, с судом мы управимся. Умрем, а не выдадим». Владимир смотрел на них, и странные чувства волновали его. «Стойте смирно, – сказал он им, – а я с приказными переговорю». – «Переговори, батюшка, – закричали ему из толпы, – да усовестить окаянных».

Владимир подошел к чиновникам. Шабашкин, с картузом на голове, стоял подбочась и гордо взирал около себя. Исправник, высокий и толстый мужчина лет пятидесяти с красным лицом и в усах, увидя приближающегося Дубровского, крикнул и произнес охриплым голосом: «Итак, я вам повторяю то, что уже сказал: по решению уездного суда отныне принадлежите вы Кирилу Петровичу Троекурову, коего лицо представляет здесь господин Шабашкин. Слушайтесь его во всем, что ни прикажет, а вы, бабы, любите и почитайте его, а он до вас большой охотник». При сей острой шутке исправник захохотал, а Шабашкин и прочие члены ему последовали. Владимир кипел от негодования. «Позвольте узнать, что это значит», – спросил он с притворным холоднокровием у веселого исправника. «А это то значит, – отвечал замысловатый чиновник, – что мы приехали вводить во владение сего Кирила Петровича Троекурова и просить *иных прочих* убираться подобру-поздорову». – «Но вы могли бы, кажется, отнестися ко мне, прежде чем к моим крестьянам, и объявить помещику отрешение от власти...» – «А ты кто такой, – сказал Шабашкин с дерзким

¹ Причет – церковные служащие: чтецы, певчие, дьячки...

взором. – Бывший помещик Андрей Гаврилов сын Дубровский волею божиею помре, мы вас не знаем, да и знать не хотим».

– Владимир Андреевич наш молодой барин, – сказал голос из толпы.

– Кто там смел рот разинуть, – сказал грозно исправник, – какой барин, какой Владимир Андреевич? барин ваш Кирила Петрович Троекуров – слышите ли, олухи¹.

– Как не так, – сказал тот же голос.

– Да это бунт! – кричал исправник. – Гей, староста, сюда!

Староста выступил вперед.

– Отыщи сей же час, кто смел со мною разговаривать, я его!

Староста обратился к толпе, спрашивая, кто говорил? но все молчали; вскоре в задних рядах поднялся ропот, стал усиливаться и в одну минуту превратился в ужаснейшие вопли. Исправник понизил голос и хотел было их уговаривать. «Да что на него смотреть, – закричали дворовые, – ребята! долой их!» – и вся толпа двинулась. Шабашкин и другие члены поспешно бросились в сени и заперли за собою дверь.

«Ребята, вязать», – закричал тот же голос, – и толпа стала напирать... «Стойте, – крикнул Дубровский. – Дураки! что вы это? вы губите и себя и меня. Ступайте по дворам и оставьте меня в покое. Не бойтесь, государь милостив, я буду просить его. Он нас не обидит. Мы все его дети. А как ему за вас будет заступиться, если вы станете бунтовать и разбойничать».

Речь молодого Дубровского, его звучный голос и величественный вид произвели желаемое действие. Народ утих, разошелся – двор опустел. Члены сидели в сенях. Наконец Шабашкин тихонько отпер двери, вышел на крыльцо и с униженными поклонами стал благодарить Дубровского за его милостивое заступление. Владимир слушал его с презрением и ничего не отвечал. «Мы решили, – продолжал заседатель, – с вашего дозволения остаться здесь ночевать; а то уж темно, и ваши мужики могут напасть на нас на дороге. Сделайте такую милость: прикажите постлать нам хоть сена в гостиной; чем свет, мы отправимся восвояси».

– Делайте что хотите, – отвечал им сухо Дубровский, – я здесь уже не хозяин. – С этим словом он удалился в комнату отца своего и запер за собою дверь.

ГЛАВА VI.

«Итак, всё кончено, – сказал он сам себе, – еще утром имел я угол и кусок хлеба. Завтра должен я буду оставить дом, где я родился и где умер мой отец, виновику его смерти и моей нищеты». И глаза его неподвижно остановились на портрете его матери. Живописец представил ее облокоченную на перилы в белом утреннем платье с алой розою в волосах. «И портрет этот достанется врагу моего семейства, – подумал Владимир, – он заброшен будет в кладовую вместе с изломанными стульями или повешен в передней, предметом насмешек и замечаний его псарей, а в ее спальней, в комнате... где умер отец, поселится его приказчик или поместится его гарем. Нет! нет! пускай же и ему не достанется печальный дом, из которого он выгоняет меня». Владимир стиснул зубы, страшные мысли рождались в уме его. Голоса подьячих

¹ Олух – глупый, непонятливый человек, дурак.



доходили до него, они хозяйничали, требовали то того, то другого и неприятно развлекали его среди печальных его размышлений. Наконец всё утихло.

Владимир отпер комоды и ящики, занялся разбором бумаг покойного. Они большей частью состояли из хозяйственных счетов и переписки по разным делам. Владимир разорвал их, не читая. Между ими попался ему пакет с надписью: *письма моей жены*. С сильным движением чувства Владимир принялся за них: они писаны были во время Турецкого похода¹ и были адресованы в армию из Кистеневки. Она описывала ему свою пустынную жизнь, хозяйственные занятия, с нежностью сетовала на разлуку и призывала его домой, в объятия доброй подруги; в одном из них она изъясляла ему свое беспокойство насчет здоровья маленького Владимира; в другом она радовалась его ранним способностям и предвидела для него счастливую и блестящую будущность. Владимир зачитался и позабыл всё на свете, погружая душою в мир семейственного счастья, и не заметил, как прошло время, стенные часы пробили одиннадцать. Владимир положил письма в карман, взял свечу и вышел из кабинета. В зале приказные спали на полу. На столе стояли стаканы, ими опорожненные, и сильный дух рома слышался по всей комнате. Владимир с отвращением прошел мимо их в переднюю – двери были заперты. Не найдя ключа, Владимир возвратился в залу, – ключ лежал на столе, Владимир отворил дверь и наткнулся на человека, прижавшегося в угол – топор блестел у него, и, обратясь к нему со свечою, Владимир узнал Архипа-кузнеца. «Зачем ты здесь?» – спросил он. «Ах, Владимир Андреевич, это вы, – отвечал Архип пошепту, – господь помилуй и спаси! хорошо, что вы шли со свечою! – Владимир глядел на него с изумлением. «Что ты здесь притаился?» – спросил он кузнеца.

– Я хотел... я пришел... было проведать, все ли дома, – тихо отвечал Архип запинаясь.

– А зачем с тобою топор?

– Топор-то зачем? Да как же без топора нонече и ходить. Эти приказные такие, вишь, озорники – того и гляди...

– Ты пьян, брось топор, поди выпись.

– Я пьян? Батюшка Владимир Андреевич, бог свидетель, ни единой капли во рту не было... да и пойдет ли вино на ум, слыхано ли дело, – подьячие² задумали нами владеть, подьячие гонят наших господ с барского двора... Эх они храпят, окаянные; всех бы разом; так и концы в воду.

Дубровский нахмурился. «Послушай, Архип, – сказал он, немного помолчав, – не дело ты затеял. Не приказные³ виноваты. Засвети-ка фонарь ты, ступай за мною».

Архип взял свечку из рук барина, отыскал за печкою фонарь, засветил его, и оба тихо сошли с крыльца и пошли около двора. Сторож начал бить в чугунную доску, собаки залаяли. «Кто сторожа?» – спросил Дубровский. «Мы, батюшка, – отвечал тонкий голос, – Василиса да Лукерья». – «Подите по дворам, – сказал им Дубровский, – вас не нужно». – «Шабаш», – промолвил Архип. «Спасибо, кормилец», – отвечали бабы и тотчас отправились домой.

¹ Имеется в виду русско-турецкая война 1787-1791 годов.

² Подьячие – в Московской Руси помощники дьяка, канцеляристы.

³ Приказными людьми в Московской Руси назывались гражданские служащие; приказы в то время – органы центрального управления государством.

Дубровский пошел далее. Два человека приблизились к нему; они его окликали. Дубровский узнал голос Антона и Гриши. «Зачем вы не спите?» – спросил он их. «До сна ли нам, – отвечал Антон. – До чего мы дожили, кто бы подумал...»

– Тише! – перервал Дубровский, – где Егоровна?

– В барском доме в своей светелке, – отвечал Гриша.

– Поди, приведи ее сюда да выведи из дому всех наших людей, чтоб ни одной души в нем не оставалось кроме приказных, а ты, Антон, запряги телегу.

Гриша ушел и через минуту явился с своею матерью. Старуха не раздевалась в эту ночь; кроме приказных, никто в доме не смыкал глаза.

– Все ли здесь? – спросил Дубровский, – не осталось ли никого в доме?

– Никого, кроме подъячих, – отвечал Гриша.

– Давайте сюда сена или соломы, – сказал Дубровский.

Люди побежали в конюшню и возвратились, неся в охапках сено.

– Подложите под крыльцо. Вот так. Ну, ребята, огню!

Архип открыл фонарь, Дубровский зажег лучину.

– Постой, – сказал он Архипу, – кажется, второпях я запер двери в переднюю, поди скорей отопри их.

Архип побежал в сени – двери были отперты. Архип запер их на ключ, примолвля вполголоса: «*как не так, отопри!*», и возвратился к Дубровскому.

Дубровский приблизил лучину, сено вспыхнуло, пламя взвилось и осветило весь двор.

– Ахти, – жалобно закричала Егоровна, – Владимир Андреевич, что ты делаешь?

– Молчи, – сказал Дубровский. – Ну дети, прощайте, иду куда бог поведет; будьте счастливы с новым вашим господином.

– Отец наш, кормилец, – отвечали люди, – умрем, не оставим тебя, идем с тобою.

Лошади были поданы; Дубровский сел с Гришей в телегу и назначил им местом свидания Кистеневскую рощу. Антон ударил по лошадам, и они выехали со двора.

Поднялся ветер. В одну минуту пламя обхватило весь дом. Красный дым вился над кровлею. Стекла трескали, сыпались, пылающие бревна стали падать, раздался жалобный вопль и крики: «Горим, помогите, помогите». – «*Как не так*», – сказал Архип, с злобной улыбкой взирающий на пожар. «Архипушка, – говорила ему Егоровна, – спаси их, окаянных, бог тебя наградит».

– Как не так, – отвечал кузнец.

В сию минуту приказные показались в окно, стараясь выломать двойные рамы. Но тут кровля с треском рухнула, и вопли утихли.

Вскоре вся дворня высыпала на двор. Бабы с криком спешили спасти свою рухлядь, ребятишки прыгали, любуясь на пожар. Искры полетели огненной метелью, избы загорелись.

– Теперь всё ладно, – сказал Архип, – каково горит, а? чай, из Покровского славно смотреть.

В сию минуту новое явление привлекло его внимание; кошка бегала по кровле пылающего сарая, недоумевая, куда спрыгнуть – со всех сторон окружало ее пламя. Бедное животное жалким мяуканьем призывало на помощь. Мальчишки помирали со смеху, смотря на ее отчаяние. «Чему смеетесь, бесенята, – сказал им сердито кузнец. – Бога вы не боитесь: божия тварь погибает, а вы сдуру радуетесь», – и,

поставя лестницу на загоревшуюся кровлю, он полез за кошкою. Она поняла его намерение и с видом торопливой благодарности уцепилась за его рукав. Полуобгорелый кузнец с своей добычей полез вниз. «Ну, ребята, прощайте, – сказал он смущенной дворне, – мне здесь делать нечего. Счастливо, не поминайте меня лихом».

Кузнец ушел; пожар свирепствовал еще несколько времени. Наконец унялся, и груды углей без пламени ярко горели в темноте ночи, и около них бродили погорелые жители Кистеневки.

ГЛАВА VII.

На другой день весть о пожаре разнеслась по всему околотку. Все толковали о нем с различными догадками и предположениями. Иные уверяли, что люди Дубровского, напившись пьяны на похоронах, зажгли дом из неосторожности, другие обвиняли приказных, подгулявших на новоселии, многие уверяли, что он сам сгорел с земским судом и со всеми дворовыми. Некоторые догадывались об истине и утверждали, что виновником сего ужасного бедствия был сам Дубровский, движимый злобой и отчаянием. Троекуров приезжал на другой же день на место пожара и сам производил следствие. Оказалось, что исправник, заседатель земского суда, стряпчий и писарь, так же как Владимир Дубровский, няня Егоровна, дворовый человек Григорий, кучер Антон и кузнец Архип пропали неизвестно куда. Все дворовые показали, что приказные сгорели в то время, как повалилась кровля; обгорелые кости их были отыты. Бабы Василиса и Лукерья сказали, что Дубровского и Архипа-кузнеца видели они за несколько минут перед пожаром. Кузнец Архип, по всеобщему показанию, был жив и, вероятно, главный, если не единственный, виновник пожара. На Дубровском лежали сильные подозрения. Кирила Петрович послал губернатору подробное описание всему происшествию, и новое дело завязалось.

Вскоре другие вести дали другую пищу любопытству и толкам. В** появились разбойники и распространили ужас по всем окрестностям. Меры, принятые против них правительством, оказались недостаточными. Грабительства, одно другого замечательнее, следовали одно за другим. Не было безопасности ни по дорогам, ни по деревням. Несколько троек, наполненных разбойниками, разъезжали днем по всей губернии, останавливали путешественников и почту, приезжали в селы, грабили помещичьи дома и предавали их огню. Начальник шайки славился умом, отважностью и каким-то великодушием. Рассказывали о нем чудеса; имя Дубровского было во всех устах, все были уверены, что он, а никто другой, предводительствовал отважными злодеями. Удивлялись одному: поместья Троекурова были пощажены; разбойники не ограбили у него ни единого сарая, не остановили ни одного воза. С обыкновенной своей надменностью Троекуров приписывал сие исключение страху, который умел он внушить всей губернии, также и отменно хорошей полиции, им заведенной в его деревнях. Сначала соседи смеялись между собою над высокомерием Троекурова и каждый день ожидали, чтоб незваные гости посетили Покровское, где было им чем поживиться, но наконец принуждены были с ним согласиться и сознаться, что и разбойники оказывали ему непонятное уважение... Троекуров торжествовал и при каждой вести о новом грабительстве Дубровского рассыпался в насмешках насчет губернатора, исправников и ротных командиров, от коих Дубровский уходил всегда невредимо.

Между тем наступило 1-е октября – день храмового праздника в селе Троекурова. Но прежде чем приступим к описанию сего торжества и дальнейших происшествий, мы должны познакомить читателя с лицами для него новыми, или о коих мы слегка только упомянули в начале нашей повести.

ГЛАВА VIII.

Читатель, вероятно, уже догадался, что дочь Кирила Петровича, о которой сказали мы еще только несколько слов, есть героиня нашей повести. В эпоху, нами описываемую, ей было семнадцать лет, и красота ее была в полном цвете. Отец любил ее до безумия, но обходился с нею со свойственным ему своенравием, то стараясь угождать малейшим ее прихотям, то пугая ее суровым, а иногда и жестоким обращением. Уверенный в ее привязанности, никогда не мог он добиться ее доверенности. Она привыкла скрывать от него свои чувства и мысли, ибо никогда не могла знать наверно, каким образом будут они приняты. Она не имела подруг и выросла в уединении. Жены и дочери соседей редко езжали к Кирилу Петровичу, коего обыкновенные разговоры и увеселения требовали товарищества мужчин, а не присутствия дам. Редко наша красавица являлась посреди гостей, пирующих у Кирила Петровича. Огромная библиотека, составленная большею частию из сочинений французских писателей XVII века, была отдана в ее распоряжение. Отец ее, никогда не читавший ничего, кроме *«Совершенной поварихи»*¹, не мог руководствовать ее в выборе книг, и Маша, естественным образом, перерыв сочинения всякого рода, остановилась на романах. Таким образом совершила она свое воспитание, начатое некогда под руководством мамзель Мими, которой Кирила Петрович оказывал большую доверенность и благосклонность и которую принужден он был наконец выслать тихонько в другое поместье, когда следствия его дружества оказались слишком явными. Мамзель Мими оставила по себе память довольно приятную. Она была добрая девушка и никогда во зло не употребляла влияния, которое, видимо, имела над Кирилом Петровичем, в чем отличалась она от других наперсниц, поминутно им сменяемых. Сам Кирила Петрович, казалось, любил ее более прочих, и черноглазый мальчик, шалун лет девяти, напоминающий полуденные² черты m-lle Мими, воспитывался при нем и признан был его сыном, несмотря на то, что множество босых ребятишек, как две капли воды похожих на Кирила Петровича, бегали перед его окнами и считались дворовыми. Кирила Петрович выписал из Москвы для своего маленького Саши француза-учителя, который и прибыл в Покровское во время происшествий, нами теперь описываемых.

Сей учитель понравился Кирилу Петровичу своей приятной наружностью и простым обращением. Он представил Кирилу Петровичу свои аттестаты и письмо от

¹ Книги с названием *«Совершенная Повариха»* в пушкинское время не было, зато Пушкину был знаком авантюрно-плутовской роман М.Д. Чулкова *«Пригожая повариха, или похождения развратной женщины»*, изданный в Петербурге в 1770 году. Вероятно Пушкин, немного исказив и сократив его название, намекает на пристрастие Троекурова к дамскому полу.

² По положению Солнца на небесной сфере полуденными поэтически называют южные страны, следовательно, речь о южных чертах Мими.

одного из родственников Троекурова, у которого четыре года жил он гувернером. Кирила Петрович всё это пересмотрел и был недоволен одною молодостью своего француза – не потому, что полагал бы сей любезный недостаток несовместным с терпением и опытностью, столь нужными в несчастном звании учителя, но у него были свои сомнения, которые тотчас и решился ему объяснить. Для сего велел он позвать к себе Машу (Кирила Петрович по-французски не говорил, и она служила ему переводчиком).

– Подойди сюда, Маша; скажи ты этому мусье, что так и быть – принимаю его; только с тем, чтоб он у меня за моими девушками не осмелился волочиться, не то я его, собачьего сына...переведи это ему, Маша.

Маша покраснела и, обратясь к учителю, сказала ему по-французски, что отец ее надеется на его скромность и порядочное поведение.

Француз ей поклонился и отвечал, что он надеется заслужить уважение, даже если откажут ему в благосклонности.

Маша слово в слово перевела его ответ.

– Хорошо, хорошо, – сказал Кирила Петрович, – не нужно для него ни благосклонности, ни уважения. Дело его ходить за Сашей и учить грамматике да географии, переведи это ему.

Марья Кириловна смягчила в своем переводе грубые выражения отца, и Кирила Петрович отпустил своего француза во флигель, где назначена была ему комната.

Маша не обратила никакого внимания на молодого француза, воспитанная в аристократических предрассудках, учитель был для нее род слуги или мастерового, а слуга или мастеровой не казался ей мужчиною. Она не заметила и впечатления, ею произведенного на м-г Дефоржа, ни его смущения, ни его трепета, ни изменившегося голоса. Несколько дней сряду потом она встречала его довольно часто, не удостоивая большей внимательности. Неожиданным образом получила она о нем совершенно новое понятие.

На дворе у Кирила Петровича воспитывались обыкновенно несколько медвежат и составляли одну из главных забав покровского помещика. В первой своей молодости медвежата приводимы были ежедневно в гостиную, где Кирила Петрович по целым часам возился с ними, стравливая их с кошками и щенятами. Возмужав, они бывали посажены на цепь, в ожидании настоящей травли. Изредка выводили пред окна барского дома и подкатывали им порожнюю винную бочку, утыканную гвоздями; медведь обнюхивал ее, потом тихонько до нее дотрогивался, колол себе лапы, осердясь толкал ее сильнее, и сильнее становилась боль. Он входил в совершенное бешенство, с ревом бросался на бочку, покамест не отымали у бедного зверя предмета тщетной его ярости. Случалось, что в телегу впрягали пару медведей, волею и неволею сажали в нее гостей и пускали их скакать на волю божию. Но лучшею шуткою почиталась у Кирила Петровича следующая.

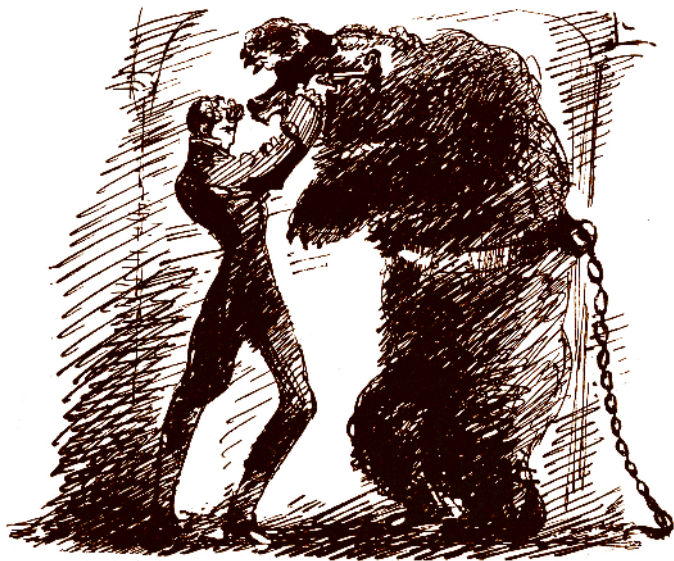
Проголодавшегося медведя запрут, бывало, в пустой комнате, привязав его веревкою за кольцо, ввинченное в стену. Веревка была длиною почти во всю комнату, так что один только противоположный угол мог быть безопасным от нападения страшного зверя. Приводили обыкновенно новичка к дверям этой комнаты, нечаянно вталкивали его к медведю, двери запирались, и несчастную жертву оставляли наедине с косматым пустынным. Бедный гость, с оборванной полою и до крови

оцарапанный, скоро отыскивал безопасный угол, но принужден был иногда целых три часа стоять прижавшись к стене и видеть, как разъяренный зверь в двух шагах от него ревел, прыгал, становился на дыбы, рвался и силился до него дотянуться. Таковы были благородные увеселения русского барина! Несколько дней спустя после приезда учителя, Троекуров вспомнил о нем и вознамерился угостить его в медвежьей комнате: для сего, призвав его однажды утром, повел он его с собою темными коридорами; вдруг боковая дверь отворилась, двое слуг вталкивают в нее француза и запирают ее на ключ. Опомнившись, учитель увидел привязанного медведя, зверь начал фыркать, издали обнюхивая своего гостя, и вдруг, поднявшись на задние лапы, пошел на него... Француз не смутился, не побегал и ждал нападения. Медведь приблизился, Дефорж вынул из кармана маленький пистолет, вложил его в ухо голодному зверю и выстрелил. Медведь повалился. Всё сбежалось, двери отворились, Кирила Петрович вошел, изумленный развязкою своей шутки. Кирила Петрович хотел непременно объяснения всему делу: кто предварил Дефоржа о шутке, для него предуготовленной, или зачем у него в кармане был заряженный пистолет. Он послал за Машей, Маша прибежала и перевела французу вопросы отца.

– Я не слыхивал о медведе, – отвечал Дефорж, – но я всегда ношу при себе пистолеты, потому что не намерен терпеть обиду, за которую, по моему званию, не могу требовать удовлетворения.

Маша смотрела на него с изумлением и перевела слова его Кирилу Петровичу. Кирила Петрович ничего не отвечал, велел вытащить медведя и снять с него шкуру; потом, обратясь к своим людям сказал: «Каков молодец! не струсил, ей-богу, не струсил». С той минуты он Дефоржа полюбил и не думал уже его пробовать.

Но случай сей произвел еще большее впечатление на Марию Кириловну. Воображение ее было поражено: она видела мертвого медведя и Дефоржа, спокойно стоящего над ним и спокойно с нею разговаривающего. Она увидела, что храбрость и гордое самолюбие не исключительно принадлежат одному сословию, и с тех пор стала оказывать молодому учителю уважение, которое час от часу становилось внимательнее. Между ими основались некоторые сношения. Маша имела прекрасный голос и большие музыкальные способности, Дефорж вызвался давать ей уроки. После того читателю уже не трудно догадаться, что Маша в него влюбилась, сама еще в том себе не признаваясь.





ТОМ ВТОРОЙ.

ГЛАВА IX.

Накануне праздника гости начали съезжаться, иные останавливались в господском доме и во флигелях, другие у приказчика, третьи у священника, четвертые у зажиточных крестьян. Конюшни полны были дорожных лошадей, дворы и сараи загромождены разными экипажами. В девять часов утра заблаговестили к обедне, и всё потянулось к новой каменной церкви, построенной Кирилом Петровичем и ежегодно украшаемой его приношениями. Собралось такое множество почетных богомольцев, что простые крестьяне не могли поместиться в церкви и стояли на паперти и в ограде. Обедня¹ не начиналась, ждали Кирила Петровича. Он приехал в коляске шестернею и торжественно пошел на свое место, сопровождаемый Мариєю Кириловной. Взоры мужчин и женщин обратились на нее; первые удивлялись ее красоте, вторые со вниманием осмотрели ее наряд. Началась обедня, домашние певчие пели на крылосе, Кирила Петрович сам подтягивал, молился, не смотря ни направо, ни налево, и с гордым смирением поклонился в землю, когда дьякон громогласно упомянул *и о зиждителе² храма сего*.

Обедня кончилась. Кирила Петрович первый подошел ко кресту. Все двинулись за ним, потом соседи подошли к нему с почтением. Дамы окружили Машу. Кирила Петрович, выходя из церкви, пригласил всех к себе обедать, сел в коляску и отправился домой. Все поехали вслед за ним. Комнаты наполнились гостями. Поминутно входили новые лица и насилу могли пробраться до хозяина. Барыни сели чинным полукругом, одетые по запоздалой моде, в поношенных и дорогих нарядах, все в жемчугах и бриллиантах, мужчины толпились около икры и водки, с шумным разногласием разговаривая между собою. В зале накрывали стол на 80 приборов. Слуги суетились, расставляя бутылки и графины и прилаживая скатерти. Наконец дворецкий провозгласил: «Кушание поставлено», – и Кирила Петрович первый пошел садиться за стол, за ним двинулись дамы и важно заняли свои места, наблюдая некоторое старшинство, барышни стеснились между собою, как робкое стадо козочек, и выбрали себе места одна подле другой. Против них поместились мужчины. На конце стола сел учитель подле маленького Саши.

Слуги стали разносить тарелки по чинам³, в случае недоумения руководствуясь лафатерскими догадками⁴, и почти всегда безошибочно. Звон тарелок и ложек слился с шумным говором гостей, Кирила Петрович весело обозревал свою трапезу и вполне наслаждался счастьем хлебосола. В это время въехала на двор коляска, запряженная шестью лошадьми. «Это кто?» – спросил хозяин. «Антон Пафнutyч», – отвечали несколько голосов. Двери открылись, и Антон Пафнutyч

¹ Обедня – церковная служба, совершаемая в первой половине дня.

² зиждитель – основатель, создатель, творец.

³ По старинному дворянскому обычаю слуги подают кушанья за столом в порядке старшинства чинов присутствующих гостей.

⁴ Заложивший в XVIII веке основы криминальной антропологии швейцарец Иоганн Лафатер предлагал определять характер человека по строению его лица и черепа.

Спицын, толстый мужчина лет пятидесяти, с круглым и рябым лицом, украшенным тройным подбородком, ввалился в столовую, кланяясь, улыбаясь и уже собираясь извиниться... «Прибор сюда, – закричал Кирила Петрович, – милости просим, Антон Пафнутьич, садись, да скажи нам что это значит: не был у моей обедни и к обеду опоздал. Это на тебя не похоже, ты и богомолен и покушать любишь». – «Винovat, – отвечал Антон Пафнутьич, привязывая салфетку в петлицу горохового кафтана, – винovat, батюшка Кирила Петрович, я было рано пустился в дорогу, да не успел отъехать и десяти верст, вдруг шина у переднего колеса пополам – что прикажешь? К счастью, недалеко было от деревни; пока до нее дотащились, да отыскали кузнеца, да всё кое-как уладили, прошли ровно три часа, делать было нечего. Ехать ближним путем через Кистеневский лес я не осмелился, а пустился в объезд...»

– Эге! – прервал Кирила Петрович, – да ты, знать, не из храброго десятка; чего ты боишься.

– Как чего боюсь, батюшка Кирила Петрович, а Дубровского-то; того и гляди попадешься ему в лапы. Он малый не промах, никому не спустит, а с меня, пожалуй, и две шкуры сдерет.

– За что же, братец, такое отличие?

– Как за что, батюшка Кирила Петрович? а за тяжбу-то покойника Андрея Гавриловича. Не я ли в удовольствие ваше, то есть по совести и по справедливости, показал, что Дубровские владеют Кистеневкой безо всякого на то права, а единственно по снисхождению вашему. И покойник (царство ему небесное) обещал со мною по-свойски перевестаться, а сынок, пожалуй, сдержит слово батюшкино. Доселе бог милывал. Всего-навсего разграбили у меня один анбар, да того и гляди до усадьбы доберутся.

– А в усадьбе-то будет им раздолье, – заметил Кирила Петрович, – я чай, красная шкатулочка полным полна...

– Куда, батюшка Кирила Петрович. Была полна, а нынче совсем опустела!

– Полно врать, Антон Пафнутьич. Знаем мы вас; куда тебе деньги тратить, дома живешь свинья свиньей, никого не принимаешь, своих мужиков обдираешь, знай копишь да и только.

– Вы всё изволите шутить, батюшка Кирила Петрович, – пробормотал с улыбкою Антон Пафнутьич, – а мы ей-богу, разорились, – и Антон Пафнутьич стал заедать барскую шутку хозяина жирным куском кулебяки. Кирила Петрович оставил его и обратился к новому исправнику, в первый раз к нему в гости приехавшему и сидящему на другом конце стола подле учителя.

– А что, поймаете хоть вы Дубровского, господин исправник?

Исправник струсил, поклонился, улыбнулся, заикнулся и произнес наконец:

– Постараемся, ваше превосходительство.

– Гм, постараемся. Давно, давно стараются, а проку всё-таки нет. Да, правда, зачем и ловить его. Разбой Дубровского благодать для исправников: разъезды, следствия, подводы, а деньги в карман. Как такого благодетеля извести? Не правда ли, господин исправник?

– Сушья правда, ваше превосходительство, – отвечал совершенно смутившийся исправник.

Гости захохотали.

– Люблю молодца за искренность, – сказал Кирила Петрович, – а жаль покойного нашего исправника Тараса Алексеевича – кабы не сожгли его, так в околотке было бы тише. А что слышно про Дубровского? где его видели в последний раз?

– У меня, Кирила Петрович, – пропищал толстый дамской голос, – в прошлый вторник обедал он у меня...

Все взоры обратились на Анну Савишну Глобову, довольно простую вдову, всеми любимую за добрый и веселый нрав. Все с любопытством приготовились услышать ее рассказ.

– Надобно знать, что тому три недели послала я приказчика на почту с деньгами для моего Ванюши. Сына я не балую, да и не в состоянии баловать, хоть бы и хотела; однако сами изволите знать: офицеру гвардии нужно содержать себя приличным образом, и я с Ванюшей делюсь, как могу, своими доходишками. Вот и послала ему 2000 рублей, хоть Дубровский не раз приходил мне в голову, да думаю: город близко, всего семь верст, авось бог пронесет. Смотрю: вечером мой приказчик возвращается, бледен, оборван и пеш – я так и ахнула. «Что такое? что с тобою сделалось?» Он мне: «Матушка Анна Савишна, разбойники ограбили; самого чуть не убили, сам Дубровский был тут, хотел повесить меня, да сжалился и отпустил, зато всего обобра, отнял и лошадь и телегу». Я обмерла; царь мой небесный, что будет с моим Ванюшей? Делать нечего: написала я сыну письмо, рассказала всё и послала ему свое благословение без гроша денег.

Прошла неделя, другая – вдруг въезжает ко мне на двор коляска. Какой-то генерал просит со мною увидеться: милости просим; входит ко мне человек лет тридцати пяти, смуглый, черноволосый, в усах, в бороде, суший портрет Кульнева¹, рекомендуется мне как друг и сослуживец покойного мужа Ивана Андреевича: он-де ехал мимо и не мог не заехать к его вдове, зная, что я тут живу. Я угостила его чем бог послал, разговорились о том о сем, наконец и о Дубровском. Я рассказала ему свою горе. Генерал мой нахмурился. «Это странно, – сказал он, – я слышал, что Дубровский нападает не на всякого, а на известных богачей, но и тут делится с ними, а не грабит дочиста, а в убийствах никто его не обвиняет; нет ли тут плутни, прикажите-ка позвать вашего приказчика». Пошли за приказчиком, он явился; только увидел генерала, он так и остолбенел. «Расскажи-ка мне, братец, каким образом Дубровский тебя ограбил и как он хотел тебя повесить». Приказчик мой задрожал и повалился генералу в ноги. «Батюшка, виноват – грех попутал – солгал». – «Коли так, – отвечал генерал, – так изволь же рассказать барыне, как всё дело случилось, а я послушаю». Приказчик не мог опомниться. «Ну что же, – продолжал генерал, – рассказывай: где ты встретился с Дубровским?» – «У двух сосен, батюшка, у двух сосен». – «Что же сказал он тебе?» – «Он спросил у меня, чей ты, куда едешь и зачем?» – «Ну, а после?» – «А после потребовал он письмо и деньги». – «Ну». – «Я отдал ему письмо и деньги». – «А он?.. Ну – а он?» – «Батюшка, виноват». – «Ну, что ж он сделал?..» – «Он возвратил мне деньги и письмо да сказал: ступай себе с богом – отдай это на почту». – «Ну, а ты?» – «Батюшка, виноват». – «Я с тобою, голубчик, управлюсь, – сказал грозно генерал, – а вы, сударыня, прикажите обыскать сундук этого мошенника и отдайте его мне на руки, а я его проучу. Знайте, что Дубровский сам был гвардейским офицером, он не захочет обидеть товарища».

¹ Генерал Я.П. Кульнев – герой войны 1812 года.

Я догадывалась, кто был его превосходительство, нечего мне было с ним толковать. Кучера привязали приказчика к козлам коляски. Деньги нашли; генерал у меня отобедал, потом тотчас уехал и увез с собою приказчика. Приказчика моего нашли на другой день в лесу, привязанного к дубу и ободранного как липку.

Все слушали молча рассказ Анны Савишны, особенно барышни. Многие из них втайне ему доброжелательствовали, видя в нем героя романического, особенно Марья Кириловна, пылкая мечтательница, напитанная тайнственными ужасами Радклиф¹.

– И ты, Анна Савишна, полагаешь, что у тебя был сам Дубровский, – спросил Кирила Петрович. – Очень же ты ошиблась. Не знаю, кто был у тебя в гостях, а только не Дубровский.

– Как, батюшка, не Дубровский, да кто же, как не он, выедет на дорогу и станет останавливать прохожих да их осматривать.

– Не знаю, а уж, верно, не Дубровский. Я помню его ребенком; не знаю, почернели ль у него волосы, а тогда был он кудрявый белокуренький мальчик, но знаю наверное, что Дубровский пятью годами старше моей Маши и что, следственно, ему не тридцать пять, а около двадцати трех.

– Точно так, ваше превосходительство, – провозгласил исправник, – у меня в кармане и приметы Владимира Дубровского. В них точно сказано, что ему от роду двадцать третий год.

– А! – сказал Кирила Петрович, – кстати: прочти-ка, а мы послушаем; не худо нам знать его приметы, авось в глаза попадетсЯ, так не вывернется.

Исправник вынул из кармана довольно замаранный лист бумаги, развернул его с важностию и стал читать нараспев:

– «Приметы Владимира Дубровского, составленные по сказкам² бывших его дворовых людей.

От роду 23 года, *роста* среднего, *лицом* чист, *бороду* бреет, *глаза* имеет карие, *волосы* русые, *нос* прямой. *Приметы особые*: таковых не оказалось».

– И только, – сказал Кирила Петрович.

– Только, – отвечал исправник, складывая бумагу.

– Поздравляю, господин исправник. Ай да бумага! по этим приметам немудрено будет вам отыскать Дубровского. Да кто же не среднего роста, у кого не русые волосы, не прямой нос, да не карие глаза! Бьюсь об заклад, три часа сряду будешь говорить с самим Дубровским, а не догадаешься, с кем бог тебя свел. Нечего сказать, умные головушки приказные.

Исправник смиренно положил в карман свою бумагу и молча принялся за гуся с капустой. Между тем слуги успели уж несколько раз обойти гостей, наливая каждому его рюмку. Несколько бутылок горского и цимлянского³ громко были уже

¹ Анна Радклиф – английская писательница, автор нескольких опубликованных в конце XVIII века романов, которые были полны неожиданными сюжетными поворотами, злодействами и интригами.

² по сказкам – по рассказам.

³ Цимлянское – виноградное вино, названное по месту изготовления – донской станции Цимлянской.

откупорены и приняты благосклонно под именем шампанского¹, лица начинали рдеть, разговоры становились звонче, несвязнее и веселее.

– Нет, – продолжал Кирила Петрович, – уж не видать нам такого исправника, каков был покойник Тарас Алексеевич! Этот был не промах, не разиня. Жаль, что сожгли молодца, а то бы от него не ушел ни один человек изо всей шайки. Он бы всех до единого переловил, да и сам Дубровский не вывернулся б и не откупился. Тарас Алексеевич деньги с него взять-то бы взял, да и самого не выпустил: таков был обычай у покойника. Делать нечего, видно, мне вступить в это дело да пойти на разбойников с моими домашними. На первый случай отряжу человек двадцать, так они и очистят воровскую рощу; народ не трусливый, каждый в одиночку на медведя ходит, от разбойников не попятятся.

– Здоров ли ваш медведь, батюшка Кирила Петрович, – сказал Антон Пафнутьич, вспомя при сих словах о своем косматом знакомце и о некоторых шутках, коих и он был когда-то жертвою.

– Миша приказал долго жить, – отвечал Кирила Петрович. – Умер славною смертию, от руки неприятеля. Вон его победитель, – Кирила Петрович указывал на Дефоржа, – выменяй образ моего француза.² Он отомстил за твою... с позволения сказать... Помнишь?

– Как не помнить, – сказал Антон Пафнутьич почесываясь, – очень помню. Так Миша умер. Жаль Миши, ей-богу жаль! какой был забавник! какой умница! эдакого медведя другого не сыщешь. Да зачем мусье убил его?

Кирила Петрович с великим удовольствием стал рассказывать подвиг своего француза, ибо имел счастливую способность тщеславиться всем, что только ни окружало его. Гости со вниманием слушали повесть о Мишиной смерти и с изумлением посматривали на Дефоржа, который, не подозревая, что разговор шел о его храбрости, спокойно сидел на своем месте и делал нравственные замечания резвому своему воспитаннику.

Обед, продолжавшийся около трех часов, кончился; хозяин положил салфетку на стол – все встали и пошли в гостиную, где ожидал их кофей, карты и продолжение попойки, столь славно начатой в столовой.

ГЛАВА X.

Около семи часов вечера некоторые гости хотели ехать, но хозяин, развеселенный пуншем³, приказал запереть ворота и объявил, что до следующего утра никого со двора не выпустит. Скоро загрела музыка, двери в залу отворились, и бал завязался. Хозяин и его приближенные сидели в углу, выпивая стакан за стаканом и любуясь веселостию молодежи. Старушки играли в карты. Кавалеров, как и везде, где не квартирует какой-нибудь уланской бригады, было менее, нежели дам, все мужчины, годные на то, были завербованы. Учитель между всеми отличался, он танцевал

¹ В строгом смысле слова шампанским следует называть только игристые вина, произведенные во французском регионе Шампань.

² выменяй образ моего француза – то есть молись за него.

³ Пунш – напиток из рома или водки с добавлением сахара, чая и фруктовых приправ.

более всех, все барышни выбирали его и находили, что с ним очень ловко вальсировать. Несколько раз кружился он с Марьей Кириловною, и барышни насмешливо за ними примечали. Наконец около полуночи усталый хозяин прекратил танцы, приказал давать ужинать, а сам отправился спать.

Отсутствие Кирила Петровича придало обществу более свободы и живости. Кавалеры осмелились занять место подле дам. Девицы смеялись и перешептывались со своими соседями; дамы громко разговаривали через стол. Мужчины пили, спорили и хохотали, – словом, ужин был чрезвычайно весел и оставил по себе много приятных воспоминаний.

Один только человек не участвовал в общей радости: Антон Пафнутийч сидел пасмурен и молчалив на своем месте, ел рассеяннo и казался чрезвычайно беспокоен. Разговоры о разбойниках взволновали его воображение. Мы скоро увидим, что он имел достаточную причину их опасаться.

Антон Пафнутийч, призывая господа в свидетели в том, что красная шкатулка его была пуста, не лгал и не согрешал: красная шкатулка точно была пуста, деньги, некогда в ней хранимые, перешли в кожаную суму, которую носил он на груди под рубашкой. Сею только предосторожностью успокаивал он свою недоверчивость ко всем и вечную боязнь. Будучи принужден остаться ночевать в чужом доме, он боялся, чтоб не отвели ему ночлега где-нибудь в уединенной комнате, куда легко могли забраться воры, он искал глазами надежного товарища и выбрал наконец Дефоржа. Его наружность, обличающая силу, а пуще храбрость, им оказанная при встрече с медведем, о коем бедный Антон Пафнутийч не мог вспомнить без содрогания, решили его выбор. Когда встали из-за стола, Антон Пафнутийч стал вертеться около молодого француза, побрякивая и откашливаясь, и наконец обратился к нему с изъяснением.

– Гм, гм, нельзя ли, мусье, переночевать мне в вашей конурке, потому что извольте видеть...

– *Que désire monsieur?*¹ – спросил Дефорж, учтиво ему поклонившись.

– Эк беда, ты, мусье, по-русски еще не выучился. Же ве, муа, ше ву куше², понимаешь ли?

– *Monsieur, très volontiers*, – отвечал Дефорж, – *veuillez donner des ordres en conséquence*³.

Антон Пафнутийч, очень довольный своими сведениями во французском языке, пошел тотчас распоряжаться.

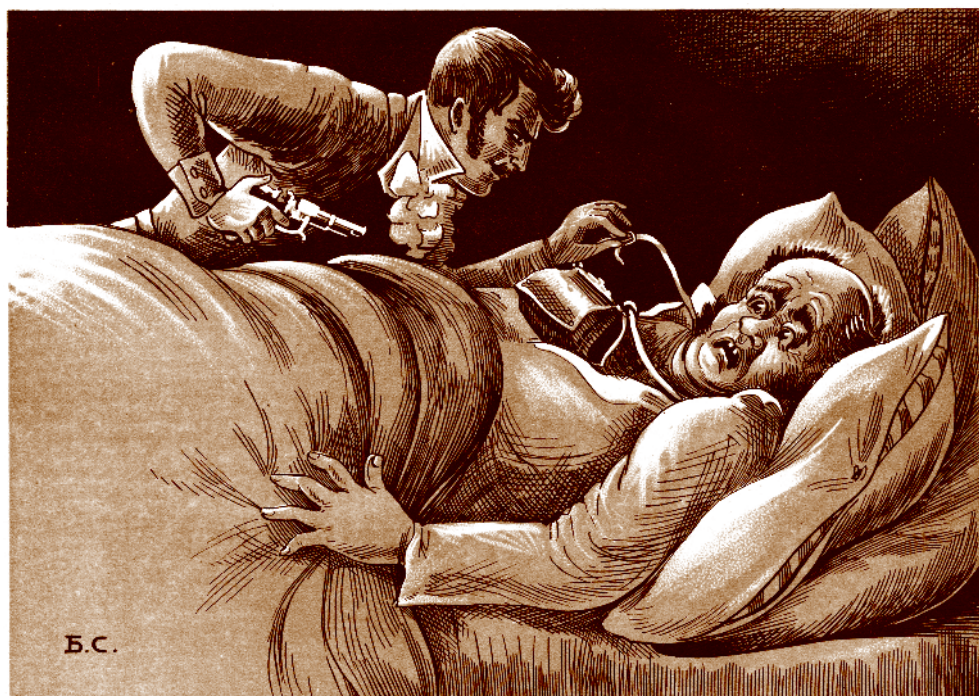
Гости стали прощаться между собою, и каждый отправился в комнату, ему назначенную. А Антон Пафнутийч пошел с учителем во флигель. Ночь была темная. Дефорж освещал дорогу фонарем, Антон Пафнутийч шел за ним довольно бодро, прижимая изредка к груди потаенную суму, дабы удостовериться, что деньги его еще при нем.

Пришед во флигель, учитель засветил свечу, и оба стали раздеваться; между тем Антон Пафнутийч похаживал по комнате, осматривая замки и окна и качая головою

¹ Чего изволите? (фр.).

² Я хочу спать у вас (фр.).

³ Сделайте одолжение, сударь, извольте соответственно распорядиться (фр.).



при сем неутешительном смотре. Двери запирались одною задвижкой, окна не имели еще двойных рам. Он попытался было жаловаться на то Дефоржу, но знания его во французском языке были слишком ограничены для столь сложного объяснения – француз его не понял, и Антон Пафнutyич принужден был оставить свои жалобы. Постели их стояли одна против другой, оба легли, и учитель потушил свечу.

– Пуркуа ву туше, пуркуа ву туше,¹ – закричал Антон Пафнutyич, спрягая с грехом пополам русский глагол *тушу* на французский лад. – Я не могу, дормир² в потемках. – Дефорж не понял его восклицаний и пожелал ему доброй ночи.

– Проклятый басурман³, – проворчал Спицын, закутываясь в одеяло. – Нужно ему было свечку тушить. Ему же хуже. Я спать не могу без огня. – Мусье, мусье, – продолжал он, – же ве авек ву парле.⁴ – Но француз не отвечал и вскоре захрапел.

«Храпит bestия француз, – подумал Антон Пафнutyич, – а мне так сон в ум нейдет. Того и гляди воры войдут в открытые двери или влезут в окно, а его, bestию, и пушками не добудешься».

– Мусье! а, мусье! дьявол тебя побери.

Антон Пафнutyич замолчал – усталость и винные пары мало-помалу превозмогли его боязливость, он стал дремать и вскоре глубокий сон овладел им совершенно.

Странное готовилось ему пробуждение. Он чувствовал, сквозь сон, что кто-то тихонько дергал его за ворот рубашки. Антон Пафнutyич открыл глаза и при лунном

¹ Зачем вы туше, зачем вы туше (фр.)?

² спать (фр.).

³ Басурман – иноземец, иноверец, не православный.

⁴ Я хочу с вами поговорить (фр.).

свете осеннего утра увидел перед собою Дефоржа; француз в одной руке держал карманный пистолет, другою отстегивал заветную суму, Антон Пафнутьич обмер.

– Кесь ке се, мусье, кесь ке се,¹ – произнес он трепещущим голосом.

– Тише, молчать, – отвечал учитель чистым русским языком, – молчать или вы пропали. Я Дубровский.

ГЛАВА XI.

Теперь попросим у читателя позволения объяснить последние происшествия повести нашей предыдущими обстоятельствами, кои не успели мы еще рассказать.

На станции** в доме смотрителя, о коем мы уже упомянули, сидел в углу проезжий с видом смиренным и терпеливым, обличающим разночинца² или иностранца, то есть человека, не имеющего голоса на почтовом тракте. Бричка его стояла на дворе, ожидая подмазки. В ней лежал маленький чемодан, тощее доказательство не весьма достаточного состояния. Проезжий не спрашивал себе ни чаю, ни кофию, поглядывал в окно и посвистывал к великому неудовольствию смотрительши, сидевшей за перегородкою.

– Вот бог послал свистуна, – говорила она вполголоса, – эк посвистывает, – чтоб он лопнул, окаянный басурман.

– А что? – сказал смотритель, – что за беда, пускай себе свищет.

– Что за беда? – возразила сердитая супруга. – А разве не знаешь приметы?

– Какой приметы? что свист деньгу выживает. И! Пахомовна, у нас, что свисти, что нет: а денег всё нет как нет.

– Да отпусти ты его, Сидорыч. Охота тебе его держать. Дай ему лошадей, да провались он к черту.

– Подождет, Пахомовна, на конюшне всего три тройки, четвертая отдыхает. Того и гляди подоспеют хорошие проезжие; не хочу своею шеей отвечать за француза. Чу, так и есть! вон скачут. Э-ге-ге, да как шибко; уж не генерал ли?

Коляска остановилась у крыльца. Слуга соскочил с козел, отпер дверцы, и через минуту молодой человек в военной шинели и в белой фуражке вошел к смотрителю, – вслед за ним слуга внес шкатулку и поставил ее на окошко.

– Лошадей, – сказал офицер повелительным голосом.

– Сейчас, – отвечал смотритель. – Пожалуйста подорожную.

– Нет у меня подорожной. Я еду в сторону... Разве ты меня не узнаешь?

Смотритель засуетился и кинулся торопить ямщиков. Молодой человек стал расхаживать взад и вперед по комнате, зашел за перегородку и спросил тихо у смотрительши: кто такой проезжий.

– Бог его ведает, – отвечала смотрительша, – какой-то француз. Вот уж пять часов как дожидается лошадей да свищет. Надоел проклятый.

Молодой человек заговорил с проезжим по-французски.

– Куда изволите вы ехать? – спросил он его.

¹ Что это, сударь, что это (фр.).

² Разночинец – человек, не принадлежащий в Российской империи к известным сословиям: дворянству, духовенству, купечеству.

– В ближний город, – отвечал француз, – оттуда отправляюсь к одному помещику, который нанял меня за глаза¹ в учителя. Я думал сегодня быть уже на месте, но господин смотритель, кажется, судил иначе. В этой земле трудно достать лошадей, господин офицер.

– А к кому из здешних помещиков определились вы? – спросил офицер.

– К господину Троекурову, – отвечал француз.

– К Троекурову? кто такой этот Троекуров?

– Ma foi, mon officier...² я слышал о нем мало доброго. Сказывают, что он барин гордый и своенравный, жестокой в обращении со своими домашними, что никто не может с ним ужиться, что все трепещут при его имени, что с учителями (avec les outchitels) он не церемонится и уже двух засек до смерти.

– Помилуйте! и вы решились определиться к такому чудовищу.

– Что ж делать, господин офицер. Он предлагает мне хорошее жалование, три тысячи рублей в год и всё готовое. Быть может, я буду счастливее других. У меня старушка мать, половину жалования буду отсылать ей на пропитание, из остальных денег в пять лет могу скопить маленький капитал, достаточный для будущей моей независимости – и тогда bonsoir³, еду в Париж и пускаюсь в коммерческие обороты.

– Знает ли вас кто-нибудь в доме Троекурова? – спросил он.

– Никто, – отвечал учитель, – меня он выписал из Москвы чрез одного из своих приятелей, коего повар, мой соотечественник, меня рекомендовал. Надобно вам знать, что я готовился было не в учителя, а в кондиторы, но мне сказали, что в вашей земле звание учительское не в пример выгоднее...

Офицер задумался.

– Послушайте, – прервал офицер, – что если бы вместо этой будущности предложили вам десять тысяч чистыми деньгами с тем, чтоб сей же час отправились обратно в Париж.

Француз посмотрел на офицера с изумлением, улыбнулся и покачал головою.

– Лошади готовы, – сказал вошедший смотритель. Слуга подтвердил то же самое.

– Сейчас, – отвечал офицер, – выдьте вон на минуту. – Смотритель и слуга вышли. – Я не шучу, – продолжал он по-французски, – десять тысяч могу я вам дать, мне нужно только ваше отсутствие и ваши бумаги. – При сих словах он отпер шкатулку и вынул несколько кип ассигнаций.

Француз вытаращил глаза. Он не знал, что и думать.

– Мое отсутствие... мои бумаги, – повторял он с изумлением. – Вот мои бумаги... Но вы шутите: зачем вам мои бумаги?

– Вам дела нет до того. Спрашиваю, согласны вы или нет?

Француз, всё еще не веря своим ушам, протянул бумаги свои молодому офицеру, который быстро их пересмотрел.

– Ваш паспорт... хорошо. Письмо рекомендательное, посмотрим. Свидетельство о рождении, прекрасно. Ну вот же вам ваши деньги, отправляйтесь назад. Прощайте...

¹ за глаза – заочно, предварительно не увидав.

² Право, господин офицер (фр.).

³ прощайте (фр.).

Француз стоял как вкопанный.

Офицер воротился.

– Я было забыл самое важное. Дайте мне честное слово, что всё это останется между нами, честное ваше слово.

– Честное мое слово, – отвечал француз. – Но мои бумаги, что мне делать без них.

– В первом городе объявите, что вы были ограблены Дубровским. Вам поверят и дадут нужные свидетельства. Прощайте, дай бог вам скорее доехать до Парижа и найти матушку в добром здравье.

Дубровский вышел из комнаты, сел в коляску и поскакал.

Смотритель смотрел в окошко, и когда коляска уехала, обратился к жене с восклицанием: «Пахомовна, знаешь ли ты что? ведь это был Дубровский».

Смотрительша опрометью кинулась к окошку, но было уже поздно: Дубровский был уже далеко. Она принялась бранить мужа:

– Бога ты не боишься, Сидорыч, зачем ты не сказал мне того прежде, я бы хоть взглянула на Дубровского, а теперь жди, чтоб он опять завернул. Бессовестный ты, право, бессовестный!

Француз стоял как вкопанный. Договор с офицером, деньги, всё казалось ему сновидением. Но кипы ассигнаций были тут, у него в кармане, и красноречиво твердили ему о существенности удивительного происшествия.

Он решился нанять лошадей до города. Ямщик повез его шагом и ночью дотащился он до города.

Не доезжая до заставы, у которой вместо часового стояла развалившаяся будка, француз велел остановиться, вылез из брички и пошел пешком, объяснив знаками ямщику, что бричку и чемодан дарит ему на водку. Ямщик был в таком же изумлении от его щедрости, как и сам француз от предложения Дубровского. Но, заключив из того, что немец сошел с ума, ямщик поблагодарил его усердным поклоном и, не рассудив за благо въехать в город, отправился в известное ему увеселительное заведение, коего хозяин был весьма ему знаком. Там провел он целую ночь, а на другой день утром на порожней тройке отправился восвояси без брички и без чемодана, с пухлым лицом и красными глазами.

Дубровский, овладев бумагами француза, смело явился, как мы уже видели, к Трокурову и поселился в его доме. Каковы ни были его тайные намерения (мы их узнаем после), но в его поведении не оказалось ничего предосудительного. Правда, он мало занимался воспитанием маленького Саши, давал ему полную свободу повесничать и не строго взыскивал за уроки, задаваемые только для формы – зато с большим прилежанием следил за музыкальными успехами своей ученицы и часто по целым часам сиживал с нею за фортепьяно. Все любили молодого учителя, Кирила Петрович – за его смелое проворство на охоте, Марья Кириловна – за неограниченное усердие и робкую внимательность, Саша – за снисходительность к его шалостям, домашние – за доброту и за щедрость, по-видимому несовместную с его состоянием. Сам он, казалось, привязан был ко всему семейству и почитал уже себя членом оногo.

Прошло около месяца от его вступления в звание учительское до достопамятного праздника, и никто не подозревал, что в скромном молодом французе таился грозный разбойник, коего имя навредило ужас на всех окрестных владельцев. Во всё это время Дубровский не отлучался из Покровского, но слух о разбоях его не утихал

благодаря изобретательному воображению сельских жителей, но могло стать и то, что шайка его продолжала свои действия и в отсутствие начальника.

Ночуя в одной комнате с человеком, коего мог он почесть личным своим врагом и одним из главных виновников его бедствия, Дубровский не мог удержаться от искушения. Он знал о существовании сумки и решился ею завладеть. Мы видели, как изумил он бедного Антона Пафнутьича неожиданным своим превращением из учителей в разбойники.

В девять часов утра гости, ночевавшие в Покровском, собрались один за другим в гостиную, где кипел уже самовар, перед которым в утреннем платье сидела Марья Кириловна, а Кирила Петрович в байковом сертуке и в туфлях выпивал свою широкую чашку, похожую на полоскательную. Последним явился Антон Пафнутьич; он был так бледен и казался так расстроен, что вид его всех поразил и что Кирила Петрович осведомился о его здравии. Спицын отвечал безо всякого смысла и с ужасом поглядывал на учителя, который тут же сидел, как ни в чем не бывало. Через несколько минут слуга вошел и объявил Спицыну, что коляска его готова; Антон Пафнутьич спешил откланяться и несмотря на увещания хозяина вышел поспешно из комнаты и тотчас уехал. Не понимали, что с ним сделалось, и Кирила Петрович решил, что он объелся. После чаю и прощального завтрака прочие гости начали разъезжаться, вскоре Покровское опустело, и всё вошло в обыкновенный порядок.

ГЛАВА XII.

Прошло несколько дней, и не случилось ничего достопримечательного. Жизнь обитателей Покровского была однообразна. Кирила Петрович ежедневно выезжал на охоту; чтение, прогулки и музыкальные уроки занимали Марью Кириловну – особенно музыкальные уроки. Она начинала понимать собственное сердце и признавалась, с невольной досадою, что оно не было равнодушно к достоинствам молодого француза. Он, с своей стороны, не выходил из пределов почтения и строгой пристойности и тем успокаивал ее гордость и боязливые сомнения. Она с большей и большей доверчивостью предавалась увлекательной привычке. Она скучала без Дефоржа, в его присутствии поминутно занималась им, обо всем хотела знать его мнение и всегда с ним соглашалась. Может быть, она не была еще влюблена, но при первом случайном препятствии или незапном гонении судьбы пламя страсти должно было вспыхнуть в ее сердце.

Однажды, пришед в залу, где ожидал ее учитель, Марья Кириловна с изумлением заметила смущение на бледном его лице. Она открыла фортепьяно, пропела несколько нот, но Дубровский под предлогом головной боли извинился, перервал урок и, закрывая ноты, подал ей украдкой записку. Марья Кириловна, не успев одуматься, приняла ее и раскаялась в ту же минуту, но Дубровского не было уже в зале. Марья Кириловна пошла в свою комнату, развернула записку и прочла следующее:

«Будьте сегодня в 7 часов в беседке у ручья. Мне необходимо с вами говорить».

Любопытство ее было сильно возбуждено. Она давно ожидала признания, желая и опасаясь его. Ей приятно было бы услышать подтверждение того, о чем она догадывалась, но она чувствовала, что ей было бы неприлично слышать такое объяснение от человека, который по состоянию своему не мог надеяться когда-нибудь получить ее руку.

Она решилась идти на свидание, но колебалась в одном: каким образом примет она признание учителя, с аристократическим ли негодованием, с увещаниями ли дружбы, с веселыми шутками или с безмолвным участием. Между тем она поминутно поглядывала на часы. Смеркалось, подали свечи, Кирила Петрович сел играть в бостон¹ с приезжими соседями. Столовые часы пробили третью четверть седьмого, и Марья Кириловна тихонько вышла на крыльцо, огляделась во все стороны и побежала в сад.

Ночь была темна, небо покрыто тучами – в двух шагах от себя нельзя было ничего видеть, но Марья Кириловна шла в темноте по знакомым дорожкам и через минуту очутилась у беседки; тут остановилась она, дабы перевести дух и явиться перед Дефоржем с видом равнодушным и неторопливым. Но Дефорж стоял уже перед нею.

– Благодарю вас, – сказал он ей тихим и печальным голосом, – что вы не отказали мне в моей просьбе. Я был бы в отчаянии, если бы на то не согласились.

Марья Кириловна отвечала заготовленную фразой:

– Надеюсь, что вы не заставите меня раскаяться в моей снисходительности.

Он молчал и, казалось, собирался с духом.

– Обстоятельства требуют... я должен вас оставить, – сказал он наконец, – вы скоро, может быть, услышите... Но перед разлукой я должен с вами сам объясниться...

Марья Кириловна не отвечала ничего. В этих словах видела она предисловие к ожидаемому признанию.

– Я не то, что вы предполагаете, – продолжал он, потупя голову, – я не француз Дефорж, я Дубровский.

Марья Кириловна вскрикнула.

– Не бойтесь, ради бога, вы не должны бояться моего имени. Да, я тот несчастный, которого ваш отец лишил куска хлеба, выгнал из отеческого дома и послал грабить на больших дорогах. Но вам не надобно меня бояться – ни за себя, ни за него. Всё кончено. Я ему простил. Послушайте, вы спасли его. Первый мой кровавый подвиг должен был свершиться над ним. Я ходил около его дома, назначая, где вспыхнуть пожару, откуда войти в его спальню, как пересечь ему все пути к бегству – в ту минуту вы прошли мимо меня, как небесное видение, и сердце мое смирилось. Я понял, что дом, где обитаете вы, священ, что ни единое существо, связанное с вами узами крови, не подлежит моему проклятию. Я отказался от мщения, как от безумства. Целые дни я бродил около садов Покровского в надежде увидеть издали ваше белое платье. В ваших неосторожных прогулках я следовал за вами, прокрадываясь от куста к кусту, счастливый мыслию, что вас охраняю, что для вас нет опасности там, где я присутствую тайно. Наконец случай представился. Я поселился в вашем доме. Эти три недели были для меня днями счастья. Их воспоминание будет отрадою печальной моей жизни... Сегодня я получил известие, после которого мне невозможно долее здесь оставаться. Я расстаюсь с вами сегодня... сей же час... Но прежде я должен был вам открыться, чтоб вы не проклинали меня, не презирали. Думайте иногда о Дубровском. Знайте, что он рожден был для иного назначения, что душа его умела вас любить, что никогда...

Тут раздался легкий свист – и Дубровский умолк. Он схватил ее руку и прижал к пылающим устам. Свист повторился.

¹ Бостон – старинная карточная игра.



– Простите, – сказал Дубровский, – меня зовут, минута может погубить меня. – Он отошел, Марья Кириловна стояла неподвижно, Дубровский воротился и снова взял ее руку.

– Если когда-нибудь, – сказал он ей нежным и трогательным голосом, – если когда-нибудь несчастье вас постигнет и вы ни от кого не будете ждать ни помощи, ни покровительства, в таком случае обещаетесь ли вы прибегнуть ко мне, требовать от меня всего – для вашего спасения? Обещаетесь ли вы не отвергнуть моей преданности?

Марья Кириловна плакала молча. Свист раздался в третий раз.

– Вы меня губите! – закричал Дубровский. – Я не оставляю вас, пока не дадите мне ответа – обещаетесь ли вы или нет?

– Обещаю, – прошептала бедная красавица.

Взволнованная свиданием с Дубровским, Марья Кириловна возвращалась из сада. Ей показалось, что все люди разбегаются, дом был в движении, на дворе было много народа, у крыльца стояла тройка, издали услышала она голос Кирила Петровича и спешила войти в комнаты, опасаясь, чтоб отсутствие ее не было замечено. В зале встретил ее Кирила Петрович, гости окружали исправника, нашего знакомого, и осыпали его вопросами. Исправник в дорожном платье, вооруженный с ног до головы, отвечал им с видом таинственным и суетливым.

– Где ты была, Маша, – спросил Кирила Петрович, – не встретила ли ты м-г Дефоржа? – Маша насилу могла отвечать отрицательно.

– Вообрази, – продолжал Кирила Петрович, – исправник приехал его схватить и уверяет меня, что это сам Дубровский.

– Все приметы, ваше превосходительство, – сказал почтительно исправник.

– Эх, братец, – прервал Кирила Петрович, – убирайся, знаешь куда, со своими приметами. Я тебе моего француза не выдам, покамест сам не разберу дела. Как можно верить на слово Антону Пафнутьичу, трусу и лгуну: ему пригрезилось, что учитель хотел ограбить его. Зачем он в то же утро не сказал мне о том ни слова?

– Француз застрашал его, ваше превосходительство, – отвечал исправник, – и взял с него клятву молчать...

– Вранье, – решил Кирила Петрович, – сейчас я всё выведу на чистую воду. – Где же учитель? – спросил он у вошедшего слуги.

– Нигде не найдут-с, – отвечал слуга.

– Так сыскать его, – закричал Троекуров, начинающий сомневаться. – Покажи мне твои хваленые приметы, – сказал он исправнику, который тотчас и подал ему бумагу. – Гм, гм, двадцать три года... Оно так, да это еще ничего не доказывает. Что же учитель?

– Не найдут-с, – был опять ответ. Кирила Петрович начинал беспокоиться, Марья Кириловна была ни жива ни мертва.

– Ты бледна, Маша, – заметил ей отец, – тебя перепугали.

– Нет, папенька, – отвечала Маша, – у меня голова болит.

– Поди, Маша, в свою комнату и не беспокойся. – Маша поцеловала у него руку и ушла скорее в свою комнату, там она бросилась на постелю и зарыдала в истерическом припадке. Служанки сбегались, раздели ее, насилу-насилу успели ее успокоить холодной водой и всевозможными спиртами, ее уложили, и она впала в усыпление.

Между тем француза не находили. Кирила Петрович ходил взад и вперед по залу, грозно насвистывая «Гром победы раздавайся». Гости шептались между собою,

исправник казался в дураках, француза не нашли. Вероятно, он успел скрыться, быв предупрежден. Но кем и как? это оставалось тайною.

Било одиннадцать, и никто не думал о сне. Наконец Кирила Петрович сказал сердито исправнику:

– Ну что? ведь не до свету же тебе здесь оставаться, дом мой не харчевня, не с твоим проворством, братец, поймать Дубровского, если уж это Дубровский. Отправляйся-ка восвояси да вперед будь расторопнее. Да и вам пора домой, – продолжал он, обратясь к гостям. – Велите закладывать, а я хочу спать.

Так немилостиво расстался Троекуров со своими гостями!

ГЛАВА XIII.

Прошло несколько времени без всякого замечательного случая. Но в начале следующего лета произошло много перемен в семейном быту Кирила Петровича.

В 30-ти верстах от него находилось богатое поместье князя Верейского. Князь долгое время находился в чужих краях, всем имением его управлял отставной майор, и никакого сношения не существовало между Покровским и Арбатовым. Но в конце мая месяца князь возвратился из-за границы и приехал в свою деревню, которой отроду еще не видал. Привыкнув к рассеянности, он не мог вынести уединения и на третий день по своем приезде отправился обедать к Троекурову, с которым был некогда знаком.

Князю было около пятидесяти лет, но он казался гораздо старше. Излишества всякого рода изнурили его здоровье и положили на нем свою неизгладимую печать. Несмотря на то, наружность его была приятна, замечательна, а привычка быть всегда в обществе придавала ему некоторую любезность, особенно с женщинами. Он имел непрестанную нужду в рассеянии и непрестанно скучал. Кирила Петрович был чрезвычайно доволен его посещением, приняв оное знаком уважения от человека, знающего свет; он по обыкновению своему стал угощать его смотром своих заведений и повел на псарный двор. Но князь чуть не задохся в собачьей атмосфере и спешил выйти вон, зажимая нос платком, опрысканным духами. Старинный сад с его стриженными липами, четверугольным прудом и правильными аллеями ему не понравился; он любил английские сады¹ и так называемую природу, но хвалил и восхищался; слуга пришел доложить, что кушание поставлено. Они пошли обедать. Князь прихрамывал, устав от своей прогулки и уже раскаиваясь в своем посещении.

Но в зале встретила их Марья Кириловна, и старый волокита был поражен ее красотой. Троекуров посадил гостя подле ее. Князь был оживлен ее присутствием, был весел и успел несколько раз привлечь ее внимание любопытными своими рассказами. После обеда Кирила Петрович предложил ехать верхом, но князь извинился, указывая на свои бархатные сапоги и шутя над своею подагрой; он предпочел прогулку в линейке², с тем чтоб не разлучаться с милою своею соседкою. Линейку заложили. Старики и красавица сели втроем и поехали. Разговор не прерывался. Марья Кириловна с удовольствием слушала льстивые и веселые приветствия светского человека,

¹ Английский парк или сад своей свободной планировкой имитирует природу.

² Линейка – открытый экипаж с несколькими местами.

как вдруг Верейский, обратясь к Кирилу Петровичу, спросил у него, что значит это погорелое строение и ему ли оно принадлежит?... Кирила Петрович нахмурился; воспоминания, возбуждаемые в нем погорелой усадьбою, были ему неприятны. Он отвечал, что земля теперь его и что прежде принадлежала она Дубровскому.

– Дубровскому, – повторил Верейский, – как, этому славному разбойнику?

– Отцу его, – отвечал Троекуров, – да и отец-то был порядочный разбойник.

– Куда же девался наш Ринальдо¹? жив ли он, схвачен ли он?

– И жив и на воле, и покамест у нас будут исправники заодно с ворами, до тех пор не будет он пойман; кстати, князь, Дубровский побывал ведь у тебя в Арбатове?

– Да, прошлого году он, кажется, что-то сжег или разграбил... Не правда ли, Марья Кириловна, что было бы любопытно познакомиться покороче с этим романтическим героем?

– Чего любопытно! – сказал Троекуров, – она знакома с ним: он целые три недели учил ее музыки, да слава богу не взял ничего за уроки. – Тут Кирила Петрович начал рассказывать повесть о своем французе-учителе. Марья Кириловна сидела как на иголках, Верейский выслушал с глубоким вниманием, нашел все это очень странным и переменил разговор. Возвратясь, он велел подавать свою карету и, несмотря на усиленные просьбы Кирила Петровича остаться ночевать, уехал тотчас после чаю. Но прежде просил Кирила Петровича приехать к нему в гости с Марьей Кириловной – и гордый Троекуров обещался, ибо, взяв в уважение княжеское достоинство, две звезды² и 3000 душ родового имения, он до некоторой степени почитал князя Верейского себе равным.

Два дня спустя после сего посещения Кирила Петрович отправился с дочерью в гости к князю Верейскому. Подъезжая к Арбатову, он не мог не любоваться чистыми и веселыми избами крестьян и каменным господским домом, выстроенным во вкусе английских замков. Перед домом расстился густо-зеленый луг, на коем паслись швейцарские коровы, звеня своими колокольчиками. Просторный парк окружал дом со всех сторон. Хозяин встретил гостей у крыльца и подал руку молодой красавице. Они вошли в великолепную залу, где стол был накрыт на три прибора. Князь подвел гостей к окну, и им открылся прелестный вид. Волга протекала перед окнами, по ней шли нагруженные барки под натянутыми парусами и мелькали рыбацьи лодки, столь выразительно прозванные душегубками³. За рекою тянулись холмы и поля, несколько деревень оживляли окрестность. Потом они занялись рассмотрением галерей картин, купленных князем в чужих краях. Князь объяснял Марье Кириловне их различное содержание, историю живописцев, указывал на достоинства и недостатки. Он говорил о картинах не на условленном языке педантического знатока, но с чувством и воображением. Марья Кириловна слушала его с удовольствием. Пошли за стол. Троекуров отдал полную справедливость винам своего Амфитриона⁴.

¹ Ринальдо – главный герой романа немецкого писателя Кристиана Вульпиуса «Ринальдо Ринальдини, атаман разбойников».

² То есть был кавалером двух орденов; звезда – знак ордена Андрея Первозванного, Святого Владимира и некоторых других орденов.

³ Душегубками называли узкие лодки за их опасную неустойчивость.

⁴ Амфитрион – царь древних Микен; благодаря щедрому гостеприимству его имя стало нарицательным.



и искусству его повара, а Марья Кириловна не чувствовала ни малейшего замешательства или принуждения в беседе с человеком, которого видела она только во второй раз отроду. После обеда хозяин предложил гостям пойти в сад. Они пили кофей в беседке на берегу широкого озера, усеянного островами. Вдруг раздалась духовая музыка, и шестивесельная лодка причалила к самой беседке. Они поехали по озеру, около островов, посещали некоторые из них, на одном находили мраморную статую, на другом уединенную пещеру, на третьем памятник с таинственной надписью, возбуждавшей в Марье Кириловне девическое любопытство, не вполне удовлетворенное учтивыми недомолвками князя; время прошло незаметно, начало смеркаться. Князь под предлогом свежести и росы спешил возвратиться домой; самовар их ожидал. Князь просил Марью Кириловну хозяйничать в доме старого холостяка. Она разливала чай, слушая неистощимые рассказы любезного говоруна; вдруг раздался выстрел и ракетка осветила небо. Князь подал Марье Кириловне шаль и позвал ее

и Троекурова на балкон. Перед домом в темноте разноцветные огни вспыхнули, завертелись, поднялись вверх колосьями, пальмами, фонтанами, посыпались дождем, звездами, угасали и снова вспыхивали. Марья Кириловна веселилась как дитя. Князь Верейский радовался ее восхищению, а Троекуров был чрезвычайно им доволен, ибо принимал *tous les frais*¹ князя, как знаки уважения и желания ему угодить.

Ужин в своем достоинстве ничем не уступал обеду. Гости отправились в комнаты, для них отведенные, и на другой день поутру расстались с любезным хозяином, дав друг другу обещание вскоре снова увидеться.

ГЛАВА XIV.

Марья Кириловна сидела в своей комнате, вышивая в пяльцах, перед открытым окошком. Она не путалась шелками, подобно любовнице Конрада², которая в любовной рассеянности вышила розу зеленым шелком. Под ее иглой канва повторяла безошибочно узоры подлинника, несмотря на то ее мысли не следовали за работой, они были далеко.

Вдруг в окошко тихонько протянулась рука, кто-то положил на пяльцы письмо и скрылся, прежде чем Марья Кириловна успела образумиться. В это самое время слуга к ней вошел и позвал ее к Кирилу Петровичу. Она с трепетом спрятала письмо за козынку и поспешила к отцу в кабинет.

Кирила Петрович был не один. Князь Верейский сидел у него. При появлении Марьи Кириловны князь встал и молча поклонился ей с замешательством для него необыкновенным.

– Подойди сюда, Маша, – сказал Кирила Петрович, – скажу тебе новость, которая, надеюсь, тебя обрадует. Вот тебе жених, князь тебя сватает.

Маша остоленела, смертная бледность покрыла ее лицо. Она молчала. Князь к ней подошел, взял ее руку и с видом тронутым спросил: согласна ли она сделать его счастье. Маша молчала.

– Согласна, конечно, согласна, – сказал Кирила Петрович, – но знаешь, князь: девушке трудно выговорить это слово. Ну, дети, поцелуйтесь и будьте счастливы.

Маша стояла неподвижно, старый князь поцеловал ее руку, вдруг слезы побежали по ее бледному лицу. Князь слегка нахмурился.

– Пошла, пошла, пошла, – сказал Кирила Петрович, – осуши свои слезы и воротись к нам веселешенька. Они все плачут при помолвке, – продолжал он, обратясь к Верейскому, – это у них уж так заведено... Теперь, князь, поговорим о деле, то есть о приданом.

Марья Кириловна жадно воспользовалась позволением удалиться. Она побежала в свою комнату, заперлась и дала волю своим слезам, воображая себя женою старого князя; он вдруг показался ей отвратительным и ненавистным... брак пугал ее как плаха, как могила... «Нет, нет, – повторяла она в отчаянии, – лучше умереть, лучше в монастырь, лучше пойду за Дубровского». Тут она вспомнила о письме и жадно

¹ все расходы (фр.).

² В романе А. Мицкевича «Конрад Валленрод» описано, как любовница главного героя в задумчивости вышила розу зелеными нитками, а листья – красными.



бросилась его читать, предчувствуя, что оно было от него. В самом деле оно было писано им, и заключало только следующие слова:

«Вечером в 10 час. на прежнем месте».

ГЛАВА XV.

Луна сияла, июльская ночь была тиха, изредка подымался ветерок, и легкий шорох пробегал по всему саду.

Как легкая тень, молодая красавица приблизилась к месту назначенного свидания. Еще никого не было видно, вдруг из-за беседки очутился Дубровский перед нею.

– Я всё знаю, – сказал он ей тихим и печальным голосом. – Вспомните ваше обещание.

– Вы предлагаете мне свое покровительство, – отвечала Маша, – но не сердитесь: оно пугает меня. Каким образом окажете вы мне помочь?

– Я бы мог избавить вас от ненавистного человека.

– Ради бога, не трогайте его, не смейте его тронуть, если вы меня любите – я не хочу быть виною какого-нибудь ужаса...

– Я не трону его, воля ваша для меня священна. Вам обязан он жизнью. Никогда злодейство не будет совершено во имя ваше. Вы должны быть чисты даже и в моих преступлениях. Но как же спасу вас от жестокого отца?

– Еще есть надежда. Я надеюсь тронуть его моими слезами и отчаянием. Он упрям, но он так меня любит.

– Не надейтесь по-пустому: в этих слезах увидит он только обыкновенную боязливость и отвращение, общее всем молодым девушкам, когда идут они замуж не по страсти, а из благоразумного расчета; что если возьмет он себе в голову сделать счастье ваше вопреки вас самих; если насильно повезут вас под венец, чтоб навеки предать судьбу вашу во власть старого мужа?..

– Тогда, тогда делать нечего, явитесь за мною – я буду вашей женою.

Дубровский затрепетал, бледное лицо покрылось багровым румянцем и в ту же минуту стало бледнее прежнего. Он долго молчал, потупя голову.

– Соберитесь с всеми силами души, умоляйте отца, бросьтесь к его ногам, представьте ему весь ужас будущего, вашу молодость, увядающую близ хилого и развратного старика, решитесь на жестокое объяснение: скажите, что если он останется неумолим, то... то вы найдете ужасную защиту... скажите, что богатство не доставит вам ни одной минуты счастья; роскошь утешает одну бедность, и то с непривычки на одно мгновение; не отставайте от него, не пугайтесь ни его гнева, ни угроз, пока останется хоть тень надежды, ради бога, не отставайте. Если ж не будет уже другого средства...

Тут Дубровский закрыл лицо руками, он, казалось, задыхался – Маша плакала...

– Бедная, бедная моя участь, – сказал он, горько вздохнув. – За вас отдал бы я жизнь, видеть вас издали, коснуться руки вашей было для меня упоением. И когда открывается для меня возможность прижать вас к волнуемому сердцу и сказать: ангел, умрем! бедный, я должен остерегаться от блаженства, я должен отдалять его всеми силами... Я не смею пасть к вашим ногам, благодарить небо за непонятную незаслуженную награду. О, как должен я ненавидеть того – но чувствую, теперь в сердце моем нет места ненависти.

Он тихо обнял стройный ее стан и тихо привлек ее к своему сердцу. Доверчиво склонила она голову на плечо молодого разбойника. Оба молчали.

Время летело. «Пора», – сказала наконец Маша. Дубровский как будто очнулся от усыпления. Он взял ее руку и надел ей на палец кольцо.

– Если решитесь прибегнуть ко мне, – сказал он, – то принесите кольцо сюда, опустите его в дупло этого дуба, я буду знать, что делать.

Дубровский поцеловал ее руку и скрылся между деревьями.

ГЛАВА XVI.

Сватовство князя Верейского не было уже тайною для соседства – Кирила Петрович принимал поздравления, свадьба готовилась. Маша день ото дня отлагала решительное объявление. Между тем обращение ее со старым женихом было холодно и принужденно. Князь о том не заботился. Он о любви не хлопотал, довольный ее безмолвным согласием.

Но время шло. Маша наконец решилась действовать – и написала письмо князю Верейскому; она старалась возбудить в его сердце чувство великодушия, откровенно признавалась, что не имела к нему ни малейшей привязанности, умоляла его отказаться от ее руки и самому защитить ее от власти родителя. Она тихонько вручила письмо князю Верейскому, тот прочел его наедине и нимало не был тронут откровенностью своей невесты. Напротив, он увидел необходимость ускорить свадьбу и для того почел нужным показать письмо будущему тестю.

Кирила Петрович взбесился; насилу князь мог уговорить его не показывать Маше и виду, что он уведомлен о ее письме. Кирила Петрович согласился ей о том не говорить, но решился не тратить времени и назначил быть свадьбе на другой же день. Князь нашел сие весьма благоразумным, пошел к своей невесте, сказал ей, что письмо очень его опечалило, но что он надеется со временем заслужить ее привязанность, что мысль ее лишиться слишком для него тяжела и что он не в силах согласиться на свой смертный приговор. За сим он почтительно поцеловал ее руку и уехал, не сказав ей ни слова о решении Кирила Петровича.

Но едва успел он выехать со двора, как отец ее вошел и напрямик велел ей быть готовой на завтрашний день. Марья Кириловна, уже взволнованная объяснением князя Верейского, залилась слезами и бросилась к ногам отца.

– Папенька, – закричала она жалобным голосом, – папенька, не губите меня, я не люблю князя, я не хочу быть его женою...

– Это что значит, – сказал грозно Кирила Петрович, – до сих пор ты молчала и была согласна, а теперь, когда всё решено, ты вздумала капризничать и отречься. Не изволь дурачиться; этим со мною ты ничего не выиграешь.

– Не губите меня, – повторяла бедная Маша, – за что гоните меня от себя прочь и отдаете человеку нелюбимому, разве я вам надоела, я хочу остаться с вами по-прежнему. Папенька, вам без меня будет грустно, еще грустнее, когда подумаете, что я несчастлива, папенька: не принуждайте меня, я не хочу идти замуж...

Кирила Петрович был тронут, но скрыл свое смущение и, оттолкнув ее, сказал сурово:

– Всё это вздор, слышишь ли. Я знаю лучше твоего, что нужно для твоего счастья. Слезы тебе не помогут, послезавтра будет твоя свадьба.

– Послезавтра! – вскрикнула Маша, – боже мой! Нет, нет, невозможно, этому не быть. Папенька, послушайте, если уже вы решились погубить меня, то я найду защитника, о котором вы и не думаете, вы увидите, вы ужаснетесь, до чего вы меня довели.

– Что? что? – сказал Троекуров, – угрозы! мне угрозы, дерзкая девчонка! Да знаешь ли ты, что я с тобою сделаю то, чего ты и не воображаешь. Ты смеешь меня страшать защитником. Посмотрим, кто будет этот защитник.

– Владимир Дубровский, – отвечала Маша в отчаянии.

Кирила Петрович подумал, что она сошла с ума, и глядел на нее с изумлением.

– Добро, – сказал он ей после некоторого молчания, – жди себе кого хочешь в избавители, а покамест сиди в этой комнате, ты из нее не выдешь до самой свадьбы. – С этим словом Кирила Петрович вышел и запер за собою двери.

Долго плакала бедная девушка, воображая всё, что ожидало ее, но бурное объяснение облегчило ее душу, и она спокойнее могла рассуждать о своей участи и о том, что надлежало ей делать. Главное было для нее: избавиться от ненавистного брака; участь супруги разбойника казалась для нее раем в сравнении со жребием, ей уготовленным. Она взглянула на кольцо, оставленное ей Дубровским. Пламенно желала она с ним увидаться наедине и еще раз перед решительной минутой долго посоветоваться. Предчувствие сказывало ей, что вечером найдет она Дубровского в саду близ беседки; она решилась пойти ожидать его там, как только станет смеркаться. Смерклось. Маша приготовилась, но дверь ее заперта на ключ. Горничная отвечала ей из-за двери, что Кирила Петрович не приказал ее выпускать. Она была под арестом. Глубоко оскорбленная, она села под окошко и до глубокой ночи сидела не раздеваясь, неподвижно глядя на темное небо. На рассвете она задремала, но тонкий сон ее был встревожен печальными видениями, и лучи восходящего солнца уже разбудили ее.

ГЛАВА XVII.

Она проснулась, и с первой мыслью представился ей весь ужас ее положения. Она позвонила, девка вошла и на вопросы ее отвечала, что Кирила Петрович вечером ездил в Арбатове и возвратился поздно, что он дал строгое приказание не выпускать ее из ее комнаты и смотреть за тем, чтоб никто с нею не говорил, что, впрочем, не видно никаких особенных приготовлений к свадьбе, кроме того, что велено было попу не отлучаться из деревни ни под каким предлогом. После сих известий девка оставила Марью Кириловну и снова заперла двери.

Ее слова ожесточили молодую затворницу – голова ее кипела, кровь волновалась, она решилась дать знать обо всем Дубровскому и стала искать способа отправить кольцо в дупло заветного дуба; в это время камушек ударился в окно ее, стекло зазвенело – и Марья Кириловна взглянула на двор и увидела маленького Сашу, делающего ей тайные знаки. Она знала его привязанность и обрадовалась ему. Она отворила окно.

– Здравствуй, Саша, – сказала она, – зачем ты меня зовешь?

– Я пришел, сестрица, узнать от вас, не надобно ли вам чего-нибудь. Папенька сердит и запретил всему дому вас слушаться, но велите мне сделать, что вам угодно, и я для вас всё сделаю.

– Спасибо, милый мой Сашенька, слушай: ты знаешь старый дуб с дуплом, что у беседки?

– Знаю, сестрица.

– Так если ты меня любишь, сбегай туда поскорей и положи в дупло вот это кольцо, да смотри же, чтоб никто тебя не видал.

С этим словом она бросила ему кольцо и заперла окошко.

Мальчик поднял кольцо, во весь дух пустился бежать – и в три минуты очутился у заветного дерева. Тут он остановился, задыхаясь, оглянулся во все стороны и положил колечко в дупло. Окончив дело благополучно, хотел он тот же час донести о том Марье Кириловне, как вдруг рыжий и косой, оборванный мальчишка мелькнул из-за беседки, кинулся к дубу и запустил руку в дупло. Саша быстрее белки бросился к нему и зацепился за его обеими руками.

– Что ты здесь делаешь? – сказал он грозно.

– Тебе како дело? – отвечал мальчишка, стараясь от него освободиться.

– Оставь это кольцо, рыжий заяц, – кричал Саша, – или я проучу тебя по-свойски.

Вместо ответа тот ударил его кулаком по лицу, но Саша его не выпустил и закричал во всё горло: «Воры, воры – сюда, сюда...»

Мальчишка силился от него отделаться. Он был, по-видимому, двумя годами старше Саши и гораздо его сильнее, но Саша был увертливее. Они боролись несколько минут, наконец рыжий мальчик одолел. Он повалил Сашу наземь и схватил его за горло.

Но в это время сильная рука вцепилась в его рыжие и щетинистые волосы, и садовник Степан приподнял его на пол-аршина¹ от земли...

– Ах, ты, рыжая бестия, – говорил садовник, – да как ты смеешь бить маленького барина...

Саша успел вскочить и оправиться.

– Ты меня схватил под силки,² – сказал он, – а то бы никогда меня не повалил. Отдай сейчас кольцо и убирайся.

– Как не так, – отвечал рыжий и, вдруг перевернувшись на одном месте, освободил свои щетины от руки Степановой. Тут он пустился было бежать, но Саша догнал его, толкнул в спину, и мальчишка упал со всех ног, садовник снова его схватил и связал кушаком.

– Отдай кольцо! – кричал Саша.

– погоди, барин, – сказал Степан, – мы сведем его на расправу к приказчику.

Садовник повел пленника на барский двор, а Саша его сопровождал, с беспокойством поглядывая на свои шаровары, разорванные и замаранные зеленью. Вдруг все трое очутились перед Кирилом Петровичем, идущим осматривать свою конюшню.

– Это что? – спросил он Степана.

Степан в коротких словах описал всё происшествие. Кирила Петрович выслушал его со вниманием.

– Ты, повеса, – сказал он, обратясь к Саше, – за что ты с ним связался?

– Он украл из дупла кольцо, папенька, прикажите отдать кольцо.

– Какое кольцо, из какого дупла?

– Да мне Марья Кириловна... да то кольцо...

Саша смутился, спутался. Кирила Петрович нахмурился и сказал, качая головою:

¹ Аршин – старинная мера длины, равная 71 см.

² под силки – под мышки.

– Тут замешалась Марья Кириловна. Признавайся во всем, или так отдеру тебя розгою, что ты и своих не узнаешь.

– Ей-богу, папенька, я, папенька... Мне Марья Кириловна ничего не приказывала, папенька.

– Степан, ступай-ка да срежь мне хорошенькую, свежую березовую розгу...

– Пойдите, папенька, я всё вам расскажу. Я сегодня бегал по двору, а сестрица Марья Кириловна открыла окошко, и я подбежал, и сестрица не нарочно уронила кольцо, и я спрятал его в дупло, и... и... этот рыжий мальчик хотел кольцо украсть.

– Не нарочно уронила, а ты хотел спрятать... Степан, ступай за розгами.

– Папенька, погодите, я всё расскажу. Сестрица Марья Кириловна велела мне сбежать к дубу и положить кольцо в дупло, я и сбегал и положил кольцо, а этот скверный мальчик...

Кирила Петрович обратился к скверному мальчику и спросил его грозно: «Чей ты?»

– Я дворовый человек господ Дубровских, – отвечал рыжий мальчик.

Лицо Кирила Петровича омрачилось.

– Ты, кажется, меня господином не признаешь, добро, – отвечал он. – А что ты делал в моем саду?

– Малину крал, – отвечал мальчик с большим равнодушием.

– Ага, слуга в барина, каков поп, таков и приход, а малина разве растет у меня на дубах?

Мальчик ничего не отвечал.

– Папенька, прикажите ему отдать кольцо, – сказал Саша.

– Молчи, Александр, – отвечал Кирила Петрович, – не забудь, что я собираюсь с тобою разделаться. Ступай в свою комнату. Ты, косой, ты мне кажешься малый не промах. Отдай кольцо и ступай домой.

Мальчик разжал кулак и показал, что в его руке не было ничего.

– Если ты мне во всем признаешься, так я тебя не высеку, дам еще пятак на орехи. Не то, я с тобою сделаю то, чего ты не ожидаешь. Ну!

Мальчик не отвечал ни слова и стоял, потупя голову и приняв на себя вид настоящего дурачка.

– Добро, – сказал Кирила Петрович, – запереть его куда-нибудь да посмотреть, чтоб он не убежал, или со всего дома шкуру спущу.

Степан отвел мальчишку на голубятню, запер его там и приставил смотреть за ним старую птичницу Агафию.

– Сейчас ехать в город за исправником, – сказал Кирила Петрович, проводив мальчика глазами, – да как можно скорее.

«Тут нет никакого сомнения. Она сохранила сношения с проклятым Дубровским. Но ужели и в самом деле она звала его на помощь? – думал Кирила Петрович, расхаживая по комнате и сердито насвистывая: «Гром победы». – Может быть, я наконец нашел на его горячие следы, и он от нас не увернется. Мы воспользуемся этим случаем. Чу! колокольчик, слава богу, это исправник».

– Гей, привести сюда мальчишку пойманного.

Между тем тележка въехала на двор, и знакомый уже нам исправник вошел в комнату весь запыленный.

– Славная весть, – сказал ему Кирила Петрович, – я поймал Дубровского.
– Слава богу, ваше превосходительство, – сказал исправник с видом обрадованным, – где же он?

– То есть не Дубровского, а одного из его шайки. Сейчас его приведут. Он пособит нам поймать самого атамана. Вот его и привели.

Исправник, ожидавший грозного разбойника, был изумлен, увидев 13-летнего мальчика, довольно слабой наружности. Он с недоумением обратился к Кирилу Петровичу и ждал объяснения. Кирила Петрович стал тут же рассказывать утреннее происшествие, не упоминая, однако ж, о Марье Кириловне.

Исправник выслушал его со вниманием, поминутно взглядывая на маленького негодяя, который, прикинувшись дурачком, казалось, не обращал никакого внимания на всё, что делалось около него.

– Позвольте, ваше превосходительство, переговорить с вами насдине, – сказал наконец исправник.

Кирила Петрович повел его в другую комнату и запер за собою дверь.

Через полчаса они вышли опять в залу, где невольник ожидал решения своей участи.

– Барин хотел, – сказал ему исправник, – посадить тебя в городской острог, выстегать плетью и сослать потом на поселение, но я вступился за тебя и выпросил тебе прощение. Развязать его.

Мальчика развязали.

– Благодарю же барина, – сказал исправник. Мальчик подошел к Кирилу Петровичу и поцеловал у него руку.

– Ступай себе домой, – сказал ему Кирила Петрович, – да вперед не крадь малины по дуплам.

Мальчик вышел, весело прыгнул с крыльца и пустился бегом, не оглядываясь, через поле в Кистеневку. Добежав до деревни, он остановился у полуразвалившейся избушки, первой с края, и постучал в окошко; окошко поднялось, и старуха показалась.

– Бабушка, хлеба, – сказал мальчик, – я с утра ничего не ел, умираю с голоду.

– Ах, это ты, Митя, да где ж ты пропадал, бесенок, – отвечала старуха.

– После расскажу, бабушка, ради бога хлеба.

– Да войди ж в избу.

– Некогда, бабушка, мне надо сбегать еще в одно место. Хлеба, ради Христа, хлеба.

– Экой непосед, – проворчала старуха, – на, вот тебе ломотик, – и сунула в окошко ломоть черного хлеба. Мальчик жадно его прикусил и, жуя, мигом отправился далее.

Начинало смеркаться. Митя пробирался овинами и огородами в Кистеневскую рощу. Дошедши до двух сосен, стоящих передовыми стражами рощи, он остановился, оглянувшись во все стороны, свистнул свистом пронзительным и отрывисто и стал слушать; легкий и продолжительный свист послышался ему в ответ, кто-то вышел из рощи и приблизился к нему.

ГЛАВА XVIII.

Кирила Петрович ходил взад и вперед по зале, громче обыкновенного насвистывая свою песню; весь дом был в движении, слуги бегали, девки сушили, в сарае

кучера закладывали карету, на дворе толпился народ. В уборной барышни, перед зеркалом, дама, окруженная служанками, убирала бледную, неподвижную Марью Кириловну, голова ее томно клонилась под тяжестью бриллиантов, она слегка вздрагивала, когда неосторожная рука укалывала ее, но молчала, бессмысленно глядя в зеркало.

– Скоро ли? – раздался у дверей голос Кирила Петровича.

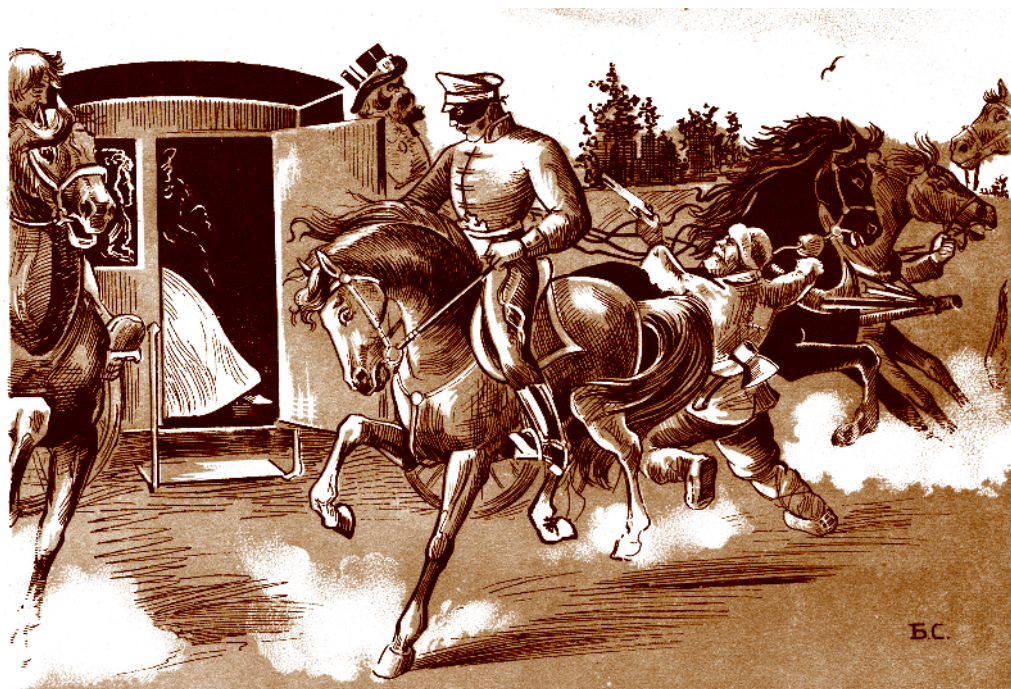
– Сию минуту, – отвечала дама, – Марья Кириловна, встаньте, посмотритесь, хорошо ли?

Марья Кириловна встала и не отвечала ничего. Двери открылись.

– Невеста готова, – сказала дама Кирилу Петровичу, – прикажите садиться в карету.

– С богом, – отвечал Кирила Петрович и, взяв со стола образ, – подойди ко мне, Маша, – сказал он ей тронутым голосом, – благословляю тебя... – Бедная девушка упала ему в ноги и зарыдала.

– Папенька... папенька... – говорила она в слезах, и голос ее замирал. Кирила Петрович спешил ее благословить, ее подняли и почти понесли в карету. С нею села посаженная мать – и одна из служанок. Они поехали в церковь. Там жених уж их ожидал. Он вышел навстречу невесты и был поражен ее бледностью и странным видом. Они вместе вошли в холодную, пустую церковь; за ними заперли двери. Священник вышел из алтаря и тотчас же начал. Марья Кириловна ничего не видала, ничего не слышала, думала об одном, с самого утра она ждала Дубровского, надежда ни на минуту ее не покидала, но когда священник обратился к ней с обычными вопросами, она содрогнулась и обмерла, но еще медлила, еще ожидала; священник, не дождавшись ее ответа, произнес невозвратимые слова.



Обряд был кончен. Она чувствовала холодный поцелуй немилого супруга, она слышала веселые поздравления присутствующих и всё еще не могла поверить, что жизнь ее была навеки окована, что Дубровский не прилетел освободить ее. Князь обратился к ней с ласковыми словами, она их не поняла, они вышли из церкви, на паперти толпились крестьяне из Покровского. Взор ее быстро их обежал и снова окзал прежнюю бесчувственность. Молодые сели вместе в карету и поехали в Арбатово; туда уже отправился Кирила Петрович, дабы встретить там молодых. Наедине с молодою женой князь нимало не был смущен ее холодным видом. Он не стал докучать ее приторными изъяснениями и смешными восторгами, слова его были просты и не требовали ответов. Таким образом проехали они около десяти верст, лошади неслись быстро по кочкам проселочной дороги, и карета почти не качалась на своих английских рессорах. Вдруг раздались крики погони, карета остановилась, толпа вооруженных людей окружила ее, и человек в полумаске, отворив дверцы со стороны, где сидела молодая княгиня, сказал ей: «Вы свободны, выходите». – «Что это значит, – закричал князь, – кто ты такой?..» – «Это Дубровский», – сказала княгиня. Князь, не теряя присутствия духа, вынул из бокового кармана дорожный пистолет и выстрелил в маскированного разбойника. Княгиня вскрикнула и с ужасом закрыла лицо обеими руками. Дубровский был ранен в плечо, кровь показалась. Князь, не теряя ни минуты, вынул другой пистолет, но ему не дали времени выстрелить, дверцы растворились, и несколько сильных рук вытащили его из кареты и вырвали у него пистолет. Над ним засверкали ножи.

– Не трогать его! – закричал Дубровский, и мрачные его сообщники отступили.

– Вы свободны, – продолжал Дубровский, обращаясь к бледной княгине.

– Нет, – отвечала она. – Поздно – я обвенчана, я жена князя Вереяского.

– Что вы говорите, – закричал с отчаяния Дубровский, – нет, вы не жена его, вы были приневолены, вы никогда не могли согласиться...

– Я согласилась, я дала клятву, – возразила она с твердостью, – князь мой муж, прикажите освободить его и оставьте меня с ним. Я не обманывала. Я ждала вас до последней минуты... Но теперь, говорю вам, теперь поздно. Пустите нас.

Но Дубровский уже ее не слышал, боль раны и сильные волнения души лишили его силы. Он упал у колеса, разбойники окружили его. Он успел сказать им несколько слов, они посадили его верхом, двое из них его поддерживали, третий взял лошадь под уздцы, и все поехали в сторону, оставляя карету посреди дороги, людей связанных, лошадей отпряженных, но не разграбя ничего и не пролив ни единой капли крови в отмщение за кровь своего атамана.

ГЛАВА XIX.

Посреди дремучего леса на узкой лужайке возвышалось маленькое земляное укрепление, состоящее из вала и рва, за коими находилось несколько шалашей и землянок.

На дворе множество людей, коих по разнообразию одежды и по общему вооружению можно было тотчас признать за разбойников, обедало, сидя без шапок, около братского котла. На валу подле маленькой пушки сидел караульный, поджав под себя ноги; он вставлял заплатку в некоторую часть своей одежды, владея иголкой и искусством, обличающим опытного портного, и поминутно посматривал во все стороны.

Хотя некоторый ковшик несколько раз переходил из рук в руки, странное молчание царствовало в сей толпе; разбойники отобедали, один после другого вставал и молился богу, некоторые разошлись по шаламам, а другие разбрелись по лесу или прилегли соснуть по русскому обыкновению.

Караульщик кончил свою работу, встряхнул свою рухлядь, полюбовался заплаutoю, приколот к рукаву иголку, сел на пушку верхом и запел во всё горло меланхолическую старую песню:

Не шуми, мати зеленая дубровушка,
Не мешай мне молодцу думу думати.

В это время дверь одного из шаламей отворилась, и старушка в белом чепце, опрятно и чопорно одетая, показалаcя у порога. «Полно тебе, Степка, – сказала она сердито, – барин почивает, а ты знай горланишь; нет у вас ни совести, ни жалости». – «Виноват, Егоровна, – отвечал Степка, – ладно, больше не буду, пусть он себе, наш батюшка, почивает да выздоравливает». Старушка ушла, а Степка стал расхаживать по валу.

В шаламе, из которого вышла старуха, за перегородкою, раненый Дубровский лежал на походной кровати. Перед ним на столике лежали его пистолеты, а сабля висела в головах. Землянка устлана и обвешана была богатыми коврами, в углу находился женской серебряный туалет и трюмо. Дубровский держал в руке открытую книгу, но глаза его были закрыты. И старушка, поглядывающая на него из-за перегородки, не могла знать, заснул ли он, или только задумался.

Вдруг Дубровский вздрогнул: в укреплении сделалась тревога, и Степка просунул к нему голову в окошко. «Батюшка, Владимир Андреевич, – закричал он, – наши знак подают, нас ищут». Дубровский вскочил с кровати, схватил оружие и вышел из шалама. Разбойники с шумом толпились на дворе; при его появлении настало глубое молчание. «Все ли здесь?» – спросил Дубровский. «Все, кроме дозорных», – отвечали ему. «По местам!» – закричал Дубровский. И разбойники заняли каждый определенное место. В сие время трое дозорных прибежали к воротам. Дубровский пошел к ним навстречу. «Что такое?» – спросил он их. «Солдаты в лесу, – отвечали они, – нас окружают». Дубровский велел запереть ворота – и сам пошел освидетельствовать пушечку. По лесу раздалось несколько голосов и стали приближаться; разбойники ожидали в безмолвии. Вдруг три или четыре солдата показались из лесу и тотчас подались назад, выстрелами дав знать товарищам. «Готовиться к бою», – сказал Дубровский, и между разбойниками сделался шорох, снова всё утихло. Тогда услышали шум приближающейся команды, оружия блеснули между деревьями, человек полтораста солдат высыпало из лесу и с криком устремились на вал. Дубровский приставил фитиль, выстрел был удачен: одному оторвало голову, двое были ранены. Между солдатами произошло смятение, но офицер бросился вперед, солдаты за ним последовали и сбежали в ров; разбойники выстрелили в них из ружей и пистолетов и стали с топорами в руках защищать вал, на который лезли остервенелые солдаты, оставя во рву человек двадцать раненых товарищей. Рукопашный бой завязался, солдаты уже были на валу, разбойники начали уступать, но Дубровский, подошед к офицеру, приставил ему пистолет ко груди и выстрелил, офицер грянулся навзничь, несколько солдат подхватили его на руки и спешили унести в лес, прочие, лишась начальника, остановились. Ободренные разбойники воспользовались сей минутою



Б.С.

недоумения, смяли их, стеснили в ров, осаждающие побежали, разбойники с криком устремились за ними. Победа была решена. Дубровский, полагаясь на совершенное расстройство неприятеля, остановил своих и заперся в крепости, приказав подбирать раненых, удвоив караулы и никому не велел отлучаться.

Последние происшествия обратили уже не на шутку внимание правительства на дерзновенные разбои Дубровского. Собраны были сведения о его местопребывании. Отправлена была рота солдат, дабы взять его мертвого или живого. Поймали несколько человек из его шайки и узнали от них, что уж Дубровского между ими не было. Несколько дней после..... он собрал всех своих сообщников, объявил им, что намерен навсегда их оставить, советовал и им переменить образ жизни. «Вы разбогатели под моим начальством, каждый из вас имеет вид, с которым безопасно может пробраться в какую-нибудь отдаленную губернию и там провести остальную жизнь в честных трудах и в изобилии. Но вы все мошенники и, вероятно, не захотите оставить ваше ремесло». После сей речи он оставил их, взяв с собою одного**. Никто не знал, куда он девался. Сначала сомневались в истине сих показаний: приверженность разбойников к атаману была известна. Полагали, что они старались о его спасении. Но последствия их оправдали; грозные посещения, пожары и грабежи прекратились. Дороги стали свободны. По другим известиям узнали, что Дубровский скрылся за границу.



КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА

ИЛЛЮСТРАЦИИ
Б. И. КОЖИНА
А. Н. ЯКОБСОН





Капитанская дочка

Береги честь смолоду.
Пословица.

Глава I

СЕРЖАНТ ГВАРДИИ

- Был бы гвардии он завтра ж капитан.
- Того не надобно; пусть в армии послужит.
- Изрядно сказано! пускай его потужит...

.....

Да кто его отец?

Княжнин.¹

Отец мой, Андрей Петрович Гринев, в молодости своей служил при графе Минихе и вышел в отставку премьер-майором в 17.. году. С тех пор жил он в своей Симбирской деревне, где и женился на девице Авдотье Васильевне Ю., дочери бедного тамошнего дворянина. Нас было девять человек детей. Все мои братья и сестры умерли во младенчестве.

Матушка была еще мною брюхата, как уже я был записан в Семеновский полк сержантом, по милости майора гвардии князя Б., близкого нашего родственника. Если бы паче всякого чаяния матушка родила дочь, то батюшка объявил бы куда следовало о смерти неявившегося сержанта, и дело тем бы и кончилось. Я считался в отпуску до окончания наук. В то время воспитывались мы не по-нонешнему. С пятилетнего

¹ Яков Борисович Княжнин – поэт и драматург XVIII века.



возраста одан я был на руки стремянному Савельичу, за трезвое поведение пожалованному мне в дядьки. Под его надзором на двенадцатом году выучился я русской грамоте и мог очень здраво судить о свойствах борзого кобеля. В это время батюшка нанял для меня француза, мосье Бопре, которого выписали из Москвы вместе с годовым запасом вина и прованского

масла. Приезд его сильно не понравился Савельичу. «Слава богу, – ворчал он про себя, – кажется, дитя умыт, причесан, накормлен. Куда как нужно тратить лишние деньги и нанимать мусье, как будто и своих людей не стало!»

Бопре в отечестве своем был парикмахером, потом в Пруссии солдатом, потом приехал в Россию *pour être outchitel*¹, не очень понимая значение этого слова. Он был добрый малый, но ветрен и беспутен до крайности. Главною его слабостию была страсть к прекрасному полу; нередко за свои нежности получал он толчки, от которых охал по целым суткам. К тому же не был он (по его выражению) и *врагом бутылки*, т. е. (говоря по-русски) любил хлебнуть лишнее. Но как вино подавалось у нас только за обедом, и то по рюмочке, причем учителя обыкновенно и обносили, то мой Бопре очень скоро привык к русской настойке и даже стал предпочитать ее винам своего отечества, как не в пример более полезную для желудка. Мы тотчас поладили, и хотя по контракту обязан он был учить меня *по-французски, по-немецки и всем наукам*, но он предпочел наскоро выучиться от меня кое-как болтать по-русски, – и потом каждый из нас занимался уже своим делом. Мы жили душа в душу. Другого ментора² я и не желал. Но вскоре судьба нас разлучила, и вот по какому случаю:

Прачка Палашка, толстая и рябая девка, и кривая коровница Акулька как-то согласились в одно время кинуться матушке в ноги, винясь в преступной слабости, и с плачем жалуюсь на мусье, обольстившего их неопытность. Матушка шутить этим не любила и пожаловалась батюшке. У него расправа была коротка. Он тотчас потребовал каналью француза. Доложили, что мусье давал мне свой урок. Батюшка пошел в мою комнату. В это время Бопре спал на кровати сном невинности. Я был занят делом. Надобно знать, что для меня выписана была из Москвы географическая карта. Она висела на стене безо всякого употребления и давно соблазняла меня шириною и добротою бумаги. Я решился сделать из нее змей и, пользуясь сном Бопре, принялся за работу. Батюшка вошел в то самое время, как я прилаживал мочальный хвост к Мысу Доброй Надежды. Увидя мои упражнения в географии, батюшка дернул меня

¹ чтобы стать учителем (франц.).

² ментор – руководитель, наставник, воспитатель.



за ухо, потом подбежал к Бопре, разбудил его очень неосторожно и стал осыпать укоризнами. Бопре в смятении хотел было привстать и не мог: несчастный француз был мертво пьян. Семь бед, один ответ. Батюшка за ворот приподнял его с кровати, вытолкнул из дверей и в тот же день прогнал со двора, к неописанной радости Савельича. Тем и кончилось мое воспитание.

Я жил недорослем, гоняя голубей и играя в чехарду с дворовыми мальчишками. Между тем минуло мне шестнадцать лет. Тут судьба моя переменялась.

Однажды осенью матушка варила в гостиной медовое варенье, а я, облизываясь, смотрел на кипучие пенки. Батюшка у окна читал Придворный календарь¹, ежегодно им получаемый. Эта книга имела всегда сильное на него влияние: никогда не перечитывал он ее без особенного участия, и чтение это производило в нем всегда удивительное волнение желчи. Матушка, зная наизусть все его свчаи и обычаи, всегда старалась засунуть несчастную книгу как можно подальше, и таким образом Придворный календарь не попадался ему на глаза иногда по целым месяцам. Зато, когда он случайно его находил, то, бывало, по целым часам не выпускал уж из своих рук. Итак, батюшка читал Придворный календарь, изредка пожимая плечами и повторяя вполголоса: «Генерал-поручик!.. Он у меня в роте был сержантом!.. Обоих российских орденов кавалер!.. А давно ли мы...» Наконец батюшка швырнул календарь на диван и погрузился в задумчивость, не предвещавшую ничего доброго.

Вдруг он обратился к матушке: «Авдотья Васильевна, а сколько лет Петруше?»

— Да вот пошел семнадцатый годок, — отвечала матушка. — Петруша родился в тот самый год, как окривела тетюшка Настасья Гарасимовна, и когда еще...

«Добро, — прервал батюшка, — пора его в службу. Полно ему бегать по девичьим да лазить на голубятни».

¹ Придворный Календарь — ежегодное издание, в котором публиковался список придворных служащих и лиц, награжденных различными орденами.



Мысль о скорой разлуке со мною так поразила матушку, что она уронила ложку в кастрюльку, и слезы потекли по ее лицу. Напротив того, трудно описать мое восхищение. Мысль о службе сливалась во мне с мыслями о свободе, об удовольствиях петербургской жизни. Я воображал себя офицером гвардии, что, по мнению моему, было верхом благополучия человеческого.

Батюшка не любил ни переменять свои намерения, ни откладывать их исполнение. День отъезду моему был назначен. Накануне батюшка объявил, что намерен писать со мною к будущему моему начальнику, и потребовал пера и бумаги.

— Не забудь, Андрей Петрович, — сказала матушка, — поклониться и от меня князю Б.; я, дескать, надеюсь, что он не оставит Петрушу своими милостями.

— Что за вздор! — отвечал батюшка нахмурясь. — К какой стати стану я писать к князю Б.?

— Да ведь ты сказал, что изволишь писать к начальнику Петруши?

— Ну, а там что?



– Да ведь начальник Петрушин – князь Б. Ведь Петруша записан в Семеновский полк.

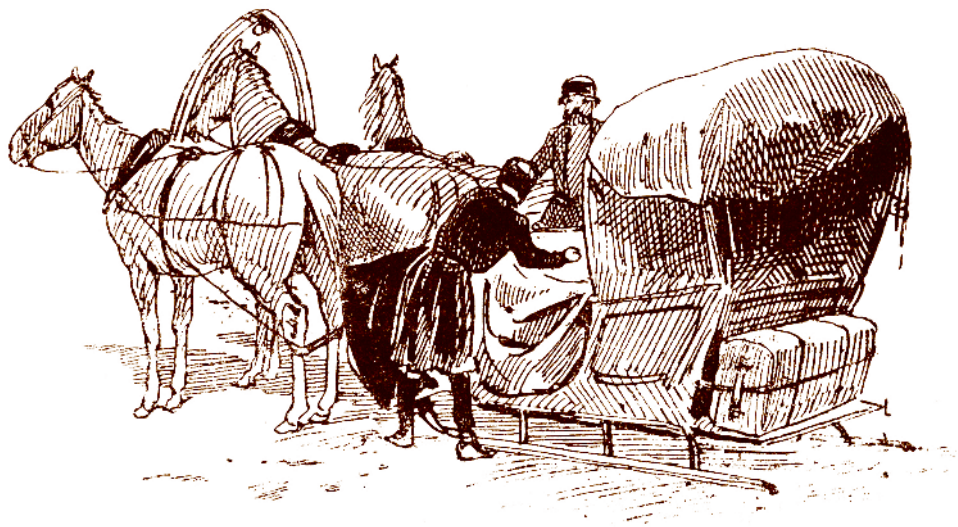
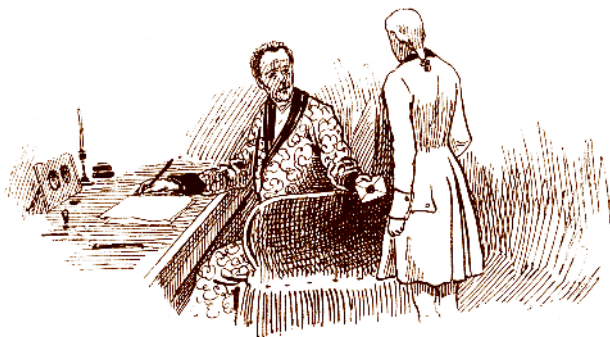
– Записан! А мне какое дело, что он записан? Петруша в Петербург не поедет. Чему научиться он, служа в Петербурге? мотать да повесничать? Нет, пускай послужит он в армии, да потянет лямку, да понюхает поро-

ху, да будет солдат, а не шаматон¹. Записан в гвардии! Где его пашпорт? подай его сюда.

Матушка отыскала мой паспорт, хранившийся в ее шкатулке вместе с сорочкою, в которой меня крестили, и вручила его батюшке дрожащею рукою. Батюшка прочел его со вниманием, положил перед собою на стол и начал свое письмо.

Любопытство меня мучило: куда ж отправляют меня, если уж не в Петербург? Я не сводил глаз с пера батюшкина, которое двигалось довольно медленно. Наконец он кончил, запечатал письмо в одном пакете с паспортом, снял очки и, подозревая меня, сказал: «Вот тебе письмо к Андрею Карловичу Р., моему старинному товарищу и другу. Ты едешь в Оренбург служить под его начальством».

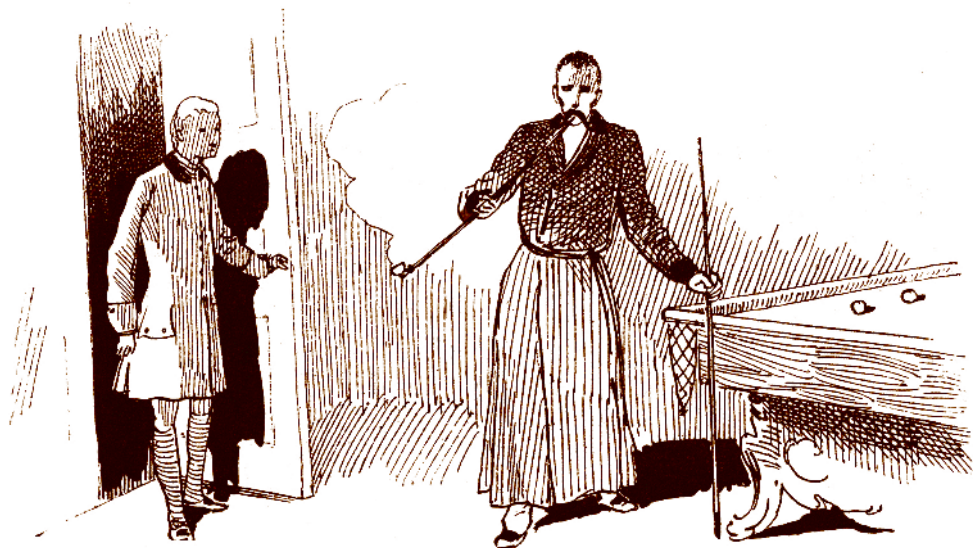
Итак, все мои блестящие надежды рушились! Вместо веселой петербургской жизни ожидала меня скука в стороне глухой и отдаленной. Служба, о которой за мину-ту думал я с таким восторгом, показалась мне тяжким несчастьем. Но спорить было нечего. На другой день поутру подвезена была к крыльцу дорожная кибитка; уложили в нее чемодан, погребец с чайным прибором и узлы с булками и пирогами,

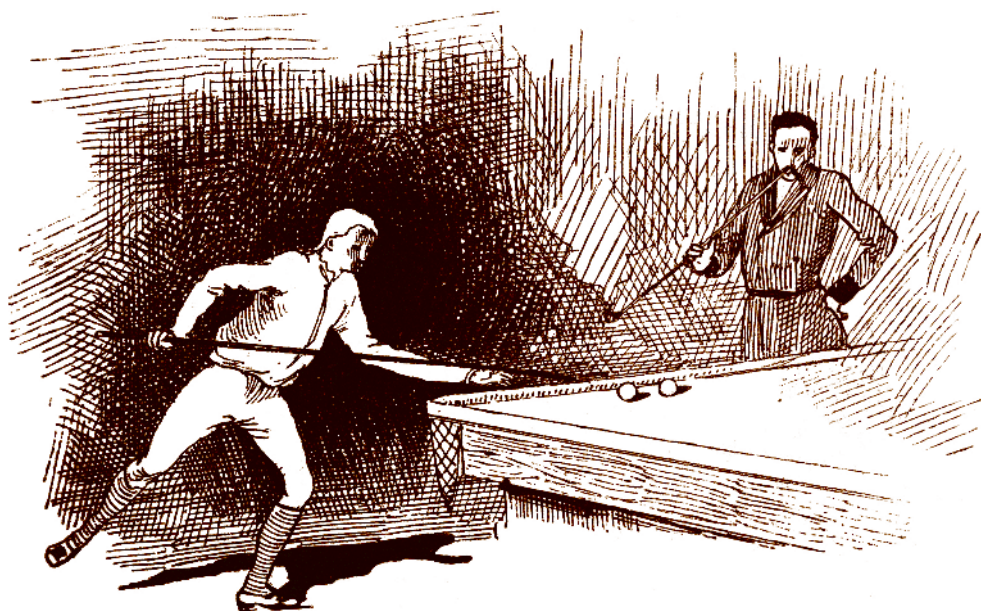


¹ шаматон (устар.) – шалопай, бездельник.

последними знаками домашнего баловства. Родители мои благословили меня. Батюшка сказал мне: «Прощай, Петр. Служи верно, кому присягнешь; слушайся начальников; за их лаской не гоняйся; на службу не напрашивайся; от службы не отговаривайся; и помни пословицу: береги платье снову, а честь смолоду». Матушка в слезах наказывала мне беречь мое здоровье, а Савельичу смотреть за дитятей. Надели на меня заячий тулуп, а сверху лисью шубу. Я сел в кибитку с Савельичем и отправился в дорогу, обливаясь слезами.

В ту же ночь приехал я в Симбирск, где должен был пробыть сутки для закупки нужных вещей, что и было поручено Савельичу. Я остановился в трактире. Савельич с утра отправился по лавкам. Соскуча глядеть из окна на грязный переулочек, я пошел бродить по всем комнатам. Вошед в билиардную, увидел я высокого барина лет тридцати пяти, с длинными черными усами, в халате, с кием в руке и с трубкой в зубах. Он играл с маркером, который при выигрыше выпивал рюмку водки, а при проигрыше должен был лезть под билиард на четверинках. Я стал смотреть на их игру. Чем дольше она продолжалась, тем прогулки на четверинках становились чаще, пока наконец маркер остался под билиардом. Барин произнес над ним несколько сильных выражений в виде надгробного слова и предложил мне сыграть партию. Я отказался по неумению. Это показалось ему, по-видимому, странным. Он поглядел на меня как бы с сожалением; однако мы разговорились. Я узнал, что его зовут Иваном Ивановичем Зуриным, что он ротмистр ** гусарского полку и находится в Симбирске при приеме рекрут, а стоит в трактире. Зурин пригласил меня отобедать с ним вместе чем бог послал, по-солдатски. Я с охотою согласился. Мы сели за стол. Зурин пил много и потчевал и меня, говоря, что надобно привыкать ко службе; он рассказывал мне армейские анекдоты, от которых я со смеху чуть не валялся, и мы встали из-за стола совершенными приятелями. Тут вызвался он выучить меня играть на билиарде. «Это, – говорил он, – необходимо для нашего брата служивого. В походе, например, придешь





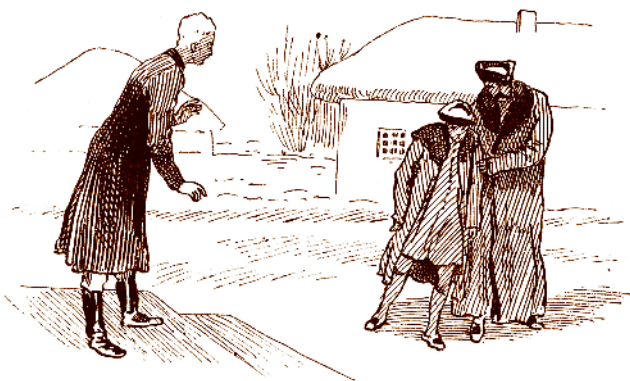
в местечко – чем прикажешь заняться? Ведь не все же бить жидов. Поневоле пойдешь в трактир и станешь играть на билиарде; а для того надобно уметь играть!» Я совершенно был убежден и с большим прилежанием принялся за учение. Зурин громко ободрял меня, дивился моим быстрым успехам и, после нескольких уроков, предложил мне играть в деньги, по одному грошу, не для выигрыша, а так, чтоб только не играть даром, что, по его словам, самая скверная привычка. Я согласился и на то, а Зурин велел подать пуншу и уговорил меня попробовать, повторяя, что к службе надобно мне привыкать; а без пуншу что и служба! Я послушался его. Между тем игра наша продолжалась. Чем чаще прихлебывал я от моего стакана, тем становился отважнее. Шары поминутно летали у меня через борт; я горячился, бранил маркера, который считал бог ведает как, час от часу умножал игру, словом – вел себя как мальчишка, вырвавшийся на волю. Между тем время прошло незаметно. Зурин взглянул на часы, положил кий и объявил мне, что я проиграл сто рублей. Это меня немножко смутило. Деньги мои были у Савельича. Я стал извиняться. Зурин меня прервал: «Помилуй! Не изволь и беспокоиться. Я могу и подождать, а покамест поедем к Аринушке».

Что прикажете? День я кончил так же беспутно, как и начал. Мы отужинали у Аринушки. Зурин поминутно мне подливал, повторяя, что надобно к службе привыкать. Встав из-за стола, я чуть держался на ногах; в полночь Зурин отвез меня в трактир.

Савельич встретил нас на крыльце. Он ахнул, увидя несомненные признаки моего усердия к службе. «Что это, сударь, с тобою сделалось? – сказал он жалким голосом, – где ты это нагрузился? Ахти господи! отроду такого греха не бывало!» – «Молчи, хрыч! – отвечал я ему, запинаясь, – ты, верно, пьян, пошел спать... и уложи меня».

На другой день я проснулся с головною болью, смутно припоминая себе вчерашние происшествия. Размышления мои прерваны были Савельичем, вошедшим ко мне с чашкою чая. «Рано, Петр Андрейч, – сказал он мне, качая головою, – рано начинаешь гулять. И в кого ты пошел? Кажется, ни батюшка, ни дедушка пьяницами не

бывали; о матушке и говорить нечего: отроду, кроме квасу, в рот ничего не изволили брать. А кто всему виноват? проклятый мусье. То и дело, бывало, к Антипьевне забежит: «Мадам, же ву при¹, водку». Вот тебе и же ву при! Нечего сказать: добру наставил, собачий сын. И нужно было нанимать в дядьки басурмана, как будто у барина не стало и своих людей!»



Мне было стыдно. Я отвернулся и сказал ему: «Поди вон, Савельич; я чаю не хочу». Но Савельича мудрено было унять, когда, бывало, примется за проповедь. «Вот видишь ли, Петр Андреевич, каково подгуливать. И головке-то тяжело, и кушать-то не хочется. Человек пьющий ни на что не годен... Выпей-ка огуречного рассолу с медом, а всего бы лучше опохмелиться полстаканчиком настойки. Не прикажешь ли?»

В это время мальчик вошел и подал мне записку от И. И. Зурина. Я развернул ее и прочел следующие строки:

«Любезный Петр Андреевич, пожалуйста пришли мне с моим мальчиком сто рублей, которые ты мне вчера проиграл. Мне крайняя нужда в деньгах.

Готовый ко услугам
Иван Зурин».

Делать было нечего. Я взял на себя вид равнодушный и, обратись к Савельичу, который был и денег, и белья, и дел моих *рачитель*², приказал отдать мальчику сто рублей. «Как! зачем?» – спросил изумленный Савельич. «Я их ему должен», – отвечал я со



всевозможной холодностию. «Должен! – возразил Савельич, час от часу приведенный в большее изумление, – да когда же, сударь, успел ты ему задолжать? Дело что-то не ладно. Воля твоя, сударь, а денег я не выдам».

Я подумал, что если в сию решительную минуту не переспорю упрямого старика,

¹ *же ву при* (*Je vous prie*) – я вас умоляю (фр).

² цитата из стихотворения Д. И. Фонвизина «Послание к слугам моим: Шумилову, Ваньке и Петрушке» (1769).

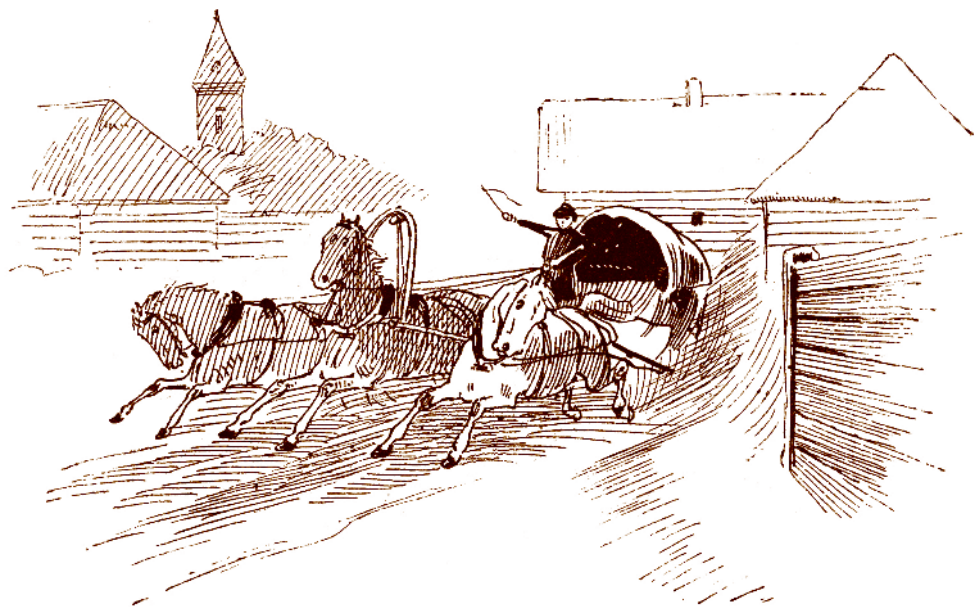


то уж в последствии времени трудно мне будет освободиться от его опеки, и, взглянув на него гордо, сказал: «Я твой господин, а ты мой слуга. Деньги мои. Я их проиграл, потому что так мне вздумалось. А тебе советую не умничать и делать то, что тебе приказывают».

Савельич так был поражен моими словами, что сплеснул руками и остолбенел.

«Что же ты стоишь!» – закричал я сердито. Савельич заплакал. «Батюшка Петр Андреич, – произнес он дрожащим голосом, – не утоми меня с печали. Свет ты мой! послушай меня, старика: напиши этому разбойнику, что ты пошутил, что у нас и денег-то таких не водится. Сто рублей! Боже ты милостивый! Скажи, что тебе родители крепко-накрепко заказали не играть, кроме как в орехи...» – «Полно врать, – прервал я строго, – подавай сюда деньги или я тебя взашей прогоню».

Савельич поглядел на меня с глубокой горестью и пошел за моим долгом. Мне было жаль бедного старика; но я хотел вырваться на волю и доказать, что уж я не ребенок. Деньги были доставлены Зурину. Савельич поспешил вывезти меня из проклятого трактира. Он явился с известием, что лошади готовы. С беспокойной совестью и с безмолвным раскаянием выехал я из Симбирска, не простясь с моим учителем и не думая с ним уже когда-нибудь увидаться.





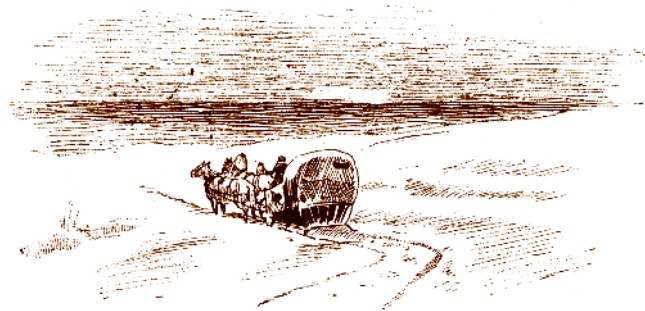
Глава II ВОЖАТЫЙ

Сторона ль моя, сторонушка,
Сторона незнакомая!
Что не сам ли я на тебя зашел,
Что не добрый ли да меня конь завез:
Завезла меня, доброго молодца,
Прытость, бодрость молодецкая
И хмелинушка кабацкая.

Старинная песня.

Дорожные размышления мои были не очень приятны. Проигрыш мой, по тогдашним ценам, был немаловажен. Я не мог не признаться в душе, что поведение мое в симбирском трактире было глупо, и чувствовал себя виноватым перед Савельичем. Все это меня мучило. Старик угрюмо сидел на облучке, отворотись от меня, и молчал, изредка только побрякивая. Я непременно хотел с ним помириться и не знал с чего начать. Наконец я сказал ему: «Ну, ну, Савельич! полно, помиримся, виноват; вижу сам, что виноват. Я вчера напроказил, а тебя напрасно обидел. Обещаюсь вперед вести себя умнее и слушаться тебя. Ну, не сердись; помиримся».

– Эх, батюшка Петр Андреич! – отвечал он с глубоким вздохом. – Сержусь-то я на самого себя; сам я кругом виноват. Как мне было оставлять тебя одного в трактире! Что делать? Грех попутал: вздумал забрести к дьячихе, повидаться с кумою. Так-то: зашел к куме, да засел в тюрьме. Беда да и только!.. Как покажусь я на



глаза господам? что скажут они, как узнают, что дитя пьет и играет.

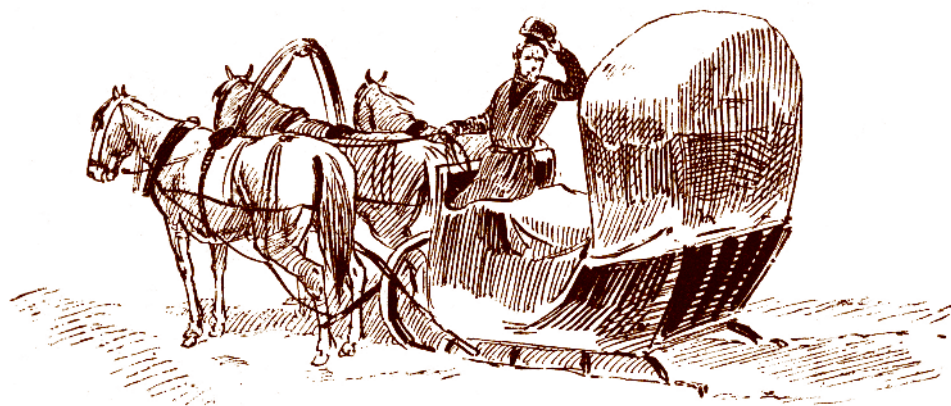
Чтоб утешить бедного Савельича, я дал ему слово впредь без его согласия не располагать ни одною копейкою. Он мало-помалу успокоился, хотя все еще изредка ворчал про себя, качая головою: «Сто рублей! легко ли дело!»

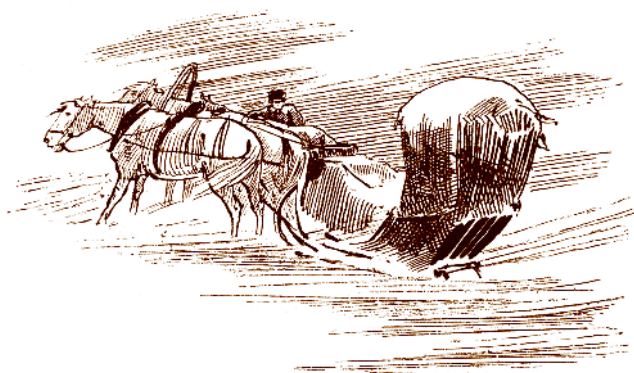
Я приближался к месту моего назначения. Вокруг меня простирались печальные пустыни, пересеченные холмами и оврагами. Все покрыто было снегом. Солнце садилось. Кибитка ехала по узкой дороге, или точнее по следу, проложенному крестьянскими санями. Вдруг ямщик стал посматривать в сторону и наконец, сняв шапку, оборотился ко мне и сказал:

- Барин, не прикажешь ли воротиться?
- Это зачем?
- Время ненадежно: ветер слегка подымается; вишь, как он сметает порошу.
- Что ж за беда!
- А видишь там что? (Ямщик указал кнутом на восток.)
- Я ничего не вижу, кроме белой степи да ясного неба.
- А вон – вон: это облачко.

Я увидел в самом деле на краю неба белое облачко, которое принял было сперва за отдаленный холмик. Ямщик изъяснил мне, что облачко предвещало буран.

Я слышал о тамошних метелях и знал, что целые обозы бывали ими занесены. Савельич, согласно со мнением ямщика, советовал воротиться. Но ветер показался мне





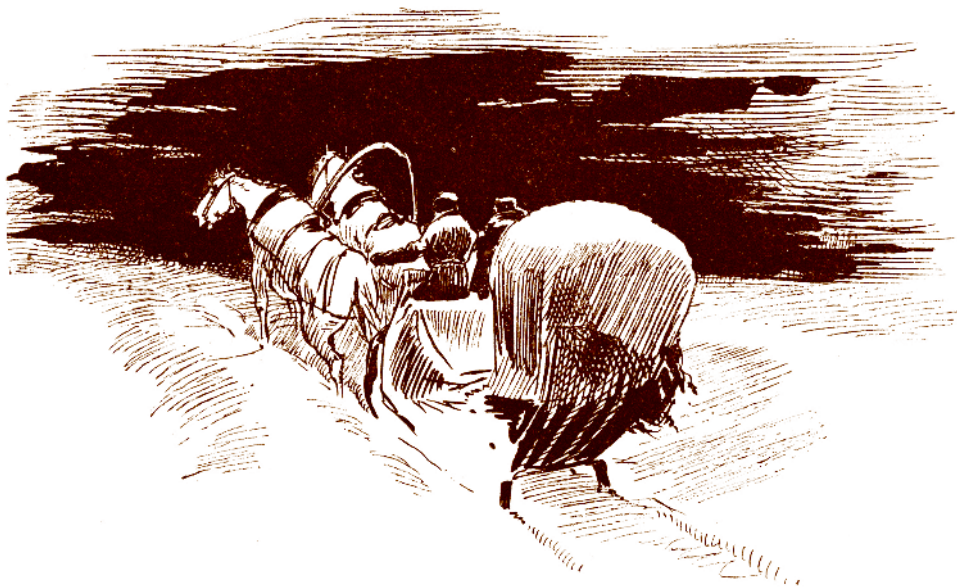
не силен; я понадеялся добраться заблаговременно до следующей станции и велел ехать скорее.

Ямщик поскакал; но все поглядывал на восток. Лошади бежали дружно. Ветер между тем час от часу становился сильнее. Облачко обратилось в белую тучу, которая тяжело подымалась, росла и постепенно облежала небо. Пошел мелкий снег — и

вдруг повалил хлопьями. Ветер завыл; сделалась метель. В одно мгновение темное небо смешалось со снежным морем. Все исчезло. «Ну, барин, — закричал ямщик, — беда: буран!»...

Я выплянул из кибитки: все было мрак и вихорь. Ветер выл с такой свирепой выразительностью, что казался одушевленным; снег засыпал меня и Савельича; лошади шли шагом — и скоро стали. «Что же ты не едешь?» — спросил я ямщика с нетерпением. «Да что ехать? — отвечал он, слезая с облучка, — невесть и так куда заехали: дороги нет, и мгла кругом». Я стал было его бранить. Савельич за него заступился. «И охота было не слушаться, — говорил он сердито, — воротился бы на постоялый двор, накушался бы чаю, почивал бы себе до утра, буря б утихла, отправились бы далее. И куда спешим? Добро бы на свадьбу!» Савельич был прав. Делать было нечего. Снег так и валил. Около кибитки подымался сугроб. Лошади стояли, понуря голову и изредка вздрагивая. Ямщик ходил кругом, от нечего делать улаживая упряжь. Савельич





ворчал; я глядел во все стороны, надеясь увидеть хоть признак жила или дороги, но ничего не мог различить, кроме мутного кружения метели... Вдруг увидел я что-то черное. «Эй, ямщик! – закричал я, – смотри: что там такое чернеется?» Ямщик стал всматриваться. «А бог знает, барин, – сказал он, садясь на свое место, – воз не воз, дерево не дерево, а кажется, что шевелится. Должно быть, или волк, или человек».

Я приказал ехать на незнакомый предмет, который тотчас и стал подвигаться нам навстречу. Через две минуты мы поравнялись с человеком.

– Гей, добрый человек! – закричал ему ямщик. – Скажи, не знаешь ли где дорога?

– Дорога-то здесь; я стою на твердой полосе, – отвечал дорожный, – да что толку?

– Послушай, мужичок, – сказал я ему, – знаешь ли ты эту сторону? Возьмешься ли ты довести меня до ночлега?

– Сторона мне знакомая, – отвечал дорожный, – слава богу, исхожена и изъезжена вдоль и поперек. Да, вишь, какая погода: как раз собьешься с дороги. Лучше здесь остановиться да переждать, авось буран утихнет да небо прояснится: тогда найдем дорогу по звездам.

Его хладнокровие ободрило меня. Я уж решился, предав себя божией воле, ночевать посреди степи, как вдруг дорожный сел проворно на облучок и сказал ямщику: «Ну, слава богу, жило недалеко; сворачивай вправо да поезжай».

– А почему мне ехать вправо? – спросил ямщик с неудовольствием. – Где ты видишь дорогу? Небось: лошади чужие, хомут не свой, погоняй не стой. – Ямщик казался мне прав. «В самом деле, – сказал я, – почему думаешь ты, что жило недалеко?» – «А потому, что ветер оттоле потянул, – отвечал дорожный, – и я слышу, дымом пахнуло; знать, деревня близко». Сметливость его и тонкость чутья меня изумили. Я велел ямщику ехать. Лошади тяжело ступали по глубокому снегу. Кибитка тихо подвигалась, то въезжая на сугроб, то обрушаясь в овраг и переваливаясь то на одну, то на другую сторону. Это похоже было на плавание судна по бурному морю.

Савельич охал, поминутно толкаясь о мои бока. Я опустил циновку, закутался в шубу и задремал, убаюканный пением бури и качкою тихой езды.

Мне приснился сон, которого никогда не мог я позабыть и в котором до сих пор вижу нечто пророческое, когда соображаю с ним странные обстоятельства моей жизни. Читатель извинит меня: ибо, вероятно, знает по опыту, как сродно человеку предаваться суеверию, несмотря на всевозможное презрение к предрассудкам.

Я находился в том состоянии чувств и души, когда существенность, уступая мечтаниям, сливается с ними в неясных видениях первосония. Мне казалось, буран еще свирепствовал и мы еще блуждали по снежной пустыне... Вдруг увидел я ворота и въехал на барский двор нашей усадьбы. Первою мыслию моею было опасение, чтобы батюшка не прогневался на меня за невольное возвращение под кровлю родительскую и не почел бы его умышленным ослушанием. С беспокойством я выпрыгнул из кибитки и вижу: матушка встречает меня на крыльце с видом глубокого огорчения. «Тише, – говорит она мне, – отец болен при смерти и желает с тобою проститься». Пораженный страхом, я иду за нею в спальню. Вижу, комната слабо освещена; у постели стоят люди с печальными лицами. Я тихонько подхожу к постеле; матушка приподымает полог и говорит: «Андрей Петрович, Петруша приехал; он воротился, узнав о твоей болезни; благослови его». Я стал на колени и устремил глаза мои на больного. Что ж?... Вместо отца моего вижу в постеле лежит мужик с черной бородою, весело на меня поглядывая. Я в недоумении оборотился к матушке, говоря ей: «Что это значит? Это не батюшка. И к какой мне стати просить благословения у мужика?» – «Все равно, Петруша, – отвечала мне матушка, – это твой посажёный отец; поцелуй у него ручку, и пусть он тебя благословит...» Я не соглашался. Тогда мужик вскочил с постели, выхватил топор из-за спины и стал махать во все стороны. Я хотел бежать... и не мог; комната наполнилась мертвыми телами; я спотыкался о





тела и скользил в кровавых лужах... Страшный мужик ласково меня кликал, говоря: «Не бойсь, подойди под мое благословение...» Ужас и недоумение овладели мною... И в эту минуту я проснулся; лошади стояли; Савельич дергал меня за руку, говоря: «Выходи, сударь: приехали».

– Куда приехали? – спросил я, протирая глаза.

– На постоялый двор. Господь помог, наткнулись прямо на забор. Выходи, сударь, скорее да обогрейся.

Я вышел из кибитки. Буран еще продолжался, хотя с меньшей силой. Было так темно, что хоть глаз выколи. Хозяин встретил нас у ворот, держа фонарь под полою, и ввел меня в горницу, тесную, но довольно чистую; лучина освещала ее. На стене висела винтовка и высокая казацкая шапка.

Хозяин, родом яицкий казак¹, казался мужик лет шестидесяти, еще свежий и бодрый. Савельич внес за мною погребец, потребовал огня, чтоб готовить чай, который никогда так не казался мне нужен. Хозяин пошел хлопотать.

– Где же вожатый? – спросил я у Савельича.

«Здесь, ваше благородие», – отвечал мне голос сверху. Я взглянул на потолки и увидел черную бороду и два сверкающие глаза. «Что, брат, прозяб?» – «Как не прозябнуть в одном худеньком армяке! Был тулуп, да что греха таить? заложил вечер у целовальника²: мороз показался не велик». В эту минуту хозяин вошел с кипящим самоваром; я предложил вожатому нашему чашку чаю; мужик слез с потолка. Наружность его показалась мне замечательна: он был лет сорока, росту среднего, худощав и широкоплеч. В черной бороде его показывалась проседь; живые большие глаза так

¹ Яицкие казаки сформировались из крестьян и посадских людей, сбежавших от своих хозяев на реку Яик (с 1775 – Урал).

² Целовальник – продавец в питейном заведении.



и бегали. Лицо его имело выражение довольно приятное, но плутовское. Волоса были обстрижены в кружок; на нем был оборванный армяк и татарские шаровары. Я поднес ему чашку чаю; он отведал и поморщился. «Ваше благородие, сделайте мне такую милость, – прикажите поднести стакан

вина; чай не наше казацкое питье». Я с охотой исполнил его желание. Хозяин вынул из ставца штоф и стакан, подошел к нему и, взглянув ему в лицо: «Эхе, – сказал он, – опять ты в нашем краю! Отколе бог принес?» Вожатый мой мигнул значительно и отвечал поговоркою: «В огород летал, конопли клевал; швырнула бабушка камушком – да мимо. Ну, а что ваши?»

– Да что наши! – отвечал хозяин, продолжая иносказательный разговор. – Стали было к вечерне звонить, да попадья не велит: поп в гостях, черти на погосте.

«Молчи, дядя, – возразил мой бродяга, – будет дождик, будут и грибки; а будут грибки, будет и кузов. А теперь (тут он мигнул опять) заткни топор за спину: лесничий ходит. Ваше благородие! за ваше здоровье!» При сих словах он взял стакан, перекрестился и выпил одним духом. Потом поклонился мне и воротился на полати.

Я ничего не мог тогда понять из этого воровского разговора; но после уж догадался, что дело шло о делах Яицкого войска, в то время только что усмирленного после бунта 1772 года. Савельич слушал с видом большого неудовольствия. Он посматривал с подозрением то на хозяина, то на вожатого. Постоялый двор, или, по-тамошнему,



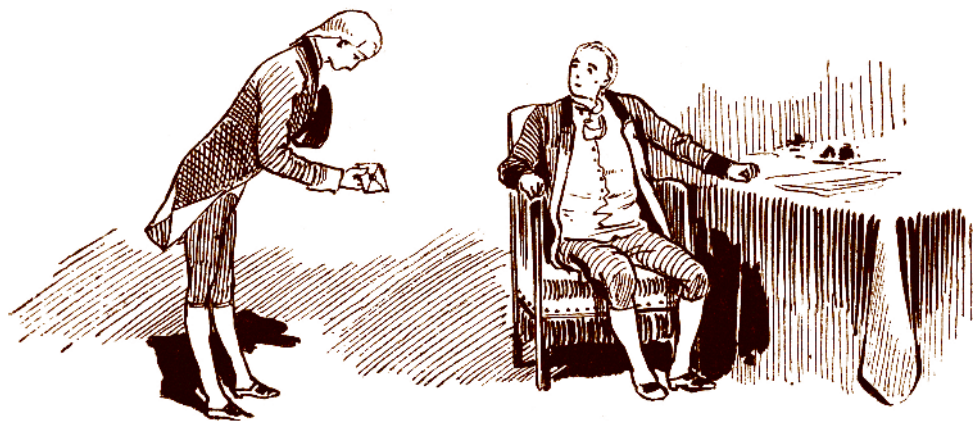


умет, находился в стороне, в степи, далече от всякого селения, и очень походил на разбойническую пристань. Но делать было нечего. Нельзя было и подумать о продолжении пути. Беспокойство Савельича очень меня забавляло. Между тем я расположился ночевать и лег на лавку. Савельич решился убраться на печь; хозяин лег на полу. Скоро вся изба захрапела, и я заснул как убитый.

Проснувшись поутру довольно поздно, я увидел, что буря утихла. Солнце сияло. Снег лежал ослепительной пеленою на необозримой степи. Лошади были запряжены. Я расплатился с хозяином, который взял с нас такую умеренную плату, что даже Савельич с ним не заспорил и не стал торговаться по своему обыкновению, и вчерашние подозрения изгладились совершенно из головы его. Я позвал вожатого, благодарил за оказанную помощь и велел Савельичу дать ему полтину на водку. Савельич нахмурился. «Полтину на водку! – сказал он, – за что это? За то, что ты же изволил подвезти его к постоялому двору? Воля твоя, сударь: нет у нас лишних полтин. Всякому давать на водку, так самому скоро придется голодать». Я не мог спорить с Савельичем. Деньги, по моему обещанию, находились в полном его распоряжении. Мне было

досадно, однако ж, что не мог отблагодарить человека, выручившего меня если не из беды, то по крайней мере из очень неприятного положения. «Хорошо, – сказал я хладнокровно, – если не хочешь дать полтину, то вынь ему что-нибудь из моего платья. Он одет слишком легко. Дай ему мой заячий тулуп».





– Помилуй, батюшка Петр Андреич! – сказал Савельич. – Зачем ему твой заячий тулуп? Он его пропьет, собака, в первом кабаке.

– Это, старинушка, уж не твоя печаль, – сказал мой бродяга, – пропью ли я или нет. Его благородие мне жалует шубу со своего плеча: его на то барская воля, а твое холопье дело не спорить и слушаться.

– Бога ты не боишься, разбойник! – отвечал ему Савельич сердитым голосом. – Ты видишь, что дитя еще не смыслит, а ты и рад его обобрать, простоты его ради. Зачем тебе барский тулупчик? Ты и не напаялишь его на свои окайненные плечища.

– Прошу не умничать, – сказал я своему дядьке, – сейчас неси сюда тулуп.

– Господи владыко! – простонал мой Савельич. – Заячий тулуп почти новешенький! и добро бы кому, а то пьянице оголелому!

Однако заячий тулуп явился. Мужичок тут же стал его примеривать. В самом деле тулуп, из которого успел и я вырасти, был немножко для него узок. Однако он кое-как умудрился и надел его, распоров по швам. Савельич чуть не завыл, услышав, как нитки затрещали. Бродяга был чрезвычайно доволен моим подарком. Он проводил меня до кибитки и сказал с низким поклоном: «Спасибо, ваше благородие! Награди вас господь за вашу добродетель. Век не забуду ваших милостей». Он пошел в свою сторону, а я отправился далее, не обращая внимания на досаду Савельича, и скоро позабыл о вчерашней вьюге, о своем вожатом и о заячем тулупе.

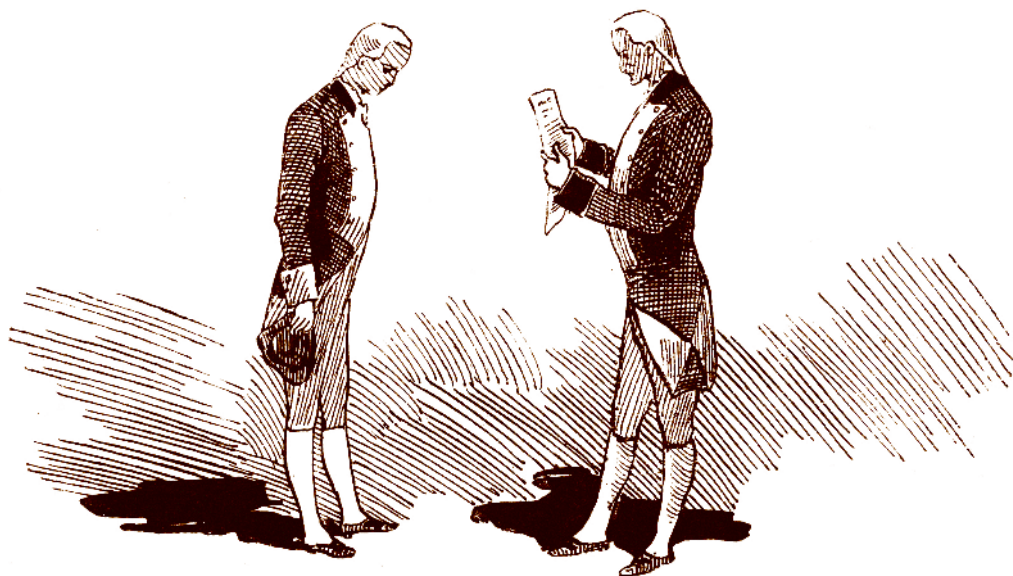
Приехав в Оренбург, я прямо явился к генералу. Я увидел мужчину росту высокого, но уже сгорбленного старостию. Длинные волосы его были совсем белы. Старый полинялый мундир напоминал воина времен Анны Иоанновны, а в его речи сильно отзывался немецкий выговор. Я подал ему письмо от батюшки. При имени его он взглянул на меня быстро: «Поже мой! – сказал он. – Тавно ли, кажется, Андрей Петрович был еще твоих лет, а теперь вот уш какой у него молотец! Ах, фремя, фремя!» Он распечатал письмо и стал читать его вполголоса, делая свои замечания. «Милостивый государь Андрей Карлович, надеюсь, что ваше превосходительство»... Это что за серемонии? Фуй, как ему не софестно! Конечно: дисциплина перво дело, но так ли пишут к старому камрад?.. «ваше превосходительство не забыло»... гм... «и... когда... покойным фельдмаршалом Мин... походе... также и... Каролинку»... Эхе,

брудер¹! так он еще помнит стары наши проказ? «Теперь о деле... К вам моего повесу»... гм... «держат в ежовых рукавицах»... Что такое ешовы рукавиц? Это, должно быть, русска поговорк... Что такое «дершать в ешовых рукавицах?» – повторил он, обращаясь ко мне.

– Это значит, – отвечал я ему с видом как можно более невинным, – обходиться ласково, не слишком строго, давать побольше воли, держать в ежовых рукавицах.

– Гм, понимаю... «и не давать ему воли»... нет, видно ешовы рукавицы значит не то... «При сем... его паспорт»... Где же он? А, вот... «отписать в Семеновский»... Хорошо, хорошо: все будет сделано... «Позволишь без чинов обнять себя и... старым товарищем и другом» – а! наконец догадался... и прочая и прочая... Ну, батюшка, – сказал он, прочитав письмо и отложив в сторону мой паспорт, – все будет сделано: ты будешь офицером переведен в *** полк, и, чтоб тебе времени не терять, то завтра же поезжай в Белогорскую крепость, где ты будешь в команде капитана Миронова, доброго и честного человека. Там ты будешь на службе настоящей, научишься дисциплине. В Оренбурге делать тебе нечего; рассеяние вредно молодому человеку. А сегодня милости просим: отобедать у меня».

«Час от часу не легче! – подумал я про себя, – к чему послужило мне то, что еще в утробе матери я был уже гвардии сержантом! Куда это меня завело? В *** полк и в глухую крепость на границу киргиз-кайсацких степей!..» Я отобедал у Андрея Карловича, втроем с его старым адъютантом. Строгая немецкая экономия царствовала за его столом, и я думаю, что страх видеть иногда лишнего гостя за своею холостою трапезою был отчасти причиною поспешного удаления моего в гарнизон. На другой день я простился с генералом и отправился к месту моего назначения.



¹ брат (нем.).



Глава III КРЕПОСТЬ

Мы в фортеции живем,
Хлеб едим и воду пьем;
А как лютые враги
Придут к нам на пироги,
Зададим гостям пирушку:
Зарядим картечью пушку.

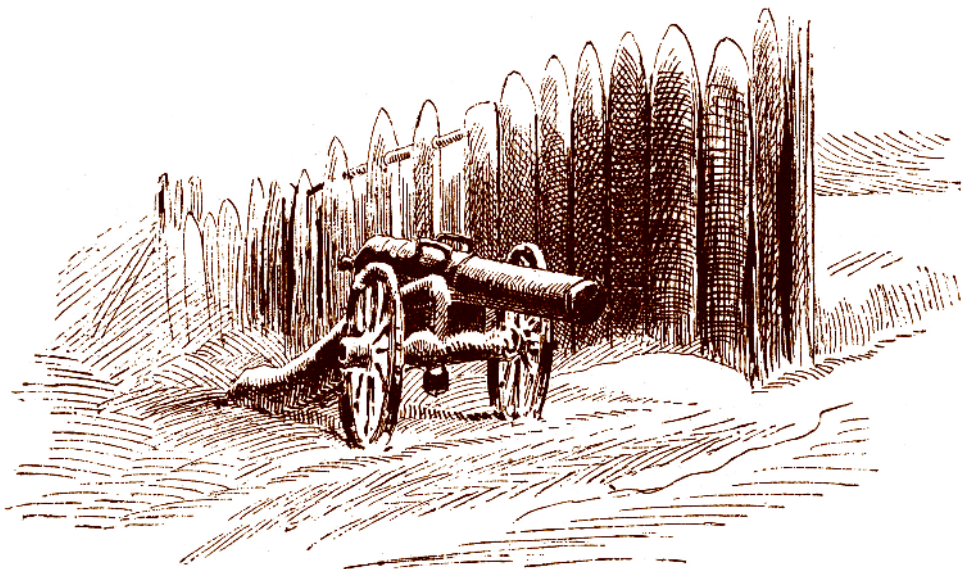
Солдатская песня.

Старинные люди, мой батюшка.

Недоросль.

Белогорская крепость находилась в сорока верстах от Оренбурга. Дорога шла по крутому берегу Яика¹. Река еще не замерзала, и ее свинцовые волны грустно чернели в однообразных берегах, покрытых белым снегом. За ними простирались киргизские степи. Я погрузился в размышления, большею частию печальные. Гарнизонная жизнь мало имела для меня привлекательности. Я старался вообразить себе капитана Миронова, моего будущего начальника, и представлял его строгим, сердитым стариком, не знающим ничего, кроме своей службы, и готовым за всякую безделицу сажать меня под арест на хлеб и на воду. Между тем начало смеркаться. Мы ехали довольно скоро. «Далече ли до крепости?» – спросил я у своего ямщика. «Недалече, – отвечал он. – Вон уж видна». Я глядел во все стороны, ожидая увидеть грозные бастионы,

¹ Яик – старинное название реки Урал, измененное после пугачевского восстания.



башни и вал; но ничего не видал, кроме деревушки, окруженной бревенчатым забором. С одной стороны стояли три или четыре скирда сена, полузанесенные снегом; с другой – скривившаяся мельница, с лубочными крыльями, лениво опущенными. «Где же крепость?» – спросил я с удивлением. «Да вот она», – отвечал ямщик, указывая на деревушку, и с этим словом мы в нее въехали. У ворот увидел я старую чугунную пушку; улицы были тесны и кривы; избы низки и большею частью покрыты соломой. Я велел ехать к коменданту, и через минуту кибитка остановилась перед деревянным домиком, выстроенным на высоком месте, близ деревянной же церкви.

Никто не встретил меня. Я пошел в сени и отворил дверь в переднюю. Старый инвалид, сидя на столе, нашивал синюю заплату на локоть зеленого мундира. Я велел ему доложить обо мне. «Войди, батюшка, – отвечал инвалид, – наши дома». Я вошел в чистенькую комнатку, убранную по-старинному. В углу стоял шкаф с посудой; на стене висел диплом офицерский за стеклом и в рамке; около него





красовались лубочные картинки, представляющие взятие Кистрина и Очакова¹, также выбор невесты и погребение кота². У окна сидела старушка в телогрейке и с платком на голове. Она разматывала нитки, которые держал, распялив на руках, кривой старичок в офицерском мундире. «Что вам угодно, батюшка?» – спросила она, продолжая свое занятие. Я отвечал, что приехал на службу и явился по долгу своему к господину капитану, и с этим словом обратился было к кривому старичку, принимая его за коменданта; но хозяйка перебила затверженную мною речь. «Ивана Кузмича дома нет, – сказала она, – он пошел в гости к отцу Герасиму; да все равно, батюшка, я его хозяйка. Прошу любить и жаловать. Садись, батюшка». Она кликнула девку и велела ей позвать урядника. Старичок своим одиноким глазом поглядывал на меня с любопытством. «Смею спросить, – сказал он, – вы в каком полку изволили служить?» Я удовлетворил его любопытству. «А смею спросить, – продолжал он, – зачем изволили вы перейти из гвардии в гарнизон?» Я отвечал, что такова была воля начальства. «Чаятельно, за неприличные гвардии офицеру поступки», – продолжал неутомимый вопрошатель. «Полно врать пустяки, – сказала ему капитанша, – ты видишь, молодой человек с дороги устал; ему не до тебя... (держи-ка руки прямее...). А ты, мой батюшка, – продолжала она, обращаясь ко мне, – не печалься, что тебя упекли в наше захолустье. Не ты первый, не ты последний. Стерпится, слюбится. Швабрин Алексей Иваныч вот уж пятый год как к нам переведен за смертоубийство. Бог знает, какой грех его попутал; он, изволишь видеть, поехал за город с одним поручиком, да взяли с собою шпаги, да и ну друг в друга пырять; а Алексей Иваныч и заколол поручика, да

¹ Имеется в виду осада русскими войсками прусской крепости Кюстрин в 1758 г. во время Семилетней войны и взятие турецкой крепости Очаков в 1737 г. во время русско-турецкой войны 1735–1739 гг.

² «Как мыши кота хоронили» – известный лубок; староверы под котом подразумевали Петра Первого.

еще при двух свидетелях! Что прикажешь делать? На грех мастера нет».

В эту минуту вошел урядник, молодой и статный казак. «Максими́ч! – сказала ему капитанша. – Отведи господину офицеру квартиру, да почище». – «Слушаю, Василиса Егоровна, – отвечал урядник. – Не поместить ли его благородие к Ивану Полежаеву?» – «Врешь, Макси-



мыч, – сказала капитанша, – у Полежаева и так тесно; он же мне кум и помнит, что мы его начальники. Отведи господина офицера... как ваше имя и отчество, мой батюшка? Петр Андреич?.. Отведи Петра Андреича к Семену Кузову. Он, мошенник, лошадь свою пустил ко мне в огород. Ну, что, Максими́ч, все ли благополучно?»

– Все, слава богу, тихо, – отвечал казак, – только капрал Прохоров подрался в бане с Устиньей Негулиной за шайку горячей воды.

– Иван Игнати́ч! – сказала капитанша кривому старичку. – Разбери Прохорова с Устиньей, кто прав, кто виноват. Да обоих и накажи. Ну, Максими́ч, ступай себе с богом. Петр Андреич, Максими́ч отведет вас на вашу квартиру.

Я откланялся. Урядник привел меня в избу, стоявшую на высоком берегу реки, на самом краю крепости. Половина избы занята была семьею Семена Кузова, другую отвели мне. Она состояла из одной горницы, довольно опрятной, разделенной надвое

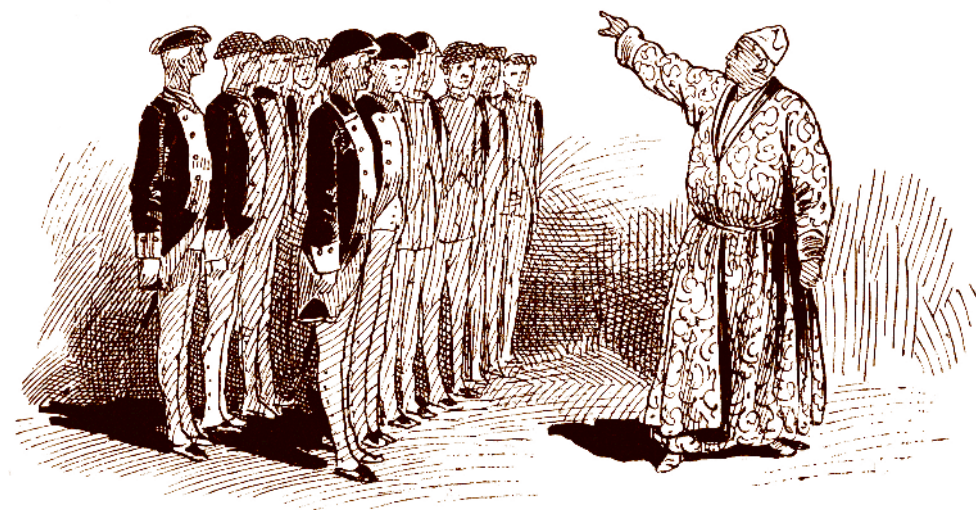


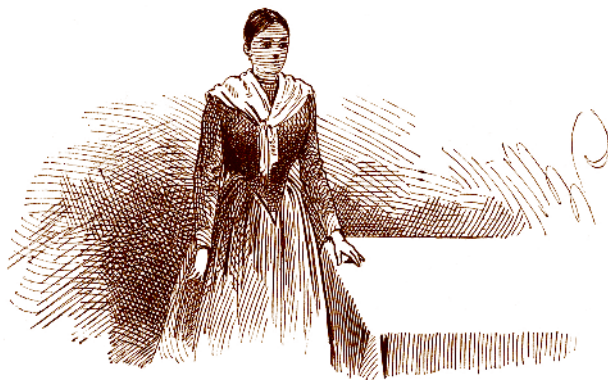
перегородкой. Савельич стал в ней распоряжаться; я стал глядеть в узенькое окошко. Передо мною простиралась печальная степь. Наискось стояло несколько избышек; по улице бродило несколько куриц. Старуха, стоя на крыльце с корытом, кликала свиней, которые отвечали ей дружелюбным хрюканьем. И вот в какой стороне осужден я был проводить мою молодость! Тоска взяла меня; я отошел от окошка и лег спать без ужина, несмотря на увещания Савельича, который повторял с сокрушением: «Господи владыко! ничего кушать не изволит! Что скажет барыня, коли дитя занеможет?»

На другой день поутру я только что стал одеваться, как дверь отворилась, и ко мне вошел молодой офицер невысокого роста, с лицом смуглым и отменно некрасивым, но чрезвычайно живым. «Извините меня, – сказал он мне по-французски, – что я без церемонии прихожу с вами познакомиться. Вчера узнал я о вашем приезде; желание увидеть наконец человеческое лицо так овладело мною, что я не вытерпел. Вы это поймете, когда проживете здесь еще несколько времени». Я догадался, что это был офицер, выписанный из гвардии за поединок. Мы тотчас познакомились. Швабрин был очень не глуп. Разговор его был остер и занимателен. Он с большой веселостию описал мне семейство коменданта, его общество и край, куда завела меня судьба. Я смеялся от чистого сердца, как вошел ко мне тот самый инвалид, который чинил мундир в передней коменданта, и от имени Василисы Егоровны позвал меня к ним обедать. Швабрин вызвался идти со мною вместе.

Подходя к комендантскому дому, мы увидели на площадке человек двадцать стареньких инвалидов с длинными косами и в треугольных шляпах. Они выстроены были во фронт. Впереди стоял комендант, старик бодрый и высокого роста, в колпаке и в китайчатом халате. Увидя нас, он к нам подошел, сказал мне несколько ласковых слов и стал опять командовать. Мы остановились было смотреть на учение; но он просил нас идти к Василисе Егоровне, обещаясь быть вслед за нами. «А здесь, – прибавил он, – нечего вам смотреть».

Василиса Егоровна приняла нас запросто и радушно и обошлась со мною как бы век была знакома. Инвалид и Палашка накрывали стол. «Что это мой Иван Кузмич

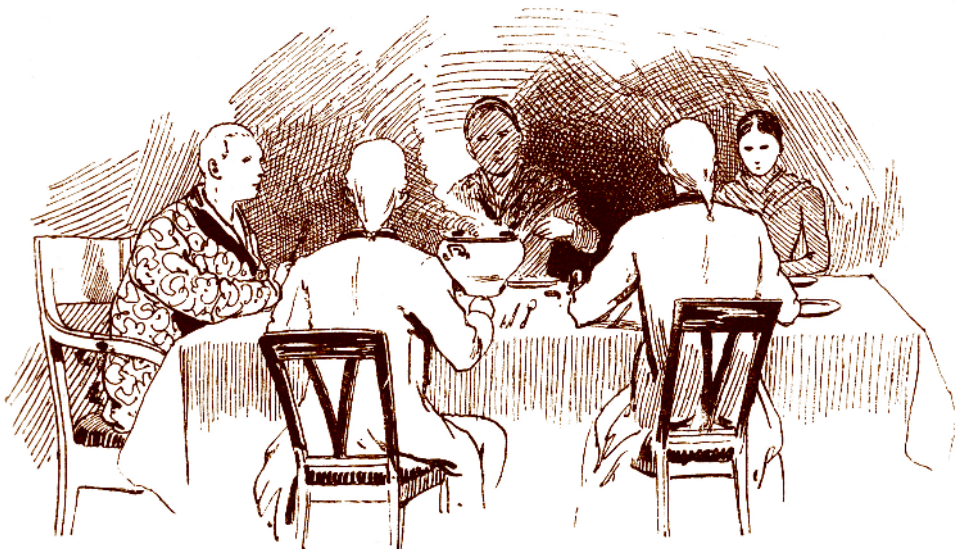


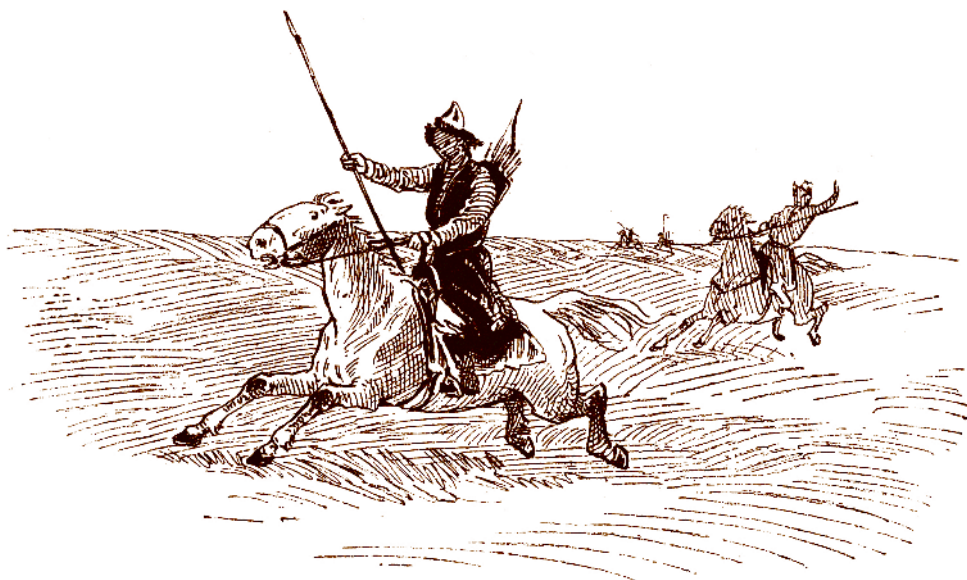


сегодня так заучился! – сказала комендантша. – Палашка, позови барина обедать. Да где же Маша?» Тут вошла девушка лет восемнадцати, круглолицая, румяная, с светлорусыми волосами, гладко зачесанными за уши, которые у ней так и горели. С первого взгляда она не очень мне понравилась. Я смотрел на нее с пре-

дубеждением: Швабрин описал мне Машу, капитанскую дочь, совершенную дурочкою. Марья Ивановна села в угол и стала шить. Между тем подали щи. Василиса Егоровна, не видя мужа, вторично послала за ним Палашку. «Скажи барину: гости-де, ждут, щи простынут; слава богу, ученье не уйдет; успеет накричаться». Капитан вскоре явился, сопровождаемый кривым старичком. «Что это, мой батюшка? – сказала ему жена. – Кушанье давным-давно подано, а тебя не дозовешься». – «А слышь ты, Василиса Егоровна, – отвечал Иван Кузмич, – я был занят службой: солдатушек учил». – «И, полно! – возразила капитанша. – Только слава, что солдат учишь: ни им служба не дается, ни ты в ней толку не ведаешь. Сидел бы дома да богу молился; так было бы лучше. Дорогие гости, милости просим за стол».

Мы сели обедать. Василиса Егоровна не умолкала ни на минуту и осыпала меня вопросами: кто мои родители, живы ли они, где живут и каково их состояние? Услыша, что у батюшки триста душ крестьян, «легко ли! – сказала она, – ведь есть же на свете богатые люди! А у нас, мой батюшка, всего-то душ одна девка Палашка; да слава





богу, живем помаленьку. Одна беда: Маша; девка на выданье, а какое у ней приданое? частый гребень, да веник, да алтын денег (прости бог!), с чем в баню сходить. Хорошо, коли найдется добрый человек; а то сиди себе в девках вековой невестой». Я взглянул на Марью Ивановну; она вся покраснела, и даже слезы капнули на ее тарелку. Мне стало жаль ее, и я спешил переменить разговор. «Я слышал, – сказал я довольно некстати, – что на вашу крепость собираются напасть башкирцы». – «От кого, батюшка, ты изволил это слышать?» – спросил Иван Кузмич. «Мне так сказывали в Оренбурге», – отвечал я. «Пустяки! – сказал комендант. – У нас давно ничего не слыхать. Башкирцы – народ напуганный, да и киргизцы проучены. Небось на нас не сунутся; а насунутся, так я такую задам острастку, что лет на десять угомоню». – «И вам не страшно, – продолжал я, обращаясь к капитанше, – оставаться в крепости, подверженной таким опасностям?» – «Привычка, мой батюшка, – отвечала она. – Тому лет двадцать как нас из полка перевели сюда, и не приведи господи, как я боялась проклятых этих нехристей! Как завижу, бывало, рысьи шапки, да как заслышу их визг, веришь ли, отец мой, сердце так и замрет! А теперь так привыкла, что и с места не тронусь, как придут нам сказать, что злодеи около крепости рыщут».

– Василиса Егоровна прехрабрая дама, – заметил важно Швабрин. – Иван Кузмич может это засвидетельствовать.

– Да, слышь ты, – сказал Иван Кузмич, – баба-то не робкого десятка.

– А Марья Ивановна? – спросил я, – так же ли смела, как и вы?

– Смела ли Маша? – отвечала ее мать. – Нет, Маша трусиха. До сих пор не может слышать выстрела из ружья: так и затрепещется. А как тому два года Иван Кузмич выдумал в мои именины палить из нашей пушки, так она, моя голубушка, чуть со страха на тот свет не отправилась. С тех пор уж и не палим из проклятой пушки.

Мы встали из-за стола. Капитан с капитаншею отправились спать; а я пошел к Швабрину, с которым и провел целый вечер.



Глава IV

ПОЕДИНОК

– Ин изволь, и стань же в позитуру.
Посмотришь, проколю как я твою фигуру!

Княжнин.

Прошло несколько недель, и жизнь моя в Белогорской крепости сделалась для меня не только сносною, но даже и приятною. В доме коменданта был я принят как родной. Муж и жена были люди самые почтенные. Иван Кузмич, вышедший в офицеры из солдатских детей, был человек необразованный и простой, но самый честный и добрый. Жена его им управляла, что согласовалось с его беспечною. Василиса Егоровна и на дела службы смотрела, как на свои хозяйские, и управляла крепостию так точно, как и своим домком. Марья Ивановна скоро перестала со мною дичиться. Мы познакомились. Я в ней нашел благоразумную и чувствительную девушку. Незаметным образом я привязался к доброму семейству, даже к Ивану Игнатьичу, кривому гарнизонному поручику, о котором Швабрин выдумал, будто бы он был в невольительной связи с Василисой Егоровной, что не имело и тени правдоподобия; но Швабрин о том не беспокоился.

Я был произведен в офицеры. Служба меня не отягощала. В богоспасаемой крепости не было ни смотров, ни учений, ни караулов. Комендант по собственной охоте учил иногда своих солдат; но еще не мог добиться, чтобы все они знали, которая сторона правая, которая левая, хотя многие из них, дабы в том не ошибиться, перед каждым оборотом клали на себя знамение креста. У Швабрина было несколько французских книг. Я стал читать, и во мне пробудилась охота к литературе. По утрам



я читал, упражнялся в переводах, а иногда и в сочинении стихов. Обедал почти всегда у коменданта, где обыкновенно проводил остаток дня и куда вечером иногда являлся отец Герасим с женою Акулиной Памфиловной, первую вестовщицею во всем околотке. С А. И. Швабриным, разумеется, виделся я каждый день; но час от часу беседа его становилась для меня менее приятною. Всегдашние шутки его насчет семьи коменданта мне очень не нравились, особенно колкие замечания о Марье Ивановне. Другого общества в крепости не было, но я другого и не желал.

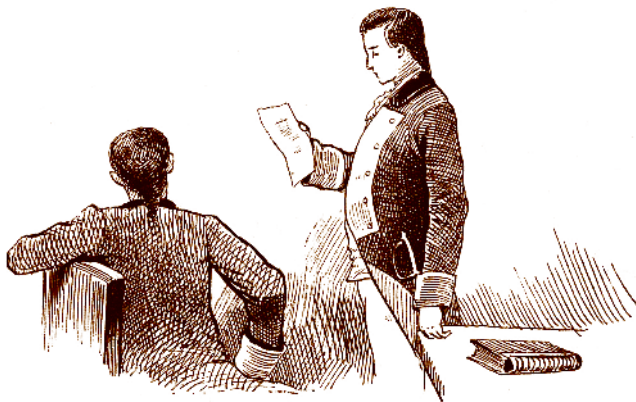
Несмотря на предсказания, башкирцы не возмущались. Спокойствие царствовало вокруг нашей крепости. Но мир был прерван незапным междуусобием.

Я уже сказывал, что я занимался литературою. Опыты мои, для тогдашнего времени, были изрядны, и Александр Петрович Сумароков¹, несколько лет после, очень их похвалял. Однажды удалось мне написать песенку, которой был я



¹ А. П. Сумароков – поэт и критик XVIII века; считается первым профессиональным русским драматургом.

доволен. Известно, что сочинители иногда, под видом требования советов, ищут благосклонного слушателя. Итак, переписав мою песенку, я понес ее к Швабрину, который один во всей крепости мог оценить произведения стихотворца. После маленького предисловия вынул я из кармана свою тетрадку и прочел ему следующие стихи:



Мысль любовну истребляя,
Тщусь прекрасную забыть,
И ах, Машу избегая,
Мышля вольность получить!

Но глаза, что мя пленили,
Всеминутно предо мной;
Они дух во мне смутили,
Сокрушили мой покой.

Ты, узнав мои напасти,
Сжался, Маша, надо мной,
Зря меня в сей лютой части,
И что я пленен тобой.

– Как ты это находишь? – спросил я Швабрина, ожидая похвалы, как дани, мне непременно следуемой. Но, к великой моей досаде, Швабрин, обыкновенно снисходительный, решительно объявил, что песня моя нехороша.

– Почему так? – спросил я его, скрывая свою досаду.

– Потому, – отвечал он, – что такие стихи достойны учителя моего, Василия Кириллыча Тредьяковского¹, и очень напоминают мне его любовные куплеты.

Тут он взял от меня тетрадку и начал немилосердно разбирать каждый стих и каждое слово, издеваясь надо мной самым колким образом. Я не вытерпел, вырвал из рук его мою тетрадку и сказал, что уж отроду не покажу ему своих сочинений. Швабрин посмеялся и над этой угрозой. «Посмотрим, – сказал он, – сдержишь ли ты свое слово: стихотворцам нужен слушатель, как Ивану Кузмичу графинчик водки перед обедом. А кто эта Маша, перед которой изъясняешься в нежной страсти и в любовной напасти? Уж не Марья ль Ивановна?»

– Не твое дело, – отвечал я нахмурясь, – кто бы ни была эта Маша. Не требую ни твоего мнения, ни твоих догадок.

¹ В. К. Тредиаковский – известный поэт и переводчик XVIII века.

– Ого! Самолюбивый стихотворец и скромный любовник! – продолжал Швабрин, час от часу более раздражая меня, – но послушай дружеского совета: коли ты хочешь успеть, то советую действовать не песенками.

– Что это, сударь, значит? Изволь объясниться.

– С охотой. Это значит, что ежели хочешь, чтоб Маша Миронова ходила к тебе в сумерки, то вместо нежных стишков подари ей пару серег.

Кровь моя закипела.

– А почему ты об ней такого мнения? – спросил я, с трудом удерживая свое негодование.

– А потому, – отвечал он с адской усмешкою, – что знаю по опыту ее нрав и обычай.

– Ты лжешь, мерзавец! – вскричал я в бешенстве, – ты лжешь самым бесстыдным образом.

Швабрин переменялся в лице.

– Это тебе так не пройдет, – сказал он, стиснув мне руку. – Вы мне дадите сатисфакцию.

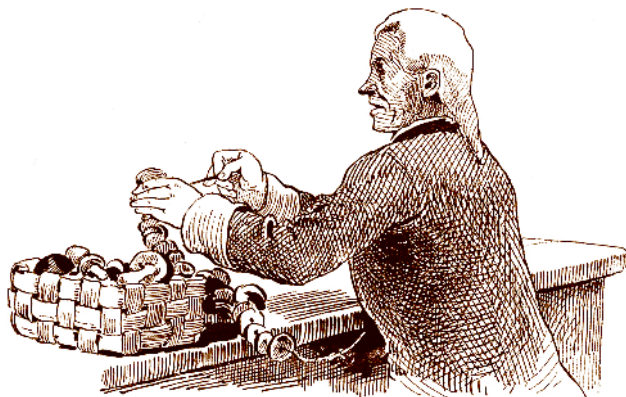
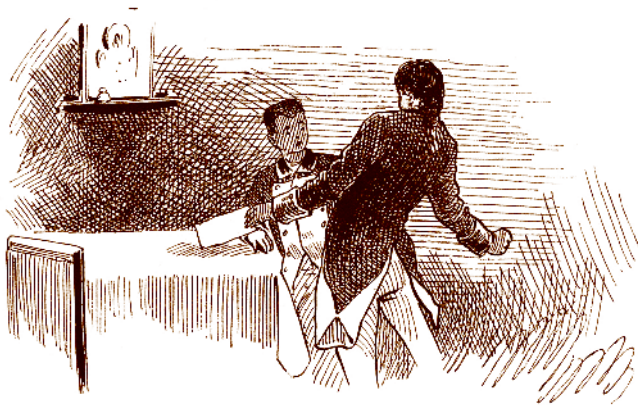
– Изволь; когда хочешь! – отвечал я, обрадовавшись. В эту минуту я готов был растерзать его.

Я тотчас отправился к Ивану Игнатьичу и застал его с иголкою в руках: по препоручению комендантши он нанизывал грибы для сушенья на зиму. «А, Петр Андреевич! – сказал он, увидя меня, – добро пожаловать! Как это вас бог принес? по какому делу, смею спросить?» Я в коротких словах объяснил ему, что я поссорился с Алексеем Иванычем, а его, Ивана Игнатьича, прошу быть моим секундантом. Иван Игнатьич

выслушал меня со вниманием, вытараща на меня свои единственный глаз. «Вы изволите говорить, – сказал он мне, – что хотите Алексея Иваныча заколоть и желаете, чтоб я при том был свидетелем? Так ли? смею спросить».

– Точно так.

– Помилуйте, Петр Андреевич! Что это вы





затеяли! Вы с Алексеем Иваннычем побрались? Велика беда! Брань на вороту не виснет. Он вас побранил, а вы его выругайте; он вас в рыло, а вы его в ухо, в другое, в третье – и разойдитесь; а мы вас уж помирим. А то: доброе ли дело заколоть своего ближнего, смею спросить? И добро б уж закололи вы его: бог с ним, с Алексеем

Иваннычем; я и сам до него не охотник. Ну, а если он вас просверлит? На что это будет похоже? Кто будет в дураках, смею спросить?

Рассуждения благоразумного поручика не поколебали меня. Я остался при своем намерении. «Как вам угодно, – сказал Иван Игнатьич, – делайте как разумеете. Да зачем же мне тут быть свидетелем? К какой стати? Люди дерутся, что за невидальщина, смею спросить? Слава богу, ходил я под шведа и под турку: всего насмотрелся».

Я кое-как стал изъяснять ему должность секунданта, но Иван Игнатьич никак не мог меня понять. «Воля ваша, – сказал он. – Коли уж мне и вмешаться в это дело, так разве пойти к Ивану Кузмичу да донести ему по долгу службы, что в фортеции умышляется злодейство, противное казенному интересу: не благоугодно ли будет господину коменданту принять надлежащие меры...»

Я испугался и стал просить Ивана Игнатьича ничего не сказывать коменданту; на силу его уговорил; он дал мне слово, и я решился от него отступить.

Вечер провел я, по обыкновению своему, у коменданта. Я старался казаться веселым и равнодушным, дабы не подать никакого подозрения и избегнуть докучных вопросов; но, признаюсь, я не имел того хладнокровия, которым хвалятся почти всегда те, которые находились в моем положении. В этот вечер я расположен был к нежности и к умилению. Марья Ивановна нравилась мне более обыкновенного. Мысль, что, может быть, вижу ее в последний раз, придавала ей в моих глазах что-то трогательное. Швабрин явился тут же. Я отвел его в сторону и уведомил его о своем разговоре с Иваном Игнатьичем. «Зачем нам секунденты, – сказал он мне сухо, – без них обойдемся». Мы условились драться за скирдами, что находились подле крепости, и явиться туда на другой день в седьмом часу утра.





Мы разговаривали, по-видимому, так дружелюбно, что Иван Игнатьич от радости проболтался.

«Давно бы так, – сказал он мне с довольным видом, – худой мир лучше доброй ссоры, а и нечестен, так здоров».

– Что, что, Иван Игнатьич? – сказала комендантша, которая в углу гадала в карты, – я не вслушалась.

Иван Игнатьич, заметив во мне знаки неудовольствия и вспомня свое обещание, смутился и не знал, что отвечать. Швабрин подоспел к нему на помощь.

– Иван Игнатьич, – сказал он, – одобряет нашу мировую.

– А с кем это, мой батюшка, ты ссорился?

– Мы было поспорили довольно крупно с Петром Андреичем.

– За что так?

– За сущую безделицу: за песенку, Василиса Егоровна.

– Нашли за что ссориться! за песенку!.. да как же это случилось?

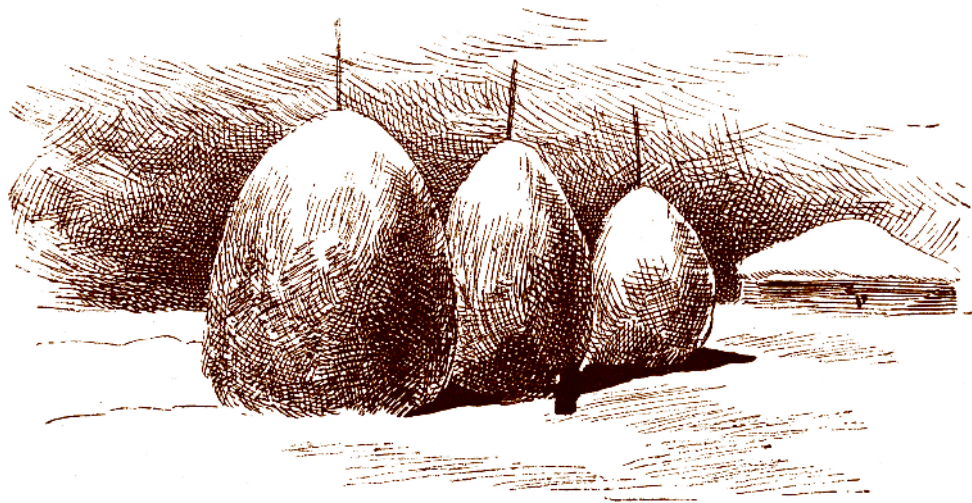
– Да вот как: Петр Андреич сочинил недавно песню и сегодня запел ее при мне, а я затянул мою любимую:

Капитанская дочь,

Не ходи гулять в полночь...

Вышла разладица. Петр Андреич было и рассердился; но потом рассудил, что всяк волен петь, что кому угодно. Тем и дело кончилось.

Бесстыдство Швабрина чуть меня не взбесило; но никто, кроме меня, не понял грубых его обиняков; по крайней мере никто не обратил на них внимания. От

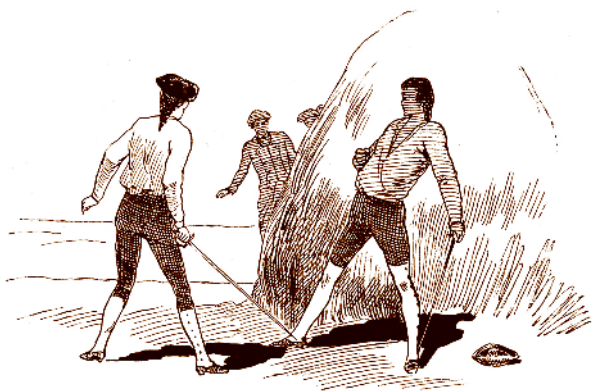


песенок разговор обратился к стихотворцам, и комендант заметил, что все они люди беспутные и горькие пьяницы, и дружески советовал мне оставить стихотворство, как дело службе противное и ни к чему доброму не доводящее.

Присутствие Швабрина было мне несносно. Я скоро простился с комендантом и с его семейством; пришед домой, осмотрел свою шпагу, попробовал ее конец и лег спать, приказав Савельичу разбудить меня в седьмом часу.

На другой день в назначенное время я стоял уже за скирдами, ожидая моего противника. Вскоре и он явился. «Нас могут застать, — сказал он мне, — надобно поспешить». Мы сняли мундиры, остались в одних камзолах и обнажили шпаги. В эту минуту из-за скирда вдруг появился Иван Игнатьич и человек пять инвалидов. Он потребовал нас к коменданту. Мы повиновались с досадою; солдаты нас окружили, и мы отправились в крепость вслед за Иваном Игнатьичем, который вел нас в торжестве, шагая с удивительной важностию.

Мы вошли в комендантский дом. Иван Игнатьич отворил двери, провозгласив торжественно: «привел!» Нас встретила Василиса Егоровна. «Ах, мои батюшки! На что это похоже? как? что? в нашей крепости заводить смертоубийство! Иван Кузмич, сейчас их под арест! Петр Андреич! Алексей Иваныч! подавайте сюда ваши шпаги, подавайте, подавайте. Палашка, отнеси эти шпаги в чулан. Петр Андреич! Этого я от тебя не ожидала. Как тебе не известно? Добро Алексей Иваныч: он за душегубство и из гвардии выписан, он и в госпиталя бога не верует; а ты-то что? туда же лезешь?»





Иван Кузмич вполне соглашался с своею супругою и приговаривал: «А слышь ты, Василиса Егоровна правду говорит. Поединки формально запрещены в воинском артикуле». Между тем Палашка взяла у нас наши шпаги и отнесла в чулан. Я не мог не засмеяться. Швабрин сохранил свою важность. «При всем мо-

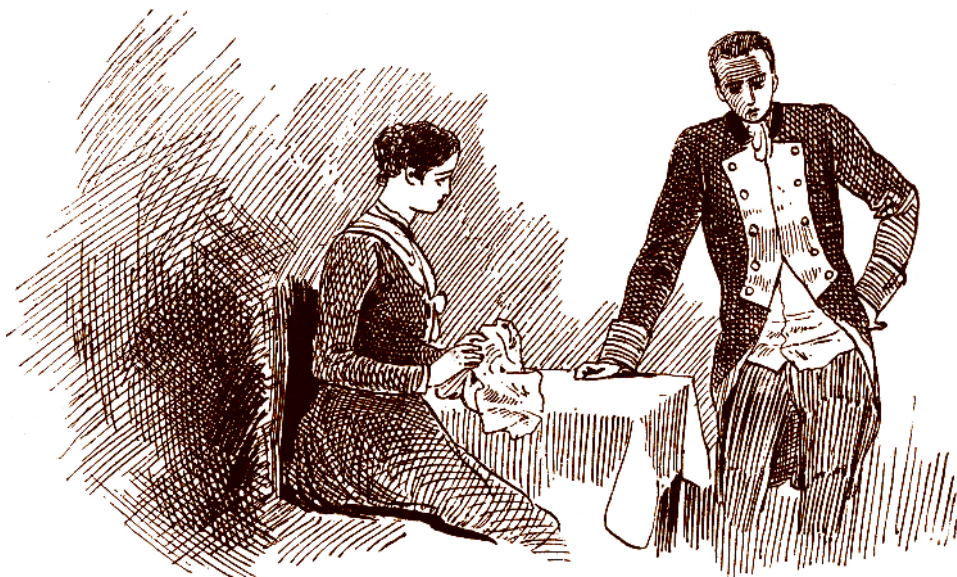
ем уважении к вам, – сказал он ей хладнокровно, – не могу не заметить, что напрасно вы изволите беспокоиться, подвергая нас вашему суду. Предоставьте это Ивану Кузмичу: это его дело». – «Ах! мой батюшка! – возразила комендантша, – да разве муж и жена не один дух и единая плоть? Иван Кузмич! Что ты зеваешь? Сейчас рассади их по разным углам на хлеб да на воду, чтоб у них дурь-то прошла; да пусть отец Герасим наложит на них эпитимию¹, чтоб молили у бога прощения да калялись перед людьми».

Иван Кузмич не знал, на что решиться. Марья Ивановна была чрезвычайно бледна. Мало-помалу буря утихла; комендантша успокоилась и заставила нас друга друга поцеловать. Палашка принесла нам наши шпаги. Мы вышли от коменданта по-видимому примиренные. Иван Игнатьич нас сопровождал. «Как вам не стыдно было, – сказал я ему сердито, – доносить на нас коменданту после того, как дали мне слово того не делать?» – «Как бог свят, я Ивану Кузмичу того не говорил, – отвечал он, – Василиса Егоровна выведала все от меня. Она всем и распорядилась без ведома коменданта. Впрочем, слава богу, что все так кончилось». С этим словом он повернул домой, а Швабрин и я остались наедине. «Наше дело этим кончиться не может», – сказал я ему. «Конечно, – отвечал Швабрин, – вы своею кровью будете отвечать мне за вашу дерзость; но за нами, вероятно, станут присматривать. Несколько дней нам должно будет притворяться. До свидания!» И мы расстались как ни в чем не бывали.

Возвратясь к коменданту, я, по обыкновению своему, подсел к Марье



¹ *Епитимья – церковное наказание в виде поста или длительных молитв.*



Ивановне. Ивана Кузмича не было дома; Василиса Егоровна занята была хозяйством. Мы разговаривали вполголоса. Марья Ивановна с нежностью выговаривала мне за беспокойство, причиненное всем моею ссорою с Швабриным. «Я так и обмерла, – сказала она, – когда сказали нам, что вы намерены биться на шпагах. Как мужчины странны! За одно слово, о котором через неделю верно б они позабыли, они готовы резаться и жертвовать не только жизнью, но и совестью и благополучием тех, которые... Но я уверена, что не вы зачинщик ссоры. Верно, виноват Алексей Иванович».

– А почему же вы так думаете, Марья Ивановна?

– Да так... он такой насмешник! Я не люблю Алексея Ивановича. Он очень мне противен; а странно: ни за что б я не хотела, чтоб и я ему так же не нравилась. Это меня беспокоило бы страх.

– А как вы думаете, Марья Ивановна? Нравится ли вы ему, или нет?

Марья Ивановна заикнулась и покраснела.

– Мне кажется, – сказала она, – я думаю, что нравлюсь.

– Почему же вам так кажется?

– Потому что он за меня сватался.

– Сватался! Он за вас сватался? Когда же?

– В прошлом году. Месяца два до вашего приезда.

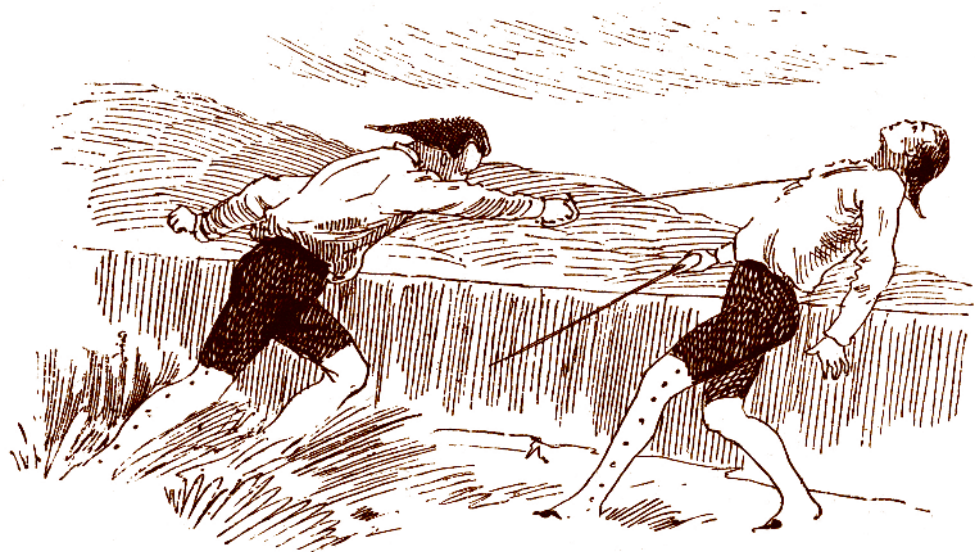
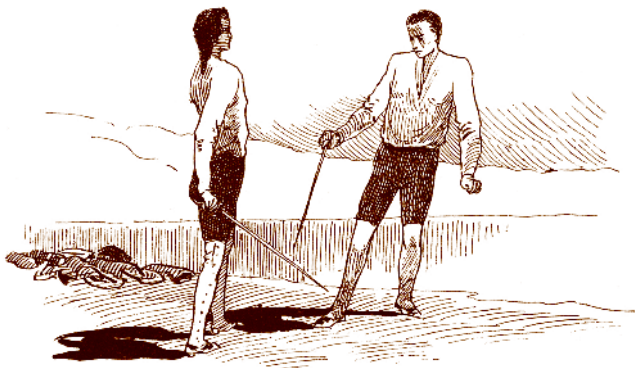
– И вы не пошли?

– Как изволите видеть. Алексей Иванович, конечно, человек умный, и хорошей фамилии, и имеет состояние; но как подумаю, что надобно будет под венцом при всех с ним поцеловаться... Ни за что! ни за какие благополучия!

Слова Марьи Ивановны открыли мне глаза и объяснили мне многое. Я понял упорное злоречие, которым Швабрин ее преследовал. Вероятно, замечал он нашу взаимную склонность и старался отвлечь нас друг от друга. Слова, подавшие повод к нашей ссоре, показались мне еще более гнусными, когда, вместо грубой и

непристойной насмешки, увидел я в них обдуманную клевету. Желание наказать дерзкого злоязычника сделалось во мне еще сильнее, и я с нетерпением стал ожидать удобного случая.

Я дожидался недолго. На другой день, когда сидел я за элегией и грыз перо в ожидании рифмы, Швабрин постучался под моим окошком. Я оставил перо, взял шпагу и к нему вышел. «Зачем откладывать? – сказал мне Швабрин, – за нами не смотрят. Сойдем к реке. Там никто нам не помешает». Мы отправились молча. Опустясь по крутой тропинке, мы остановились у самой реки и обнажили шпаги. Швабрин был искуснее меня, но я сильнее и смелее, и monsieur Бопре, бывший некогда солдатом, дал мне несколько уроков в фехтовании, которыми я и воспользовался. Швабрин не ожидал найти во мне столь опасного противника. Долго мы не могли сделать друг другу никакого вреда; наконец, приметя, что Швабрин ослабевает, я стал с живостию на него наступать и загнал его почти в самую реку. Вдруг услышал я свое имя, громко произнесенное. Я оглянулся и увидел Савельича, сбегающего ко мне по нагорной тропинке... В это самое время меня сильно кольнуло в грудь пониже правого плеча; я упал и лишился чувств.





Глава V ЛЮБОВЬ

Ах ты, девка, девка красная!
Не ходи, девка, молода замуж;
Ты спроси, девка, отца, матери,
Отца, матери, роду-племени;
Накопи, девка, ума-разума,
Ума-разума, приданова.

Песня народная.

Буде лучше меня найдешь, позабудешь.
Если хуже меня найдешь, вспомянешь.

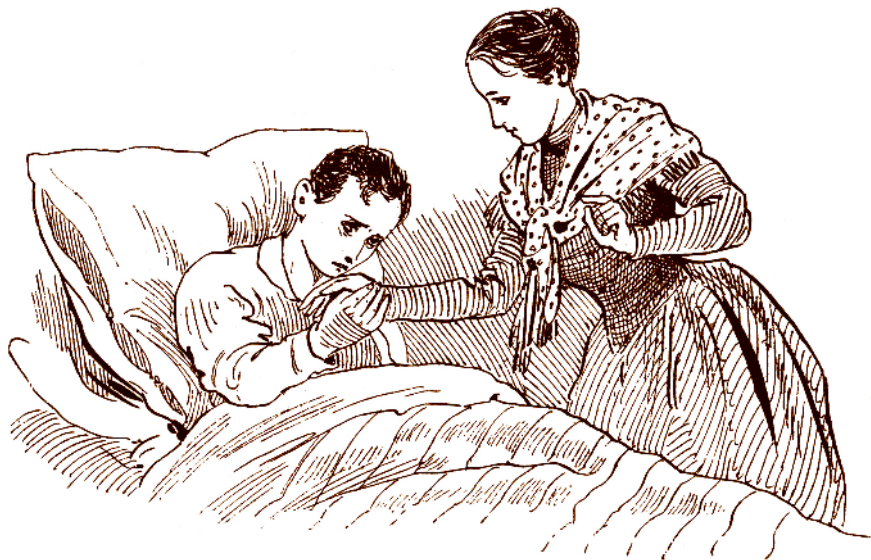
То же.

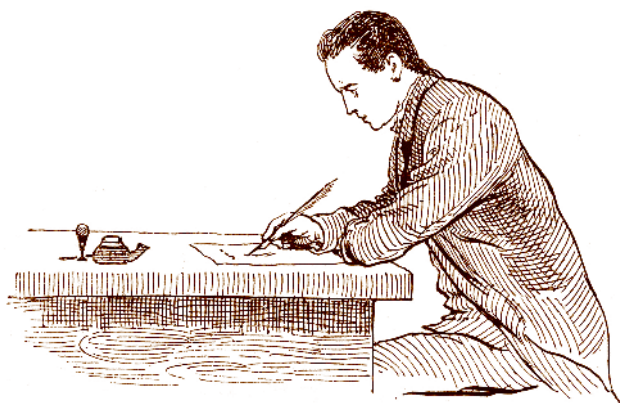
Очнувшись, я несколько времени не мог опомниться и не понимал, что со мною сделалось. Я лежал на кровати, в незнакомой горнице, и чувствовал большую слабость. Передо мною стоял Савельич со свечкою в руках. Кто-то бережно развивал перевязи, которыми грудь и плечо были у меня стянуты. Мало-помалу мысли мои прояснились. Я вспомнил свой поединок и догадался, что был ранен. В эту минуту скрипнула дверь. «Что? каков?» – произнес шепотом голос, от которого я затрепетал. «Все в одном положении, – отвечал Савельич со вздохом, – все без памяти вот уже пятые сутки». Я хотел оборотиться, но не мог. «Где я? кто здесь?» – сказал я с усилием. Марья Ивановна подошла к моей кровати и наклонилась ко мне. «Что? как вы себя чувствуете?» – сказала она. «Слава богу, – отвечал я слабым голосом. – Это

вы, Марья Ивановна? скажите мне...» Я не в силах был продолжать и замолчал. Савельич ахнул. Радость изобразилась на его лице. «Опомнися! опомнися! – повторял он. – Слава тебе, владыко! Ну, батюшка Петр Андреич! напугал ты меня! легко ли? пятые сутки!..» Марья Ивановна перервала его речь. «Не говори с ним много, Савельич, – сказала она. – Он еще слаб». Она вышла и тихонько притворила дверь. Мысли мои волновались. Итак, я был в доме коменданта, Марья Ивановна входила ко мне. Я хотел сделать Савельичу некоторые вопросы, но старик замотал головою и заткнул себе уши. Я с досадою закрыл глаза и вскоре забылся сном.

Проснувшись, подозревал я Савельича и вместо его увидел перед собою Марью Ивановну; ангельский голос ее меня приветствовал. Не могу выразить сладостного чувства, овладевшего мною в эту минуту. Я схватил ее руку и прильнул к ней, обливая слезами умиления. Маша не отрывала ее... и вдруг ее губки коснулись моей щеки, и я почувствовал их жаркий и свежий поцелуй. Огонь пробежал по мне. «Милая, добрая Марья Ивановна, – сказал я ей, – будь моею женою, согласишься на мое счастье». Она опомнилась. «Ради бога успокойтесь, – сказала она, отняв у меня свою руку. – Вы еще в опасности: рана может открыться. Поберегите себя хоть для меня». С этим словом она ушла, оставя меня в упоении восторга. Счастье воскресило меня. Она будет моя! она меня любит! Эта мысль наполняла все мое существование.

С той поры мне час от часу становилось лучше. Меня лечил полковой цирюльник, ибо в крепости другого лекаря не было, и, слава богу, не умничал. Молодость и природа ускорили мое выздоровление. Все семейство коменданта за мною ухаживало. Марья Ивановна от меня не отходила. Разумеется, при первом удобном случае я принялся за прерванное объяснение, и Марья Ивановна выслушала меня терпеливее. Она безо всякого жеманства призналась мне в сердечной склонности и сказала, что ее родители, конечно, рады будут ее счастью. «Но подумай хорошенько, – прибавила она, – со стороны твоих родных не будет ли препятствия?»





Я задумался. В нежности матушкиной я не сомневался, но, зная нрав и образ мыслей отца, я чувствовал, что любовь моя не слишком его тронет и что он будет на нее смотреть как на блажь молодого человека. Я чистосердечно признался в том Марье Ивановне и решился, однако, писать к батюшке как можно красноречивее, прося ро-

дительского благословения. Я показал письмо Марье Ивановне, которая нашла его столь убедительным и трогательным, что не сомневалась в успехе его и предалась чувствам нежного своего сердца со всею доверчивостию молодости и любви.

Со Швабриным я помирился в первые дни моего выздоровления. Иван Кузмич, выговаривая мне за поединок, сказал мне: «Эх, Петр Андреич! надлежало бы мне посадить тебя под арест, да ты уж и без того наказан. А Алексей Иваныч у меня так сидит в хлебном магазине под караулом, и шпага его под замком у Василисы Егоровны. Пускай он себе надумается да раскается». Я слишком был счастлив, чтоб хранить в сердце чувство неприязненное. Я стал просить за Швабрину, и добрый комендант, с согласия своей супруги, решился его освободить. Швабрин пришел ко мне; он изъяснил глубокое сожаление о том, что случилось между нами; признался, что был кругом виноват, и просил меня забыть о прошедшем. Будучи от природы не злопамятен, я искренно простил ему и нашу ссору и рану, мною от него полученную. В клевете его видел я досаду оскорбленного самолюбия и отвергнутой любви и великодушно извинял своего несчастного соперника.

Вскоре я выздоровел и мог перебраться на мою квартиру. С нетерпением ожидал я ответа на посланное письмо, не смея надеяться и стараясь заглушить печальные предчувствия. С Василисой Егоровной и с ее мужем я еще не объяснялся; но предложение мое не должно было их удивить. Ни я, ни Марья Ивановна не старались скрывать от них свои чувства, и мы заранее были уж уверены в их согласии.

Наконец однажды утром Савельич вошел ко





мне, держа в руках письмо. Я схватил его с трепетом. Адрес был написан рукою батюшки. Это приуготовило меня к чему-то важному, ибо обыкновенно письма писала ко мне матушка, а он в конце приписывал несколько строк. Долго не распечатывал я пакета и перечитывал торжественную надпись: «Сыну моему Петру Андреевичу Гриневу, в Оренбургскую губернию, в Белогорскую крепость». Я старался по почерку угадать расположение духа, в котором писано было письмо; наконец решился его распечатать и с первых строк увидел, что все дело пошло к черту. Содержание письма было следующее:

«Сын мой Петр! Письмо твое, в котором просишь ты нас о родительском нашем благословении и согласии на брак с Марьей Ивановой дочерью Мироновой, мы получили 15-го сего месяца, и не только ни моего благословения, ни моего согласия дать я тебе не намерен, но еще и собираюсь до тебя добраться да за проказы твои проучить тебя путем как мальчишку, несмотря на твой офицерской чин: ибо ты доказал, что шпагу носить еще недостойн, которая пожалована тебе на защиту отечества, а не для дуелей с такими же сорванцами, каков ты сам. Немедленно буду писать к Андрею Карловичу, прося его перевести тебя из Белогорской крепости куда-нибудь подальше, где бы дурь у тебя прошла. Матушка твоя, узнав о твоём поединке и о том, что ты ранен, с горести занемогла и теперь лежит. Что из тебя будет? Молю бога, чтоб ты исправился, хоть и не смею надеяться на его великую милость,

Отец твой *А. Г.*»

Чтение сего письма возбудило во мне разные чувствования. Жестокие выражения, на которые батюшка не поскупился, глубоко оскорбили меня. Пренебрежение,



уморить». Савельич был поражен как громом. «Помилуй, сударь, – сказал он, чуть не зарыдав, – что это изводишь говорить? Я причина, что ты был ранен! Бог видит, бежал я заслонить тебя своею грудью от шпаги Алексея Иваныча! Старость проклятая помешала. Да что ж я сделал матушке-то твоей?» – «Что ты сделал? – отвечал я. – Кто просил тебя писать на меня доносы? разве ты приставлен ко мне в шпионы?» – «Я? писал на тебя доносы? – отвечал Савельич со слезами. – Господи царю небесный! Так изволь-ка прочитать, что пишет ко мне барин: увидишь, как я доносил на тебя». Тут он вынул из кармана письмо, и я прочел следующее:

«Стыдно тебе, старый пес, что ты, невзирая на мои строгие приказания, мне не донес о сыне моем Петре Андреевиче и что посторонние принуждены уведомлять меня о его проказах. Так ли исполняешь ты свою должность и господскую волю? Я тебя, старого пса! pošлю свиной пасти за утайку правды и потворство к молодому человеку. С получением сего приказываю тебе немедленно отписать ко мне, каково теперь его здоровье, о котором пишут мне, что поправилось; да в какое именно место он ранен и хорошо ли его залечили».

Очевидно было, что Савельич передо мною был прав и что я напрасно оскорбил его упреком и подозрением. Я просил у него прощения; но старик был неутешен. «Вот до чего я дожил, – повторял он, – вот каких милостей дослужился от своих господ! Я и старый пес, и свинопас, да я ж и причина твоей раны? Нет, батюшка Петр Андреич! не я, проклятый мусье всему виноват: он научил тебя тыкаться железными вертелами да притопывать, как будто тыканием да топанием уберешься от злого человека! Нужно было нанимать мусье да тратить лишние деньги!»

Но кто же брал на себя труд уведомить отца моего о моем поведении? Генерал? Но он, казалось, обо мне не слишком заботился; а Иван Кузмич не почел за нужное рапортовать о моем поединке. Я терялся в догадках. Подозрения мои остановились на Швабрине. Он один имел выгоду в доносе, коего следствием могло быть удаление мое из крепости и разрыв с комендантским семейством. Я пошел объявить обо всем

с каким он упоминал о Марье Ивановне, казалось мне столь же непристойным, как и несправедливым. Мысль о переведении моем из Белогорской крепости меня ужасала; но всего более огорчило меня известие о болезни матери. Я негодовал на Савельича, не сомневаясь, что поединок мой стал известен родителям через него. Шагая взад и вперед по тесной моей комнате, я остановился перед ним и сказал, взглянув на него грозно: «Видно тебе не довольно, что я, благодаря тебя, ранен и целый месяц был на краю гроба: ты и мать мою хочешь

Марье Ивановне. Она встретила меня на крыльце. «Что это с вами случилось? – сказала она, увидев меня. – Как вы бледны!» – «Все конечно!» – отвечал я и отдал ей батюшкино письмо. Она побледнела в свою очередь. Прочитав, она возвратила мне письмо дрожащею рукою и сказала дрожащим голосом: «Видно, мне не судьба...



Родные ваши не хотят меня в свою семью. Буди во всем воля господня! Бог лучше нашего знает, что нам надобно. Делать нечего, Петр Андреич; будьте хоть вы счастливы...» – «Этому не бывать!» – вскричал я, схватив ее за руку, – ты меня любишь; я готов на все. Пойдем, кинемся в ноги к твоим родителям; они люди простые, не жестокосердые гордецы... Они нас благословят; мы обвенчаемся... а там, со временем, я уверен, мы умолим отца моего; матушка будет за нас; он меня простит...» – «Нет, Петр Андреич, – отвечала Маша, – я не выйду за тебя без благословения твоих родителей. Без их благословения не будет тебе счастья. Покоримся воле божией. Коли найдешь себе суженую, коли полюбишь другую – бог с тобою, Петр Андреич; а я за вас обоих...» Тут она заплакала и ушла от меня; я хотел было войти за нею в комнату, но чувствовал, что был не в состоянии владеть самим собою, и воротился домой.





Я сидел, погруженный в глубокую задумчивость, как вдруг Савельич прервал мои размышления. «Вот, сударь, – сказал он, подавая мне исписанный лист бумаги, – посмотри, доносчик ли я на своего барина и стараюсь ли я помутить сына с отцом.» Я взял из рук его бумагу: это был ответ Савельича на полученное им письмо. Вот он от слова до слова:

«Государь Андрей Петрович,
отец наш милостивый!

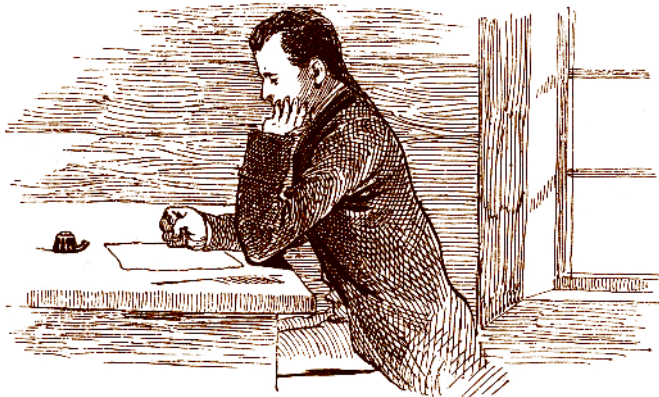
Милостивое писание ваше я получил, в котором изволишь гневаться на меня, раба вашего, что-де стыдно мне не исполнять господских приказаний; а я, не старый пес, а верный ваш слуга, господских приказаний слушаюсь и усердно вам всегда служил и дожил до седых волос. Я ж про рану Петра Андреича ничего к вам не писал, чтоб не испужать понапрасну, и, слышно, барыня, мать наша Авдотья Васильевна и так с испугу слегла, и за ее здоровье бога буду молить. А Петр Андреич ранен был под правое плечо, в грудь под самую косточку, в глубину на полтора вершка, и лежал он в доме у коменданта, куда принесли мы его с берега, и лечил его здешний цирюльник Степан Парамонов; и теперь Петр Андреич, слава богу, здоров, и про него, кроме хорошего, нечего и писать. Командиры, слышно, им довольны; а у Василисы Егоровны он как родной сын. А что с ним случилась такая оказия, то было молодцу не укора: конь и о четырех ногах, да спотыкается. А изволите вы писать, что сошлете меня свиней пасти, и на то ваша боярская воля. За сим кланяюсь рабски.

Верный холоп ваш
Архип Савельев».



Я не мог несколько раз не улыбнуться, читая грамоту доброго старика. Отвечать батюшке я был не в состоянии; а чтоб успокоить матушку, письмо Савельича мне показалось достаточным.

С той поры положение мое переменилось. Марья Ивановна почти со мною не говорила и всячески старалась избегать меня. Дом коменданта стал для меня постыл. Мало-помалу приучился я сидеть один у себя дома. Василиса Егоровна сначала за то мне пеняла; но, видя мое упрямство, оставила меня в покое. С Иваном Кузмичом виделся я только, когда того требовала служба. Со Швабриным встречался редко и неохотно, тем более что замечал в нем скрытую к себе неприязнь, что и утверждало меня в моих подозрениях. Жизнь моя сделалась мне несносна. Я впал в мрачную задумчивость, которую питали одиночество и бездействие. Любовь моя разгоралась в уединении и час от часу становилась мне тягостнее. Я потерял охоту к чтению и словесности. Дух мой упал. Я боялся или сойти с ума, или удариться в распутство. Неожиданные происшествия, имевшие важное влияние на всю мою жизнь, дали вдруг моей душе сильное и благое потрясение.





Глава VI ПУГАЧЕВЩИНА

Вы, молодые ребята, послушайте,
Что мы, старые старики, будем сказывать.

Песня.

Прежде нежели приступлю к описанию странных происшествий, коим я был свидетелем, я должен сказать несколько слов о положении, в котором находилась Оренбургская губерния в конце 1773 года.

Сия обширная и богатая губерния обитаема была множеством полудиких народов, признавших еще недавно владычество российских государей. Их поминутные возмущения, непривычка к законам и гражданской жизни, легкомыслие и жестокость требовали со стороны правительства непрерывного надзора для удержания их в повиновении. Крепости выстроены были в местах, признанных удобными, заселены по большей части казаками, давнишними обладателями яицких берегов. Но яицкие казаки, долженствовавшие охранять спокойствие и безопасность сего края, с некоторого времени были сами для правительства беспокойными и опасными подданными. В 1772 году произошло возмущение в их главном городке. Причиной тому были строгие меры, предпринятые генерал-майором Траубенбергом¹, дабы привести

¹ Генерал-майор Михаил Михайлович Траубенберг занимал различные посты в Оренбургской губернии. С его убийства берет начало Яицкое казачье восстание 1772 года и Пугачёвское восстание 1773–1775 годов.

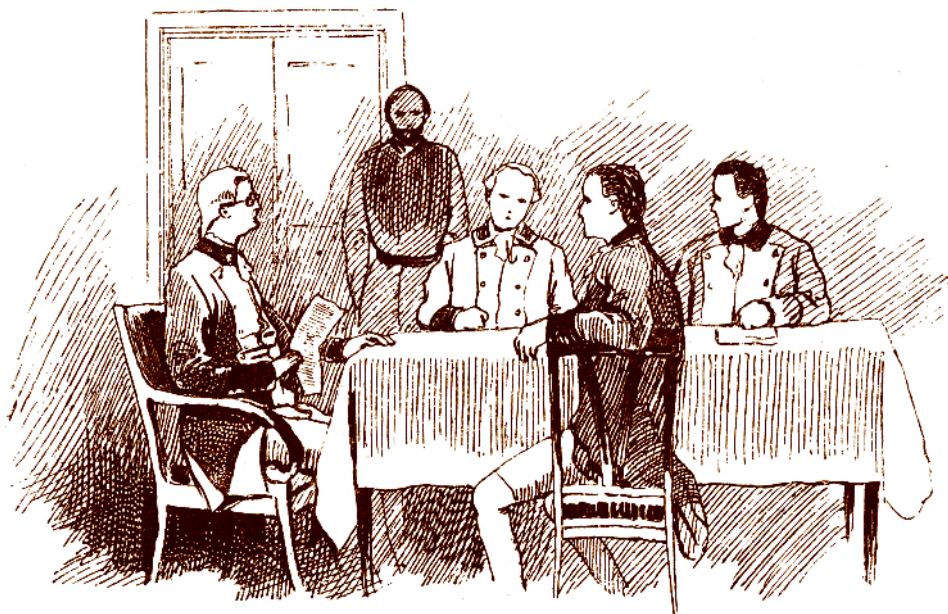
войско к должному повиновению. Следствием было варварское убийство Траубенберга, своевольная перемена в управлении и, наконец, усмирение бунта картечью и жестокими наказаниями.

Это случилось несколько времени перед прибытием моим в Белогорскую крепость. Все было уже тихо или казалось

таким; начальство слишком легко поверило мнимому раскаянию лукавых мятежников, которые злобствовали втайне и выжидали удобного случая для возобновления беспорядков.

Обращаясь к своему рассказу.

Однажды вечером (это было в начале октября 1773 года) сидел я дома один, слушая вой осеннего ветра и смотря в окно на тучи, бегущие мимо луны. Пришли меня звать от имени коменданта. Я тотчас отправился. У коменданта нашел я Швабрина, Ивана Игнатьича и казацкого урядника. В комнате не было ни Василисы Егоровны, ни Марьи Ивановны. Комендант со мною поздоровался с видом озабоченным. Он запер двери, всех усадил, кроме урядника, который стоял у дверей, вынул из кармана бумагу и сказал нам: «Господа офицеры, важная новость! Слушайте, что пишет генерал». Тут он надел очки и прочел следующее:



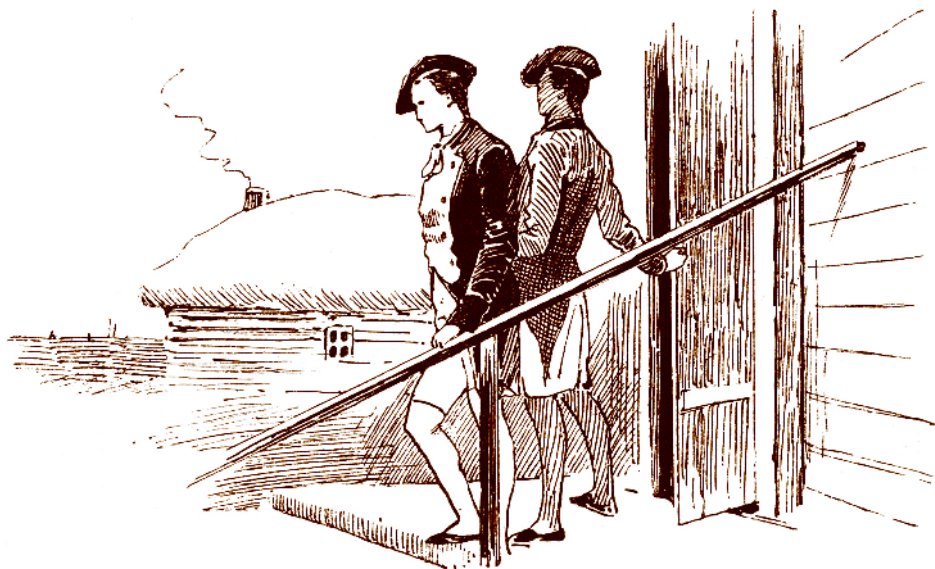
Капитанская дочка

«Господину коменданту Белогорской крепости Капитану Миронову.
По секрету.

Сим извещаю вас, что убежавший из-под караула донской казак и раскольник Емельян Пугачев, учиня непростительную дерзость принятием на себя имени покойного императора Петра III, собрал злодейскую шайку, произвел возмущение в яицких селениях и уже взял и разорил несколько крепостей, производя везде грабежи и смертные убийства. Того ради, с получением сего, имеете вы, господин капитан, немедленно принять надлежащие меры к отражению помянутого злодея и самозванца, а буде можно и к совершенному уничтожению оного, если он обратится на крепость, вверенную вашему попечению».

– Принять надлежащие меры! – сказал комендант, снимая очки и складывая бумагу. – Слышь ты, легко сказать. Злодей-то, видно, силен; а у нас всего сто тридцать человек, не считая казаков, на которых плоха надежда, не в укор буди тебе сказано, Максимыч. (Урядник усмехнулся.) Однако делать нечего, господа офицеры! Будьте исправны, учредите караулы да ночные дозоры; в случае нападения запирайте ворота да выводите солдат. Ты, Максимыч, смотри крепко за своими казаками. Пушку осмотреть да хорошенько вычистить. А пуще всего содержите все это в тайне, чтоб в крепости никто не мог о том узнать преждевременно.

Раздав сии повеления, Иван Кузмич нас распустил. Я вышел вместе со Швабриным, рассуждая о том, что мы слышали. «Как ты думаешь, чем это кончится?» – спросил я его. «Бог знает, – отвечал он, – посмотрим. Важного покамест еще ничего не вижу. Если же...» Тут он задумался и в рассеянии стал насвистывать французскую арию.





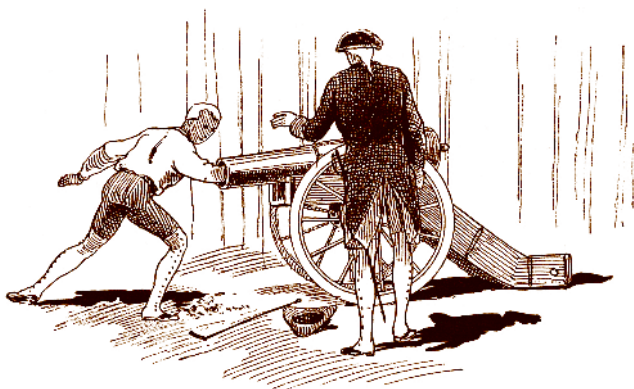
Несмотря на все наши предосторожности, весть о появлении Пугачева разнеслась по крепости. Иван Кузмич, хоть и очень уважал свою супругу, но ни за что на свете не открыл бы ей тайны, вверенной ему по службе. Получив письмо от генерала, он довольно искусным образом выпроводил Василису Егоровну,

сказав ей, будто бы отец Герасим получил из Оренбурга какие-то чудные известия, которые содержит в великой тайне. Василиса Егоровна тотчас захотела отправиться в гости к попадье и, по совету Ивана Кузмича, взяла с собою и Машу, чтоб ей не было скучно одной.

Иван Кузмич, оставшись полным хозяином, тотчас послал за нами, а Палашку запер в чулан, чтоб она не могла нас подслушать.

Василиса Егоровна возвратилась домой, не успев ничего выведать от попадьи, и узнала, что во время ее отсутствия было у Ивана Кузмича совещание и что Палашка была под замком. Она догадалась, что была обманута мужем, и приступила к нему с допросом. Но Иван Кузмич приготовился к нападению. Он нимало не смутился и бодро отвечал своей любопытной сожительнице: «А слышь ты, матушка, бабы наши вздумали печи топить соломою; а как от того может произойти несчастье, то я и отдал строгий приказ впредь соломою бабам печей не топить, а топить хворостом и валежником». — «А для чего ж было тебе запирать Палашку? — спросила комендантша. — За что бедная девка просидела в чулане, пока мы не воротились?» Иван Кузмич не был приготовлен к такому вопросу; он запутался и пробормотал что-то очень нескладное. Василиса Егоровна увидела коварство своего мужа; но, зная, что ничего от него не добьется, прекратила свои вопросы и завела речь о соленых огурцах, которые Акулина Памфиловна приготовляла совершенно особенным образом. Во всю ночь Василиса Егоровна не могла заснуть и никак не могла догадаться, что бы такое было в голове ее мужа, о чем бы ей нельзя было знать.

На другой день, возвращаясь от обедни, она увидела Ивана Игнатьича, который вытаскивал из пушки тряпички, камушки, щепки, бабки и сор всякого рода, запиханный



в нее ребятишками. «Что бы значили эти военные приготовления? – думала комендантша, – уж не ждут ли нападения от киргизцев? Но неужто Иван Кузмич стал бы от меня таить такие пустяки?» Она кликнула Ивана Игнатьича, с твердым намерением вывести от него тайну, которая мучила ее дамское любопытство.

Василиса Егоровна сделала ему несколько замечаний касательно хозяйства, как судия, начинающий следствие вопросами посторонними, дабы сперва усыпить осторожность ответчика. Потом, помолчав несколько минут, она глубоко вздохнула и оказала, качая головою: «Господи боже мой! Вишь какие новости! Что из этого будет?»

– И, матушка! – отвечал Иван Игнатьич. – Бог милостив: солдат у нас довольно, пороху много, пушку я вычистил. Авось дадим отпор Пугачеву. Господь не выдаст, свинья не съест!

– А что за человек этот Пугачев? – спросила комендантша.

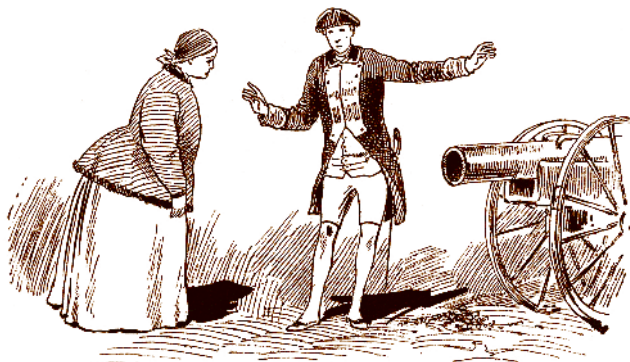
Тут Иван Игнатьич заметил, что проговорился, и закусил язык. Но уже было поздно. Василиса Егоровна принудила его во всем признаться, дав ему слово не рассказывать о том никому.

Василиса Егоровна сдержала свое обещание и никому не сказала ни одного слова, кроме как попадье, и то потому только, что корова ее ходила еще в степи и могла быть захвачена злодеями.

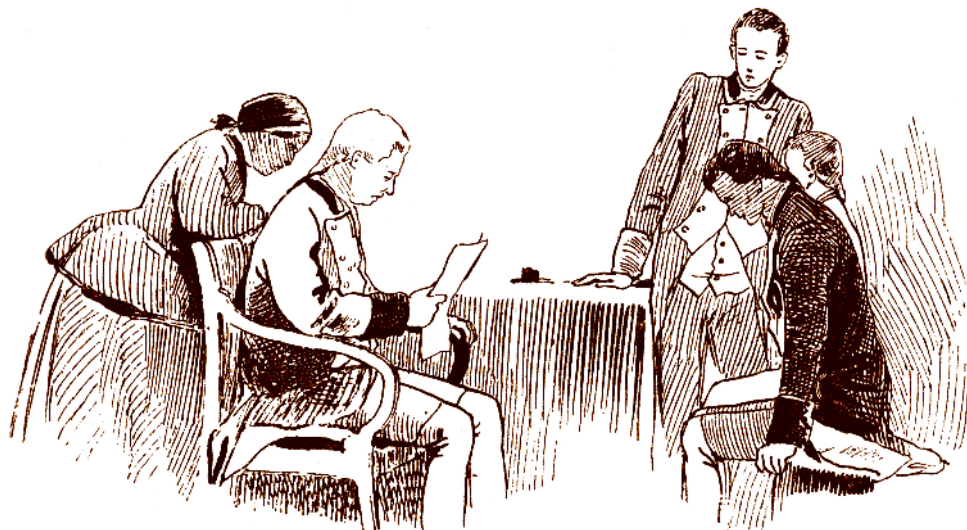
Вскоре все заговорили о Пугачеве. Толки были различны. Комендант послал урядника с поручением разведать хорошенько обо всем по соседним селениям и крепостям. Урядник возвратился через два дня и объявил, что в степи верст за шесть-

десят от крепости видел он множество огней и слышал от башкирцев, что идет неведомая сила. Впрочем, не мог он сказать ничего положительного, потому что ехать дальше побоялся.

В крепости между казаками заметно стало необыкновенное волнение; во всех улицах они толпились в кучки, тихо







разговаривали между собою и расходились, увидя драгуна или гарнизонного солдата. Посланы были к ним лазутчики. Юлай, крещеный калмык, сделал коменданту важное донесение. Показания урядника, по словам Юлая, были ложны: по возвращении своем лукавый казак объявил своим товарищам, что он был у бунтовщиков, представлялся самому их предводителю, который допустил его к своей руке и долго с ним разговаривал. Комендант немедленно посадил урядника под караул, а Юлая назначил на его место. Эта новость принята была казаками с явным неудовольствием. Они громко роптали, и Иван Игнатьич, исполнитель комендантского распоряжения, слышал своими ушами, как они говорили: «Вот уж тебе будет, гарнизонная крыса!» Комендант думал в тот же день допросить своего арестанта; но урядник бежал из-под караула, вероятно при помощи своих единомышленников.

Новое обстоятельство усилило беспокойство коменданта. Схвачен был башкирец с возмутительными листами. По сему случаю комендант думал опять собрать своих офицеров и для того хотел опять удалить Василису Егоровну под благовидным предлогом. Но как Иван Кузмич был человек самый прямодушный и правдивый, то и не нашел другого способа, кроме как единожды уже им употребленного.

«Слышь ты, Василиса Егоровна, – сказал он ей покашливая. – Отец Герасим получил, говорят, из города...» – «Полно врать, Иван Кузмич, – перервала комендантша, – ты, знать, хочешь собрать совещание да без меня потолковать об Емельяне Пугачеве; да лих не проведешь!» Иван Кузмич вытаращил глаза. «Ну, матушка, – сказал он, – коли ты уже все знаешь, так, пожалуй, оставайся; мы потолкуем и при тебе». – «То-то, батько мой, – отвечала она, – не тебе бы хитрить; посылай-ка за офицерами».

Мы собрались опять. Иван Кузмич в присутствии жены прочел нам воззвание Пугачева, писанное каким-нибудь полуграмотным казаком. Разбойник объявлял о своем намерении немедленно идти на нашу крепость; приглашал казаков и солдат в свою шайку, а командиров увещевал не сопротивляться, угрожая казнью в противном случае. Воззвание написано было в грубых, но сильных выражениях и должно

было произвести опасное впечатление на умы простых людей.

«Каков мошенник! – воскликнула комендантша. – Что смеет еще нам предлагать! Выйти к нему навстречу и положить к ногам его знамена! Ах он собачий сын! Да разве не знает он, что мы уже сорок лет в службе и всего, слава богу, насмотрелись? Неужто нашлись такие ко-

мандиры, которые послушались разбойника?»

– Кажется, не должно бы, – отвечал Иван Кузмич. – А слышно, злодей завладел уж многими крепостями.

– Видно, он в самом деле силен, – заметил Швабрин.

– А вот сейчас узнаем настоящую его силу, – сказал комендант. – Василиса Егоровна, дай мне ключ от анбара. Иван Игнатьич, приведи-ка башкирца да прикажи Юлаю принести сюда плетей.

– Постой, Иван Кузмич, – сказала комендантша, вставая с места. – Дай уведу Машу куда-нибудь из дому; а то услышит крик, перепугается. Да и я, правду сказать, не охотница до розыска. Счастливо оставаться.

Пытка в старину так была укоренена в обычаях судопроизводства, что благодетельный указ, уничтоживший оную, долго оставался безо всякого действия. Думали, что собственное признание преступника необходимо было для его полного обличения, – мысль не только неосновательная, но даже и совершенно противная здравому юридическому смыслу: ибо, если отрицание подсудимого не приемлется в доказательство его невинности, то признание его и того менее должно быть доказательством его виновности. Даже и ныне случается мне слышать старых судей, жалеющих об уничтожении варварского обычая. В наше же время никто не сомневался в необходи-



мости пытки – ни судьи, ни подсудимые. Итак, приказание коменданта никого из нас не удивило и не встревожило. Иван Игнатьич отправился за башкирцем, который сидел в анбаре под ключом у комендантши, и через несколько минут невольника привели в переднюю. Комендант велел его к себе представить.



Капитанская дочка



Башкирец с трудом шагнул через порог (он был в колодке) и, сняв высокую свою шапку, остановился у дверей. Я взглянул на него и содрогнулся. Никогда не забуду этого человека. Ему казалось лет за семьдесят. У него не было ни носа, ни ушей. Голова его была выбрита; вместо бороды торчало несколько седых волос; он был малого роста, тощ и сгорблен; но узенькие глаза его сверкали еще огнем. «Эхе! – сказал комендант, узнав, по страшным его приметам, одного из бунтовщиков, наказанных в 1741 году. – Да ты, видно, старый волк, побывал в наших капканах. Ты, знать, не впервой уже бунтуешь, коли у тебя так гладко выстрогана башка. Подойди-ка поближе; говори, кто тебя подослал?»

Старый башкирец молчал и глядел на коменданта с видом совершенного бессмыслия. «Что же ты молчишь? – продолжал Иван Кузмич, – али бельмес по-русски не разумеешь? Юлай, спроси-ка у него по-вашему, кто его подослал в нашу крепость?»

Юлай повторил на татарском языке вопрос Ивана Кузмича. Но башкирец глядел на него с тем же выражением и не отвечал ни слова.

– Якши, – сказал комендант, – ты у меня заговоришь. Ребята! сымите-ка с него дурацкий полосатый халат да выстрочите ему спину. Смотри ж, Юлай: хорошенько его!

Два инвалида стали башкирца раздевать. Лицо несчастного изобразило беспокойство. Он оглядывался на все стороны, как зверок, пойманный детьми.







Когда ж один из инвалидов взял его руки и, положив их себе около шеи, поднял старика на свои плечи, а Юлай взял плетъ и замахнулся, — тогда башкирец застонал слабым, умоляющим голосом и, кивая головою, открыл рот, в котором вместо языка шевелился короткий обрубок.

Когда вспомню, что это случилось на моем веку и что ныне дожил я до кроткого царствования императора Александра, не могу не дивиться быстрым успехам просвещения и распространению правил человеколюбия. Молодой человек! если записки мои попадутся в твои руки, вспомни, что лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят от улучшения нравов, без всяких насильственных потрясений.

Все были поражены. «Ну, — сказал комендант, — видно, нам от него толку не добиться. Юлай, отведи башкирца в анбар. А мы, господа, кой о чем еще потолкуем».

Мы стали рассуждать о нашем положении, как вдруг Василиса Егоровна вошла в комнату, задыхаясь и с видом чрезвычайно встревоженным.

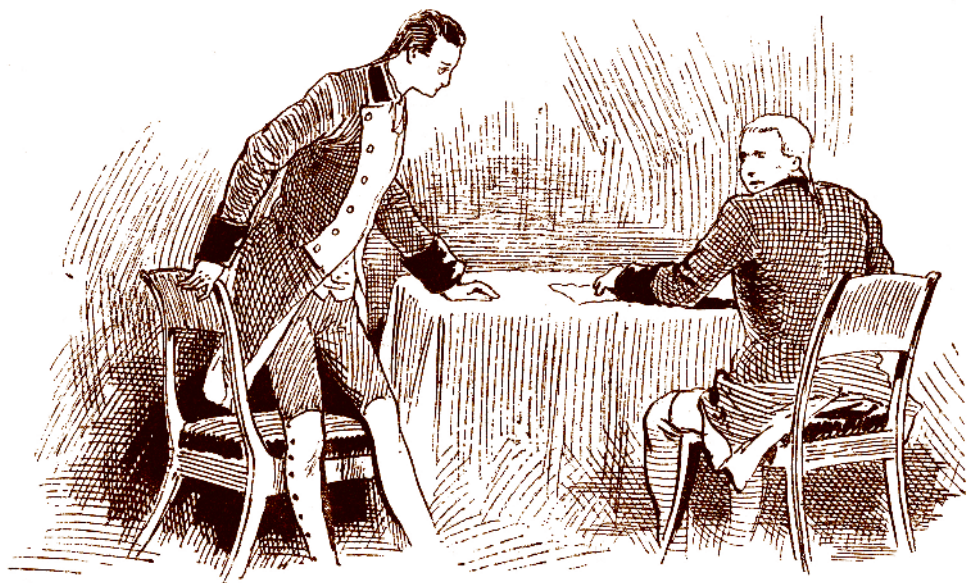
— Что это с тобою сделалось? — спросил изумленный комендант.

— Батюшки, беда! — отвечала Василиса Егоровна. — Нижнеозерная взята сегодня утром. Работник отца Герасима сейчас оттуда воротился. Он видел, как ее брали. Комендант и все офицеры перевешаны. Все солдаты взяты в полон. Того и гляди злодеи будут сюда.

Неожиданная весть сильно меня поразила. Комендант Нижнеозерной крепости, тихий и скромный молодой человек, был мне знаком: месяца за два перед тем проезжал он из Оренбурга с молодой своей женою и останавливался у Ивана Кузмича. Нижнеозерная находилась от нашей крепости верстах в двадцати пяти. С часу на час должно было и нам ожидать нападения Пугачева. Участъ Марьи Ивановны живо представилась мне, и сердце у меня так и замерло.

— Послушайте, Иван Кузмич! — сказал я коменданту. — Долг наш защищать крепость до последнего нашего издыхания; об этом и говорить нечего. Но надобно подумать о безопасности женщин.





Отправьте их в Оренбург, если дорога еще свободна, или в отдаленную, более надежную крепость, куда злодеи не успели бы достигнуть.

Иван Кузмич оборотился к жене и сказал ей:

— А слышь ты, матушка, и в самом деле, не отправить ли вас подале, пока не управимся мы с бунтовщиками?

— И, пустое! — сказала комендантша. — Где такая крепость, куда бы пули не залетали? Чем Белогорская ненадежна? Слава богу, двадцать второй год в ней проживаем. Видали и башкирцев и киргизцев: авось и от Пугачева отсидимся!

— Ну, матушка, — возразил Иван Кузмич, — оставайся, пожалуй, коли ты на крепость нашу надеешься. Да с Машей-то что нам делать? Хорошо, коли отсидимся или дождемся сикурса; ну, а коли злодеи возьмут крепость?

— Ну, тогда... — Тут Василиса Егоровна заикнулась и замолчала с видом чрезвычайного волнения.

— Нет, Василиса Егоровна, — продолжал комендант, замечая, что слова его подействовали, может быть, в первый раз в его жизни. — Маше здесь оставаться не гоже.



Отправим ее в Оренбург к ее крестной матери: там и войска и пушек довольно, и стена каменная. Да и тебе советовал бы с нею туда же отправиться; даром, что ты старуха, а посмотри, что с тобою будет, коли возьмут фортецию приступом.

– Добро, – сказала комендантша, – так и быть, отправим Машу. А меня и во сне не проси: не поеду. Нечего мне под

старость лет расставаться с тобою да искать одинокой могилы на чужой сторонке. Вместе жить, вместе и умирать.

– И то дело, – сказал комендант. – Ну, медлить нечего. Ступай готовить Машу в дорогу. Завтра чем свет ее и отправим; да дадим ей и конвой, хоть людей лишних у нас и нет. Да где же Маша?

– У Акулины Памфиловны, – отвечала комендантша. – Ей сделалось дурно, как услышала о взятии Нижнеозерной; боюсь, чтобы не занемогла. Господи владыко, до чего мы дожили!



Василиса Егоровна ушла хлопотать об отъезде дочери. Разговор у коменданта продолжался; но я уже в него не мешался и ничего не слушал. Марья Ивановна явилась к ужину бледная и заплаканная. Мы отужинали молча и встали из-за стола скорее обыкновенного; простясь со всем семейством, мы отправились по домам. Но я нарочно забыл свою шпагу и воротился за нею: я предчувствовал, что застаю Марью Ивановну одну. В самом деле, она встретила меня в дверях и вручила мне шпагу. «Прощайте, Петр Андреич! – сказала она мне со слезами. – Меня посылают в Оренбург. Будьте живы и счастливы; может быть, господь приведет нас друг с другом увидеться; если же нет...» Тут она зарыдала. Я обнял ее. «Прощай, ангел мой, – сказал я, – прощай, моя милая, моя желанная! Что бы со мною ни было, верь, что последняя моя мысль и последняя молитва будет о тебе!» Маша рыдала, прильнув к моей груди. Я с жаром ее поцеловал и поспешно вышел из комнаты.

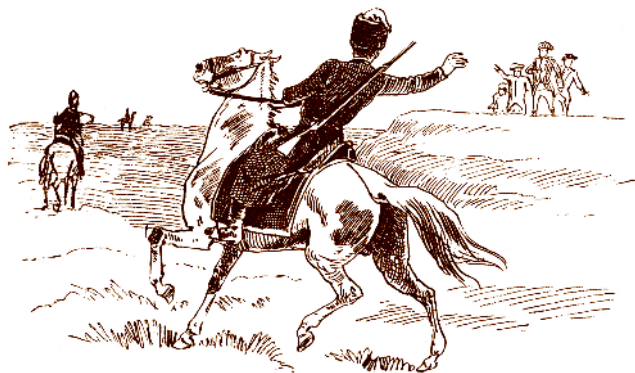


Глава VII ПРИСТУП

Голова моя, головушка,
Голова послуживая!
Послужила моя головушка
Ровно тридцать лет и три года.
Ах, не выслужила головушка
Ни корысти себе, ни радости,
Как ни слова себе доброго
И ни рангу себе высокого;
Только выслужила головушка
Два высокие столбика,
Перекадинку кленовую,
Еще петельку шелковую.

Народная песня.

В эту ночь я не спал и не раздевался. Я намерен был отправиться на заре к крепостным воротам, откуда Марья Ивановна должна была выехать, и там проститься с нею в последний раз. Я чувствовал в себе великую перемену: волнение души моей было мне гораздо менее тягостно, нежели то уныние, в котором еще недавно был я погружен. С грустию разлуки сливались во мне и неясные, но сладостные надежды, и нетерпеливое ожидание опасностей, и чувства благородного честолюбия. Ночь прошла



незаметно. Я хотел уже выйти из дому, как дверь моя отворилась и ко мне явился капрал с донесением, что наши казаки ночью выступили из крепости, взяв насильно с собою Юлая, и что около крепости разъезжают неведомые люди. Мысль, что Марья Ивановна не успеет выехать, ужаснула меня; я поспешно дал ка-

пралу несколько наставлений и тотчас бросился к коменданту.

Уж рассветало. Я летел по улице, как услышал, что зовут меня. Я остановился. «Куда вы? – сказал Иван Игнатьич, догоняя меня. – Иван Кузмич на валу и послал меня за вами. Пугач пришел». – «Уехала ли Марья Ивановна? – спросил я с сердечным трепетом». – «Не успела, – отвечал Иван Игнатьич, – дорога в Оренбург отрезана; крепость окружена. Плохо, Петр Андреич!»

Мы пошли на вал, возвышение, образованное природой и укрепленное частоколом. Там уже толпились все жители крепости. Гарнизон стоял в ружье. Пушку туда перетаскивали накануне. Комендант расхаживал перед своим малочисленным строем. Близость опасности одушевляла старого воина бодростью необыкновенной. По степи, не в дальнем расстоянии от крепости, разъезжали человек двадцать верхами. Они, казалось, казаки, но между ими находились и башкирцы, которых легко можно было распознать по их рысым шапкам и по колчанам. Комендант обошел свое войско, говоря солдатам: «Ну, детушки, постоим сегодня за матушку государыню и докажем всему свету, что мы люди brave и присяжные!» Солдаты громко изъявили усердие. Швабрин стоял подле меня и пристально глядел на неприятеля. Люди, разъезжающие в степи, заметя движение в крепости, съехались в кучку и стали между собою толковать. Комендант велел Ивану Игнатьичу навести пушку на их толпу и сам приставил фитиль. Ядро зажужжало и пролетело над ними, не сделав никакого вреда. Наездники, рассеясь, тотчас усаkali из виду, и степь опустела.

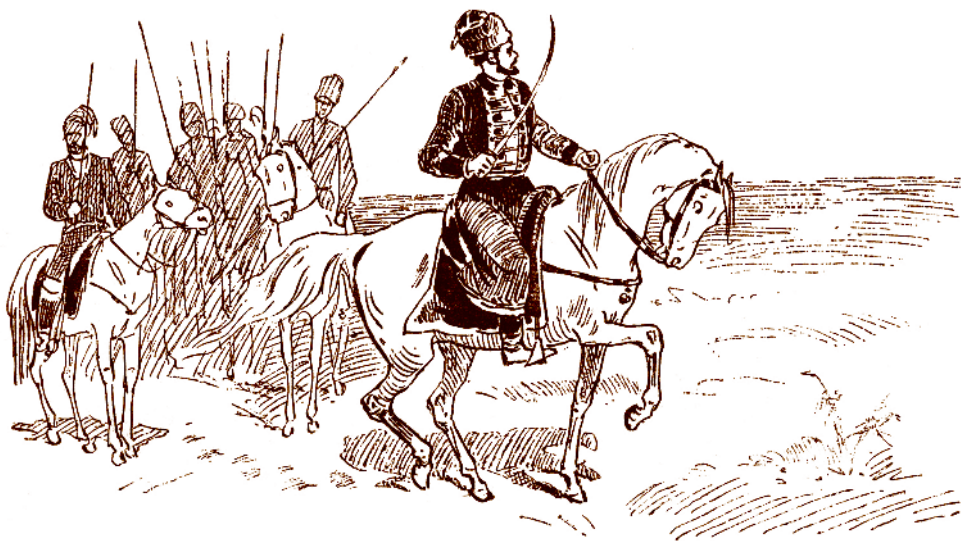
Тут явилась на валу Василиса Егоровна и с нею Маша, не хотевшая отстать от нее. «Ну, что? – сказала комендантша. – Каково идет баталья? Где же неприятель?» – «Неприятель недалеко, – отвечал Иван Кузмич. – Бог даст, все будет ладно. Что,



Маша, страшно тебе?» – «Нет, папенька, – отвечала Марья Ивановна, – дома одной страшнее». Тут она взглянула на меня и с усилием улыбнулась. Я невольно стиснул рукоять моей шпаги, вспомя, что накануне получил ее из ее рук, как бы на защиту моей любезной. Сердце мое горело. Я воображал себя ее рыцарем. Я жаждал доказать, что был достоин ее доверенности, и с нетерпением стал ожидать решительной минуты.

В это время из-за высоты, находившейся в полверсте от крепости, показались новые конные толпы, и вскоре степь усеялась множеством людей, вооруженных копьями и сайдаками. Между ими на белом коне ехал человек в красном кафтане, с обнаженной саблею в руке: это был сам Пугачев. Он остановился; его окружили, и, как видно, по его повелению, четыре человека отделились и во весь опор подскакали под самую крепость. Мы в них узнали своих изменников. Один из них держал под шапкою лист бумаги; у другого на копье воткнута была голова Юлая, которую, стряхнув, перекинул он к нам чрез частокол. Голова бедного калмыка упала к ногам коменданта. Изменники кричали: «Не стреляйте; выходите вон к государю. Государь здесь!»

«Вот я вас! – закричал Иван Кузмич. – Ребята! стреляй!» Солдаты наши дали залп. Казак, державший письмо, зашатался и свалился с лошади; другие поскакали назад. Я взглянул на Марью Ивановну. Пораженная видом окровавленной головы Юлая, оглушенная залпом, она казалась без памяти. Комендант подозвал капрала и велел ему взять лист из рук убитого казака. Капрал вышел в поле и возвратился, ведя под уздцы лошадь убитого. Он вручил коменданту письмо. Иван Кузмич прочел его про себя и разорвал потом в клочки. Между тем мятежники, видимо, готовились к действию. Вскоре пули начали свистать около наших ушей, и несколько стрел воткнулись около нас в землю и в частокол. «Василиса Егоровна! – сказал комендант. – Здесь не бабье дело; уведи Машу; видишь: девка ни жива ни мертва».





Василиса Егоровна, присмирившая под пулями, взглянула на степь, на которой заметно было большое движение; потом оборотилась к мужу и сказала ему: «Иван Кузмич, в животе и смерти бог волен: благослови Машу. Маша, подойди к отцу».

Маша, бледная и трепещущая, подошла к Ивану Кузмичу, стала на колени и поклонилась ему в зем-

лю. Старый комендант перекрестил ее трижды; потом поднял и, поцеловав, сказал ей изменившимся голосом: «Ну, Маша, будь счастлива. Молись богу: он тебя не оставит. Коли найдется добрый человек, дай бог вам любовь да совет. Живите, как жили мы с Василисой Егоровной. Ну, прощай, Маша. Василиса Егоровна, уведи же ее поскорей». (Маша кинулась ему на шею и зарыдала.) «Поцелуемся ж и мы, — сказала, заплакав, комендантша. — Прощай, мой Иван Кузмич. Отпусти мне, коли в чем я тебе досадила!» — «Прощай, прощай, матушка! — сказал комендант, обняв свою старуху. — Ну, довольно! Ступайте, ступайте домой; да коли успеешь, надень на Машу сарафан». Комендантша с дочерью удалились. Я глядел вослед Марьи Ивановны; она оглянулась и кивнула мне головой. Тут Иван Кузмич оборотился к нам, и все внимание его устремилось на неприятеля. Мятеежники съезжались около своего





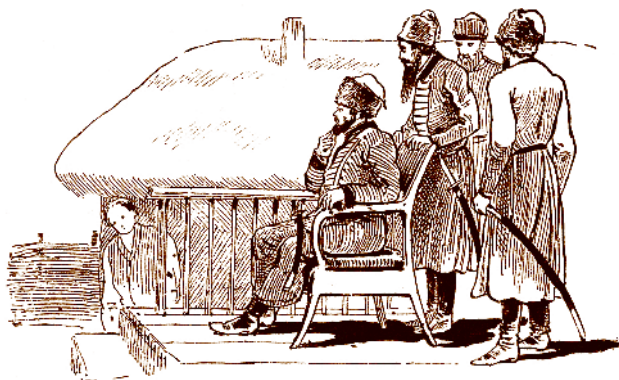
предводителя и вдруг начали слезать с лошадей. «Теперь стойте крепко, — сказал комендант, — будет приступ...» В эту минуту раздался страшный визг и крики; мятежники бегом бежали к крепости. Пушка наша заряжена была картечью. Комендант подпустил их на самое близкое расстояние и вдруг выпалил опять. Картечьхватила в самую середину толпы. Мятежники отхлынули в обе стороны и попятились. Предводитель их остался один впереди... Он махал саблею и, казалось, с жаром их уговаривал... Крик и визг, умолкнувшие на минуту, тотчас снова возобновились. «Ну, ребята, — сказал комендант, — теперь отворяй ворота, бей в барабан. Ребята! вперед, на вылазку, за мною!»

Комендант, Иван Игнатьич и я мигом очутились за крепостным валом; но обробелый гарнизон не тронулся. «Что ж вы, детушки, стоите? — закричал Иван Кузмич. — Умирать так умирать: дело служивое!» В эту минуту мятежники набежали на нас и ворвались в крепость. Барабан умолк; гарнизон бросил ружья; меня сшибли было с ног, но я встал и вместе с мятежниками вошел в крепость. Комендант, раненный в голову, стоял в кучке злодеев, которые требовали от него ключей. Я бросился было к нему на помощь: несколько дюжих казаков схватили меня и связали кушаками, приговаривая: «Вот уж вам будет, государевым ослушникам!» Нас потащили по улицам; жители выходили из домов с хлебом и солью. Раздавался колокольный звон. Вдруг закричали в толпе, что государь на площади ожидает пленных и принимает присягу. Народ повалил на площадь; нас погнали туда же.



Капитанская дочка

Пугачев сидел в креслах на крыльце комендантского дома. На нем был красный казацкий кафтан, обшитый галунами. Высокая соболья шапка с золотыми кистями была надвинута на его сверкающие глаза. Лицо его показалось мне знакомо. Казацкие старшины окружали его. Отец Герасим, бледный и дрожащий, стоял у крыльца, с крестом в ру-



ках, и, казалось, молча умолял его за предстоящие жертвы. На площади ставили наскоро виселицу. Когда мы приблизились, башкирцы разогнали народ и нас представили Пугачеву. Колокольный звон утих; настала глубокая тишина. «Который комендант?» – спросил самозванец. Наш урядник выступил из толпы и указал на Ивана Кузмича. Пугачев грозно взглянул на старика и сказал ему: «Как ты смел противиться мне, своему государю?» Комендант, изнемогая от раны, собрал последние силы и отвечал твердым голосом: «Ты мне не государь, ты вор и самозванец, слышь ты!» Пугачев мрачно нахмурился и махнул белым платком. Несколько казаков подхватили старого капитана и потащили к виселице. На ее перекладине очутился верхом изуверченный башкирец, которого допрашивали мы накануне. Он держал в руке веревку, и через минуту увидел я бедного Ивана Кузмича, вздернутого на воздух. Тогда привели

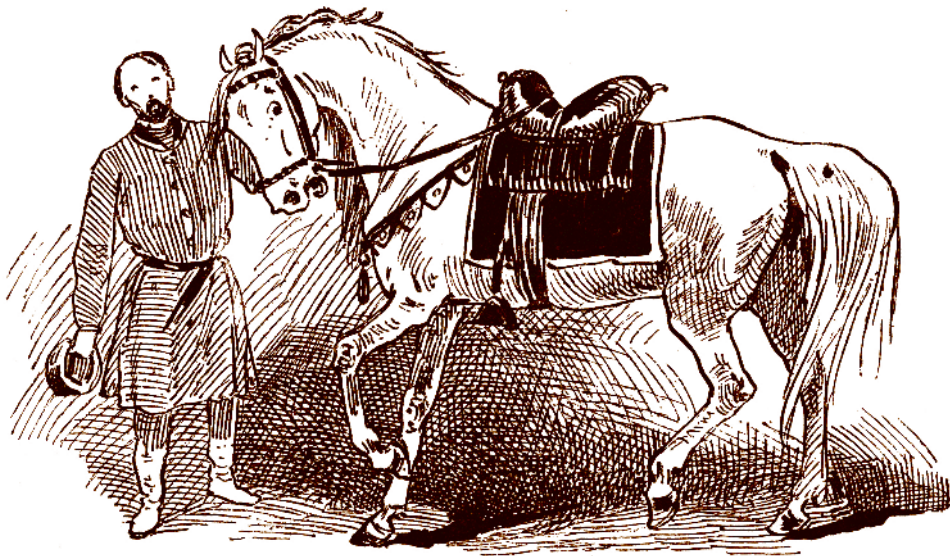




к Пугачеву Ивана Игнатьича. «Присягай, – сказал ему Пугачев, – государю Петру Феодоровичу!» – «Ты нам не государь, – отвечал Иван Игнатьич, повторяя слова своего капитана. – Ты, дядюшка, вор и самозванец!» Пугачев махнул опять платком, и добрый поручик повис подле своего старого начальника.

Очередь была за мною.

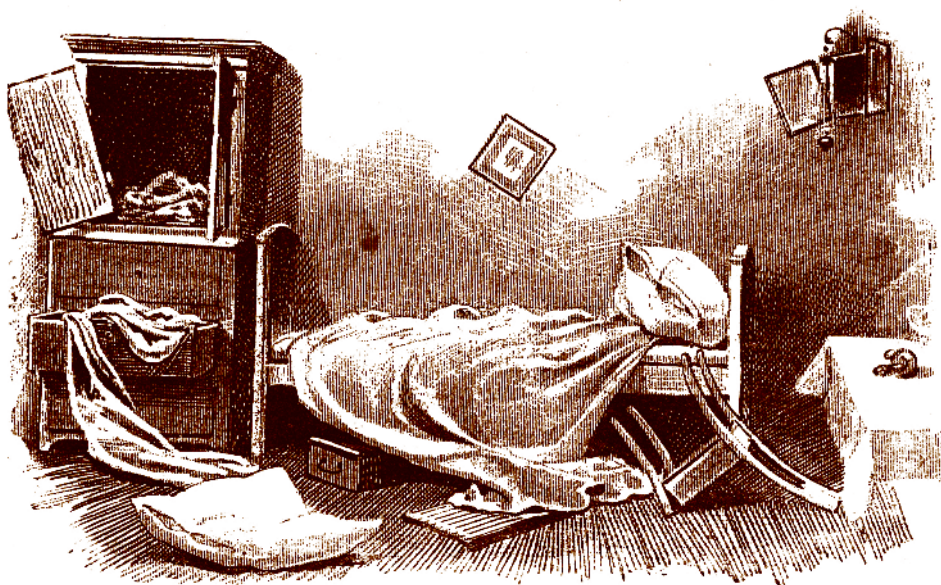
Я глядел смело на Пугачева, готовясь повторить ответ великодушных моих товарищей. Тогда, к неопisanному моему изумлению, увидел я среди мятежных старшин Швабрина, обстриженного в кружок и в казацком кафтане. Он подошел к Пугачеву и сказал ему на ухо несколько слов. «Вешать его!» – сказал Пугачев, не взглянув уже на меня. Мне накинули на шею петлю. Я стал читать про себя молитву, принося богу искреннее раскаяние во всех моих прегрешениях и моля его о спасении всех близких моему сердцу. Меня притащили под виселицу. «Не бось, не бось», – повторяли мне губители, может быть и вправду желая меня ободрить. Вдруг услышал я крик: «Постойте, окаянные! погодите!..» Палачи остановились. Гляжу: Савельич лежит в ногах у Пугачева. «Отец родной! – говорил бедный дядька. – Что тебе в смерти барского дитяти? Отпусти его; за него тебе выкуп дадут; а для примера и страха ради вели повесить хоть меня старика!» Пугачев дал знак, и меня тотчас развязали и оставили.



«Батюшка наш тебя милует», – говорили мне. В эту минуту не могу сказать, чтоб я обрадовался своему избавлению, не скажу, однако ж, чтоб я о нем и сожалел. Чувствования мои были слишком смутны. Меня снова привели к самозванцу и поставили перед ним на колени. Пугачев протянул мне жилистую свою руку. «Целуй руку, целуй руку!» – говорили около меня. Но я предпочел бы самую лютую казнь такому подлому унижению. «Батюшка Петр Андреич! – шептал Савельич, стоя за мною и толкая меня. – Не упрямясь! что тебе стоит? плюнь да поцелуй у злод... (тьфу!) поцелуй у него ручку». Я не шевелился. Пугачев опустил руку, сказав с усмешкою: «Его благородие, знать, одурел от радости. Подымите его!» Меня подняли и оставили на свободе. Я стал смотреть на продолжение ужасной комедии.

Жители начали присягать. Они подходили один за другим, целуя распятие и потом кланяясь самозванцу. Гарнизонные солдаты стояли тут же. Ротный портной, вооруженный тупыми своими ножницами, резал у них косы. Они, отряхиваясь, подходили к руке Пугачева, который объявлял им прощение и принимал в свою шайку. Все это продолжалось около трех часов. Наконец Пугачев встал с кресел и сошел с крыльца в сопровождении своих старшин. Ему подвели белого коня, украшенного богатой сбруей. Два казака взяли его под руки и посадили на седло. Он объявил отцу Герасиму, что будет обедать у него. В эту минуту раздался женский крик. Несколько разбойников вытащили на крыльцо Василису Егоровну, растрепанную и раздетую донага. Один из них успел уже надеться в ее душегрейку. Другие таскали перины, сундуки, чайную посуду, белье и всю рухлядь. «Батюшки мои! – кричала бедная старушка. – Отпустите душу на покаяние. Отцы родные, отведите меня к Ивану Кузмичу». Вдруг она взглянула на виселицу и узнала своего мужа. «Злодеи! – закричала она в исступлении. – Что это вы с ним сделали? Свет ты мой, Иван Кузмич, удалая солдатская головушка! не тронули тебя ни штыки прусские, ни пули турецкие; не в честном бою положил ты свой живот, а сгинул от беглого каторжника!» – «Унять старую ведьму!» – сказал Пугачев. Тут молодой казак ударил ее саблею по голове, и она упала мертвая на ступени крыльца. Пугачев уехал; народ бросился за ним.





Глава VIII

НЕЗВАННЫЙ ГОСТЬ

Незванный гость хуже татарина.

Пословица.

Площадь опустела. Я все стоял на одном месте и не мог привести в порядок мысли, смущенные столь ужасными впечатлениями.

Неизвестность о судьбе Марьи Ивановны пуще всего меня мучила. Где она? что с нею? успела ли спрятаться? надежно ли ее убежище?... Полный тревожными мыслями, я вошел в комендантский дом... Все было пусто; стулья, столы, сундуки были переломаны; посуда перебита; все растаскано. Я взбежал по маленькой лестнице, которая вела в светлицу, и в первый раз отроду вошел в комнату Марьи Ивановны. Я увидел ее постелю, перерытую разбойниками; шкаф был разломан и ограблен; лампадка теплилась еще перед опустелым кивотом. Уцелело и зеркальце, висевшее в простенке... Где ж была хозяйка этой смиренной, девической кельи? Страшная мысль мелькнула в уме моем: я вообразил ее в руках у разбойников... Сердце мое сжалось... Я горько, горько заплакал и громко произнес имя моей любезной... В эту минуту послышался легкий шум, и из-за шкапа явилась Палаша, бледная и трепещущая.

– Ах, Петр Андреич! – сказала она, сплеснув руками. – Какой денек! какие страсти!...

– А Марья Ивановна? – спросил я нетерпеливо, – что Марья Ивановна?

– Барышня жива, – отвечала Палаша. – Она спрятана у Акулины Памфиловны.

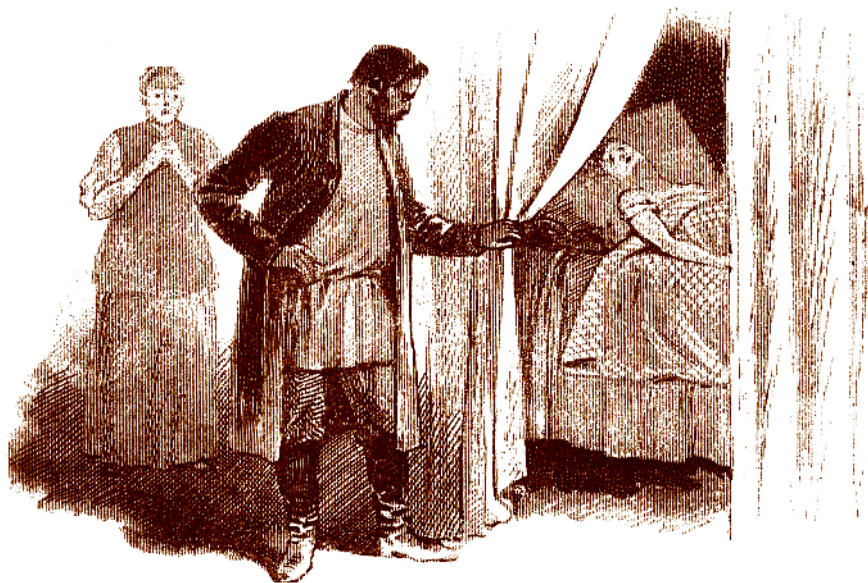
– У попадьи! – вскричал я с ужасом. – Боже мой! да там Пугачев!...

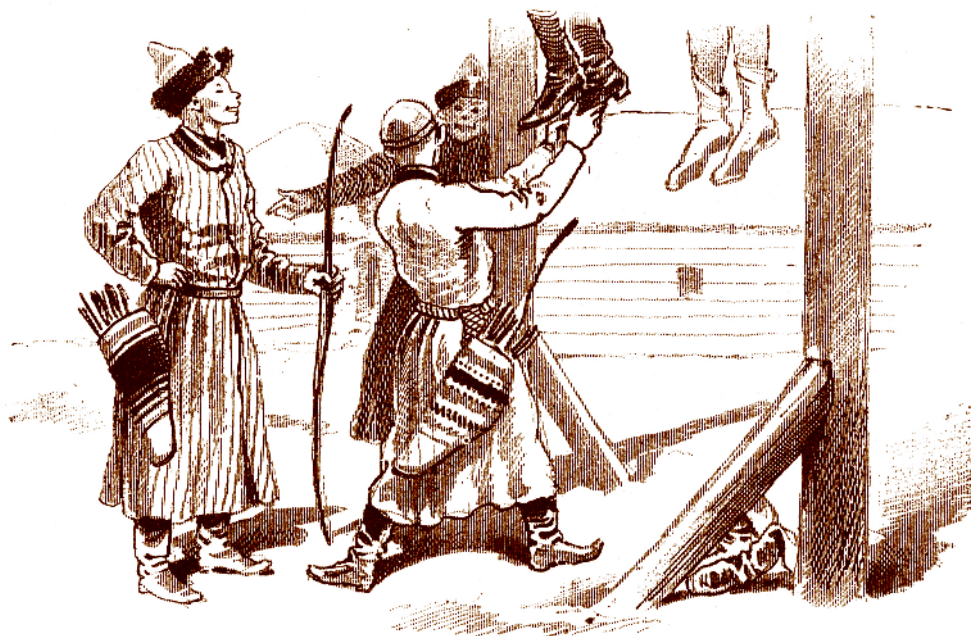
Я бросился вон из комнаты, мигом очутился на улице и опрометью побежал в дом священника, ничего не видя и не чувствуя. Там раздавались крики, хохот и песни...

Пугачев пировал с своими товарищами. Палаша прибежала туда же за мною. Я послал ее вызвать тихонько Акулину Памфиловну. Через минуту попадья вышла ко мне в сени с пустым штофом в руках.

– Ради бога! где Марья Ивановна? – спросил я с неизъяснимым волнением.

– Лежит, моя голубушка, у меня на кровати, там за перегородкою, – отвечала попадья. – Ну, Петр Андреич, чуть было не стряслась беда, да, слава богу, все прошло благополучно: злодей только что уселся обедать, как она, моя бедняжка, очнется да застонет!.. Я так и обмерла. Он услышал: «А кто это у тебя охает, старуха?» Я во ру в пояс: «Племянница моя, государь; захворала, лежит, вот уж другая неделя». – «А молода твоя племянница?» – «Молода, государь». – «А покажи-ка мне, старуха, свою племянницу». – У меня сердце так и екнуло, да нечего было делать. – «Изволь, государь; только девка-то не сможет встать и прийти к твоей милости». – «Ничего, старуха, я и сам пойду погляжу». И ведь пошел окаянный за перегородку; как ты думаешь! ведь отдернул занавес, взглянул ястребиными своими глазами! – и ничего... бог вынес! А веришь ли, я и батька мой так уж и приготовились к мученической смерти. К счастью, она, моя голубушка, не узнала его. Господи владыко, дождались мы праздника! Нечего сказать! бедный Иван Кузмич! кто бы подумал!.. А Василиса-то Егоровна? А Иван-то Игнатьич? Его-то за что?.. Как это вас пощадили? А каков Швабрин, Алексей Иваныч? Ведь остригся в кружок и теперь у нас тут же с ними пирует! Проворен, нечего сказать. А как сказала я про больную племянницу, так он, веришь ли, так взглянул на меня, как бы ножом насквозь; однако не выдал, спасибо ему и за то. – В эту минуту раздались пьяные крики гостей и голос отца Герасима. Гости требовали вина, хозяин кликал сожительницу. Попадья расхлопоталась. – Ступай-те себе домой, Петр Андреич, – сказала она, – теперь не до вас; у злодеев попойка идет. Беда, попадетесь под пьяную руку. Прощайте, Петр Андреич. Что будет то будет; авось бог не оставит.





Попадья ушла. Несколько успокоенный, я отправился к себе на квартиру. Проходя мимо площади, я увидел несколько башкирцев, которые теснились около виселицы и стаскивали сапоги с повешенных; с трудом удержал я порыв негодования, чувствуя бесполезность заступления. По крепости бегали разбойники, грабя офицерские дома. Везде раздавались крики пьянствующих мятежников. Я пришел домой.

Савельич встретил меня у порога. «Слава богу! – вскричал он, увидя меня. – Я было думал, что злодеи опять тебя подхватили. Ну, батюшка Петр Андреич! веришь ли? все у нас разграбили, мошенники: платье, белье, вещи, посуду – ничего не оставили. Да что уж! Слава богу, что тебя живого отпустили! А узнал ли ты, сударь, атамана?»

– Нет, не узнал; а кто ж он такой?

– Как, батюшка? Ты и позабыл того пьяницу, который выманил у тебя тулуп на постоялом дворе? Заячий тулупчик совсем новешенький; а он, бестия, его так и распорол, напяливая на себя!

Я изумился. В самом деле сходство Пугачева с моим вожатым было разительное. Я удостоверился, что Пугачев и он были одно и то же лицо, и понял тогда причину



пощады, мне оказанной. Я не мог не подивиться странному сцеплению обстоятельств: детский тулуп, подаренный бродяге, избавлял меня от петли, и пьяница, шатавшийся по постоялым дворам, осаждал крепости и потрясал государством!

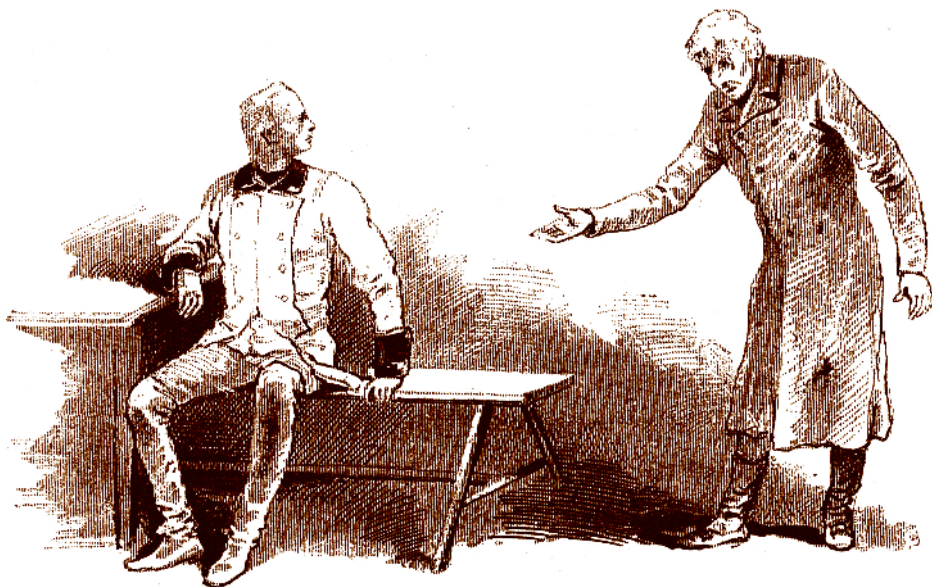
– Не изволишь ли покушать? – спросил Савельич, неизменный в своих привычках. – Дома ничего нет; пойду пошарю да что-нибудь тебе изготовлю.

Оставшись один, я погрузился в размышления. Что мне было делать? Оставаться в крепости, подвластной злодею, или следовать за его шайкою было неприлично офицеру. Долг требовал, чтобы я явился туда, где служба моя могла еще быть полезна отечеству в настоящих затруднительных обстоятельствах... Но любовь сильно советовала мне оставаться при Марье Ивановне и быть ей защитником и покровителем. Хотя я и предвидел скорую и несомненную перемену в обстоятельствах, но все же не мог не трепетать, воображая опасность ее положения.

Размышления мои были прерваны приходом одного из казаков, который прибежал с объявлением, что-де «великий государь требует тебя к себе». – «Где же он?» – спросил я, готовясь повиноваться.

– В комендантском, – отвечал казак. – После обеда батюшка наш отправился в баню, а теперь отдыхает. Ну, ваше благородие, по всему видно, что персона знатная: за обедом скушать изволил двух жареных поросят, а парится так жарко, что и Тарас Курочкин не вытерпел, отдал веник Фомке Бикбаеву да насилу холодной водой откачался. Нечего сказать: все приемы такие важные... А в бане, слышно, показывал царские свои знаки на грудях: на одной двуглавый орел, величиною с пятак, а на другой персона его.

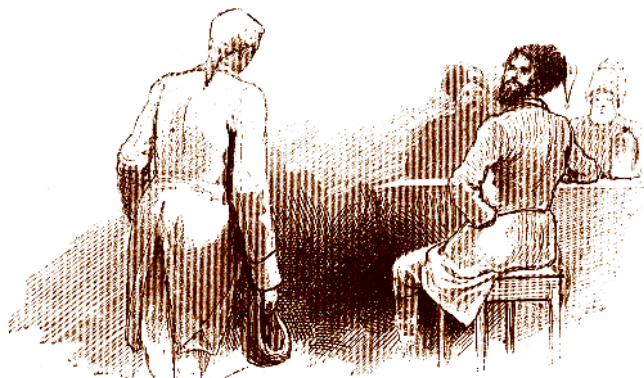
Я не почел нужным оспаривать мнения казака и с ним вместе отправился в комендантский дом, заранее воображая себе свидание с Пугачевым и стараясь предугадать, чем оно кончится. Читатель легко может себе представить, что я не был совершенно хладнокровен.





Начинало смеркаться, когда пришел я к комендантскому дому. Виселица с своими жертвами страшно чернела. Тело бедной комендантши все еще валялось под крыльцом, у которого два казака стояли на карауле. Казак, приведший меня, отправился про меня доложить и, тотчас же воротившись, ввел меня в ту комнату, где накануне так нежно прощался я с Марьей Ивановною.

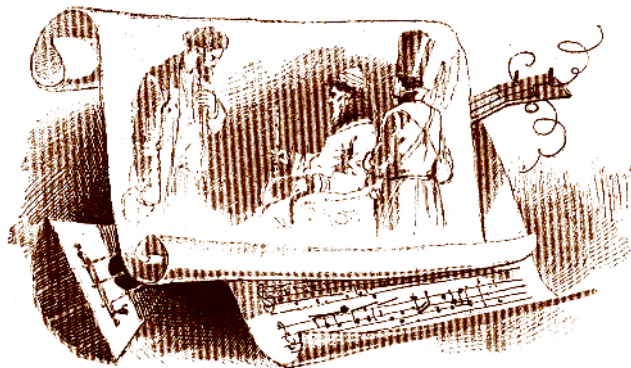
Необыкновенная картина мне представилась: за столом, накрытым скатертью и установленным штофами и стаканами, Пугачев и человек десять казацких старшин сидели, в шапках и цветных рубашках, разгоряченные вином, с красными рожам и блистающими глазами. Между ими не было ни Швабрина, ни нашего урядника, новобраных изменников. «А, ваше благородие! – сказал Пугачев, увидя меня. – Добро пожаловать; честь и место, милости просим». Собеседники потеснились. Я молча сел на краю стола. Сосед мой, молодой казак, стройный и красивый, налил мне стакан простого вина, до которого я не коснулся. С любопытством стал я рассматривать сборище. Пугачев на первом месте сидел, облокотился на стол и подпирая черную бороду своим широким кулаком. Черты лица его, правильные и довольно приятные, не изв-являли ничего свирепого. Он часто обращался к человеку лет пятидесяти, называя его то графом, то Тимофеичем, а иногда величая его дядюшкой. Все обходились между собою как товарищи и не оказывали никакого особенного предпочтения своему предводителю. Разговор шел об утреннем приступе, об успехе возмущения и о будущих действиях. Каждый хвастал, предлагал свои мнения и свободно оспаривал Пугачева. И на сем-то странном военном совете решено было идти к Оренбургу: движение дерзкое, и которое чуть было не увенчалось бедственным успехом! Поход был объявлен к завтрашнему дню. «Ну, братцы, – сказал Пугачев, – затынем-ка на сон грядущий мою любимую песенку. Чумаков! Начинай!» Сосед мой затынул тонким голосом заунывную бурлацкую песню и все подхватили хором:





Не шуми, мати зеленая дубровушка,
Не мешай мне доброму молодцу думу думати.
Что завтра мне доброму молодцу в допрос ийти
Перед грозного судью, самого царя.
Еще станет государь-царь меня спрашивать:
Ты скажи, скажи, детинушка крестьянский сын,
Уж как с кем ты воровал, с кем разбой держал,
Еще много ли с тобой было товарищей?
Я скажу тебе, надежа православный царь,
Всеё правду скажу тебе, всю истину,
Что товарищей у меня было четверо:
Еще первый мой товарищ темная ночь,
А второй мой товарищ булатный нож,
А как третий-то товарищ, то мой добрый конь,
А четвертый мой товарищ, то тугой лук,
Что рассыльщики мои, то калены стрелы.
Что возговорит надежа православный царь:
Исполать тебе, детинушка крестьянский сын,
Что умел ты воровать, умел ответ держать!
Я за то тебя, детинушка, пожалуйю
Среди поля хоромами высокими,
Что двумя ли столбами с перекладиной.

Невозможно рассказать, какое действие произвела на меня эта простонародная песня про виселицу, распеваемая людьми, обреченными виселице. Их грозные лица, стройные голоса, унылое выражение, которое придавали они словам и без того выразительным, – все потрясло меня каким-то пиитическим ужасом.



Гости выпили еще по стакану, встали из-за стола и простились с Пугачевым. Я хотел за ними последовать, но Пугачев сказал мне: «Сиди; я хочу с тобою переговорить». Мы остались глаз на глаз.

Несколько минут продолжалось обоюдное наше молчание. Пугачев смотрел на меня пристально, изредка прищуривая левый глаз с удивительным

выражением плутовства и насмешливости. Наконец он засмеялся, и с такою непритворной веселостию, что и я, глядя на него, стал смеяться, сам не зная чему.

– Что, ваше благородие? – сказал он мне. – Струсил ты, признайся, когда молодцы мои накинули тебе веревку на шею? Я чаю, небо с овчинку показалось... А показался бы на перекладине, если бы не твой слуга. Я тотчас узнал старого хрыча. Ну, думал ли ты, ваше благородие, что человек, который вывел тебя к умету, был сам великий государь? (Тут он взял на себя вид важный и таинственный.) Ты крепко перед мною виноват, – продолжал он, – но я помиловал тебя за твою добродетель, за то, что ты оказал мне услугу, когда принужден я был скрываться от своих недругов. То ли еще увидишь! Так ли еще тебя пожалую, когда получу свое государство! Обещаешься ли служить мне с усердием?

Вопрос мошенника и его дерзость показались мне так забавны, что я не мог не усмехнуться.





– Чему ты усмехаешься? – спросил он меня нахмурясь. – Или ты не веришь, что я великий государь? Отвечай прямо.

Я смутился: признать бродягу государем был я не в состоянии: это казалось мне малодушием непростительным. Назвать его в глаза обманщиком – было подвергнуть себя гибели; и то, на что был я готов под виселицею в глазах всего народа и в первом пылу негодования, теперь казалось мне бесполезной хвастливостию. Я колебался. Пугачев мрачно ждал моего ответа. Наконец (и еще ныне с самодовольствием поминаю эту минуту) чувство долга восторжествовало во мне над слабостию человеческою. Я отвечал Пугачеву: «Слушай; скажу тебе всю правду. Рассуди, могу ли я признать в тебе государя? Ты человек смысленный: ты сам увидел бы, что я лукавствую».

– Кто же я таков, по твоему разумению?

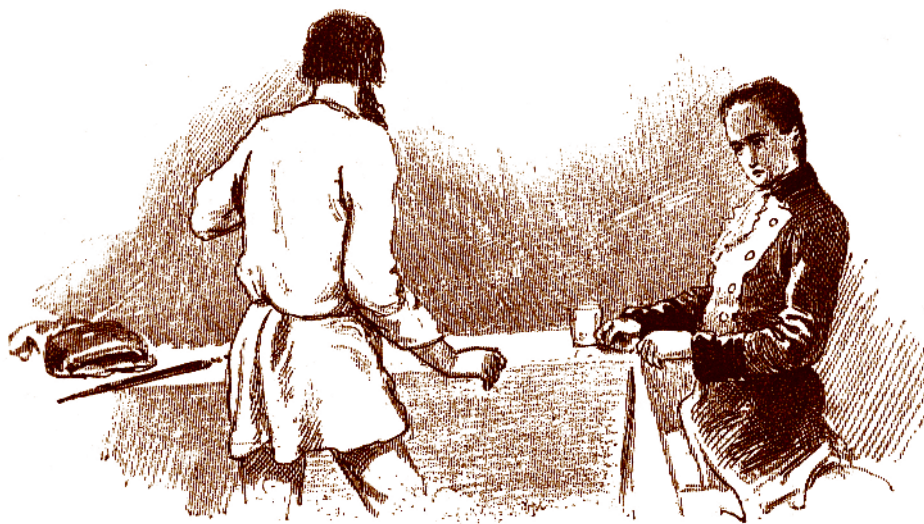
– Бог тебя знает; но кто бы ты ни был, ты шутишь опасную шутку.

Пугачев взглянул на меня быстро. «Так ты не веришь, – сказал он, – чтоб я был государь Петр Федорович? Ну, добро. А разве нет удачи удалому? Разве в старину Гришка Отрепьев не царствовал? Думай про меня что хочешь, а от меня не отставай. Какое тебе дело до иного-прочего? Кто ни поп, тот батька. Послужи мне верой и правдою, и я тебя пожалую и в фельдмаршалы и в князья. Как ты думаешь?»

– Нет, – отвечал я с твердостью. – Я природный дворянин; я присягал государыне императрице: тебе служить не могу. Коли ты в самом деле желаешь мне добра, так отпусти меня в Оренбург.

Пугачев задумался. «А коли отпущу, – сказал он, – так обещаешься ли по крайней мере против меня не служить?»

– Как могу тебе в этом обещаться? – отвечал я. – Сам знаешь, не моя воля: велит идти против тебя – пойду, делать нечего. Ты теперь сам начальник; сам требуешь повиновения от своих. На что это будет похоже, если я от службы откажусь, когда служба моя понадобится? Голова моя в твоей власти: отпустишь меня – спасибо; казнишь – бог тебе судья; а я сказал тебе правду.

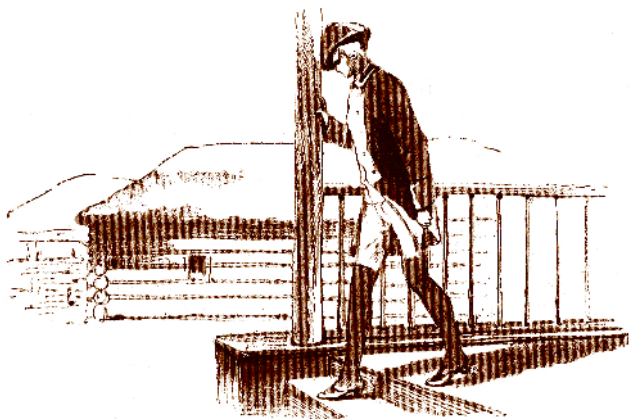


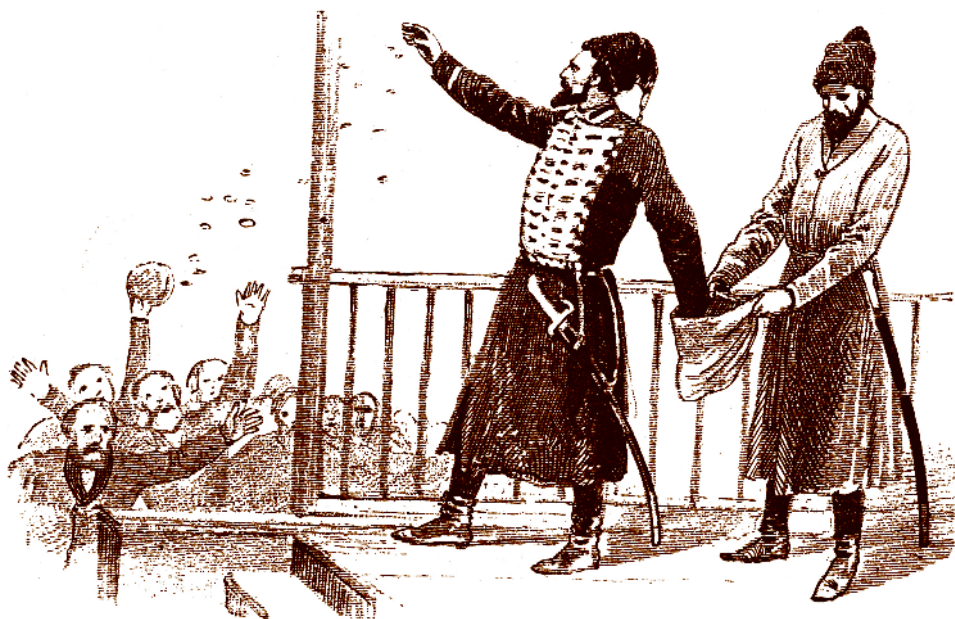
Моя искренность поразила Пугачева. «Так и быть, – сказал он, ударя меня по плечу. – Казнить так казнить, миловать так миловать. Ступай себе на все четыре стороны и делай что хочешь. Завтра приходи со мною проститься, а теперь ступай себе спать, и меня уж дрема клонит».

Я оставил Пугачева и вышел на улицу. Ночь была тихая и морозная. Месяц и звезды ярко сияли, освещая площадь и виселицу. В крепости все было спокойно и темно. Только в кабаке светился огонь и раздавались крики запоздалых гуляк. Я взглянул на дом священника. Ставни и ворота были заперты. Казалось, все в нем было тихо.

Я пришел к себе на квартиру и нашел Савельича, горюющего по моему отсутствию. Весть о свободе моей обрадовала его несказанно. «Слава тебе, владыко! – сказал он перекрестившись. – Чем свет оставим крепость и пойдем куда глаза глядят. Я тебе кое-что заготовил; покушай-ка, батюшка, да и почивай себе до утра, как у Христа за пазушкой».

Я последовал его совету и, поужинав с большим аппетитом, заснул на голом полу, утомленный душевно и физически.





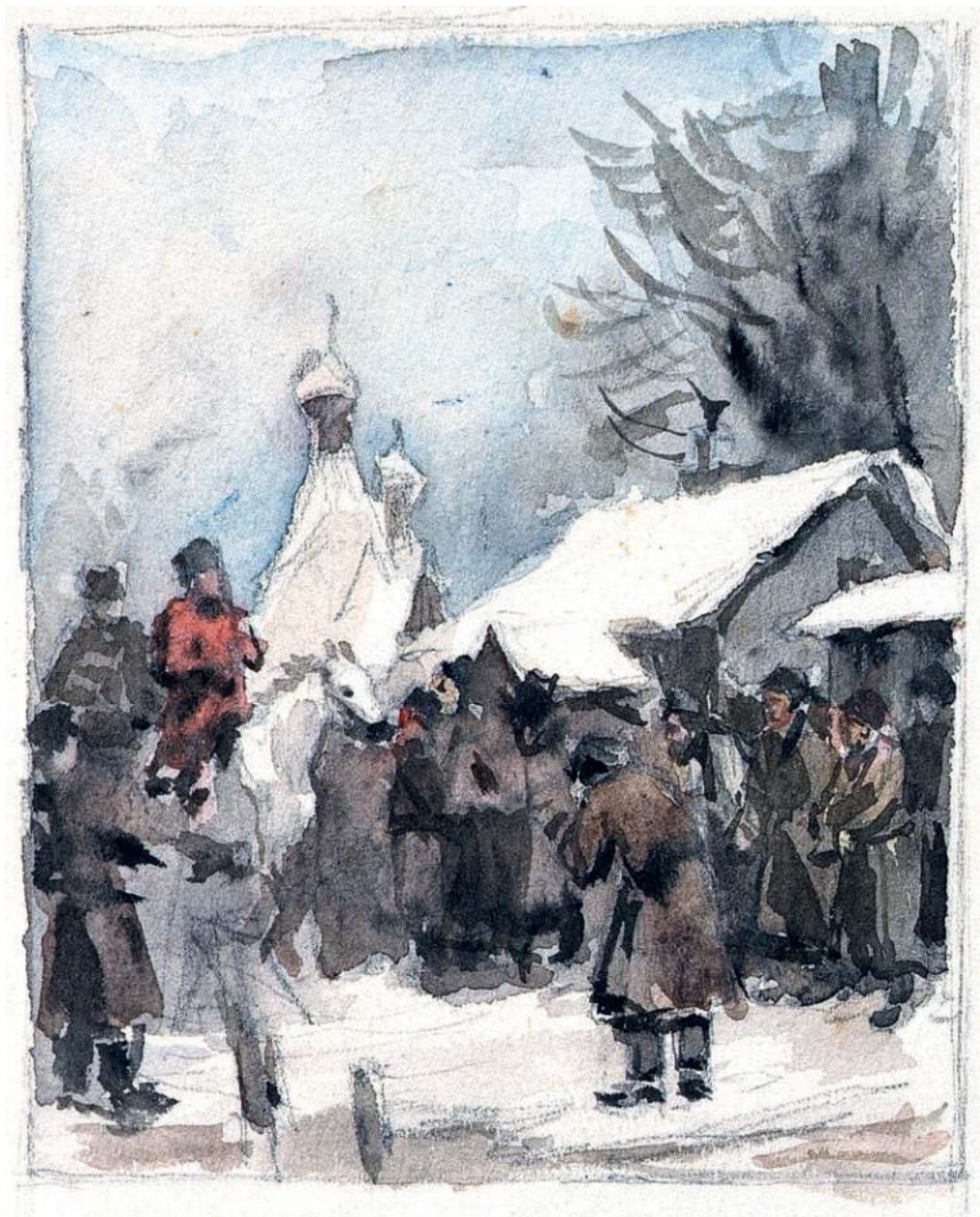
Глава IX РАЗЛУКА

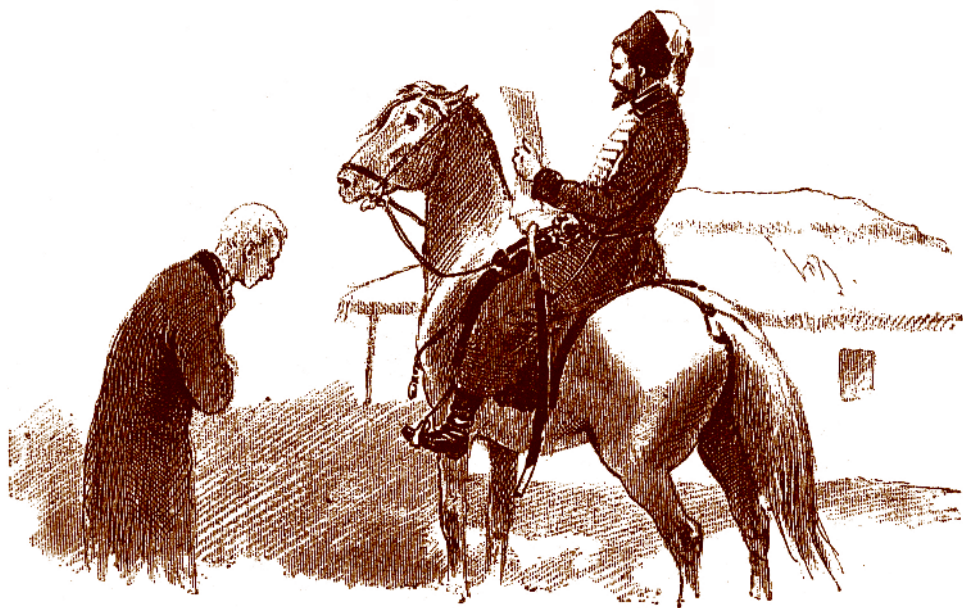
Сладко было спознаваться
Мне, прекрасная, с тобой;
Грустно, грустно расставаться,
Грустно, будто бы с душой.

Херасков¹.

Рано утром разбудил меня барабан. Я пошел на сборное место. Там строились уже толпы пугачевские около виселицы, где все еще висели вчерашние жертвы. Казаки стояли верхами, солдаты под ружьем. Знамена развевались. Несколько пушек, между коих узнал я и нашу, поставлены были на походные лафеты. Все жители находились тут же, ожидая самозванца. У крыльца комендантского дома казак держал под уздцы прекрасную белую лошадь киргизской породы. Я искал глазами тела комендантши. Оно было отнесено немного в сторону и прикрыто рогожею. Наконец Пугачев вышел из сеней. Народ снял шапки. Пугачев остановился на крыльце и со всеми поздоровался. Один из старшин подал ему мешок с медными деньгами, и он стал их метать пригоршнями. Народ с криком бросился их подбирать, и дело обошлось не без увечья. Пугачева окружали главные из его сообщников. Между ими стоял и Швабрин. Взоры наши встретились; в моем он мог прочесть презрение, и он отворотился с выражением искренней злобы и притворной насмешливости. Пугачев, увидев меня

¹ Михаил Матвеевич Херасков – поэт, писатель и драматург XVIII века, автор эпической поэмы «Россиада».





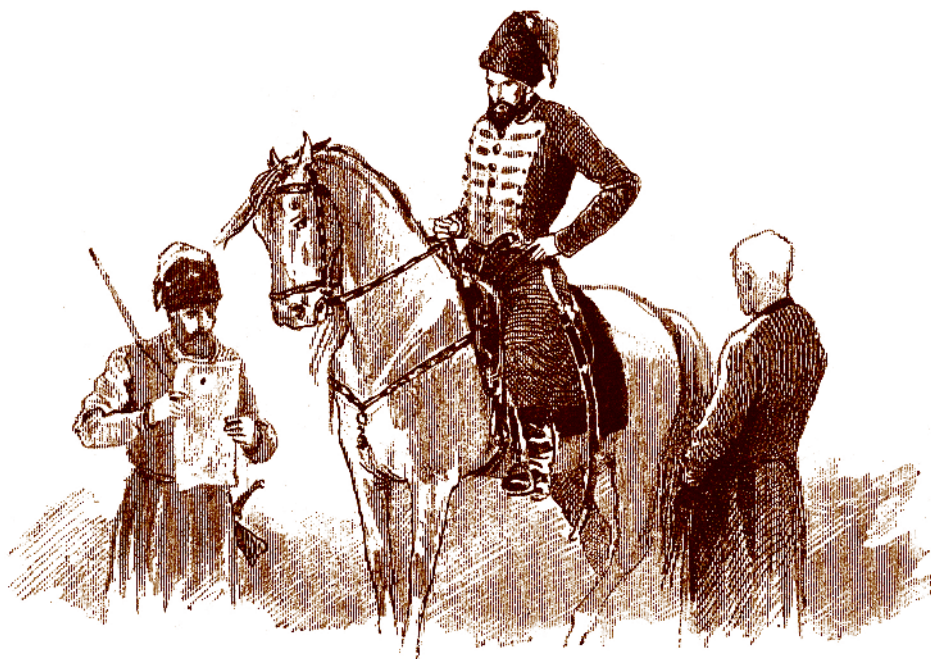
в толпе, кивнул мне головою и подозвал к себе. «Слушай, – сказал он мне. – Ступай сей же час в Оренбург и объяви от меня губернатору и всем генералам, чтоб ожидали меня к себе через неделю. Присоветуй им встретить меня с детской любовью и послушанием; не то не избежать им лютой казни. Счастливый путь, ваше благородие! – Потом обратился он к народу и сказал, указывая на Швабрину: – Вот вам, детушки, новый командир: слушайтесь его во всем, а он отвечает мне за вас и за крепость». С ужасом услышал я сии слова: Швабрин делался начальником крепости; Марья Ивановна оставалась в его власти! Боже, что с нею будет! Пугачев сошел с крыльца. Ему подвели лошадь. Он проворно вскочил в седло, не дождавшись казаков, которые хотели было посадить его.

В это время из толпы народа, вижу, выступил мой Савельич, подходит к Пугачеву и подает ему лист бумаги. Я не мог придумать, что из того выйдет. «Это что?» – спросил важно Пугачев. «Прочитай, так изводишь увидеть», – отвечал Савельич. Пугачев принял бумагу и долго рассматривал с видом значительным. «Что ты так мудроно пишешь? – сказал он наконец. – Наши светлые очи не могут тут ничего разобрать. Где мой обер-секретарь?»

Молодой малый в капральском мундире проворно подбежал к Пугачеву. «Читай вслух», – сказал самозванец, отдавая ему бумагу. Я чрезвычайно любопытствовал узнать, о чем дядька мой вздумал писать Пугачеву. Обер-секретарь громогласно стал по складам читать следующее:

- «Два халата, миткалевый и шелковый полосатый, на шесть рублей».
- Это что значит? – сказал, нахмурясь, Пугачев.
- Прикажи читать далее, – отвечал спокойно Савельич.

Обер-секретарь продолжал:



– «Мундир из тонкого зеленого сукна на семь рублей.

Штаны белые суконные на пять рублей.

Двенадцать рубах полотняных голландских с манжетами на десять рублей.

Погребец с чайною посудю на два рубля с полтиною...»

– Что за вранье? – прервал Пугачев. – Какое мне дело до погребцов и до штанов с манжетами?

Савельич крякнул и стал объясняться.

– Это, батюшка, изволишь видеть, реестр барскому добру, раскраденному злодеями...

– Какими злодеями? – спросил грозно Пугачев.

– Виноват: обмолвился, – отвечал Савельич. – Злодеи не злодеи, а твои ребята таки пошарили да порастаскали. Не гневись: конь и о четырех ногах да спотыкается. Прикажи уж дочитать.

– Дочитывай, – сказал Пугачев. Секретарь продолжал:

– «Одеяло ситцевое, другое тафтяное на хлопчатой бумаге четыре рубля.

Шуба лисья, крытая алым ратином¹, 40 рублей.

Еще заячий тулупчик, пожалованный твоей милости на постоялом дворе, 15 рублей».

– Это что еще! – вскричал Пугачев, сверкнув огненными глазами.

Признаюсь, я перепугался за бедного моего дядьку. Он хотел было пуститься опять в объяснения, но Пугачев его прервал: «Как ты смел лезть ко мне с такими пустяками? – вскричал он, выхватя бумагу из рук секретаря и бросив ее в лицо

¹ Ратин – шерстяная ткань с короткими завитками густого ворса.



Савельичу. – Глупый старик! Их обобрали: экая беда? Да ты должен, старый хрыч, вечно бога молить за меня да за моих ребят за то, что ты и с барином-то своим не висите здесь вместе с моими ослушниками... Заячий тулуп! Я-те дам заячий тулуп! Да знаешь ли ты, что я с тебя живого кожу велю содрать на тулупы?»

– Как изволишь, – отвечал Савельич, – а я человек подневольный и за барское добро должен отвечать.

Пугачев был, видно, в припадке великодушия. Он отворотился и отъехал, не сказав более ни слова. Швабрин и старшины последовали за ним. Шайка выступила из крепости в порядке. Народ пошел провожать Пугачева. Я остался на площади один с Савельичем. Дядька мой держал в руках свой реестр и рассматривал его с видом глубокого сожаления.

Видя мое доброе согласие с Пугачевым, он думал употребить оное в пользу; но мудрое намерение ему не удалось. Я стал было его бранить за неуместное усердие и не мог удержаться от смеха. «Смейся, сударь, – отвечал Савельич, – смейся; а как придется нам сызнова заводиться всем хозяйством, так посмотрим, смешно ли будет».

Я спешил в дом священника увидеться с Марьей Ивановной. Попадья встретила меня с печальным известием. Ночью у Марьи Ивановны открылась сильная горячка. Она лежала без памяти и в бреду. Попадья ввела меня в ее комнату. Я тихо подошел к ее кровати. Перемена в ее лице поразила меня. Больная меня не узнала. Долго стоял я перед нею, не слушая ни отца Герасима, ни доброй жены его, которые, кажется, меня утешали. Мрачные мысли волновали меня. Состояние бедной, беззащитной сироты, оставленной посреди злобных мятежников, собственное мое бессилие утешали меня. Швабрин, Швабрин пуще всего терзал мое воображение. Облеченный властью от самозванца, предводительствуя в крепости, где оставалась несчастная





девушка – невинный предмет его ненависти, он мог решиться на все. Что мне было делать? Как подать ей помощь? Как освободить из рук злодея? Оставалось одно средство: я решился тот же час отправиться в Оренбург, дабы торопить освобождение Белогорской крепости и по возможности тому содействовать. Я простился с священником и с Акулиной Памфиловной, с жаром поручая ей ту, которую почитал уже своею женою. Я взял руку бедной девушки и поцеловал ее, орошая слезами. «Прощайте, – говорила мне попадья, провожая меня, – прощайте, Петр Андреич. Авось увидимся в лучшее время. Не забывайте нас и пишите к нам почаще. Бедная Марья Ивановна, кроме вас, не имеет теперь ни утешения, ни покровителя».

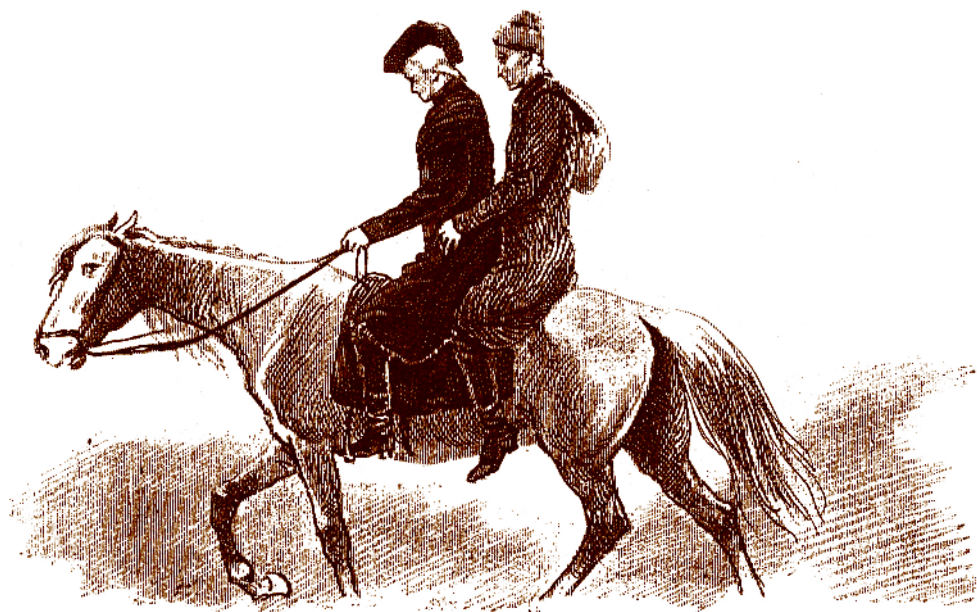
Вышед на площадь, я остановился на минуту, взглянул на виселицу, поклонился ей, вышел из крепости и пошел по Оренбургской дороге, сопровождаемый Савельичем, который от меня не отставал.

Я шел, занятый своими размышлениями, как вдруг услышал за собою конский топот. Оглянувшись; вижу: из крепости скачет казак, держа башкирскую лошадь в поводья и делая издали мне знаки. Я остановился и вскоре узнал нашего урядника. Он, подскакав, слез с своей лошади и сказал, отдавая мне поводья другой:



«Ваше благородие! Отец наш вам жалует лошадь и шубу с своего плеча (к седлу привязан был овчинный тулуп). Да еще, – примолвил, запинаясь, урядник, – жалует он вам... полтину денег... да я растерял ее дорогою; простите великодушно». Савельич посмотрел на него косо и проворчал: «Растерял дорогою! А что же у тебя побрякивает за пазухой? Бессовестный!» – «Что у меня за пазухой-то побрякивает? – возразил урядник, нимало не смутясь. – Бог с тобою, старинушка! Это бренчит уздечка, а не полтина». – «Добро, – сказал я, прерывая спор. – Благодарю от меня того, кто тебя прислал; а растерянную полтину постарайся подобрать на возвратном пути и возьми себе на водку». – «Очень благодарен, ваше благородие, – отвечал он, поворачивая свою лошадь, – вечно за вас буду бога молить». При сих словах он поскакал назад, держась одной рукою за пазуху, и через минуту скрылся из виду.

Я надел тулуп и сел верхом, посадив за собою Савельича. «Вот видишь ли, сударь, – сказал старик, – что я недаром подал мошеннику челобитье: вору-то стало совестно, хоть башкирская долговязая кляча да овчинный тулуп не стоят и половины того, что они, мошенники, у нас украли, и того, что ты ему сам изволил пожаловать; да все же пригодится, а с лихой собаки хоть шерсти клок».





Глава X

ОСАДА ГОРОДА

Заняв луга и горы,
С вершины, как орел, бросал на град он взоры.
За станом повелел соорудить раскат
И, в нем перуны скрыв, в ночи привести под град.

Херасков.

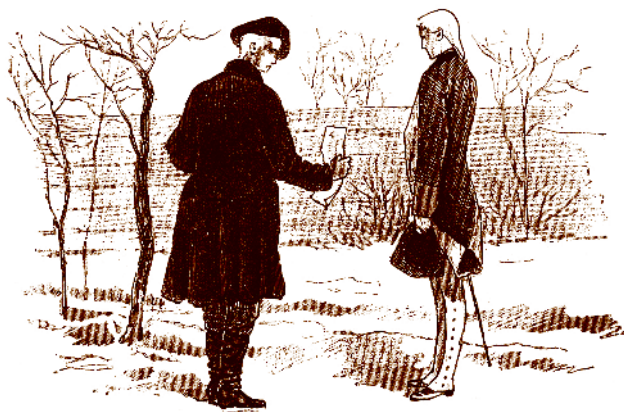
Приближаясь к Оренбургу, увидели мы толпу колодников с обритыми головами, с лицами, обезображенными щипцами палача. Они работали около укреплений под надзором гарнизонных инвалидов. Иные вывозили в тележках сор, наполнявший ров; другие лопатками копали землю; на валу каменщики таскали кирпич и чинили городскую стену. У ворот часовые остановили нас и потребовали наших паспортов. Как скоро сержант услышал, что я еду из Белогорской крепости, то и повел меня прямо в дом генерала.

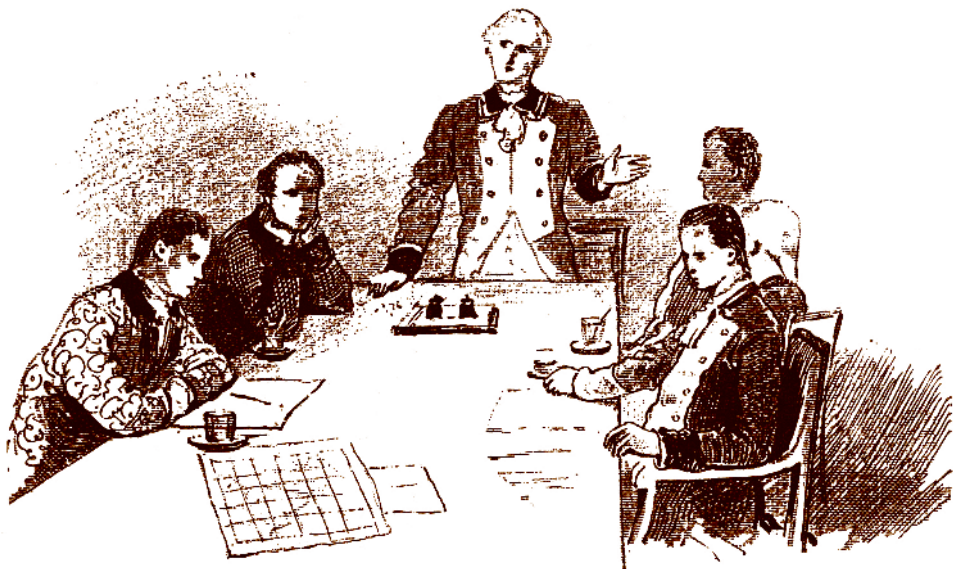
Я застал его в саду. Он осматривал яблони, обнаженные дыханием осени, и с помощью старого садовника бережно их укутывал теплой соломой. Лицо его изображало спокойствие, здоровье и добродушие. Он мне обрадовался и стал расспрашивать об ужасных происшествиях, коим я был свидетель. Я рассказал ему все. Старик слушал меня со вниманием и между тем отрезывал сухие ветви. «Бедный Миронов! – сказал он, когда кончил я свою печальную повесть. – Жаль его: хороший был офицер. И мадам Миронов добрая была дама и какая майстерица грибы солить! А что Маша, капитанская дочка?» Я отвечал, что она осталась в крепости на руках у попадьи. «Ай, ай, ай! – заметил генерал. – Это плохо, очень плохо. На дисциплину разбойников никак нельзя положиться. Что будет с бедной девушкою?» Я отвечал, что до Белогорской

крепости недалеко, и что, вероятно, его превосходительство не замедлит выслать войско для освобождения бедных ее жителей. Генерал покачал головою с видом недоверчивости. «Посмотрим, посмотрим, – сказал он. – Об этом мы еще успеем потолковать. Прошу ко мне пожаловать на чашку чаю: сегодня у меня будет военный совет. Ты можешь нам дать верные сведения о бездельнике Пугачеве и об его войске. Теперь покамест поди отдохни».

Я пошел на квартиру, мне отведенную, где Савельич уже хозяйничал, и с нетерпением стал ожидать назначенного времени. Читатель легко себе представит, что я не преминул явиться на совет, долженствовавший иметь такое влияние на судьбу мою. В назначенный час я уже был у генерала.

Я застал у него одного из городских чиновников, помнится, директора таможни, толстого и румяного старичка в глазетовом кафтане. Он стал расспрашивать меня о судьбе Ивана Кузмича, которого называл кумом, и часто прерывал мою речь дополнительными вопросами и нравоучительными замечаниями, которые если и не





обличали в нем человека сведущего в военном искусстве, то по крайней мере обнаруживали сметливость и природный ум. Между тем собрались и прочие приглашенные. Между ими, кроме самого генерала, не было ни одного военного человека. Когда все уселись и всем разнесли по чашке чаю, генерал изложил весьма ясно и пространно, в чем состояло дело. «Теперь, господа, – продолжал он, – надлежит решить, как нам действовать противу мятежников: *наступательно* или *оборонительно*? Каждый из оных способов имеет свою выгоду и невыгоду. Действие наступательное представляет более надежды на скорейшее истребление неприятеля; действие оборонительное более верно и безопасно... Итак, начнем собирать голоса по законному порядку, то есть начиная с младших по чину. Господин прапорщик! – продолжал он, обращаясь ко мне. – Извольте объяснить нам ваше мнение».

Я встал и, в коротких словах описав сперва Пугачева и шайку его, сказал утвердительно, что самозванцу способа не было устоять противу правильного оружия.

Мнение мое было принято чиновниками с явную неблагоклонностью. Они видели в нем опрометчивость и дерзость молодого человека. Поднялся ропот, и я услышал явственно слово «молокосос», произнесенное кем-то





вполголоса. Генерал обратился ко мне и сказал с улыбкою: «Господин прапорщик! Первые голоса на военных советах подаются обыкновенно в пользу движений наступательных; это законный порядок. Теперь станем продолжать соби́рание голосов. Господин коллежский советник! скажите нам ваше мнение!»

Старичок в глазетовом¹ кафтани поспешно допил третью свою чашку, значительно разбавленную ромом, и отвечал генералу: «Я думаю, ваше превосходительство, что не должно действовать ни наступательно, ни оборонительно».

— Как же так, господин коллежский советник? — возразил изумленный генерал. — Других способов тактика не представляет: движение оборонительное или наступательное...

— Ваше превосходительство, двигайтесь подкупательно.

— Эх-хе-хе! мнение ваше весьма благоразумно. Движения подкупательные тактикою допускаются, и мы воспользуемся вашим советом. Можно будет обещать за голову бездельника... рублей семьдесят или даже сто... из секретной суммы...

— И тогда, — прервал таможенный директор, — будь я киргизский баран, а не коллежский советник, если эти воры не выдадут нам своего атамана, скованного по рукам и по ногам.

— Мы еще об этом подумаем и потолкуем, — отвечал генерал. — Однако надлежит во всяком случае предпринять и военные меры. Господа, подайте голоса ваши по законному порядку.

Все мнения оказались противными моему. Все чиновники говорили о ненадежности войск, о неверности удачи, об осторожности и тому подобном. Все полагали, что благоразумнее оставаться



¹ Глазет — парчовая ткань с золотыми или серебряными узорами.



под прикрытием пушек, за крепкой каменной стеною, нежели на открытом поле испытывать счастье оружия. Наконец генерал, выслушав все мнения, вытряхнул пепел из трубки и произнес следующую речь:

– Государи мои! должен я вам объявить, что с моей стороны я совершенно с мнением господина прапорщика согласен, ибо мнение сие осно-

вано на всех правилах здоровой тактики, которая всегда почти наступательные движения оборонительным предпочитает.

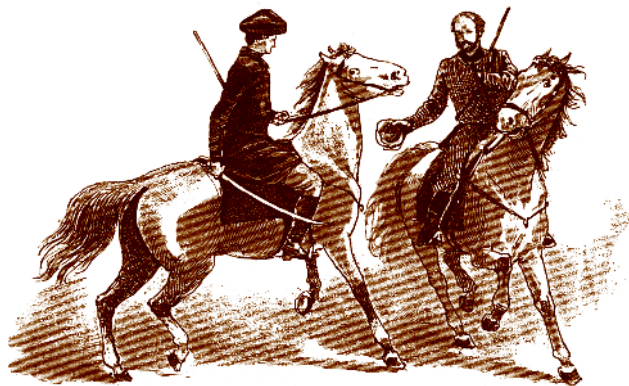
Тут он остановился и стал набивать свою трубку. Самолюбие мое торжествовало. Я гордо посмотрел на чиновников, которые между собою перешептывались с видом неудовольствия и беспокойства.

– Но, государи мои, – продолжал он, выпустив, вместе с глубоким вздохом, густую струю табачного дыму, – я не смею взять на себя столь великую ответственность, когда дело идет о безопасности вверенных мне провинций ее императорским величеством, всемилостивейшей моею государыней. Итак, я соглашаюсь с большинством голосов, которое решило, что всего благоразумнее и безопаснее внутри города ожидать осады, а нападения неприятеля силой артиллерии и (буде окажется возможным) вылазками – отразить.

Чиновники, в свою очередь, насмешливо поглядели на меня. Совет разошелся. Я не мог не сожалеть о слабости почтенного воина, который, наперекор собственному убеждению, решался следовать мнениям людей несведущих и неопытных.

Спустя несколько дней после сего знаменитого совета узнали мы, что Пугачев, верный своему обещанию, приблизился к Оренбургу. Я увидел войско мятежников с высоты городской стены. Мне показалось, что число их вдесятеро увеличилось со времени последнего приступа, коему был я свидетель. При них была и артиллерия, взятая Пугачевым в малых крепостях, им уже





покоренных. Вспомня решение совета, я предвидел долговременное заключение в стенах оренбургских и чуть не плакал от досады.

Не стану описывать оренбургскую осаду, которая принадлежит истории, а не семейственным запискам. Скажу вкратце, что сия осада по неосторожности местного начальства была гибельна для жителей, которые претерпели голод и всевоз-

можные бедствия. Легко можно себе вообразить, что жизнь в Оренбурге была самая несносная. Все с унынием ожидали решения своей участи; все охали от дороговизны, которая в самом деле была ужасна. Жители привыкли к ядрам, залетавшим на их дворы; даже приступы Пугачева уж не привлекали общего любопытства. Я умирал со скуки. Время шло. Писем из Белогорской крепости я не получал. Все дороги были отрезаны. Разлука с Марьей Ивановной становилась мне нестерпима. Неизвестность о ее судьбе меня мучила. Единственное развлечение мое состояло в наездничестве. По милости Пугачева, я имел добрую лошадь, с которой делился скудной пищею и на которой ежедневно выезжал я за город перестреливаться с пугачевскими наездниками. В этих перестрелках перевес был обыкновенно на стороне злодеев, сытых, пьяных и добродетельных. Тощая городская конница не могла их одолеть. Иногда выходила в поле и наша голодная пехота; но глубина снега мешала ей действовать удачно против рассеянных наездников. Артиллерия тщетно гремела с высоты вала, а в поле вязла и не двигалась по причине изнурения лошадей. Таков был образ наших военных действий! И вот что оренбургские чиновники называли осторожностью и благоразумием!

Однажды, когда удалось нам как-то рассеять и прогнать довольно густую толпу, наехал я на казака, отставшего от своих товарищей; я готов был уже ударить его своею турецкою саблею, как вдруг он снял шапку и закричал:

— Здравствуйте, Петр Андреич! Как вас бог милует?





Я взглянул и узнал нашего урядника. Я несказанно ему обрадовался.

– Здравствуй, Максимыч, – сказал я ему. – Давно ли из Белогорской?

– Недавно, батюшка Петр Андреич; только вчера воротился. У меня есть к вам письмецо.

– Где ж оно? – вскричал я, весь так и вспыхнув.

– Со мною, – отвечал Максимыч, положив руку за пазуху. – Я обещался Палаше уж как-нибудь да вам доставить. – Тут он подал мне сложенную бумажку и тотчас ускакал. Я развернул ее и с трепетом прочел следующие строки:

«Богу угодно было лишить меня вдруг отца и матери: не имею на земле ни родни, ни покровителей. Прибегаю к вам, зная, что вы всегда желали мне добра и что вы всякому человеку готовы помочь. Молю бога, чтоб это письмо как-нибудь до вас дошло! Максимыч обещал вам его доставить. Палаша слышала также от Максимыча, что вас он часто издали видит на вылазках и что вы совсем себя не бережете и не думаете о тех, которые за вас со слезами бога молят. Я долго была больна; а когда выздоровела, Алексей Иванович, который командует у нас на месте покойного батюшки, принудил отца Герасима выдать меня ему, застрашав Пугачевым. Я живу в нашем доме под караулом. Алексей Иванович принуждает меня выйти за него замуж. Он говорит, что спас мне жизнь, потому что прикрыл обман Акулины Памфиловны, которая сказала злодеям, будто бы я ее племянница. А мне легче было бы умереть, нежели сделаться женою такого человека, каков Алексей Иванович. Он обходится со мною очень жестоко и грозит, коли не одумаюсь и не соглашусь, то привезет меня в лагерь к злодею, и с вами-де то же будет, что с Лизаветой Харловой. Я просила Алексея Ивановича дать мне подумать.

Он согласился ждать еще три дня; а коли через три дня за него не выду, так уж никакой пощады не будет. Батюшка Петр Андреич! вы один у меня покровитель; заступитесь за меня, бедную. Упросите генерала и всех командиров прислать к нам поскорее сикурсу да приезжайте сами, если можете. Остаюсь вам покорная бедная сирота

Марья Миронова».

Прочитав это письмо, я чуть с ума не сошел. Я пустился в город, без милосердия прищипывая бедного моего коня. Дорогою придумывал я и то и другое для избавления бедной девушки и ничего не мог выдумать. Прискакав в город, я отправился прямо к генералу и опрометью к нему вбежал.

Генерал ходил взад и вперед по комнате, куря свою пенковую трубку. Увидя меня, он остановился. Вероятно, вид мой поразил его; он заботливо осведомился о причине моего поспешного прихода.

– Ваше превосходительство, – сказал я ему, – прибегаю к вам как к отцу родному; ради бога, не откажите мне в моей просьбе: дело идет о счастье всей моей жизни.

– Что такое, батюшка? – спросил изумленный старик. – Что я могу для тебя сделать? Говори.

– Ваше превосходительство, прикажите взять мне роту солдат и полсотни казаков и пустите меня очистить Белогорскую крепость.

Генерал глядел на меня пристально, полагая, вероятно, что я с ума сошел (в чем почти и не ошибался).

– Как это? Очистить Белогорскую крепость? – сказал он наконец.

– Ручаюсь вам за успех, – отвечал я с жаром. – Только отпустите меня.

– Нет, молодой человек, – сказал он, качая головою. – На таком великом расстоянии неприятелю легко будет отрезать вас от коммуникации с главным стратегическим пунктом и получить над вами совершенную победу. Пресеченная коммуникация...





Я испугался, увидя его завлеченного в военные рассуждения, и спешил его прервать.

– Дочь капитана Миронова, – сказал я ему, – пишет ко мне письмо: она просит помощи; Швабрин принуждает ее выйти за него замуж.

– Неужто? О, этот Швабрин превеликий Schelm¹, и если попадется ко мне в руки, то я велю его судить в двадцать четыре часа, и мы расстреляем его на парاپете крепости! Но покамест надобно взять терпение...

– Взять терпение! – вскричал я вне себя. – А он между тем женится на Марье Ивановне!..

– О! – возразил генерал. – Это еще не беда: лучше ей быть покамест женою Швабрина: он теперь может оказать ей протекцию; а когда его расстреляем, тогда, бог даст, сыщутся ей и женишки. Миленькие вдовушки в девках не сидят; то есть, хотел я сказать, что вдовушка скорее найдет себе мужа, нежели девица.

– Скорее соглашусь умереть, – сказал я в бешенстве, – нежели уступить ее Швабрину!

– Ба, ба, ба, ба! – сказал старик. – Теперь понимаю: ты, видно, в Марью Ивановну влюблен. О, дело другое! Бедный малый! Но все же я никак не могу дать тебе роту солдат и полсотни казаков. Эта экспедиция была бы неблагоприятна; я не могу взять ее на свою ответственность.

Я потупил голову; отчаяние мною овладело. Вдруг мысль мелькнула в голове моей: в чем она состояла, читатель увидит из следующей главы, как говорят старинные романисты.

¹ плут (нем.).



Глава XI

МЯТЕЖНАЯ СЛОБОДА

В ту пору лев был сыт, хоть с роду он свиреп.
«Зачем пожаловать изволил в мой вертеп?» –
Спросил он ласково.

А. Сумароков.

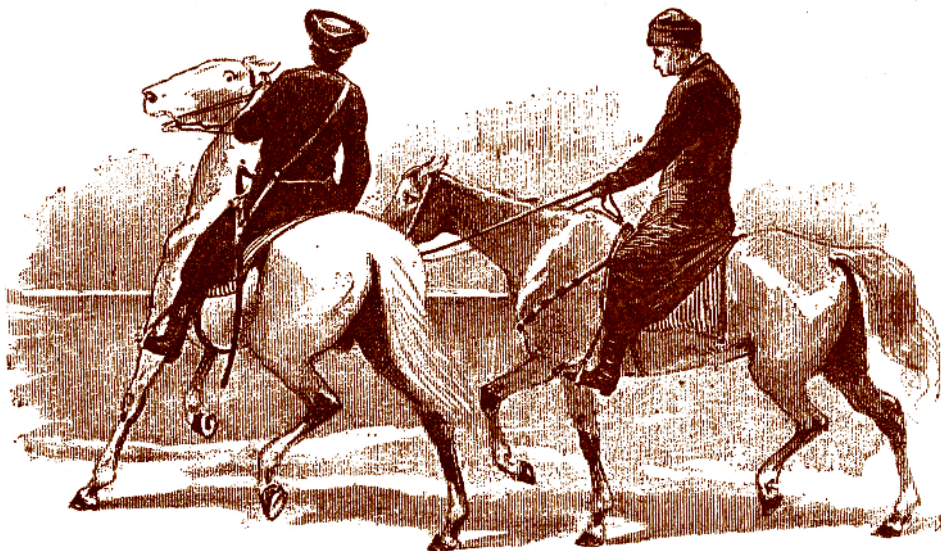
Я оставил генерала и поспешил на свою квартиру. Савельич встретил меня с обыкновенным своим увещанием. «Охота тебе, сударь, переведываться с пьяными разбойниками! Боярское ли это дело? Не ровён час: ни за что пропадешь. И добро бы уж ходил ты на турку или на шведа, а то грех и сказать на кого».

Я прервал его речь вопросом: сколько у меня всего-навсе денег? «Будет с тебя, – отвечал он с довольным видом. – Мошенники как там ни шарили, а я все-таки успел утаить». И с этим словом он вынул из кармана длинный вязаный кошелёк, полный серебра. «Ну, Савельич, – сказал я ему, – отдай же мне теперь половину; а остальное возьми себе. Я еду в Белогорскую крепость».

– Батюшка Петр Андреич! – сказал добрый дядька дрожащим голосом. – Побойся бога; как тебе пускаться в дорогу в нынешнее время, когда никуда проезду нет от разбойников! Пожалей ты хоть своих родителей, коли сам себя не жалеешь. Куда тебе ехать? Зачем? Погоди маленько: войска придут, переловят мошенников; тогда поезжай себе хоть на все четыре стороны.

Но намерение мое было твердо принято.

– Поздно рассуждать, – отвечал я старику. – Я должен ехать, я не могу не ехать. Не тужи, Савельич: бог милостив; авось увидимся! Смотри же, не совестись и не



скупись. Покупай, что тебе будет нужно, хоть втридорога. Деньги эти я тебе дарю. Если через три дня я не ворочусь...

— Что ты это, сударь? — прервал меня Савельич. — Чтоб я тебя пустил одного! Да этого и во сне не проси. Коли ты уж решился ехать, то я хоть пешком да пойду за тобой, а тебя не покину. Чтобы я стал без тебя сидеть за каменной стеною! Да разве я с ума сошел? Воля твоя, сударь, а я от тебя не отстану.

Я знал, что с Савельичем спорить было нечего, и позволил ему приготавливаться в дорогу. Через полчаса я сел на своего доброго коня, а Савельич на тощую и хромую клячу, которую даром отдал ему один из городских жителей, не имея более средств кормить ее. Мы приехали к городским воротам; караульные нас пропустили; мы выехали из Оренбурга.

Начинало смеркаться. Путь мой шел мимо Бердской слободы, пристанища пугачевского. Прямая дорога занесена была снегом; но по всей степи видны были конские следы, ежедневно обновляемые. Я ехал крупной рысью. Савельич едва мог следовать за мною издали и кричал мне поминутно: «Потише, сударь, ради бога потише. Проклятая клячонка моя не успевает за твоим долгоногим бесом. Куда спешишь? Добро бы на пир, а то под обух, того и гляди...



Петр Андреич... батюшка Петр Андреич!.. Не погуби!.. Господи владыко, пропадет барское дитя!»

Вскоре засверкали бердские огни. Мы подъехали к оврагам, естественным укреплениям слободы. Савельич от меня не отставал, не прерывая жалобных своих молений. Я надеялся объехать слободу благополучно, как вдруг увидел в сумраке



прямо перед собой человек пять мужиков, вооруженных дубинами: это был передовой караул пугачевского пристанища. Нас окликали. Не зная пароля, я хотел молча проехать мимо их; но они меня тотчас окружили, и один из них схватил лошадь мою за узду. Я выхватил саблю и ударил мужика по голове; шапка спасла его, однако он зашатался и выпустил из рук узду. Прочие смутились и отбежали; я воспользовался этой минутой, пришпорил лошадь и поскакал.

Темнота приближающейся ночи могла избавить меня от всякой опасности, как вдруг, оглянувшись, увидел я, что Савельича со мною не было. Бедный старик на своей хромой лошади не мог ускакать от разбойников. Что было делать? Подождав его несколько минут и удостоверясь в том, что он задержан, я повернул лошадь и отправился его выручать.

Подъезжая к оврагу, услышал я издали шум, крики и голос моего Савельича. Я поехал скорее и вскоре очутился снова между караульными мужиками, остановившими меня несколько минут тому назад. Савельич находился между ими. Они стащили старика с его клячи и готовились вязать. Прибытие мое их обрадовало. Они с криком бросились на меня и мигом стащили с лошади. Один из них, по-видимому главный, объявил нам, что он сейчас поведет нас к государю. «А наш батюшка, — приба-



вил он, — волен приказать: сейчас ли вас повесить, али дожждаться свету божия». Я не противился; Савельич последовал моему примеру, и караульные повели нас с торжеством.

Мы перебрались через овраг и вступили в слободу. Во всех избах горели огни. Шум и крики раздавались везде. На улице я встретил множество народу; но никто



в темноте нас не заметил и не узнал во мне оренбургского офицера. Нас привели прямо к избе, стоявшей на углу перекрестка. У ворот стояло несколько винных бочек и две пушки. «Вот и дворец, – сказал один из мужиков, – сейчас об вас доложим». Он вошел в избу. Я взглянул на Савельича; старик крестился, читая про себя молитву.

Я дожидался долго; наконец мужик воротился и сказал мне: «Ступай: наш батюшка велел впустить офицера».

Я вошел в избу, или во дворец, как называли ее мужики. Она освещена была двумя сальными свечами, а стены оклеены были золотою бумагою; впрочем, лавки, стол, рукомойник на веревочке, полотенце на гвозде, ухват в углу и широкий шесток, уставленный горшками, – все было как в обыкновенной избе. Пугачев сидел под образами, в красном кафтане, в высокой шапке и важно подбочась. Около него стояло несколько из главных его товарищей, с видом притворного подобострастия. Видно было, что весть о прибытии офицера из Оренбурга пробудила в бунтовщиках сильное любопытство и что они приготовились встретить меня с торжеством. Пугачев узнал меня с первого взгляду. Поддельная важность его вдруг исчезла. «А, ваше благородие! – сказал он мне с живостию. – Как поживаешь? Зачем тебя бог принес?» Я отвечал, что ехал по своему делу и что люди его меня остановили. «А по какому делу?» – спросил он меня. Я не знал, что отвечать. Пугачев, полагая, что я не хочу объясняться при свидетелях, обратился к своим товарищам и велел им выйти. Все послушались, кроме двух, которые не тронулись с места. «Говори смело при них, – сказал мне Пугачев, – от них я ничего не таю». Я взглянул наискось на наперсников самозванца. Один из них, тщедушный и сторбленный старичок с седою бородакою, не имел в себе ничего замечательного, кроме голубой ленты, надетой через плечо по серому армяку. Но ввек не забуду его товарища. Он был высокого роста, дороден и широкоплеч, и показался мне лет сорока пяти. Густая рыжая борода, серые сверкающие глаза, нос без ноздрей и красноватые пятна на лбу и на щеках придавали его





рябому широкому лицу выражение неизъяснимое. Он был в красной рубаше, в киргизском халате и в казацких шароварах. Первый (как узнал я после) был беглый капрал Белобородов; второй – Афанасий Соколов (прозванный Хлопушей), ссыльный преступник, три раза бежавший из сибирских рудников. Несмотря на чувства, исклю-

чительно меня волновавшие, общество, в котором я так нечаянно очутился, сильно развлекало мое воображение. Но Пугачев привел меня в себя своим вопросом: «Говори: по какому же делу выехал ты из Оренбурга?»

Странная мысль пришла мне в голову: мне показалось, что providение, вторично приведшее меня к Пугачеву, подавало мне случай привести в действие мое намерение. Я решился им воспользоваться и, не успев обдумать то, на что решался, отвечал на вопрос Пугачева:

– Я ехал в Белогорскую крепость избавить сироту, которую там обижают.

Глаза у Пугачева засверкали. «Кто из моих людей смеет обижать сироту? – закричал он. – Будь он семи пядень во лбу, а от суда моего не уйдет. Говори: кто виноватый?»

– Швабрин виноватый, – отвечал я. – Он держит в неволе ту девушку, которую ты видел, больную, у попадьи, и насильно хочет на ней жениться.

– Я проучу Швабрина, – сказал грозно Пугачев. – Он узнает, каково у меня своевольничать и обижать народ. Я его повешу.

– Прикажи слово молвить, – сказал Хлопуша хриплым голосом. – Ты поторопился назначить Швабрина в коменданты крепости, а теперь торопишься его вешать. Ты уж оскорбил казаков, посадив дворянина им в начальники; не пугай же дворян, казня их по первому наговору.

– Нечего их ни жалеть, ни жаловать! – сказал старичок в голубой ленте. – Швабрина казнить не беда; а не худо и господина офицера допросить порядком: зачем изволил пожаловать. Если он тебя государем не признает, так нечего у тебя и управы искать, а коли признает, что же он до сегодняшнего дня сидел в Оренбурге с твоими супостатами? Не прикажешь ли свести его в приказную да запалить там огоньку: мне сдается, что его милость подослан к нам от оренбургских командиров.

Логика старого злодея показалась мне довольно убедительною. Мороз пробежал по всему моему телу при мысли, в чьих руках я находился. Пугачев заметил мое смущение. «Ась, ваше благородие? – сказал он мне подмигивая. – Фельдмаршал мой, кажется, говорит дело. Как ты думаешь?»

Насмешка Пугачева возвратила мне бодрость. Я спокойно отвечал, что я нахожусь в его власти и что он волен поступать со мною, как ему будет угодно.

– Добро, – сказал Пугачев. – Теперь скажи, в каком состоянии ваш город.

– Слава богу, – отвечал я, – все благополучно.

– Благополучно? – повторил Пугачев. – А народ мрет с голоду!

Самозванец говорил правду; но я по долгу присяги стал уверять, что все это пустые слухи и что в Оренбурге довольно всяких запасов.

– Ты видишь, – подхватил старичок, – что он тебя в глаза обманывает. Все беглецы согласно показывают, что в Оренбурге голод и мор, что там

едят мертвечину, и то за честь; а его милость уверяет, что всего вдоволь. Коли ты Швабрина хочешь повесить, то уж на той же виселице повесь и этого молодца, чтоб никому не было завидно.

Слова проклятого старика, казалось, поколебали Пугачева. К счастью, Хлопуша стал противоречить своему товарищу.

– Полно, Наумыч, – сказал он ему. – Тебе бы все душить да резать. Что ты за богатырь? Поглядеть, так в чем душа держится. Сам в могилу смотришь, а других губишь. Разве мало крови на твоей совести?

– Да ты что за угодник? – возразил Белобородов. – У тебя-то откуда жалость взялась?

– Конечно, – отвечал Хлопуша, – и я грешен, и эта рука (тут он сжал свой костливый кулак и, засуча рукава, открыл косматую руку), и эта рука повинна в пролитой христианской крови. Но я губил супротивника, а не гостя; на вольном перепутье, да в темном лесу, не дома, сидя за печью; кистенем и обухом, а не бабьим наговором.

Старик отворотился и проворчал слова: «Рваные ноздри!»...

– Что ты там шепчешь, старый хрыч? – закричал Хлопуша. – Я тебе дам рваные ноздри; погоди, придет и твое время; бог даст, и ты щипцов понюхаешь... А покамест смотри, чтоб я тебе бородинки не вырвал!

– Господа енаралы! – провозгласил важно Пугачев. – Полно вам ссориться. Не беда, если б и все оренбургские собаки дрыгали ногами под одной перекладиной: беда, если наши кобели меж собою перегрызутся. Ну, помиритесь.

Хлопуша и Белобородов не сказали ни слова и мрачно смотрели друг на друга. Я увидел необходимость переменить разговор, который мог кончиться для меня очень невыгодным образом, и, обратясь к Пугачеву, сказал ему с веселым видом: «Ах! я было и забыл благодарить тебя за лошадь и за тулуп. Без тебя я не добрался бы до города и замёрз бы на дороге».

Уловка моя удалась. Пугачев развеселился. «Долг платежом красен, – сказал он, мигая и прищуриваясь. – Расскажи-ка мне теперь, какое тебе дело до той девушки,





которую Швабрин обижает? Уж не зазноба ли сердцу молодецкому? а?»

— Она невеста моя, — отвечал я Пугачеву, видя благоприятную перемену погоды и не находя нужды скрывать истину.

— Твоя невеста! — закричал Пугачев. — Что ж ты прежде не сказал? Да мы тебя женим и на свадьбе твоей попируем! — Потом, обращаясь к Белобородову: — Слушай, фельд-маршал! Мы с его благо-

родием старые приятели; сядем-ка да поужинаем; утро вечера мудренее. Завтра посмотрим, что с ним сделаем.

Я рад был отказаться от предлагаемой чести, но делать было нечего. Две молодые казачки, дочери хозяина избы, накрыли стол белой скатертью, принесли хлеба, ухи и несколько штофов с вином и пивом, и я вторично очутился за одною трапезою с Пугачевым и с его страшными товарищами.

Оргия, коей я был невольным свидетелем, продолжалась до глубокой ночи. Наконец хмель начал одолевать собеседников. Пугачев задремал, сидя на своем месте; товарищи его встали и дали мне знак оставить его. Я вышел вместе с ними. По распоряжению Хлопуши, караульный отвел меня в приказную избу, где я нашел и Савельича и где меня оставили с ним взаперти. Дядька был в таком изумлении при виде всего, что происходило, что не сделал мне никакого вопроса. Он улегся в темноте и долго вздыхал и охал; наконец захрапел, а я предался размышлениям, которые во всю ночь ни на одну минуту не дали мне задремать.

Поутру пришли меня звать от имени Пугачева. Я пошел к нему. У ворот его стояла кибитка, запряженная тройкою татарских лошадей. Народ толпился на улице.

В сенях встретил я Пугачева: он был одет по-дорожному, в шубе и в киргизской шапке. Вчерашние собеседники окружали его, приняв на себя вид подобострастия, который сильно противуречил всему, чему я был свидетелем накануне. Пугачев весело со мною поздоровался и велел мне садиться с ним в кибитку.





Мы уселись. «В Белогорскую крепость!» – сказал Пугачев широкоплечему татарину, стоя правящему тройкою. Сердце мое сильно забилося. Лошади тронулись, колокольчик загремел, кибитка полетела...

«Стой! стой!» – раздался голос, слишком мне знакомый, – и я увидел Савельича, бежавшего

го нам навстречу. Пугачев велел остановиться. «Батюшка, Петр Андреич! – кричал дядька. – Не покинь меня на старости лет посреди этих мошен...» – «А, старый хрыч! – сказал ему Пугачев. – Опять бог дал свидеться. Ну, садись на облучок».

– Спасибо, государь, спасибо, отец родной! – говорил Савельич усаживаясь. – Дай бог тебе сто лет здравствовать за то, что меня старика призрил и успокоил. Век за тебя буду бога молить, а о заячьем тулупе и упоминать уж не стану.

Этот заячий тулуп мог наконец не на шутку рассердить Пугачева. К счастью, самозванец или не расслышал, или пренебрег неуместным намеком. Лошади поскакали; народ на улице останавливался и кланялся в пояс. Пугачев кивал головою на обе стороны. Через минуту мы выехали из слободы и помчались по гладкой дороге.

Легко можно себе представить, что чувствовал я в эту минуту. Через несколько часов должен я был увидаться с той, которую почитал уже для меня потерянною. Я воображал себе минуту нашего соединения... Я думал также и о том человеке, в чьих руках находилась моя судьба и который по странному стечению обстоятельств таинственно был со мною связан. Я вспоминал об опрометчивой жестокости, о кровожадных привычках того, кто вызывался быть избавителем моей любезной! Пугачев не знал, что она была дочь капитана Миронова; озлобленный Швабрин мог открыть ему все; Пугачев мог проведать истину и другим образом... Тогда что станет с Марьей Ивановной? Холод пробегал по моему телу, и волосы становились дыбом...

Вдруг Пугачев прервал мои размышления, обратясь ко мне с вопросом:

– О чем, ваше благородие, изволил задуматься?

– Как не задуматься, – отвечал я ему. – Я офицер и дворянин; вчера еще дрался противу тебя, а сегодня еду с тобой в одной кибитке, и счастье всей моей жизни зависит от тебя.



– Что ж? – спросил Пугачев. – Страшно тебе?

Я отвечал, что, быв однажды уже им помилован, я надеялся не только на его пощаду, но даже и на помощь.

– И ты прав, ей-богу прав! – сказал самозванец. – Ты видел, что мои ребята смотрели на тебя косо; а старик и сегодня настаивал на том, что ты шпион и что надобно те-

бя пытать и повесить; но я не согласился, – прибавил он, понизив голос, чтоб Савельич и татарин не могли его услышать, – помня твой стакан вина и заячий тулуп. Ты видишь, что я не такой еще кровопийца, как говорит обо мне ваша братья.

Я вспомнил взятие Белогорской крепости; но не почел нужным его оспаривать и не отвечал ни слова.

– Что говорят обо мне в Оренбурге? – спросил Пугачев, помолчав немного.

– Да, говорят, что с тобою сладить трудновато; нечего сказать: дал ты себя знать. Лицо самозванца изобразило довольное самолюбие.

– Да! – сказал он с веселым видом. – Я воюю хоть куда. Знают ли у вас в Оренбурге о сражении под Юзеевой? Сорок енаралов убито, четыре армии взято в полон. Как ты думаешь: прусский король мог ли бы со мною потягаться?



Хвастливость разбойника показалась мне забавна.

– Сам как ты думаешь? – сказал я ему, – управился ли бы ты с Фридериком?

– С Федор Федоровичем? А как же нет? С вашими снарадами ведь я же управляюсь; а они его бивали. Доселе оружие мое было счастливо. Дай срок, то ли еще будет, как пойду на Москву.

– А ты полагаешь идти на Москву?

Самозванец несколько задумался и сказал вполголоса:

– Бог весть. Улица моя тесна; воли мне мало. Ребята мои умничают. Они воры. Мне должно держать ухо востро; при первой неудаче они свою шею выкупят моею головою.

– То-то! – сказал я Пугачеву.

– Не лучше ли тебе отстать от них самому, заблаговременно, да прибегнуть к милосердию государыни?

Пугачев горько усмехнулся.

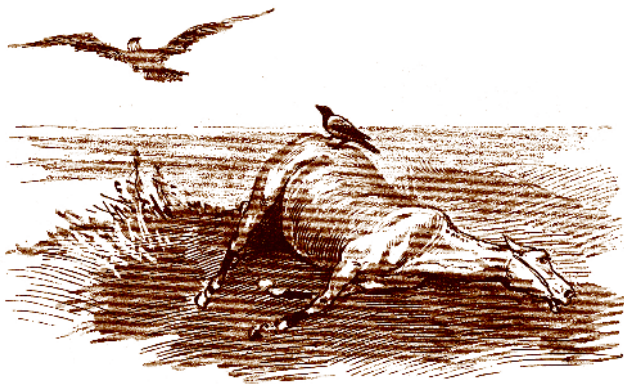
– Нет, – отвечал он, – поздно мне каяться. Для меня не будет помилования. Буду продолжать как начал. Как знать? Авось и удастся! Гришка Отрепьев ведь поцарствовал же над Москвою.

– А знаешь ты, чем он кончил? Его выбросили из окна, зарезали, сожгли, зарядили его пеплом пушку и выпалили!

– Слушай, – сказал Пугачев с каким-то диким вдохновением. – Расскажу тебе сказку, которую в ребячестве мне рассказывала старая калмычка. Однажды орел спрашивал у ворона: скажи, ворон-птица, отчего живешь ты на белом свете триста лет, а я всего-навсе только тридцать три года? – Оттого, батюшка, отвечал ему ворон, что ты пьешь живую кровь, а я питаюсь мертвечиной. Орел подумал: давай попробуем и мы питаться тем же. Хорошо. Полетели орел да ворон. Вот завидели палую лошадь; спустились и сели. Ворон стал клевать да похваливать. Орел клюнул раз, клюнул другой, махнул крылом и сказал ворону: нет, брат ворон; чем триста лет питаться падалью, лучше раз напиться живой кровью, а там что бог даст! – Какова калмыцкая сказка?

– Затейлива, – отвечал я ему. – Но жить убийством и разбоем значит по мне клевать мертвечину.

Пугачев посмотрел на меня с удивлением и ничего не отвечал. Оба мы замолчали, погружаясь каждый в свои размышления. Татарин затянул унылую песню; Савельич, дремля, качался на облучке. Кибитка летела по гладкому зимнему пути... Вдруг увидел я деревушку на крутом берегу Яика, с частоколом и с колокольней – и через четверть часа въехали мы в Белогорскую крепость.





Глава XII

СИРОТА

Как у нашей у яблоньки
 Ни верхушки нет, ни отросточек;
 Как у нашей у княгинюшки
 Ни отца нету, ни матери.
 Снарядить-то ее некому,
 Благословить-то ее некому.

Свадебная песня.

Кибитка подъехала к крыльцу комендантского дома. Народ узнал колокольчик Пугачева и толпою бежал за нами. Швабрин встретил самозванца на крыльце. Он был одет казаком и отрастил себе бороду. Изменник помог Пугачеву вылезть из кибитки, в подлых выражениях изъясняя свою радость и усердие. Увидя меня, он смутился; но вскоре оправился, протянул мне руку, говоря: «И ты наш? Давно бы так!» Я отворотился от него и ничего не отвечал.

Сердце мое заныло, когда очутились мы в давно знакомой комнате, где на стене висел еще диплом покойного коменданта, как печальная эпитафия прошедшему времени. Пугачев сел на том диване, на котором, бывало, дремал Иван Кузмич, усыпленный ворчанием своей супруги. Швабрин сам поднес ему водки. Пугачев выпил рюмку и сказал ему, указав на меня: «Попотчуй и его благородие». Швабрин подошел ко мне с своим подносом; но я вторично от него отворотился. Он казался сам не



свой. При обыкновенной своей сметливости он, конечно, догадался, что Пугачев был им недоволен. Он трусил перед ним, а на меня поглядывал с недоверчивости. Пугачев осведомился о состоянии крепости, о слухах про неприятельские войска и тому подобном, и вдруг спросил его неожиданно:

– Скажи, братец, ка-

кую девушку держишь ты у себя под караулом? Покажи-ка мне ее.

Швабрин побледнел как мертвый.

– Государь, – сказал он дрожащим голосом... – Государь, она не под караулом... она больна... она в светлице лежит.

– Веди ж меня к ней, – сказал самозванец, вставая с места. Отговориться было невозможно. Швабрин повел Пугачева в светлицу Марьи Ивановны. Я за ними последовал.

Швабрин остановился на лестнице.

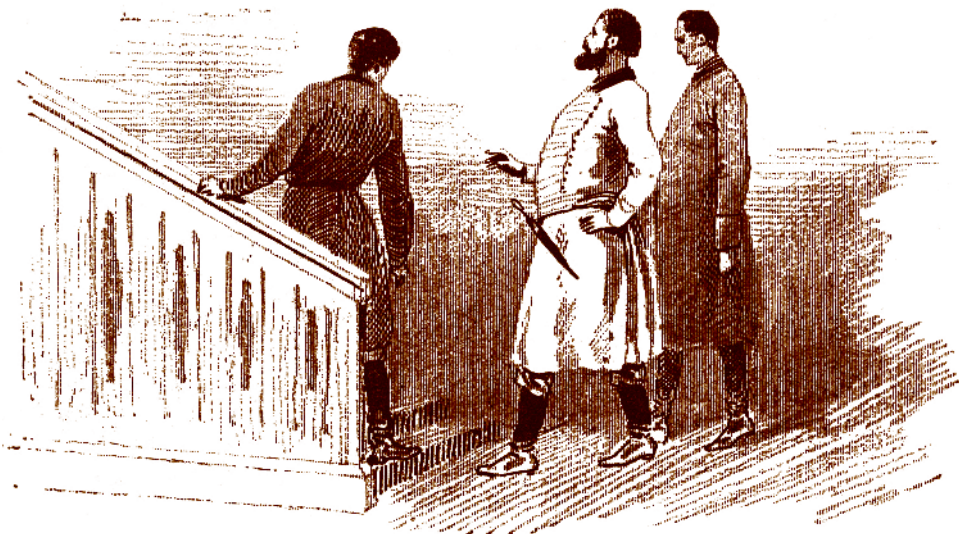
– Государь! – сказал он. – Вы властны требовать от меня, что вам угодно; но не прикажите постороннему входить в спальню к жене моей.

Я затрепетал.

– Так ты женат! – сказал я Швабрину, готовясь его растерзать.

– Тише! – прервал меня Пугачев. – Это мое дело. А ты, – продолжал он, обращаясь к Швабрину, – не умничай и не ломайся: жена ли она тебе, или не жена, а я веду к ней кого хочу. Ваше благородие, ступай за мною.





У дверей светлицы Швабрин опять остановился и сказал прерывающимся голосом:

– Государь, предупреждаю вас, что она в белой горячке и третий день как бредит без умолку.

– Отворяй! – сказал Пугачев.

Швабрин стал искать у себя в карманах и сказал, что не взял с собою ключа. Пугачев толкнул дверь ногою; замок отскочил; дверь отворилась, и мы вошли.

Я взглянул и обмер. На полу, в крестьянском оборванном платье сидела Марья Ивановна, бледная, худая, с растрепанными волосами. Перед нею стоял кувшин воды, накрытый ломтем хлеба. Увидя меня, она вздрогнула и закричала. Что тогда со мною стало – не помню.

Пугачев посмотрел на Швабрина и сказал с горькой усмешкою:

– Хорош у тебя лазарет! – Потом, подошед к Марье Ивановне: – Скажи мне, голубушка, за что твой муж тебя наказывает? в чем ты перед ним провинилась?

– Мой муж! – повторила она. – Он мне не муж. Я никогда не буду его женою! Я лучше решила умереть, и умру, если меня не избавят.

Пугачев взглянул грозно на Швабрина.

– И ты смел меня обманывать! – сказал он ему. – Знаешь ли, бездельник, чего ты достоин?



Швабрин упал на колени... В эту минуту презрение заглушило во мне все чувства ненависти и гнева. С омерзением глядел я на дворянина, валяющегося в ногах беглого казака. Пугачев смягчился.

– Милую тебя на сей раз, – сказал он Швабрину, – но знай, что при первой вине тебе припомнится и эта.

Потом обратился он к Марье Ивановне и сказал ей ласково:

– Выходи, красная девица; дарую тебе волю. Я государь.

Марья Ивановна быстро взглянула на него и догадалась, что перед нею убийца ее родителей. Она закрыла лицо обеими руками и упала без чувств. Я кинулся к ней; но в эту минуту очень смело в комнату втерлась моя старинная знакомая Палаша и стала ухаживать за своею барышнею. Пугачев вышел из светлицы, и мы трое сошли в гостиную.

– Что, ваше благородие? – сказал, смеясь, Пугачев. – Выручили красную девицу! Как думаешь, не послать ли за попом, да не заставить ли его обвенчать племянницу? Пожалуй, я буду посаженным отцом, Швабрин дружкою; закутим, запьем – и ворота запрем!





Чего я опасался, то и случилось, Швабрин, услыша предложение Пугачева, вышел из себя.

– Государь! – закричал он в исступлении. – Я виноват, я вам солгал; но и Гринев вас обманывает. Эта девушка не племянница здешнего попа: она дочь Ивана Миронова, который казнен при взятии здешней крепости.

Пугачев устремил на меня огненные свои глаза.

– Это что еще? – спросил он меня с недоумением.

– Швабрин сказал тебе правду, – отвечал я с твердостью.

– Ты мне этого не сказал, – заметил Пугачев, у коего лицо омрачилось.

– Сам ты рассуди, – отвечал я ему, – можно ли было при твоих людях объявить, что дочь Миронова жива. Да они бы ее загрызли. Ничто ее бы не спасло!

– И то правда, – сказал, смеясь, Пугачев. – Мои пьяницы не пощадили бы бедную девушку. Хорошо сделала кумушка-попадья, что обманула их.

– Слушай, – продолжал я, видя его доброе расположение. – Как тебя назвать не знаю, да и знать не хочу... Но бог видит, что жизнь мою рад бы я заплатить тебе за то, что ты для меня сделал. Только не требуй того, что противно чести моей и христианской совести. Ты мой благодетель. Доверши как начал: отпусти меня с бедной сиротой, куда нам бог путь укажет. А мы, где бы ты ни был и что бы с тобою ни случилось, каждый день будем бога молить о спасении грешной твоей души...

Казалось, суровая душа Пугачева была тронута. «Ин быть по-твоему! – сказал он. – Казнить так казнить, жаловать так жаловать: таков мой обычай. Возьми себе свою красавицу; вези ее куда хочешь, и дай вам бог любовь да совет!»

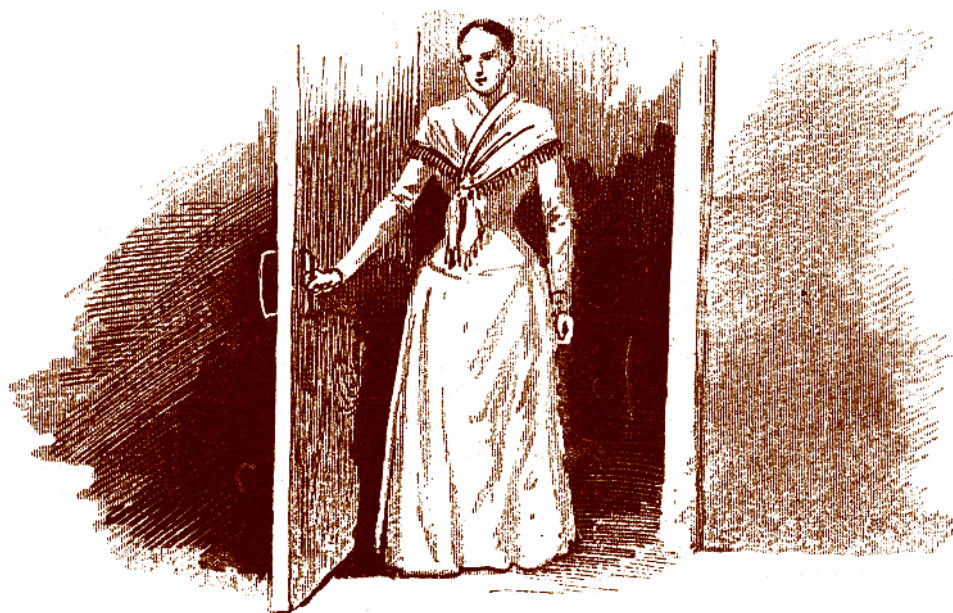
Тут он оборотился к Швабрину и велел выдать мне пропуск во все заставы и крепости, подвластные ему. Швабрин, совсем уничтоженный, стоял как остоленелый. Пугачев отправился осматривать крепость. Швабрин его сопровождал; а я остался под предлогом приготовлений к отъезду.

Я побежал в светлицу. Двери были заперты. Я постучался. «Кто там?» – спросила Палаша. Я назвался. Милый голосок Марьи Ивановны раздался из-за дверей. «Погодите, Петр Андреич. Я переодеваюсь. Ступайте к Акулине Памфиловне: я сейчас туда же буду».

Я повиновался и пошел в дом отца Герасима. И он и попадья выбежали ко мне навстречу. Савельич их уже предупредил. «Здравствуйте, Петр Андреич, – говорила попадья. – Привел бог опять увидаться. Как поживаете? А мы-то про вас каждый день поминали. А Марья-то Ивановна всего натерпелась без вас, моя голубушка!.. Да скажите, мой отец, как это вы с Пугачевым-то поладили? Как он это вас не уколошил? Добро, спасибо злодею и за то». – «Полно, старуха, – прервал отец Герасим. – Не все то ври, что знаешь. Несть спасения во многом глаголании. Батюшка Петр Андреич! войдите, милости просим. Давно, давно не видались».

Попадья стала угощать меня чем бог послал. А между тем говорила без умолку. Она рассказала мне, каким образом Швабрин принудил их выдать ему Марью Ивановну; как Марья Ивановна плакала и не хотела с ними расстаться; как Марья Ивановна имела с нею всегдашние сношения через Палашку (девку бойкую, которая и урядника заставляет плясать по своей дудке); как она присоветовала Марье Ивановне написать ко мне письмо и прочее. Я, в свою очередь, рассказал ей вкратце свою историю. Поп и попадья крестились, услыша, что Пугачеву известен их обман. «С нами сила крестная! – говорила Акулина Памфиловна. – Промчи бог тучу мимо. Ай да Алексей Иваныч; нечего сказать: хорош гусь!» В самую эту минуту дверь отворилась, и Марья Ивановна пошла с улыбкою на бледном лице. Она оставила свое крестьянское платье и одета была по-прежнему просто и мило.

Я схватил ее руку и долго не мог вымолвить ни одного слова. Мы оба молчали от полноты сердца. Хозяева наши почувствовали, что нам было не до них, и оставили

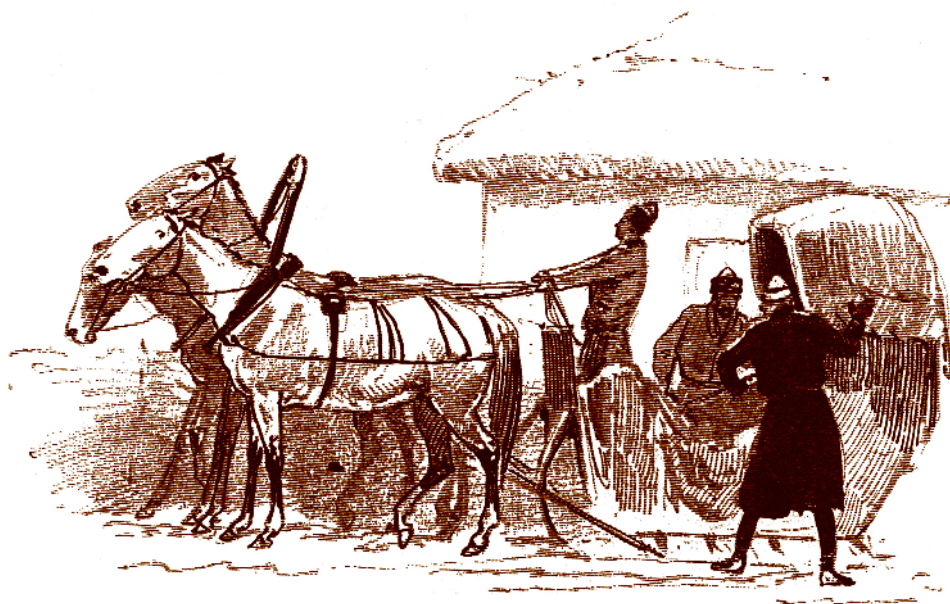


нас. Мы остались одни. Все было забыто. Мы говорили и не могли наговориться. Марья Ивановна рассказала мне все, что с нею ни случилось с самого взятия крепости; описала мне весь ужас ее положения, все испытания, которым подвергал ее гнусный Швабрин. Мы вспомнили и прежнее счастливое время... Оба мы плакали... Наконец я стал объяснять ей мои предположения. Остаться ей в крепости, подвластной Пугачеву и управляемой Швабриным, было невозможно. Нельзя было думать и об Оренбурге, претерпевавшем все бедствия осады. У ней не было на свете ни одного родного человека. Я предложил ей ехать в деревню к моим родителям. Она сначала колебалась: известное ей неблагоприятное расположение отца моего ее пугало. Я ее успокоил. Я знал, что отец почтет за счастье и вменит себе в обязанность принять дочь заслуженного воина, погибшего за отечество. «Милая Марья Ивановна! – сказал я наконец. – Я почитаю тебя своею женою. Чудные обстоятельства соединили нас неразрывно: ничто на свете не может нас разлучить». Марья Ивановна выслушала меня просто, без притворной застенчивости, без затейливых отговорок. Она чувствовала, что судьба ее соединена была с моею. Но она повторила, что не иначе будет моею женою, как с согласия моих родителей. Я ей и не противуречил. Мы поцеловались горячо, искренно – и таким образом все было между нами решено.

Через час урядник принес мне пропуск, подписанный каракульками Пугачева, и позвал меня к нему от его имени. Я нашел его готового пуститься в дорогу. Не могу изъяснить то, что я чувствовал, расставаясь с этим ужасным человеком, извергом, злодеем для всех, кроме одного меня. Зачем не сказать истины? В эту минуту сильное сочувствие влекло меня к нему. Я пламенно желал вырвать его из среды злодеев, которыми он предводительствовал, и спасти его голову, пока еще было время. Швабрин и народ, толпящийся около нас, помешали мне высказать все, чем исполнено было мое сердце.

Мы расстались дружески. Пугачев, увидя в толпе Акулину Памфиловну, погрозил пальцем и мигнул значительно; потом сел в кибитку, велел ехать в Берду, и когда

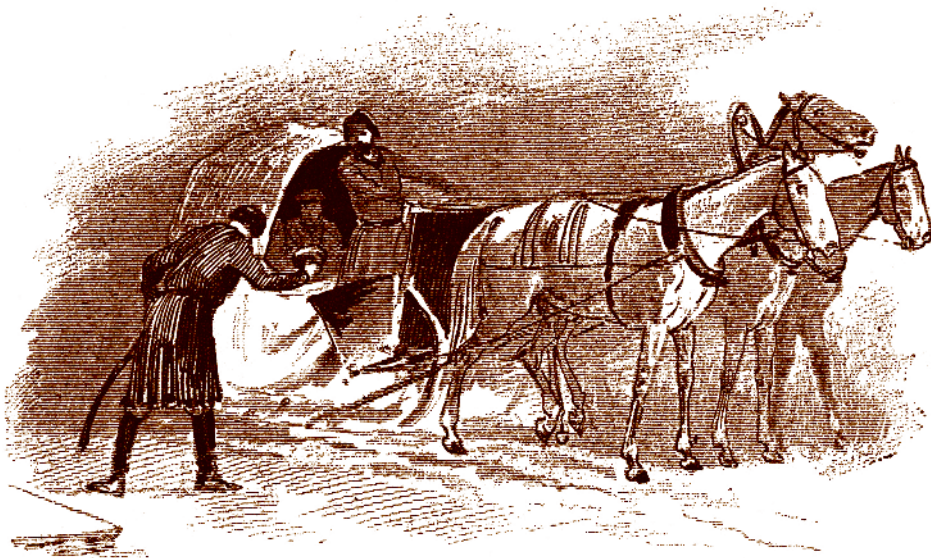




лошади тронулись, то он еще раз высунулся из кибитки и закричал мне: «Прощай, ваше благородие! Авось увидимся когда-нибудь». Мы точно с ним увиделись, но в каких обстоятельствах!..

Пугачев уехал. Я долго смотрел на белую степь, по которой неслась его тройка. Народ разошелся. Швабрин скрылся. Я воротился в дом священника. Все было готово к нашему отъезду; я не хотел более медлить. Добро наше все было уложено в старую комендантскую повозку. Ямщики мигом заложили лошадей. Марья Ивановна пошла проститься с могилами своих родителей, похороненных за церковью. Я хотел ее проводить, но она просила меня оставить ее одну. Через несколько минут она воротилась, обливаясь молча тихими слезами. Повозка была подана. Отец Герасим и жена его вышли на крыльцо. Мы сели в кибитку втроем: Марья Ивановна с Палашей и я. Савельич забрался на облучок. «Прощай, Марья Ивановна, моя голубушка! прощайте, Петр Андреич, сокол наш ясный! – говорила добрая попадья. – Счастливого путь, и дай бог вам обоим счастья!» Мы поехали. У окошка комендантского дома я увидел стоящего Швабрина. Лицо его изображало мрачную злобу. Я не хотел торжествовать над уничтоженным врагом и обратил глаза в другую сторону. Наконец мы выехали из крепостных ворот и навек оставили Белогорскую крепость.





Глава XIII

АРЕСТ

Не гневайтесь, сударь: по долгу моему
Я должен сей же час отправить вас в тюрьму.
– Извольте, я готов; но я в такой надежде,
Что дело объяснить дозволите мне прежде.

Княжнин.

Соединенный так нечаянно с милой девушкой, о которой еще утром я так мучительно беспокоился, я не верил самому себе и воображал, что все со мною случившееся было пустое сновидение. Марья Ивановна глядела с задумчивостию то на меня, то на дорогу и, казалось, не успела еще опомниться и прийти в себя. Мы молчали. Сердца наши слишком были утомлены. Неприметным образом часа через два очутились мы в ближней крепости, также подвластной Пугачеву. Здесь мы переменили лошадей. По скорости, с каковой их запрягали, по торопливой услужливости брадатого казака, поставленного Пугачевым в коменданты, я увидел, что, благодаря болтливости ямщика, нас привезшего, меня принимали как придворного временщика.

Мы отправились далее. Стало смеркаться. Мы приблизились к городку, где, по словам бородатого коменданта, находился сильный отряд, идущий на соединение к самозванцу. Мы были остановлены караульными. На вопрос: кто едет? – ямщик отвечал громогласно: «Государев кум со своею хозяйюшкой». Вдруг толпа гусаров окружила нас с ужасною бранью. «Выходи, бесов кум! – сказал мне усатый вахмистр. – Вот уж тебе будет баня, и с твоею хозяйюшкой!»

Я вышел из кибитки и требовал, чтоб отвели меня к их начальнику. Увидя офицера, солдаты прекратили брань. Вахмистр повел меня к майору. Савельич от меня

не отставал, поговаривая про себя: «Вот тебе и государев кум! Из огня да в полымя... Господи владыко! чем это все кончится?» Кибитка шагом поехала за нами.

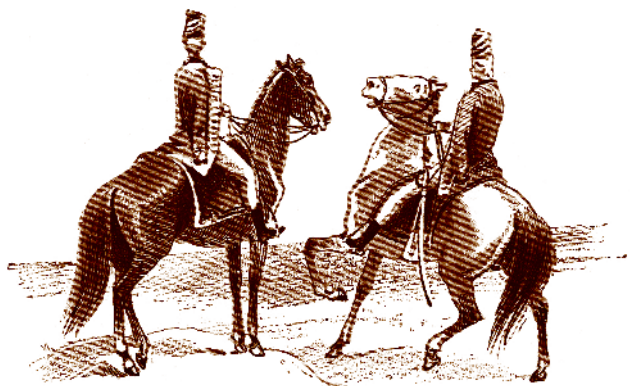
Через пять минут мы пришли к домику, ярко освещенному. Вахмистр оставил меня при карауле и пошел обо мне доложить. Он тотчас же воротился, объявив мне, что его высокоблагородию некогда меня принять, а что он велел отвести меня в острог, а хозяйшку к себе привести.

– Что это значит? – закричал я в бешенстве. – Да разве он с ума сошел?

– Не могу знать, ваше благородие, – отвечал вахмистр. – Только его высокоблагородие приказал ваше благородие отвести в острог, а ее благородие приказано привести к его высокоблагородию, ваше благородие!

Я бросился на крыльцо. Караульные не думали меня удерживать, и я прямо вбежал в комнату, где человек шесть гусарских офицеров играли в банк. Майор метал. Какое было мое изумление, когда, взглянув на него, узнал я Ивана Ивановича Зурина, некогда обыгравшего меня в Симбирском трактире!

– Возможно ли? – вскричал я. – Иван Иваныч! ты ли?





– Ба, ба, ба, Петр Андреич! Какими судьбами? Откуда ты? Здорово, брат. Не хочешь ли поставить карточку?

– Благодарен. Прикажи-ка лучше отвести мне квартиру.

– Какую тебе квартиру? Оставайся у меня.

– Не могу: я не один.

– Ну, подавай сюда и товарища.

– Я не с товарищем; я... с дамою.

– С дамою! Где же ты ее подцепил? Эге, брат! – (При сих словах Зурин засвистел так выразительно, что все захохотали, а я совершенно смутился.)

– Ну, – продолжал Зурин, – так и быть. Будет тебе квартира. А жаль... Мы бы попиروвали по-старинному... Гей! малой! Да что ж сюда не ведут кумушку-то Пугачева? или она упрямится? Сказать ей, чтоб она не боялась: барин-де прекрасный; ничем не обидит, да хорошенько ее в шею.

– Что ты это? – сказал я Зурину. – Какая кумушка Пугачева? Это дочь покойного капитана Миронова. Я вывез ее из плена и теперь провожаю до деревни батюшкиной, где и оставляю ее.

– Как! Так это о тебе мне сейчас докладывали? Помилуй! что ж это значит?

– После все расскажу. А теперь, ради бога, успокой бедную девушку, которую гусары твои перепугали.

Зурин тотчас распорядился. Он сам вышел на улицу извиняться перед Марьей Ивановной в невольном недоразумении и приказал вахмистру отвести ей лучшую квартиру в городе. Я остался ночевать у него.

Мы отужинали, и, когда остались вдвоем, я рассказал ему свои похождения. Зурин слушал меня с большим вниманием. Когда я кончил, он покачал головою и сказал: «Все это, брат, хорошо; одно нехорошо: зачем тебя черт несет жениться? Я, честный офицер, не захочу тебя обманывать: поверь же ты мне, что женитьба блажь. Ну, куда тебе возиться с женою да нянчиться с ребятишками? Эй, плюнь. Послушайся меня: развяжись ты с капитанскою дочкой. Дорога в Симбирск мною очищена и безопасна. Отправь ее завтра ж одну к родителям твоим; а сам







оставайся у меня в отряде. В Оренбург возвращаться тебе незачем. Попадешься опять в руки бунтовщикам, так вряд ли от них еще раз отделаешься. Таким образом любовная дурь пройдет сама собою, и все будет ладно».

Хотя я не совсем был с ним согласен, однако ж чувствовал, что долг чести требовал моего присутствия в войске импера-

трицы. Я решился последовать совету Зурина: отправить Марью Ивановну в деревню и остаться в его отряде.

Савельич явился меня раздевать; я объявил ему, чтоб на другой же день готов он был ехать в дорогу с Марьей Ивановной. Он было заупрямился. «Что ты, сударь? Как же я тебя-то покину? Кто за тобою будет ходить? Что скажут родители твои?»

Зная упрямство дядьки моего, я вознамерился убедить его лаской и искренностью. «Друг ты мой, Архип Савельич! – сказал я ему. – Не откажи, будь мне благодетелем; в прислуге здесь я нуждаться не стану, а не буду спокоен, если Марья Ивановна поедет в дорогу без тебя. Служа ей, служишь ты и мне, потому что я твердо решился, как скоро обстоятельства дозволят, жениться на ней».

Тут Савельич сплеснул руками с видом изумления неопisanного.

– Жениться! – повторил он. – Дитя хочет жениться! А что скажет батюшка, а матушка-то что подумает?

– Согласятся, верно согласятся, – отвечал я, – когда узнают Марью Ивановну. Я надеюсь и на тебя. Батюшка и матушка тебе верят: ты будешь за нас ходатаем, не так ли?

Старик был тронут. «Ох, батюшка ты мой Петр Андреич! – отвечал он. – Хоть раненько задумал ты жениться, да зато Марья Ивановна такая добрая барышня, что грех и пропустить оказию. Ин быть по-твоему! Провожу ее, ангела божия, и рабски буду доносить твоим родителям, что такой невесте не надобно и приданого».

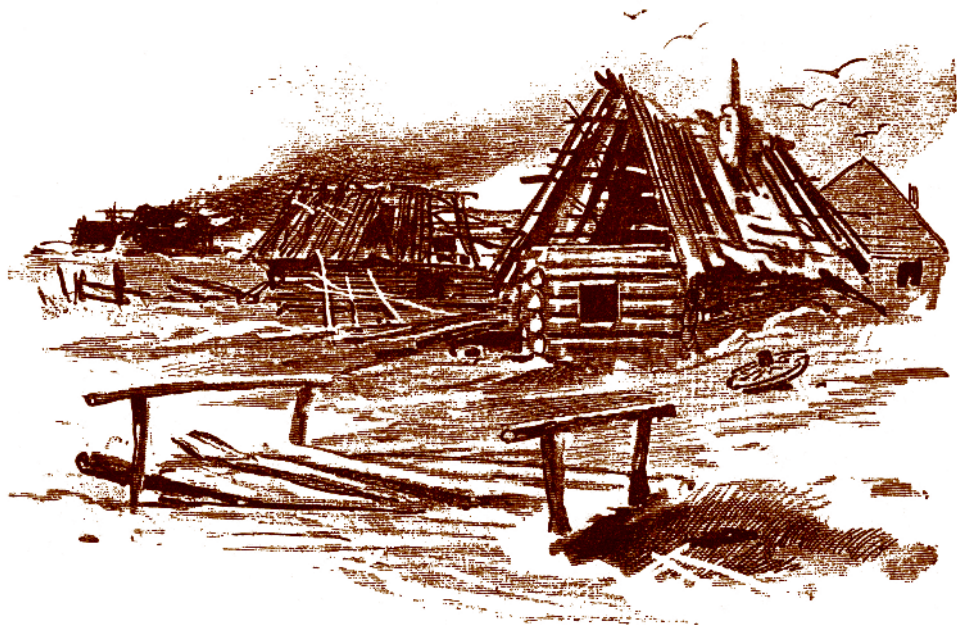
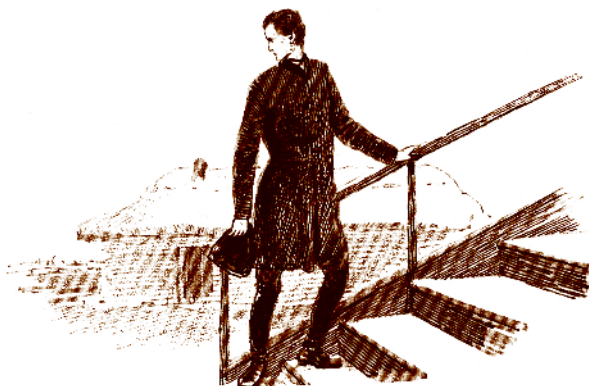
Я благодарил Савельича и лег спать в одной комнате с Зуриным. Разгоряченный и взволнованный, я разболтался. Зурин сначала со мною разговаривал охотно; но мало-помалу слова его стали реже и бессвязнее; наконец, вместо ответа на какой-то запрос, он захрапел и присвистнул. Я замолчал и вскоре последовал его примеру.

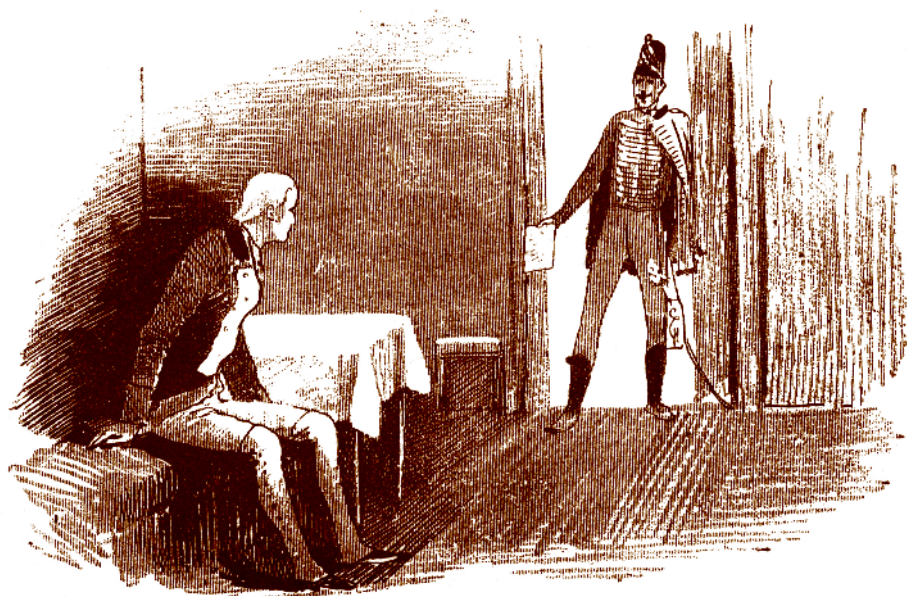
На другой день утром пришел я к Марье Ивановне. Я сообщил ей свои предположения. Она признала их благоразумие и тотчас со мною согласилась. Отряд Зурина должен был выступить из города в тот же день. Нечего было медлить. Я тут же расстался с Марьей Ивановной, поручив ее Савельичу и дав ей письмо к моим родителям. Марья Ивановна заплакала. «Прощайте, Петр Андреич! – сказала она тихим голосом. – Придется ли нам увидаться, или нет, бог один это знает; но век не забуду вас; до могилы ты один останешься в моем сердце». Я ничего не мог отвечать. Люди

нас окружали. Я не хотел при них предаваться чувствам, которые меня волновали. Наконец она уехала. Я возвратился к Зурину, грустен и молчалив. Он хотел меня развеселить; я думал себя рассеять: мы провели день шумно и буйно и вечером выступили в поход.

Это было в конце февраля. Зима, затруднявшая военные распоряжения, проходила, и наши генералы готовились к дружному содействию. Пугачев все еще стоял под Оренбургом. Между тем около его отряды соединялись и со всех сторон приближались к злодейскому гнезду. Бунтующие деревни, при виде наших войск, приходили в повиновение; шайки разбойников везде бежали от нас, и все предвещало скорое и благополучное окончание.

Вскоре князь Голицын, под крепостию Татищевой, разбил Пугачева, рассеял его толпы, освободил Оренбург, и, казалось, нанес бунту последний и решительный удар. Зурин был в то время отряжен противу шайки мятежных башкирцев, которые рассеялись прежде, нежели мы их увидали. Весна осадила нас в татарской деревушке. Речки разлились, и дороги стали непроходимы. Мы утешались в нашем бездействии мыслию о скором прекращении скучной и мелочной войны с разбойниками и дикарями.





Но Пугачев не был пойман. Он явился на сибирских заводах, собрал там новые шайки и опять начал злодействовать. Слух о его успехах снова распространился. Мы узнали о разорении сибирских крепостей. Вскоре весть о взятии Казани¹ и о походе самозванца на Москву встревожила начальников войск, беспечно дремавших в надежде на бессилие презренного бунтовщика. Зурин получил повеление переправиться через Волгу.²

Не стану описывать нашего похода и окончания войны. Скажу коротко, что бедствие доходило до крайности. Мы проходили через селения, разоренные бунтовщиками, и поневоле отбирали у бедных жителей то, что успели они спасти. Правление было повсюду прекращено: помещики укрывались по лесам. Шайки разбойников злодействовали повсюду; начальники отдельных отрядов самовластно наказывали и миловали; состояние всего обширного края, где свирепствовал пожар, было ужасно... Не приведи бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный!

Пугачев бежал, преследуемый Иваном Ивановичем Михельсоном³. Вскоре узнали мы о совершенном его разбитии. Наконец Зурин получил известие о поимке самозванца, а вместе с тем и повеление остановиться. Война была кончена. Наконец мне можно было ехать к моим родителям! Мысль их обнять, увидеть Марию Ивановну, от которой не имел я никакого известия, одушевляла меня восторгом. Я прыгал как ребенок. Зурин смеялся и говорил, пожимая плечами: «Нет, тебе несдобровать! Женишься – ни за что пропадешь!»

¹ Взятие Казани Пугачевым произошло 12 июля 1774 г.

² К этому месту относится «Пропущенная глава», отброшенная Пушкиным и сохранившаяся только в черновом автографе. См. Приложение.

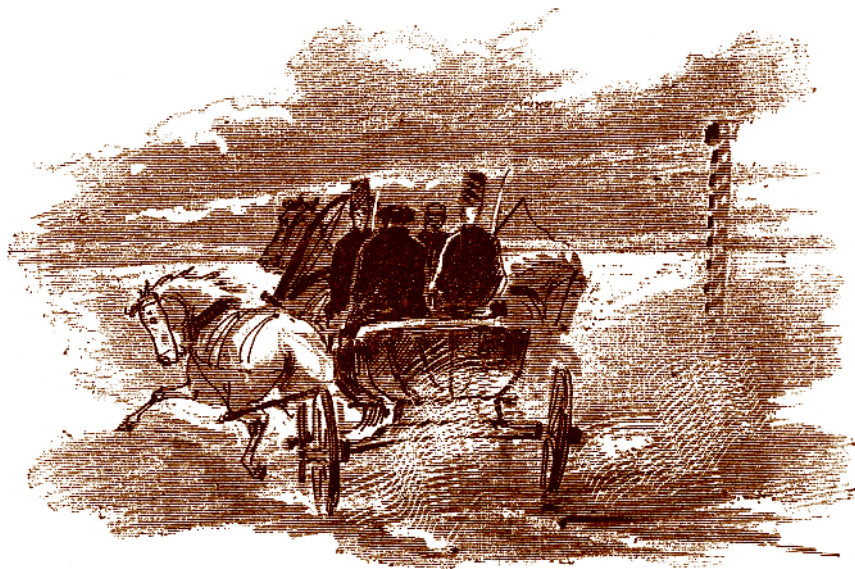
³ И. И. Михельсон – генерал от кавалерии, известный благодаря окончательной победой над Пугачевым.

Но между тем странное чувство отравляло мою радость: мысль о злодее, обрызганном кровию стольких невинных жертв, и о казни, его ожидающей, тревожила меня поневоле: «Емеля, Емеля! – думал я с досадою, – зачем не наткнулся ты на штык или не подвернулся под картечь? Лучше ничего не мог бы ты придумать». Что прикажете делать? Мысль о нем неразлучна была во мне с мыслию о пощаде, данной мне им в одну из ужасных минут его жизни, и об избавлении моей невесты из рук гнусного Швабрина.

Зурин дал мне отпуск. Через несколько дней должен я был опять очутиться посреди моего семейства, увидеть опять мою Марью Ивановну... Вдруг неожиданная гроза меня поразила.

В день, назначенный для выезда, в самую ту минуту, когда готовился я пуститься в дорогу, Зурин вошел ко мне в избу, держа в руках бумагу, с видом чрезвычайно озабоченным. Что-то кольнуло меня в сердце. Я испугался, сам не зная чего. Он вынул моего денщика и объявил, что имеет до меня дело. «Что такое?» – спросил я с беспокойством. «Маленькая неприятность, – отвечал он, подавая мне бумагу. – Прочитай, что сейчас я получил». Я стал ее читать: это был секретный приказ ко всем отдельным начальникам арестовать меня, где бы ни попался, и немедленно отправить под караулом в Казань в Следственную комиссию, учрежденную по делу Пугачева.

Бумага чуть не выпала из моих рук. «Делать нечего! – сказал Зурин. – Долг мой повиноваться приказу. Вероятно, слух о твоих дружеских путешествиях с Пугачевым как-нибудь да дошел до правительства. Надеюсь, что дело не будет иметь никаких последствий и что ты оправдаешься перед комиссией. Не унывай и отправляйся». Совесть моя была чиста; я суда не боялся; но мысль отсрочить минуту сладкого свидания, может быть на несколько еще месяцев, устрашала меня. Тележка была готова. Зурин дружески со мною простился. Меня посадили в тележку. Со мною сели два гусара с саблями наголо, и я поехал по большой дороге.





Глава XIV

СУД

Мирская молва –
Морская волна.

Пословица.

Я был уверен, что виною всему было самовольное мое отсутствие из Оренбурга. Я легко мог оправдаться: наездничество не только никогда не было запрещено, во еще всеми силами было ободряемо. Я мог быть обвинен в излишней запальчивости, а не в ослушании. Но приятельские сношения мои с Пугачевым могли быть доказаны множеством свидетелей и должны были казаться по крайней мере весьма подозрительными. Во всю дорогу размышлял я о допросах, меня ожидающих, обдумывал свои ответы и решился перед судом объявить сухую правду, полагая сей способ оправдания самым простым, а вместе и самым надежным.

Я приехал в Казань, опустошенную и погорелую. По улицам, вместо домов, лежали груды углей и торчали закоптелые стены без крыш и окон. Таков был след, оставленный Пугачевым! Меня привезли в крепость, уцелевшую посереде сгоревшего города. Гусары сдали меня караульному офицеру. Он велел кликнуть кузнеца. Надели мне на ноги цепь и заковали ее наглухо. Потом отвели меня в тюрьму и оставили одного в тесной и темной конурке, с одними голыми стенами и с окошечком, загороженным железною решеткою.

Таковое начало не предвещало мне ничего доброго. Однако ж я не терял ни бодрости, ни надежды. Я прибегнул к утешению всех скорбящих и, впервые вкусив сладость молитвы, изливаемой из чистого, но растерзанного сердца, спокойно заснул,

не заботясь о том, что со мною будет.

На другой день тюремный сторож меня разбудил с объявлением, что меня требуют в комиссию. Два солдата повели меня через двор в комендантский дом, остановились в передней и впустили одного во внутренние комнаты.

Я вошел в залу довольно обширную. За столом, покрытым бумагами, сидели два человека: пожилой генерал, виду строгого и холодного, и молодой гвардейский капитан, лет двадцати осьми, очень приятной наружности, ловкий и свободный в обращении. У окошка за особым столом сидел секретарь с пером за ухом, наклонясь над бумагою, готовый записывать мои показания. Начался допрос. Меня спросили о моем имени и звании. Генерал осведомился, не сын ли я Андрея Петровича Гринева? И на ответ мой возразил сурово: «Жаль, что такой почтенный человек имеет такого недостойного сына!» Я спокойно отвечал, что каковы бы ни были обвинения, тяготеющие на мне, я надеюсь их рассеять чистосердечным объяснением истины. Уверенность моя ему не понравилась. «Ты, брат, востер, — сказал он мне нахмурясь, — но видали мы и не таких!»

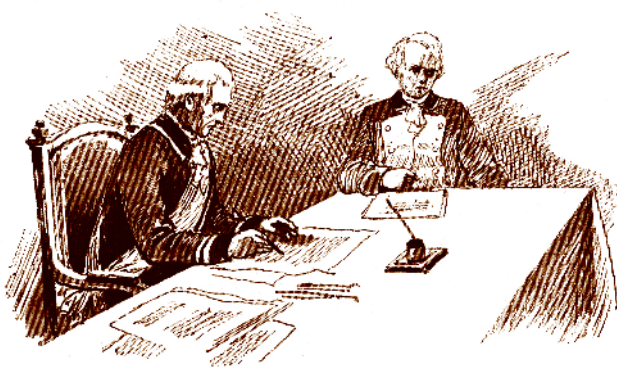
Тогда молодой человек спросил меня: по какому случаю и в какое время вошел я в службу к Пугачеву и по каким поручениям был я им употреблен?

Я отвечал с негодованием, что я, как офицер и дворянин, ни в какую службу к Пугачеву вступать и никаких поручений от него принять не мог.

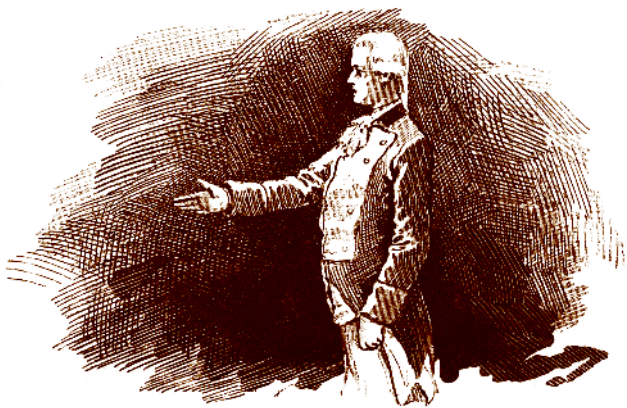
— Каким же образом, — возразил мой допросчик, — дворянин и офицер один пощажён самозванцем, между тем как все его товарищи злодейски умерщвлены? Каким образом этот самый офицер и дворянин дружески пирует с бунтовщиками, принимает от главного злодея подарки, шубу, лошадь и полтину денег? Отчего произошла та-

кая странная дружба и на чем она основана, если не на измене или по крайней мере на гнусном и преступном малодушии?

Я был глубоко оскорблен словами гвардейского офицера и с жаром начал свое оправдание. Я рассказал, как началось мое знакомство с Пугачевым в степи, во время бурана; как при взятии



Белогорской крепости он меня узнал и пощадил. Я сказал, что тулуп и лошадь, правда, не посоветился я принять от самозванца; но что Белогорскую крепость защищал я противу злодея до последней крайности. Наконец я сослался и на моего генерала, который мог засвидетельствовать мое усердие во время бедственной оренбургской осады.



Строгий старик взял со стола открытое письмо и стал читать его вслух:

— «На запрос вашего превосходительства касательно прапорщика Гринева, якобы замешанного в нынешнем смятении и вошедшего в сношения с злодеем, службою недозволенные и долгу присяги противные, объяснить имею честь: оный прапорщик Гринев находился на службе в Оренбурге от начала октября прошлого 1773 года до 24 февраля нынешнего года, в которое число он из города отлучился и с той поры уже в команду мою не являлся. А слышно от перебежчиков, что он был у Пугачева в слободе и с ним вместе ездил в Белогорскую крепость, в коей прежде находился он на службе; что касается до его поведения, то я могу...» Тут он прервал свое чтение и сказал мне сурово: «Что ты теперь скажешь себе в оправдание?»

Я хотел было продолжать, как начал, и объяснить мою связь с Марьей Ивановной так же искренно, как и все прочее. Но вдруг почувствовал непреодолимое отвращение. Мне пришло в голову, что если назову ее, то комиссия потребует ее к ответу; и мысль впутать имя ее между гнусными извещениями злодеев и ее самую привести на очную с ними ставку — эта ужасная мысль так меня поразила, что я замялся и спутался.

Судьи мои, начинавшие, казалось, выслушивать ответы мои с некоторою благосклонностию, были снова предубеждены противу меня при виде моего смущения. Гвардейский офицер потребовал, чтоб меня поставили на очную ставку с главным



доносителем. Генерал велел кликнуть *вчерашнего злодея*. Я с живостию обратился к дверям, ожидая появления своего обвинителя. Через несколько минут загремели цепи, двери отворились, и вошел — Швабрин. Я изумился его перемене. Он был ужасно худ и бледен. Волоса его, недавно черные как смоль, совершенно

поседали; длинная борода была всклокочена. Он повторил обвинения свои слабым, но смелым голосом. По его словам, я отряжен был от Пугачева в Оренбург шпионом; ежедневно выезжал на перестрелки, дабы передавать письменные известия о всем, что делалось в городе; что наконец явно передан самозванцу, разъез-



жал с ним из крепости в крепость, стараясь всячески губить своих товарищей-изменников, дабы занимать их места и пользоваться наградами, раздаваемыми от самозванца. Я выслушал его молча и был доволен одним: имя Марьи Ивановны не было произнесено гнусным злодеем, оттого ли, что самолюбие его страдало при мысли о той, которая отвергла его с презрением; оттого ли, что в сердце его таилась искра того же чувства, которое и меня заставляло молчать, — как бы то ни было, имя дочери белогорского коменданта не было произнесено в присутствии комиссии. Я утвердился еще более в моем намерении, и когда судьи спросили: чем могу опровергнуть показания Швабрина, я отвечал, что держусь первого своего объяснения и ничего другого в оправдание себе сказать не могу. Генерал велел нас вывести. Мы вышли вместе. Я спокойно взглянул на Швабрина, но не сказал ему ни слова. Он усмехнулся злобной



усмешкою и, приподняв свои цепи, опередил меня и ускорил свои шаги. Меня опять отвели в тюрьму и с тех пор уже к допросу не требовали.

Я не был свидетелем всему, о чем остается мне уведомить читателя; но я так часто слышал о том рассказы, что малейшие подробности врезались в мою память и что мне кажется, будто бы я тут же невидимо присутствовал.

Марья Ивановна принята была моими родителями с тем искренним радушием, которое отличало людей старого века. Они видели благодать божью в том, что имели случай приютить и обласкать бедную сироту. Вскоре они к ней искренно привязались, потому что нельзя было ее узнать и не полюбить. Моя любовь уже не казалась батюшке пустою блажью; а матушка только того и желала, чтоб ее Петруша женился на милой капитанской дочке.

Слух о моем аресте поразил все мое семейство. Марья Ивановна так просто рассказала моим родителям о странном знакомстве моем с Пугачевым, что оно не только не беспокоило их, но еще заставляло часто смеяться от чистого сердца. Батюшка не хотел верить, чтобы я мог быть замешан в гнусном бунте, коего цель была ниспровержение престола и истребление дворянского рода. Он строго допросил Савельича. Дядька не утаил, что барин бывал в гостях у Емельки Пугачева и что-де злодей его таки жаловал; но клялся, что ни о какой измене он и не слыхивал. Старики успокоились и с нетерпением стали ждать благоприятных вестей. Марья Ивановна сильно была встревожена, но молчала, ибо в высшей степени была одарена скромностию и осторожностию.

Прошло несколько недель... Вдруг батюшка получает из Петербурга письмо от нашего родственника князя Б **. Князь писал ему обо мне. После обыкновенного приступа, он объявлял ему, что подозрения насчет участия моего в замыслах бунтовщиков, к несчастью, оказались слишком основательными, что примерная казнь



должна была бы меня постигнуть, но что государыня, из уважения к заслугам и преклонным летам отца, решила помиловать преступного сына и, избавляя его от позорной казни, повелела только сослать в отдаленный край Сибири на вечное поселение.

Сей неожиданный удар едва не убил отца моего. Он лишился обыкновенной своей твердости, и горесть его (обыкновенно немая) изливалась в горьких жалобах. «Как! – повторял он, выходя из себя. – Сын мой участвовал в замыслах Пугачева! Боже праведный, до чего я дожил! Государыня избавляет его от казни! От этого разве мне легче? Не казнь страшна: пращур мой умер на лобном месте, отстаивая то, что почитал святынею своей совести; отец мой пострадал вместе с Волынским и Хрущевым¹. Но дворянину изменить своей присяге, соединиться с разбойниками, с убийцами, с беглыми холопьями!.. Стыд и срам нашему роду!..» Испуганная его отчаянием матушка не смела при нем плакать и старалась возратить ему бодрость, говоря о неверности молвы, о шаткости людского мнения. Отец мой был неутешен.

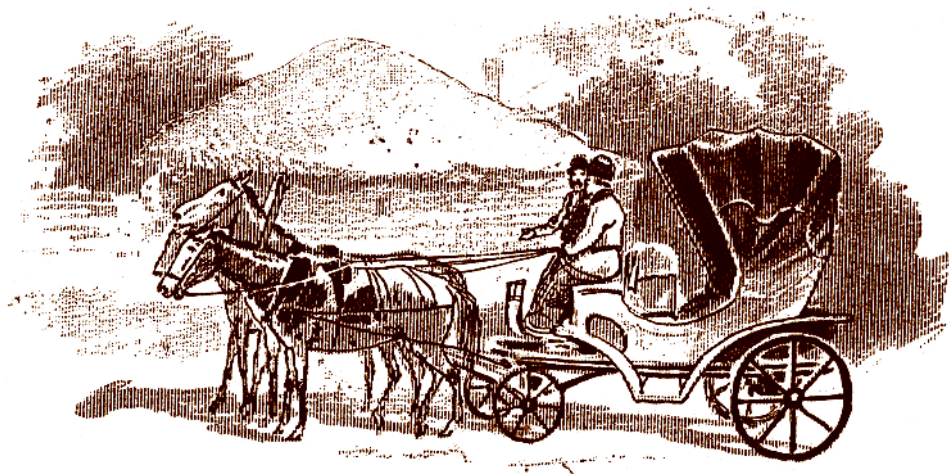
Марья Ивановна мучилась более всех. Будучи уверена, что я мог оправдаться, когда бы только захотел, она догадывалась об истине и почитала себя виновницею моего несчастья. Она скрывала от всех свои слезы и страдания и между тем непрестанно думала о средствах, как бы меня спасти.

Однажды вечером батюшка сидел на диване, перевертывая листы Придворного календаря; но мысли его были далеко, и чтение не производило над ним обыкновенного своего действия. Он насвистывал старинный марш. Матушка молча вязала шерстяную фуфайку, и слезы изредка капали на ее работу. Вдруг Марья Ивановна, тут же сидевшая за работой, объявила, что необходимость ее заставляет ехать в Петербург и что она просит дать ей способ отправиться. Матушка очень огорчилась. «Зачем тебе в Петербург? – сказала она. – Неужто, Марья Ивановна, хочешь и ты нас покинуть?» Марья Ивановна отвечала, что вся будущая судьба ее зависит от этого путешествия, что она едет искать покровительства и помощи у сильных людей, как дочь человека, пострадавшего за свою верность.

Отец мой потупил голову: всякое слово, напоминающее мнимое преступление сына, было ему тягостно и казалось колким упреком. «Поезжай, матушка! – сказал он ей со вздохом. – Мы твоему счастью помехи сделать не хотим. Дай бог тебе в женихи доброго человека, не ошельмованного изменника». Он встал и вышел из комнаты.



¹ Имеется в виду дело А. П. Волынского (1689—1740), кабинет-министра императрицы Анны Иоанновны, казненного в 1740 г. вместе с его другом А. Ф. Хрущевым за попытку свергнуть власть немца Бирона, фаворита императрицы.



Марья Ивановна, оставшись наедине с матушкой, отчасти объяснила ей свои предположения. Матушка со слезами обняла ее и молила бога о благополучном конце замышленного дела. Марью Ивановну снарядили, и через несколько дней она отправилась в дорогу с верной Палашей и с верным Савельичем, который, насильственно разлученный со мною, утешался по крайней мере мыслию, что служит нареченной моей невесте.

Марья Ивановна благополучно прибыла в Софию¹ и, узнав на почтовом дворе, что Двор находился в то время в Царском Селе, решила тут остановиться. Ей ответили уголок за перегородкой. Жена смотрителя тотчас с нею разговорилась, объявила, что она племянница придворного истопника, и посвятила ее во все таинства придворной жизни. Она рассказала, в котором часу государыня обыкновенно просыпалась, кушала кофей, прогуливалась; какие вельможи находились в то время при ней; что изволила она вчерашний день говорить у себя за столом, кого принимала вечером, – словом, разговор Анны Власьевны стоил нескольких страниц исторических записок и был бы драгоценен для потомства. Марья Ивановна слушала ее со вниманием. Они пошли в сад. Анна Власьевна рассказала историю каждой аллеи и каждого мостика, и, нагулявшись, они возвратились на станцию очень довольные друг другом.

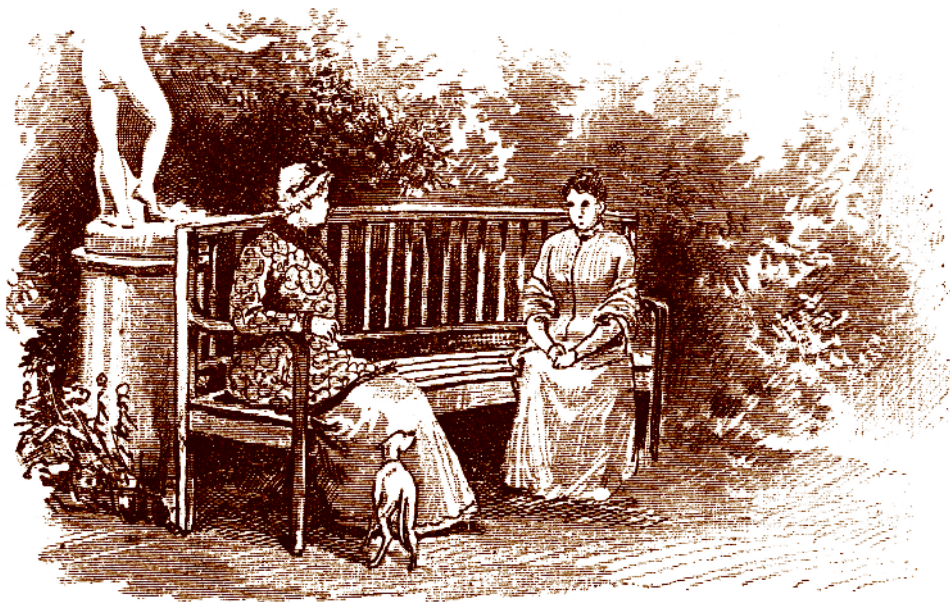
На другой день рано утром Марья Ивановна проснулась, оделась и тихонько пошла в сад. Утро было прекрасное, солнце освещало вершины лип, пожелтевших уже под свежим дыханием осени. Широкое озеро сияло неподвижно. Проснувшиеся лебеди важно выплывали из-под кустов, осеняющих берег. Марья Ивановна пошла около прекрасного луга, где только что поставлен был памятник в честь недавних побед графа Петра Александровича Румянцева. Вдруг белая собачка английской породы

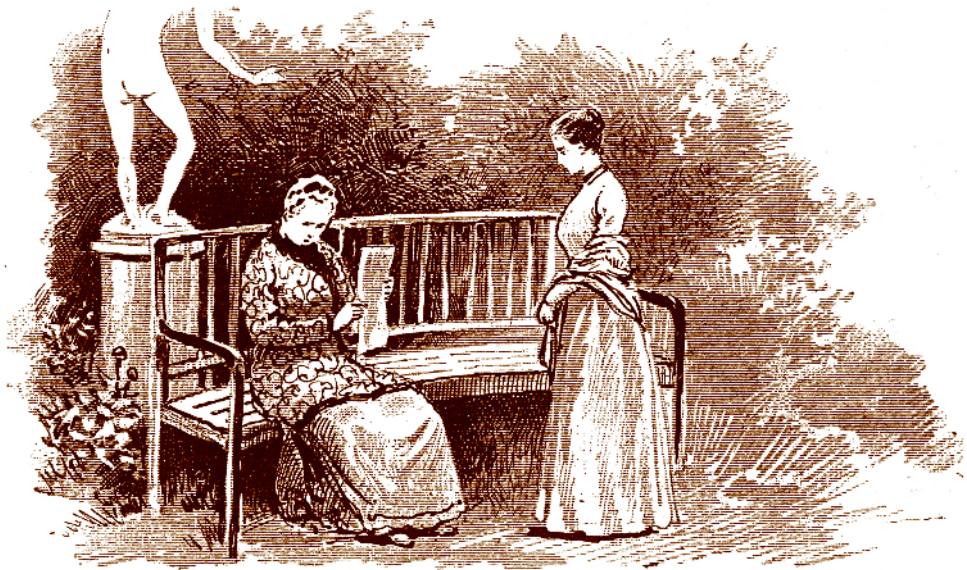
¹ София – уездный город, расположенный близ Царского Села на юго-западе от Большого Императорского дворца; ныне район в южной части Пушкина.

залаяла и побежала ей навстречу. Марья Ивановна испугалась и остановилась. В эту самую минуту раздался приятный женский голос: «Не бойтесь, она не укусит». И Марья Ивановна увидела даму, сидевшую на скамейке противу памятника. Марья Ивановна села на другом конце скамейки. Дама пристально на нее смотрела; а Марья Ивановна,

со своей стороны бросив несколько косвенных взглядов, успела рассмотреть ее с ног до головы. Она была в белом утреннем платье, в ночном чепце и в душегрейке. Ей казалось лет сорок. Лицо ее, полное и румяное, выражало важность и спокойствие, а голубые глаза и легкая улыбка имели прелесть неизъяснимую. Дама первая перервала молчание.

- Вы, верно, не здешние? – сказала она.
- Точно так-с: я вчера только приехала из провинции.
- Вы приехали с вашими родными?
- Никак нет-с. Я приехала одна.
- Одна! Но вы так еще молоды.





- У меня нет ни отца, ни матери.
- Вы здесь, конечно, по каким-нибудь делам?
- Точно так-с. Я приехала подать просьбу государыне.
- Вы сирота: вероятно, вы жалуетесь на несправедливость и обиду?
- Никак нет-с. Я приехала просить милости, а не правосудия.
- Позвольте спросить, кто вы таковы?
- Я дочь капитана Миронова.
- Капитана Миронова! того самого, что был комендантом в одной из оренбургских крепостей?
- Точно так-с.

Дама, казалось, была тронута. «Извините меня, – сказала она голосом еще более ласковым, – если я вмешиваюсь в ваши дела; но я бываю при дворе; изъясните мне, в чем состоит ваша просьба, и, может быть, мне удастся вам помочь.»

Марья Ивановна встала и почтительно ее благодарила. Все в неизвестной даме невольно привлекало сердце и внушало доверенность. Марья Ивановна вынула из кармана сложенную бумагу и подала ее незнакомой своей покровительнице, которая стала читать ее про себя.

Сначала она читала с видом внимательным и благосклонным; но вдруг лицо ее переменилось, – и Марья Ивановна, следовавшая глазами за всеми ее движениями, испугалась строгому выражению этого лица, за минуту столь приятному и спокойному.

– Вы просите за Гринева? – сказала дама с холодным видом. – Императрица не может его простить. Он пристал к самозванцу не из невежества и легковерия, но как безнравственный и вредный негодяй.

– Ах, неправда! – вскрикнула Марья Ивановна.

– Как неправда! – возразила дама, вся вспыхнув.

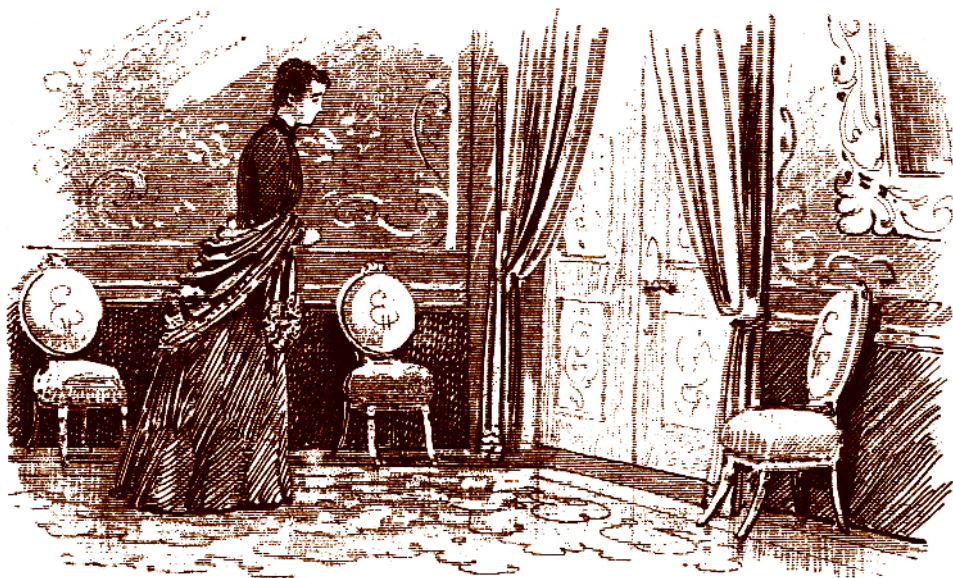
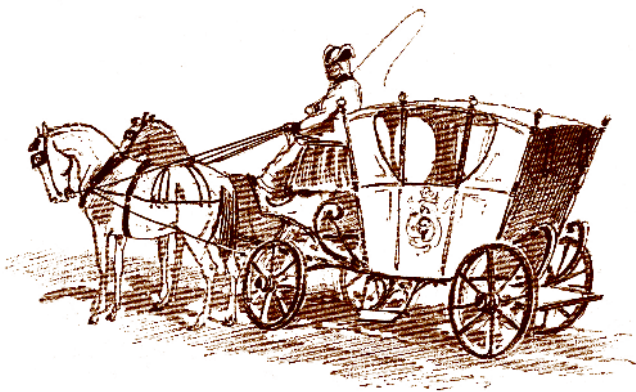


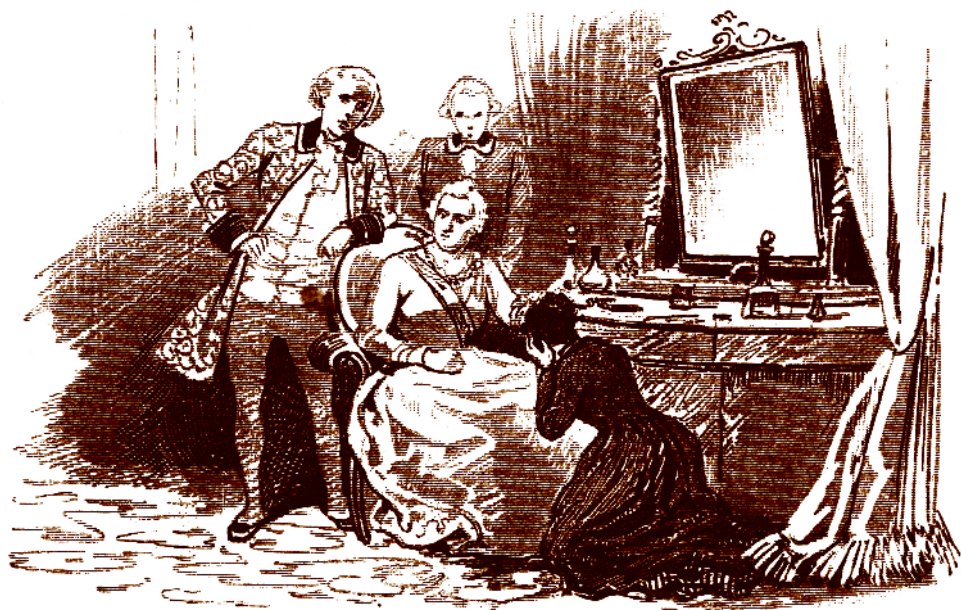
– Неправда, ей-богу неправда! Я знаю все, я все вам расскажу. Он для одной меня подвергался всему, что постигло его. И если он не оправдался перед судом, то разве потому только, что не хотел запутать меня. – Тут она с жаром рассказала все, что уже известно моему читателю.

Дама выслушала ее со вниманием. «Где вы остановились?» – спросила она потом; и услыша, что у Анны Власьевны, примолвила с улыбкою: «А! знаю. Прощайте, не говорите никому о нашей встрече. Я надеюсь, что вы недолго будете ждать ответа на ваше письмо».

С этим словом она встала и вошла в крытую аллею, а Марья Ивановна возвратилась к Анне Власьевне, исполненная радостной надежды.

Хозяйка побранила ее за раннюю осеннюю прогулку, вредную, по ее словам, для здоровья молодой девушки. Она принесла самовар и за чашкою чая только было принялась за бесконечные рассказы о дворе, как вдруг придворная карета остановилась у крыльца, и камер-лакей вошел с объявлением, что государыня изволит к себе приглашать девицу Миронову.





Анна Власьевна изумилась и расхлопоталась. «Ахти господи! – закричала она. – Государыня требует вас ко двору. Как же это она про вас узнала? Да как же вы, матушка, представитесь к императрице? Вы, я чай, и ступить по-придворному не умеете... Не проводить ли мне вас? Все-таки я вас хоть в чем-нибудь да могу предостеречь. И как же вам ехать в дорожном платье? Не послать ли к повивальной бабушке за ее желтым роброном¹?» Камер-лакей объявил, что государыне угодно было, чтоб Марья Ивановна ехала одна и в том, в чем ее застанут. Делать было нечего: Марья Ивановна села в карету и поехала во дворец, сопровождаемая советами и благословениями Анны Власьевны.

Марья Ивановна предчувствовала решение нашей судьбы; сердце ее сильно билось и замирало. Через несколько минут карета остановилась у дворца. Марья Ивановна с трепетом пошла по лестнице. Двери перед нею отворились настежь. Она прошла длинный ряд пустых великолепных комнат; камер-лакей указывал дорогу. Наконец, подошед к запертым дверям, он объявил, что сейчас об ней доложит, и оставил ее одну.

Мысль увидеть императрицу лицом к лицу так утешала ее, что она с трудом могла держаться на ногах. Через минуту двери отворились, и она вошла в уборную государыни.

Императрица сидела за своим туалетом. Несколько придворных окружали ее и почтительно пропустили Марью Ивановну. Государыня ласково к ней обратилась, и Марья Ивановна узнала в ней ту даму, с которой так откровенно изъяснялась она несколько минут тому назад. Государыня подозвала ее и сказала с улыбкою: «Я рада,

¹ Роброн – широкое женское платье с округлённым шлейфом.

что могла сдержать вам свое слово и исполнить вашу просьбу. Дело ваше кончено. Я убеждена в невинности вашего жениха. Вот письмо, которое сами потрудитесь отвезти к будущему свекру».

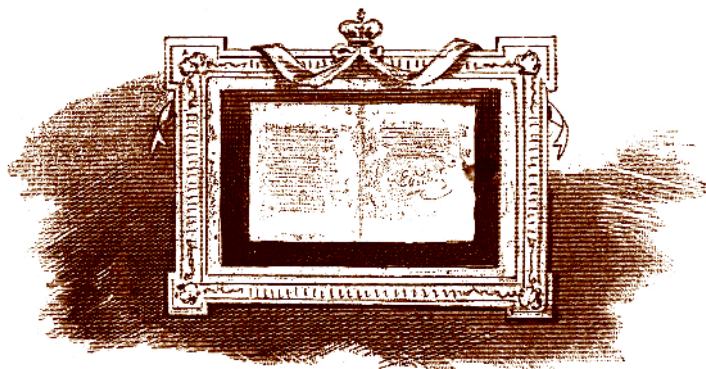
Марья Ивановна приняла письмо дрожащею рукою и, заплакав, упала к ногам императрицы, которая подняла ее и поцеловала. Государыня разговорилась с нею. «Знаю, что вы не богаты, – сказала она, – но я в долгу перед дочерью капитана Миронова. Не беспокойтесь о будущем. Я беру на себя устроить ваше состояние».

Обласкав бедную сироту, государыня ее отпустила. Марья Ивановна уехала в той же придворной карете. Анна Власьевна, нетерпеливо ожидавшая ее возвращения, осыпала ее вопросами, на которые Марья Ивановна отвечала кое-как. Анна Власьевна хотя и была недовольна ее беспамятством, но приписала оное провинциальной застенчивости и извинила великодушно. В тот же день Марья Ивановна, не полюбопытствовав взглянуть на Петербург, обратно поехала в деревню...

Здесь прекращаются записки Петра Андреевича Гринева. Из семейственных преданий известно, что он был освобожден от заключения в конце 1774 года, по именному повелению; что он присутствовал при казни Пугачева, который узнал его в толпе и кивнул ему головою, которая через минуту, мертвая и окровавленная, показана была народу. Вскоре потом Петр Андреевич женился на Марье Ивановне. Потомство их благоденствует в Симбирской губернии. В тридцати верстах от *** находится село, принадлежащее десятерым помещикам. В одном из барских флигелей показывают собственноручное письмо Екатерины II за стеклом и в рамке. Оно писано к отцу Петра Андреевича и содержит оправдание его сына и похвалы уму и сердцу дочери капитана Миронова. Рукопись Петра Андреевича Гринева доставлена была нам от одного из его внуков, который узнал, что мы заняты были трудом, относящимся ко временам, описанным его дедом. Мы решились, с разрешения родственников, издать ее особо, приискав к каждой главе приличный эпиграф и дозволив себе переменить некоторые собственные имена.

19 окт. 1836.

Издатель.



ПРИЛОЖЕНИЕ

КОММЕНТАРИИ И ПРИМЕЧАНИЯ



ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН

Создавая первую главу своего «Онегина», Пушкин и сам не осознавал, что этой главой начиналось произведение, которому суждено будет сделаться одним из важнейших его созданий. Начатый без плана, как шуточный рассказ, он мало-помалу вырос в широкую картину жизни целого общественного слоя, в котором выступили разнообразные русские типы, никем дотоле с такою правдой не изображавшиеся. Среди них два законченных образа: Евгения и Татьяны – как два следствия этой жизни в первой четверти XIX века – введены в узел отношений, полных интереса общечеловеческого.

Пушкин писал «Онегина» около 7,5 лет и вкладывал в него всю душу свою – так эта работа была сродни его таланту и удовлетворяла внутренней потребности его творчества при всевозможных изменениях во внешней его жизни – в Кишиневе, Одессе, Михайловском, Москве, Петербурге, во время кратких деревенских поездок и в Болдине. Мало-помалу роман этот для Пушкина стал тем, чем бывает для поэтов, согласно природе каждого, их главный труд: таким трудом для Гете был «Фауст», для Байрона сначала «Чайльд-Гарольд», а потом «Дон Жуан».

Еще одно обстоятельство сообщало этому любимому произведению Пушкина особенную задумчивость. Он начал его, не рассчитывая на обнародование в печати, как он сам выражается – «спустя рукава», изображая в нем отчасти и свою собственную жизнь, свободно внося в его «пестрые главы» лирические «заметы», исполненные порою тонкого юмора, порою глубокого элегического чувства. Повод к тому представлялся беспрестанно в романе, содержание которого извлекалось им из жизни среды, столь близкой самому автору; тому же благоприятствовала лиро-эпическая форма, избранная поэтом для своего «свободного романа».

Эта форма была подхвачена Пушкиным у Байрона в ту пору, когда поэт еще не осознавал всей разнородности своего творчества с гением британского поэта. Попытка Байрона воспользоваться свободой в повествовании, следуя примеру предвестников английского ново-романтизма, вносящих в свои поэмы холодные размышления при описательных местах, обратилась в написанной им в 1817 году повести «Беппо» в смелую, ничем не стесняемую беседу с читателем о предметах самых разнообразных. Судя по письмам, Байрон не придавал этой повести большого значения, а между тем она открывала собою тот новый способ повествования, который как нельзя более соответствовал сатирическому чувству Байрона и получил блестящее применение в последовавшей за нею поэме «Дон Жуан».

Содержание «Беппо» заимствовано из венецианского анекдота о похождениях юного любовника венецианки Лауры в отсутствие ее мужа моряка-купца Джузеппе (или Беппо), попавшего в плен к туркам, сочтенного умершим и внезапно появившегося перед женою на маскараде. В своей повести Байрон беспрестанно прерывает повествование мимоходными замечаниями о всевозможных предметах. Тут есть строфы, касающиеся любви, ветреных венецианских нравов, англичанок, итальянок, женщин востока, природы и языка Италии, светского общества, славы Наполеона, счастья, плохих поэтов и даже соусов. Все это переплетается с воспоминаниями о личной жизни и сатирическими выходками против лондонских нравов. Поэт несколько раз шуточно ловит себя на этих отступлениях.

Эти шуточные заметки отразились в некоторых стихах «Евгения Онегина». Пушкин писал Дельвигу: «Пишу теперь поэму, в которой забалтываюсь донелзя».

Внешнее же сходство самого героя I-й главы «Евгения Онегина» с легким очерком графа повести «Беппо» дало право Пушкину назвать начало своего романа «напоминающим» это шуточное произведение мрачного Байрона. Прямой намек на «Беппо» есть в 49-й строфе I-й главы «Евгения Онегина», где поэт обращается к Италии:

Адриатические волны,
О Брента! нет, увижу вас
И, вдохновенья снова полный,
Услышу ваш волшебный глас!
Он свят для внуков Аполлона;
По гордой лире Альбиона
Он мне знаком, он мне родной.

В XIX и XX строфах «Беппо» есть прекрасное описание таинственных гондол:

Случалось ли гондолу видеть вам?
Я опишу подробно: лодка эта
С навесом и резьбою по углам,
Безмолвная, вся трауром одета,
Как темный гроб. Несется по волнам.
За веслами сидят два гондольера,
И весел их рассчитанная мера
Едва слышна...

Есть упоминание о таинственной гондole в стихах «Евгения Онегина». Но эти-ми незначительными отзвуками и ограничиваются книжные следы «Беппо» в «Евгении Онегине». Более любил сближать Пушкин своего «Евгения Онегина» с «Дон Жуаном» Байрона. В ноябре 1823 года он писал князю Вяземскому из Одессы: «Что до моих занятий, пишу теперь не роман, а роман в стихах – дьявольская разница – в роде Дон Жуана. Первая песнь или глава кончена... Пишу его с упоением, что уже давно со мною не бывало...». Такое сближение может быть объяснено как сходством в свободной форме произведения, так отчасти и юмористическим элементом его. К примеру, конец 1-й песни «Дон Жуана»:

Теперь бы, господа, пора кончать
И, избегая фраз и пустословья,
В последний раз, позвольте руку сжать
И пожелать вам доброго здоровья...

отразился, быть может, в конце «Евгения Онегина»:

Кто б ни был ты, о мой читатель,
Друг, недруг, я хочу с тобой
Расстаться нынче как приятель.
Прости...

С другой стороны, ни в печатном тексте, ни в черновых набросках нет ничего, что давало бы право сближать «Евгения Онегина» со злыми, а порою и циническими выходками в «Дон Жуане». Могут быть указаны лишь два места, сходные с «Дон Жуаном». Строфы СХХV I-й его песни:

Приятно ждать наследства иногда
И смерти дяди старого иль тетки,
Из-за которой многие года
Мы с стариками очень были кротки,
Но в тайне размышляли лишь о том –
Скорей войти хозяином в их дом...

У Пушкина в I главе:

Мой дядя самых честных правил,
Когда не в шутку занемог...

Насмешка Пушкина:

Не дай мне бог сойтись на бале
Иль при разъезде на крыльце
С семинаристом в желтой шале
Иль с академиком в чепце!

слегка напоминает, может быть, выходки Байрона над синими чулками в «Дон Жуане»:

Чулки те синие, как рыцаря подвязка.
Меж леди тех встречал я милых дам.
Хоть эти дни исчезли безвозвратно,
Но я не враг тем милым существам,
Мысль об одной доныне мне приятна:
О, леди та была прекраснее Амура,
Она была нежна, скромна – но только дура!

При подобном незначительном сходстве «Евгения Онегина» с «Дон Жуаном», по самому тону они сильно различаются между собою: Пушкин редко впадал в желчный тон поэмы Байрона, и хотя в письме к А. И. Тургеневу (1 дек. 1823) у Пушкина вырвалось замечание: «на досуге пишу новую поэму, где захлебываюсь желчью...», но напрасно стали бы мы ее искать. Одной из существенных особенностей его творчества было то равновесие духа, при котором самое чувство негодования силою этого творчества очищалось... По собственному выражению Пушкина, он поэзией «усыплял черные мечты» свои (см. строфу XIX главы IV «Е. О.»).

Тем не менее, слова Пушкина, что он «захлебывался желчью» в пору создания первых глав «Евгения Онегина» не заключают в себе большого преувеличения; только желчь эта, как увидим ниже, не нашла себе места в «Онегине». В эпоху создания первых глав Онегина помутилась та гармония, выражать которую был призван поэтический гений Пушкина. Причиной тому были и печальные обстоятельства его личной и общественной жизни, и сильное впечатление, произведенное на него поэзией Байрона.

Пушкин ознакомился со многими из произведений Байрона еще в первый год своего пребывания на юге. Однако Пушкин не пошел по его следам. Он был один из тех крепких в действительности умов, которые, при всем обаянии мировой скорби, не подчинялись ей. Пушкин не находил в душе своей тех струн, которые могли бы вторить голосу Байрона, и первые попытки к тому в поэмах, писанных на юге, ясно показали Пушкину, что на этом поприсе он не может творить с силою, равную этому образцу. Удовольствоваться же ролью подпевалы ему не позволял его талант, которого силу он в себе уже чувствовал. Таково отношение Пушкина к Байрону, несколько не унижающее его в наших глазах и только свидетельствующее о всей разнородности этих двух поэтов.

Здоровое чувство Пушкина не допустило слиться его героям с героями Байрона в чувстве разочарования. Дабы сознать это, нужен был неудачный опыт в «Кавказском Пленнике», в чем сам Пушкин сознавался Гнедичу: «Характер Пленника неудачен. Это доказывает, что я не гожусь в герои романического (т.е. байронического) стихотворения» (29 апр. 1822).

Дружественно расположенный к Пушкину критик указал ему, что в герое Байрона схвачены жизненные черты современного человека. «Подобные лица – заметил Вяземский – часто встречаются в нынешнем положении общества. При избытке силы, жизни внутренней, которая в честолюбивых потребностях своих не можете удовольствоваться уступками внешней жизни... должны они неминуемо посеять в душе тот истребительный зародыш скуки, приторности, пресыщения, которым знаменуют характер Ч. Гарольда, Кавказского Пленника, и им подобных. Как же воплотить эту очевидно характерную черту современного общественного типа? Вот задача, предстоявшая Пушкину, когда он осознал слабость первого опыта.

Пушкин предпринял новую разработку этого современного типа в стиле поэмы – в «Цыганах», и в стиле бытового романа – в «Евгении Онегине». Оба произведения писались одновременно. Онегин лишь несколько опередил началом своим Алеко. Обои произведениями было сказано новое слово в пределах идеи, возбужденной Байроном. Связь «Евгения Онегина» с «Цыганами» подтверждается рукописями поэта. В этом отношении очень знаменательно, что стихи об Алеко:

Но боже! как играли страсти
Его послушною душой!
С каким волнением кипели
В его измученной груди!
Давно ль, надолго ль присмирели?
Они проснутся: погоди!

первоначально написаны были о Евгении, лишь в несколько иной форме:

Какие чувства не кипели
В его измученной груди!
Давно ль, на долго ль присмирели?
Они проснутся, подожди.

Алеко и Евгений проистекали из одного источника. Верховье же этого источника теряется в Чайльд-Гарольде, протекая затем «Кавказского Пленника». Существенное

отличие героев «Цыган» и «Евгения Онегина» в том, что Онегин, охлажденный жизнью в среде, его не удовлетворявшей, не мог выйти из нее. Алеко же проявили дикую энергию, найдя в себе силы бежать от этой среды.

Когда оба художественные произведения Пушкина перед нами, судьба обоих героев, отравленных ядом Чайльд-Гарольда и в самой идеализации своей не превышающих размера средних людей русской действительности своего времени, нам кажется такой естественной. Герои обоих произведений Пушкина не были образами вычитанными, и «Евгений Онегин» относится к «Чайльд-Гарольду» не как подражание к образцу, но как самобытное поэтическое произведение к своему эпиграфу, не более.

Усваивая в поэме Байрона разочарованность от пресыщения страстей и потрясения веры в людей, занимавшую его вследствие опыта собственной жизни, Пушкин, тем не менее, оставался безучастным к какой-либо общей системе отрицательного характера, притязавшей «истолковать все творение и разгадать добро и зло». «В лучшее время жизни – писал Пушкин – сердце, не охлажденное опытом, доступно для прекрасного; оно легковерно и нежно. Мало-помалу вечные противоречия существенности рождают в нем сомнение: чувство мучительное, но не продолжительное... Оно исчезает, уничтожив наши лучшие и поэтические предрассудки души». Некоторые строки «Евгения Онегина» представляют воспоминание о том мучительном состоянии, которое суждено было испытать самому поэту. Он пережил его. Но точно ли оно уничтожило в нем лучшие и поэтические предрассудки души? Поэт так описывает общее со своим героем душевное состояние:

Я был озлоблен, он угрюм;
Страстей игру мы знали оба;
Томила жизнь обоих нас;
В обоих сердца жар угас;
Обоих ожидала злоба
Слепой Фортуны и людей
На самом утре наших дней.

Изобразив затем разлученного с ним героя, преследуемого в деревне скукою, Пушкин, размягченный воспоминанием о собственных счастливых днях в деревенской глуши, уж окончательно отклоняет право на отождествление своих чувств с чувствами своего героя:

Цветы, любовь, деревня, праздность,
Поля! я предан вам душой.
Всегда я рад заметить разность
Между Онегиным и мной,
Чтобы насмешливый читатель
Или какой-нибудь издатель
Замысловатой клеветы,
Сличая здесь мои черты,

Не повторял потом безбожно,
Что намарал я свой портрет...

Заклячая главу, поэт замечает:

Пересмотрел всё это строго:
Противоречий очень много,
Но их исправить не хочу,
Цензуре долг свой заплачу...

«Противоречия» эти, конечно, – следы того родственного чувства, которое испытывал поэт со своим героем. Они дороги нам, как изящное свидетельство, в какой душевной глубине выношен его Онегин. С первого шага задуманный и в самом деле не более, как в стиле «Беппо», фигурой, напоминающую водевильные черты графа, героя этой шалости Байрона, – Евгений был одушевлен и согрет тем объятием поэта, которое избавило его от лукавого наваждения «желчи».

Пробегая всю жизнь Онегина, на всем ее пространстве, читатель убеждается, припомнив следы прикосновения этого скитальца к Татьяне и Ленскому, что при всем комизме Онегина на нем лежит проклятие, освещающее и жизнь того общества, в котором жил такой герой, трагическим светом. Таков общий результат всей картины, начатой, по-видимому, веселым тоном «Беппо», который Пушкин во всей неприкосновенности выдержал лишь в «Графе Нулине».

При всей сжатости формы стихотворного романа, Пушкин с замечательной полнотой захватит в нем психическую жизнь своего героя. Он изображает его порывы к деятельности. Но к какой же деятельности был подготовлен Евгений своим гувернером и праздную жизнью в том возрасте, когда именно складывается характер человека? К тому же легкий успех в свете, где он успел уже заслужить репутацию мыслящего, начитанного и даже «ученого» человека, приучил его не довольствоваться скромным местом в задних рядах общества. Следовательно, его самолюбие было уже настолько разнежено, что он привык считать себя выше заурядной толпы. Первою его мыслью было взяться за перо.

Но труд упорный
Ему был тошен; Ничего
Не вышло из пера его.

Тогда принялся он за чтение. Но люди, подобные Онегину, неспособны извлекать пользу из чтения и находить в нем удовлетворение. Здесь Пушкин подметил одно из существенных зол «полупознания» – его самоуверенность:

Читал, читал, а все без толку:
Там скука, там обман иль бред...

Незнакомое с процессом познания на собственном опыте, полужнание не умеет читать: мысль для него новая признается или за обман, или за глупость; мысль, совпадающая с его собственными мнениями, ему кажется старой. Не удовлетворившись чтением, Онегин

Приложение

... оставил книги,
И полку, с пыльной их семьей,
Задержнул траурной тафтой.

Смерть дяди бросает его в деревню, и мы видим здесь его как помещика. Поведение его в деревне как нельзя более согласно с теми задатками, которые вынес он из своей петербургской жизни. Лишенный в детстве сельских впечатлений, он не мог в Летнем саду и ресторанах Петербурга воспитать в себе привязанности к простоте деревенской жизни и к красоте природы, столь знакомых Пушкину, для которого деревня была «приютом спокойствия, трудов и размышленья». Поэт и в этом отмечает с удовольствием разность между Онегиным и собой.

Однако же деревня на первое время дает Онегину повод к новой попытке занять-ся чем-нибудь полезным (по счету – третьей). Недаром вращался он в среде просвещенной столичной молодежи. Он уже достаточно наслушался в Петербурге разговоров: и политико-экономических, и юридических. Попытка Онегина «учредить новый порядок» в своем имении, однако же ограничилась только одним похвальным распоряжением:

В своей глуши мудрец пустынный,
Ярем он барщины старинной
Оброком легким заменил;
И раб судьбу благословил.

Вот и все, что он сумел сделать в своем имении. Старые привычки взяли верх: он ограничился праздностью и разговорами с готовым слушать его юным соседом; разговоры окончились просьбою познакомить его с соседками.

Дальнейшая жизнь Онегина представляет то же бесплодное бездействие и праздность. Бесцельное путешествие возбуждает в нем только тоску. Последние силы его слабой воли уже истрачены; всякая деятельность кончена, когда еще и половина жизни не прожита. Он увидел, что в нем вовсе нет нравственных сил для того, чтобы осуществить в своей жизни те новые начала, которые в виде привитых ему идей или, правильнее, слов, мешали ему отдаваться заурядной жизни в будничных ее формах. Он почувствовал полное бессилие и беспомощность на жизненном пути – и тут в нем вспыхнула страсть.

Любовь, и притом к особе недюжинной, могла бы, казалось, возродить несчастного скитальца, наполнив его бессодержательную жизнь, и вызвать на деятельность. Но по глубокому замыслу поэта и это чувство в Онегине должно было явиться не тогда, когда могло иметь указанное значение. Прежняя жизнь Онегина должна стать трагической виной, требующей возмездия, и орудием этого возмездия явилось именно то, что наиболее бессердечно было поправлено им в этой прошлой жизни.

Он влюбляется в Татьяну, как дитя, но основной источник этой страсти скрывается в старом болоте мелкого светского чувства – тщеславия. Любовь Онегина к Татьяне загорается под впечатлением метаморфозы, которая поразила его в Татьяне. Простая искренняя девочка вдруг предстала ему женщиной, получившей поразительный успех в том обществе, которому принадлежал Онегин всей силой своего ничтожества. Вот что стало чарующим в Татьяне для Онегина. С замечательной психологической прозорливостью поэт указывает Ахиллесову пяту испорченного сердца

Онегина: в письме своем к Татьяне, Онегин не умеет примирить свою теперешнюю любовь со своим прошлым и он лжет:

Случайно вас когда-то встретья,
В вас искру нежности заметя,
Я ей поверить не посмел...

Как нельзя более выступает и вся эгоистичность исканий Онегина. В письме он ведет речь все время о себе:

Я знаю: век уж мой измерен;
Но чтоб продлилась жизнь моя,
Я утром должен быть уверен,
Что с вами днем увижусь я...

В письме нет и намека на то, чтобы он подумал хоть сколько-нибудь о жизни самой Татьяны. Решаясь писать ей о своей любви, он ни словом не намекает, что подумал о том, чем же должна стать ее жизнь, если она ответит на эту любовь. Что предлагает он ей после того, когда исполнилось бы его желание? Ничего, кроме обидной роли жены, обманувшей мужа...

Отношение Онегина к Татьяне не было воспроизведением действительных отношений Пушкина к кому-либо, но нельзя не видеть явлений одного и того же порядка в отношениях поэтического лица и волнений, пережитых однажды самим поэтом. В Тригорском, у соседок своих по сельцу Михайловскому, Пушкин встретил молодую жену генерала Керн, и она сильно увлекла Пушкина. Разлученный с А. П. Керн, которую г-жа Осипова, заметив страсть Пушкина, поспешила увезти в Ригу, Пушкин писал ей: «Я имел слабость просить позволения писать к вам, вы – дать мне на это позволение... Ваш приезд в Тригорское оставил во мне впечатление глубже и мучительнее того, которое производила на меня в былые дни наша встреча у Олениных. В моей печальной деревенской глуши не могу делать ничего лучше, как стараться больше не думать о вас»...

Характер отношений Пушкина к А. П. Керн, явный из последующих писем, не сходен с отношением героев романа настолько, насколько сама личность г-жи Керн несходна с личностью Татьяны: потому дальнейшие сближения невозможны. В «Воспоминаниях» своих А. П. Керн, конечно, заблуждалась, когда писала, что 14, 15 и 16 строфы VIII «Онегина» относятся к воспоминаниям об их встрече у Олениных. Сходство, конечно, лишь внешнее. Дело в том, что ни Пушкин, ни г-жа Керн не придавали чувству, их на краткое время сблизившему, серьезного значения, какое думал придать Онегин своему чувству... Татьяна разгадала всю несвойственность этой серьезности чувствам Онегина – и прямо высказала ему это в своей последней отповеди.

Но не только Онегин и Татьяна связаны органическими нитями с сердцем поэта. Переживая свою многостороннюю душой создаваемые им образы, Пушкин, конечно, отражал в них и те лица, которые представлялись его наблюдению среди общества, его окружавшего. Нет необходимости в точных указаниях на какие-нибудь определенные личности относительно этих подхваченных им реальных черт.

Конечно, тип Онегина мог сложиться у Пушкина вследствие хорошего знакомства со столичной средой, в которой он вращался с юных лет до самого того времени, когда созрела в нем возможность отлить его в полный жизни образ. Черты домашнего воспитания он мог заимствовать отчасти даже и из собственного детства. Среда его отца, Сергея Львовича, и дяди Василия Львовича была той средой, которая породила Онегиных.

Monsieur l'Abbé, который ходил за Евгением, ранняя свобода Онегина, дендизм, внешние светские приемы, длинные тщательно обточенные ногти, французский разговорный язык, остроумие и эпиграммы, эпикуреизм, посещение ресторанов, театральные знакомства – все это черты собственной жизни и привычек молодого Пушкина, из которых многие остались на всю жизнь. Можно без преувеличения сказать: исключите из юного Пушкина его поэтическую душу – и получилось бы лицо, во многом сходное с Онегиным. Но и об этом внешнем иге времени и среды Пушкин неоднократно жалел и в лирических стихотворениях своих, и в отступлениях романа:

Увы, на разные забавы
Я много жизни погубил!

«Я балы б до сих пор любил – прибавляет он – если б не страдали нравы». Эту-то безнравственность светской жизни помогла ему сбросить с себя поэтическая его природа. Онегин изображен лишенным именно этой поэтической природы – и в этом характерная противоположность с творцом романа его героя. Родители поэта стояли выше родителей Онегина, и уже следовали иным веяниям своего времени, благодаря близости к таким лицами, как А. И. Тургенев, содействовавшими определению их сына в Лицей.

Кто из читателей, после знакомства с биографическими подробностями о личностях, близких Пушкину, перечитывая «Евгения Онегина», не заметит что-то знакомое в отношении поэта к изображенному в нем Владимиру Ленскому? Не является ли рядом с образом этого юного поэта «с душою прямо геттингенской» симпатичный образ Вильгельма Кюхельбекера, столь любимого Пушкиным, хотя порою и вызывавшего его насмешки? Вильгельм, по сведениям о лицейской жизни, будучи знаком с германской литературой, старался распространить в кружке лицейстов эту поэзию, им совсем незнакомую. Стихи самого Кюхельбекера чаще всего вызывали эпиграммы товарищей, в том числе и Пушкина, но последний чувствовал к нему какую-то нежность, сохранившуюся на всю жизнь. Не та ли это любовь, которая приписана в романе Ленскому? Вспыльчивость Кюхельбекера, который и в Лицее порою выходил из себя от товарищеских шуток над ним, не чужда и Ленскому. В довершение сходства – самому Пушкину суждено было драться на дуэли с этим другом своего детства – и первый вызвал Кюхельбекер. Дуэль кончилась счастливо для юного поэта: Пушкин отказался стрелять, и товарищи помирились.

О Татьяне сам Пушкин в строфе 51 восьмой главы «Евгения Онегина» написал, что знал ту, «с которой образован Татьяны милый идеал». Но мы имеем лишь одно современное свидетельство, указывающее, где можно искать ту, на кого сделан здесь намек. А. Н. Раевский в одном из писем к Пушкину между прочими пишет: «Отлагая до другого письма удовольствие рассказать тебе деяния наших прекрасных землячек; теперь же поговорю о „Татьяне“. Она приняла живое участие в твоей беде и

порукает мне передать тебе об этом. Пишу с ее ведома и согласия: тихая и добрая душа ее сознает лишь несправедливость, которая тяготеет над тобою, и она выразила мне все это с чувством и грацией, свойственной характеру „Татьяны“...».

Анненков же, не ссылаясь на чье-либо свидетельство, высказывает с уверенностью, что основой поэтических образов Татьяны и Ольги Лариных были две дочери г-жи Осиповой от первого ее брака. «Дочери г-жи Осиповой, Анна и Евпраксия Николаевна Вульф – пишет он – составляли два противоположных типа, отражение которых в Татьяне и Ольге „Онегина“ не подлежит сомнению. По отношению к Пушкину, Анна Николаевна представляла, как и Татьяна, по отношению к Онегину, полное самоотвержение и привязанность, которые ни от чего устать и ослабеть не могли, между тем как сестра ее, «воздушная Евпраксия», как отзывался о ней сам поэт, представляла совсем другой тип. Она пользовалась жизнью очень просто, и, по-видимому, ничего не искала в ней, кроме минутных удовольствий...Евпраксия Николаевна была душой веселого общества, собиравшегося по временам в Тригорском; она играла перед ним арии Россини, мастерски варила жженку и являлась первой во всех предприятиях по части удовольствий...». Вот и все, что было высказано в пользу того мнения, что та, с кого «образован милый идеал Татьяны», была Анна Николаевна Вульф, а тою, которая отразилась на образе Ольги – сестра ее Евпраксия.

Вполне определенно указание поэта на живое лицо, послужившее ему для создания Таниной няни. В письме в Д. М. Княжевичу (1824 г.) он писал: «Целый день вечером, вечером слушаю сказки моей няни, оригинала няни Татьяны; вы, кажется, раз ее видели: она единственная моя подруга, и с нею только мне не скучно».

На втором плане романа выступают личности старого поколения: одни принадлежат к столичному обществу, другие – к деревенскому помещицкому кругу. К ним относятся отец и дядя Онегина. Первый – тип тех дворян, которые, покинув свои имения, предпочли столичную жизнь, где, занимая значительные должности, не оставляли однако же по себе памяти, как полезные слуги государства, но вели превышающий их средства образ жизни и обременяли себя долгами. О нем Пушкин повествует иронически:

Служив отлично благородно,
Долгами жил его отец,
Давал три бала ежегодно
И промотался наконец.

Этот рассеянный образ жизни окружал юного Евгения, которому отец дал описанное выше модное воспитание, оставаясь чуждым тем новым идеям, которые уже делались уделом молодого поколения и поверхностно схватывались его сыном. Так, слушая «глубокие экономические» соображения своего сына

Отец понять его не мог
И земли отдавал в залог.

То был столичный тип очень заурядный. Беспорядочность хозяйственных распоряжений отца Онегина несколько напоминает те же свойства отца Пушкина, Сергея

Львовича; глядя на его жизнь, Пушкин был хорошо знаком с обстановкой такого рода. Дом родителей поэта, по свидетельству одного из его товарищей, представлял всегда какой-то хаос и вечный недостаток во всем.

Дядя Онегина – тип другого рода представителей старого поколения. Описание его усадьбы «во вкусе умной старины» свидетельствует о зажиточности этого «деревенского старожила», а по черновому наброску – «скупого богача». В его жизни не было ничего, чтобы вызвало уважение его потомка. Две-три черты рисуют в нем одну из тех мрачных личностей, которым чужды всякие интересы, кроме разве некоторых хозяйственных мелочей. И на юного наследника, которому опротивела столичная жизнь, среди которой он родился и воспитался в доме отца, от этого покоя пахло неприятливым холодом.

Не более приветливо встретила Онегина и жизнь среди соседей, когда один из них надул на него за то, что он облегчил повинности своих крестьян, увидев в этом страшный вред; другие – за то, что он не подходит к ручкам дам и не прибавляет «с» в своей речи. Удивительно ли, что такое общество было бессильно усвоить себе молодого помещика? Примирения между такими двумя крайностями полупросвещения быть не могло. Попытка Онегина к сближению с соседями окончилась тем, что он стал избегать их, а они его прославили «человеком опасным».

В изображении семейства Лариных, Пушкин полнее раскрыл черты провинциального быта. Просвещение коснулось этого семейства в лице московской тетки Татьяны. Сами старики Ларины отличались только терпимостью к этим столичным веяниям. Отец Татьяны, старый отставной военный, украшенный Очаковской медалью, «был добрый малый, в прошедшем веке запоздалый». Он в книгах не видал вреда, их «не читая никогда, их почитал пустой игрушкой» и не питал к ним такой ненависти, как, например, Фамусов. На долю же Татьяны от западного просвещения достались лишь романы. Вопреки своей сестре, которая довольствовалась всем, что бы ни досталось ей в жизни, лишь бы она была свободна от излишних тревог, Татьяна относилась к жизни с большими запросами. Если чтение отрывало ее от действительности в область мечты, где эта действительность перерабатывалась в особый мир грез и несбыточных идеалов, то оно внушило ей и более возвышенный взгляд на нравственную задачу жизни.

В этом чтении она научилась многому, чего не представляла ей действительность. Это чтение открыло ей права сердца, сообщило ее душе настроение, при котором счастье уже не понимается, как эгоистическое пользование жизненными благами. Оно приучило ее видеть высокую красоту в самом страдании, чувствовать величие жизненного подвига. В «Клариссе Гарлов» Ричардсона, например, она вычитала потрясающую историю девушки, погибшей в смелой попытке исправить порочного человека. В истории этих вымышленных лиц училась Татьяна и на жизнь смотреть, как на подвиг.

Это одностороннее влияние, воспринимавшееся через чтение, в душе Татьяны встречалось с впечатлениями родной житейской среды: тихой семейной жизни в кругу родных, в деревне, на руках простодушной няни. Романические мечты дружно уживались в Татьяне с преданиями старины, с той поэзией, которая вносилась в ее жизнь из обычаев народных. Оба начала, при всем видимом различии их, образовали в душе Татьяны неожиданное гармоническое сочетание. Идеализм европейской поэзии пробудил ее мысль и дал возвышенный строй ее духу; искусственность этого

возбуждения умерилась той нравственной связью, которую Татьяна, при всей кажущейся отчужденности в семье своей, не порывала с близкими ей людьми. Вот происхождение этой оригинальной личности.

ПРИМЕЧАНИЯ

Стр. 10 примечание 2

Пушкин писал о пропусках целых строф или их частей: «Пропущенные строфы подавали неоднократно повод к порицанию. Что есть строфы в Онегине, которые я не мог или не хотел напечатать – этому удивиться нечего. Но, будучи выпущены, они прерывают связь рассказа, и поэтому означается место, где быть им надлежало. Лучше было бы заменять эти строфы другими или переплавлять и сплавливать мною сохранные. Но, виноват, на это я слишком ленив...». Строки IX строфы есть в черновиках к роману:

Нас пыл сердечный рано мучит
И говорит Шатобриан¹
Любви нас не природа учит
А первый пакостный роман –
Мы алчем жизнь узнать заране
И узнаем ее в романе
Лета придут, а между тем
Не насладились мы ничем –
Прелестный опыт упреждая
Мы только счастью вредим –
Незнание скроется, а с ним
Уйдет горячность молодая
Онегин это испытал
За то как женщин понимал –

Стр. 11 примечание 1

Тексты этих двух пропущенных строф сохранились в черновиках к роману:

XIII.

Как он умел вдовы смиренной
Привлечь благочестивый взор
И с нею скромный и смятенный
Начать, краснея, разговор.
Пленять неопытностью нежной

¹ Франсуа-Рене де Шатобриан – французский писатель и политик. В 1802 году вышел его роман «Рене, или Следствиях страстей», в котором впервые во французской литературе появился образ героя-страдальца.

И верностью ... надежной
 Любви, которой в мире нет,
 И пылкостью невинных лет.
 Как он умел с любою дамой
 О платонизме рассуждать
 И в куклы с дурочкой играть,
 И вдруг неожиданной эпиграммой
 Ее смутить и наконец
 Сорвать торжественный венец.

XIV.

Так резвый баловень служанки,
 Амбара¹ страж, усатый кот
 За мышью крадется с лежанки,
 Протянется, идет, идет,
 Полузажмурясь, подступает,
 Свернется в ком, хвостом играет,
 Расширит когти хитрых лап
 И вдруг бедняжку цап-царап.
 Так хищный волк, томясь от глада,
 Выходит из глуши лесов
 И рыщет близ беспечных псов
 Вокруг неопытного стада;
 Всё спит, и вдруг свирепый вор
 Ягненка мчит в дремучий бор.

Стр. 15 примечание 1

Примечание Пушкина: «Грим опередил свой век: ныне во всей просвещенной Европе чистят ногти особенной щеточкой» сопровождается выдержкой о Грime из «Признаний» Руссо: «Tout le monde sut qu'il mettait du blanc; et moi, qui n'en croyais rien, je commençais de le croire, non seulement par l'embellissement de son teint et pour avoir trouvé des tasses de blanc sur sa toilette, mais sur ce qu'entrant un matin dans sa chambre, je le trouvai brossant ses ongles avec une petite vergette faite exprès, ouvrage qu'il continua fièrement devant moi. Je jugeai qu'un homme qui passe deux heures tous les matins à brosser ses ongles, peut bien passer quelques instants à remplir de blanc les creux de sa peau». Перевод: «Все знали, что он употребляет белила; и я, совершенно этому не веривший, начал догадываться о том не только по улучшению цвета его лица или потому, что находил баночки из-под белил на его туалете, но потому, что, зайдя однажды утром к нему в комнату, я застал его за чисткой ногтей при помощи специальной щеточки; это занятие он гордо продолжал в моем присутствии. Я решил, что человек, который каждое утро проводит два часа за чисткой ногтей, может потратить несколько минут, чтобы замазать белилами недостатки кожи».

¹ Амбар – старинное название постройки для хранения зерна.

Стр. 15 примечание 4

Первая публикация первой главы имела к строфе XXVI такое примечание: «Нельзя не пожалеть, что наши писатели слишком редко справляются со словарем Академии. Он останется вечным памятником попечительной воли Екатерины и просвещенного труда наследников Ломоносова, строгих и верных опекунов языка отечественного». Во времена Пушкина происходила борьба между архаистами и новаторами. Первые, во главе которых стоял президент Академии наук Шишков, были яркими противниками любых языковых новшеств. Примечание содержало также следующую выдержку из речи Карамзина: «Академия Российская ознаменовала самое начало бытия своего творением, важнейшим для языка, необходимым для авторов, необходимым для всякого, кто желает предлагать мысли с ясностью, кто желает понимать себя и других. Полный словарь, изданный Академией, принадлежит к числу тех феноменов, коими Россия удивляет внимательных иностранцев. Наша, без сомнения счастливая, судьба во всех отношениях есть какая-то необыкновенная скорость: мы зреем не веками, а десятилетиями. Италия, Франция, Англия, Германия славились уже многими великими писателями, еще не имея словаря: мы имели церковные, духовные книги; имели стихотворцев, писателей, но только одного истинно классического (Ломоносова), и представили систему языка, которая может равняться с знаменитыми творениями Академии Флорентинской и Парижской. Екатерина Великая... кто из нас и в самый цветущий век Александра I может произносить имя Ее без глубокого чувства любви и благодарности?... Екатерина, любя славу России, как собственную, и славу побед, и мирную славу разума, приняла сей счастливый плод трудов Академии с тем лестным благоволением, коим Она умела награждать все достохвальное, и которое осталось для вас, милостивые государи, незабвенным, драгоценнейшим воспоминанием».

Стр. 19 примечание 3

В 1-м издании «Евгения Онегина», в примечаниях к XLVII строфе 1 главы, находилась выписка из идиллии Гнедича:

Вот ночь: но не меркнул златистые полосы облак.
Без звезд и без месяца вся озаряется дальность.
На взморье далеком серебристые видны ветрила
Чуть видных судов, как по синему небу плывущих.
Сияньем бессумрачным небо ночное сияет,
И пурпур заката сливается с золотом востока:
Как будто денница за вечером следом выводит
Румяное утро. — Была то година златая,
Как летние дни похищают владычество ночи;
Как взор иностранца на северном небе пленяет
Слиянье волшебное тени и сладкого света,
Каким никогда не украшено небо полудня;
Та ясность, подобная прелестям северной девы,
Которой глаза голубые и алые щеки
Едва отеняются русыми локон волнами.

Тогда над Невой и над пышным Петрополем видят
 Без сумрака вечер и быстрые ночи без тени;
 Тогда Филомела¹ полночные песни лишь кончит
 И песни заводит, приветствуя день восходящий.
 Но поздно; повеяла свежесть на невские тундры;
 Роса опустилась;.....
 Вот полночь: шумевшая вечером тысячью весел,
 Нева не колыхнет; разъехались гости градские;
 Ни гласа на бреге, ни зыби на влаге, всё тихо;
 Лишь изредка гул от мостов пробежит над водою,
 Лишь крик протяженный из дальней промчится деревни,
 Где в ночь окликается ратная стража со стражей.
 Всё спит.....

Стр. 19 примечание 5

В ноябре 1824 года Пушкин писал брату: «... Брат, вот тебе картинка для «Онегина» – найди искусный и быстрый карандаш. Если и будет другая, так чтоб все в том же местоположении. Та же сцена, слышишь ли? Это мне нужно непременно». На обороте письма были нарисованы карандашом: крепость, лодка на Неве, набережная и, опершись на нее, двое мужчин. Под каждым изображением цифры, внизу подписи: 1. Хорош. 2. Должен быть – опершись на гранит. 3. Лодка. 4. Крепость Петропавловская. Картинка была перерисована А. Нотбеком для гравюры, опубликованной в «Невском Альманахе» в 1829 г., вместе с другими картинками для «Онегина».

Стр. 20 примечание 8

В первом издании «Евгения Онегина» примечание к строфе L главы 1-й продолжалось так: «Автор, со стороны матери, происхождения африканского. Его прадед Абрам Петрович Аннибал в 8 году своего возраста был похищен с берегов Африки и привезен в Константинополь. Российский посланник, выручив его, послал в подарок Петру Великому, который крестил его в Вильне. Вслед за ним брат его приезжал сперва в Константинополь, а потом и в Петербург, предлагая за него выкуп; но Петр I не согласился возвратить своего крестника. До глубокой старости Аннибал помнил еще Африку, роскошную жизнь отца, 19 братьев, из коих он был меньшой; помнил, как их водили к отцу, с руками, связанными за спину, между тем как он один был свободен и плавал под фонтанами отеческого дома; помнил также любимую сестру свою Лагань, плывущую издали за кораблем, на котором он удалялся.

18-ти лет от роду Аннибал послан был царем во Францию, где и начал свою службу в армии регента; он возвратился в Россию с разрубленной головой и с чином французского лейтенанта. С тех пор находился он неотлучно при особе императора. В царствование Анны Аннибал, личный враг Бирона, послан был в Сибирь под благовидным предлогом. Наскуча безлюдством и жестокостью климата, он самовольно

¹ Филомела – персонаж древнегреческой мифологии; чтобы избежать преследования царя Тирея, превратилась в ласточку.

возвратился в Петербург и явился к своему другу Миниху. Миних изумился и советовал ему скрыться немедленно. Аннибал удалился в свои поместья, где и жил во все время царствования Анны, считаясь в службе и в Сибири: Елизавета, вступив на престол, осыпала его своими милостями. А. П. Аннибал умер уже в царствование Екатерины, уволенный от важных занятий службы с чином генерал-аншефа на 92 году от рождения.

Сын его генерал-лейтенант И. А. Аннибал принадлежит, бесспорно, к числу отличнейших людей Екатерининского века (ум. в 1800 году).

В России, где память замечательных людей скоро исчезает по причине недостатка исторических записок, странная жизнь Аннибала известна только по семейственным преданиям. Мы со временем надеемся издать полную его биографию».

Стр. 46 примечание 2

Первоначально была записана другая песня девушек:

Вышла Дуня на дорогу
Помолившись богу –
Дуня плачет, завывает
Друга провожает
Друг поехал на чужбину
Дальнюю сторонку
Ох уж эта мне чужбина
Горькая кручина!
На чужбине молодежи,
Красные девицы,
Осталась я молодая
Горькою вдовицей –
Вспомни меня младую
Аль я приревную
Вспомни меня заочно
Хоть и не нарочно

Стр. 47 примечание 3

Первые четыре из шести пропущенных строф четвертой главы были опубликованы в «Московском Вестнике» в 1827 году под общим заглавием «Женщины»:

I.

В начале жизни мною правил
Прелестный, хитрый, слабый пол;
Тогда в закон себе я ставил
Его единый произвол.
Душа лишь только разгоралась,
И сердцу женщина являлась
Каким-то чистым божеством.

Приложение

Владея чувствами, умом,
Она сияла совершенством.
Пред ней я таял в тишине:
Ее любовь казалась мне
Недосягаемым блаженством.
Жить, умереть у милых ног –
Иного я желать не мог.

II.

То вдруг ее я ненавидел,
И трепетал, и слезы лил,
С тоской и ужасом в ней видел
Созданье злобных, тайных сил;
Ее пронзительные взоры,
Улыбка, голос, разговоры –
Все было в ней отравлено,
Изменой злой напоено,
Все в ней алкало слез и стоны,
Питалось кровию моею...
То вдруг я мрамор видел в ней,
Перед мольбой Пигмалиона¹
Еще холодный и немой,
Но вскоре жаркий и живой.

III.

Словами вещего поэта
Сказать и мне позволено:
Темира, Дафна и Лилета –
Как сон забыты мной давно.
Но есть одна меж их толпою...
Я долго был пленен одною –
Но был ли я любим, и кем,
И где, и долго ли?... зачем
Вам это знать? не в этом дело!
Что было, то прошло, то вздор;
А дело в том, что с этих пор
Во мне уж сердце охладело,
Закрылось для любви оно,
И все в нем пусто и темно.

¹ Миф рассказывает, что богиня Афродита оживила статую девушки, которую сделал скульптор Пигмалион и в которую он потом влюбился.

IV.

Дознался я, что дамы сами,
Душевной тайне изменяя,
Не могут надивиться нами,
Себя по совести ценя.
Восторги наши своенравны
И, право, с нашей стороны
Мы непростительно смешны.
Закабалась неосторожно,
Мы их любви в награду ждем.
Любовь в безумии зовем,
Как будто требовать возможно
От мотыльков иль от лилей
И чувств глубоких и страстей!

В черновой рукописи есть также неполная пятая строфа:

Смешон, конечно, важный модник,
Систематический Фоблас¹,
Красавиц записной угодник,
Хоть по делом он мучит вас;
Но жалок тот, кто без искусства
Души возвышенные чувства,
Прелестной веруя мечте,
Приносить в жертву красоте,
И расточив неосторожно.
Любви себе в награду ждет,
Объятий требует, зовет,
Как будто требовать возможно..

Стр. 49 примечание 2

В черновой рукописи далее следовало отступление о провинциальных (псковских) барышнях:

Но ты, губерния Псковская,
Теплица юных дней моих!
Что может быть, страна святая
Несносней барышень твоих,
Плаксивых, скучных, своенравных...
Как разговор их пуст и сух,
Как мысли пошлы, стародавны!
Но, уважая русский дух,

¹ О Фобласе см. примечание 4 на стр. 8.

Простил бы им их сплетни, чванство,
Фамильных шуток остроту,
Пороки зуб, нечистоту,
И неопрятность, и жеманство –
Но как простить им модный бред
И неуклюжий этикет?

Стр. 51 примечание 1

В черновой рукописи далее следовало:

Мать тоже мыслит, у друзей
Тихонько требует совета;
Друзья советуют – зимой
В Москву подняться всей семьей, –
Авось в толпе большого света
Татьяне сыщется жених,
Милей и счастливей других.
Старушка очень полюбила
Благоразумный их совет,
В столицу ехать положила,
Как только будет зимний след.

Стр. 55 примечание 2

Строфа XXXVI была в издании 1828 года:

Уж их далече взор мой ищет...
А лесом кравшийся стрелок
Поэзию клянет и свищет,
Спуская бережно курок.
У всякого своя охота,
Своя любимая забота:
Кто целит в уток из ружья,
Кто бредит рифмами, как я,
Кто бьет хлопущей мух нахальных,
Кто правит в замыслах толпой,
Кто забавляется войной,
Кто в чувствах нежится печальных,
Кто занимается вином:
И благо смешано со злом.

Стр. 55 примечание 7

В пропущенной XXXVIII строфе был описан наряд Онегина:

Носил он русскую рубашку,
Платок шелковый кушаком,

Армяк татарский на распашку
И шапку с белым козырьком,
И только. Сим убором чудным,
Безнравственным и безрассудным,
Была весьма огорчена
Его соседка Дурина,
А с ней Мизинчиков. – Евгений
Быть может, толки презирал,
Быть может, и про них не знал,
Но всех своих обыкновений
Не изменял в угоду им:
Зато был ближним нестерпим.

Стр. 60 примечание 1

Пушкин имеет в виду следующее место этого стихотворения:

Блестящей скатертью подернулись долины,
И ярким бисером усеяны поля;
На праздник зимы красуется земля
И нас приветствует живительной улыбкой.
Здесь снег, как легкий пух, повис на ели гибкой;
Там темный изумруд подернув серебром,
На мрачной сосне он разрисовал узоры.
Рассеялись пары, и засверкали горы,
И солнца жар взыграл на небе голубом.
Волшебницей зимой весь мир преобразован;
Цепями льдистыми покорный пруд окован
И синим зеркалом сравнялся в берегах.
Забавы ожили; пренебрегая страх,
Сбежались смельчаки с берегов толпой игривой
И, празднуя зимы ожидаемый возврат,
По льду светящему кружатся и скользят.
Там ловчих полк готов; их взор нетерпеливый
Допрашивает след добычи торопливой:
На бегство робкого нескромный снег донес;
С неволи спущенный, за жертвой хищный пес
Вверяется стремглав предательному следу,
И довершает нож кровавую победу.
Покинем, милый друг, темницы мрачный кров!
Красивый выходец кипящих табунов,
Ревнуя на бегу с крылатоногой ланью,
Топоча хрупкий снег, он по полю помчит.
Украшен твой наряд лесов сибирских данью.
И соболю на тебе чернеет и блестит.
Презрев мороза гнев и тщетные угрозы.

Румяных щек твоих свежей алеют розы
И лилии свежей белеют на челе.
Как лучшая весна, как лучшей жизни младость,
Ты улыбаешься утешенной земле.
О, пламенный восторг! В душе блеснула радость,
Как искры яркие на снежном хрустале.
Счастлив, кто испытал прогулки зимней сладость!

Стр. 60 примечание 2

Пушкин имеет в виду следующие стихи из «Эды»:

Сковал потоки зимний хлад,
И над стремнинами своими,
С гранитных гор уже висят
Они горами ледяными.
Из-под сугробов снеговых
Кой-где, вставая головами,
Скалы чернеют; снег бутрами
Лежит на соснах вековых.
Кругом все пусто. Зашумели,
Завыли зимние метели.

Стр. 68 примечание 6

Строфы из издания 1828 года:

XXXVII.

В пирах готов я непослушно
С твоим бороться божеством;
Но, признаюсь великодушно,
Ты победил меня в другом;
Твои свирепые герои,
Твои неправильные бои,
Твоя Киприда, твой Зевес
Большой имеют перевес
Перед Онегиным холодным,
Пред сонной скукою полей,
Пред Истоминой моей,
Пред нашим воспитаньем модным;
Но Таня (присягну) милей
Елены¹ пакостной твоей.



¹ Имеется в виду Елена Прекрасная – супруга Менелая, похищенная троянцем Парисом.

XXXVIII.

Никто и спорить тут не станет,
Хоть за Елену Менелай
Сто лет еще не перестанет
Казнить фригийский¹ бедный край
Хоть вкруг почтенного Приама²
Собрание стариков Пергама³,
Ее завидя, вновь решит:
Прав Менелай и прав Парид.
Что ж до сражений, то немного
Я попрошу вас подождать:
Извольте далее читать;
Начала не судите строго; Сраженье будет.
Не солгу, Честное слово дать могу.

Стр. 70 примечание 1

Неполная строфа XLIII в издании 1828 года:

.....
Подковы, шпоры Петушкова
(Канцеляриста отставного)
Стучат; Буянова каблук
Так и ломает пол вкруг.
Треск, топот, грохот – по порядку
Чем дальше в лес, тем больше дров –
Теперь пошло на молодцов –
Пустились, только не в присядку.
Ах, легче, легче: каблуки
Отдавят дамские носки!

Стр. 74 примечание 1

Тексты пропущенных строф XV и XVI есть в черновиках:

XV.

Да, да, ведь ревности припадки –
Болезнь, так точно, как чума,
Как черный сплин, как лихорадка,
Как повреждение ума.

¹ Фригия – историческая область на западе Малой Азии; согласно античным мифам фригийцы помогли Трое в войне с греками.

² Приам – последний царь Трои.

³ Пергамом называли Троянскую цитадель.

Приложение

Она горячкой пламенеет,
Она свой жар, свой бред имеет,
Сны злые, призраки свои.
Помилуй бог, друзья мои!
Мучительней нет в мире казни
Ее терзаний роковых.
Поверьте мне: кто вынес их,
Тот уж конечно без боязни
Взойдет на пламенный костер,
Иль шею склонит под топор

XVI.

Я не хочу пустой укорой
Могилы возмущать покой;
Тебя уж нет, о ты, которой
Я в бурях жизни молодой
Обязан опытом ужасным
И рая мигом сладострастным!
Как учат слабое дитя,
Ты, душу нежную мутя,
Учила горести глубокой;
Ты негой волновала кровь,
Ты воспаляла в ней любовь
И пламя ревности жестокой.
Но он прошел, сей тяжкий день;
Почий, мучительная тень!

Стр. 80 примечание 2

Примечание Пушкина: В первом издании шестая глава оканчивалась следующим образом:

А ты, младое вдохновенье,
Волнуй мое воображенье,
Дремоту сердца оживляй,
В мой угол чаще прилетай,
Не дай остыть душе поэта,
Ожесточиться, очерстветь,
И наконец окаменеть
В мертвящем упоенье света,
Среди бездушных гордецов,
Среди блистательных глупцов,

XLVII.

Среди лукавых, малодушных,
Шальных, балованных детей,

Злодеев и смешных и скучных,
Тупых, привязчивых судей,
Среди кокеток богомольных,
Среди холопьев добровольных,
Среди вседневных, модных сцен,
Учтивых, ласковых измен,
Среди холодных приговоров
Жестокосердой суеты,
Среди досадной пустоты
Расчетов, дум и разговоров,
В сем омуте, где с вами я
Купаюсь, милые друзья.

Стр. 82 примечание 1

Набросок о весне в черновых рукописях:

Когда повеет к нам весною,
И небо вдруг оживлено,
Люблю поспешною рукою
Двойное выставять окно.
Я упиваюсь дуновеньем
(Живой) прохлады (первых дней)...
.....
..... но весна
У нас не радостна она,
Богата грязью – не цветами.
Не свищет ночью над водами
Певец....
Напрасно (ищет) манит жадный взор
(Лугов) узор....
Один растопленный навоз.

Стр. 83 примечание 1

Набросок VIII и IX строф в рукописях:

VIII.

Но раз вечернею порою,
Одна из дев сюда пришла
Казалось – тяжкою тоскою
Она встревожена была.
Как бы волнуемая страхом
Она в слезах пред милым прахом
Стояла, голову склонив
И руки с трепетом сложив;

Но тут поспешными шагами
Ее настиг молодой улан
Затянут, статен и румян
Красуясь черными усами,
Нагнув широкие плеча
И гордо шпорами звуча.

IX.

Она на воина взглянула:
Горел досадой взор его,
И побледнела, и вздохнула,
Но не сказала ничего.
И молча Ленского невеста
От сиротеющего места
С ним удалилась – и с тех пор
Уж не являлась из-за гор.
Так равнодушное забвенье
За гробом настигает нас.
Врагов, друзей, любовниц глас
Умолкнет – об одном именье
Наследников ревнивый хор
Заводит непристойный спор

Стр. 89 примечание 5

В качестве примечания Пушкин приводит стихотворение князя Вяземского «Станция»:

Дороги наши – сад для глаз:
Деревья, с дерном вал, канавы;
Работы много, много славы,
Да жаль – проезда нет подчас.
С деревьев, на часах стоящих,
Проезжим мало барыша;
Дорога, скажешь, хороша –
И вспомнишь стих: для проходящих!
Свободна русская езда
В двух только случаях: когда
Наш Мак-Адам¹ или Мак-Ева –
Зима свершит, треща от гнева,
Опустошительный набег,
Путь окует чугуном льдистым
И запорошит ранний снег
Следы ее песком пушистым.

¹ *Американец Мак-Адам – изобретатель особого способа мощения.*

Или когда поля проймет
Такая знойная засуха,
Что через лужу может вброд
Пройти, глаза зажмуря, муха.

Стр. 96 примечание 4

Иные варианты начала восьмой главы:

I.

В те дни, когда в садах Лицея
Я безмятежно расцветал
Читал охотно Елисея¹,
А Цицерона проклинал,
В те дни, как я поэме редкой
Не предпочел бы мячик меткий,
Считал схоластику² за вздор
И прыгал в сад через забор,
Когда порой бывал прилежен.
Порой ленив, порой упрям,
Порой лукав, порою прям,
Порой смирен, порой мятежен,
Порой печален, молчалив,
Порой сердечно говорлив;

II.

Когда в забвенье перед классом
Порой терял я взор и слух,
И говорить старался басом,
И стриг над губой первый пух;
В те дни... в те дни, когда впервые
Заметил я черты живые
Прелестной девы, и любовь
Младую взволновала кровь,
И я, тоскуя безнадежно,
Томясь обманом пылких снов,
Везде искал ее следов,
Об ней задумывался нежно,
Весь день минутной встречи ждал
И счастье тайных мук узнал...

¹ «Елисей» – шуточная поэма мастера ироиколических сочинений Василия Ивановича Майкова.

² Схоластика в данном случае – наука, оторванная от реальной жизни.

Приложение

III.


В те дни – во мгле дубравных сводов
Близ вод, текущих в тишине,
В углах Лицейских переходов
Являться Муза стала мне,
Моя студенческая келья,
Доселе чуждая веселья,
Вдруг озарилась – Муза в ней
Открыла пир своих затей;
Простите, хладные науки!
Простите, игры первых лет!
Я изменился, я поэт,
В душе моей едины звуки
Переливаются, живут,
В размеры сладкие бегут.

IV.

Везде со мной, неутомима,
Мне Муза пела, пела вновь
(Amorem canal aetas prima¹)
Все про любовь да про любовь
Я вторил ей – молодые други
В освобожденные досуги
Любили слушать голос мой.
Они, пристрастною душой
Ревнуя к братскому союзу,
Мне первый поднесли венец,
Чтоб им украсил их певец
Свою застенчивую Музу.
О, торжество невинных дней!
Твой сладок сон души моей.

V.

И свет ее с улыбкой встретил,
Успех нас первый окрылил,
Старик Державин нас заметил
И, в гроб сходя, благословил,
И Дмитрев² не был наш хулитель;
И быта русского хранитель,
Скрижаль оставя, нам внимал



¹ Пусть юность воспевает любовь (лат).

² Речь о поэте Иване Ивановиче Дмитриеве.

И Музу робкую ласкал.
И ты, глубоко вдохновенный
Всего прекрасного певец,
Ты, идол девственных сердец,
Не ты ль, пристрастьем увлеченный,
Не ты ль мне руку подавал
И к славе чистой призывал

Стр. 99 примечание 4

Варианты в рукописях:

Смотрите: в залу Нина входит,
Остановилась у дверей
И взгляд рассеянный обводит
Кругом внимательных гостей;
В волненьи перси, плечи блещут,
Горит в алмазах голова,
Вкруг стана вьются и трепещут
Прозрачной сетью кружева,
И шелк узорной паутиной
Сквозит на розовых ногах;
И вы в восторге, в небесах
Пред сей волшебною картиной,
Один Онегин...
Один Татьяной поражен,
Одну Татьяну видит он.
И в зале яркой и богатой,
Когда в умолкший, тесный круг,
Подобна лилии крылатой,
Колебясь, входит Лалла-Рук¹,
И над поникшею толпою
Сияет царственной главою,
И тихо веет и скользит
Звезда – харита меж харит,
И взор смешенных поколений
Стремится, ревностью горя,
То на нее, то на царя, –
Для них без глаз один Евгений;
Одной Татьяной поражен,
Одну Татьяну видит он.

¹ Лалла-Рук – дочь падишаха Аурангзеба, героиня одноименной поэмы Томаса Мура; императрица Александра Федоровна, будучи великой княгиней, однажды выступала в этой роли при дворе.

Стр. 101 примечание 3

Варианты строф XXIV–XXVI в рукописях:

Тут был К. М., женатый
На кукле чахлой и горбатой
И семи тысячах душах;
Тут был во всех своих звездах
Прависин, цензор непреклонный
(Недавно грозный сей Катон¹
За взятки места был лишен);
Тут был еще сенатор сонный,
Проведший с картами свой век,
Для власти нужный человек.
Тут был всем светом недовольный,
На все сердитый граф Турин:
На дом хозяйки слишком вольный,
На глупость дам, на тон мужчин,
На вензель, двум сироткам данный,
На толки про роман жеманный
(вар.: На слог газет, на день туманный),
На пустоту жены своей,
На тальи спелых дочерей;
Тут был один диктатор бальный,
Прыгун суровый должностной,
У стенки фертик² молодой
Стоял картинкою журнальной,
Румян, как вербный херувим,
Затянут, нем и недвижим.
И та, чья юность улыбалась –
Расцветшей жизни благодать –
И та, которая сбиралась
Уж общим мнением управлять,
И та, чья скромная планета
Вдали от суетного света
Должна была когда-нибудь
Смирненным счастьем блеснуть,
И та, которой сердце тайно,
Нося безумной страсти казнь,
Питало ревность и боязнь, –
Соединенные случайно,

¹ Марк Порций Катон – древнеримский политик и писатель, консервативный борец против роскоши.

² Ферт – старинное название буквы Ф; стоять фертом – подбоченившись, развязно.

Друг другу чуждые душой,
Сидели тут одна с другой.
Никто насмешкою холодной
Встречать не думал старика,
Заметь воротник немодный
Под бантом шейного платка;
И земляка провинциала
Хозяйка спесью не смущала;
Для всех гостей она была
Равно проста, равно мила
(вар.: Непринужденна и мила).
Лишь путешественник залетный,
Блестящий лондонский нахал,
Полуулыбку возбуждал
Своей осанкой беззаботной,
И быстро обмененный взор
Ему был общий приговор.
В гостиной, истинно дворянской,
Чуждались щегольства речей
И щекотливости мещанской
Журнальных чопорных судей.
Хозяйкой, светской и свободной,
Был принять слог простонародный
И не пугал ничьих ушей
Живою странностью своей,
Чему наверно удивится,
Готовя свой разборный лист,
Иной глубокий журналист;
Но в свете мало ль что творится,
О чем у нас не помышлял,
Быть может, ни один журнал.

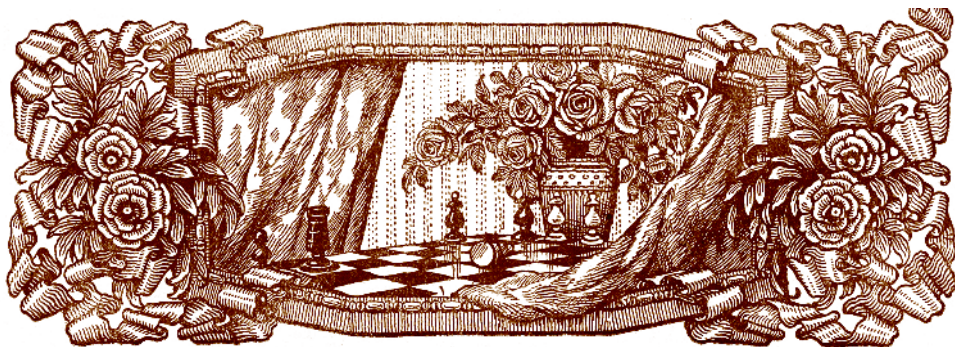
Стр. 103 примечание 2

В черновых рукописях к письму Онегина еще три отрывка:

Я позабыл ваш образ милый,
Речей стыдливых нежный звук.
И жизнь сокрыл в душе унылой,
Как искупительный недуг...
Так, я безумец! – и ужели
Я слишком многого прошу?
Когда б хоть тень вы разумели
Того, что в сердце я ношу...



И что же? Вот чего хочу:
 Пройду немного с вами рядом,
 Упьюсь по капле сладким ядом
 И, благодарный, замолчу.



ПУТЕШЕСТВИЕ ОНЕГИНА¹

Последняя глава Евгения Онегина была издана особо, со следующим предисловием Пушкина:

«Пропущенные строфы подавали неоднократно повод к порицанию и насмешкам (впрочем весьма справедливым и остроумным). Автор чистосердечно признается, что он выпустил из своего романа целую главу, в коей описано было путешествие Онегина по России. От него зависело означить сию выпущенную главу точками или цифрами; но во избежание соблазна решился он лучше выставить, вместо девятого номера – восьмой над последней главою Евгения Онегина, и пожертвовать одною из окончательных строф:

Пора: перо покоя просит;
 Я девять песен написал;
 На берег радостный выносит
 Мою ладью девятый вал –
 Хвала вам, девяти Каменам, и проч.

П. А. Катенин (коему прекрасный поэтический талант не мешает быть и тонким критиком) заметил нам, что сие исключение, может быть и выгодное для читателей, вредит однако ж плану целого сочинения; ибо чрез то переход от Татьяны, уездной барышни, к Татьяне, знатной даме, становится слишком неожиданным и необъясненным. – Замечание, обличающее опытного художника. Автор сам чувствовал справедливость оною, но решился выпустить эту главу по причинам, важным для него, а не для публики. Некоторые отрывки были напечатаны; мы здесь их помещаем, присовокупив к ним еще несколько строф».

¹ Печатается здесь по полному тексту этой главы Евгения Онегина, восстановленному А. Ф. Бычковым по собственной ручной тетради Пушкина.

Предметом став суждений шумных,
Несносно, согласитесь в том,
Между людей благоразумных
Прослыть притворными чудаком,
Каким-то квакером, масоном.
Иль доморощенным Байроном,
Иль даже Демоном моим.
Онегин (вновь займуся им),
Дожив без цели и трудов
До двадцати шести годов,
Убив на поединке друга,
Томясь в объятиях досуга,
Без службы, без жены, без дел,
Быть чем-нибудь давно хотел.

*

Наскуча или слыть Мельмотом,
Иль маской щеголять иной,
Проснулся раз он патриотом
Дождливой, скучною порой.
Россия, господа, мгновенно
Ему понравилась отменно,
И решено – уж он влюблен,
Уж Русью только бредит он!
Уж он Европу ненавидит
С ее политикой сухой,
С ее развратной суетой.
Онегин едет; он увидит
Святую Русь: ее поля,
Пустыни, грады и моря.

*

Он собрался – и слава Богу!
Июня третьего числа
Коляска легкая в дорогу
Его по почте понесла.
Среди равнины полудикой
Он видит Новгород Великой
Смирились площади – сред них

Мятежный колокол утих,
Но бродят тени великанов:
Завоеватель Скандинав,
Законодатель Ярослав¹,
С четою грозных Иоаннов²,
И вкруг поникнувших церквей
Кипит народ минувших дней.

*

Тоска, тоска! Спешит Евгений
Скорее далее... Теперь
Мелькают мельком, будто тени,
Пред ним Валдай, Торжок и Тверь.
Тут у привязчивых крестьянок
Берет три связки он баранок;
Здесь покупает туфли, – там
По гордым Волжским берегам
Он скачет сонный. Кони мчатся
То по горам, то вдоль реки;
Мелькают версты; ямщики
Поют, и свищут, и бранятся;
Пыль вьется. – Вот Евгений мой
В Москве проснулся на Тверской.

*

Москва Онегина встречает
Своей спесивой суетой,
Своими девами прельщает,
Стерляжьей поднует ухой.
В палате английского клуба
(Народных заседаний проба),
Безмолвно в думу погружен,
О кашах пренья слышит он.
Замечен он. О нем толкует
Разноречивая молва,
Им занимается Москва,
Его шпионом именует,
Слагая в честь его стихи
И производит в женихи.

¹ Ярослав Мудрый – новгородский и ростовский князь, при котором в XI веке был составлен первый свод законов.

² Иван III Васильевич и его внук Иван IV Грозный

*

Тоска, тоска! Он в Нижний хочет,
В отчизну Минина! Пред ним
Макарьев¹ суетно хлопочет,
Кипит обилием своим.
Сюда жемчуг привез индеец,
Поддельны вины европеец,
Табун бракованных коней
Пригнал заводчик из степей,
Игрок привез свои колоды
И горсть услужливых костей,
Помещик – спелых дочерей,
А дочери – прошлогодни моды.
Всяк суетится, ажет за двух
И всюду меркантильный дух.

*

Тоска! Евгений ждет погоды.
Уж Волга – рек, озер краса –
Его зовет на пышны воды
Под полотняны паруса:
Взманить охотника не трудно.
Наняв купеческое судно,
Поплыл он быстро вниз реки.
Надулась Волга; бурлаки,
Опершись на багры стальные,
Унывым голосом поют
Про тот разбойничий приют,
Про те разъезды удалые,
Как Стенька Разин в старину
Кровавил Волжскую волну.

*

Поют про тех гостей незваных,
Что жгли да резали. Но вот,
Среди степей своих песчаных,
На берегу соленых вод
Торговый Астрахань открылся.

Онегин только углубился
В воспоминанье прошлых дней,
Как жар полуденных лучей
И комаров нахальных тучи,
Пища, жужжа со всех сторон,
Его встречают – и, взбешен,
Каспийских вод берега сыпучи
Он оставляет тот же час.
Тоска! Он едет на Кавказ.

*

Он видит Терек своенравный
Крутые роет берега;
Пред ним парит орел державный,
Стоит олень, склонив рога;
Верблюд лежит в тени утеса,
В лугах несется конь черкеса,
И вокруг кочующих шатров
Пасутся овцы калмыков,
Вдали – кавказские громады:
К ним путь открыт. Пробилась брань
За их естественную грань,
Чрез их опасные преграды;
Берега Арагвы и Куры
Узрели русские шатры.

*

Уже пустыни сторож вечный,
Стесненный холмами вокруг,
Стоит Бешту² остроконечный
И зеленеющий Машук³,
Машук, податель струй целебных;
Вокруг ручьев его волшебных
Больных теснится бледный рой;
Кто жертва чести боевой,
Кто Почечуя⁴, кто Киприды;
Страдалец мыслит жизни нить
В волнах чудесных укрепить,

¹ Макарьевская ярмарка была переведена в Нижний Новгород в 1817 году из города Макарьева.

² Бешту (Бештау) – высочайшая из гор на Кавказских Минеральных Водах.

³ Машук – гора в северо-восточной части Пятигорска.

⁴ Почечуй (устар.) – геморрой.

Кокетка злых годов обиды
На дне оставить, а старик
Помолодеть – хотя б на миг.

*

Питая горьки размышленья,
Среди печальной их семьи,
Онегин взором сожаленья
Глядит на дымные струи
И мыслит, грустью отуманен:
Зачем я пулей в грудь не ранен?
Зачем не хилый я старик,
Как этот бедный откупщик¹?
Зачем, как тульский заседатель,
Я не лежу в параличе?
Зачем не чувствую в плече
Хоть ревматизма? – ах, создатель!
Я молод, жизнь во мне крепка;
Чего мне ждать? тоска, тоска!..

*

Блажен, кто стар! Блажен, кто болен!
Над ним лежит судьбы рука.
Но я здоров, я молод, волен;
Чего мне ждать? Тоска, тоска!..
Простите, снежных гор вершины,
Увы, Кубанские равнины!
Он едет к берегам иным,
Он прибыл из Тамани в Крым.
Воображенью край священный:
С Атридом² спорил там Пилад³,
Там закололся Митридат⁴,
Там пел Мицкевич вдохновенный⁵

И, посреди прибрежных скал,
Свою Литву воспоминал.
Прекрасны вы, берега Тавриды⁶;
Когда вас видишь с корабля
При свете утренней Киприды,
Как вас впервой увидел я;
Вы мне предстали в блеске брачном:
На небе синем и прозрачном
Сияли груди ваших гор,
Долин, деревьев, сёл узор
Разостлан был передо мною.
А там, меж хижинок татар...
Какой во мне проснулся жар!
Какой волшебною тоскою
Стеснялась пламенная грудь!
Но, Муза! прошлое забудь.

*

Какие б чувства ни таились
Тогда во мне – теперь их нет:
Они прошли иль изменились...
Мир вам, тревоги прошлых лет!
В ту пору мне казались нужны
Пустыни, волн края жемчужны,
И моря шум, и груди скал,
И гордой девы идеал,
И безымянные страдания...
Другие дни, другие сны;
Смирились вы, моей весны
Высокопарные мечтанья,
И в поэтический бокал
Воды я много подмешал.

¹ Откупщик – делец, приобретший право на какой-либо вид государственных доходов.

² Атриды – сыновья Атрея: герои «Илиады» Агамемнон и Менелай.

³ Пилад – персонаж древнегреческой мифологии, который был готов пожертвовать собой ради своего друга Ореста.

⁴ Митридат – царь древнего Босфорского царства, покончил с собой, проиграв римлянам.

⁵ Адам Мицкевич является автором «Крымских сонетов».

⁶ Таврида – одно из исторических названий Крыма.

*

Иные нужны мне картины:
 Люблю песчаный косогор,
 Перед избушкой две рябины,
 Калитку, сломанный забор,
 На небе серенькие тучи,
 Перед гумном соломы кучи –
 Да пруд под сенью ив густых,
 Раздолье уток молодых;
 Теперь мила мне балалайка
 Да пьяный топот трепака
 Перед порогом кабака.
 Мой идеал теперь – хозяйка,
 Мои желания – покой,
 Да щей горшок, да сам большой.¹

*

Порой дождливою намедни
 Я, завернув на скотный двор...
 Тьфу! прозаические бредни,
 Фламандской школы пестрый сор!²
 Таков ли был я, расцветая?
 Скажи, Фонтан Бахчисарая!
 Такие ль мысли мне на ум
 Навел твой бесконечный шум,
 Когда безмолвно пред тобою
 Зарему я воображал
 Средь пышных, опустелых зал...
 Спустя три года, вслед за мною,
 Скитаясь в той же стороне,
 Онегин вспомнил обо мне.

*

Я жил тогда в Одессе пыльной...
 Там долго ясны небеса,
 Там хлопотливо торг обильный
 Свои подьемлет паруса;

Там всё Европой дышит, веет,
 Всё блещет Югом и пестреет
 Разнообразием живой.
 Язык Италии златой
 Звучит по улице веселой,
 Где ходит гордый славянин,
 Француз, испанец, армянин,
 И грек, и молдаван тяжелый,
 И сын египетской земли,
 Корсар в отставке, Морали³.

*

Одессу звучными стихами
 Наш друг Туманский⁴ описал,
 Но он пристрастными глазами
 В то время на нее взирал.
 Приехав, он прямым поэтом
 Пошел бродить с своим лорнетом
 Один над морем – и потом
 Очаровательным пером
 Сады одесские прославил.
 Всё хорошо, но дело в том,
 Что степь нагая там кругом;
 Кой-где недавний труд заставил
 Младые ветви в знойный день
 Давать насильственную тень.

*

А где, бишь, мой рассказ несвязный?
 В Одессе пыльной, я сказал.
 Я б мог сказать: в Одессе грязной –
 И тут бы, право, не солгал.
 В году недель пять-шесть Одесса,
 По воле бурного Зевеса,
 Потоплена, запружена,
 В густой грязи погружена.
 Все дома на аршин загрязнут,

¹ «да сам большой» (устар.) – сам себе хозяин.

² Художникам Фламандской школы было свойственно изображать предметы быденной жизни.

³ Морали – одесский знакомый Пушкина, ходили слухи, что он нажил свое состояние морским разбоем.

⁴ Василий Иванович Туманский – поэт XIX века, одесский приятель Пушкина.

Лишь на ходулях пешеход
По улице дерзает вброд;
Кареты, люди тонут, вязнут,
И в дрожках вол, рога склоня,
Сменяет хилого коня.

*

Но уж дробит камня молот,
И скоро звонкой мостовой
Покроется спасенный город,
Как будто кованной броней.
Однако в сей Одессе влажной
Еще есть недостаток важный;
Чего б вы думали? – воды.
Потребны тяжкие труды...
Что ж? это небольшое горе,
Особенно, когда вино
Без пошлины привезено.
Но солнце южное, но море...
Чего ж вам более, друзья?
Благословенные края!

*

Бывало, пушка зоревая
Лишь только грянет с корабля,
С крутого берега сбегая,
Уж к морю отправляюсь я.
Потом за трубкой раскаленной,
Волной соленой оживленный,
Как мусульман в своем раю,
С восточной гущей кофе пью.
Иду гулять. Уж благосклонный
Открыт Casino; чашек звон
Там раздается; на балкон
Маркёр выходит полусонный
С метлой в руках, и у крыльца
Уже сошлись два купца.

*

Глядишь и площадь запестрела.
Всё оживилось; здесь и там

Бегут за делом и без дела,
Однако больше по делам.
Дитя расчета и отваги,
Идет купец взглянуть на флаги,
Проведать, шлют ли небеса
Ему знакомы паруса.
Какие новые товары
Вступили нынче в карантин¹?
Пришли ли бочки жданных вин?
И что чума? и где пожары?
И нет ли голода, войны
Или подобной новизны?

*

Но мы, ребята без печали,
Среди заботливых купцов,
Мы только устриц ожидали
От цареградских берегов.
Что устрицы? пришли! О радость!
Летит обжорливая младость
Глотать из раковин морских
Затворниц жирных и живых,
Слегка обрызгнутых лимоном.
Шум, споры – легкое вино
Из погребов принесено
На стол услужливым Отоном²;
Часы летят, а грозный счет
Меж тем невидимо растет.

*

Но уж темнеет вечер синий,
Пора нам в Оперу скорей:
Там упоительный Россини,
Европы баловень – Орфей.
Не внемля критике суровой,
Он вечно тот же, вечно новый,
Он звуки льет – они кипят,
Они текут, они горят,
Как поцелуи молодые,
Все в неге, в пламени любви,
Как зашипевшего Аи

¹ Карантин – так называемый карантинный (иностраннный) порт в Одессе.

² Известный во времена Пушкина ресторатор в Одессе.

Струя и брызги золотые...
 Но, господа, позволено ль
 С вином равнять do-re-mi-sol?

*

А только ль там очарованья?
 А разыскательный лорнет?
 А закулисные свиданья?
 А prima dona? а балет?
 А ложа, где красой блистая,
 Негоцианка молодая,
 Самолюбива и томна,
 Толпой рабов окружена?
 Она и внемлет и не внемлет
 И каватине, и мольбам,
 И шутке с лестью пополам...
 А муж – в углу за нею дремлет,
 Впросонках *фора*¹ закричит,
 Зевнет – и снова захрапит.

*

Финал гремит; пустеет зала;
 Шумя, торопится разъезд;
 Толпа на площадь побежала
 При блеске фонарей и звезд,
 Сыны Авзонии² счастливой
 Слегка поют мотив игривый,
 Его невольно затвердив,
 А мы ревом речитатив.
 Но поздно. Тихо спит Одесса;
 И бездыханна и тепла
 Немая ночь. Луна взошла,
 Прозрачно-легкая завеса
 Объемлет небо. Всё молчит;
 Лишь море Черное шумит...

*

Итак я жил тогда в Одессе...
 Среди новоизбранных друзей,
 Забыв о сумрачном повесе,
 Герое повести моей.
 Онегин никогда со мной
 Не хвастал дружбою почтовой,
 А я, счастливый человек,
 Не переписывался век
 Ни с кем. Каким же изумленьем,
 Судите, был я поражен,
 Когда ко мне явился он
 Неприглашенным приведеньем,
 И как заахали друзья,
 И как обрадовался я!

*

Дань дружбы...глас природы!..
 Взглянув друг на друга, потом,
 Как Цицероновы авгуры³,
 Мы рассмеялись тишком.

.....

.....

*

Не долго вместе мы бродили
 По берегам Эвксинских⁴ вод:
 Судьбы нас снова разлучили
 И нам назначили поход.
 Онегин, очень охлажденный
 И тем, что видел, насыщенный,
 Пустился к Невским берегам.
 А я от милых южных дам,
 От жирных устриц Черноморских,
 От оперы, от темных лож,

¹ *Фора* (от итал. *fora* – вперед) – одобрительный крик в театре, вызывающий артиста для повторения, то же, что и «бис».

² *Авзония* – поэтическое название Италии.

³ *Авгуры* – жрецы-предсказатели в Древнем Риме; Марк Тулий Цицерон в своей книге «О гадании» в I в. до н.э. описывал их как мошенников.

⁴ *Понт Эвксинский* – древнегреческое название Черного моря.

И, слава Богу, от вельмож,
Уехал в тень лесов Тригорских¹,
В далекий северный уезд
И был печален мой приезд.

*

О, где б судьба ни назначала
Мне безымянный уголок,
Где б ни был я, куда б ни мчала
Она смиренный мой челнок,

Где поздний мир мне б ни сулила,
Где б ни ждала меня могила,
Везде, везде в душе моей
Благословлю моих друзей,
Нет, нет! нигде не позабуду
Их милых, ласковых речей.
Вдали, один, среди людей
Вообразать я вечно буду
Вас, тень прибрежных ив,
Вас, мир и сон Тригорских нив.

МЕДНЫЙ ВСАДНИК

«Медный Всадник» написан Пушкиным между 9-м и 31-м октября 1833 г. Задумал он его одновременно с «Родословной моего героя» и, по-видимому, в связи с нею. В «Медном Всаднике» сохранен тип Езерского, очерченный в «Родословной», и введен в событие иного порядка, которое дало повести характер поэмы. Согласно с этим Пушкин опустил многие черты, набросанные первоначально.²

Думы Пушкина о судьбе потомков древних русских родов слились здесь с идеей о деятельности Петра Великого. Мещанский идеал Езерского противопоставлен идеалу государственному. Сострадание автора к личной бедной отрасли влиятельного государственного сословия сливается с благоговением к великому монарху, к его исторической задаче. Пушкин как бы искал сюжет, в котором драматизм положения героя истекал бы из неизбежного хода истории. Внешнее содержание дано ему было современным событием – наводнением 1824 года, а на мысль поэмы навели толки, которые последовали за этим наводнением: в обществе толковали о том, что Петр Великий сделал ошибку, основав новую столицу в такой местности, где ей грозят стихии; основателю Петербурга ставилось в вину в этом случае его самовластие.

Олицетворить же идею Петра, которая подвигла его к этому шагу, во образе памятника, воздвигнутого ему Екатериной на Сенатской площади, т. е. медного всадника – подал Пушкину (по словам Соболевского г. Бартеневу) следующий рассказ М. Ю. Виельгорского: «В 1812 году, когда опасность французского вторжения грозила и Петербургу, Государь Александр Павлович предположил, вместе с другими драгоценностями столицы, вывезти и статую Петра Великого. Статс-секретарю Молчанову было на этот предмет уже отпущено несколько тысяч рублей. В то время к

¹ Пушкин часто бывал в Тригорском имении, принадлежавшем П. А. Осиповой.

² «Родословная моего героя» есть отрывок, написанный Пушкиным одновременно с поэмой «Медный Всадник» и имеющий с этой поэмой общего героя. Оба эти произведения составляли одно нестройное целое и потом были разбиты Пушкиным надвое. В этом убеждают рукописи поэта, где родословная является отступлением в повествовании, начатом с описания петербургского наводнения. Это описание, измененное и дополненное, перешло в поэму «Медный Всадник» и исключено из «Родословной».

князю А. Н. Голицыну, как известно, отличавшемуся мистическим настроением, хаживал некто майор Батури́н. Он рассказал князю, что видит один и тот же сон: будто стоит он на Сенатской площади, смотрит на памятник Петру Великому и видит, что лик его поворачивается; потом он съезжает со своей скалы¹ и направляется по улице к Каменному острову, где жил тогда Император. Батури́н, влекомый какою-то силою, спешит за ним и слышит топот медных копыте по мостовой. Всадник въезжает на двор Каменноостровского дворца, откуда навстречу ему выходит Император, задумчивый и озабоченный. „Молодой человек! До чего ты довел мою Россию! – говорит Петр Великий – но пока я на месте, моему городу нечего опасаться“. Затем всадник поворачивает коня, и снова раздается тяжеловесное скакание. Пораженный рассказом Батурина, князь Голицын передал об этом сие Государю, и когда многие государственные сокровища и целые учреждения были вывезены внутрь России, статуя Петра Великого была оставлена в покое». Таково происхождение первой мысли об одушевленном медном всаднике. Поэтический образ был готов.

Создание скульптора-поэта Фальконе, медный всадник, казалось, сам просился в поэму. Попирая змею недоброжелательства, несется он наверху высокой скалы, ликующий и величавый на могучем коне своем.

Таким же Петр Великий предстал и воображению Пушкина: представлял ли он его на поле Полтавской битвы, или па пиру, он видел в нем личность, окрыленную высоким чувством и мыслью. В нем он видел монарха, преданного своей заветной государственной идее. Даже в «Арапе Петра Великого», изображая его в простом житейском обиходе, Пушкин обставляет его картиной общества, от которой веет силою могучей его воли, направленной все на те же «любимые думы» преобразования. Черновые тетради Пушкина свидетельствуют, что он издавна размышлял об этой колоссальной личности, приковавшей к себе его внимание. В «Исторических замечаниях» еще 1821 года читаем его мысли о «северном исполине, сообщившем движение всему огромному составу государства». В кишиневских тетрадях Пушкин прибавляет: «Гений его (Петра) вырывался за пределы его века». Молодого поэта пленяла независимость монарха, и, впадая в тон Байрона, он вносит в свои «Исторические заметки» предположение, что Петр Великий «презирал человечество, может быть, более, чем Наполеон». В другой раз, размышляя о падении дворянства и об указе 1714 г., (о майоратах), он записывает: «Pierre I est tout à la fois Robespierre et Napoléon» (Петр I — и Робеспьер, и Наполеон в одно и то же время). Из всего этого видно, что Пушкин в крутом перевороте, произведенном Петром Первым, видел, с одной стороны, победу гениального замысла, с другой – разрушение и жертв переворота. Нигде не проявилось это так полно, как в «Медном Всаднике». В нем резко намечены данные для решения исторического вопроса. Бедствия униженной и оскорбленной жертвы всколебленного состава государства символически сопоставлены с бедствиями жертв всколебавшейся стихии, наводнившей город. Читатель получает впечатление неизбежности рокового события; оно является неотвратимым,

¹ В черновых тетрадях Пушкина встречается неоднократно набросанный его рукою рисунок: скала памятника Петра Великого на Сенатской площади без самого всадника. Очевидно, этот образ поразил поэта своей необычайностью.

как движение стихийное – и потому в нем нет виноватых. Не так ли представлялся Пушкину и переворот, совершенный Петром? Повествователю оставалось лишь сострадание к жертве неизбежной катастрофы – и поэт обильно проливает его на эту жертву согласно тому чувству, которое в действительности было возбуждено в нем бедствиями наводнения 7 ноября 1824 г.

Пушкин находился в Михайловском, когда произошло страшное наводнение, грозившее гибелью уже не только медному всаднику, но и всей столице. «Судя по сохранившимся отметкам на петербургских домах – замечает Бартенев – надо полагать, что вода заливала самое подножие кумира. Поэт имел известия об этом событии не в одних газетах. Друзья, навещавшие его в изгнании – Пущин, Делвиг, конечно, передавали ему подробности бедствия, к которому он относился с тревожным любопытством и с участливым сердоболием: известно, что он поручал брату Льву Сергеевичу помогать пострадавшим от наводнения из денег, выручаемых за «Онегина»...

Белинский (1844) писал о «Медном Всаднике»: «Настоящий герой поэмы – Петербург. Оттого и начинается она грандиозною картиною Петра, задумывающего основание новой столицы, и ярким изображением Петербурга в теперешнем виде... С историей наводнения, как исторического события, поэт искусно слил частную историю любви, сделавшейся жертвою этого происшествия. Герой повести – Евгений, имя, так сдружившееся с пером нашего поэта, который с грустью описывает его незначительность, но соответствующую его понятиям о родословии...

Картина наводнения написана у Пушкина красками, которые ценою жизни готов бы был купить поэт прошлого века, помешавшийся на мысли написать эпическую поэму – «Потоп»... Тут не знаешь, чему больше дивиться — громадной ли грандиозности описания, или его почти прозаической простоте — что, вместе взятое, доходит до высочайшей поэзии...

Когда наводнение утихло, Евгений на месте, где стоял дом Параша, нашел одну иву – и ничего больше. Несчастный сошел с ума. Бродя по улицам, преследуемый мальчишками, получая удары от кучерских плетей...

В беспрестанном столкновении несчастного с «гигантом на бронзовом коне» и во впечатлении, какое производит на него вид Медного Всадника, скрывается весь смысл поэмы; здесь ключ к ее идее... В этой поэме видим мы горестную участь личности, страдающей как бы вследствие избрания места для новой столицы, где подверглось гибели столько людей, – и наше сокрушенное сочувствием сердце, вместе с несчастным, готово смутиться; но вдруг взор наш, упав на изваяние виновника нашей славы, склоняется долу, – и в священном трепете, как бы в сознании тяжкого греха, бежим стремглав, думая слышать за собой:

Как будто грома грохотанье,
Тяжело-звонкое скаканье
По потрясенной мостовой...

Мы понимаем смущенною душою, что не произвол, а разумная воля олицетворены в этом Медном Всаднике, который, в неколебимой вышине, с распростертою рукой, как бы любит городом... И нам чудится, что, среди хаоса и тьмы этого разрушения, из его медных уст исходит творящее «да будет!», а простертая рука гордо повелевает утихнуть разъяренным стихиям... И смиренным сердцем признаем мы

торжество общего над частным, не отказываясь от нашего сочувствия к страданию этого частного... При взгляде на Великана, гордо и неколебимо возносящегося среди всеобщей гибели и разрушения, как бы символически осуществляющего собою несокрушимость его творения, – мы, хотя и не без содрогания сердца, но сознаем, что этот бронзовый гигант не мог уберечь участи индивидуальностей, обеспечивая участь народа и государства; что за него историческая необходимость, и что его взгляд на нас есть уже его оправдание... Да, эта поэма – апофеоз Петра Великого, самая смелая, самая грандиозная, какая могла только придти в голову поэту, вполне достойному быть певцом великого преобразователя России... Александр Македонский завидовал Ахиллу, имевшего Гомера своим певцом: в глазах, нас, русских, Петру некому завидовать в этом отношении... Пушкин не написал ни одной эпической поэмы, ни одной «Петриады», но его «Стансы», многие места в «Полтаве», «Пир Петра Великого» и, наконец, этот «Медный Всадник» образуют собою самую дивную, самую великую «Петриаду», какую только в состоянии создать гений великого национального поэта... И мерею трепета при чтении этой «Петриады» должно определяться, до какой степени в праве называться русским всякое русское сердце...».

Из «Медного Всадника» явилось в печати сначала «Вступление» (стихи 1–91) под заглавием «Петербург» в «Библиотеке для Чтения» 1834 г., т. VII. Поэма появилась в «Современнике» 1837 г., т. V, с пропусками и исправлениями Жуковского. Текст восстановлен затем Анненковым (VII т. «Сочинения Пушкина»), в «Библ. Зап.» 1861 г. и в «Русском Архиве» 1881 г., кн. III.

ПРИМЕЧАНИЯ

Стр. 110 примечание 1

В книге Берха «Подробное историческое известие о всех наводнениях, бывших в С.-Петербурге» наводнение 7 ноября 1824 года описано по Булгарину:

«День 6-го ноября, предшествовавший наводнению, был самый неприятный. Дождь и пронзительный холодный ветер с самого утра наполняли воздух сыростью. К вечеру ветер усилился, и вода значительно возвысилась в Неве. В 7 часов я уже видел на Адмиралтейской башне сигнальные фонари для предостережения жителей от наводнения. В ночь настала ужасная буря: сильные порывы юго-восточного ветра потрясали кровли и окна; стекла звучали от плесков крупных дождевых капель. Беспечные жители столицы спокойно почивали...не обращая внимания на буйство стихий. С рассветом мы увидели, что вода чрезвычайно возвысилась в каналах и сильно в них волновалась. Сначала появились на улицах только люди, вышедшие из домов своих за делами; но около 10 часов утра, при постепенной прибыли воды, толпы любопытных устремились на берега Невы, которая высоко воздымалась пенистыми волнами и с ужасным шумом и брызгами разбивала их о гранитные берега. Когда жители Адмиралтейской стороны еще не предвидели несчастья и с любопытством смотрели на сей грозный феномен природы, уже низменные места, лежавшие по берегам Финского залива и при устье Невы, были затоплены, и жители Галерной гавани, Канонерского острова, Гутуевского, деревень: Емельяновки, Тентелевой и казенного чугунного завода близ Екатерингофа терпели бедствие. Невозможно описать того

ужасного явления, которому были свидетелями люди, бывшие в сие время на берегу Финского залива и чудесно спасшиеся от гибели. Необозримое пространство вод казалось кипящею пучиною, над которою распростерт был туман от брызгов волн, гонимых против течения и разбиваемых ревущими вихрями. Белая пена клубилась над водяными громадами, которые, беспрестанно увеличиваясь, наконец яростно устремились на берег. Множество деревянных строений, подверженных первым ударам и сильному напору огромной массы воды, не могли противостоять, колеблясь в своем основании и с треском обрушались. Люди спасались, как могли, в уцелевших домах, на берегах, плавающих кровлях, воротах; некоторые лишились жизни при сем случае. Весь домашний скот и пожитки погибли. Вода беспрестанно прибывала, ветер усиливался и наконец возвышение воды в Финском заливе простерло бедствие на целый город. Нева, встретив препятствие в своем течении и не могши излиться в море, возросла в берегах своих, наполнила каналы и чрез подземные трубы хлынула в виде фонтанов на улицы. В одно мгновение вода полилась чрез края набережных из реки и всех каналов и наводнила улицы. Трудно представить себе смятение и ужас жителей при сем внезапном явлении. Погреба, подвалы и все нижние жилья тотчас наполнились водою. Каждый спасал, что мог, и выносился наверх, оставляя в добычу воде свое имущество. Некоторые слишком заботливые о спасении вещей и товаров, погибли в погребах. Между тем толпы народа, бывшего на улицах, бросились в дома, другие поспешили в свои жилища; но прибывшая вода принудила их спасаться, где кто мог. Кареты и дрожки, которые сперва разъезжали по воде, начали всплывать и спасаться на высоких мостах и по чужим дворам. В первом часу пополудни весь город (кроме Литейной, Каретной и Рождественской части) залит был водою, везде почти в рост человека, и в некоторых низких местах (как например, на перекрестке Большой Мещанской и Вознесенской улиц, у Каменного моста) более, нежели на полторы сажени. Вид с бельведера дома Котомина был ужасный и величественный. Разъяренные волны свирепствовали на Дворцовой площади, которая с Невой составляла одно огромное озеро, изливавшееся Невским проспектом, как широкою рекою, до самого Аничковского моста. Мойка скрылась от взоров и соединялась, подобно всем каналам, с водами, покрывавшими улицы, по которым неслись леса, бревна, дрова и мебель. Вскоре мертвое молчание водворилось на улицах. Около двух часов появился на Невском проспекте военный генерал-губернатор, граф М. А. Милорадович, на двенадцати-весельном катере для подания помощи и ободрения жителей. Несколько малых лодок проехало по Морской, и большой катер с несколькими людьми различного звания, спасшимися от гибели на берегу Невы, сперва приставал к нашему дому, а после того остановился возле дома Фосиковского. На другой день этот катер стоял на Морской улице на мели.

Но бедствия на Адмиралтейской стороне (кроме Коломны) не были столь ужасны, как в вышеупомянутых селениях на берегу Финского залива, в поперечных линиях Васильевского острова, близ Смоленского поля, на Петербургской стороне и вообще в местах низких, заселенных деревянными строениями. Там большая часть домов повреждена; иные смыты до основания; все заборы ниспровергнуты, и улицы загромождены были лесом, дровами и даже хижинами. На многих улицах, во всех низких частях города, лежали изломанные барки, и одно паровое судно огромной величины с завода Берда очутилось в Коломне, возле сада митрополита римских

церквей, Сестренцевича-Богуша. На Неве все плавучие мосты сорваны, исключая Самсоньевского и прелестного моста, соединяющего Каменный остров с Петербургскою стороною. Все чугунные и каменные мосты уцелели; но гранитная набережная Невы поколебалась, и многие камни, особенно на пристанях, сдвинуты с места или опрокинуты.

В третьем часу пополудни вода начала сбывать; в 7 часов уже стали ездить в экипажах по улицам и тротуары во многих местах сделались проходимыми. В ночь улицы совершенно очистились от воды, которая снова подчинилась своим законам течения, оставив плачевные следы своего кратковременного буйства».

Стр. 124 примечание 1

Г. Бартенев сообщает слышанное от современников наводнения предание, будто один из плавших по Петербургу гробов, гонимый сильною волною, прошиб оконную раму в нижнем этаже Зимнего дворца и внесен был в комнату самого Государя, который, как известно, в то время страдал рожею на ноге и жил внизу. Правда это или нет – не ручаемся; знаем только, что дворцовые кухни были залиты, и население дворца в этот день оставалось без обеда. Верно также и то, что сначала ужас, а потом тяжкое уныние овладели Александром Павловичем.

ПИКОВАЯ ДАМА

«Моя Пиковая дама – писал Пушкин в дневнике своем 7 апреля 1834 года – в большой моде. Игроки понтируют на тройку, семерку и туза. При дворе нашли сходство между старой графиней и княгиней Натальей Петровной¹ и, кажется, не сердятся».

По замечанию Анненкова (1855), повесть эта произвела при появлении своем всеобщий говор и пересчитывалась от пышных чертогов до скромных хижин с одинаковым наслаждением. Общий успех этого легкого и фантастического рассказа особенно объясняется тем, что в нем есть черты современных нравов, которые обозначены чрезвычайно тонко и ясно.

«Пиковая дама – заметил Белинский (1846) – собственно не повесть, а мастерской рассказ. В ней удивительно верно очерчена старая графиня, ее воспитанница, их отношения и сильный, но демонически-эгоистический характер Германа. Собственно, это не повесть, а анекдот: для повести, содержание «Пиковой дамы» слишком исключительно и случайно. Но рассказ, повторяем, верх мастерства».

Новая критика отдавала более справедливости этой повести. Аполлон Григорьев (1859) заметил характерный тон, которым она написана: «иронический, лихорадочный и вместе сухой». «Леденящий иронический тон – замечает тот же критик – слышен во всем том, в чем Пушкин касался так называемого большого света от Пиковой дамы до Египетских ночей и других отрывков, – между тем как никакой иронии не

¹ Княгиня Наталья Петровна Голицына, урожденная графиня Чернышева (17 янв. 1741–20 дек. 1837), прозванная *La princesse Moustache* (Усатой принцессой), вдова князя Владимира Борисовича.

слышно у него в изображениях старика Гринева и Кирилы Троекурова; ирония не приложима к жизни, хотя бы жизнь и была груба до зверства. Ирония есть нечто неполное, состояние духа несвободное, несколько зависимое, следствие душевного раздвоения, следствие такого состояния души, в котором и сознаешь ложь обстановки, и давит вместе с тем обстановка, как давит она Пушкинского Чарского. Едва ли бы наш великий учитель и окончил когда-нибудь эти многие отрывки, оставшиеся в его сочинениях. Настоящий тон его светлой души был не иронический, а душевный и искренний». Ап. Григорьев замечает черту общую у Сильвио (в повести „Выстрел“) и у Германа – „мрачную сосредоточенность“».

Пиковая Дама производит впечатление не только верностью в изображении бытовых деталей, но и превышает все другие прозаические повести Пушкина своим психологическим анализом. Германн в этом отношении представлял портрет совсем нового рода. При всей простоте и обыкновенности внешней жизни этого расчетливого инженера, читатель видит, как кипит в нем пожирающая его страсть, которую он подавляет всеми силами своего духа. Уже с первого появления его в рассказе читатель чувствует, что это лицо с надорванной душою, при общем взгляде на него отталкивающее своею отчужденностью и замкнутостью в себе, но при более внимательном взгляде — достойное сострадания. Это лицо обещает будущие психологические этюды новейшего романа, которые составляют силу Достоевского. Недаром так он любил и высоко ценил эту повесть.

«Пиковая дама» была впервые напечатана в «Библиотеке для Чтения» 1834 г. (т. II) и в том же году вошла в состав «Повестей, изданных Александром Пушкиным».

СЦЕНА ИЗ ФАУСТА

В этой «Новой сцене между Фаустом и Мефистофелем», как первоначально Пушкин назвал ее, мы имеем воспоминание о том образе Демона, который получил воплощение в лирическом стихотворении поэта и потом исчез из его фантазии, заслоненный живым образом русской действительности, захватившим его думу. Возвращение к духу отрицания было по побуждению извне: сцена эта была ответом на призыв юного Веневитинова¹ «К Пушкину»:

Известно мне: доступен гений
Для гласа искренних сердец.
К тебе, возвышенный певец,
Взываю с жаром песнопений.
Рассей на миг восторг святой,
Раздумье творческого духа
И снисходительного слуха
Младую Музу удостой.
Когда пророк свободы смелый,²
Тоской измученный поэт,

¹ Дмитрий Владимирович Веневитинов – поэт-романтик первой трети XIX века.

² Байрон.

Покинул мир осиротелый,
Оставя славы жаркий свет
И тень всемирные печали,
Хвалебным громом прозвучали
Твои стихи ему вослед.
Ты дань принес увядшей силе,
И славе на его могиле
Другое имя завещал.¹
Ты тише, слаще воспевал
У Муз похищенного галла.²
Волнуясь песнию твоей,
В груди восторженной моей
Душа рвалась и трепетала.
Но ты еще не доплатил
Каменам долга вдохновенья:
К хвалам оплаканных могил
Прибавь веселые хваленья.
Их ждет еще один певец:
Он наш – жилец того же света,
Давно блестит его венец;
Но славы громкого привета
Звучней, отрадней глас поэта.
Наставник наш, наставник твой,
Он кроется в стране мечтаний,
В своей Германии родной.
Досель хладеющие длани
По струнам бегают порой,
И перерывчатые звуки,
Как после горестной разлуки
Старинной дружбы милый глас,
К знакомым думам клонят нас.
Досель в нем сердце не остыло,
И верь, он с радостью живой
В приюте старости унылой
Еще услышит голос твой.
И, может быть, тобой плененный,
Последним жаром вдохновенный,
Отвечно лебедь запоем
И, к небу с песнию прощанья
Стремя торжественный полет,

¹ Наполеона.

² Имеется в виду французский поэт Андре Шенье, ставший жертвой революционного террора.

В восторге дивного мечтання
Тебя, о Пушкин, назовет.

Сцена Пушкина была ответом на этот призыв «порадовать слух старца Гёте». Пушкин, был знаком с первой частью его поэмы¹, и Мефистофель был сродни одному из его собственных поэтических видений, и вот в своем драматическом очерке он воспроизвел сатанинские сарказмы духа отрицания над прямым благом: «сочетанием двух душ».

Мефистофель и его отношение к Фаусту воспроизведены согласно образцу Гёте. Это тот Мефистофель, который (в «Прологе на небесах») просит у Господа власти над Фаустом, чтобы играть с ним, как «кошка с мышью». Это тот бес, который, по словам Фауста (Ч. I, Кабинет Фауста), не будучи в силах разрушать великое, начал разрушать по мелочам.

Оставив в стороне всякое иное значение Мефистофеля, Пушкин именно воспроизвел одно из этих его разрушений «по мелочам». Он является у Пушкина в той роли, которая выражена у Гёте так:

Буду усердно тебе я служить,
Верным тебе я спутником стану
И ни на шаг от тебя не отстану,
Весь и повсюду помощник я твой,
Стану рабом и покорным слугой.
Я буду здесь тебе во всем повиноваться,
Твоим желаниям без отдыха служить;
Когда ж нам там придется повстречаться,
Ты должен тем же мне, конечно, заплатить.

Мефистофель не постигает той жажды счастья, какую старается начертать ему Фауст Гёте; он обещает ему радости, упоения – и на слова Фауста, что он ищет не радостей, а жаждет пережить всю глубину жизни людей, с ее страданиями

Душою в душу их до глубины проникнуть
И с ними наконец в ничтожество поникнуть...

Мефистофель возражает:

Старался разжевать я смысл борьбы земной
Немало тысяч лет. Поверь ты мне, мой милый,
Никто еще с пеленок до могилы
Не переваривал закваски вековой.
Что наша вера? все созданья
Для Бога лишь сотворены:
Себе он выбрал вечное сиянье,

¹ 2-я часть «Фауста» Гёте вышла в 1831 г. Первую часть Пушкин читал, вероятно, во французском переводе, как знакомился и с Шиллером (см. письмо к брату Льву 22 апр. 1825 г.).

Приложение

Мы в вечный мрак перстом Его погружены;
А вы – то день, то ночь испытывать должны...

и на повелительное:

– Но я хочу!

отвечает:

Стань на ходули, но в душе своей
Ты будешь все таким, каков на самом деле.

Когда чарами старый доктор Фауст обращен в юношу, и в нем зажглась любовь к Гретхен, Мефистофель издевается над этою любовью Фауста:

Ужель ни разу не давали
Свидетельств ложных в жизни вы своей?..

.....

Не завтра ли, душа святая,
Бедняжку Гретхен надувая,
В любви божиться станешь ты?

Фауст.

И от души!

Мефистофель.

Ну да, конечно,
И в вечной верности, и в вечной
Любви, и в страсти бесконечной.
И все от сердца полноты?

Фауст.

Пусть так! Когда я весь пылаю
И страсти пламенной моей
Напрасно имя подбираю,
Весь мир стремленьем обнимаю
И речи в пламя облекаю,
И жар, которым я сгораю,
Я вечным, вечным называю –
Ужели и тогда солгу я перед ней?

Мефистофель.

А все-таки я прав! (Ч. I. Улица).

Вот те черты Мефистофеля, которые воспроизведены в «Новой сцене между Мефистофелем и Фаустом». Потеряв свою Гретхен (чем оканчивается 1-я часть поэмы Гёте), Фауст выслушивает неожиданную проповедь Мефистофеля, который внушает

ему о необходимости скуки. Ничего подобного не говорил Мефистофель у Гёте. Там он, напротив, обещал Фаусту радости:

Запрета нет тебе: ты знай.
Везде, коли придет охота
Тебе что выхватить с налёта,
Так ты во здравие вкушай;
Хватай, отбрось застенчивость... (Ч. I, Кабинет Фуста).

и на первое требование Фауста:

Повесели без дальних слов –

спешит к своему делу. Но Мефистофель Пушкина не есть повторение Мефистофеля Гёте, а его продолжение. Он не был бы последователен сам себе, если бы ответил иначе жалобе Фауста на скуку.

Ты в жизни взял возможну дань,
А был ли счастлив?

спрашивает он, и Мефистофель у Пушкина прав в своем сомнении, потому что имеет дело не с Фаустом Гёте, который поражал его желаниями, ему непостижимыми. Фауст Пушкина – Фауст лишь по имени. Это – не человек борьбы, которому суждено в конце концов восторжествовать над духом отрицания; это – мышь, созданная для игрушек кошки. Он заимствовал из Гётевского Фауста лишь недовольство жизнью:

Встаю я утром, полн страданья
О том, что долгий день пройдет
И мне не даст, я знаю наперед,
Ни одного исполнить пожеланья.
Мгновенье радости почую ли душой, –
Вмиг жизни критика его мне разрушает
И образы, лелеянные мной,
Гримасою ужасной искажает.

Но Фауст Пушкина не носит в груди того бога, которого чувствуете в себе Фауст Гёте, когда говорит:

Тот бог, который жив в груди моей,
Всю глубину души моей волнует:
Он правит силами, таящимися в ней,
Но силам выхода наружу не дарует.

Ему непонятен и тот Микрокосм, дух земли, который вдохновляет Фауста Гёте «сносить и горе и радости земные» и вырывает у него восклицание:

Как будто бы вином живительным согрет,
Отважно ринусь я в обширный Божий свет:
Мне хочется борьбы, хочу я с бурей биться – (Ч. I, сцена 1-я).

О Фаусте Пушкина не скажете Господь:

Знай: человек во тьме идет порою,
Но истину в душе предвидит он (Пролог на небесах)

и он не одарен тем двойственным духом, который мучит Фауста Гёте:

Ах, две души живут в больной груди моей,
Друг другу чуждые, – и жаждут разделенья!
Из них одной мила земля –
И здесь ей любо, в этом мире,
Другой – небесные поля,
Где духи носятся в эфире (Ч. I. За городскими воротами).

Фауст Пушкина всецело во власти своего Мефистофеля и заражен до самого сердца его скептицизмом. Обладая лишь одной из тех двух душ, которые чувствовал в себе Фауст Гёте, этот Фауст – ничтожный человек. О нем Мефистофель не мог бы сказать того, что он говорить о Фаусте Гёте:

Ему душа дана судьбою,
Вперед летящая и чуждая оков;
В своем стремленье пылкою душою
Земные радости он презирать готов (Ч. I. Кабинет Фауста).

Со своим ничтожным запасом сил Фауст Пушкина перенял однако же повелительный тон Фауста Гёте, который привык иметь беса на послышках:

Будь бес, как бес – не размазня
Чтоб был подарок у меня (Ч. I. Гулянье).

Но у Фауста Пушкина этот повелительный тон звучит простым капризом.

Фауст Гёте, взволнованный любовью, удаляясь в уединение леса, тяготится своим холодным спутником, который «обращаете в ничто, смеясь, все дары», полученные им. Он высказывает этому спутнику, что он нагоняет на него тоску, но тот напоминает ему, что без него он страдал же «болезненной тоской воображенья»:

Взгляни, ты и теперь томишься,
Не нынче-завтра возвратишься
К мечтам и страху своему.

.....

Любовь твоя сперва стремилась,
Подобно снегу с выси гор,
В бедняжку Гретхен перелилась –
И вдруг иссякла!

– О будь ты проклят (воскликнул Фауст),
Сгинь, молю тебя я!
Не называй ее ты имени мне вновь.
И не буди во мне безумную любовь,
Меня восторгом чувственным прельщая!

Он проклинает искусителя и терзается тем, что
Ее и всю души отраду
Он погубил и отдал в жертву аду (Ч. I. Овраг в лесу).

Не таков Фауст Пушкина. Он достиг своего счастья

Там, там — где тень, где шум древесный,
Где сладко-звонкие струи,
Там, на груди ее прелестной...

Но стоило только Мефистофелю развернуть перед его глазами ту скуку пресыщения, которая осталась одна у него после первых мгновений обладания... — и, в душе согласный с ним, Фауст Пушкина не умеет возразить ему; он в гневе гонит его от себя, но не потому, почему гнал от себя Мефистофеля Фауст Гёте, а потому, что видит, что Мефистофель слишком прав и хорошо понимает его. Он не умеет сорвать свою злобу иначе, как капризным и бессмысленным приказанием утопить испанский корабль.

Такова игрушка Мефистофеля, в своей душевной скудости снедаемая только скукою.

Кого же изобразил Пушкин под именем Фауста в своем загадочном отрывке?

В Фаусте Пушкин довел до конца тот образ слабого духом среднего человека, который, как кошмар, угнетал его поэтическую фантазию в ту пору, когда он писал в другом произведении о своем Фаусте:

Привычкой жизни избалован,
Одним на время очарован,
Разочарованный другим,
Желаньем медленными томим,
Томим и ветреным успехом,
Внимая в шуме и тиши
Роптанье вечное души,
Зевоту подавляя смехом:
Вот как убил он восемь лет,
Утратя жизни лучший цвет (Евгений Онегин IV, 9. 1824).

Как бы наставленный Мефистофелем на доверчивое признание Татьяны, которым был он живо тронут, явившись к ней, он обнажил свою душу:

Но я не создан для блаженства;
Ему чужда душа моя;
Напрасны ваши совершенства
.....
Я, сколько ни любил бы вас,
Привыкнув, разлюблю тотчас;
Начнете плакать: ваши слезы
Не тронут сердца моего,
А будут лишь бесить его (там же. 14).

Итак, «Сцену из Фауста» надо отнести к тем созданиям фантазии Пушкина, которые носились перед нею после увлечения гордыми героями Байрона, раздираемыми

вечно неудовлетворяемыми запросами души, когда поэт перенес свой взор на действительность и заглянул в душу людей, его окружающих.

«Сцена из Фауста» явилась сатирой на байронизм тех людей, у которых

Царствует в душе какой-то холод тайный,
Когда огонь кипит в крови.

«Сцена из Фауста» не сохранилась в рукописях. Напечатана она была в «Московском Вестнике» 1828 г. (№ 9), под заглавием «Новая сцена между Фаустом и Мефистофелем»; в издании 1829 г. Пушкин дал ей заглавие «Сцена из Фауста» и отметил ее 1825 годом.

Сцена Пушкина не могла иметь претензии соперничать с «Фаустом» Гёте, и потому слова Фарнхагена фон Энзе¹, сказанные им по поводу «Сцены» Пушкина, что «он мог бы с успехом продолжать этот труд Гёте», должны быть признаны не более, как за любезность, а поклону, присланному по преданию от Гёте Пушкину, и перу, которое многие видели в кабинете Пушкина в богатом футляре с надписью: «пода-рок Гёте» нет основания приписывать иного значения, как признания вообще заслуг первого русского поэта.

Наша критика, касаясь этого произведения, не останавливалась на его анализе. По словам Н. Полевого (1833) в «Отрывке из Фауста» раскрыта темная сторона, тайна, которую с ужасом прочитает в сердце своем каждый (?) человек»; по отзыву Белинского (1841) тоже в этой сцене изображен герой века «рефлексии» и «многие из людей нашего времени могут применить к себе эту сцену». «Ужасно! – прибавляет Белинский – но люди нашего времени так же или еще больше полны жаждою желаний, сокрушительною тоской порываний и стремлений. Это только болезненный кризис, за которым должно последовать здоровое состояние, лучше и выше прежнего. Та же рефлексия, то же размышление, которое теперь отравляет полноту всякой нашей радости, должно быть впоследствии источником высшего, чем когда-либо блаженства, высшей полноты жизни». В другом месте Белинский (1846) замечает: «Это не перевод какого-нибудь отрывка из знаменитой драматической поэмы Гёте, но вариация, разыгранная на ее тему. Многим эта сцена так понравилась, что они, не зная Гётева „Фауста“, порешили, будто она лучше его. Действительно, эта сцена написана удивительно легкими и бойкими стихами, но между ей и Гётевым „Фаустом“ нет ничего общего. Она – не что иное, как развитие и распространение мысли, выраженной Пушкиным в его стихотворении: „Демон“». Затем, Белинский применяет к Мефистофелю Пушкина свое мнение о его «Демоне», называя и того и другого «довольно мелким демоном»; затем, выписывая стихи из детской сказки Лермонтова:

Их ум, бывало, возмущал
Могучий образ; меж иных видений,
Как царь, немой и гордый, он сиял
Такой волшебной-сладкой красотою,
Что было страшно...

¹ Фарнхаген фон Энзе – немецкий писатель и литературный критик XIX века, автор многих биографий своих соотечественников.

произвольно утверждает, что «это уже демон совсем другого» рода»... Он не говорит, что истина, красота, благо – призраки, порожденные большим воображением человека, но говорит, что иногда не все то истина, красота и благо, что считают за истину, красоту и благо. Так характеризуется лермонтовский демон «Сказки для детей», несмотря на то, что этот немой демон у Лермонтова не говорит ничего.

Вот все, что заметила критика о Мефистофеле Пушкина. Еще менее было высказано о Фаусте. Белинский охарактеризовал его так: «Фауста Пушкина – не измученный неудовлетворенною жаждою знания человек, а какой-то пресытившийся гуляка, которому уже ничего в горло нейдет, *un homme blasé*¹ – что близко к истине».

П. В. Анненков (1855) о «Сцене из Фауста» заметил лишь, что «Пушкин в превосходной сцене, созданной в это же время (т.-е. когда Веневитинов написал ему свое послание), изменил отчасти образы германского поэта, но с замечательной силой, энергией поэзии».

Вот все, что заметила критика об этом отрывке. Сам Пушкин нигде не высказывался о нем.

Следует еще прибавить, что Пушкин высоко ценил «Фауста» Гёте. В 1835 году он узнал случайно о том, что молодой поэт Губер² перевел «Фауста», но, не получивши дозволения на издание его, разорвал рукопись. Пушкин разведал о квартире Губера и тотчас же отправился к нему и, не застав дома, оставил карточку. С изумлением нашел ее Губер, воротившись домой, и поспешил к великому поэту. Пушкин настаивал, чтобы Губер вторично принялся за перевод, помогал ему советами, исправлял многие места, и условился, что не иначе будет принимать к себе Губера, как если он каждый раз будет приносить с собой по отрывку из «Фауста». И Губер решился на новый, громадный труд перевода, несмотря на то, что над первым переводом он трудился почти пять лет.

СКУПОЙ РЫЦАРЬ

В чистовой рукописи пьеса эта была озаглавлена «Скупой» и имела эпиграф из Державина, зачеркнутый Пушкиным:

«Престань и ты жить в погребях,
Как кроет в ущелиях подземных».

Затем Пушкин приписал пьесу вымышленному английскому поэту Ченстону и заглавие мнимой пьесы его переделывал: сначала он написал одно английское заглавие ее без имени Ченстона, потом зачеркнул в нем слово *careteous*, затем восстановил это слово и прибавил имя Ченстона, а самую пьесу назвал окончательно «Скупым рыцарем», и с таким заглавием сам напечатал ее в 1-й книге своего «Современника», скрыв имя свое и подписав: Р.

«Все справки наши – замечает Анненков о Ченстоне – для отыскания этого источника остались безуспешны. В списке предшественников и современников Шекспира

¹ *un homme blasé* (фр.) – пресыщенный, отвернувшийся от всего.

² Эдуард Иванович Губер стал первым переводчиком «Фауста» Гёте на русский язык; критики неоднозначно относились к этому переводу.

на драматическом поприще, обыкновенно прилагаемом к полным изданиям творений его, в числе 39 имен не находится ни имени Ченстона, ни трагедии, ему приписываемой Пушкиным. В конце XVII столетия, после перерыва, произведенного реформацией, являются опять в Англии трагики Шекспировой школы, но между именами Драйдена, Роу, Конгрева, Отвая etc.¹ напрасно стали бы мы искать имени и трагедии Ченстона. С Аддисона² наступает подражание французским классикам, и об этом периоде английской словесности говорить нечего. Точно такое молчание в отношении Ченстона сохраняют и все диксионеры.³ В английской литературе есть имя похожее – Шенстон (Schenstone), автор довольно приторных идиллий, живший в прошлом столетии...». Сам Пушкин в бумагах своих никогда не обозначает драму свою как перевод, между тем как «Пир во время чумы» он постоянно называет по-английски в сокращенном виде *The Plague*... Немаловажно и то, что Пушкин сочинял, придумывал название Ченстоновой трагедии... Это, разумеется, не могло бы случиться, если бы нужно было только списать просто заглавие подлинника... Такого рода проба заглавия указывает на придумывание источника уже после создания, особенно когда вспомним, что рукопись, помеченная числом: «23 октября, 1830, Болдино», есть последняя перебеленная рукопись, с которой драма уже печаталась в журнале. Причину, понудившую Пушкина отстранить от себя честь первой идеи, должно искать, как мы слышали, в боязни «применений и неосновательных толков». Затем Анненков указывает на мистификацию Пушкина в «Рославлев», выданном за перевод с французского, в стихотворении «Цыганы» («Над лесистыми берегами»...), выданном за перевод с английского, в стихе: «Не дорого ценю я громкие права», выданном сначала за перевод из А. де Мюссе⁴, а потом из Пиндемонта⁵. «Для окончательного объяснения дела – прибавляет Анненков – мы сносились посредством одного из наших знакомых с издателями «*Athaeaeum*»⁶ в Англии, прося у них сведений о загадочном Ченстоне. Ответ был таков вкратце – Ваш великий поэт подшутил над своей публикой, сославшись на небывалого в Англии писателя».

Итак, пьеса эта – оригинальное воспроизведение Пушкиными семейной драмы из рыцарских времени. Замечательно в ней то, что сам замысел построить драматическое столкновение между отцом и сыном на требовании последним содержания от первого вытекает из самого средневекового быта, который воспроизведен в трагедии: для молодого рыцаря обладать приличными средствами было действительно вопросом жизни: без этих средств терялся смысл его существования, посвященного турнирам, на которые он обязан был являться по требованию герцога. С другой стороны, назначить сыну приличное содержание было таким же роковым делом для скупца, как неимение средств для юного Альбера. Трудно придумать коллизию более

¹ Джон Драйден, Николас Роу, Уильям Конгрив, Томас Отуэй – видные английские литераторы XVII–XVIII вв.

² Джозеф Аддисон – политик и поэт, стоявший у истоков английского Просвещения.

³ Диксионер (от фр. *dictionnaire*) – словарь.

⁴ Альфред де Мюссе – французский поэт, драматург и прозаик XIX века.

⁵ Инполито Пиндемонта – итальянский поэт конца XVIII – начала XIX в.

⁶ *Athaeaeum* – британский литературный журнал, издававшийся с 1828 по 1921 г.

характерную и естественно вытекающую из самых житейских отношений того быта, который изображен в пьесе. Что неизбежное столкновение противопоставило друг другу именно отца с сыном – еще более усиливает драматическую коллизию, благополучный выход из которой был невозможен, несмотря на то, что безупречный в нравственном отношении сын искал законного ее разрешения. Вторая сцена пьесы, где колоссальные запросы бароновой страсти выходят за пределы законов самой природы, когда он высказывает желание сторожевою тенью из могилы приходить для охраны своих богатств, – уже обещает катастрофу, которая и разражается над несчастным стариком в сцене III. Смерть барона оказывается неизбежной, когда истощенный и физически, и нравственно своей жизнью, он вызван к давно покинутому им двору и слышит укор герцога, отказать которому считаете себя не в праве, и ищет исхода во лжи, но вызывает оскорбление со стороны оклеветанного сына: столкновение, столь принужденно вытекшее из характеров и взаимных отношений действующих лиц, должно убить его: в нем был уязвлен и отец, и рыцарь, и верноподданный, и скупец.

Что могло навести Пушкина на первую мысль о таком сюжете? То личное чувство нужды в деньгах, почти ребяческое недовольство, выражавшееся в его письмах, где он упрекал своего отца в недостаточном содержании, которое получал от него, не могло бы еще дать материала для создания трагического положения. Но, перенесенное силою фантазии в сферу средневековых отношений, оно могло послужить к созданию этого благодарного сюжета. Перенести действие в эту сферу несомненно помог ему Вальтер Скотт. «В одном из романов Вальтер Скотта – замечает А. Д. Галахов¹ – выведено лицо, взгляд которого на скопление денег сходен со взглядом барона. Этот скупец также время от времени посещал место, где хранились его сокровища, и любовался ими. Он не тупой скопидом, который в золотых монетах дивится только их блеску. Его привлекает власть, которую они дают их владельцу. Есть ли что-нибудь, чего бы магическая сила золота не отдала в ваше распоряжение? Безобразны вы, уродливы, дряхлы: вот приманка, на которую пойдет самая гордая красота. Слабы вы, беспомощны, терпите притеснения: вот это и вооружит за вас защитников, более могучих, чем те, которых вы страшитесь. Хотите ли выказать весь блеск изобилия? В этом сундуке много плодоносных холмов и лугов, много лесов, наполненных дичью, тысячи вассалов. Желаете ли, чтобы папа простил вам старые преступления и дал индульгенцию на преступления новые? Все получите за золото. Само мщение, которое, говорят, боги предоставляют самим себе, легко купить золотом. Таковы были мысли скупца, когда к накопленной массе прибавил он вновь полученное им золото. Затем он тщательно запер ключом денежный сундук и вышел из дому. По дороге он раскланивался со знакомыми, а сам думал в глубине сердца – презренные, если бы вы знали, что этот ключ может явить вашему взору, никакая буря не помешала бы вам стоять передо мною с открытой головой». Нельзя не видеть, что это место романа Вальтер Скотта дало не одну мысль для монолога II-й сцены в «Скупом рыцаре» Пушкина, и даже несколько выражений. Но как художественно воспользовался ими Пушкин в этом монологе!

«Страсть скупости – замечает Белинский (1846) – идея не новая, но гений умеет и старое сделать новым. Идеал скупца один, но типы его бесконечно различны.

¹ Алексей Дмитриевич Галахов – историк русской литературы XIX в.

Плюшкин Гоголя гадок, отвратителен – это лицо комическое; Барон Пушкина ужасен – это лицо трагическое. Они страшно истинны. Это не то, что скупой Мольера – риторическое олицетворение скупости, карикатура, памфлет. Нет, это лица страшно истинные, заставляющие содрогаться за человеческую природу. Оба они пожираемы одною гнусною страстью, и все-таки нисколько один на другого не похожи, потому что и тот, и другой – не аллегорическое олицетворение выражаемой ими идеи, но живые лица, в которых общий порок выразился индивидуально, лично. Мы сказали, что скупой Пушкина – лицо трагическое. Альберт говорит жиду: «Когда мне будет пятьдесят лет, на что мне тогда и деньги?».

Ж и д .

Деньги? – деньги
 Всегда, во всякий возраст нам пригодны;
 Но юноша в них ищет слуг проворных
 И не жалея шлет туда, сюда.
 Старик же видит в них друзей надежных
 И бережет их как зеницу ока.

А л ь б е р .

О! мой отец не слуг и не друзей
 В них видит, а господ; и сам им служит.
 И как же служит? как алжирский раб,
 Как пес цепной. В нетопленной конуре
 Живет, пьет воду, ест сухие корки,
 Всю ночь не спит, все бегает да лает.

В этом портрете мы видим лицо чисто комическое; но сойдем в подвал, где этот скряга любит своею золотом, и пусть поэт багровым заревом своего поэтического факела осветит нам мрачные бездны сердца своего героя: мы содрогнемся от трагического величия гнусной страсти скупости; мы увидим, что она естественна, что у ней есть своя логика. Любуясь своим золотом, старый барон восклицает:

Что не подвластно мне? как некий демон
 Отселе править миром я могу;
 Лишь захочу – воздвигнутся чертоги;
 В великолепные мои сады
 Сбегутся нимфы резвою толпою;
 И музы дань свою мне принесут,
 И вольный гений мне поработится,
 И добродетель и бессонный труд
 Смирненно будут ждать моей награды.
 Я свистну, и ко мне послушно, робко
 Вползет окровавленное злодейство,
 И руку будет мне лизать, и в очи
 Смотреть, в них знак мой читая воли.

Мне все послушно, я же – ничему;
Я выше всех желаний; я спокоен;
Я знаю мощь мою: с меня довольно
Сего сознания.

Ужасно, потому что истинно! Да, в словах этого отверженца человечества, к несчастью, все истинно, кроме того, что не в его воле пожелать многое из того, что мог бы он выполнить. В этом и заключается наказание за порок скупости. Скупец раскрывает все свои сундуки и зажигает (ужасное мотовство!) по свече перед каждым из них. Это его сладострастие, его оргия! При виде освещенных груд золота он приходит в сатанинский восторг, и в патетической речи обнажает перед нами страшные тайны страшной из человеческих страстей. Золото – кумир этого человека, он исполнен к нему поэтического чувства, говорит о нем языком благоговения, служит ему, как преданный, усердный жрец! Расточить его наследство, по его мнению, значит разбить священные сосуды, напоить грязь царским елеем... Он смотрит еще на золото, как молодой, пылкий человек на женщину, которую он страстно любит, обладание которой он купил ценою страшного преступления и которая тем дороже ему. Он хотел бы спрятать ее от «недостойных взоров», его ужасает мысль, что она может принадлежать кому-нибудь после его смерти.

По выдержанности характеров (скряги, его сына, герцога, жида), по мастерскому расположению, по страшной силе пафоса, по удивительными стихами, по полноте и законченности – словом, по всему, эта драма – огромное, великое произведение, вполне достойное гения самого Шекспира».

МОЦАРТ И САЛЬЕРИ

Написав мастерский драматический этюд, воспроизводящий живой образ скупости в «Скупом Рыцаре», Пушкин обратился к другому, где воспроизвел не менее художественно образ зависти. Пьеса в рукописи и была сначала озаглавлена: «Зависть».

Клочок бумажки, оторванный от частной записки, сохранил несколько слов Пушкина, касающихся этих сцен. «Любопытно видеть – замечает Анненков – на каком незначительном основании создан был этот превосходный драматический отрывок. «В первое представление Дон Жуана – пишет Пушкин – в то время, когда весь театр безмолвно упивался гармонией Моцарта, раздался свист; все обратилось с изумлением и негодованием, а знаменитый Сальери вышел из залы в бешенстве, снедаемый завистью. – Сальери умер лет 8 тому назад. Некоторые немецкие журналы говорили, что на одре смерти признался он будто бы в ужасном преступлении, в отравлении великого Моцарта. – Завистник, который мог освистать Дон Жуана, мог отравить его творца».

Слова эти, – продолжает Анненков – может быть, начертаны в виде возражения тем из друзей его, которые беспокоились насчет поклепа, взведенного на Сальери в новой пьесе. (К числу их принадлежал, например, П. А. Катенин. В одной записке своей он смотрит на драму Пушкина с чисто юридической стороны. Она производила на него точно такое же впечатление, какое производит красноречивый и искусный адвокат, поддерживающий несправедливое обвинение). Только этим

обстоятельством можно объяснить резкий приговор Пушкина о Сальери... Вероятно, к спору, тогда возникшему, должно относиться и шуточное замечание Пушкина: «Зависть – сестра соревнования – стало быть, из хорошего роду»... Скажем, что если со стороны Пушкина было какое-либо преступление перед Сальери, то преступления такого рода совершаются беспрестанно и самыми великими драматическими писателями. Так Елизавету Английскую сделали типом женской ревности, и преимущественно одной этой страстью объяснили гибель Марии Стюарт, едва упоминая о всех других поводах к тому. Если тут есть порок, то он уже скрывается в сущности исторической драмы вообще, которая, взяв лицо из истории или из действительной жизни, принуждена заниматься развитием только одной основной черты его характера и пренебречь всем прочим». Анненков полагает, что, чувствуя это, Пушкин колебался в выборе заглавия и назвал эту пьесу «Зависть», словно желая отстранить или ослабить историческую проверку лиц, в ней действующих, и что, поняв бесполезность уловки, он дал уже ей настоящее ее заглавие «Моцарт и Сальери».

Конечно, Пушкин не имел мысли писать историческую драму, задумывая своего «Моцарта и Сальери». Эта пьеса, как и «Скупой рыцарь» – есть драма этическая. Предание, хотя бы и ложное, о зависти знаменитого композитора к гениальному музыканту, должно было представить превосходный трагический сюжет, который и был взят Пушкиным в то время, когда он был расположен к воспроизведению человеческих страстей в драматической форме. К тому же роду принадлежите и третья драма, написанная в это время – «Каменный Гость», и переводный отрывок из драмы Вильсона, да и «Русалка», к которой возвратился Пушкин в то же время.

Антонио Сальери (1750-1825) – итальянский композитор, родившийся в Легнано, был учеником старшего своего брата Франческо и органиста Симона и игре на скрипке, на фортепьяно и в пении. 15-ти лет приехал он в Венецию, где его обучали капельмейстер Песчетти и певец Пачини. Венский придворный капельмейстер Гассман привез его в Вену. Здесь с успехом была представлена в 1770 г. первая опера Сальери (*Le donne letterate*¹); за нею по 1774 год следовали другие 8 опер, которые так утвердили его славу, что он занял место капельмейстера итальянской оперы после умершего в 1774 г. учителя своего Гассмана. Образцом его был Глюк, который передал ему композицию привезенного из Парижа либретто «Данаид». В 1784 г. опера эта была представлена в Париже с большими успехом. После 13-го представления явилось в парижском журнале письмо Глюка, который объявил Сальери единственным композитором «Данаид». По возвращении из Парижа Сальери поставил в Вене еще несколько опер – в том числе *La grotta di Trofonio*², конкурируя с Моцартовским «Фигаро». В 1786 г. Сальери поехал вновь в Париж, где, между прочим, поставил в 1787 году оперу *Tarare*³ на текст Бомарше с большим успехом. Эту же оперу в следующем году переработал он для итальянской сцены под заглавием «Аксур, царь Ормузский»; она имела успех и в Германии. Заняв затем и место придворного капельмейстера, Сальери оставил оперу в 1790 году. Написав до 1804 г. еще несколько итальянских опер, он отдался всецело камерной и церковной музыке, и умер 7 мая 1825 г.

¹ *Образованные женщины. (ит.)*

² *Пещера Трифония. (ит.)*

³ *Тарар. (фр.)*

Вольфганг Амадей Моцарт (1756-1791), гениальный современник Сальери, на 6 лет моложе его, сын зальцбургского вице-капельмейстера, уже 6-ти лет вызвал всеобщее удивление, когда в 1762–1766 годах, в сопровождении отца своего и сестры, объехал Мюнхен, Вену, Франкфурт и Англию, давая концерты на фортепьяно и скрипке. После вторичной поездки в Италию и Париж, он в 1778 г. поселился в Зальцбурге, а с 1781 г. в Вене, где давал концерты и преподавал музыку; женился здесь в 1782 г. на певице Констанции Вебер, в 1787 г. получил звание камерного компониста¹ и умер 5 декабря 1791 г., на 36-м году жизни. По общему признанию Моцарт принадлежал к числу немногих композиторов, превосходящих всех как свежестью и красотой мелодий, так и силою музыкальной характеристики и искусством в контрапункте. Из его опер наиболее известны: «Фигаро» (1786), «Дон Жуан» (1787), «Волшебная флейта» (1791). Не менее славны его «Реквием» (1791) и симфонии, концерты для фортепьяно, квинтеты и квартеты, обедни, «Ave verum» и многие песни. Из его двух сыновей младший (также Вольфганг Амадей) долго был музыкальным директором во Львове (скончался в 1844 г.).

Темный слух о соперничестве этих двух современных музыкантов был порожден тою лёгкостью успеха, который достался в удел младшему, но и гениальнейшему из них. Пушкин воспользовался им, сопоставив трудолюбивый талант с гением: для первого типом избрал он Сальери, для второго – Моцарта.

Пьеса Пушкина вызвала всеобщие похвалы критики. Н. Полевой (1833) писал: «В Моцарте и Сальери такая же ужасающая истина, как и в отрывке из Фауста. Вспомните только сии слова Сальери:

Где ж правота, когда священный дар,
Когда бессмертный гений – не в награду
Любви горящей, самоотверженья,
Трудов, усердия, молений послан –
А озаряет голову безумца,
Гуляки праздного?.. О Моцарт, Моцарт!

и это отчаяние, эту логику бешенства страсти (т.е. софистику ее), это ограниченное негодование дарования, бессильного перед гением:

Что пользы, если Моцарт будет жив
И новой высоты еще достигнет?
Подымет ли он тем искусство? Нет;
Оно падет опять, как он исчезнет:
Наследника нам не оставит он.
Что пользы в нем? Как некий херувим,
Он несколько занес нам песен райских,
Чтоб, возмутив бескрылое желанье
В нас, чадах праха, после улететь!
Так улетай же! чем скорей, тем лучше.

¹ *Компонист (устар.) – композитор.*

Подробный разбор красот и самих выражений должно предоставить эстетическому чувству; довольно упомянуть о великом и прекрасном».

Белинский (1846) писал об этой пьесе: «Моцарт и Сальери – целая трагедия, глубокая, великая, озаменованная печатью мощного гения, хотя и небольшая по объему. Ее идея – вопрос о сущности и взаимных отношениях таланта и гения. Есть организации несчастные, недоконченные, одаренные сильными талантом, пожираемые сильною страстью к искусству и к славе. Любя искусство для искусства, они приносят ему в жертву всю жизнь, все радости, все надежды свои; с невероятным самоотвержением предаются его изучению, готовы пойти в рабство, закабалить себя на несколько лет какому-нибудь художнику, лишь бы он открыл тайны своего искусства. Если такой человек положительно бездарен и ограничен, из него выходит самодовольный Тредьяковский¹, который и живет и умирает с убеждением, что он – великий гений. Но если это человек действительно с талантом, а главное – с замечательным умом, со способностью глубоко чувствовать, понимать и ценить искусство – из него выходит Сальери. Для выражения своей идеи, Пушкин удачно выбрал эти два типа. Из Сальери, как мало известного лица, он мог сделать что ему угодно; но в лице Моцарта он исторически удачно выбрал беспечного художника, «гуляку праздного». У Сальери своя логика (т.е. софистика); на его стороне своего рода справедливость, парадоксальная в отношении к истине, но для него самого оправдываемая жгучими страданиями его страсти к искусству, невознагражденной славой. Из всех болезненных стремлений, страстей, странностей, самые ужасные те, с которыми рождается человек, которые как проклятие, получил он при рождении вместе со своею кровью, своими нервами, своим мозгом. Такой человек – всегда лицо трагическое; он может быть отворотителен, ужасен, но не смешон. Его страсть – род помешательства при здоровом состоянии рассудка. Сальери так умен, так любит музыку и так понимает ее, что сейчас понял, что Моцарт – гений, и что он, Сальери, ничто перед ним. Сальери был горд, благороден и никому не завидовал. Приобретенная им слава была счастьем его жизни; он ничего больше не требовал у судьбы, – и вдруг, видит он «безумца, гуляку праздного», на челе которого горит помазание свыше...

О небо!

Где ж правота, когда священный дар,
Когда бессмертный гений – не в награду
Любви горящей, самоотверженья,
Трудов, усердия, молений послан –
А озаряете голову безумца,
Гуляки праздного?.. О Моцарт, Моцарт!

Моцарт является со всею простотой, веселостью, шутливостью, с возможным отсутствием всех претензий, как гений, по своему простодушию не подозревающий собственного величия, или не видящий в нем ничего особенного. Он приводит с собой к Сальери слепого скрипача нищего и велит ему сыграть что-нибудь из Моцарта.

¹ Василия Кирилловича Тредиаковского долго считали посредственным поэтом; лишь в начале ХХI века его литературное наследие было оценено по достоинству.

Сальери в бешенстве от этой профанации высокого искусства; Моцарт хохочет, как шаловливый ребенок, потом играет для Сальери фантазию, набросанную им на бумагу в бессонную ночь, и Сальери восклицает в ревнивом восторге:

Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь;
Я знаю, я...

Моцарт отвечает ему наивно:

Ба! право? может быть...
Но божество мое проголодалось.

Заметьте: Моцарт не только не отвергает подносимого ему другими титула гения, но и сам называет себя гением, вместе с тем называя гением и Сальери. В этом видны удивительное добродушие и беспечность: для Моцарта словно «гений» ни по чем: скажите ему, что он гений, он преважно согласится с этим; начинайте доказывать ему, что он вовсе не гений, – он согласится и с этим, и в обоих случаях равно искренно. В лице Моцарта Пушкин представил тип непосредственной гениальности, которая проявляет себя без усилия, без расчета на успех, нисколько не подозревая своего величия. Нельзя сказать, чтоб все гении были таковы; но такие особенно невыносимы для талантов вроде Сальери. Как ум, как сознание, Сальери гораздо выше Моцарта; но как сила, как непосредственная творческая сила, он ничто перед ним... И потому, сама простота Моцарта, его неспособность ценить самого себя, еще больше раздражают Сальери. Он не тому завидует, что Моцарт выше его, – превосходство он мог бы вынести благородно, потому что он ничто перед Моцартом, потому что Моцарт гений, а талант перед гением – ничто... И вот он твердо решается отравить его. «Иначе – говорит он – мы все погибли, мы все, жрецы и служители музыки. И что пользы, если он останется еще жить? Ведь он не подымет искусства еще выше? Ведь оно опять падет после его смерти?». Вот она, логика страстей!..

За обедом, в трактире, Моцарт случайно спросил Сальери, правда ли, что Бомарше кого-то отравил. Как истинный итальянец, Сальери отвечает, что едва ли, потому что Бомарше был слишком смешон для такого ремесла. Моцарт делает при этом наивное замечание:

Он же гений,
Как ты да я. А гений и злодейство –
Две вещи несовместные. Не правда ль?

Эта выходка ускорила решимость Сальери. Здесь Пушкин поражает вас Шекспировским знанием человеческого сердца. В простодушных словах Моцарта было соединено все жгучее и терзающее для раны, которою страдал Сальери. Он знал себя, как человека способного на злодейство, а между тем сам гений говорит, что гений и злодейство несовместны, и что следовательно он, Сальери, не гений. А! так я не гений? Вот же тебе, – и яд брошен в стакан гения... Но когда Моцарт выпил, Сальери как бы со смущением и ужасом восклицает:

Постой,
Постой, постой!.. ты выпил... без меня?

Это опять истинно драматическая черта. Но вот одна из тех смелых, обнаруживающих глубочайшее знание человеческого сердца черт, которые никогда не могут прийти в голову таланту, всегда живущему «пленной мысли раздраженьем», и на которые он никогда не решится, если бы они и могли прийти к нему: это Сальери, с умилением слушающий Requiem Моцарта и говорящий ему:

Эти слезы
Впервые лью: и больно и приятно,
Как будто тяжкий совершил я долг,
Как будто нож целебный мне отсек
Страдавший член! Друг Моцарт, эти слезы...
Не замечай их. Продолжай, спеши
Еще наполнить звуками мне душу...

Как поразительны эти слова своим характером умиления, какой-то даже нежностью к Моцарту! «Друг Моцарт»: видите ли, убийца Моцарта любит свою жертву, любит ее художественной половиной души своей, любит ее за то же самое, за что и ненавидит... Только великие, гениальные поэты умеют находить в тайниках человеческой натуры такие странные, по-видимому, противоречия, и изображать их так, что они становятся нам понятными без объяснений...

Последние слова Сальери, когда, по уходе Моцарта, остался он один, художественно округляют и замыкают в самой себе сцену:

Ты заснешь
Надолго, Моцарт! но ужель он прав,
И я не гений? Гений и злодейство
Две вещи несовместные. Не правда:
А Бонаротти? Или это сказка
Тупой, бессмысленной толпы – и не был
Убийцею создатель Ватикана?

Какая глубокая и поучительная трагедия! Какое огромное содержание и в какой бесконечно художественной форме!»

«Моцарт и Сальери» был напечатан впервые в «Сев. Цветах» 1832 г., за подписью: А. Пушкин. Потом он перепечатан особой брошюрой вместе со всеми стихотворениями Пушкина, являвшимися в «Сев. Цветах» в ограниченном числе экземпляров. Затем пьеса перепечатана в «Собрании стихотворений Пушкина» 1832 г. (ч. III) и в 1838 г. вошла в посмертное издание сочинений Пушкина (том I).



КАМЕННЫЙ ГОСТЬ

Мысль о Моцарте, воспроизведенном в предыдущей пьесе, по мнению Анненкова, вызвала у Пушкина «Каменного гостя».

Легенда о Дон Гуане, начиная явившейся в 1620 г. пьесой Тирзо де Молины¹ (Габриеля Теллеца) *El Burlador de Sevilla y Convidado de Piedra*², не считая поэм, романов, рассказов и т. п., послужила сюжетом около полусотни драматических произведений, в числе которых три принадлежат русским авторам³; остальные написаны испанцами, французами, итальянцами, англичанами, немцами, голландцами, португальцами, поляками, – т. е. легенда эта обрабатывалась всеми народами Европы. В числе этих многочисленных драматических произведений наиболее известны комедия Мольера «*Don Juan, ou le Festin de Pierre*»⁴ (название, данное, вероятно, потому, что каменная статуя командора ужинает у Дон Гуана), представленная в первый раз в 1665 году, и опера Моцарта в 2 актах на либретто Лоренцо да Понте 1787 г.: «*Il Dissoluto punito, ossia il don Giovanni*»⁵.

Сравнение «Каменного гостя» Пушкина с обеими этими пьесами, которые были в руках его при создании драмы, показывает всю оригинальность его произведения.

Дон Гуан у Мольера выводится после того, как он покинул жену свою Эльвиру, в момент замысла похитить крестьянку Шарлотту в день свадьбы ее с Пьерро. Этот эпизод, занимающий 2 первые акта, прерывается известием, что Дон Гуана ищут, и ему грозит опасность. Третий акт состоит из двух эпизодов: в первом Дон Гуан, переодетый в крестьянское платье, случайно спасает неизвестного дворянина, который не знает, как благодарить его; подоспевший к нему спутник объясняет ему, что перед ним Д. Гуан, которого они ищут – то были братья покинутой Эльвиры, жаждущие отомстить за нее: Дон Карлос и Дон Алонзо. Д. Карлос из благодарности за свое спасение предлагает отложить мщение, предоставляя самому Дон Гуану определить способ удовлетворенья. Второй эпизод III акта – сцена подле памятника Командора, убитого Дон Гуаном (когда и почему, у Мольера это остается необъясненным). Сцена оканчивается приглашением Командора на ужин. В IV акте Мольер выводит Д. Гуана в его доме, выпроваживающем кредитора, а потом выслушивающим укоры отца за беспутную жизнь и молебны Эльвиры изменить эту жизнь. После этих двух сцен Д. Гуан садится ужинать. Является статуя Командора и приглашает на завтра Д. Гуана к себе на ужин. Последний акт состоит из лицемерных выходок Д. Гуана в отношении к отцу, которому он обещает исправиться, и в отношении к Д. Карлосу, которого он уверяет, что не может более думать об Эльвире, так как он теперь уже покидает все земные привязанности. После этого следует сцена с известным призраком (в виде женщины под покрывалом, а потом принимающим вид Времени с косою в руках), призывающим его воспользоваться последней минутой для покаяния. Призрак не возбуждает в Д. Гуане ничего, кроме желания испытать

¹ Тирзо де Молина – испанский драматург XVII века.

² Севильский обольститель, или Каменный гость. (исп.)

³ «Каменный гость» Пушкина (1830), «Дон-Жуан» – драматическая поэма гр. А. Толстого (1859) и драматическое представление в 5 действиях, переделанное из Мольеровского «Дон-Жуана» В. М. Строевым (1843).

⁴ Дон Жуан, или Каменный пир. (фр.)

⁵ Дон Жуан, или Наказанный развратник. (итал.)

шпагою, не телесное ли это явление. Призрак исчезает. За ним появляется статуя Командора, пришедшего за Д. Гуаном, и гибель его.

Либретто Моцартовой оперы вносит некоторую связь в эпизоды, ничем не связанные у Мольера. Так, здесь Командор – отец преследуемой Д. Гуаном Доны Анны, убитый им в поединке, с чего и начинается 1-й акт. Покинутая Эльвира и ищущие отмстить Д. Гуану Дона Анна с женихом своим Д. Октавио, являются неоднократно среди действия, сосредоточенного на замысле Д. Гуана отбить невесту у крестьянина (подобном Мольеровскому), причем имена Шарлотты и Пьерро заменены именами Церлины и Мазетто. Обманом Д. Гуан достигает цели во время маскарада, устроенного им в своем доме. Этим оканчивается I-й акт. II-й акт состоит из проделок Д. Гуана с Эльвирой, которую сводит он с своим слугою Лепорелло, переодетым в его платье, и с Мазетто, которого он дурачит, переодевшись слугою и лицемерно помогая в мщении за невесту; сцены перед конною статуей Командора и сцены последнего ужина в доме Д. Гуана, перед которым является сначала Эльвира с тщетною мольбою, обращенною к Д. Гуану, изменить преступный образ жизни, а потом статуя Командора с приглашением Дон Гуана на свой ужин. По уходе ее Д. Гуан, угрожаемый невидимыми хором, в мучениях проваливается.

Обзор обеих пьес показывает, что весь замысел любви Дон Гуана к Доне Анне и Лауре, убийства Командора и Д. Карлоса, сами характеры как героя, так и прочих действующих лиц – все принадлежит Пушкину безраздельно. Из изложенных образцов заимствована лишь личность слуги Лепорелло (Мольерова Сганареля). Сцены с Командором также изменены и приведены в тесную связь с главным действием драмы, замечательной по стройности своей композиции, глубине характеристики, высокой поэзии сообщенной сюжету пьесы и языку ее.

«Каменный Гость – писал Белинский (1839), когда впервые появилась эта пьеса в сборнике Смирдина „Сто русских литераторов“ – посмертное сочинение Пушкина, драматическая поэма.... Герой этой небольшой драмы – Дон Гуан, тот самый, который является героем в либретто знаменитой оперы Моцарта; но у Пушкина общего с этим либретто только имена действующих лиц – Дон Гуана, Доны Анны, Лепорелло, а идея целого создания, его расположение, ход, завязка и развязка, положения персонажей – все это у Пушкина свое, оригинальное. Поэма помещена не более, как на 35 страницах, и, несмотря на то, она есть целое, оконченное произведение творческого гения; художественная форма, вполне обнявшая бесконечную идею, положенную в ее основание; гигантское создание великого мастера, творческая рука которого, на этих бедных 35 страницах, умела начертать великую идею, всю, до малейшего оттенка... Просим не понимать наших слов за суждение: нет, они не суждение, они – звуки, восклицания, междометия... Суждение требует спокойствия – не того рассудочного спокойствия, источник которого есть мелкость и холодность души, недоступной для сильных и глубоких впечатлений, – нет, того спокойствия, которое дается полным удовлетворением изящным произведением, полным восприятием его в себя, полным погружением в таинство его организации... Чтобы оценить вполне великое создание искусства, разоблачить перед читателем тайны его красоты, сделать прозрачною для глаз его форму, чтобы сквозь нее он мог рассмотреть в нем великое таинство присутствия вечного духа жизни, ощутить его благоуханное веяние – для этого требуется много, слишком много, по крайней мере, гораздо больше, нежели сколько мы можем сделать...».

В позднейшей статье своей о сочинениях Пушкина Белинский (1846), переходя от разбора других драматических произведений его к „Каменному Гостю“, писал: «Теперь приблизились мы к перлу созданий Пушкина, к богатейшему, роскошнейшему алмазу в его поэтическом венке... Для кого существует искусство, как искусство, в его идеале, в его отвлеченной сущности, для того „Каменный Гость“ не может не казаться без всякого сравнения лучшим и высшим в художественном отношении созданием Пушкина... Какая дивная гармония между идеей и формой. Какой стих, прозрачный, мягкий и упругий, как волна, благозвучный, как музыка. Какая кисть, широкая, смелая, как будто небрежная, какая антично-благородная простота стиля, какие роскошные картины волшебной страны, где ночь лимоном и лавром пахнет...».

Такая тема не может пользоваться популярностью... Герой ее – лицо мифическое, испанский Фауст. Идея Дон Гуана могла родиться только в стране, где жить значит любить и драться, а быть счастливым и великим значит быть любимым и храбрым, – в стране, где религиозность доходит до фанатизма, храбрость до жестокости, любовь до исступления, где романтическая настроенность делает героем и кавалера, и разбойника. Но Дон Гуан, такой, каким является он у Пушкина, не исступленный любовник, не мрачный дуэлист: он одарен всем, чтоб сводить с ума женщин и не знать никаких препятствий удовлетворению своих желаний. Красавец собою, стройный, ловкий, он весел и остер, искренен и лжив, страстен и холоден, умен и повеса, красноречив и дерзок, храбр, смел и отважен... В нем есть что-то импонирующее. Может быть, это сила его воли, широкость и глубина его души. Для него жить значит наслаждаться; посреди своих побед он сейчас готов умереть... Он верит в свою звезду, и потому на всякого, кто вызовет его, смотрит заранее как на убитого... В глазах женщины он лев между мужчинами в смысле превосходства, храбрости и мужества.

Дон Гуан является ночью в Мадриде. Из его разговора со слугою мы узнаем, что он был в ссылке за дуэль и воротился тайком. Он спрашивает у Лепорелло, могут ли узнать его?

Да! Дон Гуана мудрено признать!
Таких, как он, такая бездна!

Из этой грубой похвалы слуги видно ясно, что такое Дон Гуан для всего Мадрида. Место, в котором они находились в то время, напоминает Дон Гуану женщину, которую он, кажется, любил больше других, – и он говорит задумчиво:

...Бедная Инеза!
Ее уж нет! как я любил ее!
...Странную приятность
Я находил в ее печальном взоре
И помертвельных губах. Это странно.
Ты, кажется, ее не находил
Красавицей. И точно, мало было
В ней истинно прекрасного. Глаза,
Одни глаза. Да взгляд... такого взгляда
Уж никогда я не встречал. А голос
У ней был тих и слаб – как у больной –

Приложение

Муж ее был негодяй суровый,
Узнал я поздно... Бедная Инеза!..

В этих немногих стихах целый портрет женщины, вся история ее жизни... Само воспоминание о ней, столь полное любви и грусти, уже говорит, какова должна была быть эта женщина, которая, не будучи красавицей, умела привязать к себе такого человека. Но грусть воспоминания недолго занимает Дон Гуана.

Л е п о р е л л о .

Что ж, вслед за ней другие были.

Д о н Г у а н .

Правда.

Л е п о р е л л о .

А живы будем, будут и другие.

Д о н Г у а н .

И то.

На этот раз он хочет идти к Лауре. Но является монах, и от него наши авантюристы узнают, что на монастырское кладбище сейчас должна прийти донья Анна, чтоб плакать на могиле своего мужа, убитого нашим героем. Дон Гуан успел заметить только ее узенькую ножку; но этого довольно для него, чтоб решиться узнать ее покороче, а пока он спешит к Лауре.

Лаура – актриса, жрица искусства и наслаждения. В ней нет притворства и лицемерия; она вся наружи. Молодая и прекрасная, она не думает о будущем и живет для настоящей минуты. Она вечно окружена мужчинами и обходится с ними без церемоний, иногда даже с каким-то грациозным цинизмом. У ней гости: они в восторге от ее игры в этот вечер; только один между ними мрачен. Это Дон Карлос, у которого Дон Гуан убил брата. Она спела песню («Я здесь, Инезилья») и сказала, что эту песню сочинил «ее верный друг, ее ветреный любовник» Дон Гуан. Это имя приводит Дон Карлоса в бешенство, и он ругает его безбожником и мерзавцем, а ее – дурью. Она грозит велеть слугам своим зарезать его; но он успокаивается, и они мирятся. Гости уходят, и она говорит Карлосу:

Ты, бешеный! останься у меня,
Ты мне понравился; ты Дон Гуана
Напомнил мне, как выбранил меня
И стиснул зубы с скрежетом.

Оставшись с нею, Карлос, вместо лести и любезности, заводит мрачные разговоры: теперь ты молода, говорит он ей, окружена поклонниками, а лет через шесть, когда глаза твои впадут и седина блеснет в косе, что тогда с тобою будет? Этот человек тоже истинный испанец, как и Дон Гуан, только другим образом. Он мрачен и в молодости, мрачен наедине с прекрасною женщиной, которая сказала ему, что она его любит; к старости же из него был бы готов отличный инквизитор, который с полным

убеждением и спокойною совестью жег бы еретиков и с особенным наслаждением бичевал бы самого себя... Лаура в старости сделалась бы дуэньей и мастерски помогала бы вверенной ее бдительности жене проводить за нос мужа, а, может быть, пошла бы в монастырь; но пока она не хочет слышать о вздоре – о будущем...

Является Дон Гуан; Лаура на радости бросается ему на шею, Карлос вызывает его – и падает мертвый.

Д о н Г у а н .

Вставай, Лаура, кончено.

Л а у р а .

Что там?

Убит? прекрасно! в комнате моей!

Что делать мне теперь, повеса, дьявол?

Куда я выброшу его?

Д о н Г у а н .

Быть может,

Он жив еще.

Л а у р а .

Да! жив! гляди, проклятый,

Ты прямо в сердце ткнул – небось не мимо,

И кровь нейдет из треугольной ранки,

А уж не дышит – каково?

В следующей сцене, Дон Гуан, в монашеской рясе, уже разговаривает с доньей Анною. Она просит его соединить молитвы с ее молитвами.

Мне, мне молиться с вами, Дона Анна!

Я не достоин участи такой.

Я не дерзну порочными устами

Мольбу святую вашу повторять –

Я только издали с благоговеньем

Смотрю на вас, когда, склонившись тихо,

Вы черные власы на мрамор бледный

Рассыплете – и мнится мне, что тайно

Гробницу эту ангел посетил,

В смущенном сердце я не обретаю

Тогда молений. Я дивлюсь безмолвно

И думаю – счастлив, чей хладный мрамор

Согрет ее дыханием небесным

И окроплен любви ее слезами.

Что это – язык коварной лести или голос сердца? Мы думаем, и то и другое вместе. Отличие людей такого рода, как Дон Гуан, в том и состоит, что они умеют быть истинно страстными в самой лжи и непритворно холодными в самой страсти, когда это нужно. Дон Гуан распоряжается своими чувствами, как полководец солдатами: не он у них, а они у него во власти и служат ему к достижению цели. Донья Анна изумлена странностью таких речей в устах монаха, но Дон Гуан идет далее и с изумительною дерзостью признается ей, что он не монах, но пока прикрывается вымышленным именем. Сцена эта ведена с непостижимым искусством. Донья Анна гонит его прочь, а между тем хочет знать, кто же он, и чего он требует...

– Смерти.
О пусть умру сейчас у ваших ног,
Пусть бедный прах мой здесь же похоронят
Не подле праха, милого для вас,
Не тут – не близко – дале где-нибудь,
Там – у дверей – у самого порога,
Чтоб камня моего могли коснуться
Вы легкою ногой или одеждой,
Когда сюда, на этот гордый гроб
Придете кудри наклонять и плакать...

Донья Анна защищается все слабее и слабее; у ней вырывается кокетливый вопрос: «И любите давно уж вы меня?». Самолюбие ее затронуто – до сердца недалеко... Она назначила ему свидание у себя дома, завтра вечером...

Донья Анна – так же истинная испанка, как и Лаура, только в другом роде. Та – баядера¹ европейских обществ, а эта – их матрона, обязанная обществом быть лицемерной и приученная к лицемерству. Посещение монастырей, набожные занятия и слезы над гробом мужа (сурового старика, за которого вышла насильно и которого никогда не любила) – суть единственная отрада, единственное утешение ее, бедной, безутешной... Но она женщина, и притом южная; страсть у нее – дело минуты, и ни позор общественного мнения, ни лютая казнь не помешают ей отдаться вполне тому, кто умел заставить ее полюбить...

Дон Гуан в восторге от своего успеха. Хотя он и привык к победам, но эту он считал труднее, чем оказалось, потому что Донья Анна возбудила в нем сильную страсть. Повеса, в радости своей, велит Лепорелло звать статую Командора к Донье Анне на завтрашний вечер. Статуя кивает головою в знак согласия; Лепорелло в ужасе. Дон Гуан сам зовет ее и с ужасом видит, что она кивнула и ему...

Но Дон Гуан не такой человек, чтоб что-нибудь могло остановить его. Он у вдовы. Речи его страстны, нежны, лстивы, вкрадчивы; искусно сумел он, возбудив ее женское любопытство, объявить Донье Анне собственное имя... Но она уже любит его, и его дерзость еще больше увлекает ее. Не торопясь глупо, он просит на расставанье только одного холодного и мирного поцелуя – и получает поцелуй... Но вот входит статуя, со словами: «Я на зов явился».

¹ Баядера (от португальского *bailadeira*) – танцовщица.

Д о н Г у а н .

О Боже! Дона Анна!

С т а т у я .

Брось ее,
Все кончено. Дрожишь ты, Дон Гуан.

Д о н Г у а н .

Я? нет. Я звал тебя и рад, что вижу.

С т а т у я .

Дай руку.

Д о н Г у а н .

Вот она... о, тяжело
Пожатье каменной его десницы!
Оставь меня, пусти – пусти мне руку...
Я гибну – кончено – о Дона Анна!

Он проваливается... Драма непременно должна была разрешиться трагически – гибелью Дон Гуана; иначе она была бы веселой повестью – не больше, и была бы лишена идеи, лежащей в ее основании. Что такое Дон Гуан? – Каждый человек, чтоб жить не одною физическою жизнью, но и нравственной вместе, должен иметь в жизни какой-нибудь интерес, что-нибудь в роде постоянной склонности, влечения к чему-нибудь. Иначе жизнь его будет или не полна, или пуста. В людях высшей природы этот интерес, эта склонность, это влечение проявляются как могущественная страсть, составляющая их силу. Один находит свою страсть, пафос своей жизни в науке, другой – в искусстве, третий – в гражданской деятельности, и т. д. Дон Гуан посвятил свою жизнь наслаждению любовью, не отдаваясь однако ж ни одной женщине исключительно. Это путь ложный. Его одностороннее стремление не могло не обратиться в безнравственную крайность, – и он сделал из этого ремесло. Оскорбление не условной, но истинно нравственной идеи всегда влечет за собою наказание, разумеется, нравственное же. Самым естественным наказанием Дон Гуану могла бы быть истинная страсть к женщине, которая или не разделяла бы этой страсти, или сделалась бы ее жертвою. Кажется, Пушкин это и думал сделать: по крайней мере, так заставляет думать последнее из глубины души вырвавшееся у Дон Гуана восклицание: „О Дона Анна!“, когда его увлекает статуя».

Белинский на этот раз недоволен концом драмы Пушкина, извиняя его тем, что «он был связан преданием и оперою Моцарта», вводя в действие статую Командора. Он называет такую развязку «внешнею», *deus ex machina*¹. Но никто менее

¹ *Deus ex machina* (лат.) – буквально «Бог из машины». В античном театре бог порой появлялся на сцене с помощью различных подъемных механизмов и решал все проблемы героев. В переносном смысле – искусственная развязка.

Пушкина не был способен к такого рода уступками чужому сюжету. Если он ввел статую в действие, то потому, что то явилось, по замыслу поэта, необходимыми следствием поступка Дон Гуана. Фантастический сюжет может отвечать нравственной и поэтической правде произведения, как сюжет самый натуральный может противоречить этой правде, и развязка, самая натуральная сама по себе, быть противоестественной и внесенной извне, как действительный *dens ex machina*. Уже одно отступление, сделанное Пушкиными от Мольера и Да Понте в том побуждении, с которыми Дон Гуан призывает у него Командора, должно бы навести на мысль о внутреннем смысле этого призыва. Позванный быть свидетелем позора жены, а не на ужин, Командор является поэтически наглядным мстителем надругательства Дон Гуана, потому что чувство героя, послужившее к такому надругательству, вытекало из существенных свойств его души, и этот поступок является роковыми для героя по нравственной необходимости. Что же касается кары героя «действительной любовью, возгоревшейся в его душе», чего желал бы Белинский, то эта любовь возгорелась действительно в Дон Гуане Пушкина. Восклицание: «О Дона Анна» в самую минуту гибели ясно свидетельствует о ней. Но эта любовь получает свое карательное значение для героя неразрывно с гибелью его.

Аверкиев¹ (1867) избирает «Каменного Гостя» как пример истинного единства действия. «Фабула о Дон Гуане – пишет он – стара, и немало было на нее написано и комедий, и трагедий, и поэм, и до, и после Пушкина; но только он один преобразил ее в миф единый, живой и целый; только в его трагедии (скромно им названной этюдом) есть художественное единство действия. Фабула, как известно, состоит в том, что был такой «в высшей степени развратный молодой дворянин» (так его аттестует на афише аббат Да Понте, составитель либретто Моцартовой оперы), дворянин, занимавшийся волокитством и позволявший себе насмешки над святыней. Одна из таких кощунственных выходок привела его к горькому концу. Дело не в том, что этот дворянин мог или не мог раньше или позже посмеяться над святыней по большей или меньшей легкомысленности или испорченности. Большая разница, говорит Аристотель, случится ли нечто чрез что-нибудь, или после чего-нибудь. В этом-то и есть дело. Развязка, основанная на после, есть развязка машинная; развязка, основанная на чрез, есть развязка художественная. Развязка всех Дон Гуанов, явление Командора, именно тем и грешила, что являлась как *deus ex machina*, после других его приключений, и Дон Гуан, по выражению Байрона, отсылался к дьяволу несколько преждевременно, или, вернее, несвоевременно.

По-видимому, фабула в «Каменном Госте» оставлена без изменения; даже многие имена, например Дона Анна, Лепорелло, те же, что и в Моцартовском либретто; но только по-видимому. Сделано изменение, на поверхностный взгляд неважное, а именно Дона Анна является не дочерью Командора, а его вдовой, да еще Гуан знакомится с нею после, а не до убийства Командора. Но в этой-то перемене ключ к пониманию драмы; при ней-то стало возможно сделать развязку драмы не машинною, а вытекающей по необходимости. Ход действия у Пушкина таков: Дон Гуан за убийство на поединке Командора дон Альвара де Сольва сослан королем; он самовольно

¹ Дмитрий Васильевич Аверкиев – драматург и театральный критик XIX века.

возвращается из ссылки; при входе в Мадрид попадает на кладбище Антоньева монастыря. Осмотревшись, Дон Гуан узнает место действия одного из своих любовных приключений, и притом одного из самых поэтических, оставивших в нем воспоминание не эротическое только, но глубокое, душевное. Весть, что он находится на том именно кладбище, где погребен Командор, производит на него сильное впечатление. Приходит вдова убитого молиться и плакать на мужниной гробнице, вдова, кого покойник «взаперти держал», и которая, по словам монаха, так хороша, что

не может и угодник
В ее красе чудесной не сознаться.

Дон Гуан, чуть заметив узенькую пятку, решается познакомиться с вдовой. Но ему пока некогда заняться ею; у него в Мадриде есть иное дело. Следует сцена у Лауры, вовсе не эпизодическая, как может сразу показаться; она тесно связана с главным действием – встречей меж Дон Гуаном и Дон Карлосом, братом Командора и мстителем за его смерть. Кроме того, из этой же встречи вытекает для Гуана необходимость где-либо скрыться. А где ему скрыться, как не в Антониевом монастыре, куда его, кроме того, влечет нечто иное? Этою сценой кончается и завязка трагедии, и изображение обстоятельств, при коих возможно действие (что называется нередко экспозицией или выставкой действия).

Таким образом, свое ухаживанье за Доной Анной Гуан начинает не при каких-нибудь обстоятельствах, а при обстоятельствах, сложившихся роковым образом. Его точно манит, точно подталкивает какая-то тайная сила на борьбу против всех человеческих и божеских законов. Он, убийца мужа, убийца брата этого мужа, не просто кощунствует, он зовет тень мужа присутствовать при позоре жены. Статуе Командора есть зачем сходить с пьедестала; чудесное перестает быть машинно-чудесным (каковое столь строго порицал Аристотель), а становится неизбежным в силу необычайности кощунства, великости надругания над святыней. Трагический конец Гуана неизбежен. Согласно указанному, поистине гениальному плану трагедии, изображена совершенно оригинально, в полном смысле создана Пушкиным и личность Гуана».

Анненков (1855) замечает о «Каменном Госте»: «Не можем не сказать, что глубокое поэтическое проникновение автора в жизнь и нравы Испании затемнило в глазах читателей других понятий и другого неба существенную часть ее красоты. Быстрый переход Доны Анны от недоверчивости к забвению своего долга и к примирению, притворная любовь героя, еще выражающаяся мелодическим, увлекательным языком истинной страсти – все это было ново. Пушкин видел в Дон Гуане почти то же, что Моцарт: гениального человека, обратившего все свои дары только в одну сторону, Рафаэля любви и нежных связей, если смеем так выразиться. Изящный, вкрадчивый и вдохновенный в минуты исканий и замыслов своих, Дон Гуан Пушкина принадлежит ему одному и ничего общего с другими созданиями, известными под этим именем, не имеет».

Впервые «Каменный Гость» был напечатан в альманахе Смирдина «Сто русских литераторов», т. I, 1839 г., без подписи имени Пушкина, не вполне исправно. Исправления даны в издании Анненкова и в Р. С. 1884. № X по рукописи, сохранившейся в тетрадах поэта.

Оба романа Лауры в сцене II, которых недостает и в рукописи, написаны не были. «Но мы имеем – пишет Анненков – положительное убеждение, что романс „Я здесь, Инезилья“, написанный вскоре после драмы, назначен был для первой песни Лауры. Известно, что этот романс был пропущен посмертным изданием. Мы приложили его в материалах для биографии поэта. Вторую песню Лауры Пушкин совсем не написал, но для пополнения этого пробела, если уже допустить какое-либо пополнение, чего мы не признаем со своей стороны нужным, можно было бы указать на «Испанский романс» Пушкина 1824 г. „Ночной зефир струит эфир“».

ПИР ВО ВРЕМЯ ЧУМЫ

Этот отрывок есть перевод 4-й сцены 1-го акта драматической поэмы Вильсона: «Чумной город» (*The city of the plague*), вышедшей в 1816 году.

Джон Вильсон (род. 1789) – один из лэкистов (т. е. поэтов так называемой «озерной школы», главными представителями которой, кроме Вильсона, были С. Т. Кольридж, В. Вордсворт, Р. Соути), профессор нравственной философии в Эдинбургском университете.

«Чумной город» разделен на 3 акта (из которых в I-м и III-м по 4 сцены, а во втором – 5 сцен). Мрачное произведение это исчерпывает все ужасы чумы, опустошающей многолюдный город; здесь выведены самые разнообразные лица из жителей этого города, предающиеся отчаянию, суеверию, разбою, разврату или же самопожертвованию, которое воодушевляет избранных, преданных высокому религиозному настроению. Сцены всех актов имеют между собою внешнюю связь в судьбе юноши, страдания, надежды и утраты которого тонут в общей картине ужасов: автор местами дает этой картине значительное распространение независимо от судьбы героя.

Пушкин выбрал для своего перевода именно одну из этих сцен, где главные лица пьесы не участвуют в действии. Выбор этой сцены из большой пьесы Вильсона для перевода объясняется тем, что поэтическое чувство Пушкина нашло в ней оригинальный замысел и трагизм в положении этих людей, пирующих на краю гроба. Нельзя не согласиться, что это действительно лучшая сцена растнутой и холодной английской мелодрамы, но и эту сцену Пушкин счел нужным сократить, откинув конец ее.

«Неизмеримая разница в талантах и крепости поэтического гения между обоими авторами – замечает Анненков (1855) – открывается особенно в песне президента. Вильсон начинает ее описанием двух кораблей (т. е. флотов), сражающихся на море, и двух армий, бьющихся на земле, бедствия и страсти которых противопоставляются ощущениям заразы. Ни одного признака подобного придумывания мотивов и искусственного распространения их у Пушкина. Свободно и сильно вылетает лирическая песнь его, полная отваги, без применений и исканий по сторонам, хотя и сберегает некоторые черты подлинника».

«Пир во время чумы – замечает Белинский (1846) – принадлежит к загадочным произведениям Пушкина... Если пьеса Вильсона так же хороша, как переведенный из нее Пушкиным отрывок, то нельзя не согласиться, что этот Вильсон написал великое произведение... Основная мысль – оргия во время чумы, оргия отчаяния, тем более ужасная, чем более веселая. Мысль поистине трагическая! И как много выразил

Пушкин в этой маленькой поэме, как резко обрисованы в ней характеры, сколько драматического движения и жизни! Умилительная песня Мери, столь наивная и нежная выражением, столь страшная содержанием, производит на читателя невыразимое впечатление. Так много страшного смысла в просьбе председателя оргии спеть эту песню! Но песня председателя оргии в честь чумы – яркая картина отчаянного веселья; в ней слышится даже вдохновение несчастья... Такие переводы, если они и близко верны подлинникам, стоят оригинальных произведений!».

«Пир во время чумы» напечатан впервые в альманахе 1832 г. «Альциона», изданном бароном Розеном, и в том же году вошел в Собрание стихотворений Пушкина. В «Альционе» после заглавия стояло в скобках: «Из Вильсоновой трагедии: The city of the Plague», а в «Собрании стихотворений» – в оглавлении. В посмертном издании это обозначение было опущено.

ЕГИПЕТСКИЕ НОЧИ

Стр. 278 примечание 4

Возможно, продолжением этих стихов является следующий отрывок:

И вот уже сокрылся день,
Восходит месяц златорогий.
Александрийские чертоги
Покрыла сладостная тень.
Фонтаны бьют, горят лампы,
Куруется легкий фимиам.
И сладострастные прохлады
Земным готовятся богам.
В роскошном сумрачном покое
Средь обольстительных чудес
Под сенью пурпурных завес
Блестит ложе золотое.

ПОВЕСТИ БЕЛКИНА

В числе произведений, написанных в Болдине, о которых сообщал Пушкин в письме своем от 9 дек. 1830 г. П. А. Плетневу¹, упоминает он и эти повести: «Еще не все (весьма секретное, для тебя единого): написал и прозою 5 повестей, от которых Баратынский ржет и бьется – и которые напечатает также Анопуме». В письме 3 июля 1831 г. Пушкин сообщает Плетневу: «Я переписал мои 5 повестей и предисловие, т. е. сочинения покойного Белкина, славного малого. Что прикажешь с ними делать? Печатать ли нам самим или торговаться со Смирдиным?»² Вскоре после того Пушкин писал Плетневу из Царского Села: «На днях отправил я тебе через Эслинга³ повести

¹ Петр Александрович Плетнев – поэт и критик, близкий друг Пушкина.

² Александр Филиппович Смирдин – известный книгоиздатель и книготорговец XIX века.

³ Николай Николаевич Геслинг (Эслинг) – выпускник Царскосельского лицея 1826 года.

покойного Белкина, моего приятеля. Получил ли ты их? Предисловие доставлю после. Отдай их в цензуру земскую, не удельную – да и снюхаемся с Смирдиным». 5 Сентября Плетнев уже сообщил о получении «Повестей Ивана Петровича Белкина» из цензуры, и что «ни перемен, ни откидок не воспоследовало». Поручая печатание повестей Плетневу, Пушкин между прочим просил: «Смирдину шепнуть мое имя, с тем чтоб он перешепнул покупателям». Впоследствии в «Библиотеке для чтения» появилась повесть, приписанная Сенковским¹ А. Белкину, что легко смешивалось с псевдонимом повестей Пушкина. «Радуюсь – писал по этому случаю Пушкин Плетневу – что Сенковский промышляет именем Белкина; но нельзя ль (разумеется, из-за угла и тихонько, например в „Моск. Наблюдатель“) объявить, что настоящий Белкин умер и не принимает на свою долю грехов своего омонима. Это бы, право, было не худо».

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина, изданные А. П.» появились в 1831 г. без имени Пушкина. Они вошли затем в состав вышедших в 1834 г. «Повестей, изданных Александром Пушкиным». Книга эта вызвала следующую заметку в «Литературной Летописи» Библиотеки для чтения 1834: «Мы не думаем, чтобы тем нарушили права безыменности, если скажем, что Повести, „изданные“ Александром Сергеевичем Пушкиным, значит – „сочиненные“ самим же их издателем. Хотя предисловие и приписывает их покойному Белкину, но сам автор, кажется, не совсем желает остаться безыменным, когда на обороте обертки те же Повести поместил в числе творений певца Кавказского пленника. Так, это – второе издание известных „Повестей Белкина“, сочиненных А. С. Пушкиным и читанных публикою в прошлом году с таким удовольствием. К ним присоединена еще „Пиковая дама“, которую автор украсил наш журнал в начале года».

Повести эти, так неуверенно выпущенные Пушкиным в свет, ознаменовали в нем потребность попытать свои силы на прозаическом воспроизведении быта ему современного, подобно тому как в «Арапе Петра Великого» он испытал свои силы в историческом романе. После повестей Марлинского (А. А. Бестужева)², лучшего представителя поэзии этого рода в то время, повести Пушкина поражают оригинальной простотой создания и слога. Гоголя Пушкин тогда еще не читал, что видно из письма в апреле 1831 г. к Плетневу, который рекомендовал ему первые опыты Гоголя.

Судя по черновым тетрадям поэта, повести эти писались так: прежде всех написан Гробовщик, помеченный «9 сентября, Болдино, 1830». Затем следовали Станционный смотритель, помеченный «14 сент. Болд.». Барышня-крестьянка окончена «20 сент. Болд. 9 ч. в.». В конце первой гл. Выстрела помета: «12 окт. 1830. Окончание потеряно». Затем Пушкин окончил повесть «1830, 14 окт.». Метель помечена: «20 окт.». В этом порядке происхождения повести и перечислены на последней странице рукописи, где под каждым заглавием выписан эпиграф. К «Выстрелу» дан только один эпиграф (из Онегина), тогда как в печатном их два.

К этим пяти повестям примыкает и История села Горюхина.

¹ Осип Иванович Сенковский – писатель и редактор XIX века, основатель первого русского массового журнала – «Библиотека для чтения».

² Писатель и критик Александр Александрович Бестужев публиковался под псевдонимом «Марлинский».

Иван Петрович Белкин не есть только псевдоним, избранный Пушкиным для этих произведений. Это созданный им тип, изображенный в очерке, предпосланном повестям под заглавием «От издателя», и выдержанный в самих повестях, рассказанных от лица Белкина. Он является сам даже действующим лицом в двух из них, а именно: в «Выстреле» и «Станционном смотрителе»; в остальных, где сам он в действии не участвует, личность его выступает в способе рассказа, в тех замечаниях, а иногда и рассуждениях, которые он вплетает в рассказ. Наконец в «Истории села Горюхина» Белкин – главное лицо, так как всей первой части ее придана форма автобиографических воспоминаний.

В Белкине видим очерк того русского типа недоросля из дворян, который впоследствии видоизменен Пушкиным в Гриневе, героя «Капитанской дочки», где он применен к Екатерининской эпохе; здесь же выведен недоросль новейшего времени – двадцатых годов нашего века.

Приступая к этим очеркам из русской жизни частью низших классов, частью провинциальной помещицкой и полковой среды, Пушкин счел нужным избрать этого посредника между собою и читателем для лучшего освещения картин своих. Та серенькая действительность, которая здесь вдохновила его, как нельзя лучше выступила в таком освещении. Пушкин чувствовал, что к ней не шла бы та тонкость воззрения, сложность анализа и присутствие личного чувства поэта, которые составляют необходимое условие такого произведения, как «Евгений Онегин». С другой стороны, Пушкин чувствовал, что ограничиться полною объективностью, подобною той, которая отличает «Арапа Петра Великого», при господствовавшем вкусе нельзя было в изображении действительности, избранной в этих повестях. Резкие черты исторической эпохи в «Арапе Петра Великого» оказывались знаменательными сами по себе и потому не требовали никаких иных художественных приемов, кроме безыскусственной простоты, от которой только выиграло изображаемое в романе. В повестях же из глухого бесцветного быта, избранного поэтом на этот раз, такой прием был бы большим риском: изображение не представляло бы для современных читателей никакого интереса. А между тем, вопреки господствовавшему литературным взглядам, Пушкин чувствовал, что такая будничная жизнь достойна художественного воспроизведения. И он нашелся – вымыслом типичного повествователя, в устах которого интерес к изображаемому усилен той свежей наивностью и простоватым глубокомыслием, которыми наделил Пушкин своего Белкина. Белкин не есть только «врожденный здравый смысл», свойственный и простолюдинам: ум его уже несколько приподнят над уровнем ежедневности; он очень самоуверен в суждениях как об изображаемых лицах, так и о господствующих воззрениях, какие встречал он в книгах, которые случалось ему прочитать. Как самоучка, он представляет типическую смесь независимости перед авторитетами с самым наивным благоговением перед теми, кто носит в обществе ранг писателя. Он не прочь сослаться на Жан Поля Рихтера в защите самобытности, «без чего не существует и человеческого величия», и, как видно, он внутренне очень ценит в себе такую своеобразность. Но это несколько не мешает ему признавать вполне «в порядке вещей», если его обносят блюдом, как человека мелкого чина. «В самом деле – замечает он по этому поводу – что было бы с нами, если бы вместо общеудобного правила: чин чина почитай, ввелось в употребление другое, например: ум ума почитай»? В этом сказывается пройденная им военная

дисциплина во время юнкерской службы, которая, по его сознанию, «оставила ему мало приятных впечатлений». Но в то же время, сколько в нем сосредоточенной уверенности в своем уме! И это самомнение нисколько не мешает ему оробеть от одной богатой обстановки графского дома, когда он входит в него. Помыкаемый с юных лет незавидной жизнью в деревенской глуши и по дорогам, он, однако же, не находит удовлетворения в такой жизни и «тихонько вздыхает о прежней шумной и беззаботной жизни в полку». Но более всего дорожит он чувством собственного достоинства, не покидающим его никогда: хотя и обойденный судьбой, но он дворянин, и когда судьба сталкивает его с человеком приниженным, он готов скорее приподнять его до себя, нежели принизиться до него. Отсюда его защита «почтенного сословия станционных смотрителей», беседу с которыми он предпочитает речам какого-нибудь чиновника 6-го класса.

Эта логика, которую дворянские чувства Белкина поправляют противоречие их с его положением в свете, вносит важную черту в характеристику типа и делает личность этого недоросля личностью далеко не непосредственной. Чувство собственного достоинства достается ему нелегко. Его уже гложет внутренний червяк неудачника нового времени. Это не Гринев, который чувствует себя на твердой почве. Белкин этой своей стороною не только родствен Езерскому «Родословной» и «Медного Всадника», но в дальнейшем развитии обещает уже «лишних людей» Тургенева.

Белкина томит скука, но он не спился, как другие в его положении. Недостаток содержания в жизни своей он восполняет напряженным вниманием к мелочам окружающего. Он усиленно любопытен и мелочно внимателен к самым ничтожным явлениям жизни. Отсюда его привычка к размышлению надо всем – от лубочной картинки на стене почтовой станции до сердца женщин. Отсюда возможность так серьезно писать «Историю села Горюхина».

Можно ли было лучше выбрать посредника между собою и читателем для изображения тех мелочей жизни, которая после поэм и лироэпического романа Пушкин впервые выбрал для повествования?

В результате получилось то, что рассказ отцвечен своеобразным юмором, без которого трогательное мещанской жизни превратилось бы в сентиментализм, наивное – в пошлость.

Указанное художественное значение личности Белкина, служащей как бы призмой, сквозь которую должно преломляться изображение, доказывается более всего тем, что там, где изображаемое, хотя взятое и из низменной сферы, представляло само по себе интерес, явный для каждого, – личность Белкина ступшевана до ничтожных размеров. Мы видим это в «Гробовщике», где психологический интерес рассказа мог найти доступ до сердца читателя почти без всякого посредства. Картинки жизни, представленные в «Метели» и «Барышне-крестьянке» Пушкин считал настолько замысловатыми уже по одной своей фабуле, что счел возможным умалить в них участия Белкина без риска ослабить впечатление на читателей. Совсем не то в «Выстреле», а тем более в «Истории села Горюхина». Не будь здесь Белкина, от первого осталась бы мелодрама, а последняя стала бы вовсе невозможна. Таким образом гениально изобретенный художественный прием в этих повестях, по-видимому, столь незначительных, открыл путь в создании русской повести последующим поэтам: Гоголю, Тургеневу, Достоевскому и гр. А. Толстому.

Между тем критика долго не ценила этих повестей по их достоинству. В современных отзывах о ней хвалили слог, умение волновать читателя и заставлять его то задумываться, то смеяться, да указали несколько галлицизмов. Н. Полевой отозвался так о Повестях Белкина: «Вот также пять маленьких сказочек, которые напечатал г-н. А. П., почитая их занимательными, вероятно, не для детей, а для взрослых. Помнится, в "Северной Пчеле" было сказано несколько слов о забавном подражании наших литераторов нынешней моде французской и английской. Во Франции и Англии выдают ныне книги на половину без подписи имен, или с подложными именами сочинителей. И у нас стали делать то же: являются беспрестанно анонимы и псевдонимы. Но что у англичан и французов происходит от избытка силы, то у нас пустое обезьянство. Многие сочинители наши могут подписывать и не подписывать имена свои, и все-таки останутся *anonymes dans les deux cas*¹. Этот И. П. Белкин, этот издатель сочинений его, который подписывается буквами А. П., и о котором в объявлении книгопродавцев говорят, как о славном нашем поэте, не походят ли они на дитя, закрывшее лицо руками, и думающее, что его не увидят?

Впрочем, буквы А. П. были необходимы в другом отношении: без этого никто и не заметил бы "Повестей Белкина". Теперь, по крайней мере, их прочитали.

Кажется, сочинителю хотелось испытать: можно ли увлечь внимание читателя рассказами, в которых не было бы никаких фигурных украшений ни в подробностях рассказа, ни в слоге, и никакого романизма в содержании (принимая здесь слово романизм, как умоизвятие, в чем, по уверению наших риториков, заключается сущность романа).

Дарования В. Ирвинга² в наше время, кажется, решили уже этот вопрос. Но знал ли г. Белкин, что это верх силы дарования огромного? Эта мнимая простота показывает Геркулеса, без всякого усилия, шутя, ломающего огромные деревья.

Возьмите какую-нибудь Ирвингову повесть. Педант, школьный учитель, влюбился в девушку; любовник красавицы пугает педанта мертвецами и заставляет бежать. Англичанин, съехавшись в дороге с молодою венецианкой, спасает ее от разбойников. Вот содержание двух повестей. Что может быть этого проще? В рассказе той и другой повести нет ни риторических фигур, ни нечаянностей, ни блесков. Но в этом-то отсутствии шумихи содержания и слога заключается высокое искусство. Всего более показал сию степень, если можно так сказать, безыскусственного искусства, В. Ирвинг в тех рассказах, где вовсе нет у него никакой завязки. Читайте его "Растерзанное сердце", свидание с В. Скоттом, воронов и ворон – неподражаемо! И. П. Белкину явно хотелось попасть в колею В. Ирвинга. Но как "Евгений Онегин" далек от "Дон Гуана", так "Повести Белкина" далеки от созданий В. Ирвинга. Лучшей из всех "Повестей Белкина" нам показалась – "Станционный смотритель". В ней есть несколько мест, показывающих знание человеческого сердца. Забавна и шутка, названная "Гробовщик". Зато в повестях: "Выстрел", "Метель" и "Барышня-крестьянка" нет даже никакой вероятности, ни поэтической, ни романической. Это фарсы, затянутые в корсет простоты, без всякого милосердия».

¹ *anonymes dans les deux cas* (фр.) – анонимными в обоих случаях.

² Вашингтон Ирвинг – американский писатель XIX века, которого часто называют "отцом американской литературы".

Через три года по выходе «Повестей Белкина» юному Белинскому (1834) пришлось высказать свое суждение о них, и он подошел к ним с такой стороны, с которой они и рассматриваемы быть не могут. Он искал в них пламенного чувства Шиллеровых «Разбойников»! Огорченный холодностью зреющего таланта Пушкина, он восклицает: «Горестная мысль! Постепенная возвышенность гения необходимо сопряжена с постепенным охлаждением чувства. Найдите создание чувовищнее «Разбойников» и вместе с тем найдите создание пламеннее этого первого произведения Шиллера. Воля ваша, а весна самое лучшее время года»! С такой сентиментальной точки зрения, конечно, Белинский должен был, безусловно, отвергнуть первый опыт «повестей будущего», какими они предстали во время их появления. «Вот передо мною лежат – продолжает Белинский – повести, изданные Пушкиным, «неужели Пушкиным же и написанные? Пушкиным, творцом "Кавказского Пленника"; "Бахчисарайского фонтана", "Цыган", "Полтавы", "Онегина" и "Бориса Годунова"! Правда, эти повести занимательны; их нельзя читать без удовольствия; это происходит от прелестного слога, от искусства рассказывать; но они не художественные создания, а просто сказки и побасенки; их с удовольствием и даже с наслаждением прочтет семья, собравшаяся в скучный и длинный зимний вечер у камина; но от них не закипит кровь пылкого юноши, не засверкают очи его огнем восторга»... и т. д.

...Прозаические бредни,
Фламандской школы пестрый вздор!

«Из повестей – заключает Белинский – собственно только первая, "Выстрел", достойна имени Пушкина».

Еще в менее благоприятный момент пришлось Белинскому вторично обратиться к «Повестям Белкина». Это случилось в то время, когда Белинский, уже занятый публицистическими целями, нехотя дописывал свою статью «О сочинениях Пушкина» (1846). «Это что-то вроде повестей Карамзина, – так ценит он их теперь – с тою только разницей, что повести Карамзина имели для своего времени великое значение, а повести Белкина были ниже своего времени. Особенно жалка из них одна – "Барышня-крестьянка", неправдоподобная, водевильная, представляющая помещичью жизнь с идиллической точки зрения». Таким образом «Повести Белкина» ускользнули от Белинского в ту пору его критической деятельности, когда он мог бы разгадать достоинства их. Тем не менее, при всей небрежности его взгляда на эти повести, приговор о худшей из них, как всегда, очень верен: слабейшая из них, конечно – «Барышня-крестьянка».

П. В. Анненков не много выше оценил Повести Белкина. «Повести Белкина – писал он (1855) – должно разбирать теперь только со стороны слога, изложения, а не содержания, которое от качеств того и другого заимствовало все свое значение. Так понимал их и сам автор. Тонкая ирония, лукавый и вместе добродушный юмор их, простота языка и средств, употребляемых автором для сцепления и развития происшествий, заслуживают и теперь внимания. Очерки и краски "Повестей Белкина" чрезвычайно нежны, и после яркой живописи Гоголя надо уже внимание и зоркость любителя, чтоб оценить их по достоинству».

Смелее указал художественную красоту «Повестей Белкина» А. В. Дружинин¹ (1855), хотя вследствие полемических целей односторонне. «Прозаические произведения А. С. за указанный период – писал он – стоят особенного внимания настоящих ценителей, и нам (может быть, мы и заблуждаемся) всегда казались страстными журнальные отзывы об этих произведениях. Даже в "Материалах", нами разбираемых, г. Анненков как-то неохотно хвалит повести Белкина, упрекая их в бедности содержания и прибавляя, что в наше время нужна зоркость любителя для того, чтоб оценить их по достоинству. С таким отзывом мы согласиться не можем. Повестей Белкина, по нашему мнению, не должен проходить молчанием ни один человек, интересующийся русскою прозою. Повести Белкина были первым опытом А. С. в повествовательном роде: эти повести имели огромный успех у публики; а влияние, ими произведенное, отчасти отразилось чуть ли не на всех наших романах и повестях. Повести Белкина – книга увлекательная, прекрасная, светлая и, подобно лучшим страницам Гольдсмитовых² творений, уносящая своих читателей в мир ясных ощущений. Если нас восхищают поэты, знакомящие со смешною, темною стороною жизни, то по какому праву станем мы отказывать в нашей хвале писателю, раскрывающему перед нами другую сторону той же жизни – сторону спокойную, радостную и родственную душе нашей? Если мы по несколько раз с наслаждением перечитываем "Ссору Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем", "Нос", "Коляску" и другие повести в том же роде, то какое право имеем мы отказывать "Повестям Белкина" в содержании? Если Пушкин, много испытывший в жизни, страдавший от клеветы друзей и обид холодного света, человек боровшийся, раскаивавшийся, заблуждавшийся, проводивший бессонные ночи, ливший горькие слезы много раз в течение своей жизни, находил средство глядеть на жизнь с ясной приветливостью, – нам ли осуждать за это Пушкина? Скажем более, нам его надо любить именно за это. Счастлив человек, выносящий из жизненного опыта подобную незлобливость, подобную способность к улыбке, подобное радушие к людям, подобную зоркость взгляда на всю ясную сторону жизни! Иногда на идиллию надо иметь более сил, чем на драму в мизантропическом вкусе; очень часто сатира дается легче, чем милая шутка. Но мы пока еще не хотим признавать сказанной истины, ибо по нашей насмешливой славянской природе мы всегда готовы увлечься человеком потешающимся на наш счет и не идущим в карман за жестоким словом... Деятельность Пушкина, как автора "Повестей Белкина" (с "Летописью села Горюхина"), "Капитанской дочки", "Пиковой дамы" и "Дубровского", кажется нам деятельностью в высшей степени благотворною. Проза нашего поэта есть не только необходимое дополнение к его поэзии, но и предмет полезного изучения для новейших повествователей. Когда Пушкин начал писать прозой, критики его времени, избалованные "красотой слога", находили его прозу чересчур простой. ныне, может быть, найдутся ценители, готовые признать ее направление идиллическим и даже отклоняющимся от простоты вседневной жизни. Замысловатость, с

¹ Александр Васильевич Дружинин – писатель и литературный критик XIX века.

² Имеется в виду роман английского драматурга XVIII века Оливера Голдсмита «Векфилдский священник» с его характерным сочувственным взглядом на человека.

которой построен каждый из самых маленьких рассказов Белкина, может быть кажется чем-то сказочным иному лекисту¹ наших времен. Что до нас, мы думаем, что повести Пушкина вполне оценятся только когда начнется в нашей литературе законная, безобидная реакция против Гоголевского направления, а этого времени ждать недолго».

Впервые вдумался в «Повести Белкина» Ап. Григорьев² (1859), который одно время даже придавал Белкину неподобающее значение. Но он был близок к истине, когда писал: «Белкин Пушкинский есть простой здравый толк и здравое чувство, кроткое и смиренное, вопиющее законно против злоупотребления нами нашей широкой способности понимать и чувствовать – стало быть, начало только отрицательное, ибо, представьте его самому себе – оно перейдет в застой, мертвящую лень, в хамство. Посмотрите на этот отрицательный тип у Пушкина – везде, где он у него самолично является, или где поэт повествует в его тоне и с его взглядом на жизнь. Запуганный страшным призраком Сильвио, ошеломленный его мрачной сосредоточенностью в одном деле, в одной мстительной мысли, он еще не сомневается в том, что Сильвио может существовать: только в наше время, в повестях Толстого дошел он анализом до предположения, что таких людей, как Сильвио, не бывает. У Пушкина он знает только, что сам он вовсе не Сильвио, и боится этого типа. "Нет уж – говорит он – лучше пойду я к людям попроще", и первый опускается в простые и так называемые низшие слои жизни. В "Гробовщике" – зерно всех наших теперешних отношений к этим слоям жизни, а в "Станционном смотрителе" – зерно всей натуральной школы».

Но с этой жизнью попроще, куда он хочет спуститься, он ведь тоже разобщен кой-каким образованием, а главное – он уже смотрит на нее с высоты кой-какого образования.

Комизм положения человека, который считает себя обязанным по своему образованию смотреть, как на нечто себе чуждое, на то, с чем у него гораздо более общего, чем с приобретенными им верхушками образованности, – является необыкновенно ярко в лице Белкина, автора "Летописи села Горюхина"».

Порою же А. Григорьев видит в Белкине мировоззрение, симпатичное ему настолько, что он подводит под него все «типовое» (как он выражается), т.е. смиренное простодушие. В это мировоззрение, по мнению А. Григорьева, уходил Пушкин от тревожных веяний романтизма; в него будто бы уходил потом и Тургенев от тех же веяний в лицах его повестей, «подбирающих чужую любовь», и Писемский, и Островский в подобных же смиренных типах. Мало помалу у А. Григорьева смиренный тип, который он называл Иваном Петровичем Белкиным, получает значение типа, возросшего «на скудной, еще не возделанной почве», но вступающего в плодотворную борьбу с натурами демоническими, байроническими, представителями которых Григорьев видит в Алеко, Германе (в «Пиковой даме») и Сильвио

¹ *Лекисты – представители школы английских поэтов, которые преимущественно писали о красотах природы, в широком смысле – поэты.*

² *Аполлон Александрович Григорьев – поэт, переводчик и литературный критик XIX века.*

(в «Выстреле»). Григорьев видит в Белкине временную замену положительного типа, которого искал Пушкин. Всякое примирение со скромной житейской средой, кем бы ни была изображена она, Григорьев называет мировоззрением И. П. Белкина. Так Лаврецкий, герой «Дворянского гнезда» Тургенева, когда он, усталый и полуразбитый жизнью, возвращается в мир старых преданий на родину, «на самое дно реки», и «возвращается туда не умирать, а жить, и живет впервые полною гармоническою жизнью», то он представляет Ивана Петровича Белкина, вышедшего из своего запуганного, чисто отрицательного состояния». По мнению Григорьева, это уже тип «не отрицательный только, а положительный; загнанный, смиренный, простой человек, доселе только (в лице Белкина) позволявший себе изредка критическое или комическое отношение к блестящему хищному человеку». Взгляды Белкина Григорьев называет «жизненными», т.е. противоположными взглядам личностей, протестовавших против русской жизни. «Еще прежде "Повестей Белкина" и "Капитанской дочки" – замечает Григорьев – поэт в "Онегине" обещал нам

Поэму песен в двадцать пять...
Детей условленные встречи
У старых лип, у ручейка и т. д.

Еще прежде грозил он нам, великий протестант, давший нам Пленника, Алеко, Мазепу, примирением с действительностью, какова она есть:

Теперь мила мне балалайка,
Да пьяный топота трепака
Перед порогом кабака;
Мой идеал теперь хозяйка,
Да щей горшок, да сам большой.

Мы долго ему не верили в его разубеждениях. Наконец, он выступил перед нами совершенно новый, но одинаково великий, как и прежде, в своих новых созданиях, в "Капитанской дочке", "Летописи села Горюхина". Мы изумились. Пред нами предстал совершенно новый человек. Великий протестант умалился до лица Ивана Петровича Белкина, до лица, хотя несколько иронически, но все-таки подчиненного окружающей действительности».

Нет никакого основания придавать такое непомерное значение мирозерцанию Белкина, созданного Пушкиным позднее Арапа Петра Великого и одновременно с Дон Гуаном и Моцартом. Но как нельзя более справедливо, что в повестях Белкина, в Летописи села Горюхина, Капитанской дочке, Арапе Петра Великого, Пушкин, по словам А. Григорьева (1861) «достигает удивительнейшего отождествления с воззрениями отцов, дедов и даже прадедов», и что «Гробовщик – зерно натурализма» последующих писателей. Справедливо и то, что «чисто действительное, несколько даже низменное воззрение Белкина идет у Пушкина рука об руку с глубоким пониманием и воспроизведением идеалов, тревоживших его душу в молодости, не сопровождается отречением от них», и что «Пушкин не западник, но и не славянофил, Пушкин – русский человек, каким сделало русского человека соприкосновение со сферами европейского развития»... Справедливо и то, что, по словам А. Григорьева (1864), Белинский «Пушкина Белкина положительно не понял».

По замечанию Н.Н. Страхова¹ (1867) «эти повести признаны (Белинским 1834 г.) недостойными имени Пушкина, и ясно из-за чего: из-за низменности лиц и событий, ими изображаемых, из-за того, что критик видит в них "фламандской школы пестрый сор"... Пушкин первый оставил возвышенные сферы – продолжает Страхов – которые, по-видимому, были ему сроднее, чем кому-либо, и первый принялся за жанр, за пестрый сор фламандской школы или, по его выражению, подмешал воды в свой поэтический бокал. В величайшем нашем писателе сказалась вдруг потребность какого-то отрезвления, и с тех пор он царит в нашей литературе. Из нее нужно объяснить явления этой литературы. Из нее объясняется прозаически поющий стих Некрасова, напряженный анализ гр. А. Толстого, симпатия к слабым натурам Ф. Достоевского, постоянная несостоятельность героев Тургенева, обнаженный реализм Писемского, поэтическое воспроизведение известного быта в драмах Островского».

ИСТОРИЯ СЕЛА ГОРЮХИНА

По отзыву Белинского (1846) «Летопись села Горюхина» – шутка острая, милая и забавная, в которой, впрочем, есть и серьезные вещи, как, например, прибытие в село Горюхино управителя и картина его управления.

По замечанию П.В. Анненкова (1855), «краски повестей Белкина в "Летописи села Горюхина", начатой 31 октября, заметно крепчают, особенно с перехода к рассказу о баснословной эпохе Горюхина. Для нас эта, к сожалению, неоконченная повесть, еще замечательная и тем, что в ней поэт обратился к простой действительности и к быту, в котором прежде, да и потом, искал только родников поэзии и тайн живописного языка. Прозаическая сторона этого быта нашла в летописи Горюхина, несмотря на веселый, насмешливый ее тон, истинное сочувствие, как и должно было ожидать от человека с многосторонним умом и сердцем, но в повести особенно заметно, что автор (т.е. Белкин) осматривает свой предмет свысока, описывает его и глядит на него постоянно сверху вниз. Ирония его добродушна и благородна, но это еще не юмор, порождаемый тесной, родственною жизнью с предметом. Читая изображение деревенского быта у Пушкина, невольно вспоминаешь превосходные строфы Онегина, в которых с таким сожалением замечает поэт наш, что смысл его уже клонится к простым, непышным картинам, к действительности скромной и не мечущейся в глаза:

Иные нужны мне картины.
Люблю песчаный кособор,
Перед избушкой две рябины,
Калитку, сломанный забор и проч.

С каким горьким чувством подметил он, что быт, далеко противоположный поэзии Байрона, тянет его к себе неведомой силой:

Порой дождливою нападни
Я, завернув на скотный двор...

¹ Николай Николаевич Страхов – философ, публицист и литературный критик XIX века.

Тьфу! прозаические бредни,
Фламандской школы пестрый сор!
Таков ли был я, расцветая?
Скажи, фонтан Бахчисарая!
Такие ль мысли мне на ум
Навел твой бесконечный шум,
Когда безмолвно пред тобою
Зарему я воображал...

То же самое чувство – продолжал Анненков – по нашему мнению сквозит и в самой веселости Пушкина, когда чертит он картины, подходящие к пестрому сору фламандской школы. Мы полагаем даже, что тайное раскаяние поэта и особенно опасение злых сближений¹, были причинами – почему Летопись села Горюхина, пренебреженная и забытая самим автором, явилась уже после смерти его в том неоконченном виде, какой знаем. Нельзя не пожалеть искренно об этом обстоятельстве. По довольно запутанной программе ее, которую затем и не прилагаем, видно, что Пушкин хотел заставить владельца Горюхина, г. Белкина, рассказать жизнь и хозяйство своего прадеда, деда и отца². Всем известно, как дорожил Пушкин известиями о нравах и быте старины, с какой любовью и вниманием собирал черты для характеристики прошлых времен и как мастерски воспроизводил их. Пренебрежение, в каком оставил он свою Летопись, лишило нас, вероятно, и тут, как и во многих других случаях, нескольких мастерских страниц, которые являлись у него тотчас, как переходил он на почву исторического романа».

«Комизм положения – пишет Ап. Григорьев (1859) – человека, который считает себя обязанным по своему образованию смотреть как на нечто себе чуждое, на то, с чем у него гораздо более общего, чем с приобретенными им верхушками образованности, – является необыкновенно ярко в лице Белкина, автора "Летописи села Горюхина". Эта летопись – тончайшая и вместе добродушно-поэтическая насмешка над целой вековой полосой нашего развития, над всей нашей поверхностной образованностью, из которой мы вынесли взгляд, совершенно неприложимый к явлениям окружающей нас действительности... В нашем наивном летописце села Горюхина лукаво скрыты и все наши прошлые взгляды на наш быт и на нашу старину, выражавшиеся то стихами вроде:

Российские князья, бояре, воеводы,
Пришедшие чрез Дон отыскивать свободы³,

то фразами, как, например: "Ярослав приехал господствовать над трупами", или "Отселе история наша приемлет достоинство истинно государственной"⁴, и, по

¹ То есть сближений с «Историей Государства Российского» Карамзина. Очевидно замена в заглавии «Истории» «Летописью» произошла у издателя (Плетнева) от боязни этих сближений.

² В сохранившейся ныне в бумагах поэта программе этого не видно.

³ Из «Дмитрия Донского» Озерова.

⁴ Из "Истории Государства Российского" Карамзина.

удивительно поэтическому предвидению, скрыты также все теперешние наши отношения в действительности. И ведь мало того, что в этом легком очерке, в этих немногих гениальных страницах бездна самой беспощадной иронии: в них есть нечто высшее иронии. Откуда в нем, в этом Белкине, который считал обязанностью писать с важностью древних историков о стране, называемой Горюхиным, и живописует вычурным тоном нравы ее обитателей, – откуда в нем такое удивительное знание этих нравов и такое любовное и вместе совершенно правильное к ним отношение?... О, сказки Арины Родионовны, вы хранили такую свежую, чистую струю в душе молодого, воспитанного по-французски барича, что отдаленное потомство помянет вас добрым словом и благословением».

Однако, сказки тут ни при чем. Пушкин, как помещик, знал быт и михайловских, и болдинских крестьян. Это видно из писем его, где он изредка касается своих к ним отношений, иногда шутливо описывает свои административные опыты в деревне. Так, прогнав экономку в Михайловском (Розу Григорьевну), не поладившую с няней Пушкина, он писал в январе 1825 г. брату: «Я нарядил комитет, составленный из Василия, Архипа и старосты, велел перемерить хлеб и открыл некоторые злоупотребления, т.е. несколько утаенных четвертей. Впрочем, она мерзавка и воровка. Покамест я принял бразды правления».

«Пушкину – замечает И. Н. Страхов (1867) – не чуждо было сознание своего величия. Этому простому человеку (одному из простейших, какие были в мире, по замечанию некоторого критика), добродушно признававшему себя орудием какой-то высшей силы, должно быть, иногда странно было чувствовать себя так высоко. По временам, однако же, он ощущал в себе такую уверенность... что душа его наполнялась гордой радостью, и он невольно бросал со своих высот на другие умы взгляд, так сказать, играющий высокомерием. В одно из таких времен добродушный Пушкин написал две пародии, именно "Летопись села Горюхина" – пародию на "Историю Государства Российского" Карамзина и так называемые "Подражания Данту".

Но скажем прежде несколько слов о том, что такое пародия. Читатели, привыкшие к современным ходячим пародиям, пожалуй, видят в них что-то не совсем хорошее, и готовы будут найти, что мы не делаем чести Пушкину, приписав ему охоту упражняться в этом роде поэзии. Пародия составляет нынче большей частью бестолковое глумление над пародируемым произведением, состоящее в бесцеремонном искажении его смысла, тона и духа. Это дело легкое и бесплодное, в котором талант заменяется грязным воображением, одевающим в пошлость все, что ни видит перед собою. Не такова настоящая, поэтическая пародия. Она требует глубокого и строгого проникновения в дух и манеру писателя, который пародируется. Чем ближе пародия к подлиннику, тем она выше. Во-вторых, такая пародия требует полного и меткого указания тех противоречий, которые пародируемый писатель представляет в отношении к действительности или к идеалу; следовательно, такая пародия требует ясного понимания этой действительности, этого идеала: она вызывается этим пониманием и служит для его выражения и прояснения. Таким образом, из-за настоящей пародии должен выглядывать тот взгляд на предмет, то лучшее и высшее его понимание, против которого фальшивит пародируемый автор. В таком смысле, как обличение фальши перед истиною, пародия есть вполне поэтическое дело, вызываемое действительною поэтической потребностью и требующее высокого таланта. В этом смысле

пародии Пушкина суть произведения удивительные по глубине и мастерству, лучшие пародии, какие когда-либо были писаны.

Пушкин до конца своей жизни никогда не думал печатать этих странных произведений, и они явились после его смерти в "Современнике"... В отношении к пародиям, можно почти, наверное, сказать, что они сделаны им только для себя. Это была свободная игра его могучего гения, смысл которой едва ли был бы доступен для его читателей.

Летопись села Горюхина писана языком Карамзинской "Истории", этим знаменитым слогом, в котором русская проза впервые зазвучала несколько искусственной и монотонной, но ясной мелодией. Расположение пародии напоминает первый том "Истории Государства Российского". Вступление соответствует предисловию. От стихов и повестей Белкин, подобно Карамзину, перешел к истории, и перешел с теми же чувствами. "Мысль – пишет Белкин – оставить мелочные и сомнительные анекдоты для повествования великих и истинных происшествий, давно тревожило мое воображение". Так смотрел и Карамзин: "И вымыслы нравятся – говорил он – но для полного удовольствия должно обманывать себя и думать, что они истина. Взгляд на значение истории у обоих совершенно одинаков. Быть судиею, наблюдателем и пророком веков и народов казалось мне высшею степенью, доступной для писателя". Так пишет Белкин, и так же начинает Карамзин: "История есть священная книга народов, главная, необходимая; зеркало их бытия и деятельности; скрижаль откровений и правил" и пр.

За вступлением следует список источников, как и у Карамзина; затем Баснословные времена, соответствующие первой главе, и Времена исторические, соответствующие третьей главе первого тома "Истории Государства Российского". Всего ясней параллельность двух последних частей. Карамзин всячески восхваляет древних славян; тем же хвалебным тоном пишет Белкин о своих горюхинцах.

Карамзин: "Славяне имели в стране своей истинное богатство людей: тучные луга для скотоводства и земли плодородные для хлебопашества, в котором издревле упражнялись".

Белкин: "Издревле Горюхино славилось своим плодородием и благорастворенным климатом. На тучных его нивах рожь, овес, ячмень и гречиха".

Карамзин: "Треки, осуждая нечистоту славян, хвалят их стройность, высокий рост и мужественную приятность лица. Загорая от жарких лучей солнца, они казались смуглыми, и все без исключения были русые".

Белкин: "Обитатели Горюхина, большую часть роста среднего, сложения крепкого и мужественного; глаза их серые, волосы русые и рыжие".

Карамзин: "Поляне были образованнее других. Древние славяне в низких хижинах своих умели наслаждаться действием так называемых искусств изящных. Волынка, гудок и дудка были также известны предкам нашим: ибо все народы славянские доныне любят их".

Белкин: "Музыка была всегда любимое искусство образованных горюхинцев; балалайка и волынка, услаждая чувства и сердце, поныне раздаются в их жилищах, особенно в древнем общественном здании, украшенном елкою".

Но еще сильнее, чем в отдельных чертах, в общем тоне "Летописи села Горюхина" чувствуется удивительно схваченная манера Карамзина; перечитывая потом первый

том "Истории", нельзя не чувствовать глубокой фальши, в которую впал Карамзин, резкого и потому смешного противоречия между предметом и изложением.

Итак, вот что сделал Пушкин. Он позволил себе лукавую и веселую дерзость... Он решился надсмеяться над нашими летописями и над великим трудом Карамзина, без сомнения, величайшим произведением русской литературы до Пушкина.

Но какая разница между взглядом поэта, умеющего видеть больше других людей, и тупым отрицанием, опирающимся на одно непонимание. Сквозь насмешки Пушкина сквозит истина дела; как живое, встает перед нами село Горюхино, и вы начинаете догадываться, в каком правдивом свете можно бы изложить историю наших предков. Карамзин, очевидно, употребил для этой истории чужие мерки, облек ее в ложные краски; Пушкин глубоко почувствовал фальшь и попробовал сделать несколько штрихов, вполне верных действительности: контраст вышел поразительный.

Для наших историков "Летопись села Горюхина" должна служить постоянным указанием на то, к чему они должны направлять все усилия при изображении далекой старины, людей и нравов, стоящих на совершенно иных ступенях развития, имеющих совершенно иные формы жизни. Всему своя мера»

«Ложный тон Карамзина – замечает Н. Н. Страхов в другом месте – разоблачен (в истории села Горюхина) совершенно, притом не вообще, а с точным указанием истинных свойств предмета, по отношению к которому этот тон ложен. Черты русской жизни, намеченные здесь Пушкиным, истинно драгоценны – и стоили бы подробного разбора (положим, например, так называемые крепостные отношения): ибо верность этих черт и правдивость их освещения поразительны. Важность "Летописи" видна уже из того, что с нее начинается поворот в деятельности Пушкина, и он пишет ряд повестей из русской жизни, заканчивающийся "Капитанской дочкой". В развитии русской литературы едва ли есть пункт более важный».

ДУБРОВСКИЙ

Повесть эта, начало которой в рукописи помечено 21 окт. 1832 г., а конец последней главы — 22 января 1833 г., писалась три с половиной месяца карандашом на отдельных листах, составляющих ныне две тетради. Первые восемь глав должны были составлять первый том, остальные – второй. Заглавия рукопись не имеет: оно дано издателями посмертного издания, где впервые повесть была напечатана в X томе (1841).

Сюжет «Дубровского» или, как его сперва называл Пушкин, «Островского» дан ему П. В. Нащокиным¹, который сам видел в остроге дворянина, доведенного до нищеты богатым и сильным соседом. Знакомый Нащокина, Дм. Вас. Короткий, служивший в 1832 г. в Москве и отлично знакомый с производством тяжёбных дел, сделал для Пушкина выписку из подлинного дела об отобрании имения у козловского (Тамбовской губернии) помещика, поручика Ив. Як. Муратова гвардии подполковником С. П. Крюковым. Имение это, состоявшее из 186 душ в сельце Новоспасском, было продано в 1759 г. отцом Крюкова отцу Муратова, но у последнего купчая крепость

¹ Павел Воинович Нащокин – меценат, коллекционер, друг Пушкина.

сгорела во время бывшего у него в 1790 г. пожара. Крюков представил в уездный суд сохранившийся в его бумагах старый документ на владение бывшим имением своего отца; Муратов не мог представить никаких документов. Напрасно объяснял он, что в архиве уездного суда должна сохраняться купчая крепость на спорное имение, что этим имением владели он и его отец более 70 лет: уездный суд в 1832 г. решил дело в пользу Крюкова. Муратов пропустил срок апелляции и безвозвратно лишился своего достояния. Не довольствуясь тем, что оттягал у соседа имение, Крюков требовал еще и всех доходов за 70 лет, что, естественно, вытекало из резолюции; но суд отказал ему, сославшись на то, что «прежде он такой претензии не имел». Во II-й главе повести, после слов «Мы помещаем его вполне» и пр. должно было следовать подлинное определение суда с заменой имен Муратова и Крюкова именами Дубровского и Троекурова, а спорное имение было названо сельцом Кистеневкой (по имени Кистенёва, одной из деревень – ныне села – Пушкиных Нижегородской г., Сергачского уезда, принадлежащего затем сыну поэта, Александру Александровичу).

«Чсть имею объявить – писал Пушкин в ноябре 1832 г. П. В. Нащокину – что первый том "Островского" кончен, и на днях прислан будет в Москву на твое рассмотрение и под критику г. Короткого. Я написал его в две недели, но остановился по причине жестокого ревматизма, от которого протрадал другие две недели, так что не брался за перо и не мог связать две мысли в голове».

Этим перерывом объясняется та значительная разница, которая существует между второй половиной повести и ее первой половиной. Разница эта выступает с особенною силою с XIII-й главы, где вводится новое действующее лицо: пока в повествовании главное действие сосредоточивается около Троекурова, заметна необыкновенная жизненность каждой черты; видно, что он и вся его окружающая обстановка яркими чертами предстояли фантазии поэта. Но с введением в действие князя Верейского эта законченность уступает место торопливому ходу интриги. Видно, что поэт охладел к своему замыслу, повесть окончена поспешно и, по справедливому замечанию П. В. Анненкова, конец этот даже «разноречит с сущностью всего остального содержания, замечательного строгой верностью с действительным бытом и нравами описываемого общества».

Белинский (1841) отзывался о «Дубровском», при появлении его из печати, как об «одном из величайших созданий гения Пушкина», которое «верностью красок и художественною отделкой не уступает Капитанской Дочке, а богатством содержания, разнообразием и быстротой действия далеко превосходит ее. Оно значительно и объемом своим». Позднее (1846) Белинский изменил свое мнение: «Дубровский – *pendant*¹ к Капитанской Дочке. В обеих преобладает пафос помещичьего принципа, и молодой Дубровский представлен Ахиллом между людьми этого рода, – роль, которая решительно не удалась Гринеvu, герою Капитанской Дочки. Но Дубровский, несмотря на все мастерство, которое обнаружил автор в его изображении, все-таки остался лицом мелодраматическим и не возбуждающим к себе участия. Вообще вся эта повесть сильно отзывает мелодрамою. Но в ней есть дивные вещи. Старинный быт русского дворянства, в лице Троекурова, изображен с ужасающею верностью.

¹ *pendant* (фр.) – довесок.

Подьячие и судопроизводство того времени тоже принадлежат к блестящим сторонам повести. Превосходно очерчены также и холопы. Но всего лучше – характер героини, по преимуществу русской женщины. Уединенная жизнь и французские романы сильно развили в ней не чувство, не страсти, а фантазию, и она считала себя действительно героиней, готовой на все жертвы для того, кого полюбит. Покуда ей приходилось только играть в роман, она делала возможные безумства, но дошло до дела – и она принялась за мораль... Быть похищенной разбойником у алтаря, куда насильно притащили ее, чтоб обвенчать с развратным старичишкой, казалось для нее очень «романическим», следовательно, чрезвычайно заманчивым. Но Дубровский опоздал, – и она втайне обрадовалась и разыграла роль верной жены, следовательно, опять героини»...

«Пушкин нарисовал свою картину – замечает Анненков (1855) – с особенной энергией, а в характере Троекурова явился глубоким психологом. Вся повесть его и теперь поражает соединением истины и поэзии. В русской литературе мало рассказов, отличающихся таким твердым выражением физиономии: это живопись мастера. Весьма важно для литературных соображений и то, что "Дубровский" написан ранее произведений Гоголя из русского быта, веден иначе, чем они, и совсем в другом тоне».

Ап. Григорьев справедливо замечает (1859) о родственности «Дубровского» (вместе с «Капитанской Дочкой») с «Семейной Хроникой» С. Аксакова и указывает на однородность «Правдивых людей», выведенных русской поэзией: старика Гринева, старика Багрова, старика Дубровского, к которым затем примыкает Чацкий, «наследовавший если не от отца, то от деда или прадеда свою правдивую натуру». В другом месте (1861) Ап. Григорьев, замечая о непосредственном чутье народной жизни в Пушкине, например указывает ту черту, что кузнец, поджигающий равнодушно-сурово приказных, лезет в огонь спасать кошку, «чтобы не погибла Божия тварь»... Указывая на глубокое понимание как комических пружин быта русского человека (в «Летописи села Горюхина»), так и трагических (в кузнице в «Дубровском» и Пугачева в «Капитанской Дочке», например, на попойке Пугачева), Григорьев прибавляет: «Пушкин ни разу не позволил себе написать какую-либо повесть с «народными разговорами», ибо знал, что не пришло еще время, нет еще красок под рукою и неоткуда их взять, пока не последуют его совету и не будут учиться русскому языку у московских просвирен¹, что речь, которую выдавали за народную (Григорьев разумеет романы Загоскина²), – не народная, а подслушанная у дворни, что чувства, этою речью выраженные – фальшивы... Пушкин только там писал красками, где знал эти краски»...

Проследивая в произведениях Пушкина исторический тип, порожденный еще XVII веком, – русского человека, который вырос в убеждении, что он родился не европейцем, но обязан стать им, В. О. Ключевский (1880) замечает, что Пушкин «сознательно или нет, на разновременных вариантах этого типа с особенною любовью

¹ Просвирня – женщина, занимающаяся выпечкой просвир, то есть круглых хлебцев для религиозных обрядов.

² Михаил Николаевич Загоскин – писатель и драматург XIX века.

останавливался в преданиях прошлого. Этим он и помог много историку в изучении любопытного типа. В длинном ряде эскизов и повестей, конченных и неоконченных, в "Арапе Петра Великого", в "Дубровском", в "Капитанской Дочке" и др., перед читателем проходят разнохарактерные фигуры этого типа, появляющиеся на пространных слишком ста лет... Позади их всех стоит чопорный Гаврила Афанасьевич Р. в "Арапе Петра Великого"... Живуч был общественно-физиологический вид, представленный в лице молодого Корсакова, Ибрагимов товарища по курсу высшей европеизации в парижских салонах. Это русский петиметр¹ XVIII века... Троекуров в "Дубровском" – постаревший петиметр в отставке, приехавший в деревню душить на досуге. У младших петровских дельцов часто бывали такие дети. Живя в более распушенное время, они теряли знания и выдержку отцов, не теряя их аппетитов и вкусов. Невежественный и грубый, Троекуров, однако, старается дать дочери модное воспитание с гувернером французом и выдает замуж за самого модного барина. Троекуровы родились при Елизавете, процветали в столице, дурили по захолюстьям при Екатерине II, но посеяны они еще при Аннах². Это – миниатюрные провинциальные пародии временщиков столицы, которых превосходно характеризовал гр. Н. И. Панин, назвав "припадочными людьми". "Как увидишь его, Троекурова – говорил местный дьячок – страх и ужас, а спина-то сама так и гнется, так и гнется"... Князь Верейский – достойный зять Троекурова. Это – настоящее создание Екатерининской эпохи, цветок, выросший на почве закона о вольности дворянства и обрызганный каплями росы вольтерьянского просвещения. Верейский – едва ли не самый ранний экземпляр новой разновидности нашего типа, которая развелась очень быстро. Подобными ему людьми до скуки переполняется высшее русское общество с конца царствования Екатерины. За границей они растрачивали богатый дедовский и отцовский запас нервов и звонкой наличности и возвращались в Россию лечиться и платить долги. Князь Верейский жил за морем и, приехав умирать в Россию, напрасно пытался оживить угасшие силы и затеями сельской роскоши, и расцветшей на сельском приволье дочерью Троекурова. Он – иначе, тоньше редижированный³ Троекуров: его европеизированное варварство из острого буйного Троекуровского переродилось в тихое, меланхолическое, не под гуманизирующим влиянием Монтескье⁴ или Вольтера, а просто потому, что тесть привез в деревню из Петербурга мускулы и нервы, чего зять уже не привез из Парижа. Отсюда непрестанная скука князя Верейского, которая с легкой руки стала неслучайной особенностью дальнейших видов этого типа. Дубровский отец – лицо любопытное по своей литературной судьбе. Это – любимое лицо нашей комедии XVIII века, ее Правдин, Стародум... Пушкин отметил его вскользь, двумя-тремя чертами, и однако он вышел у него живее и правдивее, чем в комедии XVIII века».

¹ Петиметр – молодой франт, подражающий всему французскому.

² при императрице Анне Иоанновне и регентше Анне Леопольдовне.

³ редижированный (от фр. *rediger*) – редактированный.

⁴ Шарль де Монтескье – французский писатель, философ и правовед XVIII века.

КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА

Первоисточниками поэтического воспроизведения событий в этой повести были материалы к «Истории Пугачевского бунта». К ним присоединились некоторые устные предания и личные впечатления поэта при посещении Оренбургского и Казанского краев.

Свою поездку Пушкин задумал летом 1833 г. на Черной речке, откуда писал он к А. Х. Бенкендорфу 30 июля о необходимости поездки для окончания романа «коего большая часть действия происходит в Оренбурге и Казани». 8 сентября Пушкин был уже в Казани, где, по его собственному выражению в письме к жене от 12 сент., «та-скался по окрестностям, по полям и по кабакам». Из Симбирска и Оренбурга он писал жене: «Уж чувствую, что дурь на меня находит – я и в коляске сочиняю; что ж будет в постели?». Из Оренбурга Пушкин проехал в Уральск. «Тамошний атаман и казаки – писал он, – приняли меня славно, дали мне два обеда, подписали за мое здоровье, напере-рыв давали мне все известия, в которых имел нужду... В деревне Берде, где Пугачев про-стоял 6 месяцев, имел я *une bonne fortune*¹ – нашел 75-летнюю казачку, которая помнит это время, как мы с тобой помним 1830 год. Я от нее не отставал... Теперь надеюсь мно-гое привести в порядок, многое написать, и потом к тебе с добычею».

В начале октября в Болдине Пушкин занимался «приведением в порядок своих записок о Пугачеве». Проснувшись в 7 часов, пил он кофе и, по обыкновению свое-му, не покидал постели до 3 часов, предаваясь своим литературным занятиям. «Не-давно, – писал он, – расписался, и уже написал пропасть». В ноябре Пушкин был уже в Петербурге.

«Я думал некогда, – писал Пушкин к А. Х. Бенкендорфу, – написать историче-ский роман, относящийся к временам Пугачева, но нашед множество материалов, я оставил вымысел и написал историю Пугачевщины». При этом письме от 6 декабря, Пушкин представил свою «Историю» на высочайшее рассмотрение. Начал он ее пе-чатать 3 июля 1834 г.

Когда именно была окончена «Капитанская дочка» неизвестно, но судя по пись-му к жене 25 октября 1834 г. из Болдина, где и в эту осень Пушкин провел около ме-сяца, она в это время была уже кончена. Здесь писал он: «И стихи в голову нейдут, и роман не переписываю. Читаю Вальтер Скотта и Библию».

Повесть Пушкина ожидалась с нетерпением поклонниками его музыки. Вскоре по-сле посещения Пушкиным Казани Д. Давыдов писал Н. М. Языкову: «Я слышал, что в Казани находились Пушкин и Баратынский, собиравшие сведения о Пугачеве. Я из этого заключил, что они в союзе для сочинения какого-нибудь романа, в котором действующим лицом будет Пугачев. Если это правда, то дай Боже, авось и мы увидим что-нибудь в роде Вальтер Скотта; мы по сию пору не избалованы качеством, но за-душены лишь количеством романов».

«Капитанская дочка» писана от лица Гринева, одного из тех недорослей, позд-нейшего представителя которых мы видели в Белкине. Гринев, имея с Белкиным общие сословные черты, отличается от него, однако же, цельностью своей натуры. По замечанию В. О. Ключевского, это один из тех пехотных армейских офицеров, которые «сделали нашу военную историю XVIII в., протоптали славный путь от

¹ *счастливый случай* (фр.).

Кунерсдорфа до Рымника и Нови.... Недаром, – замечает он, – капитанская дочь Марья Ивановна Миронова предпочла добродушного армейца Гринева остроумному и знакомому с французской литературой гвардейцу Швабрину».

Сохранились в письме к Пушкину кн. Б. Ф. Одоевского следующие замечания: «Капитанскую Дочь я читал два раза сряду и буду писать о ней особо в Литер. Прибавлениях. Compliments вам в лицо делать не буду – вы знаете все, что я об вас думаю и к вам чувствую; но вот критика не в художественном, но в *читательном* отношении. Пугачев *слишком скоро*, после того как о нем в первый раз говорится, нападает на крепость; увеличение слухов не довольно растянуто; читатель не имеет времени побояться за жителей Белогорской крепости, когда она уже взята. Семейство Гринева хотелось бы видеть еще раз после всей передеряги: хочется знать, что скажет Гринев, увидав Машу с Савельичем. Савельич чудо. Это лицо самое трагическое, т. е. которого больше всех жаль в повести. Пугачев чудесен, он нарисован мастерски. Швабрин набросан прекрасно, но только набросан; для зубов читателя трудно пережевывать его переход из гвардии офицера в сообщники Пугачева. По выражению О. И. Сенковского Швабрин *слишком* умен и тонок, *чтобы* поверить возможности успеха Пугачева, и не довольно страстен, чтобы из любви к Маше решиться на такое дело. Маша так долго в его власти, а он не пользуется этими минутами. О подробностях не говорю, об интересе тоже: я не мог ни на минуту оставить книги, читая ее даже не как художник, но стараясь быть просто читателем, добравшимся до повести».

Действие «Капитанской дочки» приурочено у Пушкина к первой поре бунта, до разбития Пугачева под Татищевой: исторические ее черты живо воспроизводят взятие Яицких крепостей при первых успехах самозванца и пребывание его в Берде близ осажденного Оренбурга. Имена некоторых лиц в своей повести Пушкин заимствовал из материалов «Истории Пугачевского бунта». В приложении к ней упоминается отставной подпоручик Гринев в числе других лиц, которые находились под каралом, будучи сначала подозреваемы в сообщении со злодеями, но впоследствии оказались невинными. В числе этих лиц Гринев поименован на первом месте. Фамилия Швабрин заменила первоначальную: Шванвич – имя, упоминаемое в «Истории». Герой первоначально назывался Башариным, фамилией одного капитана Ильинской крепости, помилованного Пугачевым по просьбе солдат, а после – Буланиным.

В бумагах» Пушкина сохранились три отрывка программы этой повести;

1. «Башарин отцом своим привезен в Петербург и записан в гвардию, за шалость послан в гарнизон, пощажен Пугачевым при взятии крепости, произведен им в капитаны и отряжен с отдельной партией в Симбирск, под начальством одного из полковников Пугачева. Он спасает отца своего, который его не узнает. Является к Михельсону, который принимает его к себе; отличается против Пугачева; принят опять в гвардию; является к отцу в Москву, идет с ним к Пугачеву. Старый комендант отправляет свою дочь в ближнюю крепость. Пугачев, взяв одну, подступает к другой. Башарин первый на приступе. Требуем в награду...».

2. «Шванвич за буйство сослан в гарнизон. Степная крепость. Подступает Пугачев. Шванвич передает ему крепость. Взятие крепости. Шванвич делается сообщником Пугачева. Ведет свое отделение в Нижний. Спасает соседа отца своего. Чика между тем чуть было не повесил старого Шванвича. Шванвич привозит сына в Петербург. Орлов выпрашивает ему прощение, 31 января 1833».

3. «Башарин дорогой, во время бурана, спасает башкирца. Башкирец спасает его по взятии крепости. Пугачев щадит его, сказав башкирцу: "ты своею головою отвечаешь за него". Башкирец убит, etc».

Эти три отрывка программ свидетельствуют, что фабула «Капитанской дочки» изобретена была Пушкиным не сразу. Во 2-м из них даже героем повести предполагался Шванвич. В обеих первых программах героем предполагался юноша, испытывавший столичную жизнь, «за шалость» или «за буйство» очутившийся в степной крепости. Пушкин откинул эти предположения и только потом напал на мысль вывести героя чистым от соприкосновения с столичной сферой и повести рассказ от его имени. 3-й отрывок программы показывает, что и сближение героя с Пугачевым через встречу во время бурана изобретено Пушкиным после, причем башкирец, занимавший его место, устранен. Фабула получила более простоты. Личность героини не затронута во всех этих программах.

Исход повести основан на известном действительном событии, рассказанном на французском языке Ксавьеде Местром в его повести: *La jeune Sibérienne*, и популяризован в драме Н. Полевого «Параша Сибирячка».

Сохранился также черновой отрывок предисловия, которое Пушкин, по-видимому, хотел присоединить к своей повести: «Анекдот, служивший основанием повести, нами издаваемой, известен в Оренбургском крае. Читателю легко будет распознать нить истинного происшествия, проведенную сквозь вымыслы романтические, а для нас это было бы излишним трудом. Мы решились напечатать сие предисловие с совсем другим намерением...».

По замечанию Плетнева (1838), Пушкин «достиг в этой повести высочайшего совершенства – простоты самой природы».

По отзыву Белинского (1846), «Капитанская дочка» – нечто вроде «Онегина» в прозе. Поэт изображает в ней нравы русского общества в царствование Екатерины. Многие картины, по верности, истине содержания и мастерству изложения – чудо совершенства. Таковы портреты отца и матери героя, его гувернера француза и, в особенности, его дядьки Савельича, Зурина, Миронова и его жены, их кума Ивана Игнатьевича, наконец, самого Пугачева, с его "господами енаралами"; таковы многие сцены, которых за их множеством не находим нужным пересчитывать». Но Белинский не оценил характера самого повествователя, молодого Гринева, и назвал его бесцветным, осудив вместе с героиней и мелодраматическим лицом Швабрина.

Сжатое и только по наружности сухое изложение, принятое Пушкиным в "Истории Пугачевского бунта", – замечает Анненков (1855), – нашло как будто дополнение в образцовом его романе, имеющем теплоту и прелесть исторических записок».

ПРОПУЩЕННАЯ ГЛАВА¹

Мы приближались к берегам Волги; полк наш вступил в деревню** и остановился в ней ночевать. Староста объявил мне, что на той стороне все деревни взбунтовались,

¹ Глава эта не включена в окончательную редакцию «Капитанской дочки» и сохранилась в черновой рукописи, где названа «Пропущенная глава». В тексте этой главы Гринева называется Булаиным, а Зурин – Гриневым.

шайки пугачевские бродят везде. Это известие меня сильно встревожило. Мы должны были переправиться на другой день утром. Нетерпение овладело мной. Деревня отца моего находилась в тридцати верстах по ту сторону реки. Я спросил, не сыщется ли перевозчика. Все крестьяне были рыболовы; лодок было много. Я пришел к Гриневу и объявил ему о своем намерении. «Берегись, – сказал он мне. – Одному ехать опасно. Дождись утра. Мы переправимся первые и приведем в гости к твоим родителям 50 человек гусаров на всякий случай».

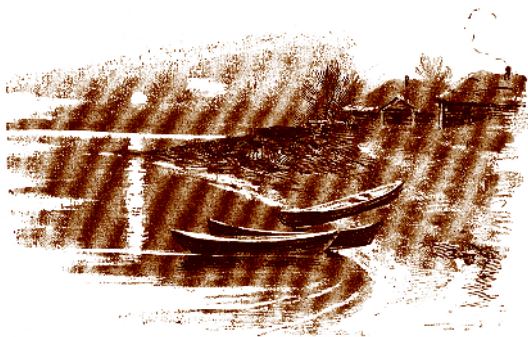
Я настоял на своем. Лодка была готова. Я сел в нее с двумя гребцами. Они отчалили и ударили в весла.

Небо было ясно. Луна сияла. Погода была тихая – Волга неслась ровно и спокойно. Лодка, плавно качаясь, быстро скользила по темным волнам. Я погрузился в мечты воображения. Прошло около получаса. Мы уже достигли середины реки... вдруг гребцы начали шептаться между собою. «Что такое?» – спросил я, очнувшись. «Не знаем, бог весть», – отвечали гребцы, смотря в одну сторону. Глаза мои приняли то же направление, и я увидел в сумраке что-то плывшее вниз по Волге. Незнакомый предмет приближался. Я велел гребцам остановиться и дожидаться его. Луна зашла за облако. Плывучий призрак сделался еще неяснее. Он был от меня уже близко, и я все еще не мог различить. «Что бы это было, – говорили гребцы. – Парус не парус, мачты не мачты...» – Вдруг луна вышла из-за облака и озарила зрелище ужасное. К нам навстречу плыла виселица, утвержденная на плоту, три тела висели на перекладине. Болезненное любопытство овладело мною. Я захотел взглянуть на лица висельников.

По моему приказанию гребцы зацепили плот багром, лодка моя толкнулась о плывучую виселицу. Я выпрыгнул и очутился между ужасными столбами. Яркая луна озаряла обезображенные лица несчастных. Один из них был старый чуваш, другой русский крестьянин, сильный и здоровый малый лет 20-ти. Но, взглянув на третьего,

я сильно был поражен и не мог удержаться от жалобного восклицания: это был Ванька, бедный мой Ванька, по глупости своей приставший к Пугачеву. Над ними прибита была черная доска, на которой белыми крупными буквами было написано: «Воры и бунтовщики». Гребцы смотрели равнодушно и ожидали меня, удерживая плот багром. Я сел опять в лодку. Плот





поплыл вниз по реке. Виселица долго чернела во мраке. Наконец она исчезла, и лодка моя причалила к высокому и крутому берегу...

Я щедро расплатился с гребцами. Один из них повел меня к выборному деревни, находившейся у перевоза. Я вошел с ним вместе в избу. Выборный, услыша, что я требую лошадей, при-

нял было меня довольно грубо, но мой вожатый сказал ему тихо несколько слов, и его суровость тотчас обратилась в торопливую услужливость. В одну минуту тройка была готова, я сел в тележку и велел себя везти в нашу деревню.

Я скакал по большой дороге, мимо спящих деревень. Я боялся одного: быть остановлену на дороге. Если ночная встреча моя на Волге доказывала присутствие бунтовщиков, то она вместе была доказательством и сильного противодействия правительства. На всякий случай я имел в кармане пропуск, выданный мне Пугачевым, и приказ полковника Гринева. Но никто мне не встретился, и к утру я завидел реку и словую рощу, за которой находилась наша деревня. Ямщик ударил по лошадям, и через четверть часа я въехал в **.

Барский дом находился на другом конце села. Лошади мчались во весь дух. Вдруг посреди улицы ямщик начал их удерживать. «Что такое?» – спросил я с нетерпением. «Застава, барин», – отвечал ямщик, с трудом остановив разъяренных своих коней. В самом деле, я увидел рогатку и караульного с дубиной. Мужик подошел ко мне и снял шляпу, спрашивая пашпорту. «Что это значит?» – спросил я его, – зачем здесь рогатка? Кого ты караулишь?» – «Да мы, батюшка, бунтуем», – отвечал он, почесываясь.

– А где ваши господа? – спросил я с сердечным замиранием...

– Господа-то наши где? – повторил мужик. – Господа наши в хлебном анбаре.

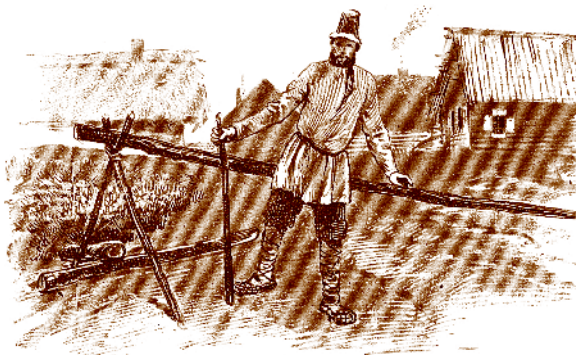
– Как в анбаре?

– Да Андрюха, земский, посадил, вишь, их в колодки и хочет везти к батюшке-государю.

– Боже мой! Отворачивай, дурак, рогатку. Что же ты зеваешь?

Караульный медлил.

Я выскочил из телеги, треснул его (виноват) в ухо и сам отодвинул рогатку. Мужик мой глядел на меня с глупым недоумением. Я сел опять в телегу и велел скакать к барскому дому. Хлебный анбар находился на дворе. У запертых дверей стояли два мужика также с дубинами. Телега остановилась прямо перед



ними. Я выскочил и бросился прямо на них. «Отворяйте двери!» – сказал я им. Вероятно, вид мой был страшен. По крайней мере оба убежали, бросив дубины. Я попытался сбить замок, а двери выломать, но двери были дубовые, а огромный замок несокрушим. В эту минуту статный молодой мужик вышел из людской избы и с видом надменным спросил меня, как я смею буянить. «Где Андрюшка земский, – закричал я ему. – Кликнуть его ко мне».

– Я сам Андрей Афанасьевич, а не Андрюшка, – отвечал он мне, гордо подбочась. – Чего надобно?

Вместо ответа я схватил его за ворот и, притащив к дверям анбара, велел их отпирать. Земский было заупрямился, но отеческое наказание подействовало и на него. Он вынул ключ и отпер анбар. Я кинулся через порог и в темном углу, слабо освещенном узким отверстием, прорубленным в потолке, увидел мать и отца. Руки их были связаны, на ноги набиты были колодки. Я бросился их обнимать и не мог выговорить ни слова. Оба смотрели на меня с изумлением, – три года военной жизни так изменили меня, что они не могли меня узнать. Матушка ахнула и залилась слезами.

Вдруг услышал я милый знакомый голос. «Петр Андреич! Это вы!» Я остолбенел... оглянулся и вижу в другом углу Марью Ивановну, также связанную.

Отец глядел на меня молча, не смея верить самому себе. Радость блистала на лице его. Я спешил саблею разрезать узлы их веревок.

– Здравствуй, здравствуй, Петруша, – говорил отец мне, прижимая меня к сердцу, – слава богу, дождались тебя...

– Петруша, друг мой, – говорила матушка. – Как тебя господь привел! Здоров ли ты?

Я спешил их вывести из заключения, – но, подошед к двери, я нашел ее снова запертою. «Андрюшка, – закричал я, – отопри!» – «Как не так, – отвечал из-за двери земский. – Сиди-ка сам здесь. Вот уж научим тебя буянить да за ворот таскать государевых чиновников!»

Я стал осматривать анбар, ища, не было ли какого-нибудь способа выбраться.

– Не трудись, – сказал мне батюшка, – не таковой я хозяин, чтоб можно было в анбары мои входить и выходить воровскими лазейками.

Матушка, на минуту обрванная моим появлением, впала в отчаяние, видя, что





пришлось и мне разделить погибель всей семьи. Но я был спокойнее с тех пор, как находился с ними и с Марьей Ивановной. Со мною была сабля и два пистолета, я мог еще выдержать осаду. Гринев должен был подоспеть к вечеру и нас освободить. Я сообщил все это моим родителям и успел успокоить матушку. Они предались вполне радости свидания.

– Ну, Петр, – сказал мне отец, – довольно ты проказил, и я на тебя порядком был сердит. Но нечего поминать про старое. Надеюсь, что теперь ты исправился и перебежился. Знаю, что ты служил, как надлежит честному офицеру. Спасибо. Утешил меня, старика. Коли тебе обязан я буду избавлением, то жизнь мне вдвое будет приятнее.

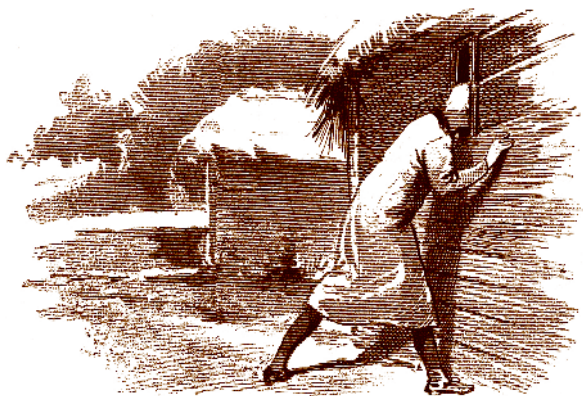
Я со слезами целовал его руку и глядел на Марью Ивановну, которая была так обрадована моим присутствием, что казалась совершенно счастлива и спокойна.

Около полудни услышали мы необычайный шум и крики. «Что это значит, – сказал отец, – уж не твой ли полковник подоспел?» – «Невозможно, – отвечал я. – Он не будет прежде вечера». Шум умножался. Били в набат. По двору скакали конные люди; в эту минуту в узкое отверстие, прорубленное в стене, просунулась седая голова Савельича, и мой бедный дядька произнес жалобным голосом: «Андрей Петрович, Авдотья Васильевна, батюшка ты мой, Петр Андреич, матушка Марья Ивановна, беда! злодеи вошли в село. И знаешь ли, Петр Андреич, кто их привел? Швабрин, Алексей Иваныч, нелегкое его побери!» Услыша ненавистное имя, Марья Ивановна всплеснула руками и осталась неподвижною.

– Послушай, – сказал я Савельичу, – пошли кого-нибудь верхом к * перевозу, навстречу гусарскому полку; и вели дать знать полковнику об нашей опасности.

– Да кого же послать, сударь! Все мальчишки бунтуют, а лошади все захвачены! Ахти! Вот уж на дворе – до анбара добираются.

В это время за дверью раздалось несколько голосов. Я молча дал знак матушке и Марье Ивановне удалиться в угол, обнажил саблю и прислонился к стене у самой двери. Батюшка взял пистолеты и на обоих взвел курки и стал подле меня. Загремел замок, дверь отворилась, и голова земского показала. Я ударил по ней саблею, и он упал, заградив вход. В ту же минуту





батюшка выстрелил в дверь из пистолета. Толпа, осаждавшая нас, отбежала с проклятиями. Я перетащил через порог раненого и запер дверь внутреннею петлею. Двор был полон вооруженных людей. Между ими узнал я Швабрина.

– Не бойтесь, – сказал я женщинам. – Есть надежда. А вы, батюшка, уже более не стреляйте. Побережем последний заряд.

Матушка молча молилась богу; Марья Ивановна стояла подле нее, с ангельским спокойствием ожидая решения судьбы нашей. За дверьми раздавались угрозы, брань и проклятия. Я стоял на своем месте, готовясь изрубить первого смельчака. Вдруг злодеи замолчали. Я услышал голос Швабрина, зовущего меня по имени.

– Я здесь, чего ты хочешь?

– Сдайся, Буланин, противиться напрасно. Пожалей своих стариков. Упрямством себя не спасешь. Я до вас доберусь!

– Попробуй, изменник!

– Не стану ни сам соваться по-пустому, ни своих людей тратить. А велю поджечь анбар и тогда посмотрим, что ты станешь делать, Дон-Кишот Белогорский. Теперь время обедать. Покамест сиди да думай на досуге. До свидания, Марья Ивановна, не извиняюсь перед вами: вам, вероятно, не скучно в потемках с вашим рыцарем.

Швабрин удалился и оставил караул у анбара. Мы молчали. Каждый из нас думал про себя, не смея сообщить другому своих мыслей. Я воображал себе все, что в состоянии был учинить озлобленный Швабрин. О себе



я почти не заботился. Признаться ли? И участь родителей моих не столько ужасала меня, как судьба Марьи Ивановны. Я знал, что матушка была обожаема крестьянами и дворовыми людьми, батюшка, несмотря на свою строгость, был также любим, ибо был справедлив и знал истинные нужды подвластных ему людей. Бунт их был заблуждение, мгновенное пьянство, а

не изъяснение их негодования. Тут пощада была вероятна. Но Марья Ивановна? Какую участь готовил ей развратный и бессовестный человек? Я не смел остановиться на этой ужасной мысли и готовился, прости господи, скорее умертвить ее, нежели вторично увидеть в руках жестокого недруга.

Прошло еще около часа. В деревне раздавались песни пьяных. Караульные наши им завидовали и, досадуя на нас, ругались и стращали нас истязаниями и смертью. Мы ожидали последствия угрозам Швабрина. Наконец сделалось большое движение на дворе, и мы опять услышали голос Швабрина.

– Что, надумались ли вы? Отдаетесь ли добровольно в мои руки?

Никто ему не отвечал. Подождав немного, Швабрин велел принести соломы. Через несколько минут вспыхнул огонь и осветил темный анбар и дым начал пробиваться из-под щелей порога. Тогда Марья Ивановна подошла ко мне и тихо, взяв меня за руку, сказала:

– Полно, Петр Андреич! Не губите за меня и себя и родителей. Выпустите меня. Швабрин меня послушает.

– Ни за что, – кричал я с сердцем. – Знаете ли вы, что вас ожидает?

– Бесчестия я не переживу, – отвечала она спокойно. – Но, может быть, я спасу моего избавителя и семью, которая так великодушно призрела мое бедное сиротство. Прощайте, Андрей Петрович. Прощайте, Авдотья Васильевна. Вы были для меня более, чем благодетели. Благословите меня. Простите же и вы, Петр Андреич. Будьте уверены, что... что... – тут она заплакала... и закрыла лицо руками... Я был как сумасшедший. Матушка плакала.

– Полно врать, Марья Ивановна, – сказал мой отец. – Кто тебя пустит одну к разбойникам! Сиди здесь и молчи. Умирать, так умирать уж вместе. Слушай, что там еще говорят?

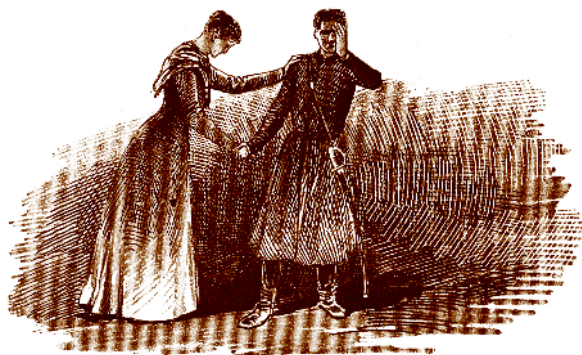
– Сдайтесь ли? – кричал Швабрин. – Видите? через пять минут вас изжарят.

– Не сдадимся, злодей! – отвечал ему батюшка твердым голосом.

Лицо его, покрытое морщинами, оживлено было удивительною бодростью, глаза грозно сверкали из-под седых бровей. И, обратясь ко мне, сказал:

– Теперь пора!

Он отпер двери. Огонь ворвался и взвился по бревнам, закопаченным сухим мохом. Батюшка выстрелил из пистолета и шагнул за пылающий порог, закричав:





«Все за мною». Я схватил за руку матушку и Марью Ивановну и быстро вывел их на воздух. У порога лежал Швабрин, простреленный дряхлою рукою отца моего; толпа разбойников, бежавшая от неожиданной нашей вылазки, тотчас ободрилась и начала нас окружать. Я успел нанести еще несколько ударов, но кирпич, удачно брошенный, угодил мне прямо в грудь. Я упал и на минуту лишился чувств. Пришел в себя, увидел я Швабрина, сидевшего на окровавленной траве, и перед ним все наше семейство. Меня поддерживали под руки. Толпа крестьян, казаков и башкирцев окружала нас. Швабрин был ужасно бледен. Одной рукой прижимал он раненый бок. Лицо его изображало мучение и злобу. Он медленно поднял голову, взглянул на меня и произнес слабым и невнятным голосом:

– Вешать его... и всех... кроме ее...

Тотчас толпа злодеев окружила нас и с криком потащила к воротам. Но вдруг они нас оставили и разбежались; в ворота въехал Гринев и за ним целый эскадрон с саблями наголо.

Бунтовщики утекали во все стороны; гусары их преследовали, рубили и хватали в плен. Гринев соскочил с лошади, поклонился батюшке и матушке и крепко пожал мне руку. «Кстати же я подроспел, – сказал он нам. – А! вот и твоя невеста». Марья





Ивановна покраснела по уши. Батюшка к нему подошел и благодарил его с видом спокойным, хотя и тронутым. Матушка обнимала его, называя ангелом избавителем. «Милости просим к нам», – сказал ему батюшка и повел его к нам в дом.

Проходя мимо Швабри-на, Гринев остановился. «Это кто?» – спросил он, глядя на раненого. «Это сам предво-

дитель, начальник шайки, – отвечал мой отец с некоторой гордостью, обличающей старого воина, – бог помог дряхлой руке моей наказать молодого злодея и отомстить ему за кровь моего сына».

– Это Швабрин, – сказал я Гриневу.

– Швабрин! Очень рад. Гусары! возьмите его! Да сказать нашему лекарю, чтоб он перевязал ему рану и берег его как зеницу ока. Швабрина надобно непременно представить в секретную Казанскую комиссию. Он один из главных преступников, и показания его должны быть важны.

Швабрин открыл томный взгляд. На лице его ничего не изображалось, кроме физической муки. Гусары отнесли его на плаще.

Мы вошли в комнаты. С трепетом смотрел я вокруг себя, припоминая свои младенческие годы. Ничто в доме не изменилось, все было на прежнем месте. Швабрин не дозволил его разграбить, сохраняя в самом своем унижении невольное отвращение от бесчестного корыстолюбия. Слуги явились в переднюю. Они не участвовали в бунте и от чистого сердца радовались нашему избавлению. Савельич торжествовал. Надобно знать, что во время тревоги, произведенной нападением разбойников, он побегал в конюшню, где стояла Швабрина лошадь, оседлал ее, вывел тихонько и благодаря суматохе незаметным образом поскакал к перевозу. Он встретил полк, отдохавший уже по сю сторону Волги. Гринев, узнав от него об нашей опасности, велел садиться, скомандовал марш, марш в галоп – и, слава богу, прискакал вовремя.

Гринев настоял на том, чтобы голова земского была на несколько часов выставлена на шесте у кабака.

Гусары возвратились с погони, захватя в плен несколько человек. Их заперли в тот самый анбар, в котором выдержали мы достопамятную осаду.

Мы разошлись каждый по своим комнатам. Старикам нужен был отдых. Не спавши целую ночь, я бросился на постель и крепко заснул. Гринев пошел делать свои распоряжения.

Вечером мы соединились в гостиной около самовара, весело разговаривая о минувшей опасности. Марья Ивановна разливала чай, я сел подле нее и занялся ею исключительно. Родители мои, казалось, благосклонно смотрели на нежность наших отношений. Доселе этот вечер живет в моем воспоминании. Я был счастлив, счастлив совершенно, а много ли таковых минут в бедной жизни человеческой?

На другой день доложили батюшке, что крестьяне явились на барский двор с повинною. Батюшка вышел к ним на крыльцо. При его появлении мужики стали на колени.

– Ну что, дураки, – сказал он им, – зачем вы вздумали бунтовать?

– Виноваты, государь ты наш, – отвечали они в голос.

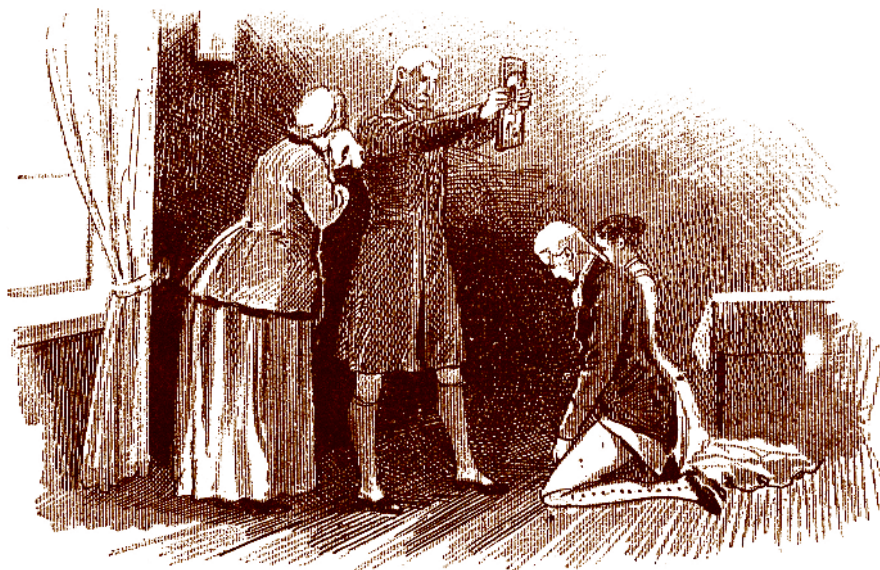
– То-то, виноваты. Напроказят, да и сами не рады. Прощаю вас для радости, что бог привел мне свидеться с сыном Петром Андреичем. Ну, добро: повинную голову меч не сечет. – Виноваты! Конечно, виноваты. Бог дал ведро, пора бы сено убирать; а вы, дурачье, целые три дня что делали? Староста! Нарядить поголовно на сенокос; да смотри, рыжая bestия, чтоб у меня к Ильину дню все сено было в копнах. Убирайтесь.

Мужики поклонились и пошли на барщину как ни в чем не бывало.

Рана Швабрина оказалась не смертельна. Его с конвоем отправили в Казань. Я видел из окна, как его уложили в телегу. Взоры наши встретились, он потупил голову, а я поспешно отошел от окна. Я боялся показывать вид, что торжествую над несчастьем и унижением недруга.

Гринев должен был отправиться далее. Я решился за ним последовать, несмотря на мое желание пробыть еще несколько дней посреди моего семейства. Накануне похода я пришел к моим родителям и по тогдашнему обыкновению поклонился им в ноги, прося их благословения на брак с Марьей Ивановной. Старики меня подняли





и в радостных слезах изъявили свое согласие. Я привел к ним Марью Ивановну бледную и трепещущую. Нас благословили... Что чувствовал я, того не стану описывать. Кто бывал в моем положении, тот и без того меня поймет, – кто не бывал, о том только могу пожалеть и советовать, пока еще время не ушло, влюбиться и получить от родителей благословение.

На другой день полк собрался, Гринев распростился с нашим семейством. Все мы были уверены, что военные действия скоро будут прекращены; через месяц я надеялся быть супругом. Марья Ивановна, прощаясь со мною, поцеловала меня при всех. Я сел верхом. Савельич опять за мною последовал – и полк ушел.

Долго смотрел я издали на сельский дом, опять мною покидаемый. Мрачное предчувствие тревожило меня. Кто-то мне шептал, что не все несчастья для меня миновались. Сердце чуяло новую бурю.

Не стану описывать нашего похода и окончания Пугачевской войны. Мы проходили через селения, разоренные Пугачевым, и поневоле отбирали у бедных жителей то, что оставлено было им разбойниками.

Они не знали, кому повиноваться. Правление было всюду прекращено. Помещики укрывались по лесам. Шайки разбойников злодействовали повсюду. Начальники отдельных отрядов, посланных в погоню за Пугачевым, тогда уже бегущим к Астрахани, самовластно наказывали виноватых и безвинных... Состояние всего края, где свирепствовал пожар, было ужасно. Не приведи бог видеть русский бунт – бессмысленный и беспощадный. Те, которые замышляют у нас невозможные перевороты, или молоды и не знают нашего народа, или уж люди жестокосердые, коим чужая головушка полушка, да и своя шейка копейка.

Пугачев бежал, преследуемый Ив. Ив. Михельсоном. Вскоре узнали мы о совершенном его разбитии. Наконец Гринев получил от своего генерала известие о поимке самозванца, а вместе и повеление остановиться. Наконец мне можно было ехать домой. Я был в восторге; но странное чувство омрачало мою радость.



ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН	5
МЕДНЫЙ ВСАДНИК.....	109
ПИКОВАЯ ДАМА	145
СЦЕНА ИЗ ФАУСТА.....	182
СКУПОЙ РЫЦАРЬ	186
МОЦАРТ И САЛЬЕРИ	205
КАМЕННЫЙ ГОСТЬ	218
ПИР ВО ВРЕМЯ ЧУМЫ	251
ЕГИПЕТСКИЕ НОЧИ	262
ПОВЕСТИ ПОКОЙНОГО ИВАНА ПЕТРОВИЧА БЕЛКИНА.....	279
ВЫСТРЕЛ.....	283
МЕТЕЛЬ	293
ГРОБОВЩИК	302
СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ	309
БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА	319
ИСТОРИЯ СЕЛА ГОРЮХИНА	335
ДУБРОВСКИЙ.....	347
КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА.....	403
ПРИЛОЖЕНИЕ	537

АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ПУШКИН

ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН
МЕДНЫЙ ВСАДНИК
ПИКОВАЯ ДАМА
МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ
ПОВЕСТИ ПОКОЙНОГО
ИВАНА ПЕТРОВИЧА БЕЛКИНА
ДУБРОВСКИЙ
КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА

Обработка иллюстраций, верстка
Е. Гезенцевей

Дизайн обложки,
подготовка к печати
А. Яскевич

Сдано в печать 13.03.2018
Объем 40 печ. листов
Тираж 3000 экз.
Заказ №



СЗКЭО
Санкт-Петербург

ООО «СЗКЭО»
Телефон в Санкт-Петербурге: +7 (812) 365-40-44
E-mail: knigi@szko.ru

ООО «Издательство «ОНИКС-ЛИТ»
119017, Москва, пер. Пыжевский, д. 5, стр. 1
Отдел реализации: тел.: (495) 649-85-07
Интернет-магазины: www.labyrinth.ru, www.my-shop.ru, www.ozon.ru

Отпечатано
ООО Типография «НП-Принт»
Санкт-Петербург
Чкаловский пр., д. 15, лит. А, корп. 7
Тел/факс: 325-22-97



Рассматривая все литературное наследие Пушкина, мы видим не только блеск его художественного таланта. Расположенный в хронологическом порядке длинный список произведений мастера показывает и своеобразную эволюцию, которую прошел поэт от первых ранних своих стихотворных опытов до драматических произведений необычайной глубины и силы. Именно такие масштабные сочинения классика, в которых проявилось его глубокое знание человеческой природы, и включены в данный сборник. Над «Евгением Онегиным» Пушкин работал много лет, поначалу даже не думая о его публикации. Он творил для себя, «забалтываясь донельзя», изображая отчасти и свою собствен-

ную жизнь, делая обширные отступления и лирические «заметы», исполненные и тонкого юмора, и глубокого знания жизни. Однако именно эта свобода формы позволила Пушкину выплеснуть на страницы этого романа в стихах весь свой накопленный жизненный опыт. Не удивительно, что «Евгения Онегина» справедливо называют своеобразной энциклопедией русской жизни начала XIX века.

В «Медном всаднике» поэт мастерски поднимает сложную и обычно трагическую тему вовлеченности «маленького человека» в драматический ход истории, жертвой которой он оказывается. «Пиковая дама» поражает не только верностью в изображении всех бытовых деталей этой драмы, но и глубиной психологического анализа. Недаром эту повесть так ценил Достоевский. Не менее верно и точно описаны у Пушкина мотивы поступков героев в «Скупом рыцаре». Подобно Онегину, Фауст у Пушкина — пример личности, не способной нащупать под ногами твердую почву, на которую можно было бы опереться в бурном море жизни. Небольшие по содержанию «Маленькие трагедии» — истинные шедевры драматургии, в которых нет ничего лишнего, случайного. В них наиболее полно воплотилось художественное единство действия.

Поднимаясь в своем творчестве до описания будничной жизни, Пушкин умело создает необходимый ему образ посредника и рассказчика — Ивана Петровича Белкина. Его повести в сборнике завершены «Историей села Горюхина», которую Пушкин начал писать как своеобразную пародию на «Историю государства Российского» Карамзина. Завершают сборник две повести, давно вошедшие в золотой фонд русской классики — «Дубровский» и «Капитанская дочка».

Все произведения сборника снабжены иллюстрациями и обширными комментариями, которые знакомят читателей и с историей написания каждой драмы, и с ее оценкой критиками пушкинского века. Ценителям творчества Пушкина будет любопытно также публикация пропущенных строф и глав из произведений сборника.

ISBN 978-5-9603-0435-1



9 785960 304351 >

